

8А

И 90

И С Т О Р И Я
Г Р Е Ч Е С К О Й
Л И Т Е Р А Т У Р Ы



АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им.ГОРЬКОГО

ИСТОРИЯ
ГРЕЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С.И.СОБОЛЕВСКОГО, М.Е.ГРАВАРЬ-ПАССЕК,
Ф.А.ПЕТРОВСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
М О С К В А
1 9 6 0

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. ГОРЬКОГО

ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Т О М

III

ЛИТЕРАТУРА
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО
И РИМСКОГО
ПЕРИОДОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
М О С К В А
1 9 6 0

Э П О Х А
Э Л Л И Н И З М А





ВВЕДЕНИЕ

В половине IV в. до н. э. в политическом положении Греции произошли крупные изменения — ее города-государства утратили свою самостоятельность и подпали под власть македонских царей; изменилась и судьба всей греческой культуры и ее отдельных отраслей, в том числе литературы. До этого времени греческий язык и литература были связаны с определенным кругом средиземноморских стран; в этот круг входили: сама материковая Греция, острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии, Сицилия и часть южной Италии, прилегающая к Тарентскому заливу. После македонского завоевания Греция сделалась центром, из которого греческая культура вообще, а в частности ее язык и литература, стали распространяться по значительно более широкому кругу земель: в эту орбиту была втянута вся Передняя Азия до границ Армении и Индии, а в Северной Африке — Египет и Ливия. Все части этой огромной территории, завоеванной Александром Македонским, в большей или меньшей мере пришли в соприкосновение с греческой культурой и испытали на себе ее влияние.

В качестве единого государства колоссальная монархия Александра Македонского просуществовала недолго; немедленно после его смерти в 323 г. до н. э. она распалась на части, во главе которых становился то один, то другой из бывших соратников Александра; долголетние войны между ними привели к образованию нескольких крупных государственных единиц, притягивавших к себе более мелкие государства. Такими мощными государственными образованиями стали: во-первых, держава Птолемеев — Египет, Киренаика и Ливия, доставшиеся энергичному и хитрому военачальнику Александра, Птолемею Лагу, потомки которого сохраняли власть над Египтом в течение трехсот лет; во-вторых, вся Передняя Азия, от Индии до Средиземного моря, которой завладел Селевк; в-третьих, собственно Македонское государство, включавшее в себя Грецию и некоторые острова Эгейского моря; в нем долго шла борьба между претендентами на престол, среди которых были родственники Александра и его соратники; пользуясь этой внутренней борьбой, греки несколько раз пытались вернуть свою независимость, но их восстания кончались поражением; наконец, в-четвертых, в Малой Азии выделилось из державы Селевкидов небольшое государство Пергам, управлявшееся династией Атталидов.

Границы всех этих государств нередко изменялись вследствие непрерывных войн; одни из них дольше, другие менее долго сохраняли свою самостоятельность в качестве отдельных монархий; все вместе они носят название государств диадохов, т. е. наследников (*διαδοχῆ* — наследование).

Период, когда они являлись независимыми государственными единицами со своеобразным общественным строем, со своей культурой, принято называть эпохой эллинизма.

Продолжительность этой эпохи определяют по-разному: начало ее, как сказано выше, датируют годом смерти Александра Македонского, а конец — либо 168 г. до н. э., когда пала Македонская держава, войдя под названием провинции Ахайи в состав Римской республики, либо 30 г. до н. э., когда последнее самостоятельное государство диадохов — Египет — после битвы при Актии покорилось Августу. Вторая датировка более соответствует историческим фактам, так как с покорением собственно Греции положение на Востоке изменилось мало: за земли Передней Азии Риму пришлось вести упорную и опасную борьбу с понтийским царем Митридатом в течение почти всего I в. до н. э., и лишь после 30 г. до н. э. все территория, некогда завоеванные Александром, кроме крайнего Востока, где за это время выросло Парфянское царство, стали римскими провинциями; с этого момента эллинизированный Восток вступил в новую эпоху своего существования — уже под властью Рима; начало ее, таким образом, почти совпадает с началом нового летоисчисления, конец принято датировать падением Западной римской империи, т. е. 476 г. н. э., начиная с которого развитие обеих половин империи пошло совершенно различными путями, что, впрочем, уже подготовлялось в течение всего IV и первой половины V в.

В соответствии с такой периодизацией политической истории Греции и Переднего Востока историю поздней греческой литературы также принято делить на два основных раздела — литературу эпохи эллинизма и литературу эпохи римского владычества. Раньше чем перейти к изложению собственно литературных фактов, относящихся к первой из них, необходимо ознакомиться с ее общими характерными особенностями, а также с судьбой греческого языка, в котором произошли важные изменения.

Эпоха эллинизма производит на первый взгляд впечатление крайне противоречивое: с одной стороны, бесконечные войны, династические распри и дворцовые перевороты, сопровождающиеся неслыханными жестокостями, с другой — расцвет торговли и ремесел, наук и искусств; но все эти кажущиеся противоречия объясняются теми социально-экономическими условиями, которые создались на Переднем Востоке в результате покорения его греко-македонской державой Александра.

Весь строй эллинистических государств покоился, как и строй классического греческого полиса, по-прежнему на рабовладельческом способе производства. Однако в эпоху эллинизма некоторые черты рабовладения стали иными. Это изменение характерных черт рабовладельческой формации при переходе от классического полиса к эллинистическому государству было совершенно естественным и неизбежным. В материковой Греции быт греческих полисов в течение долгого времени сохранял известные черты патриархальности доклассового общества: родские связи были еще очень сильны, и рабовладение лишь постепенно принимало те широкие размеры, которые кладут резкую грань между богачом и бедняком. Однако уже в V в. до н. э. полисная система стала разлагаться. Особенно ярко этот процесс проявился в наиболее передовом государстве-полисе — Афинах, где рабовладельческая демократия достигла наивысшей доступной ей ступени развития.

С ростом населения и увеличением потребностей полисная автаркия стала невозможна; в частности, именно в Аттике все более остро стала ощущаться нужда в хлебе, который надо было ввозить, для чего были необходимы деньги, а следовательно, и товары для вывоза.

Кроме торговли с другими полисами и с колониями крупным источником государственных доходов были взносы союзников, но положение Афин как гегемона в свою очередь требовало больших расходов на содержание войска, особенно флота; товары же для вывоза оказалось выгоднее производить при помощи рабского труда, чем руками свободных ремесленников; это вскоре повело к обеднению многих коренных жителей Аттики и превращению их в наемных солдат и матросов, уже не так тесно связанных с родиной, как земледельцы и ремесленники. Вывоз товаров также не всегда приносил достаточно денег ввиду сравнительно небольшого числа внешних рынков и конкуренции с городами Малой Азии, не уступавшими Афинам по степени развития ремесел и искусств, а также из-за быстрого культурного роста колоний, которые легко осваивали основные отрасли производства и переставали нуждаться в товарах, привозимых из метрополии.

Поэтому стремление использовать внутренние источники дохода, с одной стороны, и изыскание новых пространств для размещения людей и товаров — с другой, ясно сказывается еще до македонского завоевания и отражается в произведениях писателей и ораторов IV в. до н. э. — Ксенофонта, Демосфена, Исократ. Поэтому перспектива продвижения на Восток, связанная с македонскими завоеваниями, соответствовала потребностям как передовых образованных и состоятельных людей, так и бедноты, все более терявшей на родине почву под ногами.

Походы Александра Македонского, сломав границы полисов и племенных государств, осуществили в процессе общегреческих завоеваний на Востоке и в Египте то, что назревало уже с половины V в. Прежде при выведении колоний метрополию покидали сотни людей, которые долго сохраняли связь с родиной; теперь колонизация Востока и Египта приняла колоссальные размеры, Грецию стали покидать тысячи и десятки тысяч людей. Они создавали себе новую родину среди чужих народов, привыкали к новым обычаям, к новым богам, к новым взглядам. Следует учесть также, что прежние колонии основывались в местностях, не создавших еще собственной культуры, лежали на окраинах «варварских» стран, и колонисты не испытывали значительных влияний со стороны местного населения, стоявшего ниже их по культурному уровню. Теперь новые города стали возникать в странах с древней культурой, с сложившимся экономическим и политическим строем, со своими культурами. Прочно спаянного рабовладельческого класса, существовавшего в греческих полисах, члены которого были связаны между собой множеством родственных, имущественных и культовых связей, в новых городах с их пришлым и текучим населением образоваться не могло. В эллинизирующихся старых городах Востока и в основанных самим Александром и диадохами новых городах имущественные различия внутри свободного населения становились все резче; меньше наживать деньги имело больше значения, чем происхождение и родовые связи, а непрерывный приток рабов из завоевываемых стран и образование больших рынков торговли рабами еще более обостряли эти различия, снижая ценность свободного труда. Если в метрополиях на материке каждый свободный гражданин чувствовал себя неотъемлемой частью целого и, противопоставляя себя — если был беден — богачу-аристократу, гораздо резче противопоставляя себя чужаку-метеку, то в новых городах это сознание принадлежности к небольшому, прочно спаянному целому если не совсем угасло, то отошло на задний план, а противопоставление бедняков богачам стало осознаваться ярче и болезненней. Бюрократическая система управления, унаследованная государствами диадоров от Персии и Египта и единственно возможная при огромных размерах новых государств, тоже способствовала угасанию

гражданских чувств и усиливала разрыв между отдельным гражданином и обществом. Вопросы войны и мира, финансов, строительства, воспитания, образования и религиозных культов — все отошло в ведение правительства и перестало быть общенародным делом. Прежде всеми этими делами живо интересовался каждый свободный гражданин полиса; он имел право, обязанность и возможность высказывать свое мнение и влиять на решение дел. В эллинистических государствах отдельному гражданину остается заниматься только своими частными делами. Общественные и политические интересы все более угасают, и человек замыкается в узкий круг индивидуальной жизни.

В эллинистических монархиях была сделана попытка поставить рабский способ производства на более широкую базу, чем это было возможно в рамках полиса. В руках правительства и отдельных богачей оказались огромные денежные средства, которыми распоряжалось уже не общество в целом, а либо сам государь, либо отдельные крупные финансисты. Растущая жажда роскоши у владык и состоятельных граждан вызвала временный, но исключительно высокий расцвет художественного ремесла: литейное, ювелирное, прядильно-ткацкое дело достигли небывалого совершенства. Появилась материальная возможность, а из нее родилось и честолюбивое стремление создавать грандиозные небывалые постройки — «чудеса света»; в эпоху эллинизма были воздвигнуты Александрийская библиотека, Пергамский алтарь, Фаросский маяк, Колосс Родосский.

Однако все это создавалось главным образом руками тысяч и тысяч рабов. Поэтому, когда кончилась быстрая экспансия и приток новых рабов стал уменьшаться, а свободное население Малой Азии, Сирии, Египта — не говоря уже о самой Греции, ставшей теперь «окраиной», — все более беднело, в огромных государствах диадохов произошло то же, что и в маленьких полисах; выяснилось еще раз, что система рабского труда не ведет за собой быстрого технического прогресса, а, напротив, препятствует ему, оставляя без самостоятельного заработка значительную часть населения и превращая ее в невольных бездельников, ожидающих чьих-то милостей. Дойдя до такого состояния застоя, сперва материковая Греция (во II в. до н. э.), а потом и весь эллинизированный Восток (в I в. до н. э.) оказались не в силах сопротивляться более молодому и мощному западному сопернику, полному того же стремления к экспансии, которое создало сперва передовые полисы Греции, а потом царства диадохов. Тогда-то и наступила новая эпоха — эпоха римских завоеваний.

Процессы, которые уже наметились в государствах диадохов, стали теперь развиваться усиленными темпами. Подобно тому, как после завоевания Востока Александром на приобретенные территории хлынули волны греческой колонизации, так теперь богатства Востока привлекали к себе множество римлян, которые, однако, не слились так прочно с местным населением, как это было в государствах диадохов, а остались наносным слоем — правящей и торгующей верхушкой общества. Размеры рабовладения все росли, и рынки торговли рабами процветали; приток рабов из вновь покоряемых стран, пиратские набеги и сохранившиеся только на Востоке формы рабства — рабство долговое и продажа самого себя и своей семьи в рабство — все это содействовало работорговле и рабовладению в таких огромных размерах, что в среде имущего класса уже в I в. до н. э. зародилось сознание невыгод и опасностей подобного положения вещей. В больших латифундиях стало замечаться внутреннее расслоение между рабами; наиболее приближенные к господину получали от него разрешение на ведение собственных торговых дел, а занятые в сельском хозяйстве — право на какую-то

часть дохода; рабство незаметно и постепенно перерождалось в «крепостнические» отношения колоната; частый отпуск рабов на волю, иногда принимавший массовый характер, создавал новую общественную группу — крупных торговцев и торговых посредников из вольноотпущенников.

Таким же усиленным темпом, как развитие рабовладения, после римского завоевания пошел и процесс бюрократизации всей системы управления.

Если в государствах диадохов кое-где, особенно в материковой Греции, сохранялись пережитки полисного самоуправления, то после завоевания Римом всех восточных областей этому пришел конец; всеми провинциями стали управлять римские наместники и чиновники; даже решения городских советов утверждались ими, а выборные городские магистратуры сохранили лишь узко местное значение.

Для крупных бюрократических государств во все эпохи истории было необходимо пользоваться каким-либо общегосударственным официальным языком, на котором население могло и не говорить между собой, но который оно обязано было понимать. Таким языком в эллинизированных государствах Востока стал греческий, а после римского завоевания — латинский; однако отношение населения восточных стран к тому и другому было весьма различным; греческий язык проник в толщу местного населения и стал «общим» языком, между тем как латинскому языку это удалось лишь в Западных провинциях, но не на Востоке, где он остался языком официальных документов, языком военной и правящей верхушки; еще в IV в. н. э. греческие ораторы отзывались о нем свысока, как о грубом и неблагозвучном. Греческий же язык, правда, несколько изменившись, стал подлинным языком эллинизированного Востока. К краткому очерку истории его развития мы и перейдем.

До середины IV в. до н. э. античная Греция не имела единого государственного и литературного языка¹. В результате македонской гегемонии, походов Александра и распространения эллинской культуры в странах Переднего Востока в развитии греческого языка произошли значительные изменения. Впервые весь греческий мир получил один общий язык (η κοινή *ἡδύλεχτος*, или просто койнэ — *κοινή*). Этот язык образовался на основе лингвистических норм аттической прозы, но вобрал в себя некоторые особенности других диалектов, главным образом ионического. Он воспринял многое из лексики диалектов, чуждой аттическому наречию, а кроме того претерпел ряд изменений в морфологии, синтаксисе и фразеологии.

Возникновение койнэ почти повсеместно сопровождалось исчезновением особенностей старых местных диалектов в письменности, а частично и в устной речи. Диалектные элементы (эолизмы и доризмы) сохранились лишь как традиционные языковые и стилистические нормы отдельных поэтических жанров. Кроме того, использование старых диалектизмов стало литературным приемом, и немало их вошло в язык новых поэтических родов, создавшихся только в эллинистический период — буколическую идиллию, эпиллий и эпиграмму.

События времени Александра Македонского и первых диадохов сами по себе не могли бы привести к устойчивому единству языка, если бы к этой поре в греческом мире не произошли глубокие социальные сдвиги. Если бы в этом мире сохранялся старый полисный строй и продолжали господствовать внутривосполненные интересы, то после временной унификации наступила

¹ См. т. I настоящего издания, гл. II.

бы новая дифференциация, причем на основе городских говоров таких крупных центров, как Александрия или Антиохия, могли бы развиваться диалекты даже более обособленные, чем в древности. Этого не произошло потому, что в эту эпоху интересы господствующего в экономическом отношении слоя рабовладельческого класса, а именно, дельцов, лежали почти всегда за пределами родного города; военная служба также превратилась в наемничество за границами родины; местные культы, раньше так сильно привязывавшие грека к его родному городу, стали превращаться в празднества, одинаково открытые для своих и чужих.

Фактором, подготовившим унификацию языка именно на аттической основе, была культурная гегемония Афин, которая сохранилась за ними и после утраты гегемонии политической: авторитет и популярность театра, риторики и многих философских школ, родиной которых была Аттика, пережили падение политического авторитета и позволили сохраниться основному направлению языкового развития, которое наметилось задолго до Херонейской битвы.

Македонское завоевание Греции закрепило это направление в развитии языка по той причине, что македонский двор и военная аристократия были к этому времени окончательно аттицизированы. Победа Филиппа была одновременно и победой аттицизма, а поражение городов-государств было поражением и старых диалектов.

Однако дальнейшее историческое развитие не способствовало сохранению аттической речи в полной чистоте; носителями и распространителями греческого языка были по преимуществу не афиняне. Аттицизация дворов диадохов в значительной степени была поверхностной и искусственной, не похожей на аттицизацию двора Архелая или Филиппа. Многие культурные деятели эпохи эллинизма были родом из Ионии и с островов Эгейского моря, а большая близость ионийского наречия к аттическому мешала улавливать специфические черты последнего и усваивать их. Учителями в школах часто были люди, для которых аттическое наречие не было родным, а потому койнэ последних веков до н. э., хотя в основе его и лежал аттический диалект, можно определить, как «ученый» аттицизм, непрерывно приспособлявшийся к запросам практической жизни. При этом надо заметить, что уже в начале IV в. до н. э. в языке самой аттической литературы можно заметить появление некоторых неаттических черт. Эти новые элементы, чуждые как консервативному официальному языку эпиграфических документов, так и языку Исократы и Демосфена, отмечаются уже в языке оратора Гиперида, комического поэта Менандра и философа Эпикура.

Надписи показывают нам постепенный переход от диалектов к койнэ. Раньше всего диалекты были вытеснены в Аттике и Ионии, затем в Этолии, Беотии и Фессалии; дольше держалось дорическое наречие, а также северо-западные говоры — благодаря политической роли этолийского и ахейского союзов и экономическому значению сицилийских городов и Родоса.

Однако диалектизмы перестают встречаться в надписях уже со II в. до н. э. Это показывает, что в официальном письменном употреблении к этому времени повсеместно утверждается койнэ, а о существовании местных устных говоров в императорское время мы имеем лишь весьма скудные сведения.

В византийский период, по всем имеющимся у нас данным, никаких диалектов и говоров, восходящих к древнему территориальному дроблению греческого языка, уже не существовало, за исключением говора некоторых местностей Лаконии, сохранившегося и в новогреческом языке (так называемый цаконский диалект).

В новых эллинистических государствах койнэ выступает не только в качестве общегосударственного (канцелярского и литературного) языка греко-македонской верхушки, но и как средство общения этой верхушки с туземным населением покоренных областей, а отчасти даже с населением сопредельных стран (например, Нубии и Эфиопии), куда греческий язык стал проникать все больше и больше. Есть много данных о распространении греческого языка к началу нашей эры на Кавказском побережье Черного моря, в горных областях Западного Ирана и т. д. В сферу эллинистической культуры было втянуто также греко-бактрийское царство, мелкие государства иберийских и армянских царьков, могущественная монархия Аршакидов и их преемников Сасанидов. В некоторых из этих мест (например в Сирии, Малой Азии) уже в начале эллинистического периода греческий язык настолько прочно вошел в быт, что удерживался там и в первые века римской империи; лишь с IV в. н. э. мы можем наблюдать процесс оживления местных языков. Для римских чиновников и купцов греческий язык был ходовым в их общении с карфагенянами, египтянами, сирийцами, евреями и т. д. Из приморских городов этот язык проникал в прилегающие к ним области как по караванным путям, так и по дорогам, проложенным римскими легионами. Вместе с изделиями промышленности эллинистического и римского мира сперва греческий, а затем и оба классических языка древнего мира достигали даже Медины и Китайского Туркестана.

Вместе с широким распространением греческого языка почти по всему известному тогда «кругу земель» распространялось и греческое искусство, наука и литература. Формы восприятия, освоения и изучения греческой культуры различными слоями населения этих земель, конечно, сильно менялись в течение тех почти 800 лет, в которые сменились очерченные нами выше две эпохи — эпоха эллинистических государств и эпоха подчинения греческого мира римскому владычеству.

Характерной чертой эпохи эллинизма, как мы видели, было оскудение общественных интересов и все усиливающийся разрыв между обществом и отдельным гражданином (вернее было бы назвать его уже не гражданином, а подданным). Эта черта нашла свое выражение во всех областях культурной жизни. В сфере идеологической и художественной все ярче выявляется интерес к индивидуальной жизни, к личным переживаниям; в области науки все более заметной становится специализация, обособление отдельных наук и отрыв их от общефилософских интересов и задач.

Это новое направление интересов отразилось даже на чисто изобразительных искусствах — скульптуре и живописи. Если в скульптуре классической Греции — у Мирона, Поликлета и Фидия — индивидуальные черты отступали перед типичными, общими, то в произведениях Праксителя, Скопаса и Лисиппа, сохранивших еще классическую простоту, индивидуальность выявлена уже гораздо ярче; изображения богов стали изображениями живых прекрасных людей, развилось искусство скульптурного портрета, и возникла новая отрасль скульптуры — жанровая сцена. Живопись тоже достигла исключительного совершенства в передаче индивидуального лица, например, в так называемых Фаюмских портретах. Однако скоро погоня за точной передачей мелких деталей, за разнообразием и полнотой картины привела к перегрузке мелочами, например в известной группе Фарнезского быка или в статуе Нила; желание запечатлеть в скульптуре отдельный, скоропреходящий момент повело к несколько излишней патетичности изображения, например, в так называемом изображении умирающего Александра, в фризе Пергамского алтаря и даже в знаменитой группе Лаокоона.

Выделение из философии специальных точных наук тоже является характерной чертой эллинистического периода. Специальные науки в узком смысле слова возникают именно в эпоху эллинизма. Отчасти это подготовлялось уже в школе Аристотеля, но для него исследование отдельных явлений природы все же включалось в изучение вопросов общего порядка, он стремился к созданию всеобъемлющей энциклопедической науки. Ученые же эпохи эллинизма — подлинныe специалисты. Научные открытия, сделанные в эту эпоху, велики и разнообразны. Имена математиков, астрономов, географов и философов исчисляются десятками, хотя лишь о немногих из них мы осведомлены с достаточной полнотой. Однако в философских системах этой эпохи, включая даже материалистическую философию Эпикура и его последователей, блестящие результаты научных исследований используются незначительно. Этот разрыв между наукой и философией оказывается вредным для обеих. Слабость интереса к естественнонаучным открытиям замыкает философию в круг чисто моральных проблем; перед ней ставится задача достижения индивидуального спокойствия духа (идеала «мудреца») — в этом сходятся эпикурейцы, стоики и скептики. Научное же исследование, потерявшее более широкие перспективы, легко впадает в педантизм, переоценку значения деталей и начинает ценить эрудицию выше таланта. И если Гераклит в свое время решительно утверждал, что «многознание уму не научает», то эллинистические ученые и философы воплотили в себе как раз обратное мнение.

Однако, как нередко бывает при разрыве между философскими и научными интересами, бок о бок с теми и другими возникают и расцветают самые дикие суеверия и культы. Именно в эпоху эллинизма слияние культов прежних местных богов с широко распространяющимися восточными культами Кибелы, Сараписа, Сабазия ведет к мистике и изуверству; следствием восточных влияний является и усиленный интерес к астрологии как к особой науке, становящейся с этих пор долголетним спутником научной астрономии.

Столь же ясно выявились черты эллинистического мировоззрения во всех областях искусства слова. Для художественной литературы эпохи эллинизма характерны, с одной стороны, интерес к человеческой индивидуальности и ее личным переживаниям, с другой — стремление показать свою эрудицию в самых разнообразных областях: мифологии, географии, этнографии и т. п. Из литературных жанров, которые играли главную роль в классическую эпоху, некоторые совсем сошли со сцены, например трагедия, другие сильно изменили свой характер; наиболее ясно отразился этот процесс изменения на эпосе. Нам известно довольно большое число названий поэм на мифологические темы, но полностью до нас дошла только одна («АргонAUTИКА» Аполлония Родосского) и незначительные фрагменты из нескольких других. Даже по этому скудному материалу видно, что характер эпического повествования в корне изменился: большое место занимает в нем изображение личных переживаний, особенно любовно-эротического характера. Наряду с этим явно выступает интерес к бытовым деталям, к научному описанию и перечислению различных фактов. Действующие лица в значительной степени утрачивают героический характер и становятся образами рядовых людей.

Кроме крупных поэм на мифологические темы эпическую форму начинают применять, с одной стороны, к материалу чисто научному, отчего возникает дидактический научный эпос, несколько образцов которого дошло до нас; с другой стороны, отдельные мифологические эпизоды, преимущественно из малоизвестных местных мифов, разрабатываются в виде не-

больших эпических поэм — эпиллиев. Рождается и совсем новый жанр — буколическая поэма — своеобразное смешение эпоса и лирики с внесением драматических элементов бытового мима. Изменяет свой характер и комедия, переходя от политических тем к бытовым, опять-таки с обязательной любовной интригой. Пышно расцветает жанр эпитаграммы и легкой эротической анакреонтики. И, наконец, хотя до нас не дошло ни одно повествовательное прозаическое произведение эпохи эллинизма, есть основания предполагать, что и жанр прозаического «романа» (термин, по отношению к античности применяемый условно) зародился именно в эту эпоху.

Одна важная отрасль художественного слова — ораторское искусство, выросшее на почве классической Греции из самых насущных жизненных потребностей, процветавшее в народном собрании и в общественных судах, в эллинистическую эпоху по необходимости значительно сузило сферу своего действия. Политическое красноречие, с помощью которого ораторы могли влиять и действительно решающим образом влияли на судьбы родного полиса, при бюрократической системе управления стало неприменимым и в силу этого ненужным. Единственной общественной ареной, где оратор, желавший развернуть свой талант, мог выступить перед более широкой публикой, еще оставался суд, но и он в значительной степени изменил свой характер, превратившись из общественной выборной организации в государственное учреждение.

Кроме двух практически важных видов красноречия — политического и судебного — еще в Афинах начал быстро развиваться и приобретать себе поклонников третий вид — эпидиктическое красноречие, имевшее целью не столько убеждать, сколько услаждать. Впервые занесенное в Афины софистами из Сицилии и Великой Греции в конце V и начале IV в. до н. э., оно нашло благоприятную почву в риторических школах, где сначала служило только педагогическим целям, а вскоре превратилось в «искусство для искусства». Уже Исократ, бывший не практическим оратором, а педагогом и художником слова, культивировал красноречие как декламацию на темы, не имевшие непосредственной связи с реальной жизнью. Чем больше суживался круг практического применения красноречия, тем больше внимание ораторов обращалось на форму как таковую. Если у Демосфена при всей его заботе о красоте речи прекрасная форма служит только уточнению и углублению содержания, то у ораторов эпохи эллинизма основное внимание обращено на звучание; меняется самый способ построения речи; плавные, логически развертывающиеся периоды, послушно следующие за развитием мысли, уступают место звонким, нанизанным друг на друга фразам, переполненным ассонансами, аллитерациями и риторическими фигурами. Особенно пышно расцветший в риторических школах Малой Азии, этот стиль получил название азианизма. На долгое время — почти на 200 лет — он стал господствующим стилем ораторской речи, однако никогда не мог полностью победить своего упорного соперника — так называемый аттицизм; ораторы-аттицисты преклонялись перед ясностью, чистотой и простотой стиля Ксенофонта и Лисия². Великие ораторы прошлого никогда не были окончательно забыты; напротив, именно ученым эллинистической эпохи мы обязаны тем, что произведения аттических ораторов были собраны и отредактированы. Если бы это своевременно не было сделано, то так называемый канон ораторов, составленный уже в пору римского владычества, было бы не из чего составлять.

Еще больше заслуги той группы ученых литераторов, которые посвя-

² Подробнее об азианизме и аттицизме см. «Введение» к разделу II настоящего тома

тили свои силы собиранию, критическому изданию и комментированию произведений древних поэтов. Одно только установление текста и издание поэм Гомера потребовало работы по крайней мере двух поколений ученых. Лирика, трагедия и комедия тоже не были оставлены без внимания. Можно сказать, что подлинная филология и литературоведение были впервые созданы именно хранителями Александрийской библиотеки.

Искусство и в особенности литературу эллинистического периода принято оценивать много ниже, чем наследие классической Греции, что далеко не всегда справедливо. Не только с исторической точки зрения она представляет в высшей степени интересное и богатое поле деятельности для историков литературы, но обладает и большими чисто художественными достоинствами.



284771

Глава I

НОВАЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЮ ЖАНРЫ

1. Условия, вызвавшие появление новой аттической комедии.— 2. Драматурги новой комедии: Филемон, Дифил и другие.— 3. Менаандр: а) биографические сведения; б) наследие Менаандра; в) комедии Менаандра, сохранные в Каирском папирусе: «Герой», «Третейский суд», «Отрезанная коса», «Самиянка»; г) фрагменты комедий Менаандра.— 4. характеристика новой аттической комедии.— 5. Мимы, флиаки, гиларотрагедии. Кинедология.

1. УСЛОВИЯ, ВЫЗВАВШИЕ ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ АТТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ

Коренные изменения в античном общественном организме, которые к концу IV в. повсеместно происходят в Греции, обуславливая характер нового, эллинистического искусства, влияют также и на аттическую драму, в частности на комедию, именно к этому времени превращающуюся в совершенно новый драматический жанр, исторически чрезвычайно важный. Новая комедия стремится передать правду жизни, и в этом отношении она так же реалистична, как современная ей эллинистическая скульптура. Новая комедия совершенно отказывается от фантастических сюжетов древней комедии и в противоположность ей неизменно ищет сюжетов исключительно бытовых. И если в средней, послеаристофановской, комедии наряду с сюжетами бытовыми мы часто встречаем и пародийные травести мифа, то в новой комедии последние встречаются очень редко: она сознательно избегает их. Сообразно тенденциям нового нарождающегося жанра изменяются и самые средства театрального показа. Действие новой комедии строится исключительно на работе актера: хор, играющий такую важную роль в комедии Аристофана, новой комедии не нужен, даже вреден, так как, несомненно, служит помехой изображению подлинной жизни. Консерватизм афинской театральной традиции не позволил новой комедии вовсе устранить хор, но его значение чрезвычайно ограничено. Выступления хора, чаще всего изображающего компанию молодых веселых комастов, бражников, собирающихся на пирушку, получают здесь форму не зависящих от сюжета музыкальных интермедий, которые отчетливо делят пьесу на отдельные драматические комплексы, представляющие собой ряд последовательных этапов общего хода пьесы. Тем самым новая аттическая комедия создает тот способ деления пьесы на акты, который наблюдается затем в римской комедии Плавта и Теренция. Интересно отметить, что комедия Менаандра «Третейский суд» отчетливо распадается на пять актов: так же делятся, по-видимому, и другие его пьесы. В настоящее время существует мнение, что деление пьесы на пять

актов, позже, у Горация¹, ставшее обязательным, впервые было введено именно Менандром и его современниками. Хоровые интермедии новой комической драмы, несомненно, берут начало в песнях древней комедии позднейшего периода, которые встречаются и у Аристофана, например в «Законодательницах» и в «Богатстве», в заключительной части пьес, где они отделяют друг от друга бытовые сценки.

Этот разрыв хорового и актерского элементов, весьма характерный для новой комедии, влечет за собой и некоторые новые особенности в архитектуре театра эллинистического периода. Если можно предполагать, что в театре V в. игра актеров происходила в оркестре, где рядом с ними действовал и хор, то в эллинистическую эпоху актеры играют не в оркестре, которая сохраняется лишь для выступления хора, а на так называемом проскении (или логейоне), т. е. на длинном и узком помосте, сооружаемом перед сценой (σκηνή). Изменилась и внешность актера. Вместо условной уродливой маски и короткой туники древней комедии актеры новой драмы носили маски, более или менее близко передававшие черты реального человеческого лица, и костюмы, по существу ничем не отличавшиеся от повседневных одежд.

Новая реалистическая комедия, показывавшая людей в будничной обстановке, выводила перед зрителем бытовые типы, а потому мы вправе называть ее комедией бытовой. Но для ее античных авторов, как и для зрителей, она открывалась не только со стороны бытового содержания, но и со стороны психологической: поэты новой комедии стремились к правдивому изображению человеческого характера, людского «нрава», вследствие чего мы имеем полное основание прилагать к этой драме выражение «комедия характеров» или «комедия нравов». Нельзя также не заметить, что исключительное внимание, уделяемое новой комедией тончайшим разновидностям человеческого характера, несомненно, имеет связь с тем глубоким и серьезным интересом, какой уже со второй половины V в. до н. э. начинают проявлять греческие мыслители к внутреннему миру человека. Внутренняя жизнь человека и его отношения к обществу, занимали философскую мысль софистов, так же как Сократа, затем Платона и Аристотеля, а в рассматриваемую нами эпоху — Феофраста, «Характеры» которого вышли в Афинах вскоре после 320 г. до н. э. Занимаясь вопросами естествознания (зоологии, ботаники, минералогии), Феофраст был одновременно и философом. Привычка к систематичности и точности морфологических описаний исследуемых им явлений в мире животных, растений и камней привела Феофраста к попытке научно каталогизировать и человеческие характеры. Упоминанное его сочинение содержит тридцать сжатых описаний различных типов человеческого характера; Феофраст изображает лень, суеверие, бесстыдство, скупость, мелочное честолюбие, хвастливость, трусость и другие отрицательные свойства человеческого нрава. Он группирует основные черты, служащие признаками того или иного характера, и поясняет их примерами, взятыми из реальной, бытовой обстановки. Теоретические наблюдения автора этой замечательной античной книжечки, оказавшей большое влияние и на позднейшую европейскую литературу, в частности, например, на известного французского сатирика и моралиста XVII столетия Ла Брьюэра, бесспорно, идеологически связаны с художественными задачами новой комедии. Весьма показательно, что примеры, привлекаемые Феофрастом в качестве иллюстраций к отдельным чертам изображаемых типов, не всегда берутся непосредственно из жизни: иные из них приходят из литературы как ре-

¹ «Поэтическое искусство», 189.

альные бытовые фигуры, уже получившие художественную обработку и соответствующее освещение в новой комедии. Влияние типов, созданных новой комедией, на Феофраста и в свою очередь типов Феофраста на новую комедию совершенно бесспорно.

Давая изображение человеческого характера, поэты новой комедии стремятся, как и Феофраст, быть по возможности верными жизненной правде. О величайшем из творцов новой драмы — Менандре — Аристофан Византийский, один из виднейших античных литературных критиков второй половины III в. до н. э., восклицал: «О Менандр и жизнь, кто из вас кому подражал?». Точное отображение жизни представлялось Менандру и его современникам основной задачей искусства.

2. ДРАМАТУРГИ НОВОЙ КОМЕДИИ: ФИЛЕМОН, ДИФИЛ И ДРУГИЕ

Число поэтов, писавших в жанре новой комедии, было велико: за два столетия, приблизительно со второй половины IV в. по первую половину II в. до н. э. насчитывается свыше ста шестидесяти имен. Многие из них были выдающимися драматургами, лучшим же среди них, по отзывам древних, является Менандр. На второе место античные критики ставили его старшего современника и главного соперника — Филемона, родившегося (по-видимому, в Сиракузах) около 361 г. и дожившего до глубокой старости. Филемон почти всю жизнь провел в Афинах, где пользовался славой едва ли не самого знаменитого драматурга. Жил он, должно быть, и в Александрии, при дворе Птолемея Сотера, почетным приглашением которого он воспользовался. На сюжет его пьесы «Купец» Плавт написал одноименную комедию, а его пьеса «Сокровище» обусловила сюжет комедии Плавта «Три монеты». Может быть, еще одна комедия Плавта — «Привидение» — также восходит к комедии Филемона, носившей сходное название.

Почти в те же годы и так же долго жил в Афинах и другой знаменитый поэт — Дифил (род. между 355 и 350 г., ум. вскоре после 263 г. до н. э.) родом из Синопы; его произведениями также пользовалась римская комедия². Наряду с пьесами на чисто бытовые темы у Дифила встречались и паратрагедии, т. е. пародии на старые мифы, сюжеты которых давно были обработаны трагедией. В одной из комедий, озаглавленной «Сапфо», Дифил, нарушая, всего вероятнее по неведению, элементарные требования хронологии, выводил влюбленными в лесбосскую поэтессу поэтов Архилоха и Гиппонакта, отделенных друг от друга промежутком времени более чем в сто лет.

К младшему поколению поэтов новой комедии принадлежат Филиппид Кефалиец и Аполлодор Каристийский, опять-таки не уроженцы Афин. В основе комедий Теренция «Формион» и «Свекровь» лежат пьесы Аполлодора. После смерти Менандра первое место среди поэтов комедии в Афинах принадлежало Посидиппу (род. после 316 г. до н. э.), македонцу из города Кассандрии. Кроме этих наиболее известных поэтов в упомянутый двухсотлетний период было множество других, то более, то менее знаменитых.

² Плавт обращался к Дифилу в «Канате» и «Жребии», сильно переработав, впрочем, греческий оригинал, а Теренций — в первом акте «Братьев».

3. МЕНАНДР

а. Биографические сведения

Самым знаменитым новым комедиографом был, конечно, Менандр, родившийся в Афинах около 343 г. до н. э.

О жизни его родителей, полноправных афинских граждан, сведений сохранилось мало. Известно лишь, что они были очень богаты. Мать Менандра звали Гегесистратой, имя отца было Диопиф: одно время его ошибочно отождествляли с носившим то же имя афинским военным деятелем, которого защищал Демосфен в своей «Херсонесской речи». Весьма вероятно, что, приходясь племянником Алексиду, знаменитому поэту средней комедии, Менандр, согласно античному преданию, получил первый толчок к развитию таланта под влиянием именно дяди. Известно далее, что в пору зрелости творческих сил Менандра, главным его соперником был Филемон, пользовавшийся у афинской публики несравненно большим успехом. Характерно, что, написав свыше ста пьес, Менандр одержал только восемь побед. Вскоре после смерти Менандр приобретает славу величайшего драматурга. Таким остается он и для всей позднейшей античности. Византийская школа называет его «звездой» новой комедии.

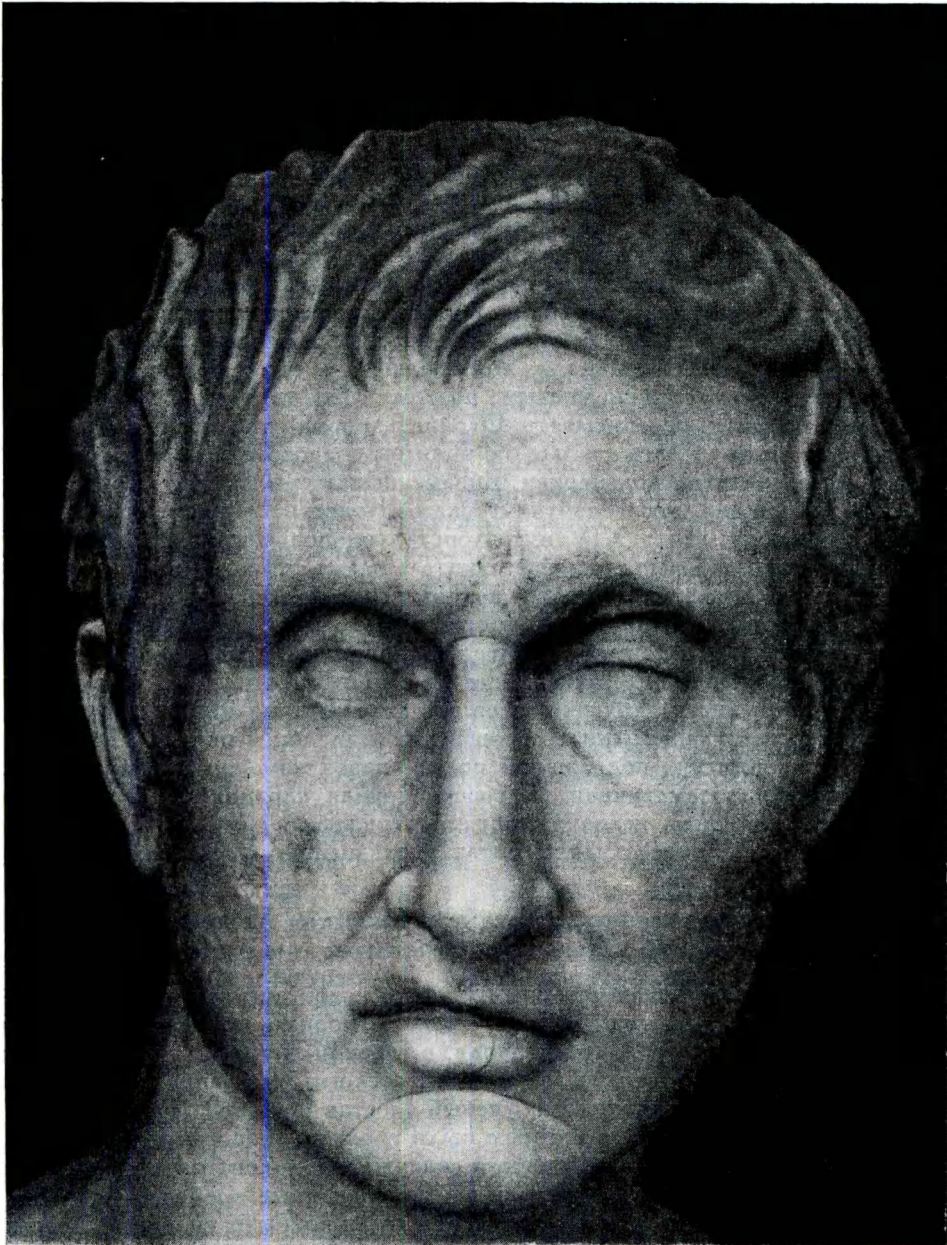
Менандр — представитель новых, эллинистических Афин: его первая, не дошедшая до нас, пьеса «Гнев» была поставлена в 324 г. до н. э., т. е. за год до смерти Александра Македонского. Он принадлежал к наиболее культурным городским слоям тогдашних Афин. Проявляемый им живой интерес к бесконечному разнообразию человеческих характеров делает его художественную задачу во многом близкой научным исканиям Феофраста, учеником которого он был. Направление мысли Менандра отчасти приближается к философскому учению Эпикура; он идет вровень с передовыми мыслителями своей эпохи. По школе Феофраста он был связан дружбой с крупным афинским политическим деятелем того времени — Деметрием Фалерским.

Страстно любивший Афины Менандр, однако, жил не в самом городе а близ моря, в одном из городских предместий, примыкавшем к Пирею, вместе с горячо любимой женщиной, преданной ему Гликерой — одной из афинских гетер. Алкифрон, греческий писатель-эпистограф II в. н. э., рисует привлекательный, наполовину вымышленный, а наполовину, вероятно, реальный образ Гликеры, верной подруги поэта, работающей вместе с Менандром над театральными масками, проверяющей, как сидит на актере платье, а во время самого представления мучительно, «вся дрожа», «со стиснутыми от волнения пальцами», ожидающей за кулисой проскения, когда же, наконец, раздадутся в театре аплодисменты, и она сможет, обняв Менандра, прижать крепко к своей груди его «священную» для нее голову. «Что без Менандра Афины, и что сам Менандр без Гликеры?»³ — говорит Гликера Менандру в письме к нему у Алкифрона.

Птоломей Сотер настойчиво приглашал Менандра переехать в Александрию, но тот отклонил приглашение, не пожелав расстаться с Афинами, и не променял свободы и независимости на почетное и выгодное, но подчиненное положение поэта, живущего царской милостью. Он не поехал в Египет и до самой смерти прожил в Афинах.

Дошли до нас сведения и о наружности Менандра. Он был хорошего роста и, несмотря на некоторое косоглазие, красив лицом. Один бюст

³ Epistolographi Graeci, rec. R. Hercher. Parisiis, 1873, p. 65. Об Алкифроне см. гл. XII настоящего тома.



Менандр. Римская копия с греческого оригинала IV в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

в собрании Эрмитажа является, как предполагают, портретным изображением Менандра.

Умер Менандр около 291 г. до н. э., утонув в море во время купанья в Пирейской бухте.

б. Наследие Менандра

Влияние Менандра на последующую греческую литературу, пожалуй, было не меньшим, чем влияние Эврипида. Его читали не только в античное время, но и в Византии. Тем не менее ни одна из его комедий не дошла до нового времени: итальянские гуманисты знают Менандра только по имени. Причины такого полного исчезновения за время Средних веков творений великого греческого поэта до сих пор остаются загадочными. Высказываются предположения, что виною тому был педантизм византийских грамматиков, считавших язык Менандра, допускаявшего в своих бытовых комедиях вульгаризмы, недостаточно чистым; поэтому Менандра перестали изучать в школе, а значит и переписывать. Отрицательному отношению к Менандру со стороны византийской школы, по-видимому, способствовали также гонения на него византийской церкви. Византийский ученый XV столетия Димитрий Халкондил, после взятия турками Константинополя бежавший в Италию, говорит, что в XIV в. в Константинополе были свалены в кучу и торжественно сожжены те «соблазнительные», с точки зрения христианской церкви, языческие писания, в которых особенно настойчиво и слишком открыто говорилось о плотской любви. Так погибли в пламени костров, с возмущением рассказывает Димитрий Халкондил, драгоценные рукописи комедий Менандра и Филемона вместе с любовными стихотворениями Мимнерма, Алкея и многих других поэтов. О сюжетах комедий Менандра, об их форме и художественном стиле европейским филологам приходилось гадать на основании римских подражаний поэтам новой комедии⁴. Получившаяся таким путем проблематичная, не совсем точная картина лишь кое в чем могла быть дополнена незначительными отрывками греческого текста, дошедшего до нас в виде скудных цитат у позднейших греческих писателей.

в. Комедии Менандра, сохраненные в Каирском папирусе: «Герой», «Третейский суд», «Отрезанная коса», «Самиянка»

Важным моментом в истории изучения новой аттической комедии является 1905 г. В этом году в Египте при раскопках, производившихся на месте античного города Афродитополя, в селении Ком-Ишкау, недалеко от древних Фив, были открыты остатки греческого дома римского времени. В одной из комнат французский ученый Гюстав Лефевр обнаружил большой терракотовый сосуд, в котором были сложены написанные на греческом языке папирусы разнообразного содержания — контракты, прошения, завещания и другие документы, частью датированные временем правления императора Юстиниана. Сверху документы были покрыты сильно пострадавшей от времени античной книгой, имевшей вид не свитка, а крупной тетради. Форма букв-рукописи указывала приблизительно на V в. н. э. Уцелевший текст начинался с двадцать девятой страницы, на которой, по счастливой случайности, рядом с заглавием пьесы ясно читалось имя автора — Менандр: перед Лефевром лежали остатки античного рукописного изделия. В течение двух лет в тиши кабинета, тщательно скрывая свою изумительную

⁴ Вновь открытыми текстами Менандра подтверждается указание античного комментатора Доната на довольно точную передачу Теренцием манеры этого поэта.

находку, Лефевр трудился над разбором текста, подготавливая его к изданию, которое было выпущено им в 1907 г. в одной из публикаций Французского института в Каире⁵. Впечатление, произведенное на ученый мир открытием Лефевра, было огромно. Каирская рукопись немедленно стала предметом исследований и оживленных научных дискуссий; в различных странах начали появляться все более и более совершенные издания найденного Лефевром текста.

Каирский папирус заключал в себе крупные фрагменты четырех комедий Менандра: первыми шли отрывки комедии «Герой», за ними — «Третейский суд», далее — фрагменты комедии «Отрезанная коса» и, наконец, на последнем листе — отрывки из пьесы «Самиянка».

Первая пьеса Каирского папируса получила заглавие «Герой», потому что в ее вводной части выступал гений рода, обозначавшийся у греков словом *ἥρως* (герой). На основании уцелевшего списка действующих лиц мы вправе предполагать, что Герой выступал в прологе с длинным монологом, подводившим зрителей к началу драмы. Сюжет пьесы следующий. Миррина, афинянка, красивая молодая девушка, становится жертвой страсти неизвестного юноши. Она беременеет и тайно родит двойню — мальчика и девочку, Горгия и Планго. Ей удается пристроить детей к бедному деревенскому пастуху Тибью, бывшему когда-то рабом, а затем получившему свободу. Миррина тем временем выходит замуж за богатого аттического землевладельца Лахета. Действие происходит через восемнадцать лет после этих событий, и к концу комедии выясняется, что тем молодым человеком, который совершил над Мирриной насилие, был сам Лахет: этого ни Миррина, ни Лахет в момент заключения брака не знают.

Незадолго до начала действия комедии Тибий занял две мины денег у Лахета и вскоре умер, не вернув долга. Горгий, похоронив Тибия, которого он считает своим отцом, поступает в пастухи к соседнему богатому юноше Фидию, чтобы выплатить долг Лахету, а свою сестру Планго отдает в служанки к Миррине. Миррина знает, что Горгий и Планго ее дети, но те и не подозревают, что она их мать. Хотя Планго зрителям не показывается и о ней только говорят, ее образ не менее ясен, чем образ выступающего перед ними Горгия. Оба они незаконнорожденные. Это молодые, честные и здоровые люди, воспитанные в деревне, привыкшие к суровой трудовой жизни. А рядом с ними их мать — несчастная женщина, пользующаяся материальным благополучием, но страдающая от сознания своего позорного, скрываемого от всех материнства.

В Планго, скромную, миловидную девушку, полукабальную служанку Миррины, страстно влюбляется молодой раб Лахета Дав. Он мечтает сделать Планго своей женой и уже ведет об этом переговоры со своим хозяином, когда вдруг узнает, что Планго стала жертвой насилия со стороны Фидия — того богатого юноши, в батраках у которого служит брат девушки Горгий. Надеясь крепче связать свою судьбу с судьбой Планго, Дав выдает себя за насильника. Миррина поддается обману и приходит в гнев. Она потрясена несчастьем девушки, которое живо напоминает ей собственное горе. Но благодаря случайности раскрывается истина: по драгоценному перстню, некогда сорванному Мирриной с руки обидевшего ее человека, обнаруживается отцовство Лахета. Горгий и Планго оказываются детьми свободных и знатных родителей; добрый Лахет признает их, с души Миррины спадает, наконец, тяжесть ее мучительной тайны, а молодой Фидий берет Планго в жены.

⁵ Gustave Lefebvre. Fragments d'un manuscrit de Ménandre. Le Caire, 1907.

Общий характер сюжета комедии «Герой» определяется довольно точно благодаря сохранившемуся в папирусе краткому стихотворному пересказу ее содержания. Кроме этого пересказа и следующего за ним списка действующих лиц, сравнительно хорошо сохранилась лишь первая, вступительная сцена — диалог двух рабов: влюбленного в Паланго Дава и Геты — раба Фидия. От дальнейших сцен уцелели только незначительные отрывки, на одном из которых явственно различима пометка выступления хора в конце акта, всего вероятнее, первого.

Состояние текста следующей по порядку комедии — «Третейский суд» — дает совершенно иную картину: из всех четырех пьес Каирского папируса «Третейский суд» дошел до нас в наиболее полном виде. Если присоединить к Каирским фрагментам несомненно принадлежащие «Третейскому суду» пергаментные фрагменты так называемых Порфириевских отрывков (*Membrana Petropolitana*) и небольшой Оксиринхский отрывок, то сохранившийся текст этой комедии составит в общей сложности свыше 750 стихов. Из них первые 365 и последние 70, а также два небольших монолога в середине пьесы образуют сплошной, почти без лакун, вполне ясный текст.

Основным мотивом сюжета и здесь служит тема грубого мужского насилия, жертвой которого оказывается девушка. Приблизительно за год до событий, изображаемых в пьесе, Памфила, молодая девушка из богатой семьи, участвовала вместе с подругами в религиозных обрядах, связанных с Таврополиями. В ночь Таврополий афинские девушки одни собирались в священной роще Артемиды-Таврополю и, бодрствуя до утра, сидели или прохаживались под деревьями, болтая между собой и распевая песни. Никто, кроме девушек, не смел в эту ночь входить в рощу богини — ни мужчина, ни замужняя женщина, ни вдова. Когда Памфила отделилась ненадолго от группы подруг и пошла в сторону по тропинке, на нее в темноте набросился неизвестный молодой человек, в состоянии опьянения попавший в запретный сад Артемиды.

Позор, пережитый Памфилой, — тайна, и никто, кроме самых близких подруг, свидетельниц ее отчаяния, о нем не знает.

Через несколько месяцев отец Памфилы Смикрин, богатый афинянин, выдает ее замуж за красивого, богатого и образованного молодого афинянина Харисия. Жених получает большое приданое.

Харисий — одновременно и муж Памфилы и ее неизвестный оскорбитель. Но ни Харисий, ни Памфила не знают этого, а находятся в таком же неведении, как и Миррина с Лакетом.

Харисий живет не в городе, а в афинском предместье. Молодые счастливы. Но дела заставляют Харисия надолго уехать, а в его отсутствие Памфила к концу пятого месяца после дня своей свадьбы чувствует приближение родов. Она понимает, что беременна не от Харисия и хочет скрыть от мужа следы своего позора. Она родит тайно, а Софрона, старая рабыня, нянька Памфилы, относит новорожденного в лес. В корзинке, куда положен ребенок, Памфила оставляет и несколько драгоценностей, в том числе перстень, который остался у нее в руках в страшную ночь, скатившись с пальца ласкавшего ее юноши.

Но в доме живет доверенный раб Харисия, пожилой и хитрый Онисим, от которого ничто не может укрыться; когда хозяин возвращается из своей поездки, он доносит ему о случившемся. Харисий глубоко потрясен услышанным. Памфила, которой он так доверял, оказывается, обманывала его. Жгучее чувство обиды и оскорбленного мужского самолюбия заставляет его отвернуться от жены: он не желает дольше оставаться с нею под одной

кровлей и переселяется к своему другу Херестрату, такому же, как и он, богатому молодому афинянину, загородный домик которого стоит рядом с домом Харисия. Там, у друга, в компании близких товарищей за бокалом вина Харисий пробует забыть свое горе. У содержателя молодых красивых рабынь он за большие деньги нанял одну из них — Габротонон, чтобы та развлекала его игрой на кифаре, пением и любовью. Но ни товарищи, ни вино, ни Габротонон, — ничто не может рассеять печали Харисия; он продолжает мучительно думать о Памфиле.

О разрыве мужа с женой зрители узнавали в прологе пьесы из диалога Онисима и Кариона — повара, приглашенного к Херестрату. Таких поваров принято было нанимать на городском рынке, когда требовалось приготовить не обычный, а более изысканный, парадный обед. Бытовая фигура повара, профессионального сплетника, постоянно кочующего из дома в дом и вечно болтающего на кухне с домашней прислугой, сценически очень выигрышная, стала одним из любимых персонажей новой комедии. Вопросы любопытного повара в диалоге с домашним рабом давали автору комедии удобное средство легко и естественно вводить зрителей в курс событий, на почве которых строилась дальнейшая фабула пьесы. «Ради богов, Онисим! Да разве твой хозяин, у которого теперь Габротонон, не женился совсем недавно?» — спрашивает только что приведенный с рынка повар Карион в небольшом отрывке из пролога. Кроме повара и Онисима в прологе, но не в этой, а в другой сцене, выступал и отец Памфилы Смикрин в разговоре с Херестратом, другом Харисия. На это ясно указывают пергаментные отрывки, впервые изданные В. К. Эрнштедтом в 1891 г.

Смикрин — типичный старик новой комедии, богатый скупой отец. Причина размолвки Памфилы и Харисия от него скрыта, и он глубоко возмущен поведением зятя: с негодованием говорит он о безумных тратах Харисия и боится, что зять израсходует на свои кутежи приданое Памфилы. Эта мысль не дает Смикрину покоя и тревожит его несравненно больше, чем горе дочери. На протяжении всей комедии Смикрин настойчиво требует от Памфилы согласия на развод с мужем.

Текст, сохраненный Каирским папирусом, открывается сценой спора Сирииска и Дава — двух рабов, состоящих на оброке: Дав — пастух, Сирииск — угольщик. Однородные социально, фигуры спорящих резко индивидуализированы. Дав — деревенский дикарь; он жаден, себялюбив, лукав. Сирииск, напротив, прямолинеен, честен и отличается полным отсутствием корыстолюбия. Сирииск бывал в театрах и хорошо знаком с трагическим репертуаром. Имена обоих рабов намекают, быть может, и на их этническое различие. Дав, вероятно, фракиец, имя Сирииска указывает на Сирию. Сирииск и Дав, видимо, начали свой спор еще за сценой и на проскений выходят, с жаром продолжая его. Сирииск ищет справедливости. В сознании правоты отстаиваемого им дела он предлагает Даву взять кого-нибудь в третейские судьи. Дав не возражает, и Сирииск останавливает тогда старика Смикрина, преклонный возраст и почтенный вид которого внушают ему доверие. Смикрин, с высоким старческим посохом в руках, только что собрался в город; он спешит, пробует отмахнуться, но Сирииск так настойчиво упрямывает его, что в конце концов он соглашается. Происходит сцена третьего суда, по которой пьеса и получила свое заглавие.

Речь Дава — образец реалистического искусства новой комедии. Менандр стремился выразить характер персонажа путем передачи не только мыслей и чувств человека, но и той внешней формы, в какую они облакаются. Сочетать примитивность аргументации Дава с безыскусственностью самой фактуры произносимой им речи. Синтаксис Дава прост и эмоционален.

он говорит короткими, несложными фразами, постоянно вставляя в повествование прямую речь. С месяц тому назад в лесной чаще он нашел брошенного младенца, при котором лежали кое-какие украшения. Он принес младенца домой, собираясь воспитать его, но к ночи начал расканиваться: «Откуда взять мне на все эти расходы денег?», — спрашивал себя Дав. На утро с ним повстречался в лесу Сириск, у жены которого только что умер новорожденный, и стал упрашивать Дава уступить ребенка ему. Дав отдал ребенка, и Сириск горячо благодарил его. Было это дней тридцать тому назад. А сегодня Сириск и его жена, встретившись с ним, требуют, чтобы он отдал им еще и безделушки, найденные при ребенке. Дав негодует. Он считает, что вправе был поделиться своей находкой с кем и как ему было угодно Сириску он отдал ребенка, вещи оставил себе. Если Сириск недоволен, пускай возвращает ребенка обратно: он его ему не навязывал.

После Дава слово берет Сириск. Он тоже раб, простой, занятый физическим трудом человек, живущий вдали от города, но Сириск куда более образован, чем Дав, и речь его более совершенна, местами даже немного выспренна; в то же время она убедительна, потому что согрета искренним желанием говорящего заступиться за маленькое слабое существо, вверенное ему судьбой. Конечно, ребенка, рассуждает Сириск, нашел не он, а Дав; но, уступая младенца ему, Сириску, Дав ничего не сказал о том, что при ребенке найдены были и драгоценности. Он только потом нечаянно проболтался об этом одному из своих товарищей. Дав утаил вещицы, в то время как был обязан громко заявить о них, так как принадлежат они, по мнению Сириска, совсем не Даву, как, впрочем, и не ему, Сириску, а самому ребенку. И не для себя, а для ребенка, интересы которого он, Сириск, его опекун, обязан оберегать, и требует он их у Дава.

Сириск часто бывал в театре, и ему хорошо известна мифология, где встречается немало примеров того, как благодаря вещам, оставленным матерью при ребенке, дети царей, богов и героев впоследствии находили родителей. Отнимать у ребенка приметы, оставленные ему матерью, нельзя: это было бы «несправедливостью».

Смикрин объявляет решение: вещи принадлежат ребенку, а сам ребенок — тому, кто встал на его защиту, иначе говоря, Сириску. Такого решения Дав не ожидал. Он не понимает: ведь нашел-то и ребенка, и вещи он. Почему же и то, и другое у него теперь отнимают и передают человеку, который не имел никакого отношения к находке? «Ужасный суд», — возмущается Дав. Однако он обязан подчиниться решению третейского судьи и, скрепя сердце, протягивает Сириску сумочку с драгоценностями. Жалуясь и взывая к богам, Дав уходит. Удаляется со сцены и Смикрин, отправляющийся, наконец, в город. На проскении остаются Сириск и его жена (лицо без речей). Они раскрывают сумочку, одну за другой вынимают из нее вещицы и внимательно осматривают каждую безделушку. За этим занятием их застают Онисим, выходящий из дверей дома Херестрата, где он подает обед Харисию и его приятелям. Скоро среди других драгоценностей, лежащих в сумочке, Онисим с удивлением узнает перстень Харисия и тут же отбирает его у Сириска. Онисим обещает Сириску передать кольцо хозяину, как только разойдутся гости. Время терпит: Сириск принес оброк Херестрату и останется ночевать. Актеры уходят: пометка «хор» указывает на окончание акта.

Начало нового действия открывается выходом Онисима, в нерешительности рассматривающего перстень Харисия.

Что неизвестный ребенок, при котором был найден перстень, родился от Памфилы, это не приходит в голову Онисиму, но в том, что отец ре-

бенка Харисий, он, конечно, не сомневается, а потому и боится показать хозяину его перстень. В ходе комедии нерешительность Онисима создает временную задержку, и дальнейшее течение пьесы связано с выступлением Габротонон, первый выход которой построен Менандром с исключительным сценическим мастерством: момент ее появления привлекает к себе внимание всего театра. Плающая негодованием, взволнованная, отбиваясь от пробующих удержать ее мужчин, друзей Харисия, на просцении неожиданно показывается Габротонон в дверях дома Херестрата. Габротонон оскорблена отношением к ней Харисия: деньги, которые он платит за нее своднику, он бросает напрасно. Он не любит ее: она в этом убедилась. Он не желает даже, чтобы за столом она возлежала с ним рядом: он только что просил ее от него отсесть. «Оставьте меня, пустите,— обращается она к друзьям Харисия.— Этот человек ненавидит меня нечеловеческой ненавистью». Мужчины уходят в дом, а появившийся перед публикой Сириск опять пристает к Онисиму, требуя, чтобы тот ответил ему, куда он девал кольцо. Вспышка гнева Габротонон прошла, она уже успокоилась и с любопытством вслушивается в разговор Сириска с Онисимом. В доме Херестрата она уже видела младенца, которого кормила грудью угольщица: это и есть найденный. «Какой славный, бедненький!» Значит, угольщица ему не родная мать. Габротонон уверена, что ребенка родила какая-нибудь обольщенная девушка: не так давно она сама была на Таврополиях свидетельницей подобного же несчастья, сама видела пострадавшую, слышала, что она говорила своим подругам. Онисим вставляет циничные замечания: зная профессию Габротонон, он высказывает сомнение, что она могла быть допущена на девичий праздник. Но Габротонон серьезно и просто, с большим достоинством, отвечает Онисиму: да, в минувшие Таврополии она действительно играла на кифаре девушкам. Ведь она «еще не знала тогда, что такое мужчина». На протяжении всей этой сцены чрезвычайно контрастно выступают перед зрителем два совершенно различных характера: эгоист Онисим, раб, избалованный сытой, праздной жизнью, трус и наглец, и рабыня Габротонон, нравственный облик которой выступает перед зрителями все более и более прекрасным. Образ Габротонон не ходулен, он реалистичен: Габротонон жалеет ребенка, жаль ей и оскорбленную, несчастную девушку, которой она хотела бы помочь, но в то же время в ее голове возникает надежда и на возможность путем устройства чужого счастья добыть себе свободу. Тут же придумывает она смелый план: искать мать ребенка лишь после того, как будет найден отец. Вырвать признание у Харисия, если только отец найден, она хочет хитростью. Габротонон сама представится потерпевшей: наденет кольцо на палец, придет с ним к Харисию и, когда тот спросит, откуда у нее перстень, напомнит ему о ночном происшествии. Потом она объявит, что родила от него ребенка, и покажет младенца. Если ей удастся все это устроить, она осторожно, не торопясь, примется разыскивать мать. Онисим одобряет план, но ему и завидно, и обидно: ведь Габротонон, чего доброго, в самом деле получит свободу. А вдруг, обманув Харисия и прикинувшись матерью, Габротонон бросит дальнейшие поиски и сама выйдет за Харисия замуж. Пускай тогда Габротонон поостережется: она у него в руках.

Сценой этой заканчивается первая, хорошо сохранившаяся часть комедии. Дальше идут жалкие папирусные обрывки, но из дальнейшего ясно, что разговор Габротонон с Харисием состоялся и что он поверил ей. Новый небольшой фрагмент связного текста дает нам короткую, но громадной драматической силы сцену. Габротонон с ребенком на руках выходит из дверей дома Херестрата и сталкивается с убитой горем Памфилой; она тотчас

узнает девушку, которую встретила на Таврополиях. Габротонон окликает ее, и Памфила останавливается. Менандр дерзнул вывести на проскении замужнюю женщину, мать незаконнорожденного, обманутую свободную девушку, чего римская комедия себе не позволяла: как правило, такой персонаж действует за сценой. Памфила узнает свои украшения на ребенке и, недоумевая, волнуясь, осторожно спрашивает остановившую ее женщину, откуда у нее этот ребенок. Габротонон спешит пояснить, что это не ее ребенок, что настоящую мать она сама ищет и что, сдастся ей, она ее теперь нашла. Габротонон напоминает Памфиле о Таврополиях. «А кто же отец?» — задает вопрос Памфила и слышит ошеломляющий ответ: «Харисий».

Это центральная сцена, ломающая линию движения пьесы. Непосредственно затем следуют два монолога: один — Онисима, определенно комический, другой — серьезный, почти трагический, произносимый Харисием.

Впервые в греческой литературе мы встречаемся с настоящим, в теперешнем смысле этого слова, драматическим монологом. Выход Харисия, содержание речи которого Менандр хотел, несомненно, подчеркнуть, искусно подготавливается предшествующим ему выступлением Онисима. Тема обоих монологов общая: впечатление, какое произвел на Харисия случайно подслушанный разговор Смикрина и Памфила. Стоя у двери, Харисий слышал, как Памфила отказала отцу в его просьбе начать дело о разводе, несмотря на то, что и ей известно, что у мужа имеется незаконный ребенок.

Я с мужем жизнь делю
И не должна бросать его в несчастии⁶.

(539—540)

По ходу пьесы зрители знают, что разговор отца с дочерью предшествовал встрече Габротонон с Памфилой и что вместе со всеми Памфила считает матерью ребенка, принесенного в дом Херестрата угольщицей, не себя, а другую, неизвестную женщину. Благородство Памфила перерождает Харисия: надменному юноше, заботящемуся о внешних приличиях и с философским спокойствием рассуждающему о том, что такое добро и зло, становится стыдно. Он вдруг понимает, что его жена, которую он готов был считать порочной, нравственно и сильнее, и выше его. Она простила ему ребенка, случайно прижитого им на стороне, а когда точно такое же несчастье постигло и Памфила, у него, «безжалостного варвара», прощения для нее не нашлось. Это внезапное и бурное перерождение человека подается публике сперва в комических красках, каким оно отразилось в жалком сознании Онисима, которому странное поведение хозяина кажется припадком бешенства.

...И вдруг ударил он
Себя по голове...
Прослушав все, к себе ушел он в комнату,
И началось рванье волос, рыдание,
Впрямь сумасшествие...

(507—511)

⁶ Все цитаты из Менандра и нумерация стихов даны по переводу Г. Ф. Церетели (Менандр. Комедии. Перевод с греческого, статьи и комментарии Г. Ф. Церетели. «Academia», 1936).

Заслышав шаги хозяина, Онисим прячется, а Харисий выходит и произносит свой монолог:

Вот он — безгрешный, доброй славы ищущий.

Он — незапятнанный, безукоризненный.

Невольный грех жены невыносим тебе?

Я докажу, что сам ты впал в такой же грех!

(526—534)

Здесь папирус обрывается вновь. Большая лакуна отделяет эту часть от заключительной, сохранившейся хорошо и, несомненно, уже совсем близкой к окончанию пьесы. На проскении старик и старуха: тесть Харисия Смикрин и Софрона, пожилая рабыня, няня Памфилы. Сцена выдержана в ярко комическом тоне. Смикрин перед дверью дома Харисия запальчиво спорит с Софроной, прося ее уговорить свою питомицу развестись с мужем. Смикрин долго и раздраженно стучится в дверь, которую, наконец, медленно открывает перед ним Онисим. Последний держит себя очень важно, самоуверенно, почти нагло, так как положение вещей в доме переменялось и ему нечего теперь бояться: все прояснилось. Онисим советует старику успокоиться и войти в дом, чтобы взять на руки и помянуть «пятимесячного» внука.

По сравнению с «Третьим судом» текст комедии «Отрезанная коса» в Каирском кодексе значительно более фрагментарен, но он существенно дополняется Оксириинскими, Гейдельбергскими и Лейпцигскими папирусными отрывками этой комедии.

Общий ход фабулы во всяком случае можно установить с большой ясностью. Задача облегчается также наличием в начале сохранившейся части Каирского папируса интересного пролога, рассказывающего о событиях, предшествующих самой пьесе, и произносимого Неведением, которое Менандр вывел в образе богини.

Как в «Герое» и «Третьем суде», так и здесь в основу сюжета положен все тот же мотив брошенных детей, но развит он Менандром по-новому. Жена богатого афинского купца Патека родит двойню — мальчика и девочку — и умирает в родах. Почти одновременно Патек получает известие о гибели торгового судна, в которое он вложил все свое состояние. Богатый купец неожиданно оказывается разоренным и решает бросить детей, прокормить которых он не в состоянии; доверенный раб относит новорожденных в лес. Там их подбирает бедная старушка. Одного из найденнейших, мальчика по имени Мосхион, ей удается отдать богатой афинянке Миррине. Девочку Гликеру она оставляет себе. Мосхион растет в довольстве, на правах сына богачки Миррины, и через восемнадцать лет становится холерным, избалованным праздной жизнью молодым человеком. Судьба Гликеры другая. Бедность заставляет старушку уступить свою красивую молодую воспитанницу пылко в нее влюбившемуся Полемону, коринфскому офицеру, хилиарху, который делает ее своей любовницей. К началу пьесы старушка уже умерла, но перед смертью успела сообщить девушке, что у той есть брат, воспитанный богатой Мирриной. Действие происходит в Афинах, где Полемон живет вместе с Гликерой в доме, находящемся как раз по соседству с домом Миррины. И вот однажды, когда в отсутствие Полемона Гликера стоит одна у ворот своего дома, с ней завязывает знакомство Мосхион: девушка Мосхиону нравится, он с нею шутит и, не встречая отпора, подходит к ней и целует. Гликера не отбивается, зная, что молодой человек ее

брат, но неожиданно возвращающийся домой Полемон оказывается свидетелем этой сцены. В диком порыве ревности, не помня себя от негодования, он своим боевым мечом отрезает Гликере косу; отсюда и заглавие пьесы, действие которой начинается с этого момента.

Полемон не хочет больше видеть Гликеру. Оставив в доме несколько человек солдат сторожить изменницу, сам он в сопровождении Сосии, прислуживающего ему воина, уезжает в деревню недалеко от Афин, где в пьяных кутежах с приятелями пробует забыть свое горе. Очень скоро, однако, он посылает верного Сосию в Афины, будто бы за плащом, а в действительности с целью узнать, что делается с Гликерой. Добродушный Сосия забирает плащ и возвращается к Полемону, не приметив ничего особенного. А между тем Гликера испытывает чувство глубокой обиды за нанесенное ей оскорбление и, опасаясь новых буйств со стороны Полемона, собирается просить Миррину разрешить ей временно перебраться к ней. Через свою служанку Дориду, молодую рабыню, принадлежащую ей или, что более вероятно, Полемону, она сносится с Мирриной, принимающей в Гликере живое участие и радушно предоставляющей ей приют. Свидетель переселения Гликеры к Миррине, раб Мосхиона Дав, которому хорошо известно, что его молодой хозяин недавно обнимал и целовал соседку, ошибочно думает, будто Миррина ввела Гликеру в свой дом ради сына, дабы облегчить ему сближение с ней: «Вот это, называется, мать», — с изумлением и восторгом восклицает Дав и бежит известить обо всем Мосхиона.

После антракта (в папирусе имеется пометка «хор») новая сцена, выдержанная в подчеркнута комических, грубоватых тонах, дает ясную характеристику двух отрицательных образов — Мосхиона и его раба. Мосхион, пустой, самоуверенный юноша, с гордостью заявляющий о себе, что он «имеет успех у гетер», убежден, что Гликера в него влюбилась, а проницательный, лживый, но мало сообразительный Дав старается уверить Мосхиона, будто это именно он, Дав, уговорил Гликеру переселиться к ним, а Миррину — принять ее.

В сцене, следующей за этой, элемент комизма еще более усиливается. После ухода Мосхиона и Дава к дому Полемона приближается Сосия, снова присланный в качестве соглядатая. Его встречает Дорида. Вскоре Сосия замечает исчезновение Гликеры и немедленно поднимает шум; он громко стучит в дверь дома Миррины. В дверях показывается Дав, и между ним и Сосией завязывается перебранка. Сосия угрожает разрушить дом, Дав отвечает ругательствами и смеется над оторопевшими воинами, не решающимися вломиться в двери свободной гражданки. Лишь с трудом под самый конец Дориде удается крикнуть Сосии, что Гликера ушла не к Мосхиону, а к Миррине, чему тот мало верит.

Вслед за лакуной идет сохранившаяся в Лейпцигских фрагментах полукомическая, полусерьезная сцена, показывающая зрителям силу привязанности Полемона к Гликере. Внешняя обстановка картины очень близка к буффонаде: подвыпивший Полемон во главе отряда солдат, сопровождаемый пьяным Сосией и веселой флейтисткой, играющей на флейте боевой сигнал, собирается идти штурмом на дом Миррины. Его останавливает разумным словом близкий друг его и старший товарищ Патек, отец Мосхиона и Гликеры, за восемнадцать лет, прошедших со времени катастрофы, ставший опять богатым. Он доказывает Полемону незаконность его затеи: не будучи формально женатым на Гликере, он не может, говорит Патек, иметь на нее никаких прав. «Но считал-то я ее своей законной женой», — негодует Полемон. «Не кричи», — останавливает его Патек. Пока Гликера не замужем, она сама себе госпожа; вольно было ей полюбить Полемона, вольно теперь раз-

любить. Силой здесь ничего не возьмешь, тут одно только средство: убеждать, просить. Полемоном овладевает страх: неужели он навсегда потерял Гликеру. «Гликера меня покинула, Патек! Покинула меня Гликера!» (ст. 244 слл.),— в отчаянии повторяет он и умоляет Патека пойти к ней посланцем.

Заканчивается сцена бытовой и вместе с тем тонкой психологической деталью: не зная, каким способом дать лучше всего почувствовать другу всю силу своей любви к бросившей его женщине, Полемон ведет Патека к себе в дом, чтобы показать ему, какие удивительные наряды дарил он своей Гликере.

Сцена пустеет, воины удаляются, вслед им с порога своего дома шлет насмешки Мосхион, все еще продолжающий верить, что Гликера сейчас позовет его. На монологе Мосхиона фрагмент обрывается.

Три новых отрывка принадлежат уже заключительной части комедии: происходит раскрытие тайны рождения сестры и брата. Патек перед домом Миррины, выполняя поручение друга, говорит с Гликерой. В первом (Каирском) отрывке Гликера держится очень гордо: она чувствует себя оскорбленной не только сумасбродным поступком Полемона, но и подозрениями самого Патека, думавшего, как и другие, что она действительно изменила своему любовнику. Второй фрагмент (тоже Каирский) дает продолжение разговора Патека и Гликеры. Гликера желает иметь при себе шкатулку, с которой она никогда не расстанется и которую она забыла в доме Полемона. Патек находит это желание «смешным», но соглашается выполнить его, и Дорида приносит Гликере ее шкатулку. В третьем фрагменте (Лейпцигском) Гликера на глазах Патека вынимает из шкатулки драгоценности, и Патек узнает в них вещи своей покойной жены. Он рассказывает Гликере о своем былом разорении, Гликера говорит Патеку о брошенном вместе с нею в лесу брате, а незаметно подкрадываясь и подслушивавший их беседу Мосхион понимает, что он сын Патека, а Гликера ему сестра и что, значит, любовная связь с ней для него невозможна.

Заключительный (Оксиринхский) фрагмент комедии содержит две сцены: в первой дается диалог Полемона и Дориды. Стоя перед дверью своего дома, Полемон волнуется, переходит от надежды к сомнениям, обещает завтра же дать Дориде вольную, если ей удастся уговорить Гликеру. А Дорида успокаивает хозяина, уверяя его, что Гликера к нему вернется, потом бежит в дом к Миррине и возвращается с успокоительной вестью: Гликера сейчас пожалует. «Нет, ты смеешься»,— и верит, и не верит Полемон. «Придет, клянусь Афродитой»,— отвечает Дорида, и оба они уходят в дом готовить Гликере встречу. Во второй сцене, в папирусе непосредственно следующей за первой, из дома Миррины выходят Гликера и Патек и просят вызвать к ним Полемона. Но тот и сам спешит, без всякого зова. Тогда Патек торжественно предлагает ему свою дочь в законные жены «и приданого три таланта». Полемон в восторге и обещает исправиться, лишь бы теперь с ним примирилась Гликера. Та прощает его: «Твое неистовство стало началом нашего нового счастья; поэтому ты и получил от меня прощение». Кончается пьеса двойной свадьбой: Патек нашел невесту и для своего сына. «Сыну в жены,— обращается он к присутствующим,— беру я дочку Филина». На этих словах комедии обрывается окончательно.

От четвертой комедии Каирского папируса «Самиянки» дошла только середина: ее начало и конец пропали.

Ребенок, родившийся от внебрачной связи, отдан женщине, которую люди, не посвященные в тайну, принимают за его мать,— таков основной сюжетный мотив «Самиянки». Сцена изображает два дома. В одном живет

старик Демей, богатый афинянин, в другом его друг Никерат, тоже старик и тоже афинянин, но человек бедный. У Никерата жена и взрослая дочь Планго, Демей живет со свободной уроженкой острова Самоса, молодой Хрисидой. Он полюбил ее, когда она была в большой бедности, избавил от нищеты, привез в Афины и сделал не только своей любовницей, но и полной хозяйкой в доме. Кроме Хрисиды у Демей есть и другой близкий человек — Мосхион, его приемный сын, дельный и честный юноша. Ни Демей, ни Никерат не знают, что Мосхион любит Планго, и что она родила от него ребенка; это известно только матери девушки, самому Мосхиону, его старой няне и рабу Демей Парменону. По ходу пьесы видно, что одновременно с Планго и Хрисидой родила ребенка от Демей, когда оба старика находились в отъезде. Ребенок Хрисиды умер, и Планго, стремившаяся скрыть свое материнство, передала новорожденного Хрисиде. Демей, когда он вернулся — так, по крайней мере, мы вправе предполагать, исходя из последующего течения пьесы, — Хрисидой сказала, что вместо умершего ребенка она взяла на воспитание чужого, причем Демей — это совершенно ясно из сохранившейся части комедии — долго не соглашается принять ребенка и уступает Хрисиде лишь после долгих и настойчивых просьб.

Уцелевшая часть комедии открывается приготовлениями к свадьбе: Демей решил женить Мосхиона на дочери своего друга, Планго. Об истинных отношениях молодых людей он еще ничего не знает. В доме готовятся к свадебной пирушке. Распоряжается всем Хрисидой, но помогает ей и сам Демей. Раб Парменон уже ушел на рынок, откуда должен привести повара.

В общей суматохе всеми забытый ребенок оставлен на постели один и заливается горьким плачем, а Демей в длинном монологе сообщает зрителям о том, что его только что взволновало. Стоит он, рассказывает Демей, сейчас в кладовой, которая помещается рядом с комнатой, где лежит ребенок, и слышит, как вошла к ребенку старая няня Мосхиона и принялась ласкать и укачивать маленького и как затем стала ворчать на одну из служанок, тоже заглянувшую в комнату. «Да вымойте вы ребенка-то, — говорит она ей, — что же это в самом деле? Отец справляет свадьбу, а о его малютке у вас и заботы нет». — «Что ты такое болтаешь, несчастная, — испуганно шепчет служанка, — сам здесь». — «Да что ты? Где?» — «В кладовой». Потом уже другим голосом: «Сама зовет тебя, няня». И снова шепотом: «Скорее иди! Все ладно: ничего не слышал». Демей не верит своим ушам: от него зачем-то скрывали, что ребенок, которого он принял в дом, сын Мосхиона. Кто же его мать? Демей выходит из кладовой, сдерживая себя, делая вид, будто он ничего не слышал. Но вот, проходя к себе, он замечает Хрисиду, которая любовно дает маленькому грудь. И Демей вскипает. Ему кажется, что он понял все: мать ребенка, конечно, сама Хрисидой. Но неужели Мосхион, этот честный юноша, преданный сын, способен так гнусно его обманывать?

Монолог кончен. С рынка возвращается Парменон. Демей безуспешно пробует допросить его и снова теряется в бесплодных, противоречивых догадках. Все сильнее нарастает у Демей чувство горькой обиды, особенно на Хрисиду, так коварно отплатившую за его доброту; возмущение его ищет выхода. Демей — человек горячий. В новом большом монологе он опять стремится понять, как мог Мосхион совершить преступление, по отношению к нему, и вдруг понимает: виноват не Мосхион, виновата она, самиянка, порочная женщина, обольстившая чистого юношу. Демей охватывает ярость, и в ослеплении он безжалостно выгоняет Хрисиду из дома вместе с изменницей нянькой и злосчастным ребенком, жестоко и грубо советуя изгоняемой заняться ремеслом гетеры.

В эту драму Менандром введен комический момент появления веселого и болтливого повара. Повар недоумевает: его наняли готовить обед по случаю праздника, а вместо радостных лиц он застаёт переполох в доме, видит перед собой беснующегося старика, которого он страшится. Фарс кончается тем, что повар спасается от Демея, убегая на кухню.

В это время приближающийся к своему дому бедняк Никерат с купленными к свадьбе дочери тощими жертвенными животными останавливается у двери и видит плачущую Хрисиду. Папирус здесь обрывается, но из сцены, которая сохранена фрагментом, идущим вслед за лакуной, видно, что Никерат, возмущенный несправедливым и грубым поведением старого друга, дает приют несчастной Хрисиде и ребенку.

К концу третьего акта, начало которого пропало, Демея уже знает, что мать ребенка Планго, а не Хрисиды, и раскаивается в своей горячности. В то же время Никерату становится известным, что ребенок, из-за которого пострадала Хрисиды и которого он сердобольно приютил у себя, является позорным плодом тайной связи Планго с Мосхионом. Никерат впадает в ужасный гнев: не менее вспыльчивый, чем Демея, он грозит убить ребенка и, собираясь бросить его в огонь, с толстой палкой в руках гонится за перепуганной на смерть Хрисидой, которая, мужественно спасая младенца, выбегает, держа его на руках, на сцену. Хрисиды снова на улице, снова лишена крова. Но к счастью для нее положение вещей стало как раз обратным тому, каким оно только что было, и если недавний защитник Хрисиды Никерат превратился в злейшего ее врага, то прогнавший ее Демея снова любит ее, распахивает перед ней дверь, зовет в дом и, храбро бросаясь навстречу разъяренному Никерату, вступает с ним в схватку. Комическая картина борьбы сцепившихся стариков сменяется их примирением. С большим трудом Демее удается вернуть Никерата к рассудку; он уверяет друга, что ему незачем волноваться: Мосхион женится на Планго.

После антракта новое действие открывается монологом Мосхиона. Молодой человек раскрывает зрителям свои переживания. Счастлив ли он? Да, в первое мгновение, когда ему удалось, наконец, очистить себя перед отцом от тяжкого обвинения, он, действительно, считал себя совершенно счастливым; теперь же в нем заговорила обида на отца за пережитое унижение. Не будь ребенка, и не любил он Планго, он уехал бы из Афин куда-нибудь в Бактрию или Карию и стал бы там наемным солдатом. Но сейчас он не может никуда уехать и, разумеется, не уедет: он задумал другое. Ему хочется сделать вид, будто он уезжает; пусть отец попросит его остаться. Подошедшего Парменона Мосхион посылает в дом вынести ему меч и дорожный плащ. Парменон возвращается к Мосхиону с вестью, что там уже все готово и ждут только его прихода к столу; Мосхиона берет сомнение: хорошо, если отец попросит его остаться, а вдруг он его отпустит. Как будет он тогда смешон. На этом папирусный текст обрывается.

2. Фрагменты комедий Менандра

Комедии Менандра «Герой», «Третейский суд», «Отрезанная коса» и «Самиянка», хотя и недостаточно полно, все же возвращены нам Каирским папирусом Лефевра в больших и связанных отрывках. По сравнению с ними то, что частично дошло до нас на клочках папируса и пергамента от других его комедий, бесконечно более скудно. Так, от комедии «Земледелец» сохранилось лишь около 100 стихов, столько же приблизительно от «Кифариста», около 120 от «Льстеца» (или «Парасита»), немного больше 50 от «Привидения», еще меньше от комедий «Отправляющиеся»,

«Ненавистный» и «Перинфянки». Сколько-нибудь восстановить фабулу пьес по столь малым отрывкам, конечно, не представляется возможным. В самых общих чертах намечается лишь тема «Земледедца». Миррина, бедная женщина, имеет двух взрослых детей — юношу Горгия и девушку, имени которой в тексте не сохранилось. Девушку любит богатый молодой сосед и вступает с ней в связь; она беременеет. Все это держится в тайне от Горгия, работающего батраком у богатого земледельца Клеэнета. Последний во время работ в винограднике опасно ранит себя лопатой и тяжело заболевает, но заботами Горгия поправляется и в благодарность за это хочет взять его сестру себе в жены. А богатому юноше, влюбленному в дочь Миррины, грозит брак с другой девушкой, выбранной ему в жены отцом. Такова, по-видимому, завязка пьесы, дальнейшее содержание которой остается загадкой. Совершенно невозможно наметить, хотя бы приблизительно, фабулу других комедий Менандра, известных нам либо по заглавиям, либо по небольшим цитатам из них. Только сюжет комедии «Ненавистный» открывается нам в главных линиях, так как эта пьеса часто упоминается позднейшими авторами. Главному действующему лицу — Фрасониду, грубоватому воину, но искреннему, доброму человеку, достается молодая пленница Кратия, дочь свободных родителей. Фрасонид влюбляется в нее, но та отвергает его любовь. Страсть Фрасонида разгорается все сильнее, но он не хочет применять насилия, а стремится покори́ть сердце девушки лаской и внимательным с ней обхождением. Однако все старания Фрасонида напрасны, и он жестоко страдает⁷.

Новым шагом в изучении творчества Менандра следует считать опубликование русским академиком В. К. Ернштедтом работы «Порфирьевские отрывки из аттической комедии», посвященной исследованию остатка рукописи IV в. до н. э. с отрывками из комедии «Видение» и «Третьейский суд». Эти отрывки были найдены и привезены в Россию из монастыря на Синае Порфирием Успенским в 1855 г.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ АТТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ

Новая аттическая комедия восходит, с одной стороны к древней комедии, а с другой, как на это уже не раз указывалось, — к Эврипиду. Подобно древней комедии она кладет в основу сюжета не миф, а свободный вымысел; ее действие происходит не в прошлом, как это бывает в трагедии, а, как и в древней комедии, в настоящем. В качестве отдаленного пережитка комоса в ней остается традиционный хор, хотя действенной роли в пьесе он уже не играет. Вместе с тем в отличие от древней комедии в ней совершенно нет непристойных слов и положений, совсем исчезает политическая тематика. От шаржа и карикатуры новая комедия также почти вовсе отказалась.

Но если она значительно отошла от характера древней комедии, то в ней имеется много черт, общих с Эврипидом. Это сказывается прежде всего на конструкции самого сюжета, развивающегося у Менандра средствами драматической интриги, впервые введенной именно Эврипидом. В этом отношении особенно показателен «Ион», сюжет которого, как и у Менандра, построен Эврипидом на теме брошенного ребенка. Уже взрослым герой опознает мать по вещам, оставленным при ребенке. Обращение действующего лица к зрителям формально издавна существовало в древней

⁷ Среди последних папирологических находок оказался почти полный текст комедии «Ворчун».

комедии⁸, но техника драматических монологов того типа, какой мы наблюдаем, например, в речи Харисия в «Третьем суде» или в речи Мосхиона к публике в «Самиянке», безусловно, обнаруживает родство с техникой построения аналогичных монологов у Эврипида, которые, правда, обращены к хору: один из лучших образцов подобных монологов, раскрывающих публике психологическое состояние говорящего, мы находим у Эврипида в «Медее».

Менандра с Эврипидом роднят также прологи, где у обоих выводится бог, который обращается к публике с длинным монологом, знакомящим зрителей с событиями, предшествующими началу пьесы, и вводящим их в драматическую интригу. Прекрасным примером такого пролога служит речь Неведения в начале комедии «Отрезанная коса», обращенная непосредственно к зрителям.

...Все это загорелось
Ради грядущего, чтоб воин в гнев пришел
И дети обрели своих родителей.

(48—52)

Речи Неведения аналогичны другим подобного же типа прологи: Обличения в одной из недошедших до нас пьес Менандра (фрагмент 545 в издании Кокка), Воздуха у Филемона (фрагмент 91) и Героя, который фигурирует в списке действующих лиц первой комедии Каирского папируса. Драматическая функция всех этих персонажей совершенно та же, что и функция богов-прологистов, нередко выступающих в трагедиях Эврипида. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы речь Афродиты в прологе «Ипполита» или речь бога смерти в «Алкестиде».

И, конечно, то совершенство драматического изображения внутренних переживаний героя, какое мы видим у Менандра, во многом тоже подготовлено мастерством Эврипида. Только, исходя из особенностей самого жанра, Менандр вместо изображения трагизма страстей, драматически передает различные, порой очень мелкие черты человеческого характера; Менандр пишет комедии, поэтому он так или иначе обязан создавать комизм положений.

По мнению поэтов новой комедии, в жизни людей действуют две главные силы: случайность и человеческий нрав. В конце комедии «Третьей суд», когда Смикрин призывает бессмертных богов в свидетели неслыханных трат, творимых Харисием, скептик Онисим уверяет сварливого и жадного старика, что богам до людей нет никакого дела. Им некогда заниматься людьми.

Неужто у богов есть столько времени,
Чтоб каждодневно каждому в отдельности
Давать, Смикрин, то счастье, то несчастье.

(619—621)

Нет, не боги распоряжаются нами, а собственный нрав

...Наш постоянный страж,
Он губит тех, кто плохо с ним обходится,
Других же милует... Вот он и есть наш бог!
И счастья и несчастья он причиною.

(630—633)

⁸ Ср., например, у Аристофана обращение к публике раба Ксанфия в «Осах» (ст. 54 сл.).

Чтобы быть счастливым, человек должен уметь управлять собственным нравом, а для этого ему необходимо прежде всего осознать его. Случайность ставит человека в те или иные условия, на которые он реагирует в зависимости от своего характера. Каждая из комедий Менандра, собственно, и заключает коллизию случая и характера. Движение пьесы Менандра определяется при этом не столько силой внешних событий, сколько действиями персонажей, следующих внутренним импульсам, источником которых каждый раз служит характер, или нрав (*ἦθος*), действующего лица.

Внешние события происходят иногда даже за пределами пьесы, и зрителям рассказывается о них в прологе, содержанием же самой пьесы являются лишь переживания действующих лиц в связи с событиями, которые произошли до ее начала. Поэтому у Менандра разнообразны не события, а характеры.

Сюжеты однообразны. Так, с удивительным постоянством даже в том скудном материале, каким мы сейчас располагаем, повторяются три сюжетных мотива: 1) тайного материнства, 2) брошенного ребенка и 3) опознания этого ребенка родителями по приметам — по вещам, положенным ими при ребенке. Необходимо, однако, заметить, что этот шаблон имеет у Менандра необычайно богатые варианты: то этот ребенок, как в «Отрезанной косе», уже вырос, то он еще маленький («Самиянка», «Третейский суд»); в иных случаях ребенок один, в иных двое. брат и сестра, либо разлученные, подобно Мосхиону и Гликере, либо живущие вместе у приемных родителей, как, например, в «Герое». «Герой», «Третейский суд». «Отрезанная коса», «Самиянка», «Земледелец» — все пять комедий построены на одном и том же стандартном мотиве, а между тем их фабулы самостоятельны и не похожи одна на другую.

Для сюжета новой комедии исключительно важной, бесспорно, является тема любви: у Менандра фабула всегда построена на любовной интриге. Возмозно, что и здесь следует усматривать некоторое влияние творчества Эврипида, который трагическим изображением любовной страсти открыл новые пути античной литературе и показал греческим драматургам, какие широкие сценические возможности лежат в этой теме. Исторически важно, что именно начиная с Менандра в комедии прочно утверждается любовная тема, оказывающаяся впоследствии типичной и для новой европейской драмы. Использование мотива любви в качестве главного рычага, приводящего в движение действие, в драматургии того времени было новостью; теснейшая связь комедий Менандра с любовной тематикой была отмечена еще в античности. «Ни одна комедия восхитительного Менандра не обходится без любви», — пишет Овидий⁹, а Плутарх указывает, что решительно во всех драмах Менандра есть нечто, их объединяющее, а именно любовь, охватывающая их как бы единым общим дыханием»¹⁰.

Кончатся комедия должна была благополучно, и, насколько мы можем судить по имеющимся фрагментам, пьесы Менандра, по-видимому, чаще всего завершались мотивом радостной свадьбы. В принципе подобное окончание было тоже старым шаблоном: ведь и в древней комедии одним из излюбленных мотивов эксада являлась, как известно, веселая брачная пирушка, устраиваемая за сценой. Свадьба обычно завершает пьесу и в новой комедии, но это становится естественным окончанием самой фабулы.

⁹ «Печальные элегии», II, 369.

¹⁰ De amore, I.

Молодые люди, которые до этого жили в бедности и трудах или находились на положении рабов, оказываются вдруг свободными и богатыми; незаконнорожденные неожиданно признаются детьми свободных и богатых родителей; тайная связь девушки с юношей освящается браком, и родившийся от этой связи, подкинутый или скрываемый ребенок получает официальное признание общества.

Трафаретности сюжетной схемы соответствует столь же закономерное постоянство ограниченного числа бытовых типов, выступающих в новой комедии, сюжет которой неизменно вставляется в рамки семейной драмы. Представлена обыкновенно одна определенная общественная группа: как правило, семья принадлежит к богатым кругам образованных, культурных Афин III в. до н. э. Постоянной фигурой новой комедии является богатый, но скуповатый старик, отец юноши или девушки (Смикрин из «Третьейского суда»). Обычно он раздражителен и находится в оппозиции либо к зятю, либо к непослушному неженатому сыну.

Другой непрменный персонаж новой комедии — молодой человек, сын богатых родителей. Он либо повеса, легкомысленный ветреник, либо серьезный, вдумчивый юноша; иногда он женат (Харисий в «Третьейском суде»). Постоянен также образ свободной девушки (Планго — «Герой», Гликера — «Отрезанная коса») или молодой замужней женщины (Памфила — «Третьейский суд») — образ положительный. Излюбленным персонажем оказывается также старая рабыня, няня (например в «Самиянке»), по драматической роли отчасти близкая кормилицам в трагедиях Эврипида. Постоянные персонажи новой комедии, без которых не обходится ни одна пьеса, — это домашние рабы. Особо важная роль принадлежит тому из них, господином которого является юноша (таков раб Парменон в «Самиянке»). В основном он помогает хозяину, хотя и обманывает его в мелочах; он и боится хозяина, и дерзит ему. Комические эффекты, особенно грубоватые шутки и трафаретные сценические трюки, вводятся Менандром в большинстве случаев в выступления именно этого персонажа. Несравненно бледнее роль молодой рабыни, домашней прислужницы (например Дорида в «Отрезанной косе»), всегда положительной, добросовестно старающейся помочь несчастной молодой героине. Неоднократно выступают в новой комедии и гетеры. Этому традиционному образу древней комедии, у Аристофана еще совсем бледному, а в средней комедии обрисованному отрицательно, Менандр дал новую, оригинальную трактовку, по крайней мере в одном случае (положительный образ Габротонон в «Третьейском суде»). В новой комедии встречаются и другие лица: например, характерная фигура повара («Третьейский суд», «Самиянка») или более редкие типы рабов, занятых трудом в сельском хозяйстве, а не услугами в доме (пастух, угольщик в «Третьейском суде»). Мы видим интересную бытовую фигуру старца-бедняка (Никерат в «Самиянке»), совсем не похожую на трафаретный тип старого богача-скупца (Смикрин в «Третьейском суде»).

Каждый из этих типов имеет постоянную, хотя и несколько варьирующуюся маску: так, маска старика всегда снабжается бородой, а юноша должен быть безусым и безбородым; маска девушки также имеет свою специальную характеристику и т. д. Уже по одной маске актера зритель сразу догадывается, каков характер персонажа, вышедшего на просцений. Сходные типы носили в комедии одни и те же, постоянно повторявшиеся, как бы закрепленные за данными персонажами, имена. Планго, например, было именем, которым охотно называли свободную молодую девушку; имя Дав неизменно означало раба, Габротонон — прилагалось к гетере. В пяти из немногих известных нам пьес Менандра молодой человек носит имя Мосхион;

в четырех различных комедиях имя Лахет обозначает старца. Миррина в трех пьесах является именем пожилой женщины.

Типы новой комедии немногочисленны и условны. Но подобно тому, как бесконечно разнообразится у Менандра его схематичная фабула, совершенно так же дифференцируются у него и традиционные типы, наполняясь живым содержанием. Старые шутовские персонажи становятся реальными людьми. Так, образ солдата-фанфарона, хвастливого воина, издавна полюбившаяся народному фарсу фигура, облекается у Менандра в бытовые одежды и оформляется в глубоко жизненный тип Полемона («Отрезанная коса»). В эллинистическое время в связи с постоянными, непрекращающимися войнами и в самой Греции и на Востоке начинается быстро развиваться наемничество. Одним из таких эллинистических наемников, живущих ремеслом солдата, и вывел Менандр Полемона, коринфского хилиарха. Явственно ощутимый оттенок традиционно присущего этому персонажу комизма сохранился и в образе Полемона: нелепый приказ солдатам сторожить возлюбленную от непрощенного любовника, так же как и безумный план взятия штурмом дома Миррины,— все это фарсовые моменты, непосредственно связанные со старинным использованием этого типа на сцене. Традициона и его основная характеристика: склонность к хвастовству, наивная простота, злосчастная вспыльчивость и ревнивость. образу Полемона родственны фигуры Пиргополиника из комедии Плавта «Хвастливый воин» и Капитана в итальянской комедии масок. Но у Менандра эта фарсовая фигура превратилась в реального человека, из-за своего запальчивого, необузданного характера переживающего глубокую душевную драму.

Дедея, Никерат («Самиянка»), Смикрин («Третейский суд») — это один и тот же тип старика новой комедии, однако каждая из этих фигур резко индивидуализирована. Характером Никерат совсем не похож на Дедею, а Дедея — человек мягкий, добрый и щедрый, хотя и вспыльчивый — не имеет ничего общего со скандальным эгоистом Смикрином. То же наблюдение можно сделать и относительно образов молодых людей в пьесах Менандра. Горячо любящий Памфилу Харисий («Третейский суд»), задумывающийся над вопросами добра и зла, конечно, очень далек, опять-таки не как тип, а как характер, он легкомысленного Мосхиона («Отрезанная коса»). Исключительно богатый материал дают в этом отношении фигуры рабов. Как социальный тип рабы новой комедии одинаковы: все они боятся своих господ, чувствуют унижительную тяжесть подневольного положения. Но каждый из них индивидуален. Согласно привычному сценическому трафарету рабу полагалось обманывать хозяина, а если и помогать ему в интимных делах, то только из страха или в расчете на выгоду. Наиболее отчетливо эти трафаретные черты раба выражены в фигурах Дава («Отрезанная коса»), Парменона («Самиянка») и Геты «Герой». Но в Онисиме («Третейский суд») банальный сценический тип получает тончайшую психологическую разработку и предстает перед нами с такой силой художественной правды, что мы как бы видим его живым, со всеми особенностями сложной психики, присущей ему, как индивидуальному характеру, и как социальному типу. Яркими индивидуальностями оказываются и наивный обманщик Дав, необразованный грубый пастух, и товарищ его Сириск, честный, высокого благородства угольщик («Третейский суд»). Человеком не просто честным, но и возвышенного образа мыслей и чувств показан мечтательный юный раб Дав в «Герое», влюбленный в Планго, молодую служанку. Для античного театра образ такого раба был необычен и противоречил общепринятому воззрению на невольника как на человека, с утратой свободы теряющего и право на уважение.

Общественное значение комедий Менандра было, конечно, огромно, несмотря на то, что он, как впрочем, и остальные поэты новой комедии, стоял далеко от вопросов политики. Ни одно из крупных современных исторических событий не нашло отражения у Менандра. И тем не менее пьесы его были в общественном смысле важны именно потому, что Менандр проводил в них взгляды, примыкавшие к прогрессивным течениям тогдашней философской мысли. В рабе он показывал человека; Менандр сумел показать человека и в гетере. В комедии «Третьейский суд» он сделал куртизанку даже центральной фигурой всей пьесы и в лице Габротонон дал один из привлекательнейших женских образов, нравственно высоких и чистых. Это было ново и интересно. Новой и, несомненно, противоречившей воззрениям большинства античных зрителей была и мысль о равенстве мужа и жены. Все это шло в разрез с общепринятым мнением, и именно в этом расхождении этических воззрений Менандра с ходячими взглядами общества его времени отчасти следует, быть может, усматривать причину того, что на драматических состязаниях Менандр так редко получал первую награду.

Пишет Менандр аттическим, современным ему, разговорным языком, близким к повседневной речи афинских образованных городских слоев; слова грубые, площадные у него почти совершенно отсутствуют. Грамматически язык Менандра един, но он индивидуализируется в зависимости от типа персонажа: раб говорит не так, как хозяин раба, простой пастух иначе, чем городской повар, а речь образованного Харисия, даже когда он испытывает глубочайшее душевное потрясение, звучит совсем иначе, чем страстные, тоже согретые жарким чувством, но внешне грубые выкрики Полемона, произносимые в аналогичный момент отчаяния. Хотя уже у Эврипида и даже у Софокла не все действующие лица говорят одинаково, такая разработанная индивидуализация речи была в греческой литературе опять-таки явлением новым и драматургически очень ценным.

Сила Менандра как писателя и стилиста заключена также и в его мастерстве стиха: простоту разговорного языка Менандр сумел так прочно спаять с обязательной для комедии стихотворной формой, что повседневная афинская речь продолжает и в стихах оставаться такой же естественной и свободной, как если бы она совсем и не сдерживалась размером.

Как было сказано, за время византийского средневековья новая аттическая комедия в своих оригинальных образцах исчезла: только в 1905 г. находка Лефевра дала нам фрагменты четырех подлинных пьес Менандра. Но через посредство римских подражателей — Плавта и Теренция — эта комедия оказала сильнейшее влияние на новую европейскую драму и даже на всю европейскую литературу. Творчество Кальдерона и Лопе де Вега связано с римской комедией, а «Комедия ошибок» Шекспира целиком построена на фабуле «Близнецов» Плавта, комедии, греческим образцом которой послужила, по-видимому, комедия Посидиппа. Увлекается римской комедией и усердно следует ей и Мольер, одна из наиболее знаменитых пьес которого — «Скупой» — обнаруживает теснейшую зависимость от комедии Плавта «Клад», в свою очередь являющейся переделкой новой аттической комедии¹¹. Та же античная комедия характеров дает свежие силы и молодым

¹¹ Крупнейший из новых знатоков Плавта Фридрих Маркс считает, что «Клад» восходит не к Менандру, как думали раньше, а к Дифилу (См. *Plautus. Rudens. Text und Commentar von Friedrich Marx. Leipzig, Hirzel, 1928.* «Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften», Bd. XXXVIII, IV, V, стр. 293 слл. и 313 слл.) Академик М. М. Покровский считает, что пролог к «Кладу», родственный по теме прологу «Каната», — боги награждают людей благочестивых — был бы не в духе Менандра, по воззрениям которого счастье и несчастье людей зависят только от игры случая.

писателям XVIII столетия в их борьбе со старыми литературными формами, причем влияние и здесь, конечно, оказывает не греческий оригинал, а лишь его римская копия. Драматургическим приемам этой римской комедии в XVIII в. следует и итальянец Карло Гольдони в своих венецианских народных комедиях, и Людвиг Гольберг, основатель новой датской литературы.

Да и сам Лессинг в беспощадной войне, объявленной им французскому псевдоклассицизму, опирается на античную драму характеров: ряд образов его «Минны фон Барнгельм», этой первой крупной национальной немецкой драмы, восходит к сценическим типам античной бытовой комедии. Скажем больше: и наша собственная бытовая, глубоко национальная комедия Островского многими формальными приемами в конечном счете связана с новой аттической комедией, иначе говоря, в некоторой мере обусловлена творчеством величайшего ее представителя Менандра¹².

Журнальная литература, занимающаяся вопросами, связанными с исследованием Каирских фрагментов Менандра, чрезвычайно обширна, пожалуй, даже необозрима. Подробное и сравнительное полное ее сопоставление дано Х. Иенсенем в конце предисловия к его изданию текста фрагментов¹³.

5. МИМЫ, ФЛИАКИ, ГИЛАРОТРАГЕДИИ. КИНЕДОЛОГИЯ.

Стремления к жизненной правде в передаче действительности, именно в эту эпоху, несомненно, влекли за собой дальнейшее художественное развитие старинного и в основах своих протонародного жанра бытовой сценки, известного под широким и довольно неопределенным термином *мим*. Мимами назывались как исполнители этих сценок — актеры, так и самые представления, причем в отличие от трагедии и комедии они вовсе не были связаны с театральной сценой. Мимы могли разыгрываться где угодно: и в театре, и в частном доме, например за столом, во время пира. Масок для мимов не требовалось, так как они были не литературными комедиями, а просто выступлениями, в которых актер словами, игрой лица и телодвижениями чему-нибудь или кому-нибудь подражал, чтобы развеселить присутствующих. Изображались бытовые типы, смешные человеческие характеры, разыгрывались небольшие сценки на забавные житейские темы с подчеркиванием мелких характерных деталей, высмеивались мифологические герои, пародировались отрывки из популярных трагедий и сюжеты комедии. Выступления могли быть драматическими, вокальными и балетными, могли заключаться и в выразительном чтении заученного наизусть текста. Словом, очень пестрые по программе, мимы являлись античным эстрадным жанром, участвовать в котором имели право и мужчины и женщины. Но, поскольку реалистическая игра мимов отличалась и в слове и в жесте большой непристойностью, профессия мима оказывалась в глазах общества занятием бесстыдным, сомнительным и имеющим мало общего с деятельностью актеров театра, «мастеров бога Диониса», положение которых, напротив, всегда было почетным. В миме артист выступал чаще всего без партнера, ведя основную роль и подавая себе реплики за других,

¹² Подробное изучение архива Островского доказывает его знакомство с античным театром. Островский перевел (прозой) большую часть комедии Теренция «Свекровь» и «Комедии об ослах» Плавта. Следует отметить также, что Плавт и Теренций были любимыми писателями Грибоедова (См. Н. К. Пиксанов и И. С. Зильберштейн. А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., «Федерация», 1929, стр. 328).

¹³ Chr. Iensen. Menandri reliquiae in papyris et membranis servatae. Berol., 1929. ed. Chr. Iensen.

воображаемых лиц. По-видимому, гораздо реже мимы разыгрывались силами нескольких актеров.

Слово «мим» в приложении к исполнителям служило общим названием всех подобного рода артистов, различавшихся по специальностям, каждая из которых имела свое особое обозначение. В основном мимы разделялись на драматических артистов, декламаторов и певцов. Названия, означающие первую категорию исполнителей, содержат в своем составе греческое слово «логос» (речь), а названия, применяемые ко второй, связаны с термином «ода» (песня). Первые называются «мимологами», «логомимами», «этологами» (нравоописателями) или обозначаются терминами «биологи», (рассказывающие о жизни) или «мимобии» (подражатели жизни). Последние носят не вполне ясные для нас названия «магодов», «лисиодов», «симодов» или именуется «гилародами» (исполнителями веселых песен), а также «мимавлами» (исполняющими мим под аккомпанемент флейты) и т. д. Некоторые мимы назывались «кинедами» или «кинедологами» (от слов «кино» — двигаю и «айдос» — стыд), т. е. игравшими мим с бесстыдными телодвижениями. Существовали также и местные названия; так, в Спарте к мимам прилагали лаконский термин «лейкеликт».

С точки зрения содержания сценки, разыгрывавшиеся мимами, древние делили на два различных вида: во-первых, пегнии — шутки, и, во-вторых, сценки, имевшие сюжетное содержание. Шутки, очевидно, могли сводиться к свободной импровизации актера, а мимы с подробно разработанным сюжетом, несомненно, должны были опираться на текст. Тексты подлинных мимов дошли до нас на папирусах, принадлежащих, однако, значительно более позднему времени: Оксиринхские папирусы, дающие связный текст двух больших мимов («Харитион» и «Распутница»), датируются II в. н. э. Все же мы располагаем некоторым папирусным материалом, относящимся к эпохе эллинизма. Между прочим, до нас дошел один замечательный образец художественной «эстрадной» литературы: найденный в египетских Фивах папирусной текст II в. до н. э. сохранил нам фрагмент вокального мима, содержанием которого служит тема античной серенады — ночной любовной песни перед запертой дверью. Исполнительница изображает влюбленную девушку, брошенную любовником. «Боль охватывает меня, когда вспомню, как он целовал меня, собираясь коварно бросить», — говорит девушка в своей песне. Ночью, при свете луны и звезд, томимая страстью, идет она к дому бросившего ее возлюбленного и останавливается перед запертой дверью. «Господин мой,пусти меня,— взывает она к нему,— не заставляй меня стоять перед запертой дверью». Но просьба девушки безответна, и тогда она переходит к угрозам. Дальше папирус испорчен, и чем сценка кончалась, мы так и не знаем. Впервые опубликованный в 1896 г. Гренфеллем текст этого интересного папируса был условно назван «Жалобой девушки». Изобилующий красивыми поэтическими образами, близкими александрийской любовной поэзии, Гренфеллевский фрагмент показывает, что не все мимы были непристойными.

В эллинистическую эпоху мимами увлекаются. Из близкого к мимам старинного жанра *флиаков*, народной комедии южноиталийских дорян, в начале III в. пытаются создать художественную драму. Сын горшечника в городе Таренте поэт Ринтон принимается писать комедии в духе флиаков, содержанием которых служит травестия мифов. В отличие, однако, от народных травестий подобного рода Ринтон пародирует не миф как таковой, а его драматическое выражение у великих трагиков, в частности у Эврипида. Комедии Ринтона носят поэтому характерные названия *гиларотрагедий*, т. е. веселых трагедий. Ни одна из них не дошла до нас; сохрани-

лись только заглавия: «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Геракл» и еще два-три названия, ясно показывающие на пародирование преимущественно трагедий Эврипида.

Жанр мима оказывал влияние на литературу и косвенно — своим распущенным стилем, вольной и непристойной тематикой. Так, стиль мимов использовал в III в. известный поэт Сотад, последователь кинической философии, современник Каллимаха и Феокрита, но во многом, по-видимому, и их противник. Свои смелые, очень злобные стихотворения он часто направлял против сильных мира, в частности против Птолемея Филадельфа, за что в конце концов пострадал: он был брошен в тюрьму, где и скончался. Это литературное направление, представленное Сотадом и некоторыми другими поэтами, получило название *кинедологии*; стилистически оно близко мимам.

В 1891 г. в Египте был найден замечательный по размерам и сохранности папирусный свиток примерно II в. н. э., содержащий восемь мимов Герода или Геронда (обе формы правильны и возможны). Никаких биографических данных о Героде не сохранилось. Несомненно лишь, что он был современником литературного движения, которое носит название эллинистической поэзии, и жил примерно в середине III в. Не известна нам и родина Герода. Обе формы его имени дорические, но пишет Герод на ионическом диалекте. Во втором и четвертом мимах действие происходит на Косе: предполагают, что Герод бывал на этом острове, где, как мы знаем, именно тогда велась интересная работа поэтов александрийского направления.

Мимы Герода — небольшие, в среднем каждая по 100 стихов, драматические сценки. В первом миме, озаглавленном «Сваха», к Метрихе, любовнице Мандриса, уехавшего в качестве наемника Птолемея в Египет, приходит в гости старуха Гиллис и безуспешно пытается совратить молодую женщину. Метриха остается верной Мандрису и отказывается от заманчивых предложений молодого богатого щеголя и красавца Грилла.

Второй мим — «Сводник» — состоит из монолога Баттара, содержателя притона. Баттар произносит речь в суде, обвиняя богатого купца Фалеса в безобразном поведении в притоне. Комизм монолога состоит в том, что он точно копирует форму серьезной судебной речи, а содержание его смехотворно, так как Баттар входит в мелкие натуралистические подробности и, сам того не понимая, изображает себя с очень гнусной стороны.

В третьем миме — «Учитель» — Метротима, бедная, перебивающаяся кое-как женщина, приводит в школу к учителю Ламприску своего великовозрастного сына Коттала, развращенного мальчика, отбившегося от рук, и просит примерно наказать его. Несмотря на просьбы Коттала, Ламприск велит его раздеть и высечь. Интересна в этом миме главным образом речь Метротимы, наивно изображающей безотрадную жизнь беднейших городских слоев.

В четвертом миме — «Жертвоприношение Асклепию» — Герод выводит двух греческих мещанок, Кинну и Коккалу, пришедших в знаменитое святилище Асклепия на острове Косе и осматривающих находящиеся в священной роще статуи работы знаменитых ваятелей и другие произведения искусства. Сопровождает обеих гражданок принадлежащая Кинне рабыня Кидилла. Плоские выражения восторга Кинны и Коккалы, любующихся художественными произведениями, и характерная грубость их обращения с безответной рабыней, которую Кинна осыпает ужаснейшими ругательствами и которой грозит побоями, с редкой наблюдательностью подмечены Геродом в жизни.

Пятый мим — «Ревнивица» — развивает одну из грязных, но очень типичных для мима тем: Битинна, богатая пожилая женщина, предает ис-

тязаниям одного из своих рабов, молодого и красивого Гастрона, изменившего своей госпоже.

В шестом миме — «Подруги» — две молодые женщины, Коритто и Метро, секретничают между собою на очень щекотливые темы.

Действие седьмого мима — «Башмачник» — происходит в обувной лавке Кердона, куда Метро приводит двух своих молодых приятельниц. Кердон показывает различные образцы обуви, расхваливает свой товар, а покупательницы торгуются с ним.

Текст восьмого мима — «Сон» — сохранился хуже предшествующих, и его смысл остается загадочным. Поэту снилось, будто он принимает участие в игре, состоящей в прыгании на мех, надутый воздухом; он одержал в этой игре победу, но едва не стал жертвой ревнивой злобы какого-то свирепого старика. Предполагают, что «Сон» содержит в себе аллегорическую полемику Герода со своими литературными критиками и противниками.

Мимы Герода, как мы видим, являются маленькими бытовыми сценками. Действие в них почти совершенно отсутствует, но зато точно передаются тонко подмеченные, чаще всего уродливые, мелочи. Типы людей взяты Геродом из повседневной жизни по преимуществу мелкого городского люда. Отсюда в языке Герода много сознательных вульгаризмов и грубых оборотов. Так, Кинна обращается к своей рабыне:

Тебе я говорю. Раскрыла рот, дура,
И до того что говорю, ей нет дела.
Стоит и на меня, как рак, глаза пялит.

(Перевод Б. В. Горнунга)

Герод писал на условно архаизированном ионийском диалекте, на котором изъяснялись греки малоазийской Ионии без малого лет за триста до самого Герода. Стихотворный размер его мимов редкий и старинный: это так называемый холиямб («хромающий ямб») древнего ионического поэта VI в. до н. э. Гиппонакта.

Для широкой публики архаизированный диалект этих мимов был, конечно, мало понятен. Но сценки Герода и не были рассчитаны на большую аудиторию: их стиль продиктован утонченным вкусом поэтов александрийского направления, и обращены они к ограниченному кругу ценителей литературного мастерства поэта, умеющего укладывать бытовое, жизненно правдивое содержание в архаическую языковую форму. К мимам Герода близки такие же, как они, не сценические, а литературные, мимы Феокрита («Колдуньи, или Симефа», «Любовь Киниски», «Сиракузянки»).

Исполнялись мимы Герода скорее всего не в театре, а в сравнительно небольших аудиториях. Текст читался без маски и прочего театрального реквизита; использовались только средства голоса, жест и выразительная мимика.

Реалистические картинки Герода являются художественным воспроизведением частного быта современной ему эпохи, а вследствие этого ценным историческим документом. Наконец, интересно и важно то, что у Герода, как и у Менандра, особенно ясно виден юмор, пришедший на смену аристофановой буффонаде.



Глава II

ПОЭЗИЯ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

(общая характеристика)

1. Характерные черты эллинистической поэзии.— 2. Отношение эллинистических поэтов к религии и мифологии.— 3. Черты психологизма и реализма в эллинистической поэзии.— 4. Стиль эллинистической поэзии.

1. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Феокрит и Ликофрон, Асклепиад и Арат, Герод и Каллимах, Апеллоний Родосский и Леонид Тарентский — вот наиболее яркие имена творцов эллинистической поэзии, столь непохожих один на другого по вкусам, художественным устремлениям, да и по характеру самых жанров, представителями которых они являются. А между тем, несмотря на взаимные расхождения, порой очень резкие, в творчестве каждого из этих поэтов есть нечто, объединяющее их всех и, несомненно, противопоставляющее их греческой поэзии предшествующих эпох. Это «нечто» обусловлено, разумеется, принципиальным отличием эпохи эллинизма от доэллинистического периода истории Греции.

Тематика изменяется: вместе с былой демократией отходят в область истории гражданские темы, уступая место новым, художественным задачам, отражающим уже интерес не к коллективу, а к индивиду, к показу внутренних переживаний человека. Вследствие такого бесспорного сужения проблематики по сравнению с классической эпохой Греции эллинистические поэты сосредоточивают внимание на профессиональном изощрении формы поэтического искусства и ищут одобрения у знатоков, а иногда и покровительства у эллинистических государей.

В новом эллинистическом обществе недостаток постепенно становится синонимом просвещенности, а понятия бедности и необразованности делаются почти адекватными: начинает создаваться положение, когда литература, если не исключительно, то в основном, бывает обращена лишь к образованным, т. е., говоря иначе, обеспеченным кругам общества.

В Александрии III в. до н. э. впервые в античном мире возникает борьба литературных кружков, которой во все времена сопутствуют явления раненого самолюбия, горьких обид и личной неприязни. Сейчас трудно уловить точный смысл разногласий, но одно ясно: все эти борющиеся литературные направления требуют от своих адептов тщательной отделки формы. Под художественной отделкой произведения эти поэты подразумевали то, что довольно точно определяется александрийским термином *τορευτός* («чеканность»): работа, по их мнению, должна быть «чеканной». Образчиками такой работы александрийцы нередко щеголяют друг перед



Птолемей и Арсиноя. Резной камень. III в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

другом — именно друг перед другом: не столько перед читателем, сколько перед братьями по мастерству.

Искусство, видевшее одну из главных задач в «чеканности» произведения, естественно, должно было тяготеть к малым формам: тщательно продумывалась композиция, отделялся каждый стих, каждое слово.

Поэтому очень показательны, что как раз в Александрии и именно в эту эпоху возникают те малые жанры или малые виды поэзии, которые оказываются исторически жизненными и развиваются в последующей мировой литературе. Иные из терминов, обозначающих эти новые жанры, даже формально образованы в греческом языке при помощи уменьшительных суффиксов: такие названия, как идиллия (*εἰδύλλιον*) и эпиллий (*ἐπιλλίον*) — деминутивы, и значат они в точном переводе на русский язык «малый вид» и «малый эпос». Глава наиболее влиятельного литера-

турного направления в Александрии — Каллимах — открыто заявлял, что длинные киклические поэмы ему противны. «Кикликов стих ненавижу», — так восклицает он в одной из своих эпиграмм. В литературных кружках непримиримые споры о том, что в искусстве хорошо и что плохо, получали часто ту остроту, которая неизменно влечет за собой вражду и тяжелые личные столкновения. Подробности от нас ускользают. Мы недостаточно, например, знаем, в чем расходились и о чем спорили поэты-александрийцы с поэтами острова Коса — второго после Александрии виднейшего центра тогдашней поэзии. Предание донесло до нас память о ссоре Каллимаха с Аполлоном Родосским, одним из его ближайших учеников, автором дошедшей до нас большой поэмы об аргонавтах. Предание это говорит о разрыве ученика с учителем и о переселении Аполлония на богатый в то время торговый и промышленный остров Родос. Трудно решить, как велика доля правды в этом предании. Для нас остается также не ясным, в чем заключались теоретические расхождения этих поэтов в воззрениях на задачи искусства и мастерство поэзии. Дошедшие до нас образцы их творчества не разрешают загадки, так как литературный стиль Аполлония в основном сходен со стилем Каллимаха.

2. ОТНОШЕНИЕ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ПОЭТОВ К РЕЛИГИИ И МИФОЛОГИИ

Существеннейшей чертой эллинистической художественной литературы, бесспорно, является коренное изменение отношения поэтов к мифологии.

Как для скульптуры и живописи, так и для художественной литературы в эллинистическую эпоху мифология остается источником сюжетов. Однако старая простодушная вера в реальное бытие богов, хотя и невидимых, но постоянно влияющих на жизнь человека и всей природы, теперь в образованных слоях общества исчезает.

Может быть, разница между собственной их душевной настроенностью и настроениями народных кругов всего яснее открывается нам в противоположности безверия поэтов, с одной стороны, и религиозности античной деревни — с другой. Образованные круги отличаются скептицизмом, а если частично и религиозны, то связывают свои верования либо с философией, либо с мистикой; в греческих же деревнях по-прежнему справляются сельские религиозные праздники, по-прежнему почитаются местные кумиры; городские общины и частные лица приносят жертвы своим богам и героям, и все чаще и чаще возникают новые места государственного культа живых и уже умерших монархов; этот официальный культ эллинистических государей — явление немаловажное с политической точки зрения.

В ту эпоху правящий государь после кончины легко героизировался, многие наиболее могущественные династы провозглашались богами еще при жизни; в их честь устанавливалось культовое служение от лица государства, строились роскошные храмы, творились жертвоприношения, назначались специальные жрецы. Правильное понимание низкопоклонства поэтов в обращениях к правящим монархам, которое, с нашей точки зрения, так невыгодно окрашивает тоном лести отдельные стихи, а то и целые страницы их произведений, немислимо без учета тогдашней бытовой обстановки, в частности государственного культа царей. Однако передовая общественная мысль отвергает и старые и новые верования. Рассказывая мифы, не верит в реальное существование богов и эллинистическая литература. Знакомые персонажи старой греческой мифологии в сознании как

самих поэтов, так и их читателей, становятся либо чисто литературными образами, либо фигурами полу-исторического прошлого. Недаром именно в эллинистическую эпоху возникает и получает такую широкую популярность эвгемеризм; учение Эвгемера о том, что божества греческой религии — это обожествленные цари и царицы отдаленнейшей древности, как нельзя более созвучно эпохе.

Античный миф о богах всегда неразрывно переплетался в Греции с мифами о героях, а времена героев в сознании мифографов и поэтов мыслились как особая эпоха, понятию о которой отвечало античное выражение «времена героические». Вот почему сюжет мифа, литературно оформлявшийся иррелигиозными, не верившими в его божественность эллинистическими поэтами, легко получал у них определенный исторический фон, оттеняясь чертами быта, типичного, по их убеждению, для героической эпохи. К историко-бытовому оформлению мифологического предания толкал поэтов и повышенный интерес к старине, к собиранию и исследованию остатков минувшего, к тем занятиям древностью, которые у античных греков обозначались термином «археология» (занятия стариной).

Таким образом, созданные мифологией образы богов и героев не умирают благодаря литературе. Много места занимает реалистическая передача жизненно верных деталей, тонких психологических мелочей. И душевные переживания матери Эрисихтона в «Гимне к Деметре» Каллимаха; и картина мучительных колебаний юной Медеи (в III книге «Аргонавтики» Аполлония), когда она ночью, полуодетая, в тревоге вскакивает с постели и терзаемая мучительным волнением направляется в комнату к старшей сестре, чтобы поведать ей сердечную боль, а увидев сестру, под влиянием охватившего ее стыда вдруг меняет свое решение; и испуганное восклицание «зовет сам», вырывающееся из уст служанки, внезапно разбуженной громким криком Амфитриона, в «Геракле-младенце» Феокрита — все это верные, психологически правдивые мелочи. Показывая их читателю, эллинистические поэты заставляют мифологические персонажи своих литературных произведений жить подлинной жизнью. Благодаря психологизации лица, изображаемые в мифологических картинах, персонажи старинных мифов делались читателю близкими и понятными, а «археологическое» окружение создавало художественную иллюзию исторической реальности.

В этом новом подходе поэзии к художественной передаче мифа и в выработанной ею художественной трактовке и заключается одна из крупнейших заслуг эллинистических поэтов: таким направлением своего искусства они сохранили художественную ценность греческой мифологии и тем самым обеспечили выполнение ею исторической функции сперва в Риме, а затем и в Европе эпохи Возрождения.

3. ЧЕРТЫ ПСИХОЛОГИЗМА И РЕАЛИЗМА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Наделяя даже богов и героев психологией рядовых людей своего времени, эллинистические поэты проявляют интерес к человеку как таковому, причем не в философски-моральном плане, а в форме описания мелких черт характера и поведения людей; круг этих наблюдений достаточно широк.

Хотя общество того времени и распадается, грубо говоря, на два слоя, к одному из которых принадлежат люди богатые, образованные, а к другому — бедняки и малограмотные простолюдины, и хотя поэзия обращается почти исключительно к первым, интерес поэтов направлен скорее на

последних. Поэты — правда, для господствующих социальных кругов совсем не опасно — настойчиво проводят по существу старое, знакомое нам еще по Аристофану, противопоставление трудовой, нравственно здоровой деревенской жизни — жизни в городе, причем проводится оно ими к моральной выгоде первой. Поэты любят простоту сельской жизни, одинаково сочувственно останавливая внимание на деревенском жителе: будь то хозяин-простолюдин, вольнонаемный работник, батрак, а порой и раб. Впрочем, как и в античной комедии, проблема рабства в ее историко-социальном значении не ставится.

Особыми симпатиями поэтов пользуются представители простейших, наиболее примитивных форм сельского хозяйства — пастухи («буколы»). Судя по VII идилии Феокрита, поэты стараются изучить быт и вслушиваются в «буколические», т. е. пастушеские, песни, в своем увлечении деревней доходя иногда даже до игры в пастухов: рядятся в грубый пастушеский костюм и с «коринами», крючковатыми пастушескими посохами, в козьих шурах и широкополых шляпах разгуливают по лугам и деревенским дорогам.

Стремясь внести в свои произведения возможно больше конкретных психологических наблюдений, эллинистические поэты, разумеется, не могут пройти мимо изображения любовных переживаний. В этом отношении с литературоведческой точки зрения особенно интересен Аполлоний Родосский, который, по-видимому, первый ввел в эпическое произведение любовную тему: третья книга его поэмы является настоящим романом в стихах, последовательно развивающим перед читателем историю Медеи, молодой и житейски совершенно неопытной девушки, переживающей в первый раз чувство любви. Сам по себе факт внесения любовной темы в эпос и развитие ее средствами поэтики этого древнего жанра надо рассматривать как одно из наиболее смелых дерзаний новой литературной школы. Автор изобразил картину развития сильного чувства, толкающего героиню на величайшие жертвы и даже на преступление. Ни в какой другой области творчества эллинистических поэтов не сказывается с такой силой глубочайшая тематическая связь их искусства с наследием древней трагедии, прежде всего с драмой Эврипида.

Внимание к человеческой психике было исторически подготовлено длительным, начиная с IV в. до н. э., изучением типов человеческого характера практически — в школах риторики, а теоретически — в философских школах. Художественное изображение человеческого характера особенно полно было дано в творчестве Менандра и других представителей новой аттической комедии. Нельзя также забывать, что стремление к жизненной правде характеризует вообще все искусство эллинизма и что, включаясь в это общее, господствовавшее тогда движение, желали быть «реалистами» и поэты: они стремились, изображая те или иные стороны жизни, передавать открывающуюся им действительность.

Но, разумеется, их «реализм» условен: обычно он ограничивается реалистической передачей лишь некоторых деталей изображаемого; насколько мало реален условный эллинистический пейзаж в живописи, настолько же условен и литературный рисунок эллинистических поэтов. Наиболее реалистичны они там, где в литературных приемах, в построении сюжета и стиле речи подражают манере мима. Особенно типичны в этом отношении мимыямбы Герода и такие произведения, как «Сиракузянки» Феокрита, — подлинны «сценки с натуры». Но во множестве других образцов этой школы реализм ограничивается точной передачей той или иной психологической или бытовой детали; на эту склонность к изображению мелких деталей

еще с конца прошлого века филологами обращено было внимание как на одну из типических черт эллинистической поэзии. В погоне за правдивой деталью поэты иногда вносят в повествование даже подробности медицинского характера. Так, у Аполлония Родосского («Аргонавтика», III, 764 слл.) влюбившаяся в Ясона Медея в первый момент охватившей ее страсти испытывает не только моральные, но и физические страдания: у нее мучительно болит голова, особенно затылок, т. е. то место, где, как замечает поэт, всего сильнее ощущается головная боль «всякий раз, как эроты вобьют в мысль человека мучение». В этом, с нашей точки зрения, наивном, но очень интересном физиологическом комментарии ясно просвечивают воззрения эллинистической врачебной науки, использованные здесь в целях сугубого реализма.

4. СТИЛЬ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Люди обширного и разностороннего образования, эллинистические поэты в своем творчестве стараются сочетать собственные художественные наблюдения над повседневной жизнью с опытом науки. Исключительно много места они уделяют истории и географии. Для их поэзии очень характерно сочетание двух взаимно противоположных стилевых тонов — бытового и ученого.

В условиях крушения демократии и нарастающего имущественного неравенства поэзия настойчиво идеализировала современную ей греческую деревню. Поэты знакомятся с сюжетами старых легенд и народных сказок, с обычаями деревни, с ее бытом. В какой-то мере их можно было бы даже назвать первыми фольклористами. Конечно, изучают они фольклор как поэты, произвольно используя его для собственных художественно-поэтических целей. Но так или иначе, очень многое в их творчество пришло из фольклора не только по тематике, но и по форме: из фольклора взят такой, например, поэтический прием, как анафора в начале двух или более стихов, прием повтора целых стихов или их частей. Из фольклора заимствованы и многочисленные ассонансы и аллитерации. Наконец, и у Феокрита, и у Каллимаха, и у Герода нередко встречаются пословицы, поговорки и выражения обиходной речи.

Но наряду с простонародным речевым стилем в эллинистической поэзии очень силен и другой стиль, находящийся в резком противоречии с фольклорными элементами языка. Большинство поэтов — люди высокообразованные, начитанные, щеголяющие своей книжностью. Они много и усердно читают старых и новых, крупных и второстепенных поэтов, внимательно изучают классиков. А так как сюжет античного художественного произведения в подавляющем большинстве случаев строился на материале мифа, благодаря чтению поэтических текстов авторы приобретают необыкновенную осведомленность именно в мифологии. Ученость их преимущественно мифографическая. Этой приобретенной упорным трудом ученостью они дорожат и доскональным знанием мифов постоянно рисуются друг перед другом, делая глухие намеки на редкие, мало известные мифологические версии, снабжая своих богов и героев неясными, часто нарочито придуманными эпитетами, смысл которых понятен только таким же, как они, знатокам мифологии и литературы. Охотно вводят они в стихи длинные списки имен загадочных, малоизвестных мифологических персонажей, например каталоги морских или горных нимф, обрамляя иные из этих имен миниатюрными, в два-три стиха, изящно сделанными новеллами. Совершенно ясно, что подобного рода «ученые» пассажи рассчитаны не на рядо-

вого человека. В самом деле, только изощренный в древней мифологии, классиках греческой литературы и в языке самой современной поэзии человек мог догадаться, что выражением «тиринфская наковальня» у Каллимаха обозначен Геракл. Современник Каллимаха поэт Ликофрон пишет свою «Александру» так, что почти каждое слово поэмы представляет собой загадку. Можно смело сказать, что не будь античных комментариев к «Алекса́ндре», ее содержание так бы и осталось для нас непонятным.

Таковы два главных стилистических тона, какими окрашено творчество александрийских поэтов. Оба тона часто уживаются в одном и том же произведении; и в этом явлении также заключена одна из типичных стилистических особенностей поэзии той эпохи.

Для историко-литературной оценки эллинистических эпиллиев немаловажен вопрос о зависимости их стиля от стиля гомеровской поэзии.

Поклонники малых форм относятся к большому эпосу, в их глазах уже давно изжившему себя, отрицательно, но их, людей изощренного вкуса, он чарует дивной патиной старины. Поэтому они жадно пользуются средствами большого эпоса в эпиллиях и, стараясь придать последним настроение греческой древности, сознательно подражают стилю Гомера — не тематике, конечно, а лишь эпической форме и той бытовой обстановке, какая изображена в поэмах Гомера. Они переносят в свои эпиллии гомеровские эпические формулы, стандартизированные «украшающие эпитеты», заимствуют у него технику сравнений и другие стилистические приметы древнего эпоса. Подражают они языку эпоса и в отношении фонетики и морфологии, мало обращая внимания на гомеровский синтаксис, своеобразную примитивность которого ни они сами, ни общество их эпохи еще не в состоянии почувствовать и оценить. Поэтов прельщают звучания старинных гомеровских огласовок, они копируют формы его флексий и вводят в свои эпиллии специфически гомеровские слова. Чтобы усилить иллюзию отдаленной древности, они готовы нагромождать особо редкие гомеровские формы, а иногда даже вводят в текст слова с неясной семантикой, которые они либо вычитали у древних писателей, либо взяли из того или иного областного диалекта. Стремясь выдерживать в точности гомеровский тип языка и гомеровский характер поэтики, они не замечают невольных допусков искажений гомеровского стиля, например, когда они вводят в свой эпос оба присущих новой поэзии стилистических тона — и фольклорный, и ученый. Так, в «Гекале» Каллимаха вставленная в речь ворона, написанную разговорным языком, ссылка на миф о споре Афины и Посейдона за Аттику преисполнена хитроумной учености: бог морей Посейдон обозначен там посредством туманного выражения «обитатель тины», а обычное, всем хорошо знакомое название страны — Аттика — заменено другим, не доступным пониманию рядового читателя — «Акта».

Произведения эллинистических поэтов послужили богатым материалом для изучения грамматики; но комментаторы послеэллинистического периода и византийского средневековья были равнодушны к безыскусственному народному творчеству: фольклором — бабьими сказками и незатейливыми деревенскими песнями — никто тогда не интересовался; притягивало к себе только мастерство, изящество. Каприз поэта, пересаживавшего в текст стихотворения деревенский песенный оборот, никак не мог вызвать к себе серьезного отношения со стороны позднейших грамматиков. Напротив, книжная ученость Аполлония или Каллимаха казалась в высшей степени занимательной. Сколько труда, сколько кропотливейших изысканий и блестящих догадок требовалось, чтобы раскрыть, например, смысл непонятных стихов из «Алекса́ндр» Ликофрона. Такая задача многим



Женщина, играющая на кифаре. Глина. III в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

позднейшим грамматикам должна была представляться не только увлекательной, но и почетной, поскольку справиться с ней мог только подлинный эрудит, человек, который и сам обладал обширной начитанностью в античных мифографах и древнегреческой литературе. Фольклорный же тон эллинистической поэзии ускользал из поля зрения поздних античных и византийских грамматиков; напротив, отчетливо выступала на первый план ее мифографическая ученость. Эта ставшая вскоре традиционной, крайне узкая, а по сути дела ложная характеристика эллинистической поэзии в целом продолжала жить в науке вплоть до конца XIX столетия, и только новейшая классическая филология, занявшись проблемой античного фольклора, к началу XX в. различила, наконец, в александрийской поэзии ее фольклорный стилистический тон.



Глава III

КАЛЛИМАХ

1. Биография Каллимаха.— 2. «Гекала».— 3. «Айти» («Причины»).— 4. Ямбы: «Кубок Бафикла» и «Спор лавра с маслиной».— 5. Гимны: а) «Гимн к Зевсу»; б) «Гимн на остров Делос»; в) «Гимн к Аполлону»; г) «Гимн к Артемиде»; д) «Гимн к Деметре», е) «Гимн на купанье Паллады».

1. БИОГРАФИЯ КАЛЛИМАХА

Жизнь Каллимаха приходится на отрезок времени приблизительно с 310 по 240 г. до н. э., т. е. на первую половину III в., совпадая, таким образом, с началом эллинистического периода. Биографические сведения об этом крупном поэте, какими мы располагаем, крайне скудны. Родиной Каллимаха, творчество которого теснейшим образом связано с Александрией, была Кирена, греческий приморский торговый город на северном побережье Африки, к западу от Александрии, основанный в незапамятные времена дорийцами, выходцами с острова Феры. Мифическим основателем («хтистом») Кирены легенда называла Батта, имя которого поэтому пользовалось в Кирене большой популярностью; имя Батта носил и отец Каллимаха, как мы это узнаем из заметки в словаре Свида. Каллимах получил имя по деду, некогда с оружием в руках защищавшему родину: об этом поэт говорит в одной из своих эпиграмм (21).

Знай, кто к могиле моей подойдет,— я в Кирене родился;
 Был Каллимах мне отцом, сыном мне был Каллимах.
Знаешь ты, верно, обоих: за родину первый сражался,
 Песни второго вовек зависть не сможет сгубить.
Так суждено: если с лаской взглянули на мальчика Музы,
 Будет и старцем седым он им любезен и мил¹.

Мать Каллимаха звалась Мегатима. Известно также, что Каллимах был женат на сиракузянке, но имя его жены до нас не дошло. Детство поэт, очевидно, провел в Кирене, где ему посчастливилось получить основательное литературное образование, законченное в Афинах, куда он, по-видимому, ездил в юности.

Юность Каллимаха проходит в бедности и борьбе за кусок хлеба, но под старость он материально вполне обеспечен, даже богат; к тому времени талант его получает общее признание. Определить дату этого перелома в жизни Каллимаха не представляется возможным, но она, должно быть,

¹ Стихи Каллимаха цитируются в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

совпадает с моментом получения им руководящей должности в Александрийской библиотеке. До этого Каллимах был учителем в одной из александрийских школ, по некоторым сведениям — начальной, в пригородной деревушке близ Александрии — Элевсине. Впрочем, уже и в этот период Каллимах не только учительствует, но также много пишет и постепенно становится главой нового литературного направления александрийских поэтов. Одновременно ради заработка он занимается частными уроками, преподавая риторику. Основательное знакомство Каллимаха с древней и современной ему литературой и послужило, надо думать, одной из причин сделанного ему Птолемеем Филадельфом предложения взять на себя руководство Александрийской библиотекой; заведывание библиотекой должно было привести Каллимаха в соприкосновение как с самим монархом, так и с его двором. Царедворцем в точном значении этого слова Каллимах, однако, никогда не был; судя по некоторым из его высказываний, мы вправе даже заключить, что показная роскошь, плоская лесть и раболепное низкопоклонство, царившее при дворах эллинистических государей, ему, человеку тонкой внутренней культуры, были противны².

За время работы в библиотеке Каллимаху удалось создать интереснейшее библиографическое руководство огромной научной важности: своеобразную историко-культурную энциклопедию, оформленную им в виде особых таблиц (πίνακες). В этих таблицах, составивших сто двадцать книг, им были собраны имена знаменитых писателей, а также даны указания на содержание их сочинений. Для историко-литературных изысканий, впервые тогда предпринимавшихся новыми александрийскими учеными, «Таблицы» Каллимаха, разумеется, представляли огромную теоретическую и практическую ценность.

Доброе чувства Каллимаха по отношению лично к Филадельфу нашли свое выражение в написанном в форме лирической песни стихотворении на смерть Арсинои — жены Птолемея Филадельфа, папирусный обрывок которого дошел до нас. Если в юные годы, когда он писал сатирически-шутливый «Гимн к Зевсу»³, Каллимах, стоявший тогда, очевидно, еще далеко от двора, мог позволить себе сравнительно вольнодумные мысли, то к концу жизни, по крайней мере официально, он решительно и настойчиво заявляет себя сторонником державной политики Птолемеев. Близость к царскому дому сохраняет он и при преемнике Филадельфа — Птолемеи Эвергете. Литературным свидетельством «верноподданнических чувств» поэта служат, во-первых, коротенькая эпиграмма (51) на статую жены Эвергета, красавицы Береники, которую поэт называет четвертой Харитой, и, во-вторых, стихотворение, посвященное волосам Береники, до нас не дошедшее, но получившее мировую известность, благодаря латинской его переложке, принадлежащей Катулле. Для греческих придворных нравов той эпохи само по себе чрезвычайно типично то обстоятельство, которое послужило поэту поводом для создания этого стихотворения. Дело заключалось в следующем. Когда Птолемей отправился в сирийский поход и война начала затягиваться, Береника, просившая бога даровать ее мужу благополучное возвращение, посвятила прядь своих волос в храм Афродиты. Через некоторое время бережно хранившиеся в храме волосы царицы вдруг исчезли. Загадочная пропажа, по поводу которой пошли различные толки, была, наконец, разъяснена придворным астрономом Кононом, объявившим, что замеченное им как раз в эти дни новое созвездие является не чем иным,

² См. ниже «Гимн на остров Делос».

³ См. ниже.



Голова поэта. Мрамор. Римская копия с греческого оригинала. II в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

как волосами Береники, чудесно похищенными богами и перенесенными на небо. Этому-то созвездию и посвятил Каллимах свое стихотворение.

Историческое значение Каллимаха заключается, конечно, не в таких поэтических пустяках, а в создании нового направления, которое начиная с III в. до н. э. делается господствующим в греческой художественной литературе. Все его творчество протекает в борьбе со старыми взглядами на задачи поэтического мастерства, и, хотя подробности этой борьбы от нас ускользают, мы постоянно чувствуем ее в отдельных полемических высказываниях Каллимаха, бывшего зачастую чрезвычайно резким в отзывах о чужих произведениях. Он «ненавидит» старые «киклические поэмы» и старается избегать старых «дорог», проторенных его предшественниками: как он заявляет в одной из эпиграмм (28),—

Кикликов стих ненавижу: дорогой идти проторенной,
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу;
То, что так нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах, дружок!» — не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг! Это другой уж сказал!»

Послегомеровский эпос ему претит. О популярной в его дни старой поэме «Взятие Эхалии», автором которой считался поэт Креофил (поэма приписывалась и самому Гомеру), Каллимах отзывается презрительно (эпиграмма 6).

Много трудов положил на меня стихотворец самосский;
Гостем его, говорят, был богоравный певец.
Я воспеваю Эврита, зовусь я «гомеровской» книгой;
Как это лестно тебе,— Зевсом клянусь,— Креофил!

К «Лиде» Антимаха, тоже старой, почтенной книге, многими очень любимой и продолжавшей вызывать восхищение даже таких, безусловно, тонких ценителей поэзии, какими были Посидипп и Асклепиад, тоже представители нового течения в литературе, весьма близкого направлению самого Каллимаха, последний относится резко отрицательно. По мнению Асклепиада, в создании этой книги принимали участие сами богини поэзии — Музы⁴.

Лидой зовусь я и родом из Лидии. Но надо всеми
Внучками Кодра меня славой вознес Антимах.
Кто не поет обо мне? Кем теперь не читается «Лида»,
Книга, которую он с музами вместе писал?

(Перевод Л. В. Блуменау)

И на фоне этого восторженного отзыва Асклепиада о «Лиде» особенно строго звучит замечание Каллимаха (фрагмент 74b в издании Шнейдера): «Лида», тяжеловесное писание, нечеткое». Каллимаху же принадлежит и полное скрытого раздражения, презрительное изречение: «большая книга — большое зло». В эти слова поэтом вложен характерный для него, убежденного защитника малой литературной формы, протест против «большого» эпоса.

Каллимах написал множество сочинений, от которых уцелела до нашего времени только малая часть. Полнее всего дошли до нас его гимны и эпиграммы. Остальные его произведения известны нам лишь фрагментарно.

⁴ Anth. Pal., IX, 63.

но: либо в форме кратких цитат в сочинениях позднейших риториков и грамматиков, либо по папирусным текстам. Много ценного для нашего знакомства с сюжетом некоторых утраченных стихотворений Каллимаха сообщает изданный двумя итальянскими учеными — Нерза и Вителли — большой папирусный текст так называемых «Диегез», дающих пересказ (слово «диегезы» в переводе значит «изложение») некоторых сочинений Каллимаха, как сохранившихся, так и пропавших.

Хронология сочинений Каллимаха до сих пор не выяснена; лишь в немногих случаях мы можем предположительно относить иные из них к его молодым годам, а другие к заключительному периоду жизни, вследствие чего пытаться сколько-нибудь точно нарисовать картину творческого пути Каллимаха пока едва ли возможно. А потому, чтобы ближе понять то новое, что внес Каллимах в греческую литературу, и уяснить основные задачи возглавлявшегося им литературного направления, правильнее всего начинать рассмотрение его творческого наследия с того произведения, в котором и жанровые, и тематические, и стилевые черты, характеризующие Каллимаха как новатора, уже получают полное, законченное выражение. Поскольку таким произведением следует, бесспорно, признать «Гекалу», обзор поэзии Каллимаха удобнее всего начинать именно с этой своеобразной поэмы.

2. «ГЕКАЛА»

Небольшой написанный гексаметром эпиллий Каллимаха, носивший заглавие «Гекала», был, несомненно, одним из известнейших его произведений, усердно читавшимся вплоть до самых поздних времен античности. Содержание этого эпиллия — миф о ночевке Тесея в деревенской хижине старушки Гекалы. Молодой царевич Тесей отправляется под вечер из дома своего отца, афинского царя Эгея, на опасный подвиг ловли дикого быка, опустошающего поля Марафона. С наступлением ночи внезапно застигнутый близ домика Гекалы ураганным ливнем Тесей укрывается в ее хижине от непогоды. Гекала радушно принимает молодого героя, предлагает ему скромное угощение и заботливо готовит ночлег. На утро, прощаясь с Тесеем, она дает обещание принести быка в жертву Зевсу, если юноша вернется к ней здоровым и невредимым. На Марафонской равнине Тесеем удается изловить быка. На обратном пути Тесей вновь заходит в Гекале, но уже не застаёт ее в живых. Опечаленный ее кончиной Тесей хоронит тело Гекалы, а жертвоприношение Зевсу, обещанное Гекалой за его спасение, совершает сам. Миф об этом жертвоприношении в историческое время связывался с закланием быка и традиционным пиршеством, на которое ежегодно в праздник Гекалы — Гекалессии — собирались в Аттике жители окрестных сел, входивших в состав Гекалейского дема.

Основным источником нашего знакомства с сюжетом этой поэмы служит краткий пересказ ее содержания, сохранившийся в упомянутых нами выше «Диегезах», а именно, в XI и XII колонках папируса, дополняемый отчасти текстом Плутарха в 14 главе его биографии Тесея, равно как и мелкими, обычно всего лишь в один или два стиха, цитатами из «Гекалы» в сочинениях позднейших грамматиков и лексикографов. Тем большее значение получают так называемые Венские отрывки оригинального текста поэмы, содержащие около пятидесяти стихов, сохранившиеся на найденной в Египте античной деревянной табличке и впервые опубликованные Т. Гомпером в 1897 г. Стихи первой колонки текста дают поэтическое описание возвращения Тесея с охоты: юный, богатырского телосложения герой входит

в деревню, ведя за собой на привязи пойманного им быка, животное чудовищной величины, один вид которого внушает крестьянам ужас. Но когда они узнают, что Тесей победил и «живым ведет за собой быка из влажного Марафона», страх крестьян сменяется шумной радостью. Оглашая воздух громким победным кличем, мужчины забрасывают Тесея зелеными ветками, а женщины сплетают ему венки и украшают юношу гирляндами из цветов и праздничными пестрыми лентами.

Таково содержание первой колонки текста Венских табличек. Содержание текста второй колонки иное. Ночью в хижине Гекалы происходит разговор двух птиц: старый ворон повествует какой-то другой птице о некоторых эпизодах легендарного прошлого древних Афин. Текст стихов сохранился плохо и с трудом поддается чтению; ясно лишь, что темой одного из рассказов ворона служил миф о дочерях Кекропа, злосчастных афинских царевнах, нарушивших запрет Афины и вопреки ее наставлениям заглянувших в переданную им богиней корзинку, где был скрыт новорожденный змееногий младенец, маленький Эрихтоний. Повесть ворона занимает вторую и третью колонки текста и заканчивается на четвертой мифологической легендой о превращении ворона из белой птицы в черную вследствие гнева Аполлона, рассердившегося на ворона, когда тот принес богу тяжелую весть об измене Корониды.

Разговор птиц затянулся, и собеседники засыпают лишь под утро; но сон их длится недолго: вскоре прилетает какая-то третья птица, вероятно, сова, и будит их. Птицам пора вставать: уже занимается утренняя заря. С большой силой дает здесь Каллимах картину раннего утра в городе

И задремали, устав от речей, говорливые птицы,
Спать им, однако, недолго пришлось — прилетела соседка;
Крылья блестели росой: «Просьпайтесь же, ночь миновала.
Скрылись грабителей шайки, в домах огоньки загорелись,
Слышно, как песню свою затянул водонос на рассвете.
Тех, кто живет близ дороги, колеса скрипучие будят,
Звон от ударов об медь и молота грохот из кузниц».

Описание просыпающегося города ценно для нас тем, что оно приоткрывает кусочек подлинной жизни, типичной для современной Каллимаху городской обстановки: нам видятся мигающие огни древнегреческих масляных лампочек в узких окнах городских построек, и как бы слышатся звуки улицы. По ходу сюжета «Гекалы» под городом, шум которого слышат птицы, следует разуметь, конечно, Афины, сравнительно недалеко от которых отстоял Гекалейский дем. Но, без сомнения, правы те исследователи, которые полагают, что Каллимах передавал здесь впечатления от другого большого города, в котором он постоянно жил, — Александрии. В этом эпизоде обращает на себя внимание следующая оригинальная черточка, отмечаемая рядом исследователей. Утреннее пение птиц, щебетание ласточки, воркование голубя, карканье вороны, крик петуха нередко в реальной жизни пробуждают людей от сна. Этот же мотив часто используется и в литературе. Каллимах дает обратную картину. У него не птицы будят людей, а, напротив, шум города, приступающего на заре к работе, будит заснувших птиц.

К какому же литературному жанру принадлежит «Гекала» Каллимаха? Написанная гексаметром, т. е. стихотворным размером эпической поэзии древних, и развивающая сюжет чисто мифологический, она, казалось бы, должна быть причислена именно к эпической художественной поэзии; однако античному понятию эпоса эта поэма совершенно не соответствует

ни по содержанию, ни по объему: размеры ее слишком малы для «эпоса», а ее содержанием является показ лишь одного из мелких, незначительных эпизодов, входящих в состав большого мифологического сказания о герое. Именно этот новый жанр поэзии и получил название эпиллия, т. е. малого, или «миниатюрного», эпоса. Формально продолжая традиции древнейшего эпоса, эпиллий преследовал совершенно новые художественные задачи. Он уводил читателя в глубокую даль минувших веков, во времена мифические, но действовавшим в эпиллии персонажам мифа приписывалась психология людей общества, современного самому поэту.

Для историка литературы «Гекала» Каллимаха интересна и в том отношении, что в выборе сюжета очень ясно сказываются новые художественные интересы, типичные как для Каллимаха, так и для возглавляемого им литературного направления. Эпизод ночевки Тесея в хижине Гекалы принадлежит не литературной, а устной легенде, рассказывавшейся в деревнях Гекалейского дема Аттики. Заслуживает, понятно, большого внимания то обстоятельство, что рассказ Плутарха в биографии Тесея очень близко совпадает, иногда даже в оборотах речи, с текстом «Диегез», а так как по поводу сообщаемого им эпизода остановки героя в домике Гекалы Плутарх ссылается на Филохора, современного Каллимаху историка Аттики, то мы вправе предполагать, что и Каллимах заимствовал сюжет своей поэмы у Филохора. Но вполне законно и другое предположение — об использовании Каллимахом устного народного сказания, связанного с культом аттической героини Гекалы. Каллимах мог услышать его во время своей поездки в Афины; тогда можно предположить, что рассказ Филохора зависит от «Гекалы» Каллимаха — поэмы, сразу по выходе в свет получившей широчайшую популярность.

Эллинистических поэтов, в том числе и Каллимаха, прельщают черты бытового фольклора. Они постоянно присматриваются к явлениям живой старины, к загадочным пережиткам прошлого, стараясь найти поводы или причины, некогда повлекшие за собой возникновение того или иного обряда или странного обычая, по традиции продолжающего сохраняться. Каллимах и другие поэты родственного ему направления желают открыть причину (по-гречески «айтион» или, в другом произношении, «этион») подобных явлений; поэтому их внимание, естественно, чаще всего направляется на «этиологические» легенды. Темы этиологических легенд трактуются поэтами по-разному: то в них оттеняются скорбные, то шуточные моменты, они то излагаются очень кратко, иногда всего лишь в одной или двух фразах, то развертываются во многих десятках стихов. Чрезвычайно часто этиологическая легенда приобретает форму ученой справки.

В «Гекале» показательным примером «книжного» стиля может служить мелкое мифографическое замечание, искусно вставленное Каллимахом в речь вóрона, рассказывающего своей собеседнице историю преступления дочерей Кекропа. Известно общераспространенное, восходящее своими корнями к очень глубокой древности, представление о долговечности вóронов и ворон. На почве этого представления построено Каллимахом и замечание вóрона о том, что он в те времена (т. е. в дни рождения Кекропа) был еще совсем молодым, а теперь живет вот уже при восьмом поколении людском. Только человек, основательно знакомый с тогдашней мифографической литературой, мог должным образом оценить эту хронологическую деталь. Дело в том, что разговор птиц в хижине Гекалы происходит в молодые годы Тесея, еще при жизни его отца, престарелого аттического царя Эгея, а, согласно вычислениям античных мифографов, Эгей является именно восьмым по счету царем Аттики после первого ее правителя.

Датировка произведений Каллимаха, как мы сказали, спорна, и сейчас вряд ли возможно с точностью определить последовательность их появления. Едва ли, однако, есть основания сомневаться, что «Гекала», судя по ее языку и тонко разработанной композиционной технике, принадлежит не начальному периоду творчества, а эпохе полной зрелости его писательского таланта.

3. «АЙТИИ» («ПРИЧИНЫ»)

Сочинение, носившее название «Айтии», в основном являлось поэтической обработкой старинных преданий, частью почерпнутых Каллимахом непосредственно из фольклора, а частью разысканных в старинной письменной литературе. Эти поэтические легенды, независимые одна от другой и тематически очень пестрые, объединяются у Каллимаха общностью целевых заданий: каждая из них вскрывает перед читателем легендарную этиологию то религиозного обряда, уже переставшего быть понятным, то загадочного обычая, удержавшегося от седой древности. Стихотворным размером «Айтий» служит элегический дистих, т. е. форма стиха, которая у поэтов эллинистической эпохи достигла своего наиболее полного развития в эпиграмме. Этот стих издавна применялся в жанрах гномических, морально-дидактических и философских, а также в пословицах, эпиграфических текстах, рассчитанных на случайного читателя, и посвятительных надписях на вещах, подносимых богам и героям. Подобно пословицам и философским изречениям, и элегические посвящения, и эпитафии нередко содержали общую мысль: элемент сентенции прочно соединился таким путем с элегическим метром. Поэтому для элегии, как особый традиционной стиховой формы, рефлексия была характерна. По этой же причине опять-таки в прямую противоположность эпосу, в котором автор по возможности избегает всякого проявления субъективных чувств, элегия допускает любые отступления от основной повествовательной темы, показывающие авторское отношение к рассказываемому, его личные переживания, настроения и мысли: автор начинает говорить о самом себе. Литературным приемом подобного рода пользовался и Каллимах. Примером таких авторских отступлений может служить хотя бы следующий фрагмент папирусного текста «Айтий»⁵, где рассказываемая поэтом легенда предварена отступлением, рисующим картину званого, праздничного обеда в доме одного из александрийских друзей поэта. Хозяин дома, давно уже обосновавшийся в Александрии афинянин, продолжает ревностно соблюдать обычаи своего родного города, в частности праздновать все более или менее крупные афинские праздники.

Празднеством чтит он всегда Икария дочь, Эригону,
 Ту, что к афинянкам встарь яркой пылала враждой.
 Многих друзей приглашал он к себе, земляков, а меж ними
 Был чужестранец один; прибыл в Египет на днях
 Он по торговым делам; его родиной остров был, Икос,
 Мне довелось на пиру лечь с ним на ложе одном.
 «К лучшему вышло для нас,— сказал я,— пословица молвит:
 «Кто тебе друг по душе, должен с тобою быть схож».
 Так же, как мне, ненавистен ему был обычай фракийский
 Власть упиваться вином; меру во всем он любил.
 Стали беседовать мы; узнал я, кто он и откуда
 Прибыл он; трижды уже чаша наш стол обошла.

⁵ Охугунч. рар., XI, 1362.

Тут я промолвил: «Ведь правда, пожалуй, что крепкие вина
 Надо не только водой — речью живой разбавлять;
 Это — приправа к столу; но ее не подносят на блюде
 И виночерпий ее в кубок не может подлить.
 Нет, усмехнется он дерзко, когда ты об этом попросишь;
 Нынче ж мы в пламя вина вместе положим ее.
 Дай мне ответ, Феаген; давно меня мучит желанье
 И разузнать бы хотел я про обычай один:
 Икос твой исстари чтит царя мирмидонян Пелея;
 Разве же с Фтией у вас дружба была иль родство?»

Текст фрагмента в этом месте оборван, но, несомненно, в ответ на вопрос Каллимаха следовал рассказ купца, излагавший местную этиологическую легенду острова Икоса.

Наиболее длинным отрывком текста «Айтий» является Оксиринхский фрагмент⁶ примерно в восемьдесят стихов, содержащий развязку кеосской легенды о любви Аконтия и Кидиппы. Стихи, излагавшие начало легенды, утрачены, но сюжет повествования восстанавливается довольно легко на основании его античных переложений, из которых наиболее важны, во-первых, «Героини» Овидия, а именно 20 и 21 послания, и, во-вторых, сочинение эпистолографа Аристенета, писателя конца V или начала VI в. н. э. (10 письмо I книги).

На одном из Кикладских островов Эгейского моря, Кеосе, живет богатый и знатный юноша Аконтий, а на другом острове того же моря, Наксосе, — молодая красавица Кидиппа. Аконтий и Кидиппа сопровождают своих родителей в путешествии на Делос. Молодые люди, случайно увидевшие друг друга издали, страстно влюбляются один в другого, и в храме Артемиды Кидиппа потихоньку от всех клянется богине, что не выйдет замуж ни за кого, кроме Аконтия. Чувства Аконтия и Кидиппы остаются скрытыми от их родителей. По окончании делосского празднества влюбленные и их родители возвращаются к себе домой. Через некоторое время отец Кидиппы, не знающий о влюбленности своей дочери, собирается выдать ее замуж за одного из граждан острова Наксоса. Уцелевший текст Оксиринхского папируса и начинается с момента свадьбы. Кидиппа уже совершила старинный предсвадебный наксосский обряд; вдруг она бледнеет и заболевает. Кидиппа выздоравливает, но когда отец вновь хочет ее выдать замуж, она вторично заболевает: семь месяцев ее мучит лихорадка. Тем же кончается и третья попытка отца выдать Кидиппу замуж. Отец плывет на корабле за советом в Дельфийское святилище Аполлона, и в Дельфах Аполлон раскрывает ему через свой оракул, что причиной, препятствующей браку дочери, является клятва Кидиппы, произнесенная ею перед лицом Артемиды на Делосе. Аполлон советует ему выдать дочь замуж за любимого ею Аконтия. Пусть отец, говорит в утешение бог, не смущается: будущий зять принадлежит к богатой и знатной семье. Отец Кидиппы возвращается на остров Наксос, и Кидиппа признается ему в своей любви к Аконтию. За Аконтием спешно посылают на остров Кеос и справляют затем счастливую свадьбу.

Сюжет этой наивной повести обнаруживает некоторые черты, типичные для позднейшего греческого романа, а трактовка этого сюжета в «Айтиях» выявляет характерный для Каллимаха и его эпохи интерес к внутренним переживаниям действующих лиц, и не столько героя, сколько героини:

⁶ Охугунч. рар., VII, 1011 (по Пфейферу — №№ 67—75).

рассказ по существу посвящен теме скрытых страданий Кидиппы. Хотя формально содержанием этой повести и является любовь Аконтя, но его судьбой поэт занимается меньше, чем судьбой Кидиппы. В этом интересе к переживаниям женской души Каллимах в свою эпоху не одинок.

Ближайшим источником для Каллимаха, как он сам указывает (ст. 54—55), было сочинение Ксеномеда. Ксеномед — лицо историческое: это логограф, т. е. один из предшественников Геродота в области древнейшей греческой историографии; Дионисий Галикарнасский ставит его в один ряд с такими логографами, как Ксанф и Гелланик, прилагая к ним эпитет «древние» — тот же самый, каким охарактеризовал Ксеномеда и Каллимах. Эти «древние» писатели нередко пересказывали предания («мнэмэ»). Термином «мнэмэ» обозначил литературный труд Ксеномеда и Каллимах. Это старинное сказание, по-видимому, очаровало Каллимаха своей простотой, и он сознательно внес в собственное стихотворное переложение стилистические черты безыскусственного народного жанра. Подражание народной поэзии сказывается здесь прежде всего в преднамеренной простоте синтаксиса и в таких приемах фольклорной поэтики, как повторы, близкие народной анафоре, например в эпизодах свадьбы (ст. 12, 16). Стремясь приблизиться к приемам фольклорной поэтики, он вводит в текст дельфийского оракула величание жениха и невесты по фольклорной поэтической формуле отрицательного сравнения. Убеждая отца Кидиппы выдать дочь замуж за любимого ею юношу, Аполлон намекает на предстоящую свадьбу следующим сравнением: не серебро, говорит он, смешивается со свинцом, а янтарь — с золотом.

Но подражание народной поэзии — это только одна из сторон поэтического стиля Каллимаха; не менее типично для него, как впрочем и для остальных александрийцев одного с ним направления, и другое — то, что принято называть «александрийской ученостью». Образчиком ее является тот биографический комментарий, каким поэт решил иллюстрировать брачную ночь Аконтя и Кидиппы (ст. 45 сл.).

Каково было содержание отдельных книг, на которые были разбиты «Айтии», с точностью установить нельзя. Известно только, что книг этих было четыре. Первая из них, несомненно, открывалась вступлением или прологом ко всему сочинению, в котором давалась символическая картина глубокого сна поэта на Геликоне, где музы в сновидении вступили с ним в беседу. На подобное содержание пролога «Айтий» ясно указывает и одна из анонимных эпиграмм Палатинской антологии⁷, и выражение «Каллимаховы сновидения» у Проперция⁸. Этот пролог, очевидно, напоминал вступление к «Теогонии» Гесиода, пользовавшегося большим уважением Каллимаха.

В начале тридцатых годов нашего века о прологе «Айтий» возникает филологический спор в связи с открытым в 1928 г. папирусным стихотворным отрывком⁹, ближайшее изучение которого с несомненностью показало, что текст его принадлежит прологу «Айтий». Перед нами апология поэта: Каллимах спорит со своими противниками — поэтами, несогласными с направлением его поэзии. Он обзывает их «тельхинами», т. е. злыми демонами, грубыми и завистливыми, которых греческая народная фантазия представляла себе живущими где-то на Родосе или на одном из других островов Архипелага. Тельхины, говорит Каллимах, ворчат на него за то, что в течение всей своей жизни он не написал ничего большого, не создал ни одной

⁷ Anth. Pal., VII, 42.

⁸ III, 3.

⁹ Охугунч. рар., XVII, 2079.

сколько-нибудь длинной поэмы, а всегда писал и продолжает писать только мелочи. Так ворчат тельхины, которые никогда не «дружили с музами». Но разве правы тельхины? Разве дары богини Деметры, мелкие хлебные злаки, не ценнее высоких дубов? Бог поэзии Аполлон дает следующий добрый совет: «жертву богам избирать потучнее и подыскивать стих потоньше». Поэтическая тема должна быть изысканной, тонкой: «Избегай больших, широких дорог,— учит Каллимаха Аполлон,— вперед продвигайся собственными путями, хотя и более узкими (т. е. дорогами, еще не наезженными)». Такова основная мысль, высказываемая здесь Каллимахом.

Спрашивается: когда, в какие годы был написан поэтом этот пролог? Тельхины укоризненно ставят на вид Каллимаху, что в составе его поэтических произведений нет ни одной большой, цельной, «во много тысяч стихов», поэмы, которая воспевала бы, например, подвиг царей или древних героев, и что он все еще по-ребячьи продолжает плести свои маленькие стишки, несмотря на то, что прожил на свете уже не мало десятков лет. Последние слова показывают, что Каллимах написал этот пролог к «Айтиям», уже будучи стариком или во всяком случае пожилым человеком; вполне вероятно, что обращение к тельхинам предпослано было Каллимахом первой книге «Айтий» спустя много времени после того, как сама поэма была написана и впервые выпущена в свет. Возможно даже, что пролог являлся ответом на нападки его противников.

4. ЯМБЫ: «КУБОК БАФИКЛА» И «СПОР ЛАВРА С МАСЛИНОЙ»

Папирусные находки подарили науке фрагменты еще одного сочинения Каллимаха¹⁰. По метрической форме стиха оно получило название «Ямбы». Правильнее было бы назвать его хамбиями, так как Каллимах использовал в нем ту особую разновидность ямбического стиха, которая носила у древних название холиямбов, т. е. «хромых ямбов». Размер этот был введен в греческую литературу ионийским поэтом VI в. до н. э. Гиппонактом, видимо, заимствовавшим его из народной поэзии¹¹. Подобно своему близкому современнику, поэту Героду, написавшему холиямбами свои знаменитые «Мимы», или, как они иначе называются, «Мимиямбы», Каллимах тоже захотел вернуться к этому древнему грубоватому, но очень выразительному стихотворному размеру. Нарочитое подражание последнему подчеркнуто Каллимахом во вступительной фразе, сохраненной нам Оксиринхским папирусом: «Услышьте Гиппонакта!». Поэт изображает Гиппонакта вернувшимся с того света и готовым сообщить людям немало любопытных историй: Гиппонакт отказался от былой своей непримиримой вражды к Бупалу, которого он когда-то столь жестоко преследовал в Эфесе беспощадно злыми насмешками, и предпочитает сейчас развлечь слушателя старыми, но интересными и поучительными рассказами.

Дошедшие до нас папирусные фрагменты в основном содержат отрывки двух повествований: во-первых, рассказ о древнейшем милетском философe Фалесе и кубке Бафикла, доставшемся ему в подарок за мудрость, и, во-вторых, басню о споре лавра с маслиной. Сюжет первого повествования следующий.

Аркадянин Бафикл, умирая, завещает своему сыну передать драгоценный кубок мудрецу, который будет признан первым на свете. Сын выполняет поручение отца и вручает кубок Фалесу. Фалес, однако же, передает полученный им кубок другому мудрецу, которого он считает еще более

¹⁰ Охурунч. рар., VII, 1011 (по Пфейферу — №№ 191, 194).

¹¹ См. т. I настоящего издания, стр. 222.

мудрым, а последний, в свою очередь, дарит его третьему философу. Кубок обходит, таким образом, несколько лиц и в конце концов возвращается к Фалесу, который жертвует его в храм Аполлона Дельфийского. Сюжет легенды не сочинен Каллимахом; поэт лишь использовал один из традиционных ее вариантов. Тем ценнее для нас свидетельство Диогена Лаэртского¹², определенно указывающего, что в своих «Ямбах» Каллимах следовал той версии этого сказания, которую он нашел у Леандрия Милетского.

Более полно сохранился текст второго рассказа — басни о споре деревьев, которую будто бы в старину рассказывали, как говорит Каллимах, лидийские греки. Народный характер басни подчеркнут Каллимахом в самом ее названии — «айнос», термин, которым древние греки определяли специально басенный жанр.

Лавр и маслина (по-гречески названия этих деревьев оба женского рода) спорят друг с другом, кто из них важнее. Лавр самоуверенно говорит о том почете, каким повсеместно пользуется у греков его священная зелень, а маслина скромно, но очень решительно заявляет о пользе, приносимой ею людям. В содержание этой басни Каллимахом искусно введен широко популярный в Греции мотив аттического сказания о споре Афины с Посейдоном за обладание Аттикой. Посейдон, согласно древнему мифу, подарил жителям Аттики коня; Афина же подарила им маслину; подарок Афины получил в населения Аттики более высокое признание, чем подарок бога морей: маслина оказалась ценнее коня. Равным образом и рассказываемая Каллимахом басня о маслине и лавре подчеркивает практическую пользу маслины. «Кому нужен плод лавра? Какая от него польза? Есть его нельзя; нельзя и приготовить из него напиток. Не может служить он и маслом для притираний!» — так восклицает свидетель спора деревьев, дерзкий на язык, но умный, правильно рассуждающий ворон.

Тяготение Каллимаха к фольклору замечается и в «Ямбах». Подражание оборотам народной речи подсказывалось и самой формой стиха; создатель его Гиппонакт не стеснялся вводить в свои холиямбы простонародные и даже очень грубые выражения. Простонароден местами и язык «Ямбов» Каллимаха. Но, как в «Аконтии и Кидиппе», в «Ямбах» этот простой стиль постоянно смешивается с «ученым», образцом которого могут служить мифологические намеки, вкладываемые автором в слова ворона. Упомянув в своей обвинительной речи, направленной против лавра, о споре Посейдона с Афиной, ворон намекает на этот мифологический эпизод: «Кто изобрел маслину?» — риторически спрашивает ворон и сам же отвечает: «Изобрела маслину Паллада, когда она спорила с «обитателем тины», и «когда судьей их спора за обладание Актой был древний муж со змеиным ниже пояса телом». Конечно, не каждый мог сразу сообразить, что под «обитателем тины» надлежит разуметь Посейдона, что Акта это лишь иносказательное название Аттики, а древний муж со «змеиным ниже пояса телом» — легендарный аттический царь Кекроп. Обращение не к широкому, а к избранному, образованному читателю очевидно и тут.

5. ГИМНЫ

а. «Гимн к Зевсу»

«Гекала», «Айтин» и «Ямбы», как и некоторые другие немногочисленные фрагменты произведений Каллимаха, дошли до нас, как мы видели, лишь в папирусных отрывках. Иначе обстоит дело с шестью гимнами, текст

¹² «De clarorum philosophorum vitis...», I, 28.

которых дошел до нас полностью в средневековых списках. В этой рукописной традиции последовательность гимнов следующая: 1) «Гимн к Зевсу», 2) «Гимн к Аполлону», 3) «Гимн к Артемиде», 4) «Гимн на остров Делос», 5) «Гимн на купанье Паллады» и 6) «Гимн к Деметре». Однако указанный порядок едва ли соответствует хронологической последовательности гимнов. Вопрос о том, к какому литературному жанру их следует относить, не раз вызывал споры среди филологов. Иные склонны были относить их к разряду произведений придворной поэзии, писавшихся по заказу Птолемея, другие усматривали в них стихотворения, предназначенные для декламации на торжественных празднествах, посвященных богам. В настоящее время можно считать доказанными два положения. Во-первых, нет никакого сомнения, что в гимнах Каллимаха мы имеем дело с произведениями книжными, рассчитанными на чтение, во-вторых, они лишь поверхностно подражают формам религиозного славословия, преследуют не культовые, а чисто художественные задачи и вследствие разнородности содержания вовсе не образуют единства, принадлежа по существу к различным жанрам. «Гимн к Зевсу» и еще более определенно «Гимн на остров Делос» и «Гимн к Аполлону» имеют, бесспорно, политическую направленность. Три других: «Гимн к Артемиде», «Гимн к Деметре» и «Гимн на купанье Паллады» — по-видимому, не преследуют никаких политических целей и по своим художественным задачам близки к поэме «Гекала» и стихотворной новелле об Аконтии и Кидиппе. Именно в таком порядке гимны и будут нами разобраны. Гимны очень интересны тем, что они несравненно яснее, чем другие произведения Каллимаха, раскрывают его внутренний облик, в частности две типичные для него черты: скептицизм и иррелигиозность.

Каллимах чужд наивной вере отцов, но далек и от всякого рода мистических настроений, уже хорошо знакомых обществу его эпохи. Народные верования и мифы интересуют его не с религиозной, а только с художественной стороны.

Самый короткий из гимнов Каллимаха — «Гимн к Зевсу», содержащий всего 96 стихов, — по мнению большинства исследователей, написан поэтом в молодости, т. е. относится к первым годам правления Птолемея Филадельфа, или, иначе говоря, к тому периоду жизни Каллимаха, когда он стоял еще очень далеко от двора Птолемея.

Вопрос, которым открывается текст этого гимна: «Кто, как не Зевс, должен быть на пиру почтен возлияньем?» — предполагает обстановку симпозия; этому соответствует и полушутливое содержание произведения, выполненного поэтом с большим мастерством и, несомненно, рассчитанного на дружеский, тесный кружок знатоков поэзии и товарищей по искусству. И речевая, и версификационная стороны этого гимна разработаны с тонкостью, напоминающей чеканные работы александрийских мастеров, а игра литературными реминисценциями и стиливыми приемами поэзии рассчитана либо на исключительного ее знатока, либо на профессионала. Гимническая форма стихотворения здесь только внешность: хотя оно и обращено к божеству, но благочестивого чувства в нем нет, и тем с большей ясностью выступает перед нами иррелигиозность Каллимаха.

Поэт обещает слушателю, вернее читателю, поведать историю появления Зевса на свет и сразу же оказывается в затруднении, так как не знает, где собственно этот бог родился, — в Аркадии или на Крите?

Как же тебя мне назвать? Диктейским? Иль лучше — Ликейским?
Дух мой сомньем объят: где рожден ты? Ответа не знаю.

Кто говорит о тебе, что в Идейских горах ты родился,
 Зевсом аркадским иные зовут; чьи же речи не лживы?
 Впрочем,— «критяне — лжецы»; говорят они, будто на Крите
 Зевса могильная насыпь; но ты же не умер, ты — вечен.

(4—9)

Развитие темы оригинально: показ тайных родов богини Рея, утаивающей от своего божественного мужа Крона рождение его последнего ребенка — Зевса. Передачу этого древнего теогонического сказания, примитивность сюжета которого культурному эллинистическому обществу уже давно казалась наивной, Каллимах окрасил юмором якобы серьезной трактовки архаичных моментов традиционного сюжета; рассудочность тона применительно к их изложению создает характерный для Каллимаха стилистический контраст формы и содержания. Иное художественное задание преследовал Каллимах в своей исторической справке о древнейшей топографии Аркадии (ст. 10—27). На основании проделанных им изысканий он хотел воссоздать картину древнейшего аркадского пейзажа, столь отличного от современного ему пейзажа этой страны. Аркадия издавна привлекала к себе внимание Каллимаха, и в списке его сочинений, сохранившемся в словаре Свида, одно из них носит заглавие «Аркадия», так что в исторической справке о ней он мог блеснуть не только обязательными для каждого александрийского поэта мифографическими, но еще и историко-географическими познаниями. Аркадия тех далеких времен, ставшая впоследствии многоводной, была очень бедна водами, сообщает читателю Каллимах.

Волны еще не катил поток широкий Ладона,
 Светлые воды свои не струил Эримаф, и безводным
 Весь был Аркадии край — он теперь водоносным зовется.
 Там развязала свой пояс богиня, рождавшая Зевса.
 Много шумело дубов там, где ныне Ябн протекает,
 Множество шло колесниц по руслу сухому Меланта,
 Был Карюон многоводный в ту пору ущельем, где много
 Змей обитало; и шел каменистым ложем Метопы
 Путник, терзаемый жаждой, пешком перейдя через Кратис.
 А под ногами его струились обильные воды.

(18—27)

Богиня, однако, добыла воду: взмахнув своей могучей рукой, Рея ударила жезлом в скалу, повелев ей произвести источник, и расколовшаяся скала родила речку, в чистых водах которой Рея и омыла младенца.

Попутно будущий автор «Айтий» объясняет читателю историю происхождения одного географического названия: эту-то речку, протекающую и теперь по Аркадии, Рея назвала Недой по имени нимфы, ухаживавшей за ней во время родов и тайно отнесшей новорожденного на остров Крит.

Спасенный от Крона хитростью Рея Зевс вскоре становится взрослым и вместе с двумя старшими братьями — Посейдоном и Аидом — приступает к дележу мира; так говорило предание. Но Каллимах и тут высказывает сомнения:

Речи старинных певцов не всегда нам правду вещают:
 Будто бы Крона сынам жилище их жребий назначил;
 Кто же настолько безумен, чтобы жребию выбор доверил,
 Жить ли в Аиде ему иль на высях Олимпа? ведь жребий

Равные доли дает; а меж этими — целая бездна.
 Пусть будет вымысел мой таков, чтобы слух ему верил.
 Нет, ты не жребием власть получил, а своими руками;
 Сила и храбрость твоя — вот кто твой престол охраняет.

(60—67)

Если сопоставить смысл этих стихов с общей картиной тогдашней эпохи, заполненной вечными войнами эллинистических государей, за власть и международное политическое господство, то мы без труда оценим заключающийся в них сарказм. Рассуждать о небесных владыках можно было, конечно, смелее, чем о владыках земных. Поэтому гораздо осторожнее отзывается он о всемогуществе государей. Боги, поучает Каллимах, получили каждый в свое заведывание отдельные отрасли человеческой деятельности: иной бог заботится о морях, иной о воинах, иной о поэтах и т. д.; кем же ведает высший правитель мира, бог Зевс? Зевс, отвечает Каллимах, остановил свой выбор на той категории, которая является, бесспорно, наиболее важной: он избрал себе «градодержцев» — людей, которым подчинено все. Медники — дело Гефеста, бойцами ведает Арес, охотниками — Артемида, Аполлону принадлежат поэты, а цари — Каллимах по этому поводу повторяет стихи из «Теогонии» Гесиода — «от Зевса цари».

Каллимах завершает «Гимн» несколько льстивой тирадой, но, может быть, скрывающей в себе некоторую иронию. Всем им, царям, даешь ты, Зевс, говорит он, счастье и благоденствие, правда, не всем одинаково, что видно и на примере хотя бы и нашего собственного повелителя (т. е. Птолемея Филадельфа), который гораздо могущественнее других. Что он задумает утром, то вечером приводится им в исполнение, разумеется, только самое важное, так как дела попроще осуществляются сейчас же, другим же царям для выполнения своих замыслов потребен бывает год, а иным мало бывает и года.

Созданный Каллимахом в молодые годы «Гимн к Зевсу» идеологически далек, разумеется, от гимна в честь Аполлона, написанного им в старости. Эта литературная шалость юного поэта раскрывает нам тогдашние его настроения и ясно показывает, что монархизм, который так ярко выражен в «Гимне на остров Делос» и в «Гимне к Аполлону», не может ни в какой мере характеризовать политические убеждения начальной поры его поэтического творчества. Это наиболее раннее произведение тем особенно и интересно, что содержит много такого, что могло быть высказано тогда только иносказательно и, надо думать, лишь в узком кружке близких поэту и верных ему людей.

б. «Гимн на остров Делос»

Чтобы понять политический смысл «Гимна на остров Делос», необходимо вспомнить, что кикладский островок Делос, с незапамятных времен посвященный богу Аполлону, после дельфийского прорицалища Аполлона являлся важнейшей общенародной святыней греков, вследствие чего политический протекторат над Делосом неизменно имел в истории Греции большое международное значение. Поскольку гимн Каллимаха, прославляющий Делос, ставит делосскую сакральную легенду в связь с царским домом Птолемеев, мы получаем возможность хотя бы ориентировочно датировать этот гимн. Стремление увязать мифическую историю Делоса с реальной историей династии Птолемеев политически могло иметь смысл

только в эпоху господства Птолемеев над Делосом, которое наступает около 280 года до н. э. Дату написания гимна можно определить еще точнее, так как стихи 171—187 упоминают о нашествии галлов на Дельфы, случившемся в 277 году до н. э. Время написания гимна можно, таким образом, отнести к 277 или 276 г.

Остров Делос считался местом рождения Аполлона и Артемиды и, согласно сакральному мифу, был первоначально плавучим островом, скитавшимся по волнам Эгейского моря. Остановился он в море, только когда решил дать приют беременной Латоне. Ревнивая Гера пылала непримиримой ненавистью к любовнице Зевса и постаралась ей отомстить. Когда у Латоны наступило время родов, Гера запретила Земле давать приют роженице; ни одна гора, ни одна долина, ни один остров не посмел послушаться приказа Геры; не подчинился этому приказанию лишь один блуждающий, незначительный островок, называвшийся тогда еще не Делосом, а Астерией. Он сжалился над несчастной страдальницей, остановился перед Латоной и принял ее к себе. Греческое слово, означающее «остров» — женского рода, и Астерия в древнем мифе получила черты красивой молодой девушки, любви которой некогда тщетно добивался верховный властитель мира Зевс. Но Астерия ответила Зевсу отказом и, спасаясь от него, бросилась с высоты Олимпа в морские воды, где обратилась в остров. Содержанием гимна Каллимаха в основном и служит мифическое сказание о чудесном превращении плавучего острова Астерии в неподвижный остров, получивший название «Делос» («Ясный»), и о рождении на нем Аполлона. В это мифологическое повествование Каллимах внес множество мелких реалистических черт, а в мифологические фигуры — элементы психологизма. Рассказ о страданиях Латоны, ищущей и не находящей пристанища, и о страхе окрестных речных и горных божеств, сочувствующих несчастной, но не смеющих нарушить запрета грозной Геры, полон жизни. Зорко следят за скитаниями Латоны два преданных Гере божества: бог войны Арес и олимпийская вестница Ирида. Но остров Астерия останавливается перед Латоной так неожиданно и переход Латоны на его берег происходит с такой быстротой, что ни Арес, ни Ирида не успевают предупредить его и теперь опасаются гнева Геры. Положение Ареса, впрочем, не страшно: он сам является важным богом, но занимающая среди олимпийских богов подчиненное место Ирида и досадует на свою неудачу, и трепещет при мысли о каре, угрожающей ей со стороны ее повелительницы. Речь Ириды характеризует и смятенное душевное состояние богини, и ее отрицательный моральный облик. Всю вину за происшедшее она спешит взвалить на Астерию: ни один остров не осмелился послушаться приказаний Геры, и только одна Астерия нарочно подозвала к себе проходившую мимо нее Латону! Каллимах рисует и униженно льстивое поведение Ириды, которая садится у подножья трона Геры и старается уловить ее взгляд, похожая на собаку-ищейку, всегда готовую преследовать кого угодно по первому требованию хозяина.

Эпизод с Иридой приходится расценивать лишь как шутку, внесенную поэтом в текст серьезного гимна, создававшегося, как это многие думают, по заказу самого монарха. Если считать подобного рода предположение о специальном царском заказе правильным и если вспомнить, что «Гимн на остров Делос» был написан Каллимахом около 277 г. до н. э., то предполагаемым заказчиком окажется Птолемей Филадельф, правивший Египтом как раз в то время. Что в своем гимне Каллимах стремился прославить политический авторитет и военную мощь именно Филадельфа, совершенно ясно из почтительного упоминания этого государя в центральной ча-

сти повествования: когда несчастная Латона приближается к острову Косу и хочет попытаться остановиться на нем, маленький Аполлон, находящийся в ее чреве, но уже обладающий даром речи, велит ей искать другой остров, потому что на острове Косе предназначено Мойрами родиться другому богу из верховного рода Сотеров. Так, еще будучи в материнской утробе, младенец Аполлон изрекает знаменательное пророчество о новом, грядущем «боге» — сыне Птолемея Сотера, будущем Птолемее II Филадельфе, в 309 г. до н. э. родившемся именно на острове Косе.

Трусливое раболепство Ириды, как и произвол ее ревнивой и злой повелительницы, должно было вызвать у читателя неприятное впечатление; поведение самой Геры, а еще в большей степени ее прислужницы Ириды, несомненно, возмущают Каллимаха, симпатии которого принадлежат благородной, смелой Астерии. Против кого же, спрашивается, или против чего направлена поэтом созданная им аллегорическая картина? Разумеется, не против монархии Птолемеев, неограниченную власть которых Каллимах поддерживал: о них он отзывается в гимне более чем почтительно. Думается, что сатира Каллимаха направлена не на самих монархов, а на их окружение. Каллимах близко стоял к александрийским дворцовым кругам и хорошо знал их нравы. И образ придворной ищейки, вставленный им в условные рамки мифологического сюжета, восходит, конечно, к живой действительности птолемеевского двора, являясь художественным воплощением одного из жизненных наблюдений поэта.

Начиная с Александра, обожествление государей было в большом ходу в эллинистическую эпоху. Носители державной власти нередко объявлялись богами не только после кончины, но и при жизни. Культ Птолемея Сотера официально был учрежден лишь после его смерти, и в Александрии был выстроен его храм, но его сын Птолемей Филадельф стал богом задолго до смерти, получив сакральный титул «бог Филадельф» через несколько лет после предположительной даты написания «Гимна на остров Делос».

Таким образом, упоминание о нем как о «боге» само по себе должно было восприниматься современниками Каллимаха лишь как условная формула в обращениях к правящему властителю. Предвидя величие грядущего божества — Филадельфа, Аполлон, накануне собственного рождения в мир, спешит отступить от острова, земля которого решением мудрых богинь судьбы отдавалась во владение не ему, а Филадельфу. Подобная мифологическая фикция, типичная для александрийского вкуса, вполне отвечала требованиям эллинистических венценосцев. Тема пророчества Аполлона построена у Каллимаха на наивном мотиве речи младенца в утробе матери, который вряд ли изобретен Каллимахом: скорее следует думать, что он им взят из фольклора. Каллимах преследовал здесь, помимо лести, еще и художественный расчет: наивность старинного повествовательного приема, как бы противоречащая ученому мифологическому обрамлению, давала эффект стиливого контраста, к которому любил прибегать Каллимах, и отчасти скрашивала непривлекательность пускай необходимого, но неприятного льстивого тона всего этого эпизода.

Конец гимна изображает рождение Аполлона. Латона рождает его под ветвями дикой смоковницы под пение лебедей, священных птиц Аполлона, и муз. Астерия, мифологическая персонификация Делоса, берет новорожденного на руки и нарекает его лестным и для нее самой именем: Аполлон Делосский.

Завершается гимн в духе гимнических сакральных концовок славословием в честь божества Делоса — Астерии.

в. «Гимн к Аполлону»

Политическая тематика содержится и в гимне Каллимаха к Аполлону. Текст этого гимна обнаруживает стремление автора к упрочению политической связи, установившейся к тому времени между Египтом и родиной поэта Кирены. Выгодные для купеческих и индустриальных кругов этого богатого города отношения его с державой Птолемеев политически сводились для Кирены к полной утрате ею государственной независимости. В ближайшую к Каллимаху эпоху Кирена не раз подпадала под власть эллинистического Египта, не раз и восставала против нее, возвращала себе на некоторое время самостоятельность и потом вновь теряла ее. Выяснить сколько-нибудь точно, какие ближайшие исторические события послужили поводом к написанию этого гимна, до сих пор не удалось. Ясно одно: он написан тогда, когда Кирена находилась в зависимости от Египта. Установить ближе дату его написания не представляется возможным, так как содержание его одинаково хорошо подходит к политической обстановке как во времена Птолемея Филадельфа, так и Птолемея Эвергета. Однако исследователи скорее склоняются к последнему предположению. «Гимн к Аполлону» открывается картиной религиозного праздника. Поэт обращается с наставительной речью к хору мальчиков, пришедших в святилище Аполлона, чтобы чествовать бога хоровой песней и торжественной пляской, и приглашает хор быть наготове: сейчас мальчики должны будут приступить к совершению обряда. Аполлон, говорит поэт, уже вступил в пределы своего храма. Недаром же дрогнула при невидимом для людей приближении бога ветка священного лавра: значит, бог близко. Обращается поэт не к одному только хору, но и к праздничной народной толпе, приглашая ее благоговейно внимать словословию в честь Аполлона, которое скоро начнет исполнять хор. Словословие это собственно и образует основное содержание стихотворения, композиционный план которого чрезвычайно прост: он сводится к последовательному перечислению божественных функций Аполлона как сакрального покровителя стрелков, поэтов, предсказателей, врачей, пастухов. К этим основным божественным функциям Аполлона Каллимах искусно добавляет еще одну, направляя на нее главное внимание: Аполлон, подчеркивает Каллимах, является еще и покровителем городов, защитником, как мы бы выразились теперь, городской культуры, самолично закладываящим основы новых городских общин (ст. 57). Именно ему обязана своим возникновением и Кирена. Таким способом поэт подводит читателя к главной теме — к теме Кирены. Несомненно, центральным моментом всей композиции этого гимна служат те стихи (ст. 65 сл.), в которых Каллимах вспоминает мифологические времена своей родины: уже и в ту отдаленнейшую эпоху истории почва, на которой потом возникла Кирена, была прославлена богом Аполлоном. Гимн Каллимаха повествует о радости Аполлона, когда в священные дни Карней, этого величайшего национального праздника дорян, Аполлон любовался веселым хороводом юных греческих воинов, исполнявших прекрасную пляску вместе с молодыми ливийками. Он взирал на эту священную пляску, творившуюся в его честь, с высоких вершин скалистой Миртусы и указал на пляшущих своей нимфе, имени которой Каллимах не называет.

Такое иносказательное упоминание об этой богине надлежит рассматривать как поэтизм, вполне отвечающий александрийской манере эротических трактовок мифологического мотива и стилю намеков на фигуры греческой мифологии: безымянная нимфа, возлюбленная бога Аполлона — это

нимфа Кирена, эпонимное божество города. Однако некоторые исследователи склонны в эпитет «подруга» Аполлона, или, иначе, его «нимфа», вкладывать особый политический смысл и усматривать здесь намек на Беренику, дочь державного властителя Кирены, Мага, наследную царевну этого города, бывшую в 259 г. невестой, а позже и супругой царя Птолемея Эвергета. Если гимн написан в первые годы правления Птолемея Эвергета, может быть, вскоре после присоединения Кирены к Египту в 247 г., то он является одним из наиболее поздних произведений Каллимаха и принадлежит уже периоду старости поэта. С такой датировкой вполне согласуется и решительное заявление Каллимаха в этом стихотворении о своей преданности правящей александрийской династии, так как именно к этому времени двор Птолемеев становится ему особенно близок. Политическая тенденция гимна достаточно ясна: дорический город Кирена принадлежит Птолемеям законно, по божественному изволению самого Аполлона, исконного бога дорян. Киренец Каллимах называет поэтому египетского царя своим государем. Небесным патроном Кирены он желает считать Аполлона, земным же ее защитником оказывается у него Птолемей (ст. 26—27).

Заканчивается гимн задорной шуткой (ст. 105—113). Поэт изображает забавную сценку: к Аполлону украдкой подходит Фтон, мифологическое олицетворение зависти (*φθβος* — зависть) и нашептывает ему на ухо язвительный отзыв о новом стихотворении Каллимаха; он осуждает созданный Каллимахом гимн за мелочную трактовку темы, но слова его возмущают бога, и презрительным пинком ноги он отгоняет от себя Фтона, а Каллимах советует последовать за Фтоном и Мому, богу всяческого злодеяния. Художественное мастерство Каллимаха, таким образом, оправдано богом поэзии Аполлоном.

Смысл этой шутильной сценки очень показателен: поэт, без сомнения, сводит в ней с кем-то личные счеты, вероятно, стремясь предвосхитить критику со стороны кого-нибудь из числа литературных врагов, которых у Каллимаха было много. Личность человека, против которого была направлена эта злая шутка, остается от нас скрытой. Высказывалось предположение, но недостаточно обоснованное, будто под Фтоном Каллимах разумеет Аполлония Родосского.

1. «Гимн к Артемиде»

Для уяснения общего направления поэзии Каллимаха во многих отношениях представляет большой интерес гимн в честь Артемиды. Наряду с замечательным совершенством литературной техники, в этом гимне с особой ясностью выступает свойственный Каллимаху юмор.

Сюжет гимна следующий. Артемида, еще девятилетняя девочка, сидит на коленях своего отца Зевса и, ласкаясь к нему, просит подарить ей (будущей богине-охотнице) охотничий лук и стрелы. Осторожное подражание местами детской мысли, а отчасти и детской речи, например обиходное выражение «аппа» (папочка, папа) в устах маленькой Артемиды создает настроение, роднящее мифологический древний Олимп с обстановкой жизни эллинистического дома. Артемида тянется ручонками к могучей борде Зевса, и Зевсу это приятно.

Быстро, одна за другой, сменяются сцены. Сопровождаемая свитой маленьких нимф Артемида отправляется в кузницу Гефеста к чумазым одноглазым великанам, киклопам, которые, по ее просьбе, выковывают ей стрелы. Новая сцена: в лесной хижине козлоногого бога Пана Артемида получает свору резвых, молодых собак; затем первая охота Артемиды.

во время которой она ловит двух золоторогих ланей. Поэт забегает вперед: когда впоследствии Артемида выросла и стала божественной, знаменитой охотницей, при возвращении на Олимп ее всегда поджидал Геракл. Народные сказания любили изображать Геракла обжорой — таким выведен он и здесь: «Не стоит охотиться за этой мелочью», убеждает он Артемиду, надо преследовать вредных крупных зверей, например кабанов; покатываются со смеху боги при виде того, с какой жадностью тащит Геракл к себе большущего вепря, легко забросив его на спину. Как этот эпизод, так и ряд других не свидетельствуют об уважении к богам; изображение олимпийских сцен дано в шутливом тоне. Каллимах использует здесь прием снижения стиля; на протяжении всего гимна выдержан контраст: с одной стороны традиционно эпический язык, спокойная и бесстрастная возвышенность которого в иных местах даже искусственно усилена, а с другой — будничное содержание, развертывающееся перед читателем в ряде невинно забавных сцен.

В текст гимна введен и характерный для поэта-александрийца мотив эротики (ст. 180—182).

«Гимн к Артемиде» изобилует и мифографической ученостью. Так, Геракл, тирифский владыка, иносказательно обозначен в одном месте гимна (ст. 146) загадочным эпитетом «тирифская наковальня».

Каллимах, иначе говоря, одновременно щеголяет своей начитанностью в мифографии и вместе с тем подтрунивает над подобного рода александрийской псевдоученостью, доводя ее до абсурда (ст. 120—121). «Сколько пробных выстрелов сделано было тобою?» — спрашивает с деланной серьезностью поэт Артемиду, формально подражая вопросам, нередко в старинном эпосе обращаемым сказителем к герою эпического рассказа. И сам вопрос и ответ на него носят несколько иронический характер: «Первый выстрел был направлен в тополь, второй — в дуб, и только третий — в дикого зверя». Ни в каком другом произведении Каллимаха нам с такой ясностью не открывается ироническое отношение поэта к мифографической псевдоучености.

д. «Гимн к Деметре»

«Гимн к Деметре», как и «Гимн к Аполлону», начинается с живого изображения религиозного праздника в честь Деметры, в котором имели право участвовать только женщины. Мифологический рассказ о грехе Эрисихтона, составляющий основное содержание гимна, мастерски развернут Каллимахом на фоне этого народного праздника — встречи «калафа», священной корзины, наполненной особым печеньем, употреблявшимся при обрядах, и другими предметами культа богини Деметры. Улица города, по которой пройдет процессия с калафом, переполнена толпой. Женщины в покрывалах, девушки с косами, девочки-подростки и маленькие девочки — все стоят и ждут. Вечереет. В день праздника встречи калафа до захода солнца полагалось ничего не есть. И ощущение голода, испытываемое собравшимися, еще усиливает томительность ожидания. Искусно вводит Каллимах в изображаемую им картину такую деталь физиологического порядка: от острого голода у иных из женщин, нетерпеливо ожидающих появления первой звезды, обильно набегают слюна во рту, и им хочется ее сплюнуть, но плевать на землю в этот посвященный Деметре день религия запрещает.

Надо чем-то развлечь толпу, чтобы помочь ей терпеливо дожидаться наступления ночи, выдержать этот кратковременный пост, и устами одной из участниц праздника поэт рассказывает женщинам назидательную исто-

рию Эрисихтона, мифического нечестивца-обжоры, некогда понесшего за свой грех суровую кару от Деметры.

Основной сюжет мифа следующий: в древности была у Деметры любимая ею роща в Фессалии. С уважением относились к этой роще окрестные жители. Но однажды в сопровождении двадцати рослых слуг, вооруженных острыми топорами, в нее ворвался Эрисихтон, молодой фессалийский царь, и приказал рубить деревья. Первым под ударом секиры гулко упал на землю стройный, высокий тополь; обеспокоенная шумом упавшего дерева, Деметра вышла к порубщикам, приняв наружность своей престарелой жрицы. Спокойной, ласковой речью она попыталась сперва образумить дерзкого юношу, но Эрисихтон грубо прервал речь богини. Разгневанная Деметра сбросила обманчивый вид старухи и явилась в своем божественном образе. В ужасе побросали слуги Эрисихтона топоры, прекратив нечестивую рубку деревьев. Но их, как слуг, покорявшихся воле господинна, богиня не тронула и весь свой гнев обрушила лишь на Эрисихтона. Она в наказание наслала на него мучительный голод. Бесперывно готовили повара молодому владыке кушанья, но Эрисихтон насытиться не мог. Им были съедены все запасы отцовского дома, пришлось зарезать и рабочих мулов и корову, обещанную его матерью богине домашнего очага Гестии, и скаковую лошадь, и славного боевого коня, и, наконец, даже домашнюю кошку. А нестерпимый голод не переставал мучить Эрисихтона.

Ни одно из произведений Каллимаха не примыкает так близко к сказочному образцу, как этот гимн. Однако окончание сказки Каллимах переделал. Древнейшая форма сказания кончалась гибелью Эрисихтона — он пожирал самого себя. Каллимах заканчивает свой рассказ иначе: Эрисихтон становится нищим. Исхудалый, голодный, он с прежней неослабевающей жадностью поглощает теперь объедки, перепавшие ему с чужого стола. Иначе говоря, из мифологической фабулы Каллимах делает морализующий вывод о необходимости почитать богов и о вреде обжорства. Кроме того, Каллимах вводит в пересказываемую им древнюю легенду мелкие черты современного поэту быта, приобретающие у него большую силу жизненной правды. Отвратительная болезнь ненасытного голода воспринимается родственниками несчастного юноши как величайший семейный позор: они не выпускают Эрисихтона из дома и всем приглашающим его в гости отвечают, как им это ни тяжело, отказом. Изобретаются всякие лживые отговорки, лишь бы скрыть истину и соблюсти приличия, никому не выдав позора семьи; поэт жалеет бедную мать, которая, любя сына, была вынуждена прибегать к постоянной лжи. Реалистическое изображение поведения матери Эрисихтона, светской женщины, даже и в минуту острого материнского горя не забывающей о приличиях, интересно не только с историко-бытовой, но и с литературоведческой точки зрения, так как это описание содержит в себе оттенок тонкого юмора. Чувство юмора, уже очень заметное у Менандра, проступает в поэзии александрийцев с полной отчетливостью.

Но вот рассказ об Эрисихтоне кончен, и к женской толпе начинает приближаться долгожданная ею процессия — четверка белых коней везет священный калаф Деметры. Завершается текст гимна молитвенным обращением к богине Деметре, которую просят даровать людям урожай хлебных злаков и кормовых трав, а также послать им мир, чтобы тот, кто вспахал поле, смог бы и снять с него урожай. В бурную эпоху, наполненную междоусобными войнами эллинистических династий, эта заключительная часть молитвы оказывалась уже не только условной молитвенной формулой: по всей вероятности, она звучала крайне актуально.

е. «Гимн на купанье Паллады»

Гимну в честь Деметры очень близок по композиционному плану «Гимн на купанье Паллады». Внешнее обрамление развиваемой темы связано и здесь с религиозным празднеством — омовением кумира Афины в водах реки. В обоих гимнах Каллимах пользуется литературным дорическим диалектом, какой мы находим в идиллиях Феокрита. Но «Гимн на купанье Паллады», кроме того, отличается от всех пяти других и метрической формой: он написан не гексаметром, а элегическим размером, каким написаны и «Айтии».

В начальных стихах «Гимна на купанье Паллады» поэт обращается к «лотрохоям» — аргосским девушкам, участницам обряда омовения кумира, призывая их поспешить приготовиться к встрече богини, так как уже слышнофырканье коней, везущих изваяние; в заключительной части гимна повествуется о том, что колесница Афины уже приближается к берегам реки Инаха; там, у реки, девушки должны встречать кумир молитвенным песнопением, сопровождая его, согласно ритуалу, громкими возгласами. Таково обрамление. Основным же содержанием гимна служит мифологическое повествование о юном Тиресии. Как и в «Гимне к Деметре», темой мифа является божественная кара, постигающая грешника. Однако эти рассказы в корне различны: Эрисихтон совершает преступление сознательно; Тиресий нравственно чист, он лишь жертва роковой случайности. Поэтому рассказ о нем более трагичен.

Молодой охотник, еще почти мальчик, Тиресий охотится в жаркий день в лесу и в полдень, томимый жаждой, выходит к лесному ручью, желая напиться. Но, на свою беду, Тиресий не замечает, что приблизился к ручью в тот момент, когда в струях его вместе с одной из нимф купалась Афина. Так, сам не желая этого, Тиресий случайно узрел наготу богини, т. е., по античному воззрению, совершил тягчайшее преступление. Афина заметила юношу и отняла у него зрение на всю его жизнь. Трагизм этой картины поэт усилил изображением страданий матери Тиресия: купавшаяся вместе с Афиной нимфа и была его матерью. В отчаянии прижимая ослепленного сына к своей груди, осыпает она Афины горькими упреками за жестокость. Афина прощает горячность нимфы, понимает глубину ее горя, но вернуть зрение ослепленному не может в силу древних божественных законов. Оправдываясь перед несчастной матерью, она ссылается на эти, может быть, несправедливые, слишком суровые, но ненарушимые установления, обязательные для всех богов, и пробует облегчить материнское горе, обещая прославить Тиресия мудростью и пророческим даром, который она в него вложит.

Каллимах сам говорит, что в этом гимне он пересказывает старинный миф: «Повесть эта принадлежит не мне, а другим».



Глава IV

ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

1. Эпическая поэзия и появление в ней новых мотивов. Антимак Колофонский.— 2. Аполлоний Родосский: а) биография; б) «Аргонавтика»; в) источники поэмы; г) литературные приемы Аполлония; д) оценка Аполлония в древности.— 3. Риап.— 4. Дидактическая поэзия.— 5. Ликофон.— 6. Эвфорион.

1. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПОЯВЛЕНИЕ В НЕЙ НОВЫХ МОТИВОВ. АНТИМАХ КОЛОФОНСКИЙ

Об эпической поэзии VI, V и IV вв. до н. э. сохранились только скудные и отрывочные сведения. После того как в VIII и VII вв. в многочисленных киклических поэмах был разработан ряд тем из греческой героической мифологии, в VI в. героический эпос, по-видимому, стал терять свое значение. Изменение исторической обстановки снизило значение певцарапсоды; эпос должен был стать поэмой для чтения; в связи с этим он, конечно, постепенно менял характер, приспособливаясь к новым вкусам и интересам слушателей и читателей. Это изменение могло идти в различных направлениях, затрагивая то содержание, то форму эпических поэм.

В V в. Паниасиду Галикарнасскому еще удалось достигнуть известности своей «Гераклеидой в 14 книгах», несмотря на то, что эта тема уже была разработана в VII в. Писандром из Камира. Другая поэма Паниасида, об основании греческих городов в Ионии, по содержанию тоже примыкает к тем киклическим поэмам, которые излагали местную историю и мифологию, однако она написана уже не эпическим, а элегическим стихом, что являлось крупным новаторством для эпического поэта, так как тем самым изменялся способ исполнения поэмы. От обоих произведений Паниасида остались настолько незначительные фрагменты, что мы не можем судить об их художественных достоинствах; однако, по всей вероятности, они были велики. Паниасид был включен составителями александрийского канона в число десяти лучших эпических поэтов вслед за Гомером, Гесиодом и Писандром.

В том же V в. Херил Самосский сделал попытку открыть новый путь для эпоса, избрав для него тему из современной истории (греко-персидские войны); в сохранившихся вводных стихах к «Персеиде» он жалуется на то, что в его время эпическому поэту нечего делать,— все подходящие для эпоса темы уже исчерпаны. Херилу удалось добиться успеха: его произведение даже читалось на празднике Панафиней, но впоследствии, когда

новые события бурных V и IV вв. превратили греко-персидские войны в историческое воспоминание, его поэма была забыта.

Исторический эпос после Херила не получил широкого развития, однако не исчез окончательно. Например, в «Посланиях» Горация имеется упоминание о другом Хериле, поэте IV в., который «мил был царю Александру» и воспел его «стихами плохими»¹. Имеются сведения и о нескольких поэмах III в., восхвалявших подвиги диадохов, но от них не сохранилось даже фрагментов.

Судя по названиям других эпических поэм эллинистической эпохи, не дошедших до нас, они были написаны на мифологические сюжеты, которые заимствовались часто из местных легенд и преданий. Большинство этих поэм не сохранилось. До нас дошли лишь имена авторов или заглавия: Риан с Крита, Симонид из Магнесии, поэт при дворе Антигона Гоната, Демосфен из Вифинии, автор поэмы об истории Вифинии в 10 книгах, Архит из Амфиссы, автор мифологических эпоей, Каллимах Младший, племянник известного Каллимаха, автор эпоса «Об островах», поэтесса Аристодама, родом из Фессалии, и этолиянка Алкиноя. Что касается произведений этих поэтов, то мы знакомы в некоторой степени лишь с сочинениями Риана; этим мы обязаны Павсанию, использовавшему его эпос о мессенских войнах не с литературной, а с исторической целью. Никаких данных о том, внесли ли эти поэты что-либо новое в развитие жанра, не имеется. Поэтому переход от киклических поэм к единственной полностью дошедшей до нас эллинистической поэме об аргонавтах Аполлония Родосского представлялся бы нам резким скачком, без всяких промежуточных ступеней, если бы не сохранилось несколько фрагментов и сравнительно большое число отрывков еще об одном эпическом поэте V в., который решился на крупное нововведение. Это — Антимах Колофонский; свой прославленный эпос «Лида» он не только написал элегическим дистихом по образцу Паниасида Галикарнасского, но и придал ему отчасти характер лирической любовной поэмы. Это был очень смелый шаг, нарушивший непоколебимые до тех пор границы лирики и эпоса и оказавший огромное влияние на эпические поэмы III и II вв. Однако эпический элемент в этой поэме, по-видимому, преобладал над лирическим, так как Антимах все же включен в число 10 лучших эпических, а не лирических поэтов (причем помещен следующим за Паниасидом).

Антимах посвятил поэму «Лида» памяти своей умершей возлюбленной; кем она была и является ли имя Лида (т. е. лидиянка) ее действительным или вымышленным именем, неизвестно, да и не имеет большого значения. Гораздо важнее то, что Антимах построил поэму не так, как строили свои произведения киклики, разрабатывавшие мифы по историко-географическим или генеалогическим группам. Антимах сгруппировал их по содержанию, подобрав мифы на любовные сюжеты; особенно важное место занимал у него, по-видимому, миф о любви Медеи и Ясона, некоторые моменты которого (например, мотив усыпления змея), введенные им в литературу, в дальнейшем повторялись теми, кто брался за разработку мифа об аргонавтах; в частности, усыпление змея играет большую роль в латинской поэме Валерия Флакка (I в. н. э.) и в поздней греческой «Аргонавтике» (III и IV вв. н. э.), вышедшей из орфических кругов².

Поэмой «Лида» Антимах положил начало новому жанру — мифологической элегии, которая в эллинистическую эпоху имела большой успех.

¹ Гораций. «Послания», II, 1, 232.

² См. гл. XIV настоящего тома.



Гилас и нимфы. Мозаика. II в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

Элегии «К Биттиде» Филета Косского (IV в. до н. э.) и элегия «Леонтион» Гермесианакта (IV—II вв. до н. э.) создавались под его непосредственным влиянием. В дальнейшем циклы любовных элегий Овидия, Тибулла и Проперция бесконечно варьируют всевозможные мифологические параллели и примеры для наглядного изображения любви поэта; мифологический аппарат становится необходимой составной частью любовного стихотворения, и автором этого нововведения можно считать Антимаха.

Весьма вероятно также, что тот лирический характер, который придает Аполлоний Родосский мифу о любви Медеи, введен им под влиянием поэмы Антимаха; в схолиях к поэме Аполлония имя Антимаха упоминается не раз.

Кроме «Лиды», Антимах написал еще поэму «Фиваида». О том, что представляла собой эта поэма, нельзя сказать ничего определенного. Гораций в «Поэтическом искусстве»³ в качестве примера излишне растянутого эпического повествования приводит рассказ какого-то поэта — имени он не называет — о возвращении Диомеда, начинающийся с описания давно свершившейся гибели Мелеагра после калидонской охоты; схолий к этому стиху называет имя Антимаха и говорит, что «он растянул материал так, что наполнил им 24 книги, не доведя своих вождей до Фив». О тяжеловесности «Фиваиды» упоминает и Цицерон⁴: «этот большой том, который вы знаете»; ярый враг кикликов Каллимах отрицательно отзываясь об Антимахе⁵ и о его «толстом произведении»; Плутарх тоже порицает его за многословие⁶.

«Фиваида» Антимаха прежде вызывала большой интерес исследователей в связи с установлением источников латинской «Фиваиды» Стация (II в. н. э.); однако ввиду незначительности фрагментов Антимаха прямой зависимости установить нельзя.

³ «Поэтическое искусство», 146.

⁴ Brutus, 191.

⁵ Каллимах, фр. 441.

⁶ De garrulitate, 21.

Помимо этих двух крупных произведений Антимаха известно еще его стихотворение «Дельта»⁷; ему же приписывается эпиграмма «О вооруженной Афродите»⁸, а в схолиях к Гомеру упоминается его имя как издателя поэм Гомера.

Древние отзывались об Антимахе часто очень восторженно. Большим почитателем его был Платон: он даже отправил в Колофон своего ученика Гераклида Понтийского собрать стихотворения Антимаха⁹. Цицерон передает анекдот о том, как Антимах читал свою поэму перед слушателями, которые стали постепенно расходиться, утомленные ее длиннотами¹⁰; остался один Платон, перед ним Антимах и дочитал поэму, сказав, что один Платон стоит для него ста тысяч слушателей. Поклонниками Антимаха были и Асклепиад Самосский, называющий «Лиду» «совместным творчеством Антимаха и Муз», и Посидипп¹¹. Немалым успехом пользовался Антимах и в Риме; в эпоху Адриана он ставился некоторыми критиками даже выше Гомера; напротив, Квинтилиан, хваля Антимаха за его «силу и серьезность» (*vis et gravitas*), находит в нем мало «чувства, приятности, композиции и вообще искусства»¹².

2. АПОЛЛОНИЙ РОДОССКИЙ

а. Биография

Биографические данные об Аполлонии Родосском скудны: они сводятся к кратким сведениям в словаре Свиды и к двум несколько противоречивым жизнеописаниям, имеющимся в схолиях. Исследователи особенно сильно расходятся между собой в установлении даты его рождения (в пределах 50 лет, между 300 и 250 гг. до н. э.). Более правдоподобны ранние цифры (290—293), так как резкие критические выпады Феокрита и Каллимаха, направленные, как можно с достаточной уверенностью предположить, именно против Аполлония, относятся к 270—260 гг. до н. э. Как в обоих жизнеописаниях, так и у Свиды утверждается, что Аполлоний был учеником Каллимаха, причем, будучи совсем молодым, Аполлоний пришел в столкновение со своим учителем. Это было бы невозможно, если бы Аполлоний родился в 250 г., так как Феокрит, родившийся в 315 г., вряд ли мог в 85-летнем возрасте в насмешливо-оживленном тоне полемизировать с Аполлонием в VII идилии и создать в противовес ему такие крупные и свежие вещи, как «Гилас» и «Диоскуры». Каллимах же умер в 240 г., следовательно, тоже не мог выступать против Аполлония.

Аполлоний родился в Александрии или в Навкратии; еще в молодости он начал сочинять большую эпическую поэму, которую прочел вслух, но кто были его слушатели — жизнеописания не указывают. Он не только не имел успеха, но, по словам биографа, «не перенес позора со стороны граждан и порицаний и клеветы со стороны других поэтов, оставил родину и отправился на Родос». Судя по этому тексту, можно предположить, что Аполлоний читал поэму не в замкнутом литературном кружке, а перед более широкой публикой, что вполне согласуется с древними

⁷ Афиней, VII, 300.

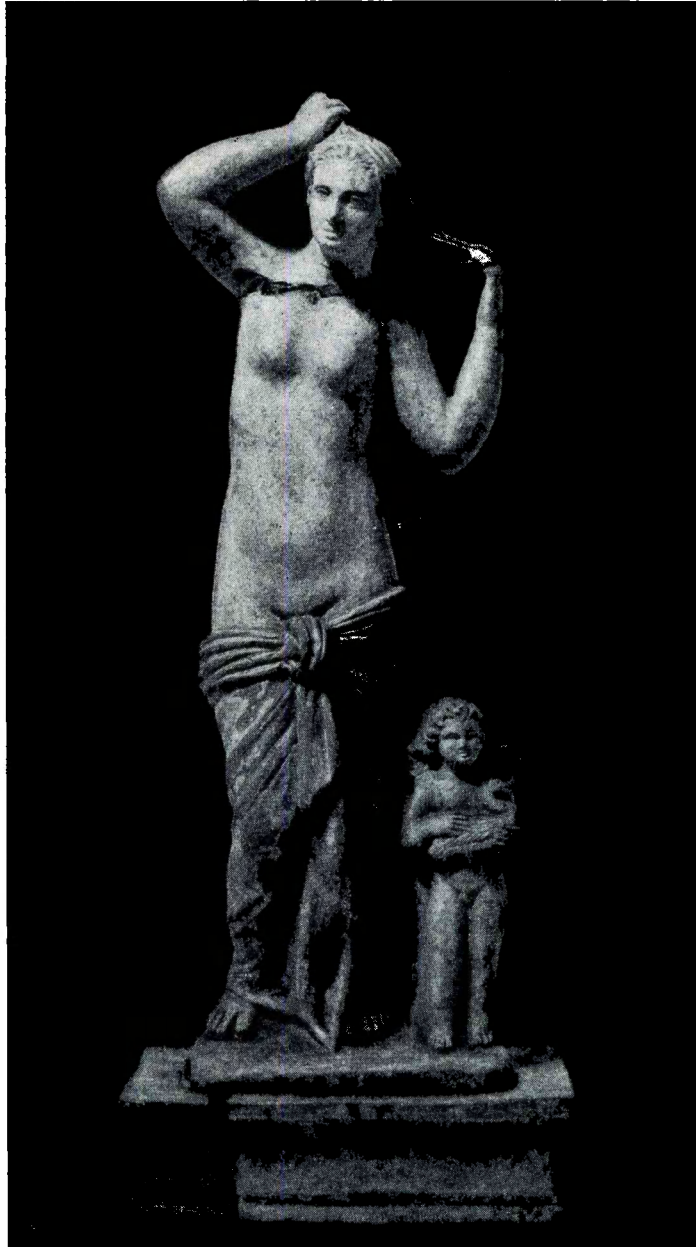
⁸ Anth. Pal., IX, 321.

⁹ Схолия Прокла к диалогу «Тимей», I, 121.

¹⁰ Brutus, 191.

¹¹ Anth. Pal., IX, 63; XII, 168.

¹² Квинтилиан, Образование оратора, X, 1, 53.



Афродита, расчесывающая волосы. Глина. III в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

приемами исполнения эпических произведений и к чему Аполлоний, желавший стать новым Гомером, вероятно, стремился.

Но Родосе судьба Аполлония сложилась благоприятно. Поэт удостоился права родосского гражданства и почестей; там же он подверг переработке свою поэму. Она существовала некоторое время в двух редакциях, на что имеются указания в схолиях, но рукописи, дошедшие до нас, не носят следов этих редакций.

Свидетельство второго жизнеописания о возвращении Аполлония в Александрию недостоверно, и можно предположить, что он умер на Родосе.

До нас дошла большая эпическая поэма Аполлония «Аргонавтика», состоящая из четырех книг (в I книге 1362 стиха, во II — 1288, в III — 1406 и в IV — 1779; всего 5835 стихов). Имеются сведения, что кроме нее им были написаны небольшие стихотворения об основании различных городов (это распространенная литературная форма эллинистической эпохи) и поэма «Каноб» от которой до нас дошло несколько стихов, описывающих храм Сераписа в Египте. Возможно, что поэма касалась пребывания в Египте Менелая, так как Каноб — имя мифического кормчего, который вел корабль Менелая и умер от укуса змеи¹³.

Помимо поэзии, Аполлоний, как и многие другие поэты того времени, занимался грамматикой и критикой текстов. У Афиней имеются сведения о его книгах «Против Зенодота» (критика гомеровского текста) и «Об Архилохе», а в схолиях к псевдогесиодовому «Щиту Геракла» упоминается работа Аполлония о Гесиоде.

б. «Аргонавтика»

I к н и г а. Воззвание к Фебу. Пелий поручает Ясону привезти золотое руно из Колхиды. Каталог аргонавтов. Аргонавты выбирают Ясона вождем. Описание корабля «Арго» и размещение аргонавтов на корабле. Аргонавты готовятся к отъезду, жрец Идмон приносит жертву и пророчествует. На пиру дерзкий Ид ссорится с Идмоном, и их успокаивает своей песней Орфей. На следующий день аргонавты отплывают и вскоре причаливают у Лемноса, где мужчины были истреблены и власть находилась в руках женщин. Ясон вступает в брак с их царицей Гипсипилой. Через некоторое время по настоянию Геракла аргонавты бросают своих возлюбленных и плывут дальше. В Магнесии во время остановки нимфа ручья похищает красавца Гиласа, любимца Геракла, и Геракл в поисках не слышит сигнала к отправлению. Аргонавты отчаливают без него, за что Теламон упрекает Ясона. Их ссору прекращает морской бог, который говорит им, что Геракл остался на берегу по воле богов.

II к н и г а. Аргонавтов гостеприимно принимает царь Кизика. Ночью после отъезда из Кизика буря прибывает корабль аргонавтов снова к берегам Кизика, и в темноте аргонавты и местные воины вступают друг с другом в бой. Царь Кизика погибает, его молодая жена кончает жизнь самоубийством. После похорон аргонавты плывут дальше и делают остановку в стране бевриков, где Полидевк (один из Диоскуров) побеждает великана Амика. Потом они проводят некоторое время на острове, где живет Финей, который предсказывает им их дальнейший путь до Колхиды. С помощью Геры и Афины аргонавты проводят свой корабль между кианийскими скалами к стране Мариандинов, где умирают прорицатель Идмон и кормчий Ти-

¹³ Каноб упоминается и в поэме Никандра «О животных ядах», ст. 309.

фис; далее аргонавты минуют курган Сфенела, Синоп и другие прибрежные области, на одном из островов встречаются с сыновьями Фрикса, потерпевшими крушение на пути в Грецию, берут их с собой в Колхиду и, наконец, достигают устья Фасиса (Риона).

III к н и г а. Гера и Афина отправляются к Афродите с просьбой послать Эрота, чтобы он пробудил в сердце Медеи любовь к Ясону. Афродита исполняет просьбу, и в то время, как посольство аргонавтов во главе с Ясоном находится у Аэта, царя Колхиды, Эрот ранит Медею. Аэт требует от Ясона выполнения ряда подвигов, и Аргос, старший сын Фрикса, советует обратиться к Медее за помощью. Халкиопа, мать Аргоса, старшая сестра Медеи, умоляет ее о помощи. Медея долго колеблется, наконец, решается дать Ясону волшебную мазь и едет на свидание с ним. Ясон успешно совершает свои подвиги.

IV к н и г а. Ясон с помощью Медеи похищает золотое руно, и Медея бежит вместе с аргонавтами. Аэт посылает за ними погоню под предводительством своего сына Апсирта. Медея заманивает Апсирта в засаду, и Ясон убивает его, за что по воле Зевса Ясон и Медея должны подвергнуться очистительным обрядам на острове Кирки. С помощью Геры аргонавты минуют Скиллу и Харибду и достигают острова Феаков, где Арета устраивает брак Ясона и Медеи. Аргонавты отплывают в Грецию, но буря относит их к берегам Ливии; корабль попадает в Тритонийский залив; потеряв направление, аргонавты ожидают гибели от голода и жажды, но их спасают нимфы, указывающие им путь, которым они должны донести свой корабль на плечах до открытого моря. После незначительных приключений на Крите и других островах Эгейского моря аргонавты возвращаются на родину.

Поэма Аполлония охватывает очень большой материал.

Ко времени Аполлония тема троянского похода была уже окончательно исчерпана; тема подвигов Геракла тоже (начиная с Писандра) не раз привлекала к себе внимание и разрабатывалась как в форме длинных «Гераклеид», так и в форме небольших эпических поэм, образец которых мы находим не только в Феокритовом «Геракле-младенце», но и в помещенной в собрании «Идиллий» Феокрита, но не принадлежащей ему поэме «Геракл — убийца льва». В сущности, кроме этих двух, общегреческих тем больше нет; все другие имеют несколько местный характер (Тесей — Атика, Эдип — Фивы и т. п.); поэты же эллинистической эпохи, минуя даже более крупные местные темы, охотно углублялись либо в совсем неизвестные локальные мифы, либо разрабатывали старые мифы под каким-нибудь новым, особым углом зрения. Аполлоний, вероятно, намеренно желая подчеркнуть протест против этих тенденций александризма к разработке мелких сюжетов, останавливает свой выбор на большой теме, дающей возможность привлечь к ней интерес всех греков.

Политические тенденции поэмы Аполлония недостаточно ясно выражены. В последнее время был высказан взгляд, что в поэме «нашла свое отражение политика Птолемея II», что в ней «отражены два политических события — борьба Египта с Киреной и подготовка Птолемеем Хремонидовой войны» и что некоторые мифы, введенные Аполлонием, «являются идеологическим обоснованием политики Птолемея II»¹⁴.

Однако нельзя не заметить, что в самой поэме, хотя и довольно слабо, последовательно проводится идеализация демократического начала, начала равенства, конечно, не всех людей, а членов одной общины, боевой дружины.

¹⁴ Автореферат диссертации Н. А. Чистяковой «Аргонавтика» Аполлония Родосского». Л., 1950.

В среде аргонавтов господствует исключительно выборное начало. Ясон, собравший героев, до выборов не считает себя их вождем и говорит ¹⁵:

Выберем ныне вождя, но лишь лучшего, други, без лести.
Пусть он заботу несет обо всем и дает приказанья.

(I, 338—339)

Взоры всех обращаются на Геракла, но тот отказывается:

Не потерплю, чтобы мне пред друзьями такое отличие
Выпало нынче на долю. Оно и другим не пристало;
Тот, кто сюда нас созвал, пусть будет вождем нашей рати.

(I, 345—347)

В дальнейшем Ясон строго придерживается демократического начала и обо всем советуется с товарищами. Он не только не гордится своим положением, но скорее несет его как тяжелую обязанность. Бледный и бесхарактерный Ясон Аполлония только «первый между равными», он вождь дружины, которую нельзя даже назвать дружиной героев; кроме того, он и сам не является героем.

Напротив, обоих монархов (Пелия и Аэта) Аполлоний наделяет исключительно отрицательными чертами и особо отмечает недовольство народа распоряжениями Пелия:

Зевс! наш владыка! Ну что это Пелий замыслил? Зачем он
Гонит из края ахеян такую дружину героев?

(I, 242—243)

в. Источники поэмы

В эпической поэзии тема похода аргонавтов затрагивалась лишь мимоходом. Геснод упоминает о Ясоне и Медее в следующих стихах «Теогонии» (998—1002):

... к Иолку

Прибыл на резвом своем корабле Эсонид с быстроглазой
Девой и сделал цветущей своею супругой ту деву.
И сочетался с ней пастырь народов Ясон. И родила
Сына Медея ему. В горах Филиродом Хароном
Был он вскормлен...

(Перевод В. В. Вересаева)

Довольно подробно, насколько это возможно в лирическом произведении, рассказывает о походе аргонавтов Пиндар в IV пифийской оде. Он говорит о Медее с глубоким уважением, называет ее «божественной пророчицей», упоминает, правда, и о том, что ей предстоит стать «убийцей Пелия», но не говорит о детоубийстве. Он дает только некоторые этапы похода и заканчивает победой Ясона над детьми земли, вовсе не касаясь длинного пути туда и обратно.

Наиболее близко к Аполлонию эту тему в эпической форме разработал Каллимах в «Айттиях». Мы имеем от них только фрагменты, но исследователи все же устанавливают некоторые параллели между Аполлонием и Каллимахом и даже высказывают предположение, что в первой редакции поэма Аполлония была еще ближе к стихотворениям Каллимаха.

¹⁵ Все переводы из Аполлония Родосского принадлежат М. Е. Грабарь-Пассек.

Значительно большее внимание уделяла мифу об аргонавтах трагедия; известны названия многих трагедий, разрабатывающих отдельные эпизоды этого мифа, например: у Эсхила — «Афамант», «Гипсипила», «Кабиры», «Финей», «Арго», «Главк»; у Софокла — «Афамант», «Фрикс», «Колхидяне», «Чародейки» (о Мееде в Фессалии); у Эврипида — «Дочери Пелия», «Фрикс», «Ино», «Медее».

Из всех этих трагедий до нас дошла только последняя, основой темой которой является измена Ясона и детоубийство. В древнейших версиях мифа детоубийства, по-видимому, не было; Медее выступала как законная наследница Коринфского престола, который был дан ее отцу Аэту самим Гелиосом; столкновение ее с мужем произошло не на почве ревности, а потому, что она отдала своих детей в храм Геры, где после ухода Мееде из Коринфа их убили коринфяне. Возможно, что смерть детей от руки Мееде была впервые введена Эврипидом, отчего и возник передаваемый в схолиях к «Медее» анекдот о том, что Эврипид был подкуплен коринфянами, чтобы он оправдал их и очернил Меедею. Можно предполагать, что Аполлоний имел в своем распоряжении, помимо названных трагедий, еще и другие, принадлежавшие менее значительным авторам. Что таковые имелись, видно из шуточной фразы Аристофана в «Мире» (1010—1012) относительно трагического поэта Мелантия, который, бродя по рынку, произносит два (пародированных) стиха из какой-то «Мееде». Судя по содержанию приведенных Аристофаном стихов, можно думать, что и в этой «Медее» героиня выво-дилась уже как детоубийца.

Таковы те поэтические источники, которые Аполлоний мог иметь перед собой. Но, судя по его поэме, еще больше внимания он уделил мифографическим и географическим трудам. Вопрос об этих источниках его поэмы не окончательно выяснен; известно только, что Аполлоний имел перед собой огромную литературу по географии и этиологии и что в мифе об аргонавтах его привлекала не только поэтическая сторона, но равным образом, если не больше, возможность изучить и изложить множество сведений о незнакомых краях, о малоизвестных и странных обрядах и мифах.

1. Литературные приемы Аполлония

Композиция поэмы Аполлония бесспорно слаба, лишена внутреннего единства, которое заменено единством внешним, единством пути «Арго» от отплытия до возвращения.

Так, например, в I книге Аполлоний не использует в достаточной мере интересного и красочного эпизода появления Ясона в одной сандалиии, испуга Пелия и его коварного предложения Ясону, что является завязкой всей поэмы. Изложив очень кратко эти факты, он подробнейшим образом перечисляет аргонавтов. После описания сцен прощания, отъезда и очень краткого пути, следует длинное повествование о пребывании на Лемносе (ст. 600—901), не имеющее никакого значения для всего дальнейшего. Таким образом, из 1360 стихов I книги первые 500 не могут вызвать у читателя интереса. II книга с бесконечными подробностями плавания, остановок и жертвоприношений тоже не возбуждает интереса; в ней Аполлоний показывает свою эрудицию, приводя множество причудливых географических деталей. Мертвой точкой в этой книге является пребывание у Финей (185—550), особенно его длинное пророчество (310—410), которое с буквальной точностью предвосхищает весь путь до Колхиды и лишает дальнейший рассказ о нем всякого интереса.

Наиболее ярким моментом всей поэмы является III книга. Вся драматическая часть мифа сосредоточена в ней, и здесь Аполлонию удалось показать, что он не только ученый компилятор, но и настоящий поэт.

В IV книге, после довольно удачного описания бегства, погони и блестяще построенного эпизода убийства Апсирта (в первых 500 стихах), поэма становится все более вялой и скучной; повествование несколько оживает при описании брака Ясона. К концу поэмы самому автору настолько надоело его герои, что он кратко и сухо прощается с ними после того, как они миновали Эвбею.

Внутреннюю мотивировку событий Аполлоний пытается дать, следуя эпической традиции, вводя в развитие действия богов и богинь. Однако именно на этой стороне поэмы наиболее ярко отразились настроения эпохи. Поверхностно следуя Гомеру в изображении богов, от которых, как и в гомеровских поэмах, зависит у него судьба героев, Аполлоний резко отличается от Гомера тем, что он, как и окружающее его общество, как и его слушатели и читатели, не верит в олимпийских богов. Аргонавты чрезвычайно строго выполняют все культовые обряды и приносят жертвы по каждому поводу, причем Аполлоний почти всегда точно указывает, что и как было принесено в жертву (всего на протяжении поэмы 10—12 раз), но они выполняют их как формальную обязанность.

Боги далеки от людей и не вступают с ними в соприкосновение; Зевс появляется только один раз в качестве высшего морального судьи: он требует возмездия за убийство Апсирта. Действующим лицом оказывается, по существу, только Гера, но и она к Ясону не приходит ни разу; и он, со своей стороны, по-видимому, не чувствует к ней живой благодарности, как Одиссей к Афине у Гомера, и даже не замечает ее покровительства. Сами боги и богини изображены очень живо, но без всякого религиозного чувства. Характерна в этом отношении, например, жанровая картина посещения Герой и Афиной Афродиты в начале III книги:

Гера направила путь свой с Афиной к жилищу Киприды —
К дому большому, что ей воздвиг ее муж хромоногий,
Тою порой, как от Зевса он ввел ее в дом как супругу.
Двор огражденный пройдя, подошли к навесу близ спальни,
Где постилала обычно Гефестово ложе богиня.
Не было дома его. К наковальне он, в кузницу, рано
Утром на остров плавучий ушел, где искусные вещи
Силой огня он ковал, а Киприда одна оставалась
Дома. Пред входом она на кресле точеном сидела;
Волосы пышно по белым плечам распустив, проводила
Гребнем по ним золотым. И уже заплетать собиралась
Косы густые свои, но вдруг задержалась, увидя,
Кто приближается. В дом гостей пригласила и встала
С кресла, а их посадила на мягком сиденьи и снова
Села сама, подбирая волос распустившихся волны.
Молвила после с улыбкой лукаво-любезное слово:
«Что за судьба или дело какое, почтенные гости,
Вновь вас приводит ко мне после долгого срока? Не часто
Вижу я вас у себя. Всех богинь вы, конечно, важнее».
Гера же, ей отвечая, такое промолвила слово:
«Шутишь ты все, а у нас сердца переполнены горем...»

(III, 36—56)

Затем Гера излагает свою просьбу послать Эрота к Медее. Афродита отвечает:

«Гера, Афина! Окажет скорее он вам послушанье,
 Нежели мне. Хоть стыда он не знает, однако, быть может,
 Вас постыдится немного; меня ж ни во что он не ставит.
 Только и знает, что вздорит, да дерзкие сыплет насмешки;
 Раз пригрозила ему я — уж больно меня он обидел —
 Лук изломать у него и звенящие гибелью стрелы
 Так, чтобы видели все. Но, рассерженный, мне угрожал он:
 Если сейчас, покуда еще он собою владеет,
 Я от него не отстану, то горько потом пожалею».
 Так говорила. Тайком улыгнулись богини и взглядом
 Между собой обменялись. Киприда ж сказала с обидой:
 «Горе мое — для других лишь потеха; о нем я напрасно
 Всем говорю; не довольно ль того, что сама его знаю?»

(III, 91—103)

Афродита соглашается исполнить просьбу богинь; все они идут в сад Зевса искать Эрота и находят его играющим в кости с Ганимедом:

Выигрыш весь свой собрал и зажал его в левую руку
 Бойкий Эрот и, смеясь, за пазуху кости засунул;
 Прямо стоял он, и цвел на щеках, пробиваясь сквозь кожу,
 Нежный румянец. Колена согнув, на земле примостившись,
 Грустный сидел Ганимед — проиграл свои кости он; пара
 Только осталась, и был он насмешками очень рассержен.
 Вот и последнюю пару опять проиграл он, как раньше;
 Прочь он, понурясь, поплелся с пустыми руками. Киприды
 Он не заметил. И к сыну она подошла и шутиливо
 За подбородок взяла и, к нему обращаясь, сказала:
 «Что ты смеешься, негодный шалуни? Ты, я вижу, слукавил,
 Верно его обыграл, неискусного, ты не по чести.
 Впрочем, будь милым теперь, мне исполни, о чем попрошу я».

(III, 119—131)

Афродита обещает сыну чудесный мяч, которым в детстве играл Зевс:

Слушал внимательно сын, и пришлось ему по сердцу слово,
 Бросил игрушки свои и обеими сразу руками
 Начал он мать за хитон хватать и ловить неотвязно
 С просьбой, чтоб мячик сейчас же дала. Но ласковой речью
 Сына она усмирила, к себе привлекла, обнимая,
 Щечки целуя ему, она говорила с улыбкой...

(III, 145—150)

Бытовой характер этой картинки и психология ее персонажей очень далеки от гомеровской поэзии. Гера, Афина, Афродита и ее капризный сынок взяты поэтом из современного Аполлонию общества. Боги Аполлония — только обязательная принадлежность эпической формы; поэт использует их появление для того, чтобы показать свой талант и дать красивые пластические образы. И действительно, Афродита с гребнем и мальчики, играющие в кости, дают такую же реальную бытовую картину, как лучшие статуи эпохи эллинизма.

У Аполлония встречаются даже атеистические мысли, которые он влагает в уста «дерзкому Иду», сыну Афарея, позднему сопернику Диоску-

ров. В I книге перед отплытием он смеется над пророчеством Идмона и задумчивостью Ясона:

Знай, что это копье, которое многих сильнее,
В битвах увенчано славой. Сам Зевс мне не больше поможет
Право, чем это копье! Им клянусь я, что гибели черной
Нечего вам опасаться,— удача помчится за нами
Лишь потому, что я здесь — если б даже был бог наш противник.

(I, 466—470)

В том же духе выступает Ид по поводу предложения Аргоса, сына Фрикса и Хаалкиопы, обратиться за помощью к Медее:

...лишь Ид, Афарей наследник,
Гневом охвачен, вскочил и воскликнул сурово и грозно:
«Стыд и позор! Значит жены — отныне соратники наши?
Мы призываем Киприду, чтоб нам помогла в нашем деле,
А не великую мощь Эниалля? Что вы глядите
На ястребов, на голубок и битвы хотите избежать?
Вот и старайтесь теперь, забыв о военных деяниях,
Льстивою речью своей красавиц пленять мягкосердых».

(III, 556—563)

Хотя далее все происходит по совету Аргоса и приказу Ясона, но слова Ида остаются непровергнутыми, и создается впечатление, что автор поэмы, так обильно уснащающий ее жертвоприношениями и предзнаменованиями, в душе сочувствует Иду.

Едиственный момент, где Аполлоний как будто придает известное религиозное освещение событию, это — убийство Апсирта, один из наиболее сильных эпизодов всей поэмы. Но и тут религиозные образы и фигуры опять-таки лишь условности. Перед убийством Медея говорит Ясону:

Слушай, что я предложу. Я недоброго много свершила,
Нынче решусь на последний я шаг и свершу преступленье,
Мне от богов внушены ужасные мысли...

(IV, 411—413)

Безоружного Апсирта заманивают в храм и убивают:

Хлынула кровь из-под пальцев и алые брызнули капли
На серебристый покров сестры, отвернувшейся мрачно,
Но на позорное дело глядит осуждающим взором
Строго Эриния та, что сердца всех людей укрощает.

(IV, 473—476)

Это убийство вызывает гнев Зевса, который требует, чтобы виновники проделали очистительные обряды на острове Кирки. Однако далее Зевс не проявляет интереса к выполнению своего приказания. Таким образом, получается, что боги, по утверждению Медеи, внушили ей убийство, и они же карают ее за него. Действительным виновником убийства Аполлоний считает Эроса. Здесь Аполлоний уже открыто сменяет свой эпический тон на чистейшую лирику вполне в духе эротической поэзии своего времени:

Эрос жестокий и страшный, несчастье и бич ненавистный,
Гибельной распрею ты и тяжким рыданьем и стоном,
Болью и скорбью безмерной людские сердца потрясашь.

(IV, 445—447)

Эрос и Зевс являются у Аполлония не живыми богами, а именами, прикрывающими чисто психологический тезис, что страсть может толкнуть человека на преступление, за которым неминуемо последует расплата. Таким образом, и эти места не могут служить доказательством веры Аполлония в богов; в этом основном пункте он решительно отклоняется от древнего эпоса.

Если в изображении богов Аполлоний как человек своей эпохи не был в состоянии следовать древнему эпосу, то в характеристике людей он мог дать, пожалуй, даже больше, чем Гомер. Характеры эпических героев Гомера прекрасны именно своей статичностью, эти герои всегда верны сами себе; они не совершают противоречивых поступков, и их характер на протяжении действия не развивается, оставаясь в то же время мощным и привлекающим. Аполлоний пытается, сохранив эту внутреннюю силу, дать развитие характеру, но весь его интерес сосредоточивается только на Медее. Все прочие действующие лица недостаточно ярки. Особенно слаб характер Ясона. Ясон лишен честолюбия; поход за море несколько не привлекает его, и с самого начала он ставит себе целью «домой возвращенье». Выбор в вожди не радует его, и в течение всего похода к нему не раз применяются слова *ἀμύχανον καχότυπ* (подавленный бедствием).

Ясон Аполлония холоден, ленив и бесстрастен. Свидание с Медеей ему устраивает его товарищ Аргос. Сам Ясон настолько мало заинтересован в этом свидании, что отправляется на него в сопровождении Аргоса и прорицателя Мопса. Любовная неискренность Ясона подчеркнута юмористической сценой, в которой ворона, сидящая на дереве у дороги, насмешливо говорит Мопсу:

Ну, и пророк бестолковый! Не знает того, что любые
 Малы дети поймут,— что навряд ли со сладостным словом,
 С речью любви обратится к любимому юная дева,
 Если за ним на свиданье товарищи следом приходят.
 Лучше бы ты убирался, пророк неудачливый, глупый!
 Вряд ли Киприда тебя иль Эрот дыханьем коснулись.

(III, 931—936)

Пробудившийся в эпоху эллинизма интерес к той роли, какую стали играть в общественной жизни женщины, проявляется у Аполлония в изображении женских характеров. «Аргонавтика» Аполлония — поэма о решительных женщинах и слабохарактерных мужчинах. Как в мире богов действуют только женщины — между тем как в «Илиаде» принимают участие в действии Зевс, Посейдон, Арес и Аполлон, — так же в мире людей активная роль женщин проявляется с самого начала: первый этап пути — Лемнос с его населением из жен-мужеубийц с правительницей Гипсипилой (образ Дидоны), в Колхиде — Медея, на острове Феаков — Арета, устраивающая без ведома Алкиноя брак Медеи и Ясона; даже такая эпизодическая фигура, как молодая жена царя в Кизике, только что вышедшая замуж и после смерти мужа кончающая жизнь самоубийством, является сильным женским характером. Мелкие женские божества (водяные нимфы, спутницы Фетиды, Геспериды, нимфы ливийской пустыни) непрерывно сопровождают аргонавтов и помогают им преодолеть трудности путешествия.

В центре внимания автора стоит Медея. В раскрытии ее характера, в изображении развития ее страсти Аполлоний показал весь свой талант и искусство психологического анализа, которому его научила трагедия, лирика и современная ему поэзия малых форм; здесь он действительно достиг большого напряжения и выразительности.

Самым сильным эпизодом всей поэмы является описание постепенно вырастающего чувства Медеи к Ясону, ее беспокойного сна и ее колебаний:

. . . Эсонов наследник

Краше всех спутников был и прелестней. И девушка тайно
Глаз не сводила с него сквозь блестящую ткань покрывала,
Мукою сердце терзая. А мысли за ним, уходящим,
Прямо по следу его полетели, быстрее сновиденья.

(III, 443—447)

...Медея

Также к себе удалилась, но в сердце ее бушевала
Буря смятенья того, что всегда пробуждают Эроты.
Все, что случилось сейчас, чередой пронеслось пред глазами:
Видит, каков он собой и какую он носит одежду,
Как говорил, как сидел на скамье, как он встал и к порогу
Шаг свой направил. Краснея, созналась она, что навряд ли
Кто-либо равен ему. А в ушах непрерывно звучали
Голос его и слова, что сказал он, подобные меду.

(III, 451—458)

Только на ложе склонилась, как ей овладела дремота,
Горе рассеяв, но тотчас обманчивый рой сновидений
Страшный терзать ее стал, как обычно бывает в печали.
Мнилось ей, будто бы в битву с быками вступил чужестранец,
Но не стремился он будто добиться руна золотого,
И не за ним он приехал в столицу владыки Аэта,
Не для того, чтоб ее, как супругу свою молодую,
В дом свой родимый ввести. И пригрезилось ей, что с быками
Ради него она, в битву вступив, без труда их смирила.
Выполнить слово свое отказались родители, должен
Сам он быков был смирить, а не с помощью девушки; ссора
Вспыхнула между отцом и пришельцем, и к ней обратились
Оба, чтоб их рассудила, как ей ее разум укажет.
Вынесла в пользу пришельца решение, отцом пренебрегши.
Горем охвачены страшным, и мать и отец закричали
С гневом и болью. От крика рассеялся сон, и Медея
В страхе вскочила, шатаясь, за стены знакомые спальни
Робко хватаясь рукою...

(III, 616—633)

Аполлоний пользуется характерным для эпических поэм приемом «вещего сна», но вместо обычных явлений богов и прорицателей дает совершенно реальный сон, в котором в фантастической форме Медея переживает то, что ее терзает наяву; здесь под видом битвы с быками и столкновения между Аэтом и Ясоном изображена борьба в сердце Медеи между любовью к Ясону и верностью отцу.

Поэма Аполлония вместе с тем полна эпических условностей. Так, выезд Медеи на свидание с Ясоном повторяет сцену выезда Навзикаи в VI песне «Одиссеи»; эпизод этот, несомненно, ослаблен тем, что Медею сопровождают двенадцать девушек; становится непонятным, как при этих условиях могла Медея рассчитывать на то, что ее поступок останется неизвестным. Но беседа Медеи с Ясоном написана опять в очень сильных, живых тонах.

В дальнейшем характер Медеи изображен Аполлонием в весьма непривлекательном освещении: она эгоистична, жестока. Любовь к Ясону,

ради которого она бросает отца и убивает брата, по-видимому, угасает очень скоро, о ней нет больше речи.

Аполлоний не проводит в своей поэме какой-либо общей мысли: он скорее только повествует, а не поучает. Однако поэма интересна для нас еще и потому, что она выгодно отличается от остальных поэтических произведений александрийцев полным отсутствием явной лести по отношению к властителям того времени. Достаточно вспомнить, какую неумеренную лесть расточают Каллимах и Феокрит, — лесть, считавшуюся не постыдной, а для придворного поэта даже необходимой, — чтобы тем выше оценить сдержанность Аполлония в этом отношении.

Аполлоний старается строго придерживаться стилистических особенностей древнего эпоса, но интерес его направлен не на историю и генеалогию, а на географию и этиологию. Он дает объяснения названий местностей, говорит о направлении рек (подробно излагает, например, фантастические сведения о двух устьях Истра — в Черном и Средиземном море, подразумеваемая под этим Дунай и Рону), о положении и величине островов. Среди совершенной фантастики попадаются очень интересные сведения, например о народе хаалибов, которые занимаются добыванием металлов: «во мраке, в смраде и черном дыму тяжелый свой труд совершают» (II, 1003—1010) или о тибаренах, соблюдающих обычай «кувады»¹⁶ (II, 1011—1016). В равной мере интересует Аполлония происхождение обрядов при жертвоприношениях; он никогда не упускает случая познакомить читателей с каким-нибудь интересным обычаем. Подробное описание художественного изделия Аполлоний вводит в свою поэму только один раз, говоря о тканом плаще Ясона, очевидно, тоже считая этот прием необходимой принадлежностью эпоса. Так как мы не знаем других послегомеровских эпических поэм, нельзя сказать, служил ли и для них гомеровский «щит Ахилла» образцом для подражания; после Аполлония подобное описание становится обязательной принадлежностью эпоса и эпиллия (кубок пастуха в I идиллии Феокрита, корзина Европы у Мосха — этапы этой традиции; описание же покрывала в «Свадьбе Пелея и Фетиды» Катуллы — прямое подражание Ясонову плащу).

Аполлоний также строго придерживается и второстепенных стилистических приемов эпоса. В эпитетах он почти полностью следует Гомеру и сравнительно редко создает свои; в сравнениях Аполлоний более самостоятелен. Два наиболее удачных сравнения, из которых второе использовано Вергилием в «Энеиде», следующие:

1. Словно как хворост сухой на прожорливый пламень лучины
Бедная бросит ткачиха, чтоб в хижине пламя ночное
Тлело тихонько всю ночь, а она задремать бы успела
С тем, чтоб пораньше вскочить, но внезапно от слабой лучины
Яростный вспыхнет огонь и весь хворост пожрет без остатка.
Так же, в груди стеснено, тайком разгорается пламя
Страшной любви...

(III, 291—297)

2. Словно как солнечный отблеск, упавший на стены палаты,
Светлой водою рожденный, которую в таз или кубок
Только недавно налили, — мелькнет и опять ускользает,
Здесь или там возникая в своем непрерывном движении,
Так же у девушки сердце в стесненной груди трепетало.

(III, 755—759)

¹⁶ «Кувадой» назывался обычай, существовавший у некоторых диких племен, согласно которому муж во время родов жены должен был изображать роженицу.

Язык поэмы Аполлония труден. Автор пользуется гомеровскими оборотами, причем не только следует гомеровской лексике и морфологии, но часто старается еще более архаизировать эти древние формы.

д. Оценка Аполлония в древности

Поэма Аполлония успеха не имела. Весьма вероятно, что резкий выпад Феокрита против авторов эпических поэм в идиаллии «Праздник жатвы» имеет в виду Аполлония¹⁷:

Мне тот строитель противен, что лезет из кожи с натугой,
Думая выстроить дом вышиною с огромную гору.
Жалки мне птенчики Муз, что, за старцем Хиосским гоняясь,
Тщетно стараются петь, но выходит одно кукованье.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Однако более поздние эпохи отнеслись к Аполлонию благосклоннее, и в Риме во II и I вв. до н. э. его изучали и уважали. Варрон Аттацинский перевел его поэму целиком.

В I в. нашей эры сюжет, избранный Аполлонием, нашел нового певца в лице Валерия Флакка, поэта эпохи Веспасианов, умершего молодым и оставившего свою поэму незаконченной. Его поэма «Поход аргонавтов» тесно примыкает к Аполлонию, особенно в описании путешествия, этапы которого точно совпадают со II книгой Аполлония; поэма обрывается на том моменте, когда Апсирт догнал беглецов в устье Истра.

Однако характеры главных героев обрисованы у Валерия Флакка иначе, чем у Аполлония. Ясон — смелый завоеватель и патриот, Медея — настолько гордая и независимая девушка, что драматический конфликт между нею и Ясоном созревает с первых же моментов после бегства; Апсирт — жестокий варварский князь, грозивший уничтожить Элладу.

В дальнейшем поход аргонавтов явился темой еще одной анонимной эпической поэмы, вышедшей в III—IV вв. н. э. из орфических кругов¹⁸.

В VI веке н. э. вся поэма Аполлония подверглась переработке в ямбическом метафразе византийского поэта Мариана, который переложил ее стих в стих. После этого поход аргонавтов в целом больше не привлекал к себе внимания поэтов.

Непосредственно примыкая к Аполлонию и, возможно, полемизируя с ним, Феокрит пишет свои эпиллии «Гилас» и «Диоскуры», где гибель Гиласа и бой Полидевка с Амиком изображены параллельно с такими же эпизодами во II книге «Аргонавтики», но значительно более художественно.

3. РИАН

Кроме Аполлония, единственным александрийским эпиком, о котором мы можем составить себе более или менее ясное представление, является Риан. О его жизни мы знаем очень мало: Свида указывает, что он был современником Эратосфена, т. е. жил во второй половине III в. до н. э. Он сообщает также, что Риан происходил из города Бены на Крите, сперва был рабом и служителем в палестре, а потом стал учителем грамматики и ритори-

¹⁷ Феокрит, VII, 45—48

¹⁸ См. гл. XIV настоящего тома.

рики, а также писателем. Риан написал комментарии к «Илиаде» и «Одиссее», некоторые заметки из которых сохранились в схолиях к Гомеру, «Гераклеиду в 14 песнях», которая до нас не дошла, и четыре исторические эпические поэмы по истории Фессалии, Ахайи, Элиды и Мессении. О первых трех мы не имеем никаких сведений, содержание же четвертой изложено в IV книге «Описания Греции» Павсания, где он подробно рассказывает историю Мессенских войн, но, к сожалению, очень редко приводит стихи из поэмы Риана. Несколько стихов приведено у Стефана Византийского, каждый раз с указанием, из какой песни они взяты. Высшая цифра из нумерации песен поэмы Риана у Стефана Византийского — 6; сопоставляя содержание этих стихов с пересказом поэмы у Павсания, предполагают, что поэма Риана имела шесть песен.

Начало поэмы Риана Павсаний определяет «битвой у большого рва», т. е. третьим годом войны. События, о которых рассказывается в поэме Риана, начинаются тем, что аркадского царя Аристократа, союзника мессенян, подкупают спартанцы; из-за бегства аркадян мессеняне проигрывают битву «у большого рва» и удаляются на гору Эйру. Павсаний приводит два стиха¹⁹ из Риана, которые, может быть, являлись началом поэмы или во всяком случае находились в первой песне:

Возле ущелий Белой горы они воевали,
Двадцать два раза хлеба поднимались и стужей сменялись.

Главный герой поэмы, Аристомен, о котором Павсаний говорит, что Риан восхваляет его, как Гомер Ахилла, совершает с кучкой мессенян чудеса храбрости. Два раза при налетах на спартанцев он попадает в плен. В первый раз его бросают в глубокую каменную темницу, но ему помогают орел и лисица — орел сносит его вниз на крыльях, чтобы он не разбился, лисица указывает ему путь из темницы.

Во второй раз Аристомена освобождает девушка, видевшая перед этим сон, будто волки пригнали к ней льва, скованного и без когтей. Она освободила его, и он растерзал волков. Когда она узнает, что пленник, которого ведет с собой отряд спартанцев, — Аристомен, она тайно освобождает его, а он, перебив спартанцев, в благодарность женит на ней своего 18-летнего сына Горга. Весь этот эпизод, несколько сентиментальный, совершенно в духе эллинистической поэзии. В том же духе, но скорее эротическом, чем сентиментальном, написан эпизод со спартанским пастухом, бывшим в связи с женой одного из мессенян; спрятанный ею от мужа, он подслушал, что в эту ночь, дождливую и бурную, мессеняне покинули охранные посты, и Эйра беззащитна. Пастух немедленно бежит к спартанцам, и начинается последний штурм Эйры, описанный у Павсания чрезвычайно драматично. По настоянию прорицателя Теокла Эйру сдают. Аристомен переходит в Аркадию и готовится к неожиданному удару на Спарту, но измена преследует его и здесь: аркадский царь Аристократ опять предает его.

Таков реальный план поэмы Риана. Но в ней, по-видимому, был и второй план, объяснявший падение Мессении гневом Диоскуров. После битвы «у большого рва» пифийский оракул предсказывает²⁰.

Если «трагос» напьется воды извилистой Неды,
Больше мессенскую землю от бедствий спасти не могу я;
Близкая гибель тогда грозит ей в день истребления.

¹⁹ «Описание Эллады», IV, 17. Павсаний цитируется в переводе С. П. Кондратьева.

²⁰ Там же, IV, 20.

Провидец Теокл догадывается, что под словом «трагос» оракул подразумевает фиговое дерево, наклонившееся над рекой Недой и касающееся ветвями ее вод. (Фиговое дерево называлось в Мессении *τράγος*; обычное же значение слова *τράγος* — козел.) Теокл показывает его Аристомену, и героизм Аристомена в последних боях приобретает еще более величественный и трагический характер, так как он сражается из любви к родине, зная, что борется с непреодолимым решением судьбы, в которое он сам верит. Крайне драматична смерть Теокла: «Он, подойдя к Аристомену, сказал ему: «Зачем напрасно несешь ты этот труд? Все равно ведь Мессении рок присуждает погибнуть; ее злая судьба уже перед нашими глазами... Для меня лично бог назначил гибель вместе с родиной; ты же спасай мессенян, пока есть силы, спасай самого себя». С этими словами он бросился на врагов и громко бросил в лицо лакедемонянам такую фразу²¹: «Не вечно с радостью будете вы собирать плоды Мессении». Затем напав на тех, кто стоял против него, он стал их избивать, но и сам получил рану; он испустил дух, насытив свою душу кровью врагов». Самый большой отрывок из поэмы Риана сохранен нам Стобеем²²:

Разума все лишены мы поистине, смертные люди.
Сердцем своим неразумным все то, что нам боги даруют,
Мы принимаем. Кто беден, нуждается в пище насущной,
Горько вздыхает, к блаженным свои воссылает упреки,
Жалобы шлет, забывая и доблесть, и мужество духа,
Смелое слово промолвить боится, решиться на дело,
Робостью полон, что вдруг его жадные люди услышат;
И пожирают ему печаль и смятение душу.
Если же кто в богатстве живет, и ему в изобилье
Бог посылает, то сколь он легко забывает, что ходят
Ноги его по земле, что лишь смертных людей он потомок:
Полон надменности он и, преступный и гордый душою,
Зевсу подобно гремит, шею выше главы поднимает,
Ростом хоть будь невелик он; как будто бы деву Афины
Сделал своей он женой, и как будто бы прямо к Олимпу
Шествовал он, чтобы там за трапезу сесть меж блаженных.
Но приближается Ата, ногой своей нежной ступая;
Старцам является юной она, иногда же старухой
Станет пред юношей; взвесив, укажет нам наши проступки,
Дике подмогу несет, помогает и Зевсу владыке.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Свида говорит, что «некоторые считали Риана уроженцем Итомы в Мессении»; вероятно, это мнение основывалось на том, что читатели не могли представить себе такого воодушевления по отношению к Мессении у уроженца другой страны. Во всяком случае Риан, бесспорно, достиг того, чего хотел, и если чисто литературная сторона его поэмы соответствовала ее содержанию, то нам остается лишь горько пожалеть, что поэма не дошла до нас в первоначальном виде, а только в прозаической передаче Павсания.

²¹ Павсаний. «Описание Эллады», IV, 21.

²² Stobei Florilegium, IV, 34 слл.

4. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Многие исследователи поэзии эллинистического периода указывают, что поэты этой эпохи не только не скрывают кропотливости своей работы над материалом, но даже гордятся ею. Поэзия теряет органическую связь с народным творчеством, и авторы стремятся блеснуть эрудицией или изысканным слогом. Отсюда возникают различные направления, образцы которых мало привлекательны с точки зрения поэтической, но очень типичны для данной эпохи; с одной стороны, это дидактические поэмы, задача которых — поучать, а не только услаждать, с другой, если можно так сказать, — глоссографические поэмы, т. е. поэмы, авторы которых сознательно пользуются особо трудными выражениями и словами — «глоссами». Представителями первого направления, принимающими за образец «Труды и дни» и считающие Гесиода своим покровителем, являются Арат, Эратосфен и Никандр; представителями второго можно считать Ликофрона и Эвфориона.

На первый взгляд может показаться, что дидактические стихотворения имеют целью разрушить стену, которая отгораживает поэта эллинистического периода от широких кругов слушателей и читателей. Они берут темы либо общепользные, например медицинские, либо специальные, интересные для трудящихся людей среднего достатка, например о мореплавании, охоте, пчеловодстве, земледелии и т. п. Однако все эти поэмы несут на себе отпечаток дилетантизма; они не выдерживают сравнения не только с поэмой Гесиода или трактатом Ксенофонта об охоте, но и с «Георгиками» Вергилия, который, подражая эллинистическим поэтам, значительно превосходит их. Единственная научная область, разработка которой в поэтической форме для нас очень важна и интересна, — это астрономия: дидактические поэты сохранили нам данные об уровне тогдашней астрономической науки, а также звездные мифы, которые существовали и раньше, но именно ими были приведены в систему.

На первом месте среди поэтов-дидактиков стоит Арат. Источники для его биографии довольно богаты: статья в словаре Свида и четыре жизнеописания, из которых одно имеется и в латинском переводе. Арат — уроженец города Сол, сын полководца Афинодора; он родился в 315 г. до н. э.; Арат получил хорошее образование (он был учеником грамматика и филолога Менекрата в Эфесе и стоика Праксифана в Афинах); в 276 г. он был приглашен ко двору македонского царя Антигона Гоната, выступил там на свадьбе Антигона и Филы, падчерицы Антиоха I Сирийского, с гимном Пану, и царь поручил ему сочинить поэму о небесных светилах, что он и выполнил, создав поэму «Феномены» («Явления»), где точно изложил астрономическую систему математика и астронома Эвдокса.

Кроме «Феноменов», Арат написал много других произведений: эпиграммы, письма, гимны и эпитафии. Из его дидактических поэм Свида упоминает две на медицинские темы; но от всех этих работ сохранились настолько скудные фрагменты, что наше представление об Арате основывается исключительно на упомянутой астрономической поэме.

До нас дошла, по-видимому, не вся поэма Арата. Цец указывает, что она состояла из пяти частей, имеющийся же у нас материал распадается по содержанию на три части: перечисление главных созвездий, описание их совместного восхода и захода и «предзнаменования» — метеорологические наблюдения, которые иногда считались отдельным произведением, где излагаются мысли уже на Эвдокса, а Теофраста. Помимо этого, Ахилл Татий упоминает произведение, сочиненное позже, под названием «Канон», в ко-

тором говорилось о движении планет. Все эти 5 частей впоследствии были соединены вместе и составили книгу «Астрология», или «Звездные явления», о которой упоминается у Свиды и в жизнеописаниях.

В поэме Арата нет следов большого поэтического вдохновения, что и понятно при его задаче — версификации научного труда Эвдокса; но ее большим достоинством является ясность изложения и простота языка. Мифологические экскурсы встречаются только при упоминании созвездий Ориона, Пегаса и Девы. Наиболее интересен именно последний, так как он, с одной стороны, примыкает к рассказу Гесиода о золотом, серебряном и железном веке, когда богиня справедливости Дика, возмущенная преступлениями людей, покинула землю и стала созвездием Девы; с другой стороны, именно это место поэмы Арата стало образцом для «Метаморфоз» Овидия, где он, называя Дику Астреей, говорит²³:

...и дева Астрея

С влажной от крови земли ушла — из бессмертных последней.

(Перевод С. В. Шервинского)

Однако величественный характер темы наложил печать на поэму Арата. Интересно вступление в форме обращения к Зевсу, которого Арат восхваляет в духе стоического пантеизма. Высоко поэтичен и отрывок о Млечном пути²⁴:

В ясные ночи, когда все чудесные звезды
Перед очами людей небесная тьма рассыпает,
И ни одна не бледнеет звезда перед юной луною,
Но проникают сквозь сумрак они своим ярким сияньем,
Этой порой неужели не будет полно восхищенья
Сердце того, кто увидит увенчанный кругом широким
Весь небосвод?

(469—475)

Характер поэтического описания носят также некоторые отрывки из «Предзнаменований».

Зорко следя за скотом, и погонщик быков, и крестьянин
Знают, что холод придет. Если бык, назад обернувшись,
Лижет копыто на задней ноге, или если внезапно
Он, растянувшись на правом боку, уляжется в траву,
Пахарь смекает старик — подождать придется с запашкой.
Если с мычаньем громким спешат быки и коровы
С пастбища в хлев возвратиться, покинув свой отдых на поле,
Если, понурившись, телки бредут от лугов изобильных,
Значит — укрыться хотят до начала лихой непогоды.
Та же примета, когда не бросаются жадно к аканфам
Козы, когда и свинья не валяется в куче навозной.

(1118—1128)

Образец этих описаний Арат нашел у Феофраста, но придал им удачную стихотворную форму.

Поэма Арата имела в античности большой успех и охотно читалась любителями популярных научных сочинений. Чисто научная ценность ее

²³ О в и д и й. «Метаморфозы», I, 149—150.

²⁴ Все цитаты из Арата даны в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

невелика, что подчеркивал астроном Гиппарх. Самостоятельных наблюдений Арат не производил, а перелагал выводы Эвдокса, не думая о том, что тот жил в другой местности, чем он сам, и что некоторые его данные (например о высоте полярной звезды) носят не абсолютный, а местный характер. Но эту поэму читали, очевидно, не ученые астрономы, а писатели, которые осыпали Арата похвалами. Каллимах приравнивает его к Гесиоду, Леонид Тарентский восхваляет легкость и ясность его труда. В Риме его успех разрастается: его переводят Варрон Атацинский, Цицерон, Германик и Авийен (в IV в. н. э.), ему подражает Вергилий; Овидий говорит, что Арат «будет жить всегда, пока есть солнце и луна»²⁵. К нему пишут комментарии и схолии. Единственный, кто с литературной точки зрения осуждает его, — это Квинтилиан: «Предмет поэмы Арата лишен движения; в нем не может быть изменений, он не действует на чувство, в нем нет ни лиц, ни речей»²⁶. Этим он выносит приговор не Арату, а дидактической поэме вообще.

О научно-астрономических поэмах Эратосфена мы знаем чрезвычайно мало. В противоположность Арату, ученому-дилетанту, Эратосфен был подлинным ученым. Родившись значительно позже Арата, в 275 г. до н. э., в Кирене, он получил образование в Афинах у Аристона и у Аркесилая; в 235 г. он был вызван Птолемеем Эвергетом в Александрию, сделался главным библиотекарем и пробыл в этой должности очень долго, до 196—194 г. Лучшим его учеником и наследником по работе в библиотеке был Аристофан Византийский. Сведения об Эратосфене нам дают Свида и Страбон.

Эратосфен был многосторонним человеком, широко осведомленным в разных областях, за что друзья называли его «пятиборцем» (т. е. борец, побеждающий в пяти видах состязаний и получающий пять призов), а противники несколько юмористически — «бета» (вторая буква алфавита). Этой шуткой, очевидно, хотели сказать, что он всегда стоит не ниже второго места, не достигая, однако, первого. Главным трудом его была «География в 3 книгах»; по математике он оставил работу «О средних величинах», в которой, по-видимому, разрешалась так называемая делийская задача удвоения куба. По философии он написал книгу «Аристон» (против своего учителя), рассуждение «О добре и зле» и комментарий к платоновскому «Тимею», носивший философско-астрономический характер и излагавший учение самого Эратосфена о гармонии сфер. Помимо этого, он писал о хронологии, о древней комедии и оставил несколько эпических поэм, от которых до нас дошли только незначительные фрагменты. Его эпос «Гермес», по-видимому, начинавшийся с мифологического пролога о рождении Гермеса, его детстве и восхождении на небо, затем примыкал по содержанию к поэме Арата и описывал расположение и движение небесных светил.

Спорным является вопрос о его произведении по астрономии, которое Свида называет «Астрономия, или превращение в звезды». Дело в том, что в некоторых рукописях с именем Эратосфена до нас дошли фрагменты астрономическо-мифологического каталога, сухого и непоэтического, без заглавия, в других с заглавием «О расположении круга зверей», т. е. знаков Зодиака. Долгое время предполагалось, что это и есть «Превращение в звезды» Эратосфена, о котором говорит Свида; но это не так. Указанное сочинение вовсе не принадлежит Эратосфену, а является поздней компиляцией из его «Гермеса», поэмы Арата, комментариев к ней и поэмы Никандра — компиля-

²⁵ Овидий. «Любовные элегии», I, 15—16.

²⁶ Квинтилиан, «Образование оратора», X, 1, 55.

цией, прикрытой именем знаменитого ученого. Какую книгу имел в виду Свида — «Гермеса» или что-либо другое — точно не установлено.

Автором стихотворных руководств на различные темы, произведения которого отчасти дошли до нас, был живший во II в. Н и к а н д р К о л о ф о н с к и й. Он родился в 202 г. в Колофоне, где его семья из рода в род занимала жреческие должности при храме Аполлона в Кларе близ Колофона; сам он тоже был жрецом. Сведения о Никандре мы находим опять-таки у Свида и в анонимной биографии; они сводятся к перечислению заголовков его произведений, весьма многочисленных. Никандр писал в гексаметрах географически-мифологические поэмы из истории Этолии, Колофона, Фив и Сицилии, поэмы о земледелии, пчеловодстве и медицине, составил глоссографический словарь и справочник о колофонских поэтах; он написал также произведение, вероятно, послужившее образцом для «Метаморфоз» Овидия, судя по его названию — «Превращения». До нас дошли только две его поэмы: «О действии животных ядов» в 958 стихах и «О ядах и противоядиях» в 630 стихах. Если Квинтилиан находил даже астрономическую тему Арата «лишенной движения и чувства», то тем меньше возможности для вдохновения дает тема Никандра. Однако Никандр, по-видимому, находил читателей; еще в одной поэме, не дошедшей до нас, он разработал в элегической форме тему о змеиных укусах, снабдив ее мифологическими иллюстрациями о людях, умиравших от укуса змеи. Никандр невыгодно отличается от Арата вычурностью и запутанностью слога, постоянными неологизмами и архаизмами, а главное — отсутствием дарования.

К той же категории стихотворных произведений относились сочинения Менекрата Эфесского (учителя Арата), автора поэмы о сельском хозяйстве. У Афиней упоминается еще Кайкал из Аргоса, Нумений из Гераклеи, Панкрат Аркадский и Посидоний Коринфский, писавшие поэмы о рыболовстве, но мы не знаем о них ничего, кроме имен.

5. ЛИКОФРОН

Особое место в истории эллинистической литературы занимает поэт Ликофрон, автор небольшой поэмы «Александра», написанной ямбическими триметрами — размером, характерным не для эпоса, а для поэзии драматической.

Ликофрон — уроженец эвбейской Халкиды; родился около 330 г. н. э. и, по-видимому, провел большую часть своей жизни на родине. В восьмидесятих годах он был вызван в Александрию, где Птолемеем Филадельфом ему была поручена каталогизация собрания комедий в библиотеке. От его научного труда «О комедии» (в 11 книгах) дошли только небольшие фрагменты. Поэма «Александра» представляет собою рассказ сторожа, приставленного Приамом к его безумной дочери Кассандре, которую Ликофрон называет Александрой. Она начинается словами сторожа, обращенными к Приаму²⁷:

Я все тебе по чистой правде расскажу
С начала до конца; но будет мой рассказ
Тянуться долго; не гневись, владыка мой!
Не так, как прежде, прорицала дочь твоя.—

²⁷ Все переводы из Ликофрона сделаны М. Е. Грабарь-Пассек.

В спокойствии прекрасном; нет, ужасный вопль
Из груди исторгала; слов сокрыт был смысл
И темен, и ужасен, словно Сфинкса речь.

(1—7)

Далее излагается пророчество Кассандры, которое включает всю историю троянской войны, возвращение победителей на родину, злоключения и смерть Одиссея, поход аргонавтов, мифы о Тесее и Персее, бегство Энея в Италию, некоторые события из истории Афин, греко-персидские войны и победы Александра Македонского. Мифы у Ликофрона излагаются в форме скрытых намеков с употреблением множества метафор, большим числом инверсий и чрезвычайно длинными и вычурными синтаксическими оборотами.

Несмотря на трудность языка и нагромождение мифологических имен и событий, поэма Ликофрона не лишена подлинных поэтических красот; местами поэту удается создать то настроение ужаса перед грядущими бедствиями, которое должно вызываться пророчеством Кассандры; очень умело он использует сравнения, особенно из области явлений природы; эпитеты, прилагаемые им к отдельным лицам, большей частью подчеркивают отрицательные их черты или поступки. Имя Ахилла он заменяет метонимическим оборотом «торговец трупами» (ст. 275), намекая на выкуп за тело Гектора; Елена у него — «бессердечная голубка» или «неистовая вакханка», «имевшая пять мужей» (ст. 43) и т. п.

Ликофрон умеет дать и цельные поэтические картины, например пожар на греческих кораблях описан таким образом:

Но кару понесут и тяжкие труды
Грабителей войска; недолго ликовать,
Над побежденными глумясь, им суждено.
Спасаясь от смертельной битвы, близ кормы
Судов своих они в пылающем огне
Напрасно будут Зевса звать, чтоб он помог
Бегущим и от Кер ужасных защитил.
Ни ров глубокий, ни стена, ни вал крутой,
Ни укрепления близ судов на берегах,
Ни башен крепостных зубцы их не спасут.
Подобно пчелам, гибнущим в дыму густом,
Врасплох застигнутым, во тьме ночной, в огне
Они метаться будут с носа на корму,
Толпой бросаться в страхе на скамьи гребцов,
Оттуда спрыгнут вниз и кровью обогрят
Своею в смертный час чужой прибрежный прах.

(283—298)

Из различных версий мифов Ликофрон выбирает те, которые носят трагический характер. В отличие от радостного конца «Одиссея», всю судьбу Одиссея изображает в мрачных тонах:

Пучину стольких бедствий видел и теперь
Вторично должен он в Аида глубь сойти.
Ни дня покоя в жизни он своей не знал.
О злополучный! Было б лучше для тебя

7 История греческой литературы

Остаться там, в родном краю, и погонять
 Быков медлительных иль запрягать осла,
 Чем, гнет притворного безумья на себя
 Приняв, столь много скорби тяжкой претерпеть.

(812—819)

Речь самой Кассандры нередко прерывается трагическими возгласами:

Зачем, несчастная, к утесам я глухим,
 К немой волне, к бесчувственным лесам
 Свой скорбный вопль несу и тщетные слова?
 Ведь бог Лепсийский дал мне прорицанья дар,
 Но веры нет ни у кого в слова мои.

Но в страшный день, когда наш край родной
 Ничто уж не спасет,— тогда узнают все,—
 Не даром ласточка им пела про беду.

(1451—1460)

Трагизм положения Кассандры, предсказаниям которой никто не верит, изображен в более развернутой форме в поздней поэме Квинта Смирнского²⁸.

Ликофрон долго привлекал к себе интерес поэтов и ученых, а в конце I в. до н. э. он удостоился серьезного комментария грамматика Феона, давшего материал для очень содержательных схолиев, с которыми «Александра» до нас и дошла и без которых текст ее остался бы для нового времени непонятным.

6. ЭВФОРИОН

Последователем Ликофрона, но, по-видимому, все же более удобочитаемым писателем был его земляк Эвфорион. Он родился в 276 г.; философское и поэтическое образование получил в Афинах. В возрасте около 50 лет он был приглашен Антиохом Великим в Антиохию в качестве библиотекаря. Свида сообщает, что он был и похоронен в Антиохии, что весьма вероятно, так как должность библиотекаря была пожизненной.

Нам трудно судить о творчестве Эвфориона, так как мы располагаем только двумя его эпиграммами и незначительным числом фрагментов. Первая эпиграмма является довольно обычным посвящением²⁹:

Срезал впервые Евдокс свои пышные кудри и эту
 Малую детства красу Фебу он в дар посвятил.
 О Дальновержец, пускай украшает отныне подростка
 Плющ акарнейский всегда вместо кудрей завитых.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Смысл этой эпиграммы заключается в пожелании, чтобы мальчик хорошо учился, так как за успехи ученики получали венки из плюща.

Вторая эпиграмма³⁰ является надписью для «кенотафа» (пустой могилы) человека, утонувшего в море.

²⁸ См. гл. XIV настоящего тома.

²⁹ Anth. Pal., VI, 279.

³⁰ Там же, VII, 651.

Не каменный Трахин скрывает в себе эти кости
 И не утес, что теперь темную надпись несет.
 Нет, икарские волны ломают их возле Долиха
 И близ Драконской скалы бьют их о берег крутой.
 Я же, пустая земля, вздымаю, как грустный подарок,
 Холм, где дрипов трава с жадностью ищет воды.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Несколько большее представление о вычурности и туманности стихов Эвфориона дают три новооткрытых фрагмента, особенно один из них, принадлежащий, по предположению исследователей, поэме «Хилиады»³¹.

Первый фрагмент, сильно поврежденный, является, по-видимому, стихотворением, в котором говорится о том, что кому-то подыскивают невесту; называются несколько женских имен с мифологическими ссылками и намеками.

Второй фрагмент является запевом; предполагается, что это первые строки поэмы «Гиппомедонт».

Наиболее интересен третий фрагмент, перегруженный мифологическими намеками и выражениями, требующими сложного комментария.

Злые подарки Пандоры несут добровольные муки
 Людям. Пускай на весах он отмерит смерть в наказание.
 После же пусть отдохнет от смятенья ужасных походов,
 Рядом с Фемидой на рынке, с защитницей блага, поставит
 Дику, которая быстро шагает стопою старухи,
 Чтобы дела покарать, совершенные теми мужами,
 Что, прогневая богов, закон нарушают всечасно.
 Старых родителей жизнь считают обузой тяжелой
 И презирают совет людей и живых, и умерших.
 Будет поистине веять легчайшее ветра дыханье,
 Как только видимы станут проворные Дики колени;
 Не заселили бы люди вовек островов Эхинадских
 И не могла бы с отцовской сорвать головы золотого
 Волоса злая Комайто — пусть будет за то без могилы! —
 Если б волов не украл и с ними полей не вспахал бы
 Род Телебоев, который приплыл через море с Арсина,
 И потому я надеюсь, что бедствовать в старости будет
 Тот, кто тебя, злополучный, убил оружием железным.
 Пусть над тобой будет мало земли, и пусть бы увидел
 Много радости ты, если только есть радость в Анде.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Весь отрывок, по-видимому, говорит о смерти кого-то, несправедливо убитого; этим объясняется проводимая в нем идея возмездия.

Эвфорион имел бесспорный успех в эту эпоху, когда было в моде все причудливое и необычное, и через 200 лет нашел круг почитателей в Риме. Так, Сервий в введении к эклогу Вергилия³² указывает, что Эвфорион оказал большое влияние на поэта Корнелия Галла, друга Вергилия. Но успех этот начался еще раньше эпохи Августа; большой популярностью Эвфориона возмущается Цицерон³³. Восхваляя простоту и ясность древне-

³¹ «Philologische Wochenschrift», 1935, № 48.

³² VI, 72.

³³ Цицерон. «Тускуланские беседы», III, 19, 45.

римского поэта (Акция или Энния), он с негодованием восклицает: «О великий поэт! Хотя и презираемый этими подголосками Эвфориона...». А в трактате «О гадании»³⁴ он называет Эвфориона слишком темным.

Эвфорион был очень плодовитым писателем. По заголовкам его сочинений можно видеть, что менее всего его интересовала поэтическая ценность произведения, на первое место он ставил необычность темы и эрудицию. Он писал в прозе и в стихах. Прозаические, мифографические и исторические произведения его касаются истории Фессалии («Об Алевадах»), Истма и, по-видимому, общей истории Греции («Исторические воспоминания»). Поэтических произведений у него было чрезвычайно много: поэма «Мопсопия» (название происходит от имени дочери Океана Мопсопии), посвященная мифической истории Аттики, «Дионис», «Инах», «Фракиец», «Гиакинт» и другие. Поэма «Гесиод», вероятно, давала какую-нибудь версию о смерти Гесиода, являвшейся предметом нескольких мифов. Эвфорион, так же как Ликофрон, которому он подражал, очевидно, редко пользовался ходячими версиями мифов, а пытался найти локальные и мало известные варианты, с которыми он к тому же обращался очень вольно, перекраивая и сливая их по своему усмотрению.

Эвфориону приписывается еще ряд стихотворных памфлетов, озаглавленных именами его противников («Аполлотор», «Демосфен» и другие) и «Хилиады» («Тысячи»), содержание которых нам недостаточно известно. Эвфорион считал себя последователем Гомера; сообщается, что он прекрасно знал гомеровский словарь, составленный Филетом Косским, но все направление его поэзии диаметрально противоположно Гомеру.

В эллинистическую эпоху входят в моду так называемые «фигурные стихотворения», которые расположением строк изображают очертания какого-нибудь предмета, а по содержанию представляют собой ряд загадок; каждое понятие выражается не соответствующим словом, а каким-либо ассоциирующимся с ним, то по звучанию, то по смыслу. Для понимания такого стихотворения необходима или большая эрудиция в данной области, или сложный комментарий. Таковы «Секира» Симмия, «Алтарь» Досиада и «Свирель», приписываемая Феокриту. Приведем две начальные строки из последнего стихотворения (наиболее понятного), чтобы показать, какой запутанной и нелепой игрой слов забавлялись даже крупные поэты:

Та, кто жена «Никому», и кто мать «бойца издалека»,
В свет родила пастуха той, кто «камня замену» вскормила.

(1—2)

Комментарий к этим двум строкам:

1. Жена «Никому» — Пенелопа, так как в пещере Полифема Одиссея называли «Никто»; 2. Мать «бойца издалека» — она же: по-гречески «гелемах» значит «сражающийся издалека»; 3. «Замена камня» — Зевс, вместо которого Кроносу дали проглотить камень. 4. Та, кто его вскормила — коза. 5. Пастух козы — Пан.

! Обе строки относятся к мало известному мифу, рассказывающему, что Пан — сын Пенелопы от Гермеса.

В литературных шутках и забавах подобного рода, как и в произведениях Ликофрона, Эвфориона и Никандра, беспочвенная искусственная поэ-

³⁴ Цицерон. De divin. II, 64. 132.

зия замкнутых кружков и оторванных от жизни эрудитов достигла высшей точки своего развития. Если бы поэзия эллинистического периода создала только эпические и дидактические поэмы, то за исключением некоторых частей поэмы Аполлония Родосского она не внесла бы почти ничего в мировую литературу. Элегия и эпиграмма дает ей значительно больше прав на место в литературе. Подлинно живым ключом, который неожиданно забил из засыхающей почвы греческой поэзии, является поэзия буколическая, сохраняющая свою прелесть до наших дней.



Глава V

БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

1. Сущность буколической поэзии и ее основоположник Филет Косский.—
2. Феокрит: а) биографические сведения; б) судьба произведений Феокрита; в) содержание идиллий; г) тематика произведений Феокрита; д) литературные приемы Феокрита.—
3. Последователи Феокрита: Мосх и Бион.

1. СУЩНОСТЬ БУКОЛИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ И ЕЕ ОСНОВОПОЛОЖНИК ФИЛЕТ КОССКИЙ

Что называется буколической поэзией, идиллией, а в позднейшее время — пасторалью, знает каждый, знакомый с историей литературы; но определить этот литературный жанр чрезвычайно трудно — до такой степени он разнообразен не только на высоких ступенях своего развития, но и в самом начале.

Наиболее старинное из этих названий — «буколика», оно происходит от слова βουκόλος — пастух, пасущий коров и быков. Менее ясным является термин «идиллия» (греческое εἰδύλλιον, уменьшительное от εἶδος — вид, жанр), появляющийся впервые в схолиях к Феокриту. Его толкуют или как «картинку», или как «маленький напев», или как «малый жанр». Наиболее вероятным представляется первое толкование; во всяком случае с музыкой произведения эллинистической буколики ничего общего не имеют.

Основоположником буколической поэзии считается Филет Косский, но он нам очень мало известен. Он жил в конце IV и первой четверти III в. до н. э. и был учителем Птолемея Филадельфа. По-видимому, вокруг него, в 290-х годах группировался кружок молодых поэтов, к которому принадлежал и Феокрит, рисующий участников этого кружка в VII идиллии под вымышленными именами Эвкрита, Аминта, Ликида¹ и выводящий самого себя под именем Симикида. Сам Филет в этой идиллии не изображен, он упоминается как образец, к которому могут только стремиться молодые поэты. Феокрит говорит²:

Музам глашатай я звонкий, и часто меня называют
Все наилучшим певцом; но, клянусь, я не так легковерен!
Думаю я, что навряд удалось победить в состязаньи
Славного мне 6 Сикелида Самосского, также — Филета.

(VII, 37—40)

¹ Под Ликидом, по мнению некоторых ученых, можно понимать Досида Критского, автора фигурного стихотворения «Алтарь».

² Все переводы из буколических поэтов принадлежат М. Е. Грабарь-Пассек.



Пастух. Мрамор. Римская копия с греческого оригинала. III в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

Также в поэме «Плач о Бионе», принадлежащей неизвестному поэту и приписывавшейся Мосху, Филет изображен плачущим о смерти Биона «там, где Алент протекает», т. е. на Косе; но эти строки написаны непосредственно под влиянием VII идилии Феокрита, так как наряду с подлинным поэтом Филетом о Бионе плачет и вымышленный Феокритом Ликид и сам Феокрит; к тому же ни Филет, ни Феокрит плакать о Бионе не могли, потому что Бион жил, по-видимому, значительно позже Феокрита, во II в. до н. э. Это свидетельство имеет значение только в том отношении, что имя Филета упоминается в окружении характерно буколическом. Однако о нем самом Свида сообщает только, что он писал элегии, эпиграммы и эпиллии мифологического характера. Об его эпиллии «Гермес» известно, что там рассказывалось о любви Одиссея и дочери Эола Полимелы, т. е. разрабатывался мало известный миф эротического характера, что было излюбленным приемом и последователей Филета. Известен он был своими элегиями к Биттиде — жене или возлюбленной. Его четверостишие, сохраненное Стобеем³, является либо отрывком из элегии, либо эпиграммой. Есть предположение, что в этом четверостишии Биттида, изображенная под видом молодого деревца, обращается к Филету:

Я не хочу, чтоб меня неотесанный горец-крестьянин
В дом свой, избравши, принес, корни лопатой подрыв.
Нет, пусть возьмет меня тот, кто изысканной речью владеет,
Тот, кому близко знаком многих сказаний напев.

2. ФЕОКРИТ

а. Биографические сведения

Скудные сведения о жизни Феокрита получены либо из его собственных произведений, либо от лиц, живших спустя несколько веков. Его юность связана с Великой Грецией и Сицилией; в идилиях XXVIII и XI он называет Сиракузы «нашим городом», а киклопа Полифема «земляком». Гражданином Сиракуз называет Феокрита и эпиграмма биографического характера (XXII), написанная как бы от его лица в I в. до н. э.

Родом другой был с Хиоса, а я, Феокрит, написавший
Все это, был я одним из сиракузских граждан:
Сыном я был Праксагора и сыном был славной Филины,
И никогда я к себе музу чужую не звал.

Далее, жизнь Феокрита связана с островом Косом и малоазиатским побережьем, судя по идилиям II, VII, X, XXIII, а также с Александрией, в которой происходит действие его знаменитейшего мима⁴ «Сиракузянки»; царю Птолемею Филадельфу Феокрит посвятил большой энкомий; об этом Птолемею упоминает он и в идилии XIV; Афиной сохранил нам название поэмы Феокрита «Береника» (имя жены Птолемея). Из современных ему исторических деятелей Феокрит, возможно, был связан еще с Гиероном (младшим), сперва военачальником, а с 269 г. до н. э. властителем Сиракуз, которому он тоже посвятил энкомий.

³ Florilegium, LXXXI, 4.

⁴ О миме см. гл. I настоящего тома.

Годом рождения Феокрита принято считать 315 г. до н. э., год смерти его неизвестен. Социальное происхождение Феокрита не выяснено; не выяснена и хронологическая последовательность его произведений.

б. Судьба произведений Феокрита

До нас дошел сборник избранных стихотворений Феокрита, составленный, как предполагают, грамматиком Артемидором и его сыном Феоном в I в. до н. э. В этот сборник, кроме 30 стихотворений и 25 эпиграмм, приписываемых Феокриту, входили произведения его подражателей — Биона и Мосха; он был составлен, вероятно, для римских читателей, увлекавшихся в то время эллинистической поэзией. Именно этот сборник, которым пользовался Вергилий, был, по-видимому, первым сборником буколических стихотворений, так как эпиграмма (XXVI), приписанная Артемидору и включенная во все дошедшие до нас рукописи говорит:

Музы пастушьи, досель в одиночку вы жили: отныне
Будете в общем жилье, будете стадом одним.

Большинство рукописей, в которых дошли до нас произведения буколических поэтов, относится к XIV и XV вв., но имеется и два списка XIII в. Разночтения в рукописях почти не изменяют смысла текста.

в. Содержание идиллий

Те 30 стихотворений, которые под общим названием «идиллий» приписываются Феокриту, по содержанию распадаются на несколько групп. Ядром являются собственно буколические идиллии — пастушеские сценки, изображающие встречи, разговоры и песни пастухов.

Рядом со стихотворениями, имеющими явно натуралистический характер, мы находим у Феокрита далекие от реальной жизни произведения, обычно с любовной тематикой, построенные на мифологической основе. Главное место среди стихотворений этого жанра принадлежит, несомненно, той идиллии, которая обычно помещается первой и носит название «Тирсис», или «Песня». Пастух Тирсис встречается с другим пастухом (козопасом) и просит его сыграть на свирели, козопас отказывается играть в полдень, боясь разбудить Пана, и в свою очередь просит Тирсиса спеть песню о пастухе Дафнисе, умирающем от того, что не хочет поддаться любви, и в награду предлагает певцу резной деревянный кубок с тремя бытовыми картинками.

Подробное описание этого кубка является данью, которую Феокрит приносит эпической традиции; но сцены, вырезанные на кубке (капризная красавица, старый рыбак и играющий на дудке мальчик), характерны для эллинистической эпохи.

Песня о Дафнисе имеет лирическую окраску. К умирающему Дафнису собираются звери:

Выли шакалы над ним, горевали и серые волки;
Лев из дремучего леса над гибнущим горько заплакал,
.....
К самым ногам его жались волы и быки молодые,
Тесно столпившись вокруг, и коровы, и телки рыдали.

(I, 71—75)

Приходят и боги — Гермес и Приап, пытающийся развеселить Дафниса шутивным упреком:

Ты, ведь, погонщик быков, а страдаешь, как козий подпасок.
Он, увидав на лугу, как козы с бляньем резвятся,
Глаз не спускает, грустя, что козлом он и сам не родился.

(I, 86—88)

Появляется, наконец, богиня любви Афродита, упрекающая юношу за отказ его от любви. Но Дафнис отвечает ей крайне враждебно и, отвернувшись от нее, трогательно прощается с родными лесами:

Волки, шакалы, медведи, живущие в горных пещерах!
Дафнис, пастух ваш, отныне бродить уж не будет по рощам,
Ни по дремучим лесам, ни по чащам. Прости, Аргуса!
Светлые реки, простите, бегущие с высей Тимбрийских!
.
Да, это я, это Дафнис, быков своих здесь стороживший,
Дафнис, гонявший волов и коров своих здесь к водопою.

(I, 115—121)

Потом он призывает Пана, чтоб передать ему свирель.

Вымолвив это, он смолк; и тщетно его Афродита
К жизни пыталась вернуть: перерезали нить его Мойры.
Волны умчали его, и темная скрыла пучина
Дафниса, милого нимфам, любимого Музами мужа.

(I, 138—141)

Как и бóльшая часть остальных, эта идиллия по сюжету и по форме восходит к народной песне; в ней использованы приемы народной поэтики (анафора, рефрен), но эти приемы подвергались уже у Каллимаха условной литературной обработке.

В противоположность этой идиллии стихотворения, которые обычно помещаются на 3, 4, и 5 месте в сборнике, носят бытовой и юмористический характер. В III идиллии глупый и некрасивый пастух обращается к равнодушной Амариллиде, которая и слушать его не хочет. В IV идиллии изображена болтовня пастухов о стаде, о местных событиях, причем эта полная социально заостренных бытовых подробностей сценка написана чрезвычайно легко и естественно.

В V идиллии встречаются враждебно настроенные пастухи, старый и молодой. Обменявшись крепкими ругательствами и непристойными намеками, они затевают состязание в пении. В этой идиллии Феокрит, вероятно, ближе всего подходит к подлинному пастушескому состязанию.

В VI и XI идиллиях в форме юмористических пастушеских лесен поэт затрагивает мифологическую тему о любви молодого киклопа Полифема к морской нимфе Галатее. Мифологический образ жестокого и дикого киклопа превращается у Феокрита в образ наивного, неуклюжего деревенского парня, который надеется пленить своим достатком и успехами в сельском хозяйстве ветреную красавицу Галатеею. Сходная тема нашла воплощение в идиллии XX («Пастушок»), считающейся неподлинной.

Наконец, в X идиллии выведены двое жнецов: молодой сентиментальный Букай поет очень наивную песенку в честь своей возлюбленной — флейтистки, которую за удобу и загар его товарищи прозвали «саранчей», а его приятель, старый Милон, поет трудовую песню жнецов, кончающуюся насмешкой над «толстым надсмотрщиком».

Особняком среди всех этих идиллий стоит VII идиллия «Фалисии» — «Жатва» (праздник осеннего сбора плодов). Это стихотворение написано от первого лица и представляет собой воспоминания Феокрита о прекрасном дне, который он однажды провел в молодости на острове Косе. Поэт выводит себя под именем Симихида и описывает, как он с двумя друзьями отправился в путь по приглашению своих приятелей-землевладельцев, справлявших в этот день праздник урожая.

Приятели одеты в костюмы пастухов, в грубые пастушьи плащи, широкополые шляпы, держат в руках «корины» — длинные пастушьи посохи с кривой рукоятью. По дороге их догоняет такой же «пастух» Ликид. Он подшучивает над Феокритом-Симихидом, и оба поют «пастушеские» песни. После этого они расстаются; стихотворение заканчивается описанием летнего дня, склоняющегося к вечеру, и грустным возгласом автора, вспоминающего о празднике Деметры:

...если б мог я ей снова на кучу
Полной лопатой ссыпать зерно! И смеясь благосклонно,
Той и другою рукой обняла б она мак и колосья.

(VII, 155—157)

В этой идиллии Феокрит излагает свою теорию малой формы, влагая ее в уста Ликиду. Песни Ликида и Симихида ни в какой мере не производят впечатления подлинных пастушеских. В них столько мифологии, ученых географических названий и намеков, что они могли иметь успех только у замаскированных пастухами друзей Феокрита, а настоящий пастух не понял бы в них ни слова.

Вторую группу стихотворений составляют три мима из городской жизни. В первом из них — «Колдуньи, или «Симайта» (II идиллия), выведена девушка, которая вместе со служанкой ворожит на перекрестке за городом, стремясь вернуть себе неверного возлюбленного. Она посылает служанку положить волшебные травы у порога его дома и, оставшись одна, рассказывает Луне о своей несчастной любви. История ее проста: девушка Симайта влюбилась с первого взгляда в красавца и прожигателя жизни Дельфида, заманила его к себе, но он скоро бросил ее, найдя другую. Рассказ Симайты дает тонкий психологический анализ женских страданий; ревнивая и страстная натура девушки обрисована так в ее словах:

Бездна морская молчит, успокоились ветра порывы,
Только в груди у меня ни на миг не умолкнет страданье.
Вся я сгораю о том, кто презренной несчастную сделал,
Чести жены мне не дав и девической чести лишивши.

(38—41)

Эрос жестокий! Зачем, присосавшись пиявкой болотной,
Высосал черную кровь из груди моей ты без остатка?

(55—56)

В нескольких словах обрисован и Дельфид:

Коли б меня приняла, то и ладно бы; ловким красавцем,
Право, меж юношей всех меня почитают недаром
.
Я ведь почти что сожжен; ах, губительно Эроса пламя!
Жарче палить он умеет, чем даже Гефест на Липаре.

(123—133)

Другой мим «Любовь Киниски» (идиллия XIV) представляет собой разговор двух приятелей. Один из них, Эсхин, вот уже два месяца как покинут своей возлюбленной, Киниской, по-видимому, гетерой. Она пировала ночью с ним и с фессалийским солдатом; Эсхин приревновал ее к молодому соседу и дал ей пощечину, а она немедленно убежала к тому с пирушки. Его товарищ Тионих, выслушав эту трагикомическую историю, советует покинутому, но по-прежнему влюбленному Эскину уехать за море и поступить в наемники к Птолемею. Тонкая лезть Птолемею, выраженная в словах Тиониха, свидетельствует о том, что XIV идиллия написана во время пребывания Феокрита в Египте.

Наконец, известнейшее произведение Феокрита «Сиракузянки, или женщины на празднике Адониса» (идиллия XV), прекрасно переведенное Н. И. Гнедичем, с поразительным реализмом и юмором рисует двух александрийских горожанок, идущих на праздник. Их разговоры дома и по дороге словно записаны: они судачат о мужьях, о покупках, платьях и служанках. Мим кончается прекрасным гимном Адонису, который поет приглашенная из Аргоса знаменитая певица.

В этих первых двух группах заключаются лучшие произведения Феокрита, составившие его славу. Группа эпических стихотворений (эпиллиев) гораздо слабее и менее самостоятельна; в них в значительной степени используется эпический словарь и эпические образы, хотя в двух из них, написанных, может быть, в целях полемики с Аполлоном — «Гиласе» и в «Диоскурах» — имеются прекрасные, типично феокритовские, описания ландшафтов. (К этой группе принадлежат идиллии XIII, XXII, XXIV, XXVI и отчасти XVIII).

В группе любовных песен и посланий как очень удачные надо отметить «Любовную песню» (идиллия XXX) и «Прялку» (идиллия XXVIII).

Две хвалебные песни историческим лицам — послания к Гиерону и Птолемею — сравнительно с другими произведениями мало интересны. Послание к Птолемею очень длинно (137 стихов), переполнено лезтью, изобилует мифологическими образами и совершенно лишено тех черт, которые особенно привлекают в Феокрите — свежести и искренности.

В «Гиероне» все же есть одна сцена, достойная Феокрита, — это картина мирной жизни, которая наступит, когда из Сицилии будут изгнаны враги. С некоторым юмором поэт описывает также и своих голодных «Харит», которые возвращаются к нему, не найдя пристанища. Возможно, что это стихотворение написано Феокритом в ранние годы жизни, когда он был еще неизвестен и очень нуждался.

Среди других идиллий особенно интересны для нас «Рыбаки» (идиллия XXI).

В этой идиллии действующими лицами являются два бедных рыбака; в начале дано описание их хижины и орудий их ремесла; действие происходит ночью. Плохо поужинав, рыбаки с голоду проснулись среди ночи, и им

не спится; один из них видел во сне, будто поймал рыбу из чистого золота и поклялся больше не выходить в море; теперь его смущает эта клятва; другой успокаивает его, говоря, что клятва, данная во сне, не имеет силы, так как «сновидение схоже с обманом». Эта простая тема обработана очень удачно: речь рыбаков проста, естественна и полна народных поговорок. Поговорка, имеющаяся и в других языках, приведена в стихе 45: «Грезит о хлебе собака, а мы — о рыбах». Горьким юмором бедняка звучат заключительные слова:

...ищи-ка ты рыбу с костями и мясом,
Чтоб с твоим сном золотым не умер ты смертью голодной.

(XXI, 66—67)

г. Тематика произведений Феокрита

Феокрит обладал чрезвычайно многосторонним талантом. Тематика его произведений несравненно шире, чем это кажется на первый взгляд.

Феокрит раскрывает картину высокоразвитой городской культуры: перед нами проходят люди самых различных профессий и различных слоев общества: врачи, воины, купцы, атлеты, кутящие молодые люди, флейтистки, хозяйственные горожане, гадалки, пастухи, крестьяне. Бытовые картинки, которые дает Феокрит, можно поставить наравне с лучшими эпизодами из комедий Менандра без гротескных преувеличений, свойственных комедии.

По идиллии Феокрита мы знакомимся прежде всего с бытом греческого дома среднего достатка. Домашнее хозяйство основано на рабском труде: в нем работают две-три рабыни, на которых покрикивает хозяйка. Сама она тоже усердно прилагает руку к хозяйству: прядет, шьет себе платья и, хотя любит принарядиться, все же соблюдает строгую экономию; она непрочь посплетничать с приятельницей о капризах и непрактичности мужчин, она болтлива, любопытна, бойка на язык, одним словом — типичная горожанка средней руки.

Только такая женщина пользуется уважением. Симайта упрекает Дельфида именно в том, что он «презренной несчастную сделал, чести жены мне не дав...» (II, 40—41). Однако рядом с этой упорядоченной семейной жизнью существует и мир других женщин. Это — мир Киниски, которая одна присутствует на ночной попойке, устроенной ее временным другом сердца для своих приятелей, грубовато подшучивающих над ней; получив пощечину от надоевшего ей поклонника, она той же ночью перебегает к приглянувшемуся ей красивому соседу.

Времяпрепровождение молодых людей — бездельников, принадлежащих к состоятельному кругу, — обрисовано в идиллиях II, XIV и в песнях Симихида и Ликида в идиллии VII. Днем такие юноши проводят время в палестре, вечером гуляют на пирушках. После пирушки, на которой в честь возлюбленных пьют «несмешанное» вино, молодые люди идут к дверям предмета страсти, где более робкие поют песни и зябнут до утренних петухов, а смелые прокладывают путь «факелом и секирой».

Городская жизнь течет оживленно; она не всегда безопасна: наружную дверь даже днем надо держать на задвижке, а на улице остерегаться обидчиков. Деньги играют огромную роль. В словах Праксиной «у богатых — богато» (XV, 25) звучит зависть женщин среднего достатка к богачам. Интересна эпиграмма XXIII — вывеска меняльной лавки (скамьи или стола, где производились денежные операции):

Гражданам нашим и пришлым здесь стол для размена поставлен.
 Можешь свой вклад получить. Счеты всегда сведены.
 Попросят отсрочки другие; но даже ночью порою,
 Если захочешь, тебе все подсчитает Каик.

Наряду с рабским трудом, в эту эпоху распространен уже и наемный труд. Наемным пастухом является, например, Коридон (идиллия IV), переходящий от одного хозяина к другому. По найму работают и жнецы Милон и Букай (идиллия X). Жнецов плохо кормят, им мало платят, и Милон отводит душу в насмешках и далеко не безобидных шутках над жадным надсмотрщиком.

Много внимания и в городе и в деревне уделяют празднествам. В городе они обставляются очень пышно, и граждане бегут поглядеть на процессию, в которой ведут даже диких зверей, или на роскошное убранство зал — на ковры, статуи, резьбу по слоновой кости и дереву. В деревне празднества более примитивные: состязания в еде, питье и в силе — силач Айгон съел на таком празднестве 80 лепешек и притащил поваленного быка к ногам своей красавицы (IV и др.), — праздники жатвы и сбора винограда.

Распространены также кулачные бои: только читатели, интересующиеся этим видом состязаний, могли с удовольствием читать описание боя Полидевка с Амиком в «Диоскурах».

Во всей этой шумной и деловой жизни религия не играет уже никакой роли. В городе религиозные обряды стали только поводом для зрелищ; они уже не являются общегосударственным делом, как было в Афинах, а устраиваются государем для забавы подданных. В деревне еще сохраняется традиция почитания Пана и нимф; им приносят молоко, мед, первые плоды и цветы, но после неудачной охоты мальчишки могут выпороть статую Пана крапивой; в этих близких маленьких божков еще верят, олимпийцы же стали только художественными образами. Однако если угасла религия, то не угасло суеверие; вера в приметы, гадания, в дурной глаз, в магическую силу растений, заклинаний и обрядов господствует и в деревне и в городе.

О положении поэта в этом обществе Феокрит говорит не раз; он не совсем доволен им, охотно развивает «общее место» греческой поэзии: поскольку лишь поэт может прославить богатых и сильных людей, поэтов надо больше ценить и лучше платить им. Но никакого протеста в словах Феокрита не слышится.

Свое личное отношение к религиозным, философским и общественным вопросам Феокрит нигде прямо не высказывает, но оно вполне ясно из его произведений. Мифология и олимпийские боги для него только поэтический материал. В «Гиласе» (идиллия XIII) и «Эпиталям Елены» (идиллия XVIII) миф становится у него почти бытовым рассказом, так же как в VI и XI идиллиях, трактующих миф о Полифеме.

В истории литературы в термины «буколика», «идиллия», «эклога» (и впоследствии «пастораль») принято вкладывать общий смысл, которого по своему происхождению они не имеют, а именно, для нас эти понятия означают идеализацию скромной, ограниченной, безмятежной и якобы вполне счастливой жизни, которую ведут неиспорченные «простые» люди, живущие на лоне природы. Лучшими представителями их, по мнению поэтов эллинистической эпохи, являются пастухи, ведущие жизнь, наиболее близкую к природе и на первый взгляд совершенно беззаботную.

Этот основной характер буколической поэзии был отмечен уже в схолиях, причем подчеркивалось ее своеобразие и в формальном отношении:

«Между тем, как всякое поэтическое произведение может принадлежать к одному из трех родов: повествовательному, драматическому или смешанному,— буколическое стихотворение является смесью всех этих родов, как бы сплетением... Оно рисует в веселом тоне быт простых людей, передавая их речи, несколько неуклюжие вследствие неотесанности этих людей. Поэтому оно избегает всего слишком пышного и преувеличенного в способе выражения».

Литературные произведения, идеализирующие быт простых людей и нетронутую природу, могли возникнуть только в эпоху, когда резко наметились черты противоположности между городом и деревней и когда люди городской культуры уже оторвались от народной почвы и почувствовали известное утомление от своей утонченной культуры.

Однако не следует думать, что это стремление к простоте могло продвинуть автора или читателей идилий на действительный отказ от городской жизни, на приобщение к деревенскому быту и труду. И автор, и читатели далеки от таких мыслей, и, будучи не прочь помечтать о деревенской тишине, они вряд ли согласились бы стать на место тех, кого сами рисуют как счастливых и довольных жизнью людей. Это только игра в крестьян и пастухов; своеобразие буколических произведений заключается вовсе не в их подлинной безыскусственности, а в том, насколько автору удается создать иллюзию такой безыскусственности. В этом отношении, конечно, не все поэты, которых причисляют к группе буколиков, равноценны. Первое место, бесспорно, принадлежит Феокриту, искусство которого так велико, что становится почти незаметным для читателя; поэтому-то в течение многих веков находились исследователи, утверждавшие, что Феокрит непосредственно использует народную пастушескую песню и только слегка ее обрабатывает.

На самом деле поэты-буколики лишены живой связи с народом и всяких социальных идеалов. Какая бы то ни было политическая деятельность была в их эпоху невозможна, и тот, кого не интересовала военная или бюрократическая карьера, естественно, оставался бездеятельным наблюдателем жизни. Таковы и буколические поэты; для себя лично они многого не требуют — только пропитания при дворе какого-нибудь вельможи или царя, как откровенно высказывается Феокрит в обращениях к Гиерону и Птолемию и еще яснее устами Тиониха в идилии «Любовь Киниски», характеризуя Птолемея:

Многое многим дает; просящему редко откажет,
Как подобает царю. Но просить слишком часто не надо.

(XIV, 64—65)

Бион тоже обращается к какому-то покровителю:

Ты без награды меня не оставь: ведь и Феб лишь за плату
Песни поет: от почета работа становится лучше.

(III⁵)

Буколические поэты нередко выражают сочувствие бедноте — крестьянам, рыбакам,— отмечают, что труд их тяжел и неблагоприятен. Особенно тяжелой представляется поэтам жизнь рыбаков; к этому они возвращаются не раз. Пастухи, напротив, являются предметом их зависти и даже идеалом, так как, несмотря на многие трудности, которых поэты, конечно, не замечают, пастух имеет больше досуга, чем люди других профессий. Менее дру-

⁵ По изд. Аренса — XIII

гих поэтов идеализирует действительность сам Феокрит; он не скрывает, что изображаемые им люди могут быть недовольны своей жизнью; но ни он, ни его герои не думают, что эту жизнь можно в какой бы то ни было мере изменить или хотя бы подвергнуть критике. Он принимает все, как должное, и даже любит эту статическую картину. Его последователи все чаще подчеркивают это бездумное и некритическое восприятие жизни, природы и людей, которых они видят только с декоративной стороны; только эту сторону жизни они любят, понимают и умеют изображать, и, рисуя ее, они в то же время показывают самих себя — людей большого художественного вкуса, но лишенных всяких убеждений, смеющихся над религиозными предрассудками, сочувствующих слабым и бедным, но бездеятельных, индивидуалистов и эстетов, правда, любящих природу, но по существу далеких от нее.

Такая замкнутость в узком кругу эстетических интересов естественно приводит к культу формы, к равнодушию к серьезным вопросам социального и философского характера и в конечном счете к пессимизму. Все эти черты ясно проявляются у буколических поэтов.

Поэтому при всем художественном наслаждении от чтения произведений буколических поэтов, их неизменное изящество и благозвучие может все же, наконец, показаться утомительным и однообразным.

Так же как и у Аполлония Родосского, живое отношение к религии олимпийцев утрачено бесследно. Остался интерес к мифам только как к материалу для поэтической обработки. Попытки Феокрита подражать эпическому благочестию в «Диоскурах» и «Вакханках» (идиллии XXII и XXVI) терпят полное крушение и звучат неприятной фальшью. Единственное божество, силу которого он еще ощущает, это Эрос. У Феокрита Эрос — стихийная сила, для изображения которой он иногда находит очень яркие выражения:

Доброй волей иль нет, шею согнув, иго влачить теперь,
Знаю, мне суждено. Друг дорогой, этого хочет бог,
Тот, кто волей своей часто смущал даже Киприды дух,
Зевса ум колебал; как устою я, однодневный цвет?
Легкий ветер дохнет и далеко мигом умчит меня.

(XXX, 28—32)

У Моска и Биона и этот бог стал только шаловливым ребенком. Никаких высших сил над человеком нет, и, разочаровавшись в каком бы то ни было сверхъестественном объяснении жизни, не умея принять в ней деятельное участие, Бион призывает к полной бездеятельности и созерцанию⁶.

Если б нам жизненный срок был двойкий дарован Кронидом
Или изменчивой Мойрой — и так, чтоб один проводили
В счастья мы и в утехах, другой был бы полон трудами,
То потрудившийся мог бы позднейшего ждать награжденья.
Если же боги решили назначить нам, людям, для жизни
Срок лишь один, и притом столь короткий, короче, чем прочим,
Что же, несчастные, мы совершаем такие работы?
Что же, для цели какой, мы в наживу и в разные знанья
Душу влагаем свою и все к большему счастью стремимся?
Видно, мы все позабыли, что мы родились не бессмертны
И что короткий лишь срок нам от Мойры на долю достался.

⁶ По изд. Аренса (и в русском переводе) — V, 4—14.



Бык. Бронза.
Гос. Эрмитаж

У последнего буколика — неизвестного поэта, автора «Плача о Бионе», то же мировоззрение принимает еще более пессимистическую и трагическую окраску⁷.

Горе, увы! Если мальвы в саду, отцветая, погибнут
Иль сельдерей листва, иль аниса цветы завитые,
Снова они оживут и на будущий год разрастутся;
Мы ж, кто велики и сильны, мы, мудрые разумом люди,
Раз лишь один умираем, и вот — под землю глубоко,
Слух потеряв, засыпаем мы сном беспробудным, бесцельным.

К такому печальному итогу приходит буколическая поэзия, кажущаяся на первый взгляд поверхностной, веселой и шутливой.

д. Литературные приемы Феокрита

Многосторонность таланта Феокрита находит свое воплощение в умелом использовании разнообразнейших литературных приемов. Он с одинаковой легкостью пользуется диалогом, лирической песней, повествованием от лица автора или одного из действующих лиц и описанием ландшафта, и, наконец, проявляет особое умение характеризовать каждое действующее лицо, не сказав о нем от себя ни одного слова. Речи и действия его героев совершенно ясно обрисовывают их характер; в болтовне двух пастухов

⁷ По изд. Аренса (и в русском переводе) — 105—110.

⁸ История греческой литературы

(идиллия IV) с первых же слов виден контраст между шутником Баттом и его простодушным собеседником; в XIX идиллии так же верно передан запальчивый тон речи оскорбленного Киниской Эсхина и насмешливо утешающего его Фиониха.

Лирические песни, вводимые Феокритом, очень разнообразны. Юмористические песенки (идиллия VI), которые от лица Полифема и его приятеля поют Дамет и Дафнис, являются по существу зародышем театрального представления. Песни пастуха из идиллии III и Букая в идиллии X — серенады, а в песне Милона (идиллия X) мы имеем черзвычайно интересный пережиток рабочей песни; песни о смерти Дафниса (идиллия I) и гимн аргивянки (идиллия XV) носят культовый характер; двустипхия Комата и Лакона (идиллия V) очень хорошо стилизуют поочередное («амебейное») пение на народном состязании.

Ландшафт в стихотворениях Феокрита обрисован так же четко и просто, как характеры действующих лиц. Его описания тем более своеобразны, что он мало использует самый распространенный в античной поэзии прием — эпитет; вместе с тем, он не называет предметы общими понятиями — «дерево», «трава», а их собственными именами — «тополь», «сосна», «златоцвет», «плющ». Живые существа он показывает в действии: пчелы жужжат, ласточка спешит под крышу, кузнечик стрекочет, голубь стонет.

Один пастух говорит другому:

Нет, не пойду я туда. Здесь разросся чебрец под дубами,
Пчелы жужжат так чудесно, с добычей вокруг ульев кружась,
Здесь же с водой ледяной два источника; здесь на деревьях
Разные птицы щебечут, местечка, чем это, тенистей,
Нет здесь иного, а сверху сосна свои шишки роняет.

(V, 45—49)

Полифем описывает Галатее прелести своей пещеры:

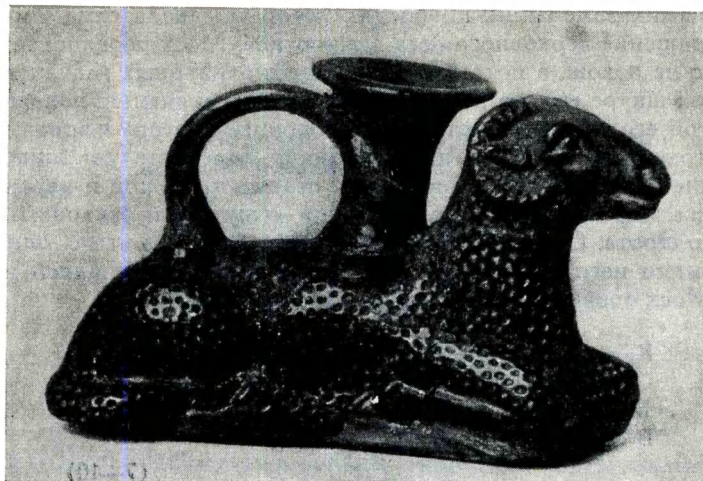
Лавры раскинулись там, кипарис возвышается стройный,
Плющ темнолиственный там есть, со сладчайшими гроздьями лозы,
Есть и холодный родник — лесами обильная Этна
Прямо из белого снега струит этот дивный напиток.

(XI, 45—48)

Вот описание летнего дня:

Был нам постелен камыш и засыпан листвою виноградной,
Только что срезанной с веток. И весело мы отдыхали.
Много вверху колыхалось, над нашей склонясь головою,
Вязов густых, тополей. Под ними священный источник,
Звонко журча, выбегал из пещеры, где Нимфы скрывались.
В тень забираясь ветвей, опаленные солнца лучами,
Звонко болтали цикады, древесный кричал лягушонок,
Криком своим оглашая терновник густой и колючий.
Жавронки пели, щеглы щебетали, стонала голубка,
Желтые пчелы летали, кружась над водной струею.
Все это летом богатым дышало и осенью пышной.
Падали груши к ногам, и сыпались яблоки щедро
Прямо нам в руки, и гнулся сливняк, отягченный плодами,
Тяжесть не в силах нести и к земле приклоняясь вершущкой.

(VII, 133—146)



Баран. Фигурный сосуд. Глина. VI в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

Заслуживает внимания и типичная для Феокрита некоторая односторонность в изображении природы. Он рисует только мирные ее картины: ясный день, тенистую рощу на берегу ручья, тихое море.

Творчество Феокрита органически связано с художественными приемами народной поэзии его родины — Сицилии; особенно охотно он пользуется народной аллитерацией и анафорой, в композиции же своих лучших стихотворений (I и II идиллии) прибегает к приему повторяющегося через 4—5 стихов рефрена.

Феокрит, несомненно, был знаком с пастушеской народной поэзией Сицилии и Южной Италии; однако он создал из нее нечто совершенно новое и придал ей иной, не свойственный народной поэзии тон.

А его последователи — Мосх и Бион — выдают тайну мнимой безыскусственности буколической поэзии именно тем, что становятся уж чересчур наивными.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ФЕОКРИТА: МОСХ И БИОН

Биографии ближайших последователей Феокрита — Биона и Мосха — еще менее известны, чем жизнь его самого. Мы даже приблизительно не знаем времени их рождения и смерти. По-видимому, они оба жили во II в. Мосх, как и Феокрит, был уроженцем Сиракуз. О Бионе известно только, что он был родом из Смирны и, возможно, жил впоследствии в Сицилии, так как в «Плаче о Бионе» о поэте плачут сицилийские музы, и сам «плач» сложен каким-то буколическим «авзонийским» (т. е. сицилийским) поэтом, который говорит, что Бион завещал ему свою «дорийскую музу», и просит Биона спеть Персефоне в Аиде сицилийскую песню. Этот же поэт сообщает, что Бион погиб от яда.

Бион и Мосх в общем сохраняют манеру и приемы изображения Феокрита.

Сюжетом небольшого мифологического эпиаллия Мосха «Европа» является похищение Европы Зевсом, принявшим облик быка. В эпиаллии много

юмористических замечаний, повод для которых давала сама избранная тема — превращение верховного бога в животное. Мосх перечисляет, на каких быков Зевс не похож, а потом говорит о темнолазурных глазах этого быка, о золотистой шкуре его, рогах, подобных месяцу, мычаньи, похожем на звук флейты, и об его дыханьи, которое благовоннее цветов; Европа, восхищенная красотой быка, садится на его спину. Далее следует живое и яркое изображение бега быка по морю между стаями тритонов и nereид.

Так же живо написан «Эрот-беглец» — шуточная жалоба Киприды на убежавшего Эрота. Она просит поймать его и дает для этого описание беглеца, очевидно негодуя на него и в то же время восхищаясь им. В этом описании Мосх очень искусно пользуется антитезами:

Кожа его не бела, а сверкает огнем. Его взоры
Огненны, остры. И зол его ум, хоть и сладостны речи.
Мыслит одно, говорит же другое. Как мед его голос,
В сердце же горькая желчь у него...

(7—10)

Кроме этих произведений, до нас дошли четыре маленькие эпиграммы Мосха, неоконченная поэма «Мегира» — печальная беседа жены Геракла Мегиры с его матерью Алкменой — и уже упоминавшийся «Плач о Бионе», который, по мнению исследователей, Мосху не принадлежит.

Произведения Биона представляют собою ряд мелких изящных стихотворений, преимущественно на любовные темы; их главным героем является тот же шуточный, но жестокий Эрот, которого изображает Мосх. Бион горько жалуется на него, но его жалобы не серьезны. Эти произведения ближе к анакреонтике⁸, чем к буколике. Тема единственного крупного произведения Биона — «Плача об Адонисе» — тесно соприкасается с песней об умирающем Дафнисе в I идиллии Феокрита и с гимном Адонису в XV идиллии. В «Плаче» сочеталось блестящее мастерство с подлинным чувством. Отчаяние женщины, потерявшей любимого, выражено с замечательной силой в обращении Афродиты к богине смерти Персефоне:

Мужа бери моего, Персефона! Ведь ты обладаешь
Силою большей, чем я, все уходит к тебе, что прекрасно.
Я ж бесконечно несчастна, несу ненасытное горе,
Я об Адонисе плачу, о мертвом, повергнута в ужас.
Умер ты, трижды желанный, и страсть улетела, как греза.

(54—58)

В заключение упомянем еще о стихотворении «На смерть Адониса», которое включается в сборник стихотворений буколиков, но принадлежит какому-то второстепенному анакреонтическому поэту и попало в буколическое окружение, вероятно, из-за своей темы. Стихотворение это — шутка по поводу смерти Адониса. Киприда, оплакивая Адониса, велит Эротам поймать кабана, который убил Адониса. Кабана ловят в лесу:

Один Эрот веревкой
Тащил свою добычу,
Другой шагал по следу

⁸ См. т. I настоящего издания, гл. XV.

И гнал ударом лука.
И шел кабан уныло:
Боялся он Киприды...

В ответ на упреки Киприды кабан говорит, что он влюбился в Адониса, хотел его поцеловать, но нечаянно убил, и предлагает в наказание срезать ему клыки:

И сжалилась Киприда:
Эротам приказала,
Чтоб развязали путы.
С тех пор за ней ходил он
И в лес не возвратился,
И, став рабом Киприды,
Как пес, служил Эротам.

В этой шутке сконцентрированы типичные черты эллинистической поэзии — подчеркивание эротических моментов, модернизация мифа, легкий юмор и пластическая образительность.

Язык большей части идиллий Феокрита и его последователей — условно-дорический, поверхностно подражающий живому городскому и деревенскому диалекту дорической Сицилии. В эпиллиях же Феокрит в основном следует гомеровскому диалекту.

Стихосложение Феокрита и его подражателей также имеет свои особенности. В гексаметре Феокрита, кроме основной цезуры господствует так называемая буколическая цезура — диэреза перед пятой стопой; эта цезура встречается уже у Гомера, но только Феокрит сделал ее своим постоянным приемом; она несомненно делает гексаметр более легким для чтения.



Глава VI

ЭПИГРАММА

1. Эпиграмма как литературный жанр.— 2. Историческое развитие эпиграммы.— 3. Антологии греческих эпиграмм.

1. ЭПИГРАММА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР

В греческой поэзии эллинистического и римского периодов большое развитие получил особый род небольших, но вместе с тем законченных по форме и содержанию стихотворений, называемых *эпиграммами*, дословно — надписями.

Эпиграммы известны в греческой литературе с древнейших времен: некоторые из них греки приписывали самому Гомеру; под его именем дошли до нас, например, эпиграммы, которые можно озаглавить «На гробницу Мидаса» (AP, VII, 153) и «Дар Аполлону» (App. I, 2) ¹.

К древнейшим эпиграммам относятся посвятельные надписи на предметах культа — изваяниях, алтарях, треножниках, а также на надгробных памятниках; эти последние носят название *эпитафий*, дословно — надгробий. Греческий историк V в. до н. э. Геродот приводит такие посвятельные надписи на треножниках в храме Аполлона Исменского в беотийских Фивах; на одном из треножников начертано «кадмейскими письменами» ².

Амфитрион меня посвятил, победив Телебоев ³.

На другом:

Скей, кулачный боец, тебе, Аполлону-владыке,
Меткому, в дар посвятил меня — прекрасный треножник.

На третьем:

Лаодамант-самодержец тебе, Аполлону-владыке,
Зоркому, в дар посвятил прекрасный этот треножник.

Надписи из храма Аполлона, приводимые Геродотом, сходны между собою и по формулировкам, и по стихотворному размеру — дактилическому гексаметру, тому самому метру, какой применялся в «Илиаде», «Одиссее» и других эпических поэмах. Надо также отметить, что в эпиграммах

¹ AP — «Anthologia Palatina»; App — «Appendix», т. III парижского издания Дюбнера и Куньи (1890 г.). Римские цифры означают номер книги, арабские — номер эпиграммы.

² Геродот, V, 59—61.

³ Перевод Ф. А. Петровского. В дальнейшем, на протяжении настоящей главы, переводы Ф. А. Петровского особо не оговариваются.



Эрот на дельфине. Мрамор. Римская копия с греческого оригинала.
III—II вв. до н. э.

на предметах говорящим лицом обычно бывал самый предмет, на котором делалась надпись. Этот прием, как и стихотворный размер — гексаметр — удержался во многих надписях позднейших времен, когда вместо сухих формулировок в надписях на предметах появляется и лирический элемент, как, например, в эпиграмме на бесшумном водоподъемнике, украшенном статуей бога Пана (АР, IX, 825).

Пана, меня, не любя, даже воды покинула Эхо.

Пан жалуется здесь на неудачу в ухаживании за нимфой Эхо в тоне подлинной любовной лирики, что является одним из признаков позднего происхождения этой простой и шутивно-трогательной строчки.

Личный элемент, который виден в этой надписи, имеет чрезвычайно важное значение в развитии эпиграммы, указывает на переход ее от стойкой эпической формы и, так сказать, регистрационного характера в особого рода лирическую поэзию, осложненную во многих случаях драматическими элементами, как, например, в эпиграмме поэта Посидиппа на статую Лисиппа «Случай» (АР, XVI, 275), написанной в форме диалога между статуей и зрителем, или же в разговоре поэта Филодема с красавицей (АР, V, 46) — эпиграмме, уже совершенно утратившей признаки «надписи».

Такая эволюция эпиграммы, превращающейся из надписи в короткое стихотворение, посвященное какому-нибудь предмету или случаю, теснейшим образом связана и с изменением стихотворного размера: наряду с простыми гексаметрами в эпиграммах появляется и соединение гексаметра с пентаметром, то есть так называемое элегическое двустушие, или *элегический дистих*, который становится и навсегда остается излюбленной формой античной эпиграммы как у греков, так и у римлян. До нас дошло множество эпиграмм, где такое двустушие служит для краткого выражения какой-нибудь законченной мысли, разделенной на основное положение и вывод из него, как, например, в эпиграмме Анакреонта (АР, VII, 160):

Мужествен был Тимокрит, погребенный под этой плитой:
Видно не храбрых Арей, а малодушных щадит.

(Перевод Л. В. Блуменау)

В связи с расширением кругозора эпиграмматической поэзии все больше и больше разнообразятся применяемые в ней стихотворные размеры: помимо гексаметра и элегического дистиха в эпиграммах начинают использовать ямбы и другие метры, порою чрезвычайно запутанные и сложные, как, например, в эпиграмме Феокрита на статую драматурга Эпихарма (АР, IX, 600), где стихи состоят из чередующихся усеченных трохаических тетраметров (ст. 1, 5 и 9), адонических стихов с анакрузой (четные стихи) и ямбических триметров (ст. 3 и 7):

Здесь звучит дорийцев речь, а этот муж был Эпихарм,
Комедии мастер.
И лик его, из меди слит, тебе, о Вакх,
В замену живого
В дар приносят те, кто здесь, в огромном городе живет.
Ты дал земляку их
Богатство слов; теперь они хотят тебе
Воздать благодарность.

Много слов полезных он для жизни детям нашим дал,—
За то ему слава.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

К таким же сложным по стихотворной форме, а еще более по содержанию, относится приписываемая Феокриту эпиграмма-загадка «Свирель» (АР, XV, 21), в которой попарно укорачивающиеся дактилические строчки придают всему стихотворению форму музыкального инструмента из укорачивающихся параллельных дудок, что и служит отгадкой этого фигурного стихотворения.

Итак, возникнув из краткой надписи на предмете, сделанной гексаметром, эпиграмма постепенно обращается в небольшое стихотворение, говорящее о какой-нибудь вещи, лице или событии в убедительной немногословной и яркой поэтической форме. Разумеется, ставить какие-нибудь строгие границы размеру эпиграммы невозможно: величина ее всецело зависит от темы, но в пределах выбранной темы она должна быть как можно более краткой. Это прекрасно понимали выдающиеся авторы античных эпиграмм, протестуя против чисто формального требования некоторых критиков, настаивавших на краткости эпиграммы независимо от ее содержания:

Вовсе не длинны стихи, от каких ничего не отнимешь,
А у тебя-то, дружок, даже двестишья длинны,—

говорит римский эпиграмматист Марциал какому-то поэту, осуждавшему его за длинные эпиграммы⁴.

Переходя к обзору греческих эпиграмм со стороны содержания, мы наблюдаем в них самую разнообразную тематику: она охватывает любые предметы и явления как частной, так и общественной жизни. Мы находим в эпиграммах и рассуждения о предметах изобразительных искусств, и отклики на произведения литературы, и размышления о жизни и смерти, и сентенции, вызванные историческими событиями.

Так же как форма, с течением времени изменяется и содержание греческих эпиграмм, их тон и характер. Спокойствие и серьезность, свойственные большинству эпиграмм классического периода греческой литературы и роднящие их с эпосом и элегией, начинают все больше и больше уступать место шутке и насмешке, сближая эпиграмму с жанрами сатирическими. Если сравнить эпиграммы Симонида Кеосского, Платона и Леонида Тарентского с эпиграммами живших в начале новой эры поэтов Лукиллия и Никарха, то это изменение характера эпиграммы станет ясно без всяких дальнейших пояснений. С начала римской эпохи слово *эпиграмма* получает то значение, какое ему придают в новое время. Сущность эпиграммы в нашем обычном смысле этого слова прекрасно определена Баратынским⁵:

Окогченная летунья,
Эпиграмма хохотунья,
Эпиграмма егоза,
Трется, вьется средь народа,
И завидит лишь уroda,
Разом вцепится в глаза.

⁴ Марциал, II, 77.

⁵ Е. А. Баратынский. Полн. собр. стихотворений, т. I. «Советский писатель», 1936, стр. 80.

Представление об эпиграмме, как об остроумном и едком стихотворении на случай (*ad hoc*) сложилось уже в античную эпоху; в I в. н. э. такое представление было общепринятым, как это видно хотя бы из предисловия ко II книге эпиграмм Марциала, где он говорит об остром, злом языке эпиграммы; но, повторяем, к эпиграмме классического периода греческой литературы определение Баратынского в большинстве случаев мало подходит, поскольку в этот период сатирический элемент отнюдь не преобладает в эпиграмме: из всего обширного наследия греческих эпиграмм (а их нам известно около шести с половиною тысяч) первое место занимают надгробные (эпитафии), затем описательные и посвячительные, а сатирические вместе с застольными по количеству занимают лишь четвертое место.

2. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭПИГРАММЫ

В отличие от эпоса, лирики и драмы эпиграмма древними теоретиками литературы долгое время не признавалась особым поэтическим жанром, равноправным с такими произведениями, как поэмы Гомера, оды Пиндара и трагедии или комедии греческих драматургов. Даже после того, как она получила самостоятельные литературные права, античные литературоведы ставили эпиграмму на последнем месте, не придавая ей того значения, какое упрочилось за тремя основными жанрами античной поэзии. Эпиграмма считалась литературным пустяком, что хорошо видно по одной эпиграмме Марциала, который, насмехаясь над одним из своих литературных соперников, говорит ⁶:

Эпос я начал писать; ты тоже начал: я бросил,
 Чтобы соперником я не был в поэмах твоим.
 Наша Талія в котурн трагический ногу обула,
 Тотчас же сирму и ты длинную тоже надел.
 Стал я на лире бряцать, подражая Калабрским камням;
 Ты, неотступный, опять плектр вырываешь у нас.
 Я на сатиру пошел; ты сам в Луцили метишь.
 Тешусь элегией я; тешишься ею и ты.
 Что же ничтожней найти? Сочинять эпиграммы я начал;
 Первенства пальму и тут хочешь отнять у меня.

Но ко времени Марциала, т. е. к I в. н. э., воззрение на эпиграмму коренным образом изменилось не только у поэтов-эпиграмматистов, но и у публики (Марциал, разумеется, иронически называет эпиграмму самым ничтожным поэтическим жанром). Наоборот, мифологические сюжеты, на которые по многовековой инерции продолжали сочинять и эпические поэмы и драматические произведения, перестают вдохновлять истинных поэтов, для которых сюжетом служит жизнь во всех ее проявлениях, а не отжившая свой век мифология, в героев которой никто не верит и которыми никто не интересуется, как интересовались ими в классический период греческой литературы, когда великие поэты Греции использовали мифологические образы для передачи мыслей и чувств современного им общества. К началу новой эры таких поэтов уже не было, и все попытки оживить старые поэтические традиции были обречены на неудачу. Это опять-таки хорошо видно по одной из эпиграмм Марциала, обращенной к его другу Флакку ⁷:

⁶ Марциал, XII, 94.

⁷ Там же. IV, 49.

Флакк, уверяю тебя, ничего в эпиграммах не смыслит,
 Кто их забавой пустой или потехой зовет.
 Больше забавы у тех, кто пишет про завтрак Терция
 Лютого или про обед твой, беспощадный Тиест;
 Или как сыну Дедал прилаживал плавкие крылья,
 Или как киклоп Полифем пас сицилийских овец.
 Нет! нашим книжкам чужда напыщенность всякая вовсе,
 Сирмой безумной совсем Муза не грезит моя.
 — «Но ведь поэтов таких превозносят, восторженно хвалят». —
 Хвалят их, я признаю, ну а читают-то нас.

Таким образом, к началу новой эры (и даже гораздо раньше) поэты-эпиграмматисты завоевали себе такие же права, как эпики, лирики и драматурги; что же касается успеха у публики, то эпиграмматисты выходят даже на первые места.

Не так было в древнейшие времена, когда на литературном поприще не встречается поэтов, всецело посвящающих себя эпиграмме. Даже у Симонида Кеосского (VI—V вв. до н. э.)⁸, под именем которого сохранилось много эпиграмм, этот вид поэзии был, так сказать, побочным, несмотря на то, что Симонид считался в древности выдающимся автором эпиграмм-эпитафий.

В развитии эпиграмматической поэзии после Симонида очень существен этап, к которому относятся стихотворения, приписываемые философу Платону (V—IV вв. до н. э.), чьи эпиграммы значительно разнообразнее и сложнее по содержанию, чем у его предшественников. В первую очередь обращают на себя внимание не эпиграммы на предметы и не надгробные надписи, а обращения к живым людям, в частности эпиграммы любовные, среди которых одна из лучших следующая (AP, VII, 669):

Смотришь на звезды, Звезда ты моя! О если бы был я
 Небом, чтоб мог на тебя множеством глаз я смотреть.

(Перевод С. И. Соболевского)

Не менее важно и проникновение в них философских сентенций, например (AP, IX, 51):

Все уносящее время в течение своем изменяет
 Имя и форму вещей, их естество и судьбу.

(Перевод Л. В. Блуменау)

Правда, философские сентенции встречаются и в более ранних эпиграммах, например у Эпихарма⁹:

Мертв я; мертвый — навоз, а навоз возвращается в землю;
 Если ж земля — божество, сам я не мертвый, но бог.

Но все-таки подобные сентенции в эпиграмме получают полные права гражданства именно у Платона.

Одним из древнейших примеров сатирической эпиграммы служит эпиграмма поэта Гегесиппа (первая половина IV в. до н. э.)

⁸ См. том I настоящего издания, стр. 252 слл.

⁹ Diehl, Anth. lgr., Graeca, fasc. I, p. 131.

на пресловутого мизантропа Тимона (АР, VII, 320), о котором говорит Аристофан в «Птицах» (ст. 1549) и в «Лисистрате» (ст. 808 сл.), и эпиграмма-пародия Кратета Фиванского (IV в. до н. э.) на эпитафию Сарданапалу (АР, XVI, 27).

Начиная со второй половины IV в. до н. э. тематика эпиграммы значительно расширяется; появляются своего рода краткие рецензии на произведения писателей, живописцев, скульпторов, используются мифологические темы, даются характеристики поэтов, философов. Особенное развитие получают эротические эпиграммы.

Три поэта — Асклепиад, Посидипп и Гедил — были крупнейшими представителями эпиграмматической поэзии III в. до н. э. Самым значительным из них был А с к л е п и а д, родом с острова Самоса, от которого до нас дошло около сорока эпиграмм. Насколько можно судить по этому небольшому наследию, Асклепиада занимали преимущественно любовные темы, в разработке которых он проявляет и самое искреннее чувство, и подлинное мастерство. Все его эпиграммы, будь то любовная сценка, или размышление о своей собственной судьбе, или эпитафия — необыкновенно изящные и яркие картинки. Одна из таких картинок — приготовление к пирушке, для которой надо закупить на рынке провизию и цветы, а по пути зайти за гетерой, — принадлежит к самым очаровательным произведениям греческой поэзии (АР, V, 185):

Сбегай, Деметрий, на рынок к Аминту. Спроси три главкиска,
Десять фикидий, да две дюжины раков-кривуш.
Пересчитай непременно их сам! И забравши покупки,
С ними сюда воротись. Да у Фавбория шесть
Розовых купишь венков. Поспешай! По пути за Триферой
Надо зайти и сказать, чтоб приходила скорей.

(Перевод Л. В. Блуменау)

Не уступают любовным эпиграммам Асклепиада и его эпитафии. Большой интерес представляют также те эпиграммы, в которых Асклепиад высказывает мнение о литературных произведениях; таковы эпиграммы на поэму Антимаха «Лида» и на поэму Эринны «Прялка».

В эпиграммах современника и друга Асклепиада поэта Посидиппа мы находим ту же тематику, что и в эпиграммах Асклепиада; со стороны формы, по тщательности обработки стиха они тоже не уступают асклепиадовским. Поэтому уже в древности, когда стали составлять сборники, или антологии («цветники»), эпиграмм, многие из них приписывались то Посидиппу, то Асклепиаду. Под именем Посидиппа до нас дошло значительно меньше эпиграмм, чем под именем Асклепиада, несмотря на то, что он был только «эпиграмматогографом» (как его называли в отличие от современного ему драматурга Посидиппа). Из эпиграмм-надписей Посидиппа большой интерес представляет уже упомянутая выше эпиграмма на статую ваятеля Лисиппа «Случай», в которой в виде вопросов и ответов дается подробное описание этой статуи и раскрывается смысл того, что хотел выразить ею Лисипп. Интересны также эпиграммы, относящиеся к современным Посидиппу архитектурным сооружениям, — на храм обожествленной после смерти жены царя Птолемея Арсиной (Арр., I, 116) и на Фаросский маяк (Арр., III, 80). Отличительной чертой творчества Посидиппа является склонность к философским рассуждениям с несомненным уклоном в сторону пессимизма, порожденного упадком общественной жизни в Греции; мысль Посидиппа не в силах подняться выше обыденной обстановки, которая



Девушки. Глина. III в. до н. э.

Гос. Эрмитаж

повергает его в уныние. Очень характерна в этом отношении эпиграмма «О жизни» (АР, IX, 359):

В жизни какую избрать нам дорогу? В общественном месте —
Тяжбы да спор о делах, дома — своя суета;
Сельская жизнь многотрудна; тревоги полно мореходство;
Если имущество есть, страшно нам в дальних краях,
Если же нет ничего — много горя; женатым заботы
Не миновать, холостым — дни одиноко влачить;
Дети — обуза, бездетная жизнь неполна; в молодости
Благоразумия нет, старость седая слаба.
Право, одно лишь из двух остается нам смертным на выбор:
Иль не родиться совсем, или скорей умереть.

(Перевод Л. В. Блуменау)

Судить о творчестве Г е д и л а, эпиграмм которого сохранилось меньше десятка, разумеется, почти невозможно; но дошедшие до нас его стихотворения полны жизненной правды и удивительной прелести, что привлекло к нему внимание наших поэтов — Батюшкова¹⁰, сделавшего вольный перевод эпиграммы «Приношение Киприде» (АР, V, 199), и Пушкина¹¹, который перевел (несколько сократив ее) «Эпитафию флейтисту Феону» (Арр., II, 134):

Славная флейта, Феон, здесь лежит, Предводителя хоров
Старец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил,
И, вдохновенный, нарек младенца Феоном. За чашей
Сладостно Вакха и муз славил приятный Феон.
Славил и Ватала он, молодого красавца: прохожий!
Мимо гробницы спеша, вымолви: здравствуй, Феон!

Эпиграммы Асклепиада, Посидиппа и Гедила знаменуют начало новой эпохи в истории этого поэтического жанра. В них, как в малом зеркале, отражены крупные изменения в общественной жизни греческого мира, наступившие после счастливого завершения войн с персами и расцвета греческой культуры в «век Перикла». Злосчастная Пелопоннесская война между Афинами, Спартой и другими греческими государствами, непрерывные столкновения и войны внутри Греции в IV в., наконец, покорение ее македонским царем Филиппом и колоссальные завоевания его сына, Александра Македонского, в результате которых греческая культура распространилась по всему бассейну Средиземного моря, коренным образом изменили тот «классический» греческий мир, который связан в литературе с именами Эсхила, Софокла, Эврипида, Пиндара, Симонида и других крупнейших поэтов и прозаиков.

Характерной чертой литературных произведений эпохи эллинизма, начавшейся после смерти Александра Македонского и распада его колоссальной монархии на отдельные «эллинистические» государства явилась оторванность от общественной жизни и, как следствие этого, все больший и больший интерес к жизни индивидуальной в самых разнообразных ее проявлениях вплоть до подробностей быта отдельных людей.

В области эпиграммы новая тематика чрезвычайно ярко видна у одного из самых одаренных поэтов эпохи эллинизма — Л е о н и д а Т а р е н т с к о г о (III в. до н. э.). Он был родом из Южной Италии (Великой

¹⁰ К. Н. Батюшков. Сочинения, М.—Л., 1934, стр. 183.

¹¹ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в одном томе. М., Гослитиздат, 1949, стр. 269 (Из Афенея).

Греции), но после завоевания Тарента римлянами в 272 г. до н. э. покинул Италию и до самой смерти вел скитальческую жизнь. Во время своих скитаний Леонид познакомился с бытом трудового народа — пастухов, рыбаков и ремесленников; это ярко отразилось не только на содержании, но и на языке его эпиграмм, наряду с присущей многим эллинистическим поэтам вычурностью и пышностью, отличающихся изобилием технических слов из речи тружеников, среди которых пришлось жить поэту.

Утомительная жизнь вечного странника заставляла Леонида мечтать о спокойном существовании, которое он считает верхом благополучия; он не стремится ни к роскоши, ни к богатству: поселившись в скромной хижине, он рад, «коли есть только соль да два хлеба ячменных» (АР, VI, 302). Свой скромный жизненный идеал он выражает так (АР, VII, 736):

Не подвергай себя, смертный, невзгодам скитальческой жизни,
Вечно один на другой переменяя края.
Не подвергайся невзгодам скитанья, хотя бы и пусто
Было жилище твое, скуп на тепло твой очаг,
Хоть бы и скуден был хлеб твой ячменный, мука не из важных,
Тесто месилось рукой в камне долбленом, хотя б
К хлебу за трапезой бедной единственной были приправой
Тмин да полей у тебя, да горьковатая соль.

(Перевод Л. В. Блуменау)

Леонид искренне жалеет бедняков и тружеников и посвящает им полные глубокого чувства эпитафии. Таковы его эпитафии рыбаку Ферида, пастуху Клитатору, ткачихе Платфиде, эпитафии зарытым при дороге (АР, VII, 295; 657; 726; 478; 480) и другие.

Несмотря на постоянные мысли о смерти, которыми полны его эпиграммы, мировоззрение Леонида нельзя назвать пессимистическим: смерть для него просто неизбежность и вместе с тем состояние полного покоя. В этом отношении он близок к Эпикуру, и корни его мирозерцания те же, что и у этого философа. Однако Леонид существенно отличается от Эпикура тем, что интересуется жизнью во всех ее проявлениях и отнюдь не уходит от нее; он откликается на военные события (см., например, эпиграммы АР, VI, 129 и 131), подшучивает над пьяницей-старухой Маронидой (АР, VII, 455), живо воспринимает произведения искусства (см. эпиграммы об «Афродите» Апеллеса и «Эроте» Праксителя — АР, XVI, 182 и 206).

Эпиграммы Леонида пользовались большим успехом в древности и в новое время не утратили своего обаяния. До нас дошло около сотни его эпиграмм, из которых многие переведены на русский язык.

В конце III — начале II вв. до н. э. в творчестве поэтов-эпиграмматистов заметно некоторое оживление интереса к политической жизни Эллады. Между двумя объединениями греческих государств — Ахейским и Этолийским союзами — происходит борьба за гегемонию в Греции. Эта борьба, как и войны между Македонией и Римом, отразились в эпиграмме. Наиболее выдающимся эпиграмматистом этого времени был поэт Алкей Мессенский, под именем которого сохранилось около двадцати эпиграмм. Но в дальнейшем развитии эпиграмматической поэзии общественно-политические мотивы опять замирают, а первенствующее значение снова получает личная тематика.

Крупнейшим представителем поздней эллинистической эпиграммы следует считать поэта Мелеагра, жившего в конце II и в начале I в.

до н. э. Родился Мелеагр в палестинском городе Гадарах, где получил хорошее образование, а затем жил в Тире, как и его современник — эпиграмматист Антипатр Сидонский. В молодости Мелеагр, как видно из его собственных слов (АР, VII, 417), писал сатиры, идя по стопам своего земляка, кинического философа Мениппа (III в. до н. э.). От этих юношеских сочинений Мелеагра ничего не сохранилось. После переселения в Тир поэт всецело обращается к иной тематике, которая была по душе и ему самому, и тому богатому и легкомысленному обществу, в каком ему приходилось завоевывать себе положение. Большая часть его эпиграмм, написанных в Тире, — игривого и любовного содержания. В этих произведениях он достигает высокого совершенства. При всей риторичности и изысканности языка Мелеагра, в его эпиграммах видно живое и глубокое чувство, которое особенно ярко проявляется в стихотворениях, обращенных к его рано умершей возлюбленной Гелиодоре.

Особо следует отметить автоэпитафии Мелеагра, в которых отразилось то огромное влияние, какое имела для Средиземноморья греческая культура, превратившая отдельные страны и народы, их населявшие, в единый эллинский мир. У передовых людей этого мира исчезает узкий и ограниченный национализм: они начинают сознавать себя гражданами того великого, не знающего никаких внешних пределов государства, идейным центром которого навсегда останутся утратившие всякое политическое значение Афины. Для всех приобщившихся к греческой культуре, — будь они греки, финикийцы или сирийцы, — кроме родной земли, есть одна общая родина — мир (по-гречески — *κόσμος*). И вот в одной из своих автоэпитафий Мелеагр говорит (АР, VII, 417):

Если сириец я, что же? Одна ведь у всех нас отчизна —
Мир, и Хаосом одним смертные мы рождены.

(Перевод Л. В. Блуменау)

А другую, обращенную к путнику, который пройдет мимо его могилы, заключает такими знаменательными словами (АР, VII, 419):

Если сириец ты, молви «салам»; коль рожден финикийцем,
Пронеси «аудонис»; «хайре» скажи, если грек.

(Перевод Л. В. Блуменау)

В старости Мелеагр переселился на остров Кос и занялся составлением сборника греческих эпиграмм, начиная с произведений древнейших греческих поэтов. Свой сборник он назвал «Венком», потому что он составлен из «цветов» разных поэтов: из роз Сафо, из лилий Аниты, из мирта Каллимаха и т. д. Вступительное стихотворение к этому сборнику (АР, IV 1) сохранилось. Вот его начало:

Милая муза, кому ты несешь плоды этой песни?
Кто из поэтов тебе песенный создал венок?
Это свершил Мелеагр и Диокла достойного память
Этим созданием своим благоговейно почтил,
Много влетя в него лилий Аниты, Мирó базиликов,
Мало Сапфических роз, но настоящих зато.
Вплел он нарцисс Меланиппида, гимнов исполненный звучных,
И Симонидовых лоз новый побег молодой...

(Перевод Ю. Ф. Шульца)



Афродита и Эрот. Глина. III в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

Свои собственные эпиграммы, включенные в эту антологию, Мелеагр называет «ранними левкоями».

В России эпиграммы Мелеагра давно обратили на себя внимание благодаря их высокому поэтическим достоинствам. Произведения Мелеагра перевели Д. Дашков, В. Печерин и другие. Сохранившееся под именем Мелеагра стихотворение «Весна» переведено было в 1825 г. Масальским и в 1898 г. В. Латышевым.

Младший современник Мелеагра Филодем, от которого дошло свыше тридцати стихотворений, в области эпиграммы знаменует переход к римскому периоду греческой литературы. Он, как и Мелеагр, был родом из Гадары, откуда переехал в Рим, где пользовался покровительством современника Цицерона — Луция Кальпурния Пизона, тестя Юлия Цезаря. Цицерон очень хвалит Филодема за образованность и поэтический вкус.

Филодем был последователем Эпикура, учение которого в его время получило большое распространение в Италии. Он был весьма плодовитым писателем; до нас дошли отрывки из его философских произведений, ценных главным образом тем, что среди них имеются фрагменты сочинений Эпикура. Следы эпикурейской философии можно найти и в эпиграммах Филодема (см., например, AP, XI, 31), но по большей части их тематика та же, что и у Мелеагра, т. е. прежде всего эротическая.

В эпиграммах греческих поэтов, живших в эпоху завоеваний римлян в бассейне Средиземного моря, содержание далеко не ограничивается темами, которые так явно преобладают в стихотворениях обоих сирийцев — Мелеагра и Филодема. Особенный интерес в эпиграммах этого периода представляют отклики на разорение Греции, которые видны уже у поэта II в. до н. э. Полистрата в его стихах на разрушение Коринфа римским полководцем Луцием Муммием в 146 г. до н. э. (AP, VII, 297). В эпиграммах более позднего времени мы находим много откликов на события, связанные с действиями римских войск в Греции. В этих стихотворениях глубокая скорбь об Элладе постоянно соединяется с прославлением подвигов римских императоров, оказавшихся мстителями за разрушение греками Трои, выходцами из которой, согласно легенде, были римляне. Сочетание этих двух мотивов видно у Криногора, Антипатра Фессалоникского, Алфея и других поэтов начального периода Империи. У позднейших авторов эпиграмм преклонение перед мощью Рима уже совсем заслоняет былой греческий патриотизм. К таким эпиграммам относятся стихотворения поэта I в. н. э. Леонида Александрийского, у которого это преклонение переходит уже в неприкрытую лесть.

Однако среди множества льстивых эпиграмм греческих поэтов встречаются и такие, в которых видны последние вспышки оскорбленного греческого патриотизма. Такова, например, эпиграмма неизвестного автора (AP, IX, 177), в которой под «фригийцем» разумеется потомок троянцев — римлянин, издевательски начинающий цитировать стих 727 из XV книги «Илиады»:

К холму Аянта придя бесстрашного, некий фригиец
 Стал, издеваясь над ним, дерзостно так говорить:
 «Сын Теламонов не выстоял...» — Он же воскликнул из гроба:
 «Выстоял!» — и убежал в страхе пред мертвым живой.

Ко второй половине I в. н. э. относится составление нового сборника эпиграмм поэтом Филиппом Фессалоникским. Самый сборник,

как и сборник Мелеагра, не сохранился, но ряд эпиграмм из него, несомненно, перенесен в более поздние антологии. К поэтам мелеагровского «Венка» Филипп прибавил еще много новых, начиная с Филодема. Благодаря Филиппу сохранились эпиграммы Антипатра Фессалоникского, Пармениона, Автомедонта и других греческих эпиграмматистов римского периода.

У эпиграмматистов начала новой эры заметна своего рода пессимистическая ирония, проявляющаяся в сравнении былого величия Греции с ее настоящим положением. Это хорошо видно по эпиграмме Автомедонта, жившего, вероятно, в конце I и в начале II в. н. э.; в этой эпиграмме поэт высмеивает легкость, с какою в римский период приобретались права афинского гражданства (АР, XI, 319):

Только угля десять мер принеси, и получишь гражданство,
А приведешь и свинью, будешь ты сам Триптолем.
Надо еще Гераклиду, советнику, дать лишь немного —
Или капусты кочан, ракушек, иль чечевиц.
Есть у тебя — так зовись Эрефеем, Кекропом иль Кодром,
Как предпочтешь. Никому дела до этого нет.

(Перевод Л. В. Блуменау)

В культурных центрах эпохи эллинизма и ранней римской Империи (особенно в Александрии египетской), наряду с крупными представителями литературы и науки, появляется множество мелких риториков, грамматиков, шарлатанов-врачей и тому подобного люда, живо охарактеризованного уже римским драматургом Плавтом (ок. 254—184 гг. до н. э.)¹². Нападки на эту «ученую моль» были одной из излюбленных тем сатирических эпиграмм, примером которых может служить одна из эпиграмм Антифана Македонского (поэта Филипповского сборника — АР, XI, 322):

О кропотливое племя грамматиков, роющих корни
Музы чужой, о семья жалких ученых молей!
Вы, что клеймите великих и носитесь вечно с Эриной,
Тошние, злые щенки из Каллимаховых свор.
Зло вы большое поэтам, а юным умам помраченье.
Прочь! Не кусайте, клопы, сладкоголосых певцов!

(Перевод Л. В. Блуменау)

Среди представителей античной сатирической эпиграммы видное место занимает Лукиллиий, современник римского мастера эпиграммы Марциала (ок. 40—104 гг. н. э.), очень близкий к нему по характеру своего дарования¹³. От Лукиллия дошло около 130 эпиграмм, почти сплошь сатирических; среди них эпиграммы на врачей, риториков и философов, на всевозможных шарлатанов и обманщиков как греков, так и римлян.

В более поздний период (конец IV — начало V в. н. э.) выделяется александрийский поэт Паллада. Полтораэта дошедших до нас эпиграмм Паллада отличаются высокими поэтическими достоинствами. Стихи его чрезвычайно изящны и правильны; содержание их проникнуто тонким и

¹² См. комедию «Куркулион», ст. 288 слл.

¹³ См. А. И. Малеин. Марциал. СПб., 1900, стр. 149—191.

грустным юмором. Все симпатии Паллада явно на стороне погибающего язычества, неизбежность конца которого он, однако, ясно сознает, что видно, например, из эпиграммы на статую Геракла, опрокинутую христианами (АР, IX, 441):

Медного Зевсова сына, которому прежде молились,
 Видел поверженным я на перекрестке путей
 И в изумленье сказал: «О трехлунный, защитник от бедствий,
 Непобедимый досель, в прахе лежишь ты теперь!»
 Ночью явился мне бог и в ответ произнес, улыбаясь:
 «Времени силу и мне, богу, пришлось испытать».

(Перевод Л. В. Блуменау)

Сатирические эпиграммы Паллада, в которых он высмеивает врачей, грамматиков, плохих актеров, живы и остроумны; очень характерна для него эпиграмма «На монахов» (АР, XI, 384); в ней хорошо видно презрение этого «последнего язычника» к новой религии:

Если зовутся они «одинокими», что ж их так много?
 Где одиночество тут, в этой огромной толпе?

(Перевод Л. В. Блуменау)

Наиболее известной является эпиграмма Паллада, взятая Проспером Мериме эпиграфом к рассказу «Кармен» (АР, XI, 381):

Женщина — горечь; но есть два добрых часа в ее жизни:
 Брачного ложа один, смертного ложа другой.

(Перевод Г. А. Рачинского)

Эпохой последнего расцвета греческой эпиграммы надо считать время Юстиниана Великого (VI в. н. э.), когда появилась целая плеяда талантливых поэтов-эпиграмматистов. Это прежде всего Юлиан Египетский, Македоний, Павел Силенциарий и Агафий Схоластик.

Юлиан Египетский, от которого сохранилось около 70 эпиграмм, не только разрабатывал в них традиционные мотивы, но отразил и современные ему события, например, связанные с известным восстанием «Ника».

Из стихотворений Македония осталось 44 эпиграммы (большей частью любовные), отличающиеся исключительным изяществом.

Из произведений Павла Силенциария, служившего при дворе Юстиниана в должности «блюстителя тишины и спокойствия», нам известно 80 эротических и описательных эпиграмм. И те и другие свидетельствуют о крупном даровании и мастерстве автора. Эпиграммы «На прибрежный сад», «На сады Юстиниана» и большое стихотворение «На пифийские горячие источники» отмечены тонким ощущением природы.

Около сотни эпиграмм, сохранившихся от Агафия Схоластика, замечательны совершенством формы; они не велики — большей частью по восьми—десяти стихов, — но очень ярки и законченны. Интересно характерное для этого поэта смешение языческих и христианских мотивов: мы находим у него и «Посвящение Афродите» (АР, VI, 80), и стихотворение «На изображение архангела Михаила» (АР, I, 34). Агафий был не только поэтом, но и историком; он написал историю царствования Юстиниана.

АНТОЛОГИЯ ГРЕЧЕСКИХ ЭПИГРАММ

Несколько тысяч дошедших до нас греческих эпиграмм сохранилось главным образом благодаря древним сборникам, или *антологиям*, первая из которых, как указано выше, была составлена поэтом Мелеагром, а вторая — Филиппом Фессалоникским. В VI в. н. э. Агафием Схоластиком был составлен третий сборник. Ни один из этих сборников до нас, однако, не дошел; сохранилась только четвертая антология, составленная в X в. н. э. Константином Кефалою. Кефала соединил в своем сборнике материал из трех первых антологий, а также из других источников, нам не известных. Всего в антологии Кефалы пятнадцать книг. Долгое время эта антология считалась утраченной, и только в 1606 г. французский филолог Клавдий Салмазий (Клод де Сомез) обнаружил ее в гейдельбергской Палатинской библиотеке; отсюда и пошло название этого сборника — Палатинская антология. Гейдельбергский список этой антологии датируется XI в. До открытия Салмазия была известна лишь антология византийского филолога, монаха Максима Плануда (1260—1310 гг.). Этот сборник — сокращенное издание (в семи книгах) антологии Кефалы; однако в нем имеются некоторые эпиграммы, которых нет у последнего. Антология Плануда впервые была напечатана под редакцией ученого византийца Иоанна Ласкариса в 1494 г. во Флоренции; в XVII в. она была переведена голландским ученым Гроцием на латинский язык.

Во время Тридцатилетней войны (в 1623 г.) антология Кефалы была отправлена в Рим; в 1797 г. французы увезли ее в Париж; после парижского мира в 1815 г. двенадцать книг этой антологии были возвращены в Гейдельберг, а последние ее книги (XIII—XV) остались в Париже.

Всего в Палатинской антологии 3696 эпиграмм, из которых 377 христианских (книги I и VIII). В печатных изданиях к Палатинской антологии добавляются еще 388 эпиграмм из антологии Плануда, которые составляют XVI книгу.

В издании Дюбнера и Куньи, вышедшем в Париже с латинским переводом эпиграмм, из разных источников было добавлено еще 2198 эпиграмм, составивших третий том этого прекрасного издания, законченного в 1890 г.¹⁴ Таким образом, в этом издании помещено 6282 эпиграммы. Следует отметить также пятитомное издание в переводе на английский язык, вышедшее в 1916—1918 гг. в коллекции Леба¹⁵; но эпиграмм, собранных в третьем томе парижского издания, в английском издании нет. В последние годы вышло четырехтомное издание шестнадцати книг антологии с немецким переводом¹⁶. Новое (немецкое) издание антологии греческих эпиграмм, начатое Штадтмюллером, остается незаконченным.

Первыми русскими переводами греческих эпиграмм размерами подлинника мы обязаны Д. В. Дашкову, в 1825 г. поместившему их в «Северных цветах» и «Полярной звезде». К тому же времени относятся и переводы Масальского («Весна» Мелеагра в «Полярной звезде» 1825 г.) и переводы «Отрывков из Антологии», помещенные в «Благонамеренном» за 1825 г. (№ 37 и 38) за подписью; «Н — Роз» и с датой: «Астрахань.

¹⁴ Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova. Instruxerunt Fred Dübner et Ed. Cougny. Graece et Latine. T. I—III.

¹⁵ The Greek Anthology with an English Translation by W. R. Paton. London, 1916—1918.

¹⁶ Anthologia Graeca, Büch. I—XVI, Griechisch — Deutsch, ed. Hermann Beckby. Bd. I—IV. München, 1957—1958.

27 августа 1825». За этими идут переводы, опубликованные в 30-х годах прошлого столетия В. С. Печериным; наряду с упомянутыми выше, они и до настоящего времени могут считаться превосходными. Таким образом, традиция переводов греческих эпиграмм размерами подлинника продолжается у нас уже более ста лет.

В 1935 г. вышел сборник переводов греческих эпиграмм (и некоторых других стихотворений) видного русского ученого-невропатолога Леонида Васильевича Блуменау (1862—1931)¹⁷. В России не было столь обширного и высокого по художественному уровню собрания переводов греческих эпиграмм на русский язык до выхода этой книги. В настоящее время этот сборник входит в состав нового издания — «Греческие эпиграммы», издаваемого Гослитиздатом. В этот последний сборник входит значительно больше переводов эпиграмм, чем в издании 1935 г.

¹⁷ «Греческие эпиграммы». Перевод, статья и примечания Л. В. Блуменау. Редакция и дополнения Ф. А. Петровского. М.—Л., «Academia», 1935.

ЭПОХА
РИМСКОГО
ВЛАДЫЧЕСТВА





ВВЕДЕНИЕ

Едва ли кто-нибудь из правителей эллинистических государств мог предполагать, что в течение сравнительно недолгого промежутка времени все их огромные и богатые владения окажутся во власти той незаметной италийской общины, которая еще в III в. до н. э. вела отчаянную борьбу с Пирром и с Карфагеном за свое существование. Шаг за шагом завоевывал Рим господствующее положение сперва в пределах самой Италии, потом в известном в ту пору круге земель, и когда, отразив угрозу Карфагена, Рим обратил свои взгляды на Восток, самой Греции и эллинизированным государствам диадохов пришлось все ближе соприкасаться с этим новым владыкой мира. Связь Рима с Грецией началась давно, еще в первые века республики; она отразилась и в начертаниях латинских букв, и в лексических заимствованиях, и в восприятии и трансформации греческих мифов.

Но по мере того, как под власть Рима переходила сперва Южная Италия, потом Сицилия — области старых греческих колоний, — потом вся материковая Греция и, наконец, весь эллинизированный Восток, эта связь становилась все теснее. Уже во II в. до н. э., после падения Македонской державы, множество образованных греков переселилось со своей разоренной родины в Рим; так, в числе греческих заложников попал в Рим историк Полибий, прославивший римский государственный строй; Гай Гракх учился у философа Блоссия; в I в. до н. э. риторика и грамматику преподавали в Риме исключительно греки (латинские риторические школы были закрыты после очень недолгого существования); Сципион Младший и его друзья стремились перенести в Рим все лучшее из греческой литературы и философии; римские ораторы ездили учиться в Афины и на Родос; Цицерон и Лукреций широко популяризовали греческую философию, а ряд важнейших фактов из римской истории стал известен благодаря греческим историкам — Аппиану, Диону Кассию, Плутарху и другим. Уже в начале II в. н. э. сатирик Ювенал с оттенком горечи говорит о том, что Рим стал греческим городом. Соотношение греческой и римской культуры и влияние Греции на Рим, столь решительно охарактеризованное Горацием в его известной сентенции

Греция, взятая в плен, победителей, диких пленила¹,
В Лаций суровый внеся искусства,

является вопросом очень сложным; сила этого влияния нередко преувеличивалась, а самобытность римской литературы в связи с этим недооценивалась. Но несомненно, что в процессе слияния обеих культур создавалась некая новая общая культура, в высшей степени интересная и своеобразная, в которой национальное происхождение как таковое и даже родной язык начинают играть все меньшую роль; так, Апулей (II в. н. э.), уроженец Мадавыры.

¹ Послания, II, 1. 156—157. Перевод Н. Г. Гинцбурга.

греко-римской колонии в Африке, называющий себя греком, пишет на латинском языке, так же как и чистокровный грек Аммиан Марцеллин (IV в. н. э.); напротив, римский сенатор Клавдий Элиан (III в. н. э.) и императоры Марк Аврелий (II в. н. э.) и Юлиан (IV в. н. э.) пишут по-гречески.

Однако трудности изучения культуры этой эпохи и отдельных отраслей ее — философии, искусства, литературы — не исчерпываются установлением соотношения элементов греческих и римских, так как в поток собственно «античной» культуры широкой волной вливаются струи, идущие с Переднего Востока и из Египта, уже давно вступивших на путь смешения народностей, языков и религий. Несмотря на то, что в последние десятилетия сделано много для раскрытия этих сложных соотношений между различными культурами (в чем большую заслугу надо признать за археологией), тем не менее до выяснения культурного облика древнего мира последних веков до н. э. и в особенности первых веков нашей эры еще очень далеко. Можно сказать только, что самой характерной чертой всей этой эпохи является широкий *синкретизм* во всех областях общественной и духовной жизни — в науке, философии, религии и культе, искусстве и не в последнюю очередь в литературе. Достаточно ознакомиться с биографиями большинства философов, ораторов, прозаиков и поэтов этой эпохи, чтобы увидеть, как мало среди них чистокровных греков и римлян и как широко представлены уроженцы Малой Азии, Египта, Сирии и даже далекого Понта.

И все же мы имеем право говорить об истории одной *древнегреческой литературы*, а не о литературе областей тогдашнего «круга земель»; произведения множества писателей различного национального происхождения, различных сословий и имущественного положения включаются в общий поток литературы и поддаются объединению в определенные роды и жанры; это объединение происходит не только по признаку общего им всем греческого языка — всем этим произведениям присущи сходные литературные цели и установки, общие характерные стилистические черты. Такое внутреннее единство самых разнообразных на первый взгляд произведений литературы является следствием той общей системы образования, которая, зародившись в Афинах еще в классическую эпоху, распространилась сперва по всему эллинизированному, а потом романизированному миру, — ее принято называть «риторической школой».

Термину «риторика» в большинстве случаев придается отрицательное значение; немало обвинений предъявлялось историками литературы и риторическому образованию вообще: риторика, говорят обычно, отучила людей думать и приучила их к многословию и пустословию, к погоне за изящной формой при ничтожности содержания; проникнув в поэзию, она заставила поэтов заменить искренность чувств и глубину мыслей блеском холодных высокопарных фраз. В этих обвинениях есть, конечно, доля правды, однако следует сказать хотя бы несколько слов в защиту риторического образования.

Во-первых, не риторика виновата в известном опустошении содержания философских систем, речей и произведений художественной литературы, а те социальные и политические условия римского государства, которые, постепенно ухудшаясь в процессе расшатывания рабовладельческого строя, и породили господство риторики, дав ей возможность играть все более важную роль в античном образованном обществе, постепенно терявшем почву под ногами.

Во-вторых, пресловутое «опустошение» литературы и ее «чисто формальный» характер в значительной мере преувеличены; в произведениях этой эпохи больше глубокого содержания, они теснее связаны с действи-

тельной жизнью и конкретными интересами своего времени, чем это кажется при поверхностном изучении.

В-третьих, благодаря именно «риторическим школам», их учителям и питомцам было сохранено (и впоследствии передано византийским ученым) огромное количество культурных ценностей предыдущих веков и создано немало новых. И, наконец, нельзя забывать и того, что сама система риторических школ просуществовала, порой перенося нападки и даже гонения, более семисот лет, что было бы невозможно, если бы она была искусственно выращена и лишена корней в общественной жизни эпохи.

Наряду с терминами «риторика», «риторическое образование», «риторическая школа», в истории литературы широко распространены термины «софистика» и «софист», тоже нередко употребляемые в отрицательном смысле, особенно когда речь идет о поздней эпохе античной литературы; при этом терминами «риторика» и «софистика» оперируют то как равнозначными, то как перекрещивающимися, то как различными по существу; необходимо вкратце разъяснить их соотношение, а также уточнить смысл и круг употребления самих терминов «софистика» и «софист».

Образование в риторической школе или индивидуальное обучение у какого-либо крупного учителя риторики было обязательным для того, чтобы сделать ораторские выступления своей специальностью; но цели получения такого образования могли быть различны; во-первых, можно было использовать его в различных сферах общественной деятельности — в суде, в городских или государственных советах, в речах, произносимых перед самими государями или представителями государственной власти; эта область использования риторического образования все более суживалась по мере укрепления бюрократической системы управления, но никогда не теряла своего значения окончательно. Иначе использовали свое образование те ораторы, которые выступали перед избранной публикой или перед широкими кругами слушателей, говоря на темы, не соприкасающиеся с практическими потребностями общественной жизни; такие выступления преследовали цель усладить слушателей и обеспечить заработок для исполнителя; именно такие профессионалы-ораторы и получают название софистов. Их выступления пользовались особенно широким успехом во II веке н. э., в период временной стабилизации римского государственного строя, во время так называемого «золотого века» Антонинов; III век с непрекращающимися политическими бурями — и внутренними, и внешними, — конечно, давал меньше возможности развлекаться таким неприложимым к делу ораторским искусством, но оно тем не менее никогда не погибало совсем и снова пышно расцвело в IV в., когда правление Константина и его преемников опять привело к некоторому временному затишью. Именно эти два периода и принято называть в истории литературы «второй» (или «новой») и «третьей» софистикой, причем особенно распространен первый из этих терминов, применяющийся ко II в. н. э. Однако этот термин прилагается обычно уже не только к самим публичным выступлениям софистов, а ко всему характеру, методам и приемам того искусства, которым они в совершенстве владеют; эти методы и приемы выходят за пределы чисто ораторских выступлений и завладевают теми литературными произведениями, которые предназначены только для чтения; поэтому термин «вторая софистика» употребляется и в расширенном смысле, охватывая всю литературу первых веков нашей эры.

Многие из профессиональных ораторов-софистов являлись в то же время писателями и преподавателями своего искусства; но наряду с ними существовало и великое множество никому не известных педагогов, которые

сами ничего не писали, нигде не выступали, а посвящали свою жизнь теоретическому изучению искусства речи; они не носили названия софиста, удовлетворяясь более скромным именем ротора.

Итак, понятия «риторика» и «софистика» друг с другом не совпадают: риторика — предмет изучения и обучения, софистика — название широкого литературного направления со всеми его характерными чертами и стилистическими приемами; ритор — преподаватель риторической школы, педагог не крупного масштаба; софист, — во-первых, публичный оратор, не преследующий практических (в узком смысле слова) целей, а во-вторых, представитель литературного направления — софистики.

Перейдем теперь к характеристике общественной роли роторов и софистов, а далее к очерку литературы данной эпохи, ее интересов и художественных приемов.

Прежде всего следует отметить, что между представителями так называемой древней софистики V в. до н. э., современниками Сократа, и софистами II в. н. э. при сходстве некоторых внешних признаков — о чем речь будет ниже — имеется коренное различие: для древних софистов типична тяга к научному исследованию; они стремились охватить точным знанием всю сложность бытия, ставили самые общие вопросы теории познания и в то же время создавали разнообразнейшие частные научные дисциплины. Этот пафос исследования, постановка и разрешение научных проблем у новых софистов не проявляются. Их интерес направлен главным образом на совершенствование словесного мастерства и ораторской техники, унаследованных от предыдущих поколений.

I в. н. э. был временем укрепления и всестороннего развития административной системы империи. Политическая стабилизация, осуществившаяся в конце века, выдвигает на первый план разнообразные культурные задачи, но уже в условиях римского владычества, и Греция вновь выступает как сила, которая способствует подъему культуры, благодаря старым традициям интеллектуального и художественного творчества.

В эту эпоху так называемого эллинского возрождения (II в. н. э.) вновь оживает противопоставление *риторики* и *философии*.

Как и прежде, между ними нет непреходимой грани: философы обычно владеют риторической культурой, риторы постоянно оперируют темами и понятиями, выработанными философией. Между тем под этими двумя наименованиями кроются разные типы восприятия мира и человеческого поведения. Философы I и II вв. н. э. независимо от принадлежности к той или иной школе сосредоточивают внимание на этических проблемах. Ставятся задачи личного усовершенствования, ведется проповедь пренебрежения к общепринятым социальным ценностям. Как некий идеальный принцип устанавливается необходимость строить свою жизнь, вплоть до внешнего облика и одежды, в соответствии с исповедуемым учением. Римским властям эти круги философов неоднократно представлялись в политическом отношении не вполне благонадежными. В I в. стоики еще не раз оказывались в оппозиции к императорскому режиму, подвергаясь изгнаниям и казням. В 93 г. Домициан изгнал философов из Рима и из Италии. И действительно, в недрах разнообразных философских школ зачастую таились семена республиканского свободомыслия и развивалось в известной мере критическое отношение к существующему социальному порядку; правда, это не выливалось ни в какие активные действия. Однако к концу II в. недоверчивое отношение к философии в значительной степени было преодолено: Марк Аврелий учреждает философские кафедры, которые должны были поддерживаться государством.

С другой стороны, и среди тех, кто причислял себя к риторам и софистам, подчас проявлялось весьма сдержанное отношение к Риму. Однако такие настроения обнаруживались лишь от случая к случаю. Господствующей и обязательной была иная точка зрения — восхваление Рима как повелителя и умиротворителя вселенной. Исходя из этого воззрения, произносятся свои речи бесчисленные софисты, скитающиеся по всем частям римской державы, и новая софистика пользуется всяческой поддержкой Рима. Ремесло софиста является весьма выгодной профессией, привлекающей множество адептов. В руках софистов оказывается школа, в которой риторика была основным предметом обучения; через их руки проходит почти вся молодежь высших классов, включая сыновей императоров. Более того, Марк Аврелий, уже став императором, учится у Гермогена; присутствие императоров и членов их семей на декламациях софистов было обычным делом. Но кроме педагогической деятельности, софисты получают также доступ к выгодным и высоким постам в городах и в императорской администрации; их выступления играют видную роль в сношениях городов между собою или с центральной властью.

Даже рядовые учителя риторики часто получают жалование из городской или государственной казны, а знаменитых ораторов осыпают всяческими почестями; народные собрания прославляют их особыми постановлениями и воздвигают им статуи при жизни. Все это создает впечатление художественной деятельности, одобряемой и поощряемой властями империи. В конце концов, софистическое красноречие оказывается одной из основных форм господствующей идеологии императорской эпохи. Государственные или семейные торжества обычно служили поводом для выступлений известных софистов; о них объявлялось заранее; причем в иных случаях многотысячные толпы народа заполняли театры или специально оборудованные залы. Особенно великолепно бывала обстановка этих выступлений, когда они происходили во время олимпийских или иных традиционных празднеств, а также при совершении пышных обрядов государственного культа.

Сам внешний облик софиста вполне гармонировал с общим стилем всего торжества. Как для философов этого времени традиционными сделались простая одежда и подчеркнутое пренебрежение к уходу за телом, так для выступающих софистов чем-то обязательным представлялись богатство одеяний и блеск украшений: рассчитан был каждый жест руки, каждый поворот головы, малейшее движение тела. Искусно поставленный голос опытного оратора позволял ему усилить впечатление богатыми и разнообразными модуляциями. Напевная манера исполнения прекрасно способствовала надлежащей подаче каждой фразы, ритмика которой была виртуозно разработана.

При таких условиях нет ничего удивительного в том, что незнание языка не служило препятствием для получения эстетического наслаждения. Любопытны с этой точки зрения слова Филострата об ораторских успехах прославленного софиста Фаворина: «Когда он выступал с речами в Риме, все было полно восхищения; ведь и для тех, кто не понимал греческого языка, слушание не было лишено удовольствия, так как и их он чаровал звучанием голоса, выразительностью взгляда и ритмичностью речи»².

Наиболее характерной чертой риторического образования являлся, таким образом, огромный интерес к языку и использованию его в первую очередь, конечно, в ораторской речи, а далее — в литературных произведе-

² Vitae soph., I, 4, 491.

ниях самых различных форм и жанров; сюда входят и всевозможные разновидности ораторских речей — от школьных упражнений до больших парадных декламаций и прозаических гимнов богам, — и риторические руководства, диалоги, симпозиумы, эпистолярная литература, сборники всякого рода полезных и занимательных сведений, новеллистика, романы и даже исторические и географические трактаты.

Чтобы проследить возникновение и развитие различных литературно-стилистических течений эпохи второй софистики, необходимо вернуться назад и несколько ближе познакомиться с азианизмом и аттицизмом — двумя господствующими направлениями, зародившимися еще несколькими веками ранее, в эпоху эллинизма, но приобретающими особое значение именно теперь.

После потери Грецией самостоятельности, в середине IV в. до н. э., роль ораторского искусства неминуемо должна была уменьшиться.

Уже первый оратор начала эллинистической эпохи Деметрий Фалерский, бывший одно время правителем Афин, ученик философа Теофраста, далеко уступает афинским ораторам лучших времен: его речь приятна, но в ней нет пафоса, которого, очевидно, не было не только в его темпераменте, но и в современной ему общественной жизни. По словам Цицерона³, он выступал на политической арене, как бы выйдя из кабинета Теофраста, а не из военной палатки.

Мало-помалу по мере проникновения эллинизма на Восток искусство красноречия распространяется на острова Архипелага и в Азию и там неизбежно подвергается местным влияниям. Именно это направление получает название азианского красноречия, или азианизма. Островная и мало-азиатская публика была менее образованной, чем афинская. Поэтому в новой обстановке красноречие начинает чуждаться философии. Как для новых ораторов, так и для их слушателей, становится затруднительной сложная периодическая речь, столь внушительная, например, у Демосфена. Новые ораторы предпочитают короткие фразы, по возможности симметрически расположенные (в чем нельзя не видеть влияния еще Горгиевой манеры), обращают большое внимание на внешние звуковые эффекты речи, особенно на окончания ее частей (клаузулы). Внешняя красота речи достигалась также широким употреблением антитезы, которая была особенно эффектна в слоге отрывистом, как бы рубленом, в коротких предложениях. В речи такого рода большое значение приобретают ритм и чисто музыкальные эффекты повышения и понижения голоса. Параллельные ритмические звенья ораторского периода нередко получают выразительные концовки в виде ассонансов или даже рифмующихся заключительных частей. Большое внимание уделяется эффектам словесной инструментовки. Благодаря такому арсеналу средств художественного воздействия речь софиста завораживала слушателей.

Ритмичность предполагает также произнесение речи нараспев, и, по словам Цицерона⁴, азианские риторы любили «завывать» (*ululanti voce*). В угоду ритму азианисты допускают неестественную расстановку слов и вставные слова, ненужные для смысла.

Азианское направление отразилось не только на способе произнесения речи и на грамматической стороне литературных произведений, но и на их лексике и фразеологии. Забота о ритмическом построении предложений и о клаузулах уже сама по себе приближает эту речь к поэтической. Но азианское красноречие вообще широко черпало украшения из поэтического

³ Prutus, 37.

⁴ Orator, 27.

стиля: его представители любят смелые метафоры и сравнения, им нравится цветистость и высокопарность.

Заметна также манерность в употреблении описательных выражений вместо точных и простых слов. К этому присоединялась игра значениями слов. Большую роль играли также заостренные и меткие афоризмы.

Родоначальником азианизма считают Гегесия из Магнесии (около 300 г. до н. э.), от сочинений которого сохранилось лишь несколько фрагментов.

Азианский стиль не ограничивался одним ораторским искусством: проникнув в литературу, он захватил даже такую, казалось бы, серьезную область ее, как историография; им писал, например, сицилийский историк Тимей (которого часто порицает Полибий за его неточности в изложении истории Рима).

Уже во II в. до н. э. азианизм встретил сильную оппозицию со стороны некоторых грамматиков и писателей — так называемых аттикистов, которые требовали возврата к стилю афинских ораторов и писателей классических времен, хотя староаттический язык был уже далек от позднего греческого языка — койнэ. Главный теоретик этого направления — Дионисий Галикарнасский, живший после 30 г. до н. э. в Риме. Воспроизвести аттическую речь в точности ему, однако, не удалось.

Особую силу приобретает аттицизм именно в эпоху второй софистики, во II в. н. э.

Любовное отношение к прошлому, которое сказывается с такою силой в литературной деятельности софистов, находит особенно ясное выражение в этом культе чистой аттической речи. Она рассматривается как важнейшее орудие для овладения наследием прежних веков (в абсолютном превосходстве и величии которого в это время твердо убеждены), а иногда и так некая самоцель.

Идеалом словесного творчества аттикистов становится *μίμησις τῶν ἀρχαίων* (подражание древним) — возможно более точное воспроизведение литературных форм многовековой давности, имитация языка, некогда бывшего живым, но к этому времени звучавшего уже причудливой архаикой.

Образцовыми авторами, служащими предметом для подражания, для аттикистов являются Фукидид и десять канонических ораторов Аттики, в первую очередь Демосфен и Исократ.

Борьба между приверженцами азианского и аттического красноречия, начавшаяся во II в. до н. э., периодически обостряясь, продолжается до самого падения Римской империи. Так, аттикисты упрекают азианских ораторов не только в том, что они готовы были подчас жертвовать смыслом в угоду звучанию, но иной раз не считались и с правилами грамматики и риторики: азианские ораторы, напротив, осуждали аттикистов за бесцветность и сухость речей. Однако не следует представлять себе эти два течения строго разобщенными, — они нередко сливались и даже чередовались друг с другом в одних и тех же школах; существовали и промежуточные направления, например так называемое родосское (I в. до н. э.), главой которого был Молон, учитель Цицерона. Также и во II в. н. э. принадлежность к тому или другому направлению не исключала связи между самими ораторами и писателями; так, оратор Полемон, стоявший близко к азианизму, был уважаемым учителем Герода Аттика, ярого аттикиста.

Итак, азианский и аттический стиль с своими различными оттенками являются теми основными формами, в которых могут излагаться произведения самых разнообразных жанров, разрабатывающие столь же разнообразные темы. Тематика поздней греческой литературы, в особенности все

ораторское искусство времени второй софистики, обычно подвергается столь же резким нападкам со стороны историков литературы, как и риторическое образование вообще,— и нередко столь же несправедливо; конечно, при тех ограниченных возможностях для выступлений на широкой общественной арене, которые предоставлялись ораторам в римской империи, красноречие невольно должно было порой превращаться в «искусство для искусства»,— однако оно никогда не теряло полностью связи с действительной жизнью. Нередко откликаются софисты и на современные им события — стихийные бедствия, победы и поражения войск; нередко речи, как бы заменяя лирику, приобретают характер более интимный, — личные воспоминания и чувства оратора нарушают объективное изложение. Кроме того, следует заметить, что подлинных судебных речей эпохи второй софистики мы почти не имеем; до нас дошли по большей части школьные упражнения, задуманные как часть фиктивных судебных процессов, а также ряд энидиктических речей по самым разнообразным поводам. Особо должны быть отмечены «вступительные слова» перед большими публичными выступлениями, часто представляющие собой законченные ораторские миниатюры.

Больше всего принято насмехаться над речами, в которых подвергаются обсуждению, иногда в чрезвычайно патетическом тоне, события VI—IV вв. до н. э., воскрешающие героическое прошлое классической Греции, однако нельзя ругаться за то, что и эти речи не вызывали у слушателей живого чувства возмущения или восторга; хотя любая политическая оппозиция была невозможна, нельзя было заставить людей забыть величие прежней эллинской культуры. И когда толпы народа, затаив дыхание, внимали речам софистов, снова и снова вызывавших тени Марафона, Саламина, Левктры, Херонеи, для громадной части аудитории эти образы оставались живыми.

Несомненно, чистым ораторским фокусом являются те шуточно-парадоксальные речи, которые посвящены восхвалению различных предметов, никакой похвалы не заслуживающих, вроде «Похвалы мухе», «Похвалы лысине» и т. п. Большинство их до нас не дошло, и сохранились только названия; главным образом именно эти речи и послужили материалом для насмешек над софистами поздней Греции.

Нам пришлось несколько дольше задержаться на характеристике ораторского искусства, поскольку течения азианизма и аттицизма нашли воплощение в первую очередь именно в нем. Однако не следует думать, что только этот жанр является господствующим в греческой литературе в эпоху римского владычества; напротив, эта литература очень богата, но она имеет особый характер, отличающий ее и от литературы классической Греции, и от произведений эпохи эллинизма. Первое, что бросается в глаза, это малое количество чисто поэтических произведений; жанры лирики и драмы угасли; кроме нескольких незначительных стихотворений поэта начала II в. н. э. Месомеда и религиозно-философских гимнов, принадлежащих в большинстве случаев уже христианским поэтам, никаких лирических стихотворений до нас не дошло; единственная поздняя драма, тоже на христианскую тему («Христос страдающий»), является чисто подражательной.

Значительно богаче эпическое творчество; ряд эпических поэм, отчасти тоже подражательного характера, включает в себе множество интересных мотивов, которые, — даже если они заимствованы из классической поэзии, — разработаны совершенно по-новому. Продолжает существовать и порой пышно расцветает жанр эпиграммы, создается морализующая басня.

За счет ослабления поэтического творчества разрастаются прозаические жанры художественной литературы. До нас дошло несколько «романов», дающих местами интереснейшие бытовые картины и являющихся первыми образцами приключенческих и фантастических фабульных повествований. Жанр сатирического диалога и рассказа достиг высокого совершенства в произведениях Лукиана.

Наконец, именно в эту эпоху подлинно художественным жанром становится эпистолография. Возникает и интересный жанр смешанного характера — нечто среднее между хрестоматийным сборником занимательных рассказов и энциклопедией.

Научная литература тоже стоит высоко: историки, географы и перипететы, грамматисты, комментаторы и лексикографы первых веков нашей эры до сих пор полностью не исследованы, не говоря уже об огромной литературе чисто философского содержания, частично соприкасающейся и с литературой художественной.

Вся эта богатая литература, охватывающая столько родов и жанров, создавалась в течение почти семисот лет — от падения македонской державы до того момента, когда рухнула Западная Римская империя, а Восточная стала постепенно преобразовываться в Византийскую монархию. Конечно, нельзя представить себе, чтобы в течение такого долгого промежутка времени она не развивалась и не изменяла направления своих интересов, хотя, как было сказано выше, она всегда сохраняла известное внутреннее единство.

Периодизацией поздней греческой литературы, наиболее соответствующей историческим фактам, можно считать деление на три периода, характеризующиеся достаточно заметным изменением интересов и тематики.

Первый период охватывает около 150 лет (от покорения материковой Греции в 168 г. до начала I в. н. э.). Литература этого отрезка времени, если можно так выразиться, «научнообразна»; интерес ее направлен на историю, географию, философию; в это время выдвигаются крупные ученые — Полибий, Страбон, Дионисий Галикарнасский, Посидоний; конечно, многие произведения писателей этого времени до нас не дошли, но тому, чем мы располагаем, присущ характер серьезного исследования.

Вторым периодом можно считать три первые века нашей эры; в это время можно наблюдать некоторое ослабление научных интересов, усиление внимания к языку и литературной форме. Хотя интерес к истории по-прежнему очень велик, в сочинениях историков этого периода (Арриан, Аппиан, Дион Кассий, Плутарх и другие) мы уже не находим той глубины исторического анализа, которая отличает труд Полибия; вместе с тем зарождается стремление к «энциклопедизму», вернее, к собиранию небольших рассказов о разных занимательных событиях, необыкновенных случаях из жизни людей и животных (такие сборники иногда получают название анекдотов, в буквальном переводе — неизданное, неописанное), к накоплению фактов без анализа их; при постепенном сужении общественных интересов растет (как и в литературе эллинизма) интерес к индивидуальным переживаниям, отражающийся в широком развитии повествовательной литературы и эпистолографии; философия тоже преимущественно посвящает себя совершенствованию личности, а неудовлетворенность городской культурой возрождает то стремление к опрощению, к жизни на лоне природы, которое проявлялось уже в дни расцвета эллинистических монархий.

Наконец, третий период охватывает IV и V вв. н. э. В эту эпоху в литературу вливается совершенно новая мощная струя — христианская апологетика и догматика; однако литература языческого мира не только не

сдается сразу, но переживает свой последний расцвет в блестящем ораторском искусстве третьей софистики и даже в подъеме поэтического творчества. Научные интересы, напротив, отходят, как и в эпоху эллинизма, в специальные области точных наук (как, например, медицина). Наибольшие изменения происходят в философии; в последней великой системе, созданной язычеством, — в неоплатонизме — она, сближаясь с культурами и религиозными учениями Востока, воспринимает в себя элементы мистической веры и порой как бы переходит в языческую проповедь.

Конечно, полную картину литературы IV—V вв. можно представить себе только в том случае, если наряду с изучением творчества языческих писателей подвергнуть такому же тщательному анализу произведения христианских апологетов и церковных деятелей; знакомство лишь с языческой ветвью литературы неминуемо суживает наше представление о последних веках существования древнегреческой литературы; тем не менее такое ограничение вполне правомерно, поскольку мы говорим об истории античной литературы. Произведения христианских писателей — как анонимные раннехристианские сочинения («Пастырь Гермы», апокрифы и др.), так и огромные труды создателей церковной организации на Востоке и Западе — уже не античная литература в полном смысле этого слова; они сосуществуют с ней, пользуются ее языком, а в IV в. также в известной степени ее литературными формами и приемами; и тем не менее они чужды античной литературе, так как исходят из других предпосылок и преследуют другие цели. Хотя слишком общие характеристики всегда рискованны, но, если решиться дать такую характеристику античной литературе, можно сказать следующее: античная литература стремится, с одной стороны, к познанию, с другой — к созданию красоты; обе эти цели чужды литературе христианской: в основу всякого познания она кладет веру, наслаждение красотой чего бы то ни было своей целью вообще не ставит, а прилагает усилия к перестройке мира и человеческой личности. Поэтому христианская литература является в такой же мере современницей античной, в какой ребенок является современником старца: античная литература кончает свой путь и собирает жатву, христианская — начинает его и производит посев; а что из этого посева вырастет впоследствии не то, чего ожидали и желали церковные деятели, подобные ученикам Либания, Василию и Григорию, — это относится уже к истории христианской церкви, ее вероучения в Византии и на Западе, не имея ничего общего с античной литературой.

Именно исходя из этих соображений, мы не касаемся в данной книге ни раннехристианских сочинений, ни трудов так называемых «отцов церкви», как ни близки они по литературной форме к произведениям последних языческих писателей.

Как литература эпохи эллинизма, которой посвящен I раздел этого тома, так и литература эпохи римского владычества, с которой нам предстоит познакомиться, имеют и положительные, и отрицательные стороны. Но и та, и другая являются естественным порождением и верным отражением своей эпохи; их следует принимать и расценивать не по сравнению с классической литературой предыдущих веков, а как явление самобытное, имеющее собственную историческую и художественную ценность.



Глава VII

НАУЧНАЯ ПРОЗА II—I ВВ. ДО Н. Э.

1. Полибий.— 2. Диодор Сицилийский.— 3. Дионисий Галикарнасский.—
4. Цецилий.— 5. Псевдо-Лонгин.— 6. Страбон.

1. ПОЛИБИЙ

Полибий (ок. 200—120 года до н. э.) прожил долгую, деятельную и плодотворную жизнь. На его глазах совершились два крупных исторических события — завоевание Греции Римом и Третья Пуническая война, закончившаяся полным покорением Карфагена. Полибий не был сторонним наблюдателем этих событий, он участвовал в них как военный специалист и государственный деятель; это сильно повлияло на понимание им истории и на его труд.

Полибий был родом из Мегалополя в Аркадии. Судьба его родного города была очень своеобразна; этот город не был ни одним из древних греческих городов, основанных в незапамятные времена, ни колонией, естественно возникшей при эмиграции некоторой части населения метрополии; он был основан в 371 г. до н. э. волей одного человека, знаменитого беотийского полководца Эпаминонда для угрозы соседней Спарте. Место было выбрано удачно, а политические условия содействовали быстрому росту и усилению города после того, как Афины и Спарта перестали играть ведущую роль в греческой политике. В Ахейском союзе Мегалополь имел большое значение.

Отец Полибия Ликорт был стратегом Ахейского союза, личным другом Филопемена, и его сыну, который с детства отличался блестящими способностями, предстояла такая же государственно-военная карьера. Уже в юношеском возрасте он принимал участие в государственной жизни; ему было дано почетное поручение перевезти прах Филопемена в Мегалополь, а еще не достигнув 30-летнего возраста, с которого законом разрешалось занимать государственные должности, он уже был послан в качестве дипломата к александрийскому двору (181 г.). Если бы не разразилась война между Римом и македонским царем Персеем, то Полибий, вероятно, посвятил бы свою жизнь делам Ахейского союза; но когда Персей был побежден, римляне потребовали в качестве заложников 1000 греков из семей, которые играли видную роль в местной политике и могли быть для них опасны; в их числе оказался Полибий.

В Риме судьба Полибия сложилась благоприятно: он вступил в дружеские отношения с Эмилием Павлом и стал учителем молодого Сципиона Эмилиана, который чрезвычайно привязался к нему (Полибий сопровождал его в путешествиях и испанских походах); даже после того, как в 150 г.

Полибий был отпущен на родину, он два раза приезжал в Рим и был вместе со Сципионом Эмилианом во время Третьей Пунической войны. Свою близость к правящим кругам Рима он не раз использовал для ходатайств по различным греческим делам, достиг большой известности и был почтен обычным для Греции способом — постановкой портретных статуй на площади родного города и других городов Греции; постамент одной из них с надписью дошел до нас. Павсаний пишет о нем:

«На площади Мегалополя, позади ограды, посвященной Зевсу Ликийскому, стоит вырезанное на стеле рельефное изображение знаменитого мужа, Полибия, сына Ликорта; вырезана на ней и надпись стихами в эллигическом размере, гласящая, что он много блуждал и по суше и по морю, что он стал союзником римлян и что ему удалось успокоить их гнев на Элладу. Этот Полибий написал историю римлян и, между прочим, описал, как они вступили в войну с карфагенянами, какая была причина этой войны и как в конце концов не без великих опасностей римляне победили, выбрав себе в полководцы Сципиона, которого они называют Карфагенским; он положил конец этой войне и разрушил Карфаген до основания. Говорят, когда римский полководец выполнял советы Полибия, у него все шло хорошо, когда же он не слушался его указаний, он делал ошибки. Те эллинские города, которые входили в Ахейский союз, получили от римлян разрешение, чтобы Полибий устроил их государственное правление и написал для них законы»¹.

Полибий умер в глубокой старости, упав с коня. До последних лет жизни он продолжал принимать живое участие в государственных делах.

Кроме «Истории в 40 книгах», Полибий, как он сам указывает в этом сочинении (IX, 20, 4), написал книгу по военной тактике и биографию полководца Ахейского союза Филолемена (X, 21, 5), но эти произведения до нас не дошли.

«История» Полибия охватывает сравнительно небольшой период — около 70 лет — и излагает главным образом те события, очевидцем и участником которых он был. В первых двух книгах Полибий дает обзор событий, предшествовавших интересующему его периоду, но главное внимание сосредоточивает на времени между 230 и 168 гг. до н. э. Во время пребывания в Риме Полибий, по-видимому, написал первые 30 книг, заканчивающиеся 168 г.; уже вернувшись на родину, он добавил описание событий с 168 до 146 г.

Из «Истории» Полибия до нас дошли полностью только первые пять книг; книги VI—XVIII дошли в значительных и довольно связанных извлечениях; от остальных сохранились только отрывки и извлечения, сделанные византийскими компиляторами; среди этих отрывков есть чрезвычайно интересные, так что общее представление о работе Полибия мы все же имеем.

Труд Полибия пользовался большим уважением как при его жизни — он имел большой успех в Риме, — так и во все последующие времена; «Спорить с Полибием почетно», — говорит Страбон². Добросовестным писателем, «надежным, заслуживающим величайшего доверия» называют его Цицерон³ и Ливий⁴. Подробные и ясные фактические сведения, которые дает Полибий, очень ценны и важны в первую очередь для историка. С точки зрения истории литературы особенно интересен его подход к историческим событиям, метод освещения их и способ изложения.

¹ Павсаний. «Описание Эллады», XXX, 4.

² «География», I, 2, 1.

³ De off., III, 32, 113.

⁴ XXX, 45, 5.

Из всех предыдущих историков Полибий больше всего похож на Фукидида. Их объединяет серьезное, вдумчивое отношение к наблюдаемым и описываемым событиям, желание проникнуть в причины их и нелюбовь к ненужным прикрасам изложения.

«Задача историка,— пишет Полибий,— состоит не в том, чтобы рассказом о чудесных предметах наводить ужас на читателей [возможно, намек на отца истории Геродота.— М. Г.], не в том, чтобы излагать правдоподобные рассказы и в изображаемых событиях отмечать все побочные обстоятельства, как поступают писатели трагедий, но в том, чтобы точно сообщить только то, что было сделано или сказано в действительности, как бы обыкновенно оно ни было»⁵ (II, 56). «Подобно тому, как существо живое делается ни к чему негодным, раз у него отнято зрение, так вся история обращается в бесполезное разглагольствование, раз она лишена истины» (I, 14).

Итак, по мнению Полибия, цель истории — не доставлять удовольствие, а быть полезной. В чем именно состоит эта польза, Полибий определяет совершенно ясно: «Ни один здравомыслящий человек не ведет войны с соседями только ради того, чтобы одолеть в борьбе своих противников, никто не выходит в море только для того, чтобы переплыть его, никто не усваивает себе наук и искусств только из любви к знанию. Напротив, все и всеми делается только ради удовольствия, почета или выгод, доставляемых теми или иными действиями» (III, 4). Уже из этих слов видно, что Полибий ищет в истории практического руководства: «Если изъять из истории то, что может научить нас, то от нее останется ничего не стоящее и совсем бесполезное» (XII, 25). «Изучение минувших событий во всех подробностях и в их истинном значении может дать руководящие указания относительно будущего» (XII, 25). «Сближая положения, сходные с теми, которые мы сами переживаем, мы получаем опору для предвосхищения и предвидения будущего и можем или воздержаться от известных деяний из осторожности или, напротив, идя по стопам предшественников, смелее встретить опасность» (XII, 25). Причем под «руководящими указаниями» Полибий понимает не общие моральные истины и сентенции; история, по его мнению, полезна не для отдельного человека как личности, а для государственного деятеля: «Многие на разные лады излагали генеалогии, мифы, историю колоний, а также родство имен и основание городов... Мы оставили в стороне подобные предметы и избрали для себя тот вид истории, который занимается судьбами государств. ...Этот вид истории наиболее полезен; таким он был раньше, таков он особенно теперь, когда, благодаря достигнутому в наше время успехам в точных знаниях и искусствах, человек любознательный имеет возможность как бы подчинять все, что от времени до времени случается, определенным правилам. Вот почему, преследуя не столько забаву любителей чтения, сколько пользу серьезного читателя, мы оставили все прочее в стороне и отделились нашей задачей» (IX, 2). Таким образом, Полибий совершенно точно формулирует идею «законов истории».

По его мнению, эти законы можно установить, не просто рассказывая и описывая события, а анализируя их причины. Именно в попытке установить ясную причинную связь между историческими событиями и заключается главная заслуга Полибия, за которую его принято называть «отцом прагматической истории». Нельзя сказать, что Полибию всюду удавалось выполнить поставленную им самим задачу, нередко он сам сбивается на простое последовательное изложение событий; однако не следует забывать,

⁵ Полибий цитируется в переводе М. Е. Мищенко.

что большая часть сочинения Полибия дошла до нас в извлечениях, а те, кто делал их, по всей вероятности, нередко опускали именно те объяснения внутренней связи событий, которые ценил автор и которые были бы особенно интересны для нас. Впрочем, и для самого Полибия поставленная им задача была, конечно, невыполнима. Несомненным достоинством является то, что он сумел поставить ее и выразить в следующих определенных словах: «Голый рассказ о случившемся забавляет читателя, но пользы не приносит ему вовсе; чтение истории становится полезным, если в рассказе выяснены и причины событий» (XII, 25).

В связи с таким серьезным отношением к занятиям историей Полибий многого требует от историка, прежде всего не абстрактной начитанности в трудах предшественников (некоторой пользы ее он, правда, не отрицает), а живого знания государственной жизни и ее практических отраслей. «Правда, весьма полезно вникать в предшествующие исторические сочинения, чтобы познакомиться с понятиями древних и их представлениями о некоторых странах, городах, государствах и мероприятиях, чтобы понять также превратности судьбы, раньше испытанные тем или другим государством» (XII, 25). Однако не эта книжная начитанность важна историку: «Невозможно описать правильно военные события, если не имеешь никакого понятия о военном деле, равно как не может писать о государственном устройстве человек, сам не участвовавший в государственной жизни и в государственных делах» (XII, 25). Будучи сам воином и знатоком военного дела, Полибий очень строго относится к историкам, которые берутся описывать сражения, не имея понятия о том, как они происходят. Из того, скольких историков критикует Полибий, видно, что, не считая начитанность главным требованием, предъявляемым к историку, он сам вполне отвечал этому требованию. Так, например, он следующим образом критикует Эфора: «В военном деле он, как мне кажется, имеет некоторое понятие о морских сражениях, но совершенно несведущ в сражениях сухопутных. Поэтому, если внимательно прочитать его описание морских сражений подле Кипра и Книда, ...то придешь в изумление от дарования и опытности писателя и вынесешь много полезных сведений. Наоборот, когда Эфор повествует о битве фивян и лакедемонян при Левктрах или при Мантинее, ...то Эфор предстанет перед нами совершенно несведущим человеком, до смешного незнакомым с ходом таких сражений» (XII, 25). Еще резче он выражается о Тимее, который даже там, где «приближается к истине, напоминает живописцев, пишущих картины с набитых чучел» (XII, 25 h).

Однако Полибий отнюдь не требует от историка знания только одного военного дела; он считает, что необходимо хорошо разбираться и в экономическом положении государств, о которых он берется писать. Сурово критикуя Филарха (III в. до н. э.), автора истории Эллады, в частности истории Пелопоннеса с 272 по 219 г., Полибий говорит: «В его утверждениях каждый прежде всего поражается непониманию и незнанию общеизвестных предметов — состояния и богатства эллинских государств, а историкам это должно быть известно прежде всего» (II, 62). Это чрезвычайно важное положение свидетельствует о глубоком понимании Полибием задач истории.

Все эти ясно осознанные и сформулированные общие положения Полибий пытается приложить к истории своего времени; но так как применение принципа значительно труднее его теоретического понимания, он, конечно, не может ни полностью осознать причин событий, в которых участвовал, ни следовать тому принципу строго объективного изложения, которого он требует от других. То обстоятельство, что Полибий попал в Рим молодым человеком и близко стоял к вершителям судеб республики Сципионам, нало-

жило печать на все его произведение: он ставит своей задачей объяснить, «каким образом, когда и почему все известные части земли попали под власть римлян» (III, 1). Римская республика во времена Полибия действительно была на вершине своего могущества, и Полибий как практический государственный деятель и воин не мог не поражаться ее успехам; но, увлеченный ее военной мощью, он не видел внутреннего процесса разложения, разъедавшего систему римского государственного строя, которым он так восхищался. Стоя далеко от внутривосточных дел Рима, он не заметил движения, которое вспыхнуло еще во время его жизни, при Гракхах, а всего через 20—30 лет после его смерти привело к борьбе Марии и Суллы. Он считает римский государственный строй наиболее удачным соединением трех основных форм правления — монархии, аристократии и демократии, еще не выродившихся в тиранию, олигархию и охлократию, и отдает ему преимущество даже перед очень уважаемым им законодательством Ликурга на том основании, что «в устройении родного города римляне поставили себе ту же самую цель, только достигали ее не путем рассуждений, а многочисленными войнами и трудами, причем полезное познавали и усваивали каждый раз в самих превратностях судьбы» (VI, 10). Естественно, что такое государственное устройство, возникшее на основе практического опыта, Полибий ценит выше, чем системы отдельных законодателей. В дальнейшем он совершенно верно доказывает, что законы Ликурга годились только для маленького государства, которое обходилось железными деньгами и «ежегодным сбором плодов», а что, выйдя на более широкую историческую дорогу, спартанцы «были вынуждены обивать пороги у персов, налагать дань на островитян» (VI, 49), потому что, «следуя законам Ликурга, они не были в силах не только господствовать над эллинами, но и управляться со своими делами» (VI, 49). Однако, ясно видя экономические причины крушения Спарты, Полибий не заметил аналогичных явлений в мощном организме Рима.

Не вполне удастся Полибию достичь и той полной беспристрастности, какой он требует от историка. Даже излагая это требование, он до некоторой степени противоречит самому себе, внося в изложение событий моральную оценку: «В историческом повествовании необходимо отрешиться от деятелей и лишь к самым действиям их прилагать соответствующие мнения и суждения» (I, 14). Однако оценка действий тоже индивидуальна. Полибий сам невольно подчеркивает это, говоря: «Тому, кто берет на себя задачу историка, необходимо... широко превозносить и украшать своих врагов величайшими похвалами и беспощадно осуждать ближайших друзей своих, когда требуют того ошибки в их поведении... Поэтому же самому мы не должны непременно обличать друзей или восхвалять врагов; не следует смущаться тем, если одних и тех же людей приходится раз порицать, другой раз хвалить, ибо невозможно, чтобы люди, занятые государственными делами, были всегда непогрешимыми, равно как неправдоподобно и то, чтобы они постоянно заблуждались» (I, 14). На каком основании приходится историку «восхвалять и порицать», Полибий не говорит, но самое допущение похвалы и порицания есть отступление от изложения «только того, что было действительно». Однако из контекста видно, на каком основании можно судить о людях, «занятых государственными делами» — по результатам их деятельности для их государства; и хотя в той же 14 главе I книги Полибий осуждает историков Филина и Фабия за то, что один написал историю пунических войн с карфагенской, а другой — с римской точки зрения, и иронически замечает: «Мне кажется, с ними случилось нечто подобное тому, что бывает с людьми влюбленными» (I, 14), но с самим Полибием

случилось, естественно, то же; это выразилось, во-первых в его преклонении перед Римом, а во-вторых, — что много менее заметно, но более объяснимо, — в его рассказе об Ахейском союзе и о роли родного ему Мегалополя в Клеоменовой войне. Нелюбимого им историка Филарха, врага Ахейского союза, он упрекает в том, что «о великодушии, которое проявили мегалопольцы в это время, он не упоминает вовсе, как будто исчисление преступлений важнее для истории, чем сообщение о благородных и справедливых действиях» (II, 61). И далее, изменяя своему обычному сухому тону изложения, он пишет похвальный гимн своей родине: «Действительно, если мы считаем доблестными тех, которые предприняли войну за друзей и союзников только на словах и в постановлениях, если мы наделяем не одними похвалами, но самыми щедрыми дарами людей, претерпевших опустошение полей и осаду своего города, то каково должно быть мнение наше о мегалопольцах? Разумеется, самое высокое и самое лестное. В начале они предоставили свою страну в жертву Клеомену, потом совершенно лишились отечества из расположения к ахеянам, наконец в то время, когда неожиданно и необычайно им явилась возможность получить обратно родину невредимую, они предпочли потерять поля, гробницы, святыни, родной город, имущество, словом все, что составляет насущнейшее достояние людей, лишь бы не нарушить верности союзникам. Есть ли и может ли быть что-нибудь прекраснее? На чем другом с большей пользою может остановить историк внимание своих читателей? Каким другим деянием он может успешнее побудить людей к соблюдению верности и к заключению союзов с государствами честными и стойкими?» (II, 61). Из этого совершенно несвойственного Полибию патетического потока слов видно, насколько трудно, даже невозможно, для историка самому выполнять то предписание, которое дает Полибий: «В обыденной жизни... пристрастие, быть может, не заслуживает осуждения, ибо человек честный обязан любить своих друзей и свое отечество, разделять их ненависть и любовь к врагам их и друзьям. Напротив, тому, кто берет на себя задачу историка, надо забыть все это...» (I, 14). Это преувеличенное требование Полибий сам опроверг и своим сочинением, и своей жизнью — он остался честным человеком и стал честным историком.

Произведение, написанное так серьезно, с таким широким охватом событий и глубоким пониманием истории, является крупным литературным произведением; поэтому те критические замечания, которые обычно делаются в историях литературы относительно чисто литературных недостатков Полибия, касаются, собственно говоря, исключительно внешней формы изложения. Язык Полибия, практического деятеля, — не стиль ратора — атиккиста или азианиста; это общегреческий язык, на котором в его время говорили и писали то, что имело значение для текущего дня; оттого в его языке много новообразований. Построение фраз — правильное и четкое, лишенное всяких украшений.

Относительно литературных приемов Полибия нельзя высказать окончательного суждения ввиду неполноты наших знаний о нем; так, например, мы не уверены, не встречались ли в его книге более широкие характеристики деятелей, чем те, которые дошли до нас, — очень сжатые, но не лишенные выразительности. Напротив, совершенно ясно, что Полибий откажется от обычной манеры античных историков заставлять своих героев произносить речи. Он настолько отрицательно относится к этому приему, что нигде не прибегает к нему и резко его осуждает, исходя при этом из очень верных литературных соображений: «В редких только случаях допускается, — пишет он, — произнесение всех речей, требуемых обстоятель-

ствами дела; обыкновенно же краткие речи касаются лишь отдельных обстоятельств события; потом, наше время требует одних речей, прошлое требовало других: одни речи приличествуют этолянам, другие пелопоннесцам, третьи — афинянам... Необходимо, чтобы каждая речь согласовалась с характером говорящего и с обстоятельствами... Но без всякого повода уклоняться в сторону и нагромождать в речах все, что только можно сказать о данном предмете, как поступает Тимей, изобретатель речей всевозможного содержания, — это противно истине, ребячески глупо и прилично разве школьнику...» (XII, 25).

Это положение Полибий приводит на всем протяжении своей книги; сдержанный, деловой, несколько суховатый, но чрезвычайно умный писатель, он остается верным своей мысли, что «доискиваться причин гораздо труднее, чем сочинять речи по книжкам» (XII, 25).

Продолжателем Полибия был философ-стоик Посидоний⁶, обширный труд которого «История после Полибия в 52 книгах» послужил главным источником для Диодора Сицилийского и некоторых других историков. Полибий был последним крупным греческим историком, литературная деятельность которого относится к республиканскому периоду Рима; следующий за ним Диодор принадлежит уже к эпохе принципата Августа.

2. ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИЙ

Диодор — современник Юлия Цезаря и Августа. Он сам сообщает некоторые биографические сведения о себе (I, 4). Родился Диодор в сицилийском городе Агирии; в точности время его рождения и смерти неизвестно. Долгое время он жил в Риме; объездил, если верить ему, большую часть Азии и Европы; между 60 и 57 гг. до н. э. был в Египте.

Свой обширный труд, озаглавленный «Историческая библиотека в 40 книгах», Диодор составил во второй половине I в. до н. э.: в I книге он упоминает об Юлии Цезаре как о причисленном к сонму богов; следовательно, она написана не ранее 44—43 гг.; а в XIV книге говорит о событии, относящемся к 21 г. до н. э. (основание колонии в Тавромении). Но, разумеется, такое огромное сочинение требовало большой подготовительной работы и Диодор в самом начале с гордостью упоминает, что он употребил на свой труд 30 лет. «Библиотека» обнимала историю Востока, Греции и Рима от мифических времен до завоевания Галлии Цезарем большей частью в параллельном, синхронистическом обозрении. Из нее дошли до нас в целом виде (если не считать некоторых небольших дефектов) книги I—V и XI—XX, т. е. половина первой декады и вся вторая декада. От остальных книг сохранились лишь извлечения и фрагменты.

Таким образом, в изложении Диодора мы имеем, во-первых, историю Греции от похода Ксеркса до конца фиванской гегемонии (книга XI—XV), во-вторых, историю Филиппа Македонского (вся XVI книга), Александра (вся XVII), диадохов (XVIII), сицилийских тиранов (XIX—XX).

В книгах I—III содержится мифология и история восточных народов (в том числе и африканских), в книге IV — греческая мифология, в V говорится об островах в Средиземном море и в Океане — о Британии, Галатии, Иберии, Лигистике (Лигурии), Тиррении. Диодор имел в виду составить всемирную историю. Повторяя космополитические воззрения стоиков, он во вступлении (I, 1 ссл.) говорит, что все люди суть члены одной и той же общины или государства, между собою близкие по родству, хотя и отде-

⁶ О Посидонии см. главу XV настоящего тома.

ленные пространством и временем; что всемирные историки, которые стремятся соединить всех людей в один и тот же строй и собрать прошедшие события в одном общем обозрении, служат как бы сотрудниками божественного провидения, которое управляет миром — видимыми звездами и людьми — как одним организованным целым, держа его постоянно в круговращении и уделяя каждому, что определено судьбою. Но, хотя Диодор имел в виду создать всемирную историю, в дошедших до нас книгах, начиная с XI, на первом месте все же стоит история греческая, затем история Македонии и эллинистических государств; лишь в не дошедших до нас книгах, начиная с XXIII, на первый план выступает Рим.

Диодор чрезвычайно высокого мнения о призвании историков, о той пользе, которую они приносят. «Люди, — говорит он, — должны быть им благодарны, так как они своими честными трудами служат общему благу» (I, 1)⁷. Вслед за Полибием он повторяет, что «из рассказов о чужих опытах можно безопасным путем научиться тому, что хорошо» (I, 1). Он утверждает, что нет ничего полезнее истории. «История побуждает к подвигам надеждою на славу и бессмертное имя» (I, 1); она поощряет к добродетели, дурных порицая, хороших восхваляя. Диодор называет историю «блестительницею доблести достославных», «свидетельницею негодности ничтожных», «благодетельницею всего рода человеческого», «провозвестницею истины», «метрополией всей философии» (I, 2). Диодор «почувствовал призвание» (I, 4) взяться за всемирную историю. Он решил собрать сведения о событиях всего мира и изложить их как историю одного государства с возможной полнотой. По словам Диодора, к задуманному предприятию побуждала его любовь к такой работе, а всемирное владычество Рима, простершееся до крайних пределов земли, облегчило его осуществление (I, 4). Итак, взгляд Диодора на историю и историков — возвышенный, но им не проникнут весь его труд. Программа и задача Диодора обширны, можно сказать, грандиозны, но они не соответствовали его способностям, как следует выполнить их он был не в силах. Диодор не обладал ни опытностью государственного деятеля или полководца, ни широким историческим кругозором, ни критическим талантом. Его всемирная история — это огромная компиляция, «агрегат эксцерптов», это действительно «библиотека», в которой собраны эксцерпты из исторических сочинений и размещены в хронологическом порядке.

Диодор с видимою гордостью говорит, что он объездил большую часть Европы и Азии, побывал в Египте, но источником для египетской истории ему служили не столько собственные исследования и наблюдения, сколько сочинения Манефона, египетского жреца III в. до н. э., написавшего «Историю Египта», и в особенности Гекатея из Абдеры или Теоса, автора «Египетской истории», жившего при дворе Птолемея I в IV—III вв. Диодор заявляет, что благодаря частым сношениям с римлянами он приобрел хорошее знание латинского языка, но на деле это знание оказывается далеко не удовлетворительным.

Хронологии Диодор придавал большое значение: он распределяет события по олимпиадам, архонтствам и консульствам; точные хронологические даты очень важны, но в его хронологии много путаницы. Объясняется это, во-первых, тем, что события, длившиеся многие годы, Диодор приурочивает к одному какому-либо году; во-вторых, тем, что начала годов олимпиад, архонтств и консульств не совпадали между собою. Таким образом, Диодор иногда соединяет события многих лет под одним годом, а

⁷ Диодор цитируется в переводе С. И. Соболевского.

иногда, наоборот, об одном и том же событии говорит два раза под разными годами или в разных местах. Так, об анархии, или правлении Тридцати в Афинах говорится частью под 404—403 гг., частью под 401—400 гг. Иногда путаница в хронологии объясняется тем, что различные версии об одном и том же факте он принимал за разные события. Диодор пытался разобраться в этой хронологической путанице, но в большинстве случаев эти попытки были тщетны.

Особенности Диодора как историка особенно обнаруживаются в его отношении к источникам. Долго господствовало убеждение, что едва ли не единственным источником греческой истории у Диодора был Эфор. По этому воззрению, у Диодора (книги XI—XV) мы имеем в сущности изложение Эфора, хотя и несколько сокращенное; Диодор является просто переписчиком. Такой взгляд высказывался главным образом Х. Фольквардзеном в конце шестидесятых годов прошлого века, и это мнение было принято как своего рода аксиома. В ту пору вообще господствовала теория «единого источника»: предполагали, что древние авторы, подобные Диодору и Плутарху, клали в основу изложения известного отдела лишь один какой-нибудь труд, дословно списывая его и не комбинируя с другими источниками.

Эта теория оказалась ошибочной.

Новые исследования показали, что состав Диодорова труда несколько сложнее. Защитники Диодора в свою очередь заходят слишком далеко, стараясь подчеркнуть его обширное образование, начитанность и самостоятельность. Если Эфор был не единственным, то, несомненно, главным источником Диодора при изложении греческой истории до 361 г. Для хронологии он пользуется «Хроникой» Аполлодора. Он использует также Геродота и Фукидида. Есть и следы влияния Феопомпа. В истории Сицилии он часто использует Тимея. В изложении более позднего периода римской истории он следует главным образом Полибию и Посидонию. Его зависимость от них велика. Особенно сказывается подражание Полибию в заимствовании сведений и отдельных выражений, в делении сочинения на 40 книг, в словах о трудностях исследования, о личном ознакомлении с местами действий, о пользе истории. Подобно Полибию Диодор находится под некоторым влиянием стоиков; в этом направлении на него влиял, по-видимому, Посидоний.

Выбор источников в общем удачен. Но относится к ним Диодор без всякой критики и чрезвычайно небрежно.

Когда он следует стоикам, он верит предзнаменованиям и предсказаниям; когда перед ним автор-рационалист, он относится к ним скептически. Иногда Диодор дословно воспроизводит свой источник, не пропуская даже ссылок и выражений, которые там были понятны и уместны, но у него оказываются бессмысленными. Так, воспроизводя одно свидетельство источника, он повторяет и его ссылку на предыдущее (*πρὸς ἑξήκοντα* — мы сказали выше — III, 41); в источнике такая ссылка была вполне уместна, так как раньше было соответствующее упоминание, а у Диодора такого упоминания нигде не было. Он повторяет слова Посидония о продолжающихся «до наших времен», дружественных отношений между эдуями и Римом, что для времени Диодора является нелепым, и др.

И все-таки, несмотря на все недостатки, «Историческая библиотека» очень важна. При изучении древней истории без Диодора почти нельзя обойтись. Его источники по большей части хороши. Его труд до некоторой степени заменяет утраченные большие сочинения, например историю Эфора. О некоторых трудах мы знаем только благодаря Диодору.

«Библиотека» Диодора особенно важна для истории Сицилии и для истории Эллады с конца V в.: тут она служит необходимым дополнением к «Истории Греции» Ксенофонта и во многих случаях исправляет последнего. Далее, мы находим у него связный рассказ об эпохе Филиппа, об Александре и о войнах его преемников. Благодаря Диодору мы имеем список афинских архонтов за большой промежуток времени, и его хронология, несмотря на всю ее путаницу, представляет немалый интерес. Стиль Диодора не отличается художественными достоинствами. Фотий называет его стиль ясным, неукрашенным, наиболее подходящим для истории; в нем нет элементов чрезмерного аттицизма или архаизма, но нет и элементов современного ему просторечия. Стиль простой, чуждый риторики. Но в то же время видна забота о правильности языка; хотя Диодор заимствует материал у разных авторов, язык он перерабатывает на свой лад.

3. ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ

Влияние южноиталийских и сицилийских греков на римскую культуру, начавшееся еще во времена доисторические, с III в. до н. э. распространяется и на римскую литературу. Среди римлян появляется стремление к эллинизму. У современников Катона (234—149 гг. до н. э.) это стремление было уже так велико, что даже сам Катон, относившийся враждебно к грекам, в конце своей жизни должен был приняться за изучение греческих авторов. После разрушения Коринфа (146 г.) и гибели греческой свободы греки толпами пошли искать счастья в «столице мира».

Таким образом, знание греческого языка и греческая цивилизация стали распространяться во все более и более широких кругах.

Одним из греков, переселившихся в Италию при императоре Августе, был Дионисий Галикарнасский, автор многочисленных сочинений по риторике, литературной критике и истории.

О жизни Дионисия известно лишь то, что он сам сообщает в своей «Древней истории Рима». Он, уроженец города Галикарнасса, сын Александра, приехал в Италию в то время, когда гражданская война была окончена императором Августом, в середине 187-й олимпиады, и с этого времени прожил в Риме 22 года (до того года, когда он писал эти строки в своей «Истории»). В это время он изучал латинский язык, знакомился с национальными документами (*граммата*), занимался материалами, имеющими отношение к его теме (истории Рима), получал устную информацию от учнейших людей, с которыми общался, и делал извлечения из сочинений римских историков. Такими историками был Порций Катон, Фабий Пиктор, Валерий Анциат, Лициний Макр и другие. Только после этого он принялся за свою «Историю» («История», I, 7).

Двадцать два года, о которых говорит Дионисий, с 30 по 8 г. до н. э.), составляют средние годы его жизни. Год его рождения на основании этого определяют приблизительно: если предположить, что он приехал в Рим лет двадцати пяти, то надо считать, что он родился около 55 г. до н. э. Но, конечно, это предположение совершенно произвольное: он мог приехать в Рим и в возрасте около 30, 40, 50 лет, и тогда соответственно отодвигается и год его рождения. Год смерти Дионисия также неизвестен: он окончил свою «Историю» в 8 г. до н. э. и после этого сам сделал извлечение из нее. Следовательно, он умер не раньше, чем через несколько лет после 8 года до н. э., но через сколько именно, определить невозможно.

Помимо этого его собственного свидетельства имеется только упоминание Страбона⁸ о том, что Дионисий был его современником, и коротенькая заметка в словаре Свида.

Каково было социальное положение Дионисия в Риме, можно до некоторой степени судить по его риторическим сочинениям. Он был преподавателем риторики, но едва ли имел свою школу, а скорее занимался преподаванием в домах богатых римлян. Так, в сочинении «О расположении слов» он говорит Мелетию Руфу, что подробности он сообщает ему «на ежедневных уроках» (XX).

Свои риторические сочинения он составляет в форме писем, адресованных кому-либо из римлян или из греков, живших в Риме,— его покровителей, литературных друзей, учеников. Но лица эти по другим источникам нам не известны, трудно даже определить их национальность. Так, в числе их находятся Квинт Элий Туберон, которому он посвятил свой трактат «О Фукидиде», Мелетий Руф — молодой человек, которому он посвятил трактат «О расположении слов» и отца которого он называет своим высокочтимым другом; Гней Помпей Гемин — может быть, вольноотпущенник знаменитого Помпея; Аммей, к которому адресованы два письма и трактаты «О древних ораторах» и «Об удивительной силе красноречия Демосфена»⁹.

Но замечательно то, что в сочинениях Дионисия нет ни малейшего упоминания, ни хотя бы следа знакомства с сочинениями римских авторов, даже современных ему: так, в риторических сочинениях не видно знакомства с риторическими сочинениями Цицерона, который погиб всего за 13 лет до приезда Дионисия в Италию; с «Поэтическим искусством» Горация; в его «Истории» нет следов знакомства с «Историей» Ливия, который писал ее в то же самое время, когда Дионисий свою, и с «Энеидой» Вергилия, написанной также во время пребывания Дионисия в Риме, хотя в «Энеиде» излагается мифический период римской истории, которым занимался Дионисий. Римские писатели, современные Дионисию, например Ливий, также не упоминают о нем и ничего не заимствуют из его сочинений. Надо полагать, что круг знакомств Дионисия был совершенно другой и что он никакой известностью в Риме не пользовался.

Сочинения Дионисия разделяются на две группы: риторические (как они называются по традиции) и исторические.

В первой группе есть сочинения собственно риторические и сочинения по литературной критике.

По риторической технике Дионисий писал очень мало. Приписываемое ему сочинение «Риторика» Дионисию не принадлежит (может быть, в нем есть отдельные части, принадлежащие Дионисию). К этому же разряду чисто риторических сочинений относится его несохранившееся сочинение «О фигурах», о котором он сам упоминает и которое было известно Квинтилиану. В сочинении «О расположении слов», которое дошло до нас, многое относится к литературной критике. Остальные его риторические работы, известные нам, относятся к литературной критике.

Определить время их написания невозможно за неимением данных; можно только определить хронологическую последовательность дошедших до нас риторических сочинений (главным образом на основании того, что в одном сочинении упоминается другое); впрочем и эта последовательность

⁸ «География», XIV, 656.

⁹ В двух этих трактатах Дионисий обращается в Аммею с эпитетом *κράτιστε*, который обыкновенно употребляется при обращении к лицу высокопоставленному. Поэтому можно предположить, что Аммей был каким-то важным лицом.

разными учеными определяется не всегда одинаково. Вот список риторических произведений в наиболее вероятном хронологическом порядке:

1. «Письмо к Аммею».
2. «О расположении слов».
3. «О древних ораторах» (Лисий, Исократ, Исей).
4. «Об удивительной силе красноречия Демосфена».
5. «О подражании», книги I и II.
6. «Письмо к Гнею Помпею».
7. «О подражании», книга III.
8. «О Динархе».
9. «О Фукидиде».
10. «Второе письмо к Аммею».

Исходной точкой всех этих литературно-эстетических трактатов является борьба с азианизмом в литературе и желание вернуть красноречие к аттицизму. На азианский стиль Дионисий смотрит как на падение истинного красноречия и очень ярко описывает процесс этого падения в начале трактата «О древних ораторах» (гл. 1).

«Справедливость требует воздать великую благодарность нашему времени как за то, что некоторые другие искусства поставлены теперь лучше, чем прежде, так в особенности за то, что изучение гражданского красноречия сделало не малый прогресс. Во времена, предшествующие нашему времени, древнее, философское¹⁰ красноречие, попираемое, терпя страшные оскорбления, шло к гибели. Начиная со смерти Александра Македонского оно стало постепенно хиреть, увядать, а в наш век едва-едва не исчезло окончательно. На его место пришло другое красноречие, невыносимое по своему театральному [показному] бесстыдству, разнузданное, незнакомое ни с философией, ни с какой-либо другой гуманитарной наукой. Незаметно обманув невежественную толпу, оно не только жило в большем благоденствии, роскоши и блеске, чем то другое, но и захватило почетные должности и управление городами, что должно было бы принадлежать философскому красноречию. Оно было крайне вульгарно, скучно, и, наконец, довело Элладу до такого положения, что она стала похожа на дома жалких развратников: подобно тому, как в их домах благородная, целомудренная супруга сидит, не имея возможности распоряжаться своим добром, а какая-нибудь безумная любовница, явившаяся, чтоб отравлять ей жизнь, считает себя в праве хозяйничать над всем имуществом, ни во что не ставя и запугивая законную жену, подобно этому во всяком городе, — и нисколько не меньше в городах высококультурных (что является крайним бедствием) — аттическая Муза, древняя, рожденная в этой стране, лишенной своего достоинства, приняла позорный вид. Между тем, вчера лишь пришедшая из каких-то трущоб Азии Муза, какая-то Мисийская или Фригийская, или какая-то гадость Карийская, считала себя в праве управлять эллинскими городами, отогнав от общественных дел ту, другую, невежественная — философскую, сумасшедшая — разумную»¹¹.

Но «аттическая Муза» умолкла, как говорит Дионисий, после смерти Александра Македонского (323 г.), точнее, со смертью Демосфена и Гиперида (322 г.), т. е. за 300 лет до времени Дионисия. За это время изменились ораторские приемы, изменился и аттический язык. Каким же образом можно было воскресить аттицизм? Для этого было единственное сред-

¹⁰ Под словом «философский» Дионисий разумеет «теоретический», понятие «научный» употребляется в противоположность понятию «эмпирический», основанный только на практике.

¹¹ Дионисий Галикарнасский цитируется в переводе С. И. Соболевского.

ство — подражать древним аттическим писателям. Вопросу о том, как это делать, и посвящены почти все литературно-критические сочинения Дионисия; нужно было выяснить, в чем заключается подражание, каким именно аттическим авторам следует подражать, как следует подражать. Для всего этого нужно было дать критическую оценку аттическим писателям (главным образом ораторам), указать на их хорошие и дурные в стилистическом отношении стороны, определить, какие речи подлинные и какие подложные. Всеми этими вопросами и занимается Дионисий в риторических трактатах.

Дело аттицистов было трудное. Надо было изучить язык и стиль аттических писателей, живших 300—400 лет назад. Чтобы понять трудность этого, надо представить себе наше положение, если бы нам пришлось писать языком и стилем XV—XVII столетий¹².

Дело аттицистов усложнилось еще тем, что возрождающийся аттицизм уже с самого начала разделился на большое число сект, каждая из которых выбирала себе для подражания одного из древних аттических авторов; так, одни выбирали себе образцом Фукидида, другие Платона, иные Исократ, Лисия, Гиперида, Демосфена. Что всего хуже, ревностные почитатели одного аттического автора иногда с ненавистью относились к другим аттическим авторам. Дионисий был страстным поклонником Демосфена. «Нет никого,— говорит Дионисий,— кто не считал бы ораторскую силу Демосфена самой совершенной из всех» («Об Исее», 20).

Демосфену он посвящает восторженный гимн: «Когда я беру в руки какую-нибудь речь Демосфена, я прихожу в экстаз, разные чувства влекут меня то туда, то сюда и сменяются во мне: я чувствую недоверие, беспокойство, страх, презрение, ненависть, сострадание, благожелательность, гнев, зависть,— во мне сменяются все чувства, какие владеют человеческим сердцем; мне кажется, что я несколько не отличаюсь от людей, посвящаемых в таинства Великой Матери богов и корибантов и тому подобные таинства... Если нас, отделенных от него таким огромным пространством времени и не имеющих никакого отношения к тогдашним событиям, он так увлекает, так властвует над нами, и мы идем, куда нас ведет его речь, то какое впечатление должен был он производить на афинян и прочих эллинов во время подлинных состязаний, касавшихся их лично, когда он сам произносил свои речи с тем достоинством, которым он обладал, высказывая свои чувства и уверенность души» («Об удивительной силе красноречия Демосфена», 22).

Поворот к аттицизму Дионисий приписывает Риму: «Причиной и началом такой великой перемены, по моему мнению, и был Рим, владыка всех, заставлявший все города обращать к нему свои взоры, и в нем — влиятельные лица, управлявшие республикой добродетельно и превосходно,

¹² Стремление аттицистов писать (и говорить) на языке, уже мертвом для них, пренебрегая языком живым, нам кажется нелепым. Этот педантизм и в то время не мог не возбудить протестов. Так (несколько позднее), знаменитый врач II в. н. э. Гален, один из противников этого направления, смеется над правилами аттицистов, «занимающихся проклятою этой „лженаукой“», которые хотят называть капусту аттическим словом $\alpha\phi\alpha$, вместо $\chi\rho\acute{\alpha}\nu\theta$ как она называлась в «общем» языке его времени, «как будто это афиняне разговаривают с греками, жившими 300 лет тому назад, а не с теперешними». Однако несмотря на протесты учение аттицистов получило силу закона для всех последующих веков; этой силы оно не потеряло даже в настоящее время, так как и у теперешних образованных греков литературный язык совсем не похож на язык живой, народный, а заключает в себе много аттических элементов. Но велика и сила живого языка; при всех стараниях писать на вполне чистом аттическом языке никому из аттицистов это не удавалось: все невольно примешивали и слова, и формы, и конструкции из современного им живого языка. Это мы видим и у самого Дионисия.

люди высокообразованные, обладавшие хорошим вкусом» («О древних ораторах», 3).

Дионисий, по-видимому, пользовался авторитетом как критик; к нему обращались за разрешением сомнений по разным вопросам, касающимся литературного достоинства разных аттических писателей; по этому ли или по другим поводам Дионисий высказывал свои мнения в литературно-критических трактатах.

В общем история азианизма и аттицизма ко времени прибытия Дионисия в Рим представляется в следующем виде. Риторика эллинистического периода (в III—II вв. до н. э.) подобно современной ей поэзии стремилась к оригинальности и вычурности. Однако около середины II в. до н. э. в риторических школах началась реакция против этого направления; этот стиль стал казаться варварским, азиатским, явилось желание вернуться к древнему аттическому стилю. Целью этого было подражание языку и стилю древних аттиков.

Когда римляне почувствовали стремление к греческому образованию и стали учиться красноречию у греческих раторов, эта тенденция перешла и в Рим. Хотя знаменитый римский оратор I в. Квинт Гортензий был представителем азиатского красноречия, он должен был уступить пальму первенства Цицерону, который уже был проникнут стремлением к аттицизму. Младшее поколение римских ораторов (Марк Брут, Марк Калпурний Писсон, Гай Лициний Кальпурний, Гай Асinius Поллион) было уже вполне на стороне аттицизма и стремилось подражать не только общим свойствам аттических ораторов, но даже индивидуальным особенностям того или другого из них. Так, например, Кальпурний был почитателем Лисия, Асinius Поллион — Фукидида.

Римлянам гораздо легче было усвоить это направление: грекам того времени было не легко писать и говорить языком, на котором 300—400 лет назад говорили их предки, тогда как римлянам, писавшим на своем родном языке, было гораздо легче подражать простоте стиля древних аттиков, вероятно, даже легче, чем вычурному стилю азиатского красноречия.

Вот в каком положении был этот вопрос в Риме, когда туда приехал Дионисий. Таким образом, он не был основоположником аттицизма в Риме и вполне правильно приписывал Риму главную роль в распространении этого направления.

Вот краткое содержание отдельных трактатов Дионисия¹³.

Сочинение «О подражании» в трех книгах, от которого сохранились лишь фрагменты, адресовано к некоему Деметрию. Дионисий много раз упоминает о нем в других сочинениях. Содержание трактата он излагает в «Письме к Помпею» (3): «Первая книга содержит самое исследование о подражании; вторая о том, кому следует подражать — каким поэтам, философам, историкам, ораторам; третья о том, как следует подражать, до сих пор не окончена». От первой книги сохранилось всего несколько строк; от второй сохранилось предисловие и два ряда суждений. Одни из этих суждений Дионисий цитирует в подлинном виде в «Письме к Помпею» — это суждение о Геродоте, Фукидиде, Ксенофонте и Феопомпе, т. е. о главных историках. Другие суждения дошли до нас в сокращенном (неизвестно кем) виде.

Квинтилиан, составляя X главу своей I книги, имел полный текст Дионисия, близко следовал ему и иногда переводил. От третьей книги не сохранилось ничего.

Сочинение «О древних ораторах», посвященное Аммею, имеет целью

¹³ Изложены они не в хронологическом порядке, а по сходству тем.

указать древних ораторов, которым следует подражать. Оно начинается предисловием, где излагается история аттицизма. Выше приведены выдержки из него. В главной части Дионисий выбирает шесть ораторов¹⁴ и делит их на две группы: ораторы старшего поколения — Лисий, Исократ, Исей — и ораторы младшего поколения — Демосфен, Гиперид, Эсхин. До нас дошло его рассуждение только о первой группе; рассуждение о второй группе было написано, но не сохранилось¹⁵. Сохранившиеся три статьи составлены по одинаковому плану; краткая биография оратора, характеристика его с формальной стороны (отличительные черты его стиля — *σλεκτικός χαρακτήρ*), характеристика его с реальной стороны, рассмотрение способа обработки отдельных частей — *ὁπαραγματικός χαρακτήρ*, наконец, цитирование отрывков в доказательство высказанных суждений. Статья о Лисии особенно интересна для оценки критического чутья и вкуса Дионисия.

«Об удивительной силе красноречия Демосфена», — пожалуй, лучшее из критических сочинений Дионисия. Выше из него приведен восторженный отзыв Дионисия о Демосфене. В науке не решен вопрос о том, самостоятельное ли это сочинение или часть второй половины труда «О древних ораторах». Оно посвящено тому же Аммею, но по плану резко отличается от статей о Лисии, Исократе и Исее. Оно делится на три части: в первой части (гл. 1—34) Дионисий говорит о том, что Демосфен превосходит всех бывших до него прозаиков и достиг высшей точки человеческого искусства в красноречии. Во второй части (гл. 30—52) автор указывает на превосходство Демосфена специально в искусстве расположения слов (любимая тема Дионисия); между прочим, в этой части он делит расположение слов (не стиль!) на три рода: суровое, избегающее всяких украшений (*ἀστυρά*); гладкое, имеющее много украшений (*γλαφυρά*); смешанное или среднее (*μείσθη*). В третьей части (гл. 53—54) Дионисий указывает на превосходство Демосфена также в искусстве произнесения речи и жестикюляции. В конце трактата (гл. 55—58) автор опровергает некоторые «клеветы» против стиля Демосфена со стороны Эскина и некоторых других. По словам Дионисия (гл. 8), «Демосфен не захотел подражать никакому одному стилю или человеку; видя, что все [прежние ораторы.— С. С.] остановились на середине и не довели дело до конца, он выбирал из всех их самые лучшие и самые полезные элементы, соединял их в одну ткань и образовывал один язык из многих. Его стиль похож на баснословного Протея у древних поэтов». Доказывая превосходство Демосфена над прежними писателями, Дионисий сравнивал его с Фукидидом и с Платоном: язык Платона (гл. 5), по его мнению, необыкновенно приятен, когда он пишет просто, но, когда он имеет неумеренное стремление к изысканному способу выражения, что делает часто, то становится гораздо хуже самого себя. Такое же приблизительно суждение о стиле Платона он высказывает в главе 29. В главе 32 Дионисий также очень ясно высказывает мнение о ничтожности риторического стиля.

«Письмо к Гнею Помпею» — ответ на письмо Помпея, в котором он выразил свое недовольство по поводу неблагоприятного отзыва Дионисия о стиле Платона, высказанного в трактате о Демосфене. Дионисий в свое оправдание говорит, что он не имел в виду писать похвальное слово Платону, а хотел сравнить его стиль со стилем Демосфена и потому должен был коснуться и слабых сторон его. Для примера он приводит несколько

¹⁴ Об известной нам декаде аттических ораторов Дионисий или не знает, или не хочет с нею считаться.

¹⁵ См. ниже о сочинении «Об удивительной силе красноречия Демосфена».

мест из Платонова «Федра», где есть некоторые поэтические особенности, которых не должно быть в прозе¹⁶.

Далее Дионисий дает характеристику Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Филиста и Феопомпа как историков в ответ на выраженное Помпеем желание знать мнение Дионисия о них. Ввиду того, что Дионисий высказал мнение о них в своем трактате «О подражании», он приводит здесь выдержку из этого сочинения.

Сочинение «О Динархе» Дионисий начинает словами: «Об ораторе Динархе я не сказал ничего в сочинении „О древних ораторах“, потому что он не был изобретателем особенного стиля, как Лисий, Исократ и Исей, и не довел до совершенства того, что изобретено другими, какими мы считаем Демосфена, Эсхина и Гиперида. Но, видя, что и он пользуется уважением у многих за ораторское искусство и оставил не мало речей, общественных и частных, ...я не считал возможным обойти его молчанием, а напротив, полагаю, что для людей, серьезно занимающихся ораторским искусством, нужнее всего, или по крайней мере нужнее очень многого, чтобы я сообщил сведения о его жизни и о стиле и определил его речи, подлинные и подложные».

Такое содержание этой статьи. Кончается она перечислением речей Динарха с такими заголовками: общественные речи подлинные, общественные речи подложные, частные речи подлинные, частные речи подложные. Критика Дионисия разумна: так, в доказательство подложности одной речи («Против Педизя») он указывает на то, что упоминаемые в ней события относятся к тому времени, когда Динарху не было еще десяти лет.

«Первое письмо к Аммею» написано по следующему поводу. Один философ перипатетической школы, желая возвеличить Аристотеля, основателя этой школы, задумал доказать, что Демосфен применял в своих речах правила красноречия, данные Аристотелем в его «Риторике». Дионисий опровергает это мнение, доказывая, что большая часть знаменитых речей Демосфена произнесена раньше, чем была написана «Риторика» Аристотеля. Эта небольшая статья для нас важна хронологическими данными относительно речей Демосфена и жизни Аристотеля.

Дионисий вскользь упоминает о Фукидиде в нескольких сочинениях: в главе 3 «Письма к Помпею» (это лишь цитата из трактата «О подражании»), в главе 22 сочинения «О расположении слов» и в главах 1, 9 и 10 трактата «Об удивительной силе красноречия Демосфена». Систематически труды Фукидида Дионисий рассматривает в сочинении «О Фукидиде» и во «Втором письме к Аммею».

Сочинение «О Фукидиде», значительное по размеру, посвящено Квинту Элию Туберону. Поводом для его написания было желание Туберона, чтобы Дионисий, не ограничиваясь краткими заметками о Фукидиде, высказанными им в сочинении «О подражании», написал специальное исследование о нем, которое обнимало бы собою все достойное упоминания о Фукидиде. Дионисий, отложив в сторону статью о Демосфене, которою был занят, принялся за составление этого исследования.

В начале статьи Дионисий говорит о цели ее: он не собирается нападать на Фукидида, останавливаясь на недостатках и обходя молчанием достоинства, но, желая сравнить его с другими, считает необходимым говорить не только о достоинствах, но и о недостатках; потому что «никакая природа человеческая не может быть свободна от ошибок ни в словах, ни

¹⁶ Надо заметить, что в данном случае Дионисий неправильно критикует Платона: в «Федре» Сократ намеренно говорит высоким слогом, и потому поэтическая окраска здесь вполне уместна.

в делах» (гл. 2). Не он первый берется за критику; это делали и многие другие: так, Аристотель не все считает совершенством у своего учителя Платона, а Платон находит ошибки у Парменида, Протагора и Зенона. Если он, Дионисий, по таланту ниже Фукидида и других, из этого не следует, что он не имеет права критиковать их: ведь и знаменитых живописцев, Апеллеса, Зевксида, Протогена и других, а равно и таких ваятелей, как Фидий, Поликлет, Мирон, подвергали критике люди, не имевшие их таланта. Кроме того, во многих случаях профан бывает не менее компетентным судьей художественных произведений, чем художник (гл. 3—4). До Фукидида было много историков, но Фукидид отличается от них тем, что не захотел ни ограничивать свою историю одним местом, как Гелланик, ни объять в произведении действия эллинов и варваров во всех странах, как Геродот. Поэтому он превосходит своих предшественников-историков в двух отношениях: 1) он выбрал тему не совсем «одночленную» (*μὴ ἀκροήσιον*), но и не разделенную на много не связанных между собой частей; 2) к теме он не примешивал баснословия (гл. 5—6).

Далее Дионисий говорит, что все философы и ораторы, или по крайней мере большая часть их, признают правдивость и беспристрастие Фукидида (гл. 8).

Наряду с достоинствами Дионисий указывает и недостатки истории Фукидида как по содержанию (гл. 9—20), так и по стилю (гл. 21—55).

Недостатки содержания (*οἰκονομίαι* — способ изложения, трактовка) заключаются в неправильностях «деления, порядка и исполнения».

«Деление неправильно тем, что события излагаются не по местам их и не по временам (по царям, жрецам, олимпиадам, архонтам), а по летам и зимам, вследствие чего изложение крупных событий разрывается на мелкие отделы и возникает неясность рассказа» (гл. 9).

«Порядок „Истории“ Фукидида вызывает порицание тем, что как для начала ее, так и для конца выбраны не надлежащие события; началом должно служить такое событие, раньше которого ничего не было, а концом — такое, после которого не остается ничего желать. Ни о том, ни о другом Фукидид не позаботился: он начинает историю изложением ложной причины войны, тогда как надо было начать ее изложением истинной причины¹⁷. Кончает историю Фукидид на 22 году войны, тогда как она продолжалась 27 лет»¹⁸ (гл. 10—12).

«Исполнение неудовлетворительно тем, что Фукидид излагает подробно события, требующие лишь краткого изложения, и, наоборот, бегло касается событий, требующих подробного изложения. Неравномерно число речей в разных частях истории, и не всегда они поставлены в надлежащем месте, как например, Эпитафий. Многие важные события пропущены, и, напротив, дано место ничтожным» (гл. 13—20).

Недостатки стиля Фукидида, по мнению Дионисия, следующие. Он выбрал не тот путь, которым шла большая часть современных ему писателей. Общеупотребительному языку своего времени он предпочитал язык устарелый, образный, поэтический, с риторическими фигурами; вместо существительных употреблял глаголы, а вместо глаголов существительные;

¹⁷ Дионисий имеет в виду то, что события, которые Фукидид считает истинной причиной войны, — возникновение и развитие афинского могущества со времени битвы при Микале (479 г.), — предшествовали событиям, которые он считает ложной причиной войны, — споре между Коринфом и Керкирой (435—434 гг.).

¹⁸ Дионисий, как видно, полагает, что Фукидид не окончил историю войны по собственной воле, а не вследствие смерти.

вместо собственных имен нарицательные, а вместо нарицательных собственные; вместо глаголов в страдательном залоге ставил глаголы в действительном залоге; вместо множественного числа имен употреблял единственное; вместо женского рода — мужской и т. д. Наиболее характерная черта его стиля заключалась в том, что он старался возможно малым числом слов выражать возможно больше понятий, много мыслей заключить в одну (гл. 24). Теоретические суждения о языке Фукидида Дионисий иллюстрирует большим количеством примеров из его истории.

Интересно мнение Дионисия о слепых почитателях речей Фукидида. «Если кто будет доказывать им, приводя причины в каждом случае, что такая-то мысль непригодна в данном месте, не идет к данному лицу, или неподходяща для данного предмета, или превышает надлежащую меру, они обижаются и бывают похожи на тех, которые увлечены страстью видеть какой-нибудь предмет, — страстью, немного отличающейся от безумия. Все достоинства, которые свойственны красоте, по их мнению, присущи очаровавшим их предметам. Кто пробует высказать о них неодобрение, если в них есть какой недостаток, тех они от себя отстраняют как завистников и клеветников. Так и почитатели Фукидида, обманутые одним из его достоинств, приписывают ему и все те, которых у него нет. И действительно, что человек хочет видеть в любимом и уважаемом им предмете, то он и видит в нем. Но те люди, у которых мысль остается неподкупной, и кто возводит исследование к надлежащим правилам, ... те не все одинаково хвалят и не все порицают; хорошим свойствам они уделяют соответствующую хвалу, а если какие есть дурные свойства, тех не хвалят» (гл. 34).

Общее заключение Дионисия о языке Фукидида таково: «Зачем хвалим мы способ выражения историка в целом? Что заставляет нас говорить, что Фукидид писал языком для своих современников обычным и известным, а нас, потомков, не принимал во внимание? Нет, мы не выбрасываем из суда и народного собрания весь язык Фукидида как бесполезный; напротив, мы признаем, что повествовательная часть его за немногими исключениями прямо восхитительна и пригодна для всяких надобностей, но ораторская часть не вся годится для подражания» (гл. 55).

«Второе письмо к Аммею» есть добавление к сочинению «О Фукидиде». Аммей высказал мнение, что наблюдения Дионисия о стиле Фукидида следует иллюстрировать примерами, и притом так, чтобы за указанием каждой отдельной особенности стиля его непосредственно следовали примеры из текстов. Дионисий исполняет его желание. Выписав из своей статьи «О Фукидиде» перечень недостатков стиля Фукидида, он рассматривает каждый недостаток в отдельности, иллюстрируя его примерами из истории Фукидида. Так, например, в главе 3 говорится об употреблении слов темных, устарелых, трудных для понимания, поэтических; в главе 4 — об использовании перифразы и брахилогии; в главе 5 — о применении существительных вместо глаголов, в главе 6 — глаголов вместо существительных и т. д.

Таким образом, эта маленькая статья имеет характер скорее лингвистический, чем литературно-критический, но для нас она важна тем, что показывает приемы интерпретации и эстетической критики тогдашних филологов.

Сочинение «О расположении слов» Дионисий посвятил своему ученику Мелетию Руфу в день его рождения. В начале работы автор говорит, что в красноречии (вернее сказать, во всяком художественном произведении) есть два элемента: мысли и слова для выражения мыслей, т. е. реаль-

ный элемент (ὁ πραγματικὸς τόπος) и формальный (ὁ λεκτικὸς τόπος). Второй элемент включает в себе две части: выбор слов и расположение слов. Дионисий в этом сочинении рассматривает только расположение слов; а трактат о выборе слов он обещает своему ученику написать ко дню его рождения в следующем году. Выполнил ли Дионисий это обещание, неизвестно.

Учение о расположении слов Дионисий считает важнее учения о выборе их. «Хотя выбор слов,— говорит он,— по природе предшествует расположению их, однако последнее доставляет в сочинениях гораздо больше удовольствия, убеждения и силы, чем выбор» (гл. 2). Искусство расположения слов состоит в том, чтобы «ставить слова в надлежащем порядке, придать должную гармонию членам мысли и хорошо разделить всю речь на периоды» (там же). Важность искусства расположения слов как в прозе, так и в поэзии Дионисий иллюстрирует множеством примеров, показывая на них, как меняется красота фразы при изменении порядка слов (гл. 1—20). Далее он говорит о трех родах расположения слов: суровом (ἀσθηρὰ σύνθεσις), гладком или цветистом (γλαφυρὰ ἢ ἀσθηρὰ σύνθεσις) и общем (κοινὴ σύνθεσις),— и подробно разбирает каждый из этих родов (гл. 21—24).

Наконец, в последней части автор рассматривает отношения между поэзией и прозой по поводу расположения слов (гл. 25—26).

Под именем Дионисия дошло до нас сочинение, носящее в наших изданиях заглавие «Риторика». На самом деле это сочинение не может принадлежать Дионисию, так как в нем есть упоминание о риторе Никострате (II, 9), который жил при Марке Аврелии, в конце II в. н. э. Долгое время ученые считали, что по крайней мере часть этого сочинения принадлежит Дионисию. Но Узенер в предисловии к своему изданию¹⁹ этого трактата убедительно доказывает, что он не принадлежит Дионисию и что предположение об авторстве последнего основано лишь на заметке какого-то византийского ученого в Венецианской рукописи (XIV—XV вв.), что две последние главы принадлежат Дионисию; впоследствии в Парижской рукописи имя Дионисия было поставлено перед началом всего сочинения. Трактат состоит из двух частей: первая часть (гл. 1—7) содержит отрывки из какого-то сочинения риторического содержания, из последних четырех глав две (8 и 9) суть ученические записки, а две (10 и 11) или написаны самим профессором, или представляют точную запись его лекций; эти две последние главы и считались сочинением Дионисия.

Кроме названных выше сочинений, Дионисий упоминает еще некоторые, которые или не дошли до нас, или даже не были им написаны, а лишь задуманы. Так, в сочинении «О Фукидиде» (2) он упоминает как составленный им (συγγραμμὴν) трактат «О политической философии», под которой разумеется, по-видимому, риторика.

В сочинении «О расположении слов» (гл. 1) он обещает своему ученику написать ко дню его рождения в следующем году трактат «О выборе слов»; написал ли он его, неизвестно, во всяком случае до нас он не дошел. Не дошла до нас также вторая часть сочинения «О древних ораторах» — о Демосфене, Гипериде, Эскине,— по-видимому, написанная. Сочинение «О фигурах», упоминаемое Квинтилианом²⁰, также не дошло до нас.

Риторические трактаты Дионисия можно назвать его «малыми

¹⁹ Dionysii Halicarnasei quae fertur Ars rhetorica. Lipsae, 1895.

²⁰ «Образование оратора», IX, 3, 89.

сочинениями» — *opuscula*. Основным своим трудом, он, вероятно, считал «Древнюю историю Рима».

Это сочинение состояло из 20 книг; первые девять дошли до нас в полном виде, от 10 и 11 дошла бóльшая часть, от остальных уцелели лишь отрывки. Все сочинение обнимало историю Рима с мифических времен до 264 г. до н. э., т. е. до начала Первой Пунической войны. С этого события начинается история Полибия, и, таким образом, Дионисий хотел описать период, которого тот не коснулся, т. е. дополнить его историю.

Труд Дионисия начинается с рассказа о том, что предшествовало основанию Рима. В дошедших до нас 11 книгах излагаются события до падения децемвиров в 442 г. до н. э.; соответствующие события у Ливия изложены в 3 книгах; но события со времени децемвиров до Первой Пунической войны занимают у Ливия 11 книг (IV—XIV), а у Дионисия 9 книг (XII—XX). Таким образом, рассказ Ливия становится подробнее по мере того, как государство становится больше, события важнее, сведения надежнее; напротив, у Дионисия наиболее подробен рассказ о событиях древнейшего времени.

Главной целью Дионисия при составлении этого труда было приложить на практике теоретические принципы, выработанные им.

Так как историк, по его мнению, должен выбирать сюжет прекрасный, величественный и приносящий большую пользу читателям, он и выбрал себе сюжетом историю Рима, ввиду того, что Римское государство превзошло и по территориальному размеру, и по блеску деяний, и по устойчивости все бывшие раньше великие государства — Ассирийское, Мидийское, Персидское, Македонское. Он выбрал сюжетом именно древнюю историю Рима потому, что эллины почти все не знают ее и на основании пустых слухов думают, что основатели Рима были какие-то бездомные бродяги, варвары, да и то не свободные, и что римляне достигли всемирного владычества не вследствие своего благочестия, справедливости и других добродетелей, но что это произошло как-то само собою, по воле несправедливой судьбы, по своему капризу дарующей величайшие блага самым недостойным людям. Люди злые открыто бранят судьбу, что она предоставила негоднейшим варварам блага эллинов. Это осмеливаются говорить даже некоторые историки. Он хочет изъять эти ошибочные мнения из ума своих соотечественников и обещает доказать, что основателями Римского государства были эллины. История древнейшего периода Рима никем не была написана; были только краткие очерки. По этой-то причине он и предпринял свой труд. Он руководствовался при этом не желанием льстить, но стремлением к истине, которая должна быть целью всякой истории, а затем желанием воздать благодарность государству, памятуя об образовании и прочих благах, которыми он пользовался во время пребывания в Риме (Ji, 1—6).

История должна доставлять пользу и удовольствие читателям; большое число добрых примеров полезно для законодателей, политических ораторов и вообще для всех, желающих заниматься общественными делами (V, 75).

Таким образом, история есть «философия, основанная на примерах» — *φιλοσοφία ἐκ παραδειγμάτων*, как выражается автор главы XI «Риторике» (XI, 2). История должна поучать и произносить суд над описываемыми ею лицами.

План Дионисия был обширный: он описывал не только войны и договоры, но также учреждения и нравы. Писал он свою «Историю» долго: для этого выучился латинскому языку, беседовал с учеными римлянами, изучал

римских анналистов (он называет Порция Катона, Фабия Максима, Валерия Анциата, Лициния Макра и других) и лишь после этого приступил к «Истории» (I, 7). Хотя он писал ее одновременно с Ливием, но, по-видимому, независимо от последнего. «История» Дионисия монотонна, но читается легко; в ней много речей, в которых он показывает свое риторическое искусство; речи говорит даже Ромул (II, 3—35). Исторической критики нет; мифы он трактует так же, как исторические события.

Религиозные воззрения, которые он высказывает в своем сочинении, не возвышаются над верованиями толпы: боги дают знамения людям, вмешиваются в дела людей, помогают им и вредят, награждают их и наказывают. Но его приверженность к народной религии основана на политическом расчете.

Политические убеждения Дионисия умеренные: он любит мудрую аристократию, умеренную демократию, свободу, которая ограничивает себя, власть, которая сдерживает себя.

Хотя «История» Дионисия несравненно ниже «Истории» Ливия, у Дионисия есть и некоторые преимущества перед Ливием: он использовал много материалов из римских анналистов, которых нет у Ливия.

В разных местах риторических сочинений Дионисий высказывает свои мнения о том, каким языком следует писать историю. Язык истории должен быть чистый, ясный, по возможности без тропов. Поэтому историк должен избегать слов устарелых, поэтических, новообразованных, трудных для понимания. История должна быть написана так ясно, чтобы для нее не требовалось толкований. По этой же причине следует избегать чрезмерной краткости, вычурных оборотов, искусственных метафор. Слог должен быть приятен; несколько возвышенный стиль допускается. Сам Дионисий в своей «Истории» в общем следует этим принципам.

Есть сведения, что Дионисий сам сделал извлечение из своей «Истории» в 5 книгах; но оно не дошло до нас.

4. ЦЕЦИЛИИ

Современником Дионисия Галикарнасского был ритор Цецилий, правильнее — Кекилий (*Κακίλιος*).

Все наши сведения о нем основаны на короткой заметке в словаре Свида, да еще есть несколько упоминаний о нем у Свида в других местах и у других авторов.

У Свида сказано следующее: «Кекилий — сицилиец, калактинец, а Калакта — город Сицилии; ритор, преподававший риторику в Риме при Кесаре Августе до Адриана, происходивший от рабов; по сообщению некоторых, прежде имя его было Архагат, по вере он был иудей. Сочинений его много».

Далее идет перечисление его сочинений.

В этой краткой биографии Цецилия есть одна явная ошибка: если он жил при Августе, то никак не мог дожить до Адриана, потому что от смерти Августа (14 г. н. э.) до начала правления Адриана (117 г.) прошло более 100 лет. Кроме того, некоторые ученые высказывают сомнение относительно его иудейства и рабского происхождения. Впрочем, и Свида прибавляет, что это сообщают «некоторые»²¹.

²¹ Но, если Цецилий не был рабом, то как объяснить тот факт, что он, грек, получил римское имя рода Цецилия? Это возможно было или для усыновленного, или для вольноотпущенника. Ср. Цецилий Стаций — римский комический поэт, бывший раб.

Свида называет Цецилия «калактинцем»²², т. е. уроженцем города Καλή ἀκτὴ в Сицилии; это подтверждается и свидетельством Афинея в двух местах²³: Κακίλιος ὁ ῥήτωρ ὁ ἀπὸ Καλῆς ἀκτῆς.

Дионисий называет его дорогим другом (τῷ φιλότιμῳ Κακίλιῳ) в «Письме к Гнею Помпею»²⁴. Таким образом, он жил в Риме и занимался преподаванием риторики (σοφιστεύσας у Свида) в одно время с Дионисием; вероятно, был близок к нему по годам; одни считают его немного моложе, другие — немного старше Дионисия. Никаких других сведений о его жизни нет.

От Цецилия не дошло до нас ни одного сочинения в целом виде, а лишь фрагменты, и то ничтожные, от отдельных сочинений, а от некоторых — даже одни заглавия. Частое использование его сочинений показывает, что его влияние было сильнее, чем влияние Дионисия.

Сочинения Цецилия, подобно сочинениям Дионисия, были главным образом литературно-эстетические и риторические, а частью и исторические. Подобно Дионисию Цецилий был сторонником аттицизма и врагом азианского красноречия.

Вот заглавия этих не дошедших до нас сочинений Цецилия:

1. «Риторика»
2. «О фигурах»
3. «О возвышенном»
4. «Против фригийцев»
5. «Чем отличается аттический способ выражения от азианского»
6. «О характере десяти ораторов»
7. «О Демосфене: какие речи его подлинные и какие подложные»
8. «Сравнение Демосфена и Цицерона»
9. «Сравнение Демосфена и Эсхина»
10. «О том, что говорят ораторы согласно с историей и против истории».
11. «Красивый способ выражения»
12. «О войнах рабов»
13. «Об истории»

5. ПСЕВДО-ЛОНГИН

До нас дошло одно сочинение — «О возвышенном», которое приписывается Лонгину. Кто был автором этого трактата, неизвестно. В главной рукописи его сказано, что он принадлежит «Дионисию или Лонгину», а в другой рукописи автором назван «Неизвестный». Было сделано несколько попыток определить автора трактата, но они оказались безуспешными. Долгое время автором трактата считали ритора Кассия Лонгина, жившего в III в. до н. э., от сочинений которого сохранились некоторые отрывки. Но в настоящее время эта гипотеза оставлена, потому что, в трактате есть некоторые признаки того, что он написан в I в. н. э. Называли авторами и других лиц, например Дионисия Галикарнасского. Но теперь все пришли к заключению, что автора определить невозможно; можно сказать только, что он жил в I в. н. э.

Сочинение это адресовано неизвестному лицу — Постумию Флорентиану. Цель его — дать отзыв о небольшом трактате Цецилия, носившем

²² Правда, это конъектура: рукописное чтение у Свида Καλακτιανός и город назван Καλακτις.

²³ VI, 272 F; XI, 466A.

²⁴ Дионисий. Письмо к Гнею Помпею, 3, стр. 777 по Рейске.

то же заглавие. «Как ты помнишь, дорогой Постумий Флорентиан,— говорит автор в начале,— когда мы с тобой вместе рассматривали сочинение Цецилия „О возвышенном“, оно оказалось ниже своего предмета» (гл. I)²⁵. Главной целью сочинения этого неизвестного автора является определение существенных элементов возвышенного стиля, который, избегая пустой напыщенности и аффектации, вдохновляется величию мысли, интенсивностью чувства и находит для себя соответствующую словесную форму, стремясь к возвышенным выражениям и к искусному построению речи.

В ответ на вопрос, «есть ли правила для высокого», автор говорит, что, хотя высота стиля есть дар природы, но природа вовсе не исключает искусство.

Останавливаясь на примерах «возвышенного», автор приводит множество цитат из поэтов и прозаиков (между прочим, и оду Сапфо «Тот кажется мне подобным богам», сохранившуюся только в этом трактате).

Совершенно особая тема рассматривается в заключительной главе (44) «Почему такой недостаток теперь в талантливых писателях?». Один философ обратился к автору с этим вопросом и высказал предположение: причина заключается в том, что демократия есть хорошая кормилица великих умов. По-видимому, автор, не решаясь назвать причиной упадка современный ему государственный строй, уклончиво отвечает: «Люди всегда склонны бранить свои времена; но подумай, не губит ли великие дарования мир во вселенной, а еще более — эта безграничная война и эти страсти, которые, словно гарнизон, занимают теперешнюю жизнь и опустошают ее вконец, эта любовь к деньгам и страсть к удовольствиям».

Это замечательное сочинение не упоминается ни одним из дошедших до нас древних авторов. Но зато в новые времена, начиная с 1554 г., его много раз издавали и переводили на разные языки. Буало перевел его стихами (в 1674 г.), Фенелон ставил его выше «Риторики» Аристотеля, Казамон и Рункен называют его «золотой книгой». И действительно, автор этого произведения — последний великий литературный критик древней Греции.

Однако справедливо заметил Гиббон, что понимать это сочинение, вследствие обилия фигур и метафор, крайне трудно. Нам, например, невозможно понять, почему в цитированном Псевдо-Лонгином месте речи Демосфена «О венке» (гл. 39), если одно слово переставить с своего места на другое или один слог отсечь или прибавить, то исчезнет возвышенность.

На русский язык сочинение Псевдо-Лонгина переведено И. Мартыновым в 1803 г.

6. СТРАБОН

О жизни Страбона нам известно очень мало: Свида в своем лексиконе сообщает о нем только несколько строк; остальное (очень немногое) можно извлечь из его сочинения.

Ни год рождения, ни год смерти Страбона в точности не известны. Он жил приблизительно между 66 г. до н. э. и 25 г. н. э. Таким образом, он был современником Помпея, Цицерона, Цезаря, Августа и Тиберия.

Страбон родился в городе Амасии, находившемся в Понте, в Малой Азии. Его родители были люди состоятельные и знатные. Страбон получил хорошее образование; его учителями были грамматик и ритор Аристомед, грамматик Тираннион и философ-перипатетик Ксенарх. Сам он, однако, примкнул к учению стоической школы. Несомненно, он многим обязан

²⁵ Псевдо-Лонгиня цитируется в переводе С. И. Соболевского.

также самообразованию — чтению и путешествиям. Страбон много путешествовал: по его словам, он прошел «к западу от Армении до тех мест Этрурии, которые находятся против Сардинии, а к югу от Эвксина до границ Эфиопии» (II, 5, 11)²⁶; был в Риме в 29 г. до н. э. (может быть, еще и в другие годы), в Александрии, ездил по Египту около 25 г. до н. э. в свите префекта Гая Элия Галла (II, 5, 12).

Страбон был и историк, и географ. Ему принадлежат два больших сочинения: «Исторические записки» и «География».

«Исторические записки» не дошли до нас; сохранилось лишь ничтожное количество фрагментов у разных писателей. Это сочинение состояло, по-видимому, из 47 книг, из которых последние 43 были продолжением сочинения Полибия и содержали историю событий, начиная с того времени, на котором тот остановился, именно с событий после 146 г. до н. э. до времени жизни автора, вероятно, до 27 г. до н. э. О содержании первых 4 книг ничего определенного не известно. Судя по названию («Записки»), это сочинение не было историей в строгом смысле слова.

По мысли автора, оба сочинения предназначались не для ученых, а для широкой, но образованной публики: «Это сочинение (т. е. „География“) должно было быть общепользовательным и для политика и для массы, подобно тому как и „История“».

«География» дошла до нас полностью, но в сильно испорченном виде: есть много пропусков, позднейших вставок, перестановок и искажений отдельных слов. Этих недостатков так много, что один из издателей текста «Географии» сделал предположение, что автор не успел дать своему труду окончательной отделки.

Это сочинение состоит из 17 книг. В книгах I и II содержится математическая география, в книгах III—X — география Европы, в книгах XI—XVI — география Азии, в книге XVII — география Африки.

Это позднейший труд Страбона: книга IV (а поэтому и все первые четыре книги), как видно из слов самого автора (IX, 9), была написана в 18 г. н. э., книга XVII — еще позднее (после 23 г. н. э.).

В самом начале своего труда Страбон говорит о важности географии, доказывает, что изучение географии есть достойное философа занятие. Он сам определяет цель своего труда и круг читателей, для которых он предназначает его: труд этот должен быть популярным. «География» предназначается для образованных читателей. К этому он делает еще такое добавление: «Составивши „Исторические записки“, полезные, как мы полагаем, для нравственной и политической философии, мы решили присоединить и этот труд [„Географию“]; одинаковый с прежним по внешней форме, он предназначается для тех же самых лиц...»

«Подобно тому, как все, там [т. е. в „Исторических записках“] упоминаемое, относится к людям знаменитым и их жизни, опускается незначительное и не пользующееся славой, так равно и здесь [т. е. в „Географии“] следует оставлять в стороне маловажное и не имеющее славы и останавливаться более на предметах замечательных, грандиозных, в которых соединяется полезное, достойное памяти и приятное... Наш труд есть как бы колоссальное произведение, трактующее о великом и мировом, исключая те случаи, когда встречается что-нибудь хотя маловажное, но способное заинтересовать любознательного и делового человека. Пусть это покажет, что предпринятый нами труд серьезен и достоин философа» (I, 1, 23).

Ввиду такого популярного характера сочинения и желания дать большой публике интересное чтение, Страбон не загромождает свою «Гео-

²⁶ Страбон цитируется в переводе С. И. Соболевского.

графию» сухим перечнем географических названий, как это делали более ранние географы, а из последующих Птолемей и Плиний, но рассказывает об особенностях и достопримечательностях стран и городов, о религии, законах, нравах, обычаях народов с историко-мифологическими реминисценциями об их происхождении, странствиях и т. п., приводит даже интересные анекдоты из жизни знаменитых людей. Таким образом, в «Географии» есть много исторического материала. Между прочим, иногда, упоминая какой-нибудь город, Страбон говорит и о писателях, происходивших из этого города. Желая быть интересным, Страбон описывает лишь то, что ему кажется достопримечательным, и опускает то, что считает незначительным. Вероятно, из желания сделать свое изложение ясным, он иногда даже прибегает к сравнениям очертания стран с обыденными предметами: так «Иберия» [Испания] похожа на бычью шкуру, разложенную в длину от запада к востоку» (III, 1, 3); «Сицилия имеет фигуру треугольника и поэтому сперва была названа Тринакрией, а впоследствии более благозвучно Тринакией» (IV, 3, 4); «Пелопоннес похож по виду на лист платана» (VIII, 2, 1).

Страбон говорит, что он описывает земли и моря или по личным наблюдениям, или по тем сведениям, какие он получил от рассказчиков или писателей.

Литературными его источниками были историк Эфор, географы Эратосфен и Артемидор, Полибий и Посидоний, которыми он пользуется во всех частях своего сочинения, особенно в описании Иберии и Галлии; наконец, Антиох, старинный историк, у которого он заимствовал сведения о Сицилии, Южной Италии, и многие другие. Римскими авторами Страбон пользовался гораздо меньше, может быть, вследствие недостаточного знания латинского языка: он упоминает Цицерона, записки Юлия Цезаря о войне с галлами, «Анналы» Целия Антипатра, «Историю» Асиния (Поллиона), исторический труд Деллия о походе Антония против парфян; вообще он держится невысокого мнения о римских писателях, хотя ценит их практический ум²⁷.

Кроме того, Страбон в очень большой степени использует Гомера, которого он считает безошибочным авторитетом в географии.

Наоборот, к Геродоту Страбон относится с презрением и говорит, что «в рассказе о героях скорее можно поверить Гомеру, Гесиоду и трагическим поэтам, чем Ктесию, Геродоту, Гелланику и другим подобным» (XI, 6, 3). А между тем, в некоторых случаях сообщения Геродота вернее, чем сообщения Страбона: так, Страбон считает, что Каспийское море — залив Северного океана (II, 5, 18; XI, 6, 1), тогда как Геродот знал, что Каспийское море не соединяется с другим морем (I, 202, 4).

Репутация Страбона как географа устанавливалась медленно, насколько можно судить по тому, что Плиний нигде, даже в географической части своей «Естественной истории», не упоминает Страбона. Но у греков позднейшей эпохи он пользовался большим авторитетом и даже назывался просто «географом» (без имени), подобно тому, как Гомер назывался «поэтом» и Демосфен — «оратором».

Стиль Страбона очень простой и ясный, а потому и нам легко читать его сочинения; это по большей части «нанизанная речь» (λέξις ειρομένη), предложения часто соединяются просто союзом δε; нет у него склонности

²⁷ «Греки при постройке городов обращали главное внимание на красоту и прочность, на гавани и плодородие почвы, а римляне считали особенно важным то, что у греков было в пренебрежении, — мощение улиц, проведение воды, устройство клоак, уносивших нечистоты из города в Тибр» (V, 3, 8).

к обработанным периодам, нет и риторических украшений (которые были бы неуместны в таком почти научном изложении).

Поэтому слог его можно назвать сухим.

В языке Страбона нет стремления к аттицизму — это язык современного ему образованного общества. Вообще «География» читается с интересом.

С филологической точки зрения «География» представляет специальный интерес в том отношении, что в ней собрано много важных известий разного рода, например по мифологии и истории культуры.

Наконец, Страбон важен для исторической географии нашей родины, так как описывает многие местности, входящие теперь в состав СССР.

Страбово описание Кавказа и прикаспийских областей является незаменимым по обстоятельности источником для истории и этнографии Грузии, Армении, Азербайджана и Северного Кавказа в начале нашей эры²⁸.

В византийские времена была составлена «Страбоновская хрестоматия», представляющая собою сокращение его сочинения с незначительными добавлениями, взятыми из «Географии» Птолемея.

²⁸ Места, касающиеся нашей страны, собраны и переведены в книге В. В. Латышева «Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе», т. I, стр. 91—171. Все это перепечатано с некоторыми добавлениями в «Вестнике древней истории» за 1948—1949 гг. См. еще статью А. И. Болтуновой «Описание Иберии в „Географии“ Страбона» (XI, 3, 1—6) в «Вестнике древней истории» за 1947 г., № 4, стр. 142—160.



Глава VIII ПЛУТАРХ

1. Биография Плутарха.— 2. Обзор литературной деятельности Плутарха.—
3. Философские воззрения и этика Плутарха.— 4. Стиль «Нравственных сочинений».— 5. Стиль «Сравнительных жизнеописаний».— 6. Язык Плутарха.— 7. Сочинения, приписываемые Плутарху.

1. БИОГРАФИЯ ПЛУТАРХА

Плутарх родился около 46 г. н. э. в городе Херонее в Беотии, принадлежал к греческой провинциальной знати. Ни один античный автор не вводит читателя в свои семейные дела с такой охотой, как Плутарх. Из его сочинений мы узнаем имена его отца, деда, прадеда, братьев, жены, четырех сыновей, дочери, других родственников.

Образование Плутарх получил в Афинах, причем в философии его непосредственным наставником был малоизвестный платоник Аммоний; учеником его Плутарх был в 66 г., т. е. именно в то время, когда Нерон посетил Грецию и в частности Дельфы. Наряду с философией Плутарх изучал также физику, естественные науки и математику. Помимо того он усиленно занимался риторикой: успехи его в этой области ясно проявляются в некоторых юношеских сочинениях, которые могут рассматриваться как предназначенные для риторической декламации. Однако профессиональным оратором Плутарх не сделался; его интерес к культуре слова был побежден гораздо более сильным интересом к моральным проблемам; к этой области относится большинство трудов, написанных им в первой половине его жизни.

Еще молодым человеком Плутарх получил от своего родного города поручение отправиться по общественным делам к проконсулу провинции Ахайи; это было началом той связи с Римом, которая оказалась столь важной и для жизни Плутарха, и для всей его литературной деятельности.

Он сам неоднократно упоминает о своих посещениях как Рима, где ему приходилось выступать с публичными речами, так и других городов Италии. Кроме того, он побывал и во многих городах Греции и Малой Азии: в Спарте, Коринфе, Патрах, Сардах. В результате этого у него завязываются многочисленные дружеские связи, в том числе с некоторыми литературно образованными и политически влиятельными римлянами (Гаем Сосием Сенеционом, Местрием Флором, Гаем Минуцием Фунданом, Гереннием Сатурнином и другими). Имена многих из них появляются в его сочинениях; особенно много трудов Плутарх посвятил Гаю Сосию Сенециону. По-видимому, он был хорошо принят и при императорском дворе: Свидя сообщает, что Траян пожаловал ему достоинство консуляра и

велел правителю Ахайи в сомнительных случаях прибегать к советам Плутарха. Можно предполагать, что при Адриане он сам в течение трех лет был прокуратором Ахайи.

Однако где бы ни находился Плутарх и на что бы ни была направлена его любознательность и энергия, он неуклонно, неумоимо продолжал свои литературные труды, приносившие ему все большую и большую известность. Уже в молодые годы он начал писать обнаруживающие поразительную разносторонность трактаты, ныне объединяемые под названием «Moralia» — «Нравственные сочинения», и продолжал это дело до глубокой старости. В старости же он создал знаменитые «Сравнительные жизнеописания», доставившие ему бессмертную славу.

Плутарх постоянно сохранял прочную связь со своей родной Херонеей и не желал покидать этот маленький городок.

От афинян он получил права почетного гражданства («Застольные беседы», I, 10, 3, стр. 629А). В 95 г. Плутарх получил пожизненное жречество в Дельфийском святилище — дело, за которое он взялся с большой энергией и искренней убежденностью. В нескольких сочинениях он пытался подвести сложный философский фундамент под угасающий культ Аполлона Дельфийского. Эта попытка обновить веру в оракул дельфийского бога и философски обосновать этот угасающий культ давала основание древнехристианским писателям считать его «полухристианином», а Маркс иронически причисляет Плутарха к «отцам церкви»¹. Впоследствии дельфийские граждане совместно с херонейцами воздвигли Плутарху памятник.

Год смерти Плутарха точно не известен; вероятно, она последовала после 127 г.

В середине II в. складывается легенда о Плутархе — воспитателе Траяна. Тогда же было составлено подложное посвянительное письмо Плутарха Траяну, которое в рукописях часто помещается перед неправильно приписанными Плутарху «Изречениями царей и полководцев».

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛУТАРХА

Огромное собрание разнородных сочинений, охватывающее все написанное Плутархом за вычетом «Жизнеописаний», цитируется в научной литературе под названием «Moralia».

В точном значении термин «Moralia» приложим, правда, лишь к ограниченному числу трактатов Плутарха, объединенных в этом собрании.

Широта умственных интересов Плутарха и громадное тематическое разнообразие его «Нравственных сочинений» делают обзор их нелегким делом. Даже исключив из рассмотрения все те сочинения, принадлежность которых Плутарху является сомнительной, мы будем иметь 104 произведения разного размера (не считая отрывков).

Исходя из литературной формы, этические трактаты Плутарха часто делят на диалоги, диатрибы², послания, или письма, и собрания материалов. Недостаток этой классификации, не говоря уже о ее формалистичности, заключается в том, что у Плутарха старые формы художественной прозы оказываются весьма зыбкими и текучими. Таким образом, решающее зна-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2, т. 3, стр. 127.

² Под «диатрибой» следует понимать особый вид диалога с воображаемым противником: беседа ведет один человек, отражая возможные возражения; особанным успехом этот жанр пользовался у киников.

чение приобретает предметный принцип, на основе которого и можно выделить следующие группы сочинений Плутарха.

1. Сочинения, посвященные вопросам этики, которые отчетливее всего выражают взгляды Плутарха в этой области («Moralia» в собственном смысле).

В самых ранних произведениях этого типа, имеющих часто характер риторических упражнений, разбирается значение в человеческих делах двух сил, сравнительная оценка которых была уже задолго до Плутарха излюбленной темой публичных декламаций: ἀρετή (добродетель, доблесть) и τύχη (судьба, случайность). Плутарх разбирает эту проблему применительно к Александру Македонскому, к римскому государству и к афинянам в трех речах: «О счастье или доблести Александра Великого», «О счастье римлян», «О том, были ли афиняне больше прославлены в войне или мудрости». О взаимоотношениях между пороком и добродетелью и о различных видах больших и малых пороков идет речь в многочисленных диатрибах, составляющих в совокупности целую систему практической этики.

Особую группу образуют рассуждения о семейных добродетелях: диатрибы «О братской привязанности», «О любви к детям», изложенное в виде письма рассуждение «Брачные наставления» и диалог «О любви».

Рядом с этими произведениями следует поставить «утешающие» сочинения, например: «Об изгнании», «Утешение, обращенное к жене», имеющее форму письма, отправленного по получении известия о смерти дочери, и другие.

2. Сочинения на политические темы, к которым относятся, например, «Политические наставления», «Должны ли старики участвовать в государственной деятельности», «О монархии, демократии и олигархии» и другие.

Теоретически Плутарх отдает предпочтение монархическому государственному устройству по сравнению с демократией и олигархией. Но вместе с тем у него часто чувствуется благоговейное уважение к старым республиканским идеалам, и для характеристики расточительности и жестокости Домициана и Нерона он нашел краткие, но сильные формулировки («Попликола», 15; «Антоний», 87). Именно такие мотивы плутарховских трудов сделали его в новое время воспитателем многих поколений европейских республиканцев.

3. Сочинения, в которых Плутарх разъясняет свои основные философские позиции в области этики. Не будучи самостоятельным мыслителем, прокладывая новые пути, склоняясь к эклектизму, он тем не менее стремится с помощью собственных аргументов защитить избранные им взгляды.

Полемический характер имеют многочисленные произведения, направленные против эпикурейцев и стоиков. С эпикурейцами Плутарх спорит в диалоге «О невозможности жить счастливо, следуя Эпикуру», в диатрибах «Против Колота» и «Правильно ли изречение: Живи незаметно?».

Маркс неоднократно подчеркивает недостаточное понимание Плутархом философии Эпикура; говоря о выступлениях Плутарха против теологии Эпикура, он указывает, что «полемика эта не является чем-то единичным, но характерна для определенного направления, очень отчетливо выражая отношение теологизирующего рассудка к философии» и что «неправильна вообще точка зрения Плутарха, когда он привлекает философию пред судилище религии»³.

³ См. К. Маркс. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат. 1956, стр. 24.

Полемике против стоических учений посвящены диалоги «Об общих понятиях», диатрибы «О противоречиях стоиков» и «О том, что стоики говорят вещи более парадоксальные, нежели поэты».

Некоторые диалоги затрагивают вопросы душевной жизни животных; эти диалоги пронизаны пифагорейскими взглядами и направлены против психологических учений стоической школы.

Свои философские воззрения Плутарх излагает частью попутно, полемизируя с представителями иных течений, частично же в виде толкований на сочинения Платона или трактатов, посвященных отдельным философским проблемам, например «Платоновские изыскания».

4. Сочинения, в которых Плутарх излагает свое представление о мире и его законах в плане космологии с религиозным оттенком, и о божественных и демонических силах, действующих в мире. Эта существенная для понимания Плутарха сторона его мировоззрения отражена в так называемых «Дельфийских диалогах».

Желанием связать собственные размышления о божестве и о вселенной с учениями, шедшими из эллинистического Египта, с мифами и культами, восходящими еще ко времени фараонов, продиктован и трактат «Об Исиде и Осирисе», важный для истории греко-египетских верований. Личную точку зрения Плутарха на религиозность и суеверие выражает небольшая диатриба «О суеверии».

5. У Плутарха имеются также произведения, посвященные естествознанию и точным наукам. Например, диалог «О лице на диске луны» чрезвычайно поучителен для истории астрономических и физических воззрений греков. К этому же разделу можно отнести и диалог «Гигиенические наставления».

6. Диалог «О музыке» — ценнейший источник для истории античной музыкальной культуры, основанный на трудах Аристоксена (IV в. до н. э.) и Александра Полигистора (I в. до н. э.). Характерно для Плутарха ограничение старинной простой музыкой и убеждение в сознательном самоограничении древних музыкантов, знавших все лады, но пользовавшихся лишь некоторыми и бывших поклонниками ритма настолько же, насколько позднейшие музыканты увлекаются мелодией.

7. Филологические произведения — комментарии к Гомеру, Гесиоду, Арату, Никандру. Эти произведения сохранились в отрывках, лишь постольку, поскольку они были использованы схоластиками. В виде извлечения дошло до нас «Сравнение Аристофана и Менандра» и характерное для беотийского патриотизма Плутарха рассуждение «О злонаравии Геродота».

8. Произведения историко-антикварного содержания, представляющие собою, собственно говоря, лишь собрание материалов, не связанных в художественное целое; многие из них использованы и в «Жизнеописаниях».

Исключительно интересны для античного фольклора «Римские проблемы» и «Греческие проблемы».

9. Сочинения в форме описания пиров, затрагивающие вопросы быта, этики, эстетики, грамматики, литературы, искусства, истории, естествознания, — «Застольные проблемы в 9-ти книгах» и «Пир семи мудрецов».

10. Особняком стоит произведение, являющееся собранием новелл, не связанных между собою ничем, кроме некоторых сходных мотивов, указание на которые содержится уже в самой заглавии: «О доблестях женщин».

Вторая группа произведений Плутарха, которая более всего прославила его имя, — это его «Сравнительные жизнеописания».

Сохранилось 46 парных биографий; при перечислении их мы следуем традиционному порядку наших изданий: Тесей и Ромул, Ликург и Нума, Солон и Валерий Попликола, Фемистокл и Камилл, Перикл и Фабий Максим, Алкивиад и Марций Кориолан, Тимолеонт и Эмилий Павел, Пелопид и Марцелл, Аристид и Катон Старший, Филопмен и Тит Квинктий Фламинин, Пирр и Марий, Лисандр и Сулла, Кимон и Лукулл, Никий и Красс, Серторий и Евмен, Агесилай и Помпей, Александр и Цезарь, Фокион и Катон Младший, Агид и Клеомен и братья Гракхи (тетрада), Демосфен и Цицерон, Деметрий Полиоркет и Антоний, Дион и Брут.

К этому списку следует прибавить непарные жизнеописания Артаксеркса II, Арата, Гальбы, и Отона, каждое из которых представляет собою обособленное и законченное целое. Композиция их отличается от обычной схемы других биографий. Таким образом, сохранилось 50 биографий. Ряд жизнеописаний потерян: Эпаминонд, любимый исторический герой беотийца Плутарха, Леонид, Аристомен, младший Сципион, Диофант. Погибли также биографии поэтов Кратета и Пиндара и биография Геракла.

При соединении своих героев в пары Плутарх не придерживается какой-нибудь неизменной системы. Иногда он сопоставляет действительных или предполагаемых современников (Солон и Попликола, Филопмен и Тит Фламинин), иногда же ставит рядом людей разных эпох: обычно при этом живший раньше предшествует тому, кто жил позднее, но бывает и наоборот (Серторий и Эвмен). Сходство политических задач заставляет его соединить в одном большом целом Агида и Клеомена с Тиберием и Гаем Гракхами. Все же основным соображением, которым руководствуется в этих случаях Плутарх, является одинаковость характера и судьбы, совершенно независимо от хронологии и конкретной исторической обстановки.

Во многих случаях пара биографий замыкается особой главой, в которой сопоставляются оба героя — грек и римлянин, причем подчеркиваются их сходные черты и различия между ними, а свойства их характеров и поступки получают оценку — положительную или отрицательную⁴.

Тетрада: Агид и Клеомен и братья Гракхи имеет одно общее сравнение.

Такой метод сравнительного оценочного сопоставления очень распространен как в античной риторике, так и в различных областях античной науки. Самые эти сравнения обнаруживают источники, точки зрения и идеи, весьма характерные для философии Плутарха, и поэтому нельзя считать обоснованными неоднократно высказывавшиеся мнения о более позднем происхождении плутарховских сравнений.

Хронология плутарховского творчества представляется во многом неясной. Лишь в отдельных случаях можно датировать те или иные произведения с известной уверенностью.

К молодости Плутарха обычно относят некоторые небольшие его сочинения, входящие в состав «Нравственных сочинений» и больше других отмеченные риторическим характером (например декламации «О счастье или доблести Александра Великого» или «О счастье римлян»; написанными в старости считают его трактаты, излагающие систему демонологии, в частности «Дельфийские диалоги»; тогда же написаны и некоторые политические трактаты и «Застольные проблемы». Основная масса биографий составлена, по-видимому, между 110 и 115 гг., когда Плутарх был уже знаменитым писателем и моралистом; они задуманы как одно целое; биографии Тесея и Ромула написаны последними. («Тесей», I).

⁴ Это — так называемые сравнения (συμπίσεις).

3. ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ И ЭТИКА ПЛУТАРХА

Расцвет творчества Плутарха, его «акмэ» (т. е. возраст около 40 лет) приходится на время правления Нервы и Траяна, официально развертывавшегося под декоративным лозунгом «римского мира» (pax Romana). Внутренние классовые противоречия эпохи ускользают, разумеется, из поля зрения Плутарха и лишь частично находят отзвук в его отдельных пессимистических замечаниях: в указании, например, на обезлюдение Элады («Об упадке оракулов», 8, р. 413), в преклонении перед старинной музыкой, в увлечении далекими веками героического прошлого и в том скорбном настроении, какое видно в его изложении легенды о смерти великого Пана («Об упадке оракулов», 17, р. 419). Плутарх склоняется перед культурным наследием великого прошлого Греции, на основе духовных ценностей которого он и пробует строить жизнь современного ему общества, индивида, семьи и целого коллектива.

В философии Плутарха всесторонне используются труды его предшественников, причем он, подобно многим другим писателям, писавшим на философские темы, был эклектиком. Наиболее сильное и устойчивое влияние оказал на Плутарха его афинский учитель, глава Академии Аммоний, бывший, по-видимому, сторонником того мистически окрашенного платонизма, который впоследствии, уже во II в., получает значительное распространение. Важнейшим сочинением Платона, на котором сосредоточивается внимание толкователей, в это время становится «Тимей».

К мистическим учениям позднейшей Академии, и в частности к воззрениям Ксенократа, восходят, вероятно, плутарховские рассуждения о демонах и их роли в системе мира; от Спевсиппа и Гераклида Понтийского идет математическая и астрономическая струя в космологии Плутарха. Вместе с тем покладистость и гибкость, столь типичные для Плутарха, очень определенным образом проявляются и в эклектизме его мышления. В этом направлении толкали его и господствующие умственные течения эпохи, допускавшие самое удивительное смешение идей. Так, например Плутарх, постоянно полемизирующий со стоиками, в то же время во многих случаях в слегка переработанном виде излагает стоические учения, причем иной раз это делается под видом толкования Платона.

Плутарх допускает два существенных в мире начала: Божество, которое расценивается, как начало добра, и Материю, являющуюся условием для существования зла. Сама по себе эта материя безразлична, или, скорее, в ней совмещаются противоборствующие стремления: ей присуще тяготение к божеству, но есть в ней и иной принцип, проявляющийся в беспорядочном движении («Об Исиде и Осирисе», 45, р. 369a — d, «О рождении души в Тимее», 6—7, р. 1014 d сл.). Для создания мира «единое» (монада) соединяется с неопределенной двойственностью, (неопределенной диадой); первое понимается как начало формирующее, второе — как нечто приемлющее форму. Наряду с этим дуалистическим взглядом в плутарховской космологии встречаются, однако, и представления, близкие к историческому монизму: душа как один из составляющих мир элементов понимается не только как сознание божества, но и как часть его («Платоновские изыскания», II, 1—2, р. 1001a сл.). Между божеством и материей у Плутарха располагаются идеи («Застольные проблемы», VIII, 2—4, р. 720a сл.). Божество получает определения, характеризующие его как нечто непознаваемое, единое, свободное от всякого становления; лишь действия его доступны человеческому познанию. Необходимыми посредниками между божественным и человеческим у Плутарха оказываются «демоны» (δαίμονες),

частично добрые, частично злые. Наряду с предполагаемым им единым божеством, Плутарх признает и богов греческой народной религии, а также богов иноземных культов.

Если Плутарх эклектичен в своих космологических воззрениях, то в еще большей степени это относится, пожалуй, к его этике, исключительно важной для понимания всего его литературного облика: здесь уживаются вместе элементы этических учений платоников и перипатетиков (особенно Феофраста), стоиков и последователей Эпикура. Все это основано у Плутарха на традиционной системе морали.

Основные черты той моральной атмосферы, которая пронизывает литературное творчество Плутарха и, по-видимому, была типична и для быта его и его близких, складываются уже в эллинистическое время.

Давно миновало то время, когда для этического сознания грека правила поведения в разных случаях жизни определялись условиями существования внутри полиса, где были органически связаны индивид, семья, род и гражданская община в целом.

В эпоху эллинизма полисные связи оказываются разорванными, и люди руководствуются в своих поступках и этических суждениях понятиями менее определенными и более широкими, чем старые полисные категории. Характерно, что в своих рассуждениях Плутарх охотно пользуется этической терминологией, совпадающей во многих пунктах с терминологией Полибия; это важно не только как доказательство широкого использования разнородных источников, но и как выявление эллинистических корней плутарховского мировоззрения.

В самом деле, и для Плутарха человек со своей семьей и близкими людьми имеет этические обязательства по отношению к двум социальным образованиям: к своему родному городу (именно эти обязанности Плутарх и в теории, и в жизненной практике всячески старается вновь сделать живыми и священными) и к гораздо более универсальному целому, к римской империи. Большинство греческих авторов, современников Плутарха, относятся к Риму холодно и равнодушно. Иное отношение проявляет Плутарх. Правда, всем своим существом он погружен в созерцание прошлого величия Греции: с младенчества он дышит воздухом, насыщенным историческими воспоминаниями: его дед и прадеды были непосредственными участниками событий I в. до н. э. И в Херонее, и в Дельфах он находится в непосредственной близости к знаменитым памятникам прошедших времен. Но преемственно переданные Плутарху взгляды и вкусы сочетаются у него с ясным учетом действительного соотношения исторических сил в его время, с убеждением в стойкости и прочности империи, которая рисуется ему как действенный синтез двух начал — греческого и римского («Политические наставления», 17 р. 814 слл.; 32, р. 824b; «Филопемён», 17). Наиболее ярким выражением этого убеждения является общая архитектоника его «Жизнеописаний» с их постоянным методом сравнения крупнейших деятелей обеих стран. Но ни в коем случае не следует думать, что греческая родина Плутарха — для него лишь овеянное романтикой прошлое. Наоборот, это нечто совершенно реальное и путь к этой реальности проходит через родной город. Любовь к родной стране согревает Плутарховы писания, и верность и преданность родине органически приводит его и к преклонению перед беотийской культурой: Гесиод и в особенности великий фиванец Пиндар служат для Плутарха источниками наслаждения и жизненной мудрости.

Исходя из такой двойной связанности человека отношениями к родному городу и к универсальной империи, практически совпадающей для него с человечеством в целом, Плутарх разбирает один за другим вопросы этики:

моральное самовоспитание, обязанности по отношению к родным, брак, дружба, разнообразнейшие формы поведения человека в обществе.

Для Плутарха «аретэ» (добродетель, доблесть)⁵ — нечто такое, чему можно научить («О том, что добродетели можно научить»); из этого основного факта немедленно делаются практические выводы: моральными предписаниями и советами испещрены его трактаты. Преобладание этических элементов в мировоззрении Плутарха сказывается в его отношении к традиционным образам богов: он старается наполнять их нравственным содержанием и в трактате «О суеверии», идя по стопам Феофраста, отбрасывает с негодованием всякое стремление приписывать богам мелочность, раздражительность, мстительность.

Вместе с тем он очень далек от желания сделать всех людей безупречными образцами универсальных и однообразных добродетелей. Тут ему помогает большое чувство реальности, здравый смысл и добродушие. Моральные достоинства понимаются им чрезвычайно широко. Это проявляется и в общих рассуждениях, характерных для «Нравственных сочинений», и в индивидуальных человеческих образах «Жизнеописаний».

Особенностью плутарховской этики, выделяющей ее среди других моральных учений ранней империи, является дружественное отношение к людям (филантропия, человеколюбие). Термин этот, проявляющийся в литературе греков задолго до Плутарха (начиная с IV в. до н. э.), именно у него достигает наибольшей полноты своего значения и максимальной выразительности. В понятие филантропии входит, с одной стороны, дружественное и товарищеское чувство по отношению к людям, основанное на ясном понимании присущих им обычно слабостей и нужд, а вместе с тем сознание необходимости действительного и постоянного вмешательства в судьбу бедствующих людей для помощи и поддержки их. Расширяя и обогащая свое содержание, Плутархово понятие филантропии начинает включать в себя и чувство гражданской солидарности, и доброту, и душевную деликатность, и простую вежливость. Она может быть направлена как на людей, так и на богов, и на животных. В конце концов в качестве нормы поведения устанавливается требование «составлять единое целое с народом и быть человеком вместе с людьми» (Политические наставления, 31, р. 823b).

Участие в политической жизни, хотя бы в муниципальных рамках, рассматривается Плутархом как высокий гражданский долг; старость, обогащенная житейским опытом, рисуется ему особенно подходящей для этого частью жизни. С исключительным вниманием и любовью подходит Плутарх и к вопросам семьи и брака; всюду, где он касается этих тем, самый стиль его обретает особую патетичность.

Плутарховский идеал семейного устройства исходит из своеобразного, очень для него характерного представления о достоинстве женщины. Он одинаково далек как от классического афинского пренебрежения к интеллектуальным способностям женщины, так и от сочувствия эмансипации того типа, на который горько сетуют римские сатирики его времени. Плутарх видит в женщине союзницу и подругу мужа, стоящую отнюдь не ниже его, но на него непохожую и имеющую свой круг дел. Поэтому такую большую роль играет в произведениях женская «аретэ» — доблесть, проявляющаяся наравне с мужскою в важнейших делах государства⁶ и вместе с тем сохра-

⁵ См. И. И. Толстой. К содержанию античных терминов «ареталог» и «ареталогия». («Язык и мышление», т. XI, 1948, стр. 292 слл.)

⁶ См., например, историю Хилониды («Агид», 17—18), Кратесиклен («Клеомен», 38), Корнелии («Гай Гракх», 19), Агесистраты («Агид», 20).

няющая свои особые качества. Поэтому столько внимания уделяется лаконским женщинам; именно в древней Спарте Плутарх находит наиболее близкие своему идеалу типы.

Плутарх не согласен с мнением Фукидида⁷, считающего наилучшей женщиной ту, о которой меньше всего говорят; он вполне одобряет требование Горгия, чтобы не красота, но слава женщины была известна всем, и римский обычай, повелевающий воздавать после смерти похвалу женщинам наряду с мужчинами. Конечно, муж все-таки рассматривается, как руководитель и воспитатель жены, однако воспитание это должно быть широким и разносторонним: в круг женского образования должны входить и философия и математика («Брачные наставления», 48, р. 145bc). Любопытно, что свои труды Плутарх во многих случаях обращает к женщинам: так, сочинение «Об Исиде и Осирисе» и книга «О доблестях женщин», адресованы афинской жрице Клее.

В решение семейной проблемы Плутарх вносит еще один штрих, не свойственный идеологии старинного греческого быта. Вся поэзия любви переносится у него в недра семьи. В свете таких убеждений Плутарха надлежит оценивать и особое его внимание к брачным обычаям Спарты («Ликург», 14—15), и его новеллистически обработанные «О доблестях женщин», и тот факт, что, говоря о Менандре, он прежде всего подчеркивает огромную роль любовных переживаний в его комедиях. Все эти взгляды Плутарха изложены в его «Брачных наставлениях».

4. СТИЛЬ «НРАВСТВЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ»

Как художник Плутарх использует различные жанры, разработанные предшествующими поколениями, прежде всего авторами эллинистической эпохи. Так, подавляющее большинство «Нравственных сочинений» дано в форме диалога или диатрибы; иногда автор облачает свои мысли в форму письма; в некоторых случаях он строит свои рассуждения в виде вопросов, на которые тут же даются ответы. Наконец, иногда появляются законченные маленькие новеллы.

Диалог был классической формой философской прозы уже начиная с IV в. до н. э., причем он больше всего был распространен в сократических философских школах.

Для Плутарха образцом диалогической манеры, наряду с Платоном, послужило творчество ученика и последователя Платона, Гераклида Понтийского, увлекавшегося пифагореизмом и склонного к математическим и астрономическим умозрениям. Гераклид создал особый тип философского диалога с занимательным сюжетом, в котором находили себе место и пифагорейские рассуждения о посмертных судьбах души.

В ранних диалогах Плутарх подчас переносит действующих лиц в фантастическую обстановку. В «Грилле» действие происходит на острове Кирки, где превращенный волшебницей в животное эллин Грилл подробно доказывает Одиссею превосходство животных над людьми; возможно, что в основе этого диалога лежит произведение кого-нибудь из древних софистов. Манера Гераклида Понтийского воспроизводится, по-видимому, в «Пире семи мудрецов», где действие перенесено в отдаленное прошлое; полулегендарные семь мудрецов встречаются на пиру у коринфского тирана Периандра и в застольных беседах проявляют свою находчивость и мудрость афористическими ответами на трудные вопросы. Диалогизированная новелла

⁷ II, 45.

«О демоне Сократа» связывает рассуждения из области демонологии с рассказом об исторических событиях той ночи, когда беотийские изгнанники готовились захватить Кадмею. В этом диалоге калейдоскопическая смена действующих лиц и эпизодов объясняется, вероятно, тоже стилем Гераклида.

Вместе с тем — и это обычно рассматривают как особенность плутарховской манеры — самая беседа протекает у Плутарха в чрезвычайно мирных тонах. Труднейшие вопросы и значительные расхождения во мнениях утрачивают свою остроту: если среди действующих лиц диалога имеется кто-либо, в силу своей философской ориентации внушающий опасение, что чинность и мир будут нарушены, то такой подозрительный спорщик устраняется тем или иным путем. Выбираются судьи, которые должны способствовать упорядочению спора. Обычно решение бывает компромиссным: каждая из сторон оказывается в какой-либо мере правой.

Одним из излюбленных способов построения диалога является деление его на две половины: первая часть мыслится происходящей во время прогулки, а затем участники беседы — обычно это совпадает с переломным моментом разговора — садятся и продолжают спор, отдыхая от ходьбы («Об оракулах Пифии», «О лице на диске луны»). По примеру Платона в разговор вставляются мифы, служащие для изложения положительных взглядов («О людях, поздно наказанных божеством»). Иногда диалог переходит в связное и непрерывное изложение мысли — нечто вроде лекции.

В нескольких диалогах Плутарх обновляет забытую форму литературных симпосиев. Древний обычай поучительных бесед за пиршественным столом, устраивавшихся по установленному строгому чину и придававших такой своеобразный колорит греческим совместным трапезам (симпосий дословно значит совместное питье), уже в классическую эпоху привел к созданию особого литературного жанра симпосиев, отдельные образцы которого сохранились (Платон, Ксенофонт). В эллинистическую пору этот жанр культивировался сравнительно мало, а в эпоху империи снова начинает распространяться как у римских авторов, пытавшихся уже раньше возродить его, так и у греческих. Немалую роль в этом сыграл Плутарх. Во введении к «Застольным проблемам» он хочет оправдать свое обращение к этой форме.

«Застольные проблемы» — произведение очень внушительного размера; оно состоит из девяти книг, распадающихся на отдельные проблемы. В сущности говоря, это цикл диалогов, местом действия которых оказываются то Афины, то Рим, то Коринф, то Беотия, и которые часто носят несомненно автобиографический характер. По первоначальному замыслу Плутарха, это записи подлинных застольных разговоров; впоследствии, однако, к ним многое было прибавлено. Автор проводит перед читателем целую галерею своих друзей и родных, причем сам он выступает неоднократно как центральный персонаж беседы и ее руководитель. В дружеском кругу единомышленников ставятся и обсуждаются вопросы, поражающие своим разнообразием и часто даже нелепостью. Например: следует ли философствовать за вином? почему пожилые люди лучше читают издали? что появилось раньше, курица или яйцо? почему на свадьбах приглашают на пир как можно больше гостей? возможно ли, чтобы возникли новые болезни, и по каким причинам это может произойти? почему мы меньше всего верим осенним снам? которую руку Афродиты ранил Диомед?

Для плутарховской эрудиции и тяги к коллекционированию достопримечательностей форма симпосия, дававшая неограниченные возможности разнообразить тематику и играть цитатами, была особенно удобна.

Вместе с тем уже со времени Платона⁸ жанр симпозиа допускал всякого рода вводные эпизоды, оживлявшие ход повествования. Плутарх широко использует эти возможности в «Пире семи мудрецов». В манере симпозиа написан также диалог «О музыке».

Размеренность и сдержанность, вытекающие из всего мировоззрения Плутарха и отличающие его стиль, не покидают его даже в диатрибах, которые имеют у него характер спокойного и непринужденного рассуждения, иногда напоминающего лекцию.

Многие произведения, входящие в «Нравственные сочинения», оформлены в виде письма. Здесь Плутарх снова выступает как преемник эллинистических писателей (в частности как приверженец Эпикура), весьма охотно излагавших свои учения в литературных письмах. Однако наиболее интересная и характерная черта эпистолярного жанра — возможность разнообразить манеру изложения в зависимости от индивидуальных особенностей как адресата, так и автора, — Плутархом обычно не используется. Лишь выбор темы может служить для характеристики отношений между Плутархом и такими его корреспондентами, как Клея («Об Исиде и Осирисе») или Поллиан и Эвридика («Брачные наставления»).

Совершенно особое место среди сочинений Плутарха занимает маленькое собрание рассказов о героических поступках женщин, известное под названием «О доблестях женщин». В начале сборника помещено обращение к той же Клее: Плутарх считает необходимым для уразумения сходства и различия в мужской и женской доблести сравнить жизнь и деяния знаменитых мужчин и женщин. Он собирается рассказать наиболее славные случаи женского героизма, избегая, однако, слишком известных; при этом он сначала приводит примеры коллективного героизма, а затем индивидуального. И действительно, сперва следуют сказания о деяниях троянских, фокейских, кельтских и других женщин. Иногда появляются рассказы, заимствованные из его же «Жизнеописаний» («Валерия и Клелия», «Попликола», 19). Изложение иной раз носит сжатый и конспективный характер («Стратоника», «Хиомара»), иногда же рассказ подробен и включает речи действующих лиц. Рассказы являются небольшими новеллами исторического или, реже, мифологического содержания. Техника рассказов зачастую напоминает повествовательную манеру греческого романа (например «Аретафила», р. 257 df).

Характер собрания материалов имеют некоторые труды Плутарха, построенные в виде серии слабо связанных между собою вопросов и ответов на них. Таковы «Римские проблемы» и «Греческие проблемы». Такие же вопросы с обширными ответами на них составляют собрание «Платоновых проблем» — комментарий к избранным спорным местам Платона.

5. СТИЛЬ «СРАВНИТЕЛЬНЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ»

Создавая свои «Жизнеописания», Плутарх неоднократно и с совершенной определенностью подчеркивал, что он ни в коем случае не собирается писать историю. Для него существовало очень серьезное различие между историческим и биографическим жанрами, и только последним собирался он заниматься: «ибо мы пишем не исторические труды, а жизнеописания» («Александр», 1). Основное отличие их друг от друга состояло в том, что история повествует о деяниях народов и мужей, жизнеописание же изображает характер («этос») человека. Для понимания этоса автору биографии

⁸ См. «Пир».

нужны материалы, лишь частично совпадающие с тем, что интересует историка; наоборот, часто данные, не интересные для историка, бывают драгоценными для биографа: «...и самые славные деяния не всегда бывают отмечены проявлением «доблести» или «порочности»; и часто незначительный поступок, слово и какая-нибудь шутка способствуют обнаружению характера больше, чем... громадные сражения и осады городов» («Александр», 1). Совершенно аналогичным образом во вступлении к биографии Никия он говорит о своем намерении кратко коснуться содеянного Никием — лишь настолько, чтобы избежать упрека в небрежности. Между тем «... все не замеченное большинством авторов, другими же сказанное между прочим, сохранившееся в надписях на древних приношениях или в постановлениях, я постараюсь собрать, но не с тем, чтобы копить бесполезные сведения, а чтобы передать необходимое для уразумения характера и нрава» («Никий», 1). Здесь необходимо подчеркнуть, что вопреки утверждению самого Плутарха, всячески избегающего называть себя историком и ставящего перед собой определенные задачи лишь этического и эстетического порядка, в его «Жизнеописаниях» проглядывает, хотя и неявно сформулированная, но определенная социальная тенденция. В основу этого труда положена идея индивидуализма и вера в выдающуюся личность, творящую и изменяющую исторические события по своему желанию. Своей задачей Плутарх ставит внедрение в сознание людей определенных этических ценностей, или добродетелей, позволяющих человеку развить всю совокупность заложенных в него природой возможностей. Добродетели же и пороки лучше всего постигаются на исторических примерах. Личность понималась Плутархом статически, как некий законченный в себе характер; вот почему Плутарх, как правило, не интересуется детством и юношеством своих героев, как этапами становления личности; все его внимание обращено на период расцвета, когда характер уже сформировался. К тому же личность в биографиях Плутарха оказывается вне связи с формирующими ее социальными силами.

Вопрос об источниках плутарховских «Жизнеописаний» вызвал на свет обширную литературу. Не подлежит сомнению, что Плутарх широко пользовался как трудами историков классического периода Греции, так и эллинистической историографией. Вместе с тем столь обычные у Плутарха цитаты, анекдотические рассказы, остроты и удачные словечки иногда берутся, быть может, из готовых сборников. Для римских биографий он добросовестно использовал все, что мог найти у писавших по-гречески историков Рима (например Дионисия Галикарнасского, Юбы), привлекая, особенно для ближайшего прошлого, и подлинные мемуары (Цезарь, Август, Мессала). С латынью он, несомненно, был знаком, но далеко не в совершенстве владел чужим языком.

Необходимо отметить, что Плутарх, особенно в «Жизнеописаниях», любил останавливать внимание читателей на мелких биографических штрихах, на незначительных поступках героя, на случайно брошенных им словечках, на всем том, что, хотя и не входит в категорию важных событий, оказывается, однако, существенным для раскрытия характера человека. Часто Плутарх сохраняет типичные мелочи повседневной жизни и с особым вкусом и талантом приписывает историческим героям различные остроты, афоризмы и оригинальные поступки. Нет никакого сомнения, что весьма многие из исторических высказываний знаменитых людей и исторических анекдотов о них именно благодаря Плутарху получили всемирную известность. Таковы, например, слова Цезаря о том, что он предпочел бы быть первым в маленьком городе, чем вторым среди римлян; что жены Цезаря даже и подозрение не должно касаться («Цезарь», 11, 10); заявление

Александра Македонского, что, если бы он не был Александром, он был бы Диогеном («Александр», 14); изречение Фемистокла о лаврах Мильтиада, не дающих ему спать («Фемистокл», 3; в подлиннике речь идет не о лаврах, а о победном трофее), и множество других. Сюда же относятся такие давно ставшие классическими рассказы, как укрощение Александром Македонским Букефала («Александр», 6), первоначальная неудача и последующая, приведшая к ораторскому триумфу, тренировка Демосфена («Демосфен», 6, 7), обычаи и нравы спартанцев («Ликург»), Алкивиад, отрубивший хвост своей собаке («Алкивиад», 9), смерть Архимеда («Марцелл», 19) и т. п.

Все эти черты делают «Сравнительные жизнеописания» Плутарха чтением и занимательным, и полезным. Однако, наряду с положительными качествами следует отметить и некоторую неразборчивость Плутарха в отношении используемых им источников, отсутствие критического отбора их и твердых политических установок. Это становится особенно ясным при внимательном чтении биографий лиц, деятельность которых протекала одновременно, но преследовала различные политические цели; так, например, биографии Цезаря и Помпея, Мария и Суллы, обоих Катонов, братьев Гракхов написаны то с позиций сенатской партии, то выражают полную симпатию к стремлениям демократии.

6. ЯЗЫК ПЛУТАРХА

Понимание особенностей плутарховского языка затрудняется тем обстоятельством, что через словесную ткань его произведений часто просвечивают разнообразные речевые стили его источников. Помимо этого, и сам Плутарх владеет разными оттенками речи, весьма искусно придавая своим произведениям то характер спокойной деловитости — господствующий стиль «Жизнеописаний», — то патетический характер, как, например, в ранних своих риторических декламациях (хотя бы декламации об Александре), то характер литературной инвективы (в полемике с эпикурейцами и стоиками).

Плутарх близок к традициям аттицистов и с неодобрением относится к Горгию и азианцам; вместе с тем он лишен предвзятости в стилистических оценках и является противником излишеств строгого аттицизма: ему нравятся, например, острые и циничные обороты речи киника Биона. Он не боится обновлять свой словарь и не принадлежит к числу пуристов.

Среди применяемых Плутархом средств художественной выразительности прежде всего надо назвать отмеченное Эразмом Роттердамским исключительно частое применение сравнений; из одних сравнений состоят иногда целые трактаты (например «Брачные наставления»). Для всего склада мышления Плутарха типично стремление подмечать сходство между предметами, даже очень далекими и разнородными. Эти сравнения частично являются некоторым общим достоянием греческого литературного языка, например, сравнения из области мореходства, но в большинстве случаев они созданы художественной фантазией самого Плутарха.

Следует отметить также наличие довольно большого количества метафор, что проявляется преимущественно в эмоционально приподнятых местах, но и помимо этого применяется для придания большей выразительности тем или иным высказываниям⁹.

⁹ Например De def. oraculorum, 5, p. 411 — «Засуха пророчаний», причем дальше этот образ развертывается. См. также De curiositate, 3, p. 516 слл.

Риторическая культура сказывается, между прочим, и в неоднократном использовании басенных мотивов¹⁰, пословиц и в изобилии сентенций, в форме которых даются запоминающиеся и ясные формулировки важнейших положений плутарховской морали¹¹.

Наконец, стиль Плутарха приобретает особый колорит, благодаря неимоверному количеству цитат, прозаических и поэтических, которыми он придает разнообразие и силу своему языку¹². Выбор этих цитат диктуется литературными вкусами Плутарха. Наряду с Гомером и трагиками широко представлены и беотийские соплеменники автора — Гесиод и в особенности Пиндар.

7. СОЧИНЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ПЛУТАРХУ

Рукописи Плутарха содержат ряд произведений, подложность которых в настоящее время не вызывает сомнений. Сюда следует отнести «Изречения царей и полководцев», «Спартанские изречения», «Спартанские установления», «Изречения спартанок». Многие материалы в этих рукописях почерпнуты из произведений Плутарха.

Подложными признаются также многие сочинения, возникшие, по-видимому, под непосредственным влиянием литературной манеры Плутарха. Наибольшего внимания заслуживают трактаты: «О жизни и поэзии Гомера», «Любовные повествования», так называемые «Меньшие параллели», «Об учениях философов»¹³, «Биографии десяти ораторов», «Александрийские пословицы».

¹⁰ *Septem sapientum convivium*, 4, p. 150; 13, p. 156; 14, p. 157; *De Pythiae oraculis*, 14, p. 401 b.

¹¹ Например *De superstitione*, 3, 5, 6.

¹² Конечно, цитаты эти используются им и как документальные источники для установления тех или иных фактов.

¹³ Это сочинение восходит, как доказывает Дильс (*Doxographi Graeci*), к утраченному труду доксографа Аэтия (ок. 100 г. н. э.), на которого в современной научной литературе и делаются ссылки.



Глава IX

НАУЧНАЯ ПРОЗА I—III ВВ. Н. Э.

1. Иосиф Флавий.— 2. Флавий Арриан.— 3. Аппиан.— 4. Дион Кассий Коккеян.— 5. Геродиан.— 6. Полиен.— 7. Павсаний.— 8. Диоген Лаэртский.

1. ИОСИФ ФЛАВИЙ

Иосиф Флавий родился в Иерусалиме в 37 г. н. э. в знатной еврейской семье; по матери он происходил из царского рода Маккавеев, чем гордился всю жизнь. Чрезвычайно одаренный, он с самых юных лет заслужил славу знатока священных книг и в возрасте немногим более 20 лет уже стал священником храма в Иерусалиме, что считалось величайшей честью. Одно время он увлекался аскетическими учениями секты ессеев и ушел со своим учителем в пустыню; но жизнь отшельника не пришлась по душе талантливому и честолюбивому юноше, и он снова вернулся в Иерусалим, где принимал живое участие в религиозных и политических делах. Из трех главных религиозных группировок того времени: фарисеев — представителей богатого среднего класса, аристократических саддукеев и народных проповедников, ведших замкнутый образ жизни и проповедовавших свое учение втайне, Иосиф, несмотря на свое аристократическое происхождение, был ближе всего к фарисеям.

Политическое положение в Иудее в то время было крайне сложным: народ, привыкший к относительно широкой свободе при своих царях и хранивший в памяти героические предания эпохи Маккавеев, с трудом мирился с властью римлян; особенно оскорбляло евреев вмешательство римлян в религиозные дела, чего не было даже во времена «вавилонского пленения». В любое время могло вспыхнуть восстание во всей стране, а отдельные столкновения между местным населением и римскими гарнизонами почти не прекращались.

Когда Иосифу было 30 лет, несколько старых ученых книжников по обвинению в призывах к смуте были арестованы и отосланы в Рим, где их содержали в цепях в тюрьме. Ходатаем за них был выбран Иосиф, который и отправился в Рим, где в это время имелась уже значительная еврейская община, большей частью состоявшая из крупных купцов и пользовавшаяся благосклонностью жены Нерона, Пoppей. С помощью одного известного актера, еврея, Иосиф добился аудиенции у императрицы, по распоряжению которой его просьба была выполнена, и Иосиф с освобожденными старцами вернулся в Иудею. Слава его с этих пор еще более возросла.

В 64—66 гг. правителем Иудеи был Гессий Флор; его жестокое обращение с населением переполнило чашу терпения, вспыхнуло восстание даже в отдаленной от Иерусалима Галилее, где Иосиф был в это время пра-

витеlem. Первые столкновения евреев с римлянами были удачны для евреев и еще больше разожгли их ненависть к поработителям. Вся страна распалась на две партии — «зелотов» (воинствующих), призывавших к вооруженной борьбе с Римом, и «умеренных», считавших, что необходимо найти какие-то возможности для примирения с Римом, так как война с ним безнадежна. Иосиф принадлежал ко второй партии и жестоко враждовал с «зелотами»; но когда римляне, обеспокоенные беспорядками в Иудее, послали туда большое войско под начальством Веспасиана, Иосиф стал на сторону повстанцев, мужественно руководил защитой крепости Иотапаты, а когда крепость пала, с немногими спасшимися ее защитниками скрывался в пещерах в ближайших горах, пока римляне не оцепили и этого убежища. Тогда большинство из уцелевших при взятии Иотапаты покончили с собой, а Иосиф сдался римлянам и был приведен к Веспасиану. К этому моменту относится следующая легенда. Иосиф будто бы предсказал Веспасиану, что тот будет императором, и предложил оставаться в цепях до тех пор, пока это не случится: если же его предсказание не исполнится, то пусть Веспасиан его казнит. Веспасиан, заинтересованный предсказанием, но еще не поверивший ему, оставил Иосифа в живых и взял его с собой в Египет; в день, когда он был провозглашен императором, он велел снять с Иосифа цепи, и с этих пор тот занял привилегированное положение при дворе, которое сохранил и при Тите, и при Домициане; с разрешения императора он присоединил к своему имени фамилию Флавий. Из Египта он поехал сопровождать Тита под осажденный Иерусалим и присутствовал при страшной катастрофе, постигшей еврейский народ; по его просьбе Тит разрешил ему спасти некоторые священные книги и выбрать 50 человек из приговоренных к смерти. После падения Иерусалима Иосиф жил в Риме в собственном дворце; здесь он и написал все свои произведения: «Иудейскую войну», «Иудейские древности», «Против Апиона» и автобиографию. Флавии почтили Иосифа, поставив его бюст в общественной библиотеке между бюстами знаменитых латинских писателей, — настолько благодарны были ему Веспасиан и Тит за то, что он описал их победу над Иудеей. Среди евреев Иосиф Флавий долго считался изменником — и его имя было проклято; лишь постепенно они свыклись с мыслью, что, перейдя к римлянам, он смог создать колоссальный памятник истории еврейского народа в самую героическую эпоху его жизни.

Название главного произведения Иосифа — «Иудейская война» — раскрывает его содержание. Иосиф начинает с подготовительного периода к войне, подробно описывает борьбу партий, приход римлян, осаду Иотапаты, свое пленение и падение Иерусалима. Его история читается как роман; она чрезвычайно драматична. Второе произведение — «Иудейские древности» — менее оригинально; в основной его части Иосиф придерживается порядка событий, изложенных в Библии, далее связывает историю Иудеи с историей Востока и Греции, все время подчеркивая вклад, внесенный евреями в мировую культуру своим учением и священными книгами. Книга «Против Апиона» является апологетическим сочинением, направленным против жившего в Египте ненавистника евреев, распространявшего про них самые низкие клеветнические слухи и доказывавшего их позднее происхождение и некультурность; Иосиф очень резко полемизирует с Апионом и доказывает, насколько древней и высокой культурой обладает еврейский народ. Полемический тон автобиографии Иосифа вызван тем, что другой ученый, тоже еврей, противник Иосифа Юст Тивериадский, написал историю Иудейской войны, где роль Иосифа была изображена иначе, чем в его собственной книге, — он был представлен почти как

зелот, только из страха перешедший на сторону римлян, т. е. как нетвердый и трусливый человек. Иосиф защищает от этих обвинений, но свою деятельность в «Иудейской войне» он излагает иначе, чем в автобиографии, где изображает себя чуть ли не с самого начала сторонником римлян.

К концу жизни Иосиф, по-видимому, вернулся к богословским интересам своей юности, так как известно, что он хотел написать несколько теософских сочинений, но не успел сделать этого; он умер в Риме 58 лет от роду.

Литературные произведения Иосифа чрезвычайно своеобразны, причем наиболее характерна для него «Иудейская война», написанная не вполне правильным греческим языком (есть сведения, что первый вариант был написан Иосифом на родном языке); она производит впечатление своей страстностью и яркостью образов. Крупное литературное дарование Иосифа не подлежит сомнению; описывает ли он красоты мирной Галилеи или дает страшные картины пожара храма и голода в Иерусалиме, он всюду находит такие выражения, которые производят на читателя неотразимое впечатление; но именно в этой страстности и эффектности заключается и слабая сторона сочинения Иосифа: оно слишком ярко, чтобы быть полностью правдивым; дело не в преувеличении ужасов войны — они, несомненно, были таковы, — но в чрезвычайно желчном, озлобленном тоне, которым он говорит о своих противниках, и в постоянном стремлении выставлять себя вперед. Иосиф не скрывает своих поступков, которые могут показаться дурными, но всегда их оправдывает. Излишнюю склонность он питает к речам. Таких длинных речей, какие он, по его уверению, произносил под стенами Иерусалима, нельзя произнести не только под стенами осажденного города, но даже и в мирной обстановке.

Преданность Иосифа Иудее, которая, несмотря на то, что он стал почти римлянином и был женат на гречанке из Египта, сквозит в каждой его строке, сглаживая то неприятное впечатление, которое нередко остается от его злобных, зачастую мелочных полемических выпадов против недоброжелателей, особенно против Юста.

2. ФЛАВИЙ АРРИАН

Жизнь Арриана была описана Дионом Кассием, но это сочинение не дошло до нас. Мы имеем биографические сведения о нем у Свида, Фотия и Лукиана.

Арриан жил приблизительно между 95 и 175 гг. н. э. Он родился в Никомедии, главном городе малоазийской провинции Вифинии. В своих сохранившихся сочинениях он почти не говорит о себе, гордо заявляя: «Нет никого на свете другого [кроме Александра], кто совершил бы столь многочисленные и столь великие подвиги среди эллинов или варваров. Вот что побудило меня самого писать эту историю: я не считаю себя недостойным поведать миру подвиги Александра. А кто, я, думающий так о себе? Имя свое надписывать мне нет никакой надобности (оно общеизвестно людям), а равно и говорить, какое мое отечество, какой мой род, занимал ли я на родине какую-нибудь должность. Только то заявляю я, что мои писательские труды и есть мое отечество, род, должности и этим были они для меня с самой молодости. Вот почему я не считаю себя недостойным числиться среди первых писателей, писавших на эллинском языке, коль скоро Александр был первым среди людей, носивших оружие¹ («Поход Александра», I, 12,4—5).

¹ Цитаты из произведений Арриана даны в переводе С. И. Соболевского.

Время его деятельности приходится на царствование императоров Адриана (117—138 гг.), Антонина Пия (138—161 гг.) и Марка Аврелия (161—180 гг.).

В молодости он был учеником стоического философа Эпиктета, вероятно, в то время, когда тот, изгнанный Домицианом вместе с другими философами, жил и учил в Никополе в Эпире.

О других обстоятельствах жизни Арриана мы имеем лишь отрывочные сведения. В какое-то время своей жизни он был жрецом Деметры и Персефоны, в своем родном городе. В зрелом возрасте он был в Риме, занимал государственные должности (следовательно, был римским гражданином); был даже консулом около 130 г. Потом (в 130—131 гг.) император назначил его наместником (*legatus Augusti pro praetore*) в провинцию Каппадокию. Эту должность он оставил незадолго до смерти императора Адриана (138 г.). Со смертью этого императора прекратилась его государственная деятельность в Риме — по какой причине, неизвестно; может быть, он впал в немилость; может быть, сам добровольно оставил службу. В 146—147 или 147—148 гг. мы видим его в Афинах, занимающим провинциальную должность архонта, как сказано в одной надписи (следовательно, он был и афинским гражданином), — должность, конечно, очень незначительную сравнительно с должностью императорского легата. После этого, он, по свидетельству двух надписей, занимал еще менее почетную должность притана филы Пандиониды в Афинах, в первый раз неизвестно когда, во второй раз в 171—172 гг. Судя по этому, надо думать, что последние годы жизни он провел в Афинах.

Неизвестно, почему Арриан, грек, носил римское имя Флавий; может быть, его отец получил римское гражданство и это имя от какого-нибудь императора из рода Флавиев.

Арриана называли «младшим Ксенофонтом» (*νέος Ξενοφών*) — потому ли, что его отношения к Эпиктету были похожи на отношения Ксенофонта к Сократу, или по какой-либо другой причине. Этим прозвищем он охотно именовал себя². Сходство свое с Ксенофонтом, по его собственному признанию, он видел в том, что носил то же имя, имел гражданство того же города, в молодости так же усердно занимался «охотой, стратегией и мудростью».

Арриан был плодовитым и разносторонним писателем. До нас дошли в целом виде или в значительной части следующие его сочинения:

1. Философские: а) «Рассуждения Эпиктета» в восьми книгах, из которых сохранились только первые четыре; б) «Руководство Эпиктета».

2. Исторические и географические: а) «Поход Александра» в семи книгах; б) «Описание Индии»; в) «Плавание вокруг Понта Эвксинского».

3. Разные: а) «Тактика»; б) «Об охоте»; в) «План наступления [римского войска] против аланов».

От остальных до нас дошли только отрывки или даже одни заглавия.

Первыми по времени работами Арриана были, вероятно, философские, в которых он излагал учение Эпиктета; в них он выказывает себя глубоко преданным своему наставнику учеником. Он составил запись рассуждений Эпиктета, как Ксенофонт записал беседы Сократа. Сочинение это нельзя назвать вполне самостоятельным произведением Арриана: как он сам говорит в предисловии к «Рассуждениям», он попытался записать для себя на память рассуждения учителя его подлинными словами, и эти записи по-

² В сочинении «Об охоте» он прямо называет себя «Ксенофонт-афинянин». Настоящего Ксенофонта, в отличие от себя, он называет «Ксенофонт старший» (*Periplus*, 12, 5).

мимо его воли и без его ведома попали в руки людей. Но, кажется, это заявление автора надо принимать *cum grano salis*: слог этого сочинения хотя и разговорный, но обработанный и едва ли мог исходить из уст Эпиктета буквально в таком виде.

Первым по времени из других сочинений Арриана должно было быть «Плавание вокруг Понта Эвксинского». Оно написано в виде письма к императору Адриану в то время, когда Арриан был наместником Каппадокии в 131 или 132 г. Сочинение делится на три части: в первой содержится описание южного берега Черного моря к востоку от Трапезунта и восточного берега до Диоскуриады (главы 1—11); во второй части описывается южный берег от Босфора (Константинопольского пролива) до Трапезунта (главы 12—17); в третьей части описывается восточный, северный и западный берега от Диоскуриады до Босфора (главы 18—25). Таким образом, это описание касается и тех берегов Черного моря, которые составляют часть нашей страны.

Первая часть «Плавания» есть переделка на греческом языке официального, написанного на латинском языке рапорта, на который Арриан в двух местах ссылается.

Вторая и третья части прибавлены автором уже после и составлены не на основании личных наблюдений, а заимствованы из аналогичных сочинений других писателей. Этим, вероятно, и объясняется такое странное и беспорядочное описание путешествия.

Помимо обычных географических и этнографических данных, особенно указаний расстояний в стадиях между отдельными пунктами побережья, «Плавание» содержит сведения военно-политического характера, а также несколько мифологических экскурсов.

Рапорт был составлен Аррианом по следующей причине: будучи назначен правителем Каппадокии, которая подвергалась с востока набегам массагетского племени аланов, он счел необходимым осмотреть пограничные крепости, усилить в них гарнизоны и укрепить важные в стратегическом отношении пункты побережья. С этой целью он предпринял со своим флотом объезд Черного моря из Трапезунта вплоть до крепости Диоскуриады (близ теперешнего Сухуми), конечного пункта подвластной в то время римлянам территории. При этом он старательно отметил все реки, пристани, города и расстояния между ними в стадиях.

«Плавание» прекрасно иллюстрирует положение в восточной части Черного моря в эпоху расцвета Римской империи. Значение его ослабляется тем, что некоторые сведения, в особенности те, которые касаются западной части Черного моря, ввиду их противоречий с другими сведениями, относящимися к той же эпохе, признаны критикой позднейшими вставками. Напротив, подлинность сведений, касающихся кавказского побережья, подтверждается эпиграфическими данными, в частности сухумской надписью, упоминающей самого Арриана. Жаль, что слишком кратко описано северное побережье Черного моря от Боспора Киммерийского (т. е. Керченского пролива) до Истра (т. е. Дуная).

В литературном отношении «Плавание», конечно, нельзя считать вполне художественным произведением, так как в первую очередь оно преследует практические цели, но во всяком случае оно написано хорошим античным языком и превосходит литературными достоинствами другие сочинения этого жанра.

Главное историческое сочинение Арриана из числа дошедших до нас — это «Поход Александра», дополнением к которому служит «Описание Индии».

В этом сочинении ясно выражено уважение автора к Ксенофону: сюжет его (поход против Персии) аналогичен сюжету «Анабасиса» Ксенофонта; заглавие то же самое; даже деление на семь книг такое же, как у Ксенофонта. Сочинение это сохранилось почти полностью, за исключением пропуска в главе 12 книги VII. Характерен самый подход Арриана к теме: автор восхищается подвигами Александра и высказывает желание поведать о них миру. «Анабасис» Арриана не есть полная история Александра; в нем нет рассказа о детстве и юности полководца; это история его походов.

Арриан — в высшей степени правдивый и достоверный источник, лучший из всех, писавших об Александре. Беспристрастие заставляет его, несмотря на восхищение своим героем, указывать и на дурные черты его: «Хотя я порицал в своей истории некоторые поступки Александра, тем не менее я не стыжусь восхищаться им самим; а те поступки я осуждаю» (VII, 30). Но для того, чтобы сделать историю достоверной, мало одного желания автора; это зависит главным образом от выбора источников. В этом отношении Арриан высказал критический талант: выбрав самые надежные источники и следуя им, он относился к ним все-таки критически. Чтобы оценить этот критический талант Арриана, необходимо вспомнить о той громадной полулегендарной литературе, которая создавалась после смерти Александра и подготовила рано начавший складываться сказочный, облеченный весь мир знаменитый «Роман об Александре». До нас дошли имена некоторых из этих историков Александра, но все сочинения их погибли. Тем важнее для нас, конечно, сочинение Арриана. Из этой массы историков Арриан выбрал двух: Птолемея и Аристубула, которые сами участвовали в походах Александра и описали их правдиво. Птолемей, сын Лага, был одним из полководцев Александра, впоследствии — первым царем Египта, основателем Александрийской библиотеки. Спустя много времени после смерти Александра Птолемей описал его походы на основании своих воспоминаний и, может быть, официальных документов. Заглавие его сочинения неизвестно. Мы знаем только, что оно касалось преимущественно стратегической стороны похода, он описывал сражения, осады и т. п.

Об Аристубуле известно лишь то, что он участвовал в походе и написал историю Александра после сражения при Иссе в 301 г., тоже спустя много времени после смерти Александра, будучи от роду 84 лет. По-видимому, он не был полководцем. В противоположность Птолемею, он интересуется не военной стороной похода, а описывает страны, народы, реки, растения и т. п. и таким образом дополняет рассказ Птолемея.

Свое отношение к этим писателям Арриан несколько наивно определяет так: «Если они оба сообщают одно и то же, то я это записываю как вполне истинное; а если не одно и то же, то выбираю то, что мне кажется более вероятным и более достойным упоминания... Птолемей и Аристубул мне показались более других заслуживающими доверия: Аристубул, потому что участвовал в походе с Александром, а Птолемей не только потому, что он участвовал в походе, но и потому, что ему как царю было бы более позорно лгать, чем кому-либо другому. Кроме того, они оба писали после смерти Александра, и им не было ни необходимости, ни выгоды писать иначе, чем события происходили на самом деле. Кое-что написано и другими; если что-нибудь из этого казалось заслуживающим упоминания и не совсем невероятным, то я записал это только как рассказы об Александре, не вполне достоверные» (предисловие к «Походу Александра»).

К числу упомянутых здесь Аррианом «других писателей» (кроме Птолемея и Аристубула) относятся Эратосфен, Мегасфен, Неарх, Арист

и Асклепиад, которыми Арриан пользуется главным образом в «Описании Индии». Кое-что (очень мало) Арриан взял из писем Александра и «Дневника» («Эфемериды Александра»), который вел и его секретарь Эвмен и историк Диодор.

Арриан славится искусством описывать военные операции разного рода. Это вполне естественно: ему как человеку военному, составившему руководство по тактике, конечно, были понятны описания военных действий, которые он находил у Птолемея, — не то, что какому-нибудь кабинетному ученому-историку, вроде Диодора. Таковы, например, описания осады Фив (I, 7—8), сражения при Гранике (I, 13—16), сражения при Гавгамелах (III, 8—15), сражения с Пором (V, 14—19).

Повествование Арриана не прагматическое: он не указывает причин событий или мотивов действия разных лиц, не приводит характеристик, не высказывает своего одобрения или порицания по поводу их поступков, не вставляет моральных или политических рассуждений, а просто излагает устанавливаемые им факты. Лишь в очень редких случаях он отступает от своих принципов. Есть у Арриана склонность к суеверию; нередко он рассказывает о чудесах и предзнаменованиях³.

Редко также встречаются у Арриана речи, вследствие, может быть, того, что в императорскую эпоху государственные дела решались не в народном собрании, где речи имели большое значение, а в кабинете императора. Однако и в «Анабасисе» есть блестящие примеры речей, например речь Александра к его соратникам, когда войско не желало продолжать похода, и ответная речь Койна (V, 25—27).

Стиль Арриана прост и ясен, без всяких риторических украшений, похож на стиль Ксенофонта. По отношению к языку в собственном смысле он эклектик: в основном у него язык аттический, но есть немало элементов, чуждых аттицизму как в выборе слов, так и в грамматике; не подражая сознательно ни одному древнему автору, он тем не менее употребляет часто слова и выражения, принадлежащие кому-нибудь из древних писателей, например Геродоту, Фукидиду, Ксенофонту; по-видимому, он употреблял такие выражения только по памяти в силу своей начитанности.

Для нас «Анабасис» интересен еще в том отношении, что рассказ в нем касается многих мест Азии, входящих теперь в состав СССР.

«Описание Индии» — сочинение более географического характера, чем исторического. Оно написано на ионийском диалекте, может быть, в подражание Геродоту или Ктесию. Хотя оно служит дополнением к «Анабасису», но все-таки представляет собою самостоятельное произведение, как видно уже из того, что оно написано на другом диалекте.

Написано оно, по-видимому, после «Анабасиса», оба сочинения принадлежат периоду зрелого возраста Арриана (166—168 гг.).

«Описание Индии» делится на две части: в первой (главы 1—17) описывается сама Индия, во второй (главы 18—43) — плавание по морю вдоль берега, от устья Инда до устья Тигра. Это плавание было совершено по приказанию Александра его полководцем Непархом.

³ Так, во время путешествия Александра к оракулу Аммона по пустыне, где не было никаких признаков пути, войско блуждало, проводники были в сомнении относительно дороги. Но, по словам Птолемея, перед войском шли два дракона, испуская крик, и Александр приказал проводникам следовать за ними, веря божеству; и они указали дорогу к оракулу. А по словам Аристобула, два ворона летели перед войском; «Александру помогло что-то божественное, — прибавляет Арриан от себя, — это я могу утверждать, потому что это вероятно; но решить вопрос с полной точностью невозможно вследствие разногласия писателей» (III, 3, 6).

От «Истории после Александра» дошло до нас изложение, сделанное Фотием. Кроме того, в одной рукописи (палимпсесте) найдены отрывки этого сочинения. Содержанием его была история диадохов.

3. АППИАН

О жизни Аппиана почти ничего не известно, кроме того, что он сам сообщает в конце предисловия к своему сочинению, где, между прочим, говорит, что написал автобиографию; но она не сохранилась до нашего времени.

Родина Аппиана — египетская Александрия. Он родился, самое позднее, при Траяне (98—117 гг. н. э.), умер не ранее семидесятых годов II в. В Александрии он занимал высокие должности в городском управлении.

Вероятно, при Адриане (117—138 гг.) Аппиану дарованы были права римского гражданства, причем он был зачислен во всадническое сословие. Он переселился в Рим, где был адвокатом. Друг Аппиана, Фронтон, приближенный к императорскому двору, в течение двух лет хлопотал о предоставлении Аппиану должности прокуратора — императорского уполномоченного в одной из провинций. Хлопоты Фронтона наконец увенчались успехом, и во время совместного правления Марка Аврелия и Луция Вера (161—169 гг.) Аппиан получил должность прокуратора. Этой должностью он гордился; но насколько служба при императорском дворе оказала влияние на его мировоззрение, был ли он, а если был, то в какой мере, придворным историографом, сказать трудно; последние книги труда его, касавшиеся эпохи империи, не сохранились. Все же можно сказать, что Аппиан был настроен скорее монархически, чем демократически: он называет убийство Юлия Цезаря кощунственным преступлением, прославляет лиц, мстивших за него, считает демократию по имени «благовидной», но по существу «всегда бесполезной» («Гражданские войны», IV, 133) или, если следовать поправке, предложенной одним старинным ученым, — «не всегда полезной».

От Аппиана до нас дошло одно сочинение, носящее заглавие «Римская история». Это сочинение он составил уже в преклонных годах, может быть, около 160 г., и, по-видимому, не успел довести до конца.

Аппиан не скрывает своего восхищения перед величием римского государства: этим величием оно обязано, по его мнению, своей мудрости, доблести, выдержанности, твердости; всему этому сопутствовало также и счастье; благодаря этим свойствам Рим сумел достигнуть всемирного владычества, продержавшегося столько веков (предисловие, 11). Все это и побудило Аппиана составить римскую историю с начала и до его времени. Так как она написана по-гречески, то, очевидно, предназначалась в первую очередь для греков. Этим объясняется и то, что Аппиан называет римские божества греческими именами, цифровые данные приводит по греческому счету, пользуется вообще греческой терминологией.

В предисловии (12—13) Аппиан дает характеристику предпринятого им труда и указывает на свойства, отличающие его от других трудов того же рода. «Приступая к составлению своей «Римской истории», я считал необходимым узнать те народы, над которыми властвуют теперь римляне. Правда, возникновение римской империи излагали многие греческие и римские писатели. Я читал эти сочинения и при этом желал уяснить себе, в каких отношениях находились римляне к каждому народу, с которым им приходилось вступать в соприкосновение. Я убедился при этом, что в предшествующих сочинениях по римской истории внимание читателя постоянно расходуется, так как он бывает вынужден из Карфагена переходить в Испа-

нию, оттуда в Сицилию либо в Македонию, читать о римских посольствах, отправленных к разным народам, о союзах, заключенных с ними римлянами, и при этом снова, словно блуждающий странник, отправляться то в Карфаген, то в Сицилию, вообще перебрасываться из одного места в другое. Я попытался пойти другим путем и ради примера свел воедино, сколько раз римляне ходили походом в Сицилию, сколько раз они отправляли туда посольства, что они вообще там совершили, прежде чем привели Сицилию в ее теперешнее положение». Такую же работу Аппиан, по его словам, произвел по отношению к каждому из подвластных Риму народов, чтобы составить себе представление о слабости или стойкости их, с одной стороны, о римской доблести и сопутствовавшей ей удаче — с другой стороны. Эту работу, сделанную для себя, он решил предать гласности, руководясь тем соображением, что, может быть, и кто-либо из читателей пожелает проследить римскую историю таким же образом.

Итак, Аппиана не удовлетворял анналистический или хронологический порядок изложения событий, который был принят в греческой и римской историографии. Вместо того, чтобы дать последовательное изложение римской истории по годам, как это сделал, например, Тит Ливий, или по олимпиадам, как Полибий, Аппиан дал серии отдельных монографий, положив в основу их территориальный или этнический принцип, но в пределах каждой монографии придерживаясь в общем хронологической основы. Правда, при такой системе общий ход событий всей римской истории должен был неизбежно нарушиться, но слишком строго придерживаться хронологии Аппиан считает вообще излишним: это, по его мнению, педантизм.

От положенного в основу «Римской истории» этнического принципа Аппиану пришлось отступить при изложении гражданских войн. «Те ужасные междоусобные распри и те гражданские войны, которые вели между собой римляне, распределены мною по вождям, стоявшим во главе борющихся партий: Мария и Суллы, Помпея и Цезаря, Антония и Октавиана. В конечном результате борьбы между обоими последними вождями под власть Рима перешел и Египет, а само римское государство получило монархический строй» (предисловие, 14).

Свою «Римскую историю» Аппиан разделил на 24 книги. Первые три книги были посвящены Италии. Книга I носила название «Царская»; в ней излагалась история римских царей, начиная с прибытия Энея в Италию. Книга II называлась «Италийская», III — «Самнитская»; обе они содержали историю объединения Италии вокруг Рима. Содержание последующих книг определяется их названиями: книга IV — «Галльская», V — «Сицилийская и Островная», VI — «Испанская», VII — «Ганнибалова» (история Второй Пунической войны), VIII — «Карфагенская и Нумидийская», IX — «Македонская и Иллирийская», X — «Греческая и Ионийская», (т. е. Малоазийская), XI — «Сирийская», XII — «Митридатова» (войны римлян с Митридатом Евпатором и его преемниками), XIII—XVII — «Гражданские войны» (начиная с Гракхов и кончая изложением событий 37 г. до н. э.), XVIII—XXI — «Египетская» (история событий с 37 по 31 г. до н. э.), XXII — «Столетие» (история империи от Августа до Траяна), XXIII — «Дакийская» и XXIV — «Аравийская» (история войн, веденных Траяном в Дакии и Аравии).

«Римская история» целиком не сохранилась. Полностью дошли книги VI—VIII, XII—XVII. Книги XVIII—XXIV утрачены совершенно, от остальных имеются отрывки, иногда довольно большие.

В изложении истории Аппиан допускает много неточностей; тем не менее значение его сочинения велико. Это относится в особенности к тем кни-

гам, которые посвящены изложению гражданских войн, самого важного отдела его «Истории», так как другого, равного ему по достоинству источника о них не имеется. Это единственный памятник древней историографии из числа дошедших до нас, в котором дано связное изложение событий, начиная с эпохи Гракхов и кончая преддверием к последней борьбе между Антонием и Октавианом. Это первое достоинство «Гражданских войн». Второе еще более важное достоинство состоит в том, что в распоряжении Аппиана был какой-то хороший, но утраченный для нас источник.

Вопрос об источниках Аппиана в высшей степени труден. Ученые много занимались этим вопросом, но дальше предположений пойти не могли. Сам он указывает некоторые свои источники, например в «Гражданских войнах», письма Цезаря (II, 79), мемуары Октавиана (IV, 110; V, 45, Иллирия, 14—15), историю Асиния Поллиона (II, 82), какого-то Либона (III, 77), под которым, может быть, скрывается Ливий.

Несмотря на допускаемые неточности Аппиан — историк правдивый. Для нас он важен уже тем, что добросовестно пользовался источниками, которые до нас не дошли. По-видимому, он не ставил себе целью создать углубленное исследование. Он стремился написать популярное, рассчитанное на не особенно взыскательного читателя историческое сочинение, которое должно было показать превосходство Рима и закономерность и целесообразность установившегося в тогдашнем мире римского господства.

Главное внимание Аппиан обращает на описание военных действий. Однако из его рассказов трудно составить определенное представление о военных операциях. Для этого были бы необходимы точные географические сведения; но в этом отношении он выказывает часто полную неосведомленность.

К числу достоинств Аппиана следует отнести его строго фактическое изложение событий, реализм и трезвость суждений. Нигде не пытается он, как это было широко распространено у авторов того времени, объяснить события волей богов или предначертанием судьбы, иронически отзывается о том, что Антиох все свои ошибки приписывал злому року, тяготевшему над ним (XI, 29). Та же ирония звучит и в рассказе о том, что статуя богини Исиды метала огонь на Митридата, осаждавшего Родос (XII, 27).

Как писатель Аппиан отличается простотой стиля. У него нет тех длинных и вычурных речей и риторических отступлений, которыми так богаты книги Ливия и других его современников. Речи у Аппиана кратки, но выразительны.

Видимо, из тех длинных произведений ораторского искусства, которыми изобиловали его источники, автор выбирал только наиболее важное и существенное. Аппиан почти не отступает от изложения фактов; если такие отступления встречаются, они бывают вызваны не стремлением риторически украсить свой труд, а скорее желанием выразить личные мнения и чувства. В языке Аппиана не заметно стремления к строгому аттицизму; попадаются даже латинизмы.

Ученые нового времени относятся к Аппиану различно. Наряду с отрицательными отзывами есть и положительные, признающие за ним почетное место в римской историографии. Особенной интерес к Аппиану проявлял Карл Маркс.

Несомненно, Аппиан давал Марксу основной материал для анализа эпохи римских гражданских войн. К оценке, которую Маркс дал Аппиану, присоединился и Энгельс.

Маркс в тяжелые для него дни февраля 1861 г., утомленный, по его словам, «беготней» и лишенный возможности регулярно следить даже за

газетами, читает Аппиана⁴: «По вечерам я читал для отдыха Аппиана о гражданских войнах в Риме в греческом оригинале. Очень ценная книга. Он родом — египтянин. Шлосер говорит, что у него „нет души“, вероятно, потому, что он старается докопаться до материальной основы этих гражданских войн. Спартак в его изображении является самым великолепным парнем во всей античной истории. Великий полководец (не чета Гарибальди), благородный характер, истинный представитель античного пролетариата. Помпей же — настоящая дрянь; он незаслуженно прославился благодаря тому, что присвоил себе сначала успехи Лукулла (против Митридата), а затем успехи Сертория (в Испании) и т. п., наконец, в качестве «юного наперсника» Суллы и т. д. Как полководец он — римский Одилон Барро. Как только ему пришлось показать в борьбе против Цезаря чего он стоит, обнаружилось его ничтожество. Цезарь совершал крупнейшие военные ошибки, намеренно нелепые, для того, чтобы сбить с толку противостоящего ему филистера. Любой заурядный римский полководец, какой-нибудь Красс, шесть раз разбил бы Цезаря во время Эпирской войны. Но с Помпеем можно было себе все позволить. Мне кажется, что Шекспир, когда писал комедию „Бесплодные усилия любви“, имел уже некоторое представление о том, чем Помпей был на деле». Тут Маркс, наряду с другими положительными чертами Аппиана, отмечает, что основной причиной неприязни к Аппиану со стороны буржуазной историографии является то, что Аппиан «старается докопаться до материальной основы» гражданских войн. Эту же особенность Аппиана подметил и Энгельс: «Борьба угнетенного класса против угнетающего неизбежно становится, прежде всего, политической борьбой, борьбой против политического господства угнетателей. Сознание связи этой политической борьбы с ее экономической основой ослабевает, а иногда и пропадает совсем. Если же оно не совсем исчезает у борющихся, то почти всегда отсутствует у историков. Из древних историков, которые описывали борьбу, происходившую в недрах римской республики, только Аппиан говорит нам ясно и выразительно, из-за чего она велась: из-за землевладения»⁵. Борьба за землевладение занимает центральное место в истории римской республики. Это было для Маркса совершенно очевидно: «Несколько времени тому назад я снова прошел римскую (древнюю) историю до эпохи Августа. Внутреннюю историю можно plainly свести к борьбе мелкого землевладения с крупным, разумеется, вводя те модификации, которые обуславливаются существованием рабства. Задолженность, играющая такую большую роль с самого начала римской истории, является лишь естественным последствием мелкой земельной собственности»⁶. Вот почему Аппиан и был так близок Марксу. Ведь когда Маркс «прошел римскую историю» и установил роль борьбы за землевладение в Риме, главным источником служил ему Аппиан. Об этом свидетельствует известное примечание 211 к главе XXIV первого тома «Капитала».

Два основных момента, стало быть, выделяют особенно «Гражданские войны» Аппиана: стремление всюду дойти до материальной подкладки этой ожесточенной борьбы и правильное понимание основного содержания этой борьбы как борьбы за землевладение, которая красной нитью проходит через всю историю Рима, особенно римской республики до Августа.

Совершенно естественно поэтому, что Аппиан должен служить одним из основных источников для всех историков-марксистов, занимающихся

⁴ Письмо Энгельсу от 27 февраля 1861 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. М., Госполитиздат, 1953, стр. 121—122.

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 673.

⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 89.

историей Рима. Несомненно, историк найдет у Аппиана целый ряд характеристик римских исторических деятелей, резко отличающихся от общераспространенных, совершенно так же, как Маркс отметил справедливую оценку Аппианом великого вождя рабов Спартака и полководца Помпея.

Но и этим не исчерпывается значение Аппиана: удивительно, что этот крупный деятель Александрии, добившийся достойного завершения своей карьеры, восхвалявший могущество Рима и служивший, таким образом, пропагандистом римской политики для говорившей по-гречески части Средиземноморья, что этот скованный классовыми интересами историк в основном правильно оценивал роль рабов в описываемой им политической борьбе.

Наряду с этим крупным достоинством труда Аппиана все недостатки его, на которые так охотно ссылаются буржуазные историки, значительной роли не играют. Эти недостатки сравнительно легко исправить при помощи других дошедших до нас исторических источников, и они никак не могут лишить Аппиана того значения для изучения римской истории, которое так определенно отметили Маркс и Энгельс.

4. ДИОН КАССИЙ КОККЕЙАН

Из числа дошедших до нас сочинений по истории Рима на греческом языке следующим по времени после Аппиана было сочинение Диона Кассия.

Дион Кассий или Кассий Дион⁷ был сын римского сенатора Кассия Априониана и, как некоторые ученые предполагают, внуком с материнской стороны известного философа Диона Хрисостома (Златоуста), у которого было тоже прозвище Коккейан, полученное им, вероятно, от императора Нервы. Это прозвище, равно как и имя Дион, историк унаследовал от деда.

О собственной жизни Дион сообщает много сведений в своем сочинении; кое-что добавляют также Фотий и Свида.

Он родился в Никее, большом городе Вифинии, около 155 г. н. э. и получил хорошее образование от отца. В последние годы царствования Марка Аврелия он прибыл в Рим и при Коммодe в 180 г. был уже сенатором. В течение 13 лет царствования Коммода (180—192 гг.) Дион жил в Риме, выступая в судах в качестве обвинителя или защитника. В 193 г. Пертинакс, вступивший на престол после Коммода, назначил Диона претором; но, так как Пертинакс через 3 месяца (в марте 193 г.) был убит, Дион занял должность претора при Септимии Севере, в 194 г. Дион старался всячески обратить на себя внимание Септимия. Он написал книгу «О снах и предзнаменованиях» и послал ее Септимию. Прочтя ее, Септимий, бывший тогда еще полководцем, увидал в ней благоприятные для себя предзнаменования и ответил ему милостивым письмом. Так установились дружественные отношения между Дионом и Септимием. С этого времени Дион стал историком. К этому его как будто бы побудил сон. Получив письмо Септимия вечером, он заснул и божество повелело ему в сновидении писать историю.

⁷ Иностранец, получивший права римского гражданства, получал вместе с тем и имя (nomen) того римского гражданина, благодаря которому он получил эти права. При этом его иностранное имя становилось его прозвищем (cognomen) и ставилось после имени (nomen). Так, например, Арриан получил имя Flavius, а его греческое имя сделалось его прозвищем, и он стал называться Flavius Arrianus. По этой причине и Дион получил имя Cassius, а Дион сделалось его прозвищем, и он стал называться Cassius Dio. Однако бывают и исключения относительно порядка этих имен, т. е. иногда cognomen ставится впереди nomen и потому вполне правильно также и имя Дион Кассий.

(«История», LXXII, 23). Сперва он написал историю царствования Коммода и представил ее Септимию. Одобрение императора и других лиц возбудило в нем желание составить полную историю Рима. Десять лет он употребил на соби́рание материалов (вероятно, 200—209 гг.), а потом двенадцать лет — на написание сочинения. Большая его часть (с основания Рима до смерти Септимия Севера в 211 г.) была окончена около 221 г., незадолго до вступления (в 222 г.) на престол Александра Севера. Несмотря на милостивое письмо Септимия, Дион во время его 19-летнего царствования (193—211 гг.) не получил после преторства никакого продвижения по службе. Все это время он проводил вдали от общественных дел то в Риме, то в Капуе. Император Каракалла (211—217 гг.) заставил Диона вместе с другими сенаторами сопровождать его в поездках без всякого дела, только для того, чтобы вводить их в большие расходы, принуждая своих спутников на их счет строить дома, гостиницы, амфитеатры, цирки и т. д. Дион жалуется на это (XXVII, 9—10). При следующем императоре — Макрине (217—218 гг.) — он получил новое назначение с приказом навести порядок в городах Пергаме и Смирне, возмущившихся против императора; в этой должности он пробыл несколько лет и в царствование Гелиогабала (он же Элагабал). После этого из-за болезни Дион вернулся на родину, в Вифинию. Но в это время счастье ему улыбнулось: император Александр Север, вступивший на престол в 222 г., назначил его в 222 или 223 г. консулом, потом проконсулом в Африке, легатом в Далмации и Паннонии и, наконец, во второй раз консулом в 229 г., причем коллегой его по консульству был сам император. Но Дион был уже стар (около 74 лет) и болен; вскоре после вступления во второе консульство он получил позволение вернуться на родину в Никею, где и провел последние годы, занимаясь продолжением своей истории. Он довел ее до 229 г., хотя излагал все события уже не так обстоятельно, как в ранее написанной части. Вскоре по окончании своего труда, приблизительно в 235 г., он умер в возрасте около 80 лет.

Из сочинений Диона сохранилось одно: «Римская история»; от его «Биографии Арриана» до нас не дошло даже фрагментов; а «Историю Коммода» он включил в «Римскую историю».

«Римская история» — огромное сочинение; в ней 80 книг, которые разделены на 8 декад. От этого сочинения в его первоначальном виде в рукописях дошли до нас только книги XXXVI—LX, в которых излагаются события от 68 г. до н. э. по 47 г. н. э., т. е. конец республики, царствования Августа, Тиберия, Калигулы и первые годы царствования Клавдия. Кроме того, в одной рукописи сохранились отрывочные части книг LXXVIII и LXXIX, содержащие рассказ о царствованиях Каракаллы, Макрина и Элагабала.

Все остальные части «Истории» дошли до нас или во фрагментах, или в изложении.

От книг I—XXXV дошли фрагменты, главным образом сохранившиеся в «Энциклопедии» Константина Багрянородного⁸.

Восполнением некоторых утерянных частей служит изложение книг XXXVI—LXXX, сделанное в XI в. монахом Иоанном Ксифилином, и извлечение Иоанна Зонары (XII в.), который использовал, наряду с другими

⁸ По приказанию императора Константина Багрянородного в X в. была составлена большая историческая энциклопедия, в которой собраны извлечения из разных историков, причем извлечения распределялись по группам или рубрикам, например «О послахах», «О добродетелях и пороках», «О сентенциях» и т. п. Энциклопедия эта состояла из 53 книг, из которых до нас дошло только 6, да и то не в полном виде. Извлечения были сделаны не вполне аккуратно; но все-таки благодаря им мы имеем фрагменты сочинений многих историков, труды которых полностью не сохранились.

источниками, и сочинение Диона. Но, конечно, оба эти изложения не могут заменить утраченного оригинала.

По обычаю римских историков Дион держится строго анналистического порядка: в книгах I—II излагается история царей, в книге IX — война с Тарентом и Пирром, в книгах XIII—XVII — Вторая Пуническая война, в книге XXI — события 149 г. до н. э., в книге XXXVI — войны Лукулла и Помпея с Митридатом в 68 г. до н. э., в книге XL — гражданская война между Цезарем и Помпеем, в книге L — сражение при Акциуме, в книге LX — царствование Клавдия до 46 г. н. э. Человек опытный в государственной и военной деятельности, Дион был серьезным и добросовестным историком: он не только усердно собирал источники, но старался также исследовать ход событий, внутреннюю связь их, составить себе самостоятельное суждение о лицах, партиях, военных действиях. Однако он, по видимому, не обращался к первоисточникам, а брал сочинения предшествующих историков, сравнивал их показания, критиковал. Так, для истории республиканского времени он положил в основу сочинение Ливия, но дополнил его и контролировал показаниями Дионисия, Полибия, Плутарха. На основании полученного таким образом материала он составлял собственное суждение. В последней части своего сочинения он излагал события как очевидец. В общем его рассказ правдив и интересен.

О политических воззрениях Диона можно судить по тому, что он относится отрицательно к противникам монархического порядка, в том числе и к противникам Цезаря; к Цицерону высказывает страстную антипатию.

Нам покажется странным его суеверие: сны и предзнаменования для него являются важными событиями, и он передает их в большом количестве. Как уже сказано, он и историком стал вследствие виденного сна. Но эти предрассудки свойственны большей части древних историков: они есть у Арриана, у Аппиана и других.

Дион как писатель очень заботится о стилистической отделке сочинения и старается писать по-аттически, избрав себе как образец для подражания главным образом Фукидида.

Это подтверждает и Фотий: «В речах он подражает Фукидиду, но стремится к большей ясности; да и во всем почти остальном Фукидид для него образец». Речей у него много; в них он с полной свободой высказывает личные мнения.

Вероятно, свое собственное мнение о монархии он высказывает устами Мецената в его речи к Августу (III, 14—40), где Меценат советует Августу, как он должен управлять государством, а именно «положить предел дерзости толпы, руководство государственными делами взять в свои руки вместе с другими лучшими людьми, так чтобы совет держали самые разумные, властвовали самые осведомленные в военном деле, а воевали бы в качестве наемников самые крепкие телом и самые бедные»⁹.

Дион — аттицист; он старается писать древним, аттическим языком, но попадают у него и латинизмы. Слог его прост и ясен; только в особенно патетических местах он применяет риторические украшения. Но в передаче речей много риторических фигур: антитезы, одинаковые окончания слов и т. п. Так, речь Агриппы к Августу (LII, 2 сл.) переполнена антитезами. Любит он вставлять и рассуждения морального характера (например LIII, 11).

⁹ Цитаты из Диона Кассия, Геродиана и Полиена приводятся в переводе С. И. Соболевского.

5. ГЕРОДИАН

Последним значительным историком Рима до византийского времени, писавшим на греческом языке, был Геродиан.

Ни год рождения, ни год смерти его неизвестны. Неизвестно также, уроженцем какой страны он был. Некоторые ученые называют его сирийцем; даже считают вероятным, что его родиной была Антиохия; но основание для этого предположения крайне ненадежное: указывают на то, что он хорошо знаком с этим городом и охотно говорит о его политическом положении и судьбе.

Из обстоятельств его жизни мы знаем только то, что он сам говорит о себе, — именно, что он был «в царских или общественных службах» (I, 2, 5). По-видимому, это были какие-нибудь мелкие должности. Из его слов видно, что он был в Риме в 192 и 203 гг.; но это не дает права заключить, что Рим был постоянным местом его жительства.

Время жизни Геродиана можно определить приблизительно на основании его заявления о том, что описываемые им события после смерти Марка Аврелия он сам видел и слышал в течение всей жизни; стало быть, в год смерти этого императора (180 г.) он был уже не в детском возрасте. На основании того, что он окончил свою историю событиями 238 г. н. э., можно считать приблизительно временем его жизни 165—240 гг. Таким образом, он был младшим современником Диона Кассия.

Сочинение Геродиана носит заглавие: «История царствования после Марка». Оно содержит историю Рима от смерти Марка Аврелия (180 г.) до воцарения Гордиана III (238 г.), т. е. историю императоров, следовавших за Марком Аврелием в течение 59 лет. Сочинение это дошло до нас в полном виде. Оно разделено самим автором на 8 книг, из которых каждая представляет нечто целое, содержит полную биографию одного или двоих (даже троих) императоров. Так, в I книге — история Коммода, во II — Пертинакса и Юлиана, в III — Септимия Севера, в IV — Каракаллы, в V — Макрина и Элагабала, в VI — Александра Севера, в VII — Максимиана и двоих Гордианов, в VIII — Максима и Бальбина. Время написания «Истории» — около 240 г.

О цели своего труда Геродиан сообщает сам: рассказать «действия многих императоров в течение 70 лет, известные ему лично» (II, 15, 7). Таким образом, его сочинение имеет характер биографический; он рассказывает более о личных свойствах и действиях императоров, чем о судьбе империи, пропуская (по-видимому, сознательно) иногда и важные для нас события.

Во введении он противопоставляет себя историкам, которые пренебрегали истиной повествования и все внимание обращали только на изящество изложения. «Некоторые, по неприязни или ненависти к тиранам, из лести или уважения к царям, к отечеству и к частным лицам, силою красноречия доставили ничтожным и маловажным делам славу выше всякого правдоподобия. А я не у других заимствовал историю, не известную и не засвидетельствованную, но со всею точностью собрал факты, которые еще свежи в памяти читателей, надеясь, что и потомству интересно будет узнать о многих великих событиях, происшедших в короткое время» (I, 1, 1—3).

Геродиан считается историком правдивым. Многие он описывает по своим личным впечатлениям. Речи, произносимые действующими лицами, несомненно вымышлены. В хронологии у него мало точности; время определяется приблизительно: «в течение короткого времени» (I, 6, 1), «некоторое время», «в течение нескольких лет» (I, 8, 1). В географии встречаются явные ошибки.

Как уже сказано, Геродиан излагает историю 180—238 гг., а Дион Кассий довел свою историю до 229 г. Таким образом, события 180—229 гг. вошли в состав сочинений обоих историков, и только события 229—238 гг. изложены одним Геродианом. О том, в каком отношении Геродиан находится к своему предшественнику, мнения специалистов расходятся: одни говорят, что Геродиан пользовался Дионом как источником, другие отрицают это; есть даже мнение, что они оба пользовались общим источником. Во всяком случае, у Геродиана есть сведения, которых нет у Диона. У Геродиана меньше мистики, чем у Диона, хотя по обычаю того времени и он рассказывает о разных чудесных явлениях, например: «Случились в это время и некоторые небесные знамения: во весь день были видны звезды... рождались различные животные, изменившие свою природу... сгорел храм Мира» (I, 14).

Стиль Геродиана ясный; его сочинение читается довольно легко; однако риторических украшений в нем много; заметна также склонность к морализированию.

В XV в. «История» Геродиана была переведена на латинский язык итальянским ученым Анджело Полициано — прежде, чем был напечатан греческий текст. Этот перевод славится превосходным стилем.

В России на Геродиана обратили внимание еще в XVIII в.: его «Историю» в 1774 г. перевел К. Озерецковский; в 1829 г. — В. Оболенский, профессор Московского университета. Он так характеризует это сочинение: «История Геродиана есть драгоценный исторический памятник своего времени; без него полвека Римской империи осталось бы темным и неизвестным временем».

6. ПОЛИЕН

К числу историков можно отнести и Полиена, так как его сочинение, хотя и не является историей в собственном смысле, но все-таки содержит много отрывочных сведений исторического характера.

О жизни Полиена ничего неизвестно. Свида в очень краткой (в одну строку) заметке сообщает, что он был македонянин и ритор, а Полиен сам говорит, что его предки царствовали в Македонии (предисловие к книге IV), что он адвокат (предисловие к книге II), и что он находится в преклонном возрасте (предисловие к книге I).

Его сочинение «Военные хитрости» состоит из 8 книг с предисловиями к каждой из них; в этих предисловиях он посвящает свой труд Марку Аврелию и Луцию Веру. Написано это сочинение в 162 г. н. э.; сохранилось оно почти целиком; есть только пропуски в VI книге и нет конца VIII книги.

Это собрание мелких рассказов, выбранных из разных авторов, на тему о военных хитростях, употреблявшихся разными полководцами; есть и примеры хитростей не военных.

В предисловии к книге I Полиен очень наивно указывает на цель своего труда: ввиду предстоящей войны с персами и парфянами «я, происходя от македонян, унаследовавших от предков своих искусство побеждать персов, не хочу в настоящее время оставаться безучастным. Если бы дозволяли мне телесные силы, я охотно стал бы воином. Но, хотя я и нахожусь в преклонном возрасте, я все-таки и теперь не останусь совсем не причастным к военному делу, но приношу вам собранные мною стратагемы¹⁰ древних, как

¹⁰ Стратагема — военная хитрость, маневр.

пособие в воинском искусстве; они доставят обильный запас сведений о древних подвигах, могущих послужить уроком, как для вас, так и для посылаемых вами военачальников».

Полиен старался включить как можно больше материала в свой сборник, и, может быть, поэтому включил сюда не только стратагемы, но и вообще разные хитрости, между прочим, и женские, а также замечательные действия, даже слова, какого-нибудь полководца или солдата. В расположении материала нет твердого порядка; он меняется смотря по обстоятельствам или источникам. В I книге порядок хронологический; рассказываются военные события греческой истории, начиная с героического периода и кончая походом «десяти тысяч». В IV книге рассказы взяты из истории родной автору Македонии, т. е. из истории Филиппа, Александра, диадохов, эпигонов. В VII книге приводятся хитрости «варваров». В VIII книге даются рассказы сперва о делах римлян, потом о делах знаменитых женщин.

Сборник Полиена дает материал для историка, так как в нем есть извлечения из не дошедших до нас авторов, например из Эфора; но пользоваться этим материалом надо с осторожностью, так как автор, по-видимому, не заботился об исторической точности. Годятся рассказы Полиена и для знакомства с военным делом греков.

Странно, что Полиен заимствовал материал почти исключительно из греческих писателей; латинскими историками он не пользовался, за исключением лишь Светония (его биографиями Цезаря и Августа). Даже сочинения Фронтиня (I в. н. э.) — такой же сборник стратагем — Полиен, очевидно, не знал.

Стиль Полиена — ясный; только иногда краткость выражения затрудняет понимание. Об отношении Полиена к источникам можно судить по тем рассказам его, которые взяты из дошедших до нас сочинений; например, четыре рассказа (I, 49) взяты из «Анабасиса» Ксенофонта. Из сравнения их с источником видно, что Полиен заимствовал только содержание, давая лишь краткое изложение подлинника, а словесная форма всецело принадлежит ему.

Сборник Полиена читали и делали из него извлечения в конце древних веков и в средние века; даже в Византии высоко его ценили как важное руководство по тактике.

7. ПАВСАНИЙ

«Описание Эллады в 10 книгах», дошедшие до нас от Павсания, являются крупнейшим и очень ценным источником по географии, археологии, истории искусства и мифологии Греции. Об авторе его нет никаких биографических сведений, кроме того, что он называет местность около горы Сипила в Малой Азии своей родиной (V, 13, 7) и что он жил приблизительно во время правления Адриана и Антонинов, так как о постройках Адриана он не раз упоминает как о новых, но называет и императора Антонина Старшего, т. е. Пия (VIII, 43). Так как имя Павсания встречается не раз в истории греческой литературы, то автора «Описания Эллады» пытались отождествлять то с софистом Павсанием, учителем Элиана, упоминаемым у Филострата, то с автором истории Антиохии Сирийской; но тому и другому предположению противоречат данные о происхождении софиста Павсания из Кесарии в Каппадокии, а историка — из Сирии.

Уже в V в. н. э. стали смешивать этих авторов, и Стефан Византийский приписывает «Описание Эллады» и «Историю Антиохии» одному лицу.

Источников у Павсания было, вероятно, весьма много; это были описания стран и путешествий, дошедшие до нас в незначительных отрывках, но имевшиеся, возможно, уже в эпоху Павсания только в выписках; главнейшими из них были произведения Дикеарха, ученика Аристотеля, Гераклида Коитского («О городах Эллады») и Полемона, т. е. писателей III и II вв. до н. э. Помимо этих сочинений научного характера во времена Павсания, когда Эллада стала уже предметом изучения и музеем, вероятно, были составлены и практические путеводители для путешественников. Насколько велик был интерес к греческим древностям, ясно из того, что Павсаний редко описывает какой-либо значительный город или храм, не ссылаясь на «проводников и археологов». Павсаний знаком и с произведениями местных историков; например, историю Мессенских войн он пишет по Мирону Приенскому, написавшему историю Мессении. Однако не в этом использовании нужных сведений, на которые Павсаний иногда ссылается, и с которыми иногда полемизирует, заключается интерес его произведения, а в том, что он действительно видел своими глазами ту сокровищницу искусства, которой в его время была Эллада, а также в его горячей любви к древностям, которая чувствуется даже в его, местами сухих, перечислениях художественных произведений.

10 книг «Описания Эллады» охватывают только те страны материковой Греции, которые прославились в классическую эпоху. Павсаний начинает свое описание с Аттики и в первую же книгу включает Мегару; вторая книга посвящена Коринфу, книги III—VIII — странам Пелопоннеса, IX—X — Беотии и Фокиде. Уже из этого ясно, что Павсания привлекают исключительно области, богатые произведениями классического искусства, а те страны Греции, которые в эпоху диадохов играли такую видную роль, — Этолия, Эпир и Фессалия — для него лишены всякого интереса.

Павсаний часто использует рассказы местных жителей и ссылается на них; однако он не полностью доверяет им; иногда он исправляет их в вопросах хронологии, которой вообще интересуется. Сам он сопоставляет разные события и пытается исправить хронологию, но ввиду того, что под хронологией он часто понимает генеалогию, иногда мифологическую, выводы его кое-где всецело основаны на мифах. Но хронологические выводы, относящиеся к мифологическим личностям, Павсанию не кажутся «легкомысленными», хотя он знает, что «легенды у эллинов во многих случаях бывают противоречивы, а особенно в вопросах генеалогии»¹¹ (VIII, 53, 5).

Возникновение таких противоречивых рассказов Павсаний, очевидно, считает следствием сознательных выдумок жителей различных областей, а не естественно возникающими местными вариантами мифов. По крайней мере это можно заключить из следующих слов: «Такие истории рассказывают относительно своей страны не только коринфяне, но, как мне кажется, афиняне первые стали распространять подобные легенды об Аттике» (II, 1, 6).

Жителям Мессении, которым Павсаний вообще симпатизирует, что отражается в его рассказе о их героизме во время мессенских войн, он доверяет больше, чем другим грекам, считая их, очевидно, менее способными к сознательному обману. Он пишет: «Известно, что по таким вопросам в Элладе идут постоянные споры... Вообще, мне кажется, что рассказы мессенян более правдоподобны, чем рассказы других» (IV, 2, 3); при этом он указывает, что они по историческим условиям должны бы знать меньше других, так как «мессеняне... после возвращения из изгнания не могли

¹¹ Цитаты из Павсания приводятся в переводе С. П. Комдратьева.

восстановить в памяти многие факты древней истории своей страны» (III, 12, 2).

Отношение Павсания к сообщаемым им фактам и чужим рассказам представляет собой своеобразную смесь легковерия, суеверия и примитивного рационального скептицизма.

Порой Павсаний явно отмежевывается от того, что ему приходится сообщать, и говорит, что то же самое делают и те, кто ему передавал различные легенды: «Сами аргосские проводники и археологи совершенно ясно видят,— пишет он,— что не все то, что им приходится рассказывать, согласно с истиной; тем не менее они все же продолжают это рассказывать; ведь не так-то легко разубедить людей в том, во что они привыкли верить» (II, 23, 6).

Иногда он даже становится на позиции явного скептицизма по отношению к мифам.

«Этот рассказ [о превращении Зевса в птицу] и все ему подобные, которые передаются о богах, я точно пересказываю, хотя сам я их и не признаю, но тем не менее считаю нужным их записывать» (II, 17, 4); или «едва ли кто легко согласится, что под землею есть какое-то жилище богов, в котором собираются души умерших» (III, 25, 5).

«Я думаю, что и без вмешательства богини собаки Актеона заболели бешенством» (IX, 2, 4).

Рассказывая о том, как в Фивах загоняют в пещеры живых поросят, принося их как бы в жертву подземным богам, он иронически прибавляет: «Говорят, что эти свиньи ровно через год появляются в Додоне. Может быть, найдутся люди, которые поверят этому рассказу» (IX 8, 1).

Иногда Павсаний прибегает к аллегорическому толкованию мифов и в VIII книге обосновывает этот прием следующим теоретическим рассуждением.

«Начиная это описание, я лично смотрел на все эти предания эллинов в лучшем случае как на легкомысленные и глупые рассказы, но, когда я дошел до Аркадии, меня взяло по поводу этого следующее раздумье: я подумал, что у эллинов так называемые «мудрые» люди издревле такие сказания передавали иносказательно, как некие притчи, и поэтому, как я теперь полагаю, и... сказание о Кроносе является своего рода тоже частичкой эллинской мудрости. Поэтому, раз приходится касаться вопросов религии, будем придерживаться традиции» (VIII, 8. 3).

Однако толкований у Павсания не слишком много. Наиболее недоверчиво он относится к мифам о превращении людей в животных; он критикует миф о Кикне в следующих выражениях: «Лично я верю только тому, что у минийцев царствовал музыкальный человек Кикн [лебедь], но чтобы из человека он превратился в птицу — это мне кажется невероятным» (I, 30, 3); так же он объясняет миф о Филомеле тем, что соловей поет «жалостно, подобно плачу» (I, 41, 9). Такой же характер имеет его объяснение мифа о Нарциссе. Нарцисс был влюблен не в свое отражение, а в свою сестру-близнеца, похожую на него: «сущая чепуха, чтобы человек, доживший до такого возраста, что может быть охвачен любовью, не мог бы разобрать, где человек, а где его тень» (IX, 31, 8).

Павсаний сам признает, что он не склонен к последовательному скептицизму и считает возможным отступать от него; это положение он тоже обосновывает таким образом: «Относительно более или менее редких явлений не следует делать слишком поспешных заключений, но и не следует быть слишком скептическим. Так, например, я лично никогда не видел крылатых змей, но я верю, что они могут быть» (IX, 21, 6).

Так как все мифологические личности для Павсания являются историческими, он совершенно серьезно исследует, в каких местах произошло то или другое мифическое событие. Например «В каком месте Киферона постигло несчастье Пенфея... где был покинут новорожденный Эдип — этого никто не знает с той достоверностью, с какой мы знаем тот перекресток... где Эдип убил своего отца» (IX, 2, 4). Он верит в существование тритона, который выходил из реки около Танагры и нападал на женщин, и передает две версии мифа о том, как женщины спаслись от него, причем одну из них называет более «правдоподобной». Наконец, он отказывается кое-где от своего недоверия к мифам о превращениях. Рассказав о том, как Ликаон принес в жертву ребенка, Павсаний пишет: «Говорят, что после этой жертвы Ликаон был превращен в волка. Этот рассказ внушает мне доверие: сказание это издавна сохранялось у аркадян и самая вероятность такого события говорит в его пользу» (VIII, 2, 3—4).

Чрезвычайно большой интерес Павсаний проявляет ко всем рассказам об оракулах, предсказаниях и чудесах. Сам он был участником нескольких мистерий; упоминая о тайных культах, он всякий раз оговаривается, что он не имеет права подробнее говорить о них. Его описание посещения оракула Трофония, являющееся одним из интереснейших мест книги, написано под сильным личным впечатлением и полно самой искренней веры.

Таким образом, едва ли можно говорить о сознательном систематическом исследовательском методе Павсания; он неустойчив и эклектичен. Ценность его книги не в стройной продуманности и систематичности, а в тех сотнях мелких сведений и черточек, в которых, как в зеркале, составленном из мельчайших кусочков, отражается все же только один образ — горячо любимой Павсанием Эллады.

Композиция произведения Павсания до некоторой степени ясна благодаря делению на книги, описывающие отдельные страны, и благодаря последовательности в перечислении географических пунктов, встречающихся по пути. Внутри же каждой книги и в описании отдельных местностей и их достопримечательностей господствует большая пестрота: мифография, политическая история, географические, зоологические и этнографические наблюдения, то верные, то фантастические, моральные и религиозные сентенции, литературные и искусствоведческие данные, — все это сплетается в такое неразложимое целое, что книгу Павсания можно читать, раскрыв на любом месте, и впечатление получается одно и то же — движущаяся перед глазами однообразно пестрая лента, за движением которой приятно следить, но детали которой невозможно запомнить.

Однако в этом разнообразии имеется несколько основных линий, по которым Павсаний ведет повествование, чередуя их совершенно произвольно.

Хотя Павсания принято причислять к географам, но как раз географии в точном смысле слова в его книге меньше всего; описания природы у него скудны. Единственное, на что Павсаний обращает большое внимание, говоря о каждой местности — это орошение ее; многоводность и высыхание рек, наличие источников с хорошей питьевой водой и болот с опасными местами он всегда отмечает. Этнография тоже время от времени привлекает его внимание: но, по всей вероятности, эти этнографические экскурсы, как, например, очень интересное описание быта и вооружения савроматов (I, 21) или эфиопов (I, 33) передаются им с чужих слов.

Значительно больше привлекает Павсания мифология и этиология. Павсаний сохранил множество местных мелких мифов, которые, вероятно, без его книги не дошли бы до нас, а также интересные варианты из крупных

мифологических циклов; например, он дает некоторые эпизоды из мифа о Геракле (VII, 19, 9). Как страстный любитель древности, он старается сохранить для потомства даже самые незначительные пережитки ее, передавая мимоходом мифы, в которые даже он, при своем умеренном скептицизме, не верит, например об одноглазых аримаспах и грифах — крылатых львах (I, 24, 6) или о ребенке, обратившемся в дракона и спасшем войско элейцев от наступавших аркадян (VI, 20, 5).

Так же, как этнографические экскурсы, крупные исторические главы, например история Спарты (III, 3, 11), заимствованы им целиком у других историков; это отражается даже на языке и манере изложения. В особенности явно это выступает в главах, посвященных мессенским войнам (IV, 6—24), которые, как говорит сам Павсаний, перелагают в прозе поэму Риа-на¹²; эти главы — единственная часть книги Павсания, где повествование имеет художественный, даже драматический характер.

Наибольшую ценность представляет книга Павсания для искусствоведа; с необыкновенной точностью, вниманием и любовью он описывает все произведения искусства, которые встречает на своем пути; равнодушный к красотам природы и скупой на слова для изображения их, Павсаний старается не упустить ни одной мелочи в описываемых им статуях, картинах и постройках. Благодаря его описаниям историкам искусства удалось воссоздать общий вид многих зданий и статуй. Павсаний всегда указывает материал, из которого сделана статуя, часто приводит ее точные размеры, дает имя художника, если знает его, и даже не скупится на похвальные слова.

В качестве примеров приведем два-три описания древних произведений искусства. «На агоре, где особенно много святилищ, находятся деревянные изображения Диониса, у которых все покрыто позолотой, кроме лиц; их лица окрашены красной краской» (II, 2, 6). Или: «Есть в Олимпии так называемая сокровищница сикионян, дар Мирона... В этой сокровищнице он сделал две комнаты — одну в дорическом, другую — в ионическом стиле. Я сам видел, что они сделаны из меди, но тартессийская ли это медь, ... я не знаю... Над меньшей комнатой есть надпись, гласящая, что вес меди равняется 500 талантам, а построили эту сокровищницу Мирон и сикионский народ. В этой сокровищнице лежат три диска... Есть там и щит, выложенный медью и украшенный внутри рисунком, и такие же шлем и поножи... Лежат там и другие замечательные вещи, заслуживающие упоминания: меч Пелопса с золотой рукоятью и сделанный из слоновой кости рог Амалфеи... Надпись на этом роге сделана старинными аттическими буквами... Там же есть статуя Аполлона из буксового дерева с позолоченной головой... Говорят, что это дар локров... творцом этой статуи называют Патрокла, сына Катилла из Кротоны» (VI, 19, 1—6). В этой точности описаний чувствуется большая любовь Павсания к искусству, изучение которого было, очевидно, главной целью его путешествия. Основную мысль, руководившую им при написании книги, Павсаний выразил в следующих словах, с которых он мог бы начать свое пестрое произведение, но которое он, по своему обыкновению, бегло бросил в одной из последних глав:

«Характерной особенностью эллинов является обыкновение восхищаться всем иноземным больше, чем своим родным, раз уже прославленные историки сочли нужным описать во всех подробностях египетские пирамиды, а о таких сооружениях, как сокровищница Миния или стены Тиринфа, они не упоминают ни полсловом, хотя эти постройки заслуживают не меньшего удивления» (XI, 36, 5).

¹² См. гл. IV настоящего тома

8. ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ

Наряду с историей политической следует упомянуть и об истории философии в лице ее представителя Диогена Лаэртского.

Прозвище Диогена — «Лаэртский» — скорее всего происходит от названия города Лаэрты в Киликии. Если это верно, то, значит, Диоген был уроженцем города Лаэрты¹³.

Ни время его жизни, ни обстоятельства ее неизвестны. Судя по тому, что он упоминает философа Секста Эмпирика, но не упоминает, и, по-видимому, не знает неоплатоников, можно заключить, что он жил в III в. н. э. (скорее, в первой половине века).

До нас дошло его сочинение, носящее заглавие: «Жизнеописания и мнения прославившихся в философии в 10 книгах». Это сочинение было посвящено какой-то знатной женщине, любительнице философии Платона, о которой он упоминает, не называя ее имени (III, 47).

Цель этого сочинения такая: автор перечисляет главных представителей каждой философской школы, сообщает биографические сведения о них, стараясь приводить как можно более анекдотов о них и их остроумных изречений, дает список их трудов и общий обзор теорий; иногда еще присоединяет короткую эпиграмму.

Как уже сказано, сочинение Диогена состоит из 10 книг. В двух первых говорится о «семи мудрецах», первых философах — Сократе и его учениках, кроме Платона. Платону посвящена вся III книга; в IV книге — Академия; в V — Аристотель и его ученики; в VI — киники; в VII — стоики; в VIII — Пифагор и его школа; в IX Гераклит, элеаты и скептики, в X — Эпикур, к учению которого Диоген чувствовал склонность.

Диоген не был самостоятельным мыслителем; но его сочинение является все же ценным источником по истории философии и в значительной степени по истории литературы благодаря множеству сведений биографического и литературного характера, выписанных им из большей частью не сохранившихся до нашего времени сочинений своих предшественников. Он компилятор, подобный Элиану и Афиней.

Ученые нового времени стараются определить источники Диогена. Каждая философская школа имела свои архивы и предания. В школах хранились списки лиц, стоявших во главе их со времени основания. Хранились также сочинения основателя и его главных преемников. Этими документами пользовались многие писатели; на основании их одни составляли биографии философов, другие устанавливали преемство лиц, стоявших во главе той или другой школы, так что получалась как бы история ее; третьи резюмировали основные положения учения школы. Но все это были работы, касавшиеся только отдельных частей истории философии. Сочинение же Диогена обнимает историю всех философских школ.

¹³ См. «Вестник древней истории», 1948, № 2.



Глава X

ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА I—III ВВ. Н. Э.

1. Малые ораторы I—II вв.— 2. Дион Хрисостом.— 3. Герод Аттик.— 4. Элий Аристид.— 5. Гермоген из Тарса.

1. МАЛЫЕ ОРАТОРЫ I—II ВВ.

Ораторы I в., от которых принято вести начало новой, или второй, софистики, происходят в большинстве своем с побережья Малой Азии — из Смирны и других городов; даже при наших весьма скудных знаниях можно наметить разные направления среди ораторов этого времени и разные риторические цели, которые они себе ставят. В некоторых школах сохранились традиции азиатского красноречия. Таков был Никита из Смирны, отличавшийся «вакхическим и дифирамбическим стилем» и «оригинальными и парадоксальными замыслами»¹. К этой же манере тяготел ученик Никиты Скопелиан. Смирнская школа приписывает главное значение природной одаренности и стремится к величавости, блеску и красоте стиля. Школа Исея хотя и сохраняет азиатский стиль, но больше подчеркивает роль профессионального мастерства и техники, уделяет внимание развитию способностей к импровизации и укреплению памяти; главные цели этих софистов (Исей, Лоллиан, Дионисий Милетский) — изысканная простота и ясность.

Широкой известностью пользовался современник Траяна Антоний Полемон, который впоследствии по поручению Адриана выступил с большою речью при освящении Олимпийского храма в Афинах. Сохранились две декламации, позволяющие судить о его стиле. Действие одной из них происходит после Марафонского боя, и отцы двух убитых афинян — Кинегира и Каллимаха — притязают на право произнести надгробную речь над павшими бойцами. Азиатская склонность к преувеличенному пафосу сказывается в эффектных и фантастических искажениях истории (флот персов отбит с суши), в конкретизации метафор (отрубленная рука Кинегира решила исход сражения), в гротескных вымыслах (в Каллимаха вонзается столько стрел и дротиков, что они не дают ему упасть). Выбор темы из аттической истории и чистота аттической речи свидетельствуют о сильном влиянии аттицизма, вступающего в любопытнейшее сочетание с азиатской манерой. Полемон, стиль которого был подобен «Олимпийской трубе»², может служить интересным примером той высокой преданности своему призванию, которую иногда проявляли софисты. Рассказывали, что, чувствуя приближе-

¹ Philostrati. Vitae soph., I, p. 511.

² Ibid., I, p. 542.

ние смерти, он велел похоронить себя еще живым и закрыть склеп, «дабы солнце не увидело его безмолвствующим»³.

Современником и соперником Полемона был уроженец Галлии Фаворин, проявлявший, по словам Геллия, очень большую осведомленность не только в греческой, но и в римской литературе, однако особенно хорошо знавший и высоко ценивший первую. В сферу его интересов помимо риторики входили и основные проблемы философии, причем сам он занимал скептическую позицию. Кроме того, Фаворин проявлял себя как «полигистор» (энциклопедист) и написал объемистый труд грамматического и исторического характера. Ему принадлежал ряд эпидиктических речей, из коих одна или две, азиатские по стилю, сохранились среди речей, приписываемых Диону Хрисостому. Были у него и шуточные декламации на такие, например, темы, как похвала Ферситу или похвала лихорадке.

2. ДИОН ХРИСОСТОМ

Греческий оратор, философ и общественный деятель Дион, получивший в истории прозвище «Хрисостома» (Златоуста) за свое красноречие, был ярким представителем софистики и ораторского мастерства I в. н. э.

Год рождения Диона точно неизвестен. Однако, так как он, уже будучи взрослым, был лично знаком с Веспасианом и Титом, можно предположить, что он родился между 40 и 50 гг. н. э. Это предположение подтверждается и тем, что в речах, относящихся к правлению Траяна, он называет себя стариком; о нем упоминает в своих письмах Плиний Младший, в 112 г.; год смерти Диона тоже неизвестен, *terminus post quem* — 112 г.

Источником биографических сведений о Дионе служат в первую очередь его собственные речи: Дион много и охотно говорит о своей семье и о себе. Далее, Диона выводит в качестве действующего лица Филострат в романе об Аполлонии Тианском. Эти сведения, конечно, нельзя считать вполне достоверными, так как роман Филострата во многом уклоняется от исторической правды. Тот же Филострат написал биографию Диона в своих «Жизнеописаниях софистов», опираясь на речи самого Диона. Имеется еще одно анонимное жизнеописание в рукописях речей Диона, но и оно не дает ничего существенного сравнительно с тем, что говорит он сам.

Дион происходил из знатной и культурной семьи города Прусы в Вифинии. Его отец и оба деда играли видную роль в городе — о чем Дион упоминает не раз — и употребляли значительную часть своего большого состояния на общественные нужды и повинности: городские постройки, раздачу хлеба, масла и т. п. Об отце Дион сообщает даже, что однажды ему пришлось пожертвовать все свое состояние в пользу города и наживать его снова.

После смерти отца огромная задолженность по имени тяжелым бременем легла на самого Диона и его братьев и сестру; совместное владение и управление большим имуществом имело свои неудобства. Обо всем этом Дион неоднократно упоминает в своих речах.

Дион получил основательное образование и начал выступать как оратор и софист. Имел ли он свою школу, неизвестно; сам он об этом нигде не говорит, и мы не знаем, каким образом ему удалось достигнуть настолько большой известности, что он был приглашен в Рим, жил при дворе Веспасиана и Тита и вступил в дружбу с учеными и государственными деятелями.

³ Philostrati. Vitae soph., I, p. 543—544.

Возможно, что он познакомился с основателем династии Флавиев еще во время его восточных походов; и сам Веспасиан, и его старший сын благосклонно относились к выходцам с Востока и приближали их к себе, и Дион мог оказаться в их числе; в романе Филострата есть довольно фантастический рассказ о свидании Веспасиана с Аполлоном Тианским, Дионом и Евфратом Тирским, но в основе этого рассказа может лежать исторический факт встречи Диона с Веспасианом в Азии.

Придворная карьера Диона потерпела неожиданное и страшное крушение, когда на престол вступил Домициан. Ненавистник философов и софистов, Домициан издал распоряжение об изгнании их из Рима. Однако бедствия, постигшие Диона, были, по-видимому, следствием не этого декрета Домициана, а близкой дружбы, которая связывала Диона с одним из родственников Домициана; Дион не называет его имени, но из его слов — «родственник и свойственник» (речь 13) — можно сделать вывод, что это был Флавий Сабин, муж дочери Тита, Юлии, казненный Домицианом в 82 г. Дион был приговорен не только к высылению из Рима, но и к пожизненному изгнанию со своей родины Вифинии; однако имущество его не было конфисковано, а жена и дети имели право оставаться в Прусе, но, по-видимому, провели все время изгнания Диона в соседнем городе Апамее, где у жены Диона были родственники. Сам Дион поступил очень решительно и оригинально. Вместо того, чтобы поселиться в любом из городов вне Вифинии, — что ему было разрешено, — и заниматься преподаванием ораторского искусства, он избрал жизнь бродячего философа, и за 14 лет изгнания, не имея постоянного места жительства, обошел Малую Азию, Грецию и берега Черного моря; на пропитание он зарабатывал физическим трудом, работая в садах, виноградниках и на полях. Увлеченный идеалами киников и подражая во всем Диогену, он перешел от ораторской деятельности к кратким философским беседам, так называемым диатрибам, носившим политическую окраску и направленным на осуждение богатых и сильных, в особенности тиранов. Громя в абстрактных выражениях тиранию, что было вполне в духе кинической философии, Дион подразумевал под этим владычество ненавистного ему Домициана. Впоследствии Дион не раз подчеркивал политический характер своих странствий, но, отдавая дань религиозным предрассудкам своего времени, он объяснял их также и велением Аполлона: приговоренный к изгнанию, он обратился к оракулу в Дельфах, и Аполлон повелел ему странствовать, предсказав, что его изгнание кончится, когда он дойдет до пределов земли. Именно поэтому, говорит Дион, он и направился в Скифию. На обратном пути, когда Дион находился в лагере римского легиона на Истре (летом 96 г.), пришло известие о смерти Домициана и вступлении на престол Нервы, личного друга Диона со времен его пребывания в Риме при Веспасиане и Тите. Одним из первых распоряжений нового императора было восстановление Диона в правах. Дион, даже не дожидаясь этого, раскрыл свое инкогнито в римском лагере и, развиг агитацию в пользу нового императора, уговорил солдат, избалованных Домицианом, не бунтовать и присягнуть Нерве. После этого он возвратился в Прусу.

С 96 г. начинается третий период жизни Диона. Заботы его в это время направлены на улучшение политического положения родного города Прусы. Однако мелкие дрязги провинциального города в конце концов заставляют его отказаться от дальнейшего участия в городских делах, и он возвращается к прежней деятельности странствующего софиста; Дион принимает многочисленные приглашения разных городов переднего Востока и выступает там в качестве политического советника по различным вопросам организации городского управления и хозяйства. Умер Дион уже в правле-

ние Траяна. Много биографических деталей, относящихся к концу жизни Диона и характеризующих борьбу общественных сил провинциального городка, находим мы в переписке Плиния Младшего с Траяном.

Насколько разнообразна жизнь Диона, настолько же разнообразны и его произведения. Изгнание сыграло огромную роль в его литературной деятельности. Его произведения до изгнания и во время изгнания настолько резко отличаются друг от друга, что, по-видимому, на самых первых списках его речей делались пометки: «до изгнания» и «после изгнания».

Об этом говорит страстный поклонник Диона Синесий (конец IV—начало V в. н. э.), посвятивший ему целую книгу и считающий, что все произведения Диона следовало бы снабдить такой пометкой. До изгнания Дион был только талантливым ритором; содержание его речей этого периода не отличается особой глубиной. Философские интересы не трогают его, и рассуждения на отвлеченные темы не выходят за рамки общих ходячих истин, не принадлежащих по существу никакой философской школе. Литературой Дион, напротив, сильно интересуется и посвящает ей несколько речей. К этому периоду относятся две его надгробные речи о рано погибшем кулачном бойце Меланкомаде, две речи «О законе и обычае» (75 и 76), две речи «О судьбе» (64 и 65) и несколько речей на чисто литературные темы; очень интересна с литературной точки зрения речь 18, в которой Дион дает советы, что и как следует читать, а также речи о трагедии «Филоктет» (52 и 59). Особенно ценна 52 речь, в которой Дион сравнивает «Филоктета» Софокла с не дошедшими до нас трагедиями Эсхила и Эврипида на ту же тему. Вероятно, к этому же периоду относятся литературные «этюды» об Ахилле (58), Хрисеиде (61), Агамемноне (56), Несторе (57), о Гомере (53) и большая речь — так называемая «Троянская» (11), в которой с чисто софистической ловкостью и многоречивостью перечисляются отклонения Гомера от исторической истины и доказывается неправдоподобность мифа о Троянской войне.

Кроме этих произведений, известны еще названия двух чисто софистических забав Диона: «Похвала попугаю» и «Похвала кудрям». В противовес последнему произведению Синесий написал «Похвалу плечи», из которой вполне ясно построение «Похвалы кудрям»; по-видимому, это была обычная софистическая полушуточная речь, уснащенная цитатами из авторов и софизмами. Более важной утратой являются речи Диона «Против философов» и «Против Мусония Руфа». В первой речи, по свидетельству Синесия, Дион обрушивается на философов со всем блеском софистического остроумия; во второй — в более серьезном тоне, так как Мусоний Руф был очень уважаемым лицом, — опровергает стоическую систему.

Совершенно иным духом проникнуты его кинические речи, и облечены они в иную форму. Это короткие, резкие, остроумные, местами даже грубоватые диалоги; в большинстве их главную роль играет Диоген, срывающий маски со всего, что кажется людям ценным: имущество, положение в обществе, власть, даже брак и семья, — все подвергается язвительной уничтожающей критике (таковы диалоги 6, 8, 9, 10, 14, 15, 62—71). Язык их предельно прост, и мы можем легко представить себе, какой успех они должны были иметь среди самых простых слушателей, когда их произносил блестящий ритор, скрывавшийся под рваным плащом киника.

Несомненно, крайние формы кинизма были для Диона только временным увлечением, но, весьма возможно, вполне искренним; потерпев жизненное крушение, Дион должен был за что-то ухватиться, найти в чем-нибудь утешение, и таким спасательным кругом явился для него кинизм, убеждавший его в ничтожности всего, что он потерял.

Увлечение кинизмом сказывается и в третий период его жизни; оно ясно звучит в «Вифинских речах» и в четырех речах «О царской власти». Впрочем, главный интерес «Вифинских речей» (38, 41, 45, 48—50) заключается не в философской, а в бытовой стороне: они дают интереснейшую картину греческого провинциального города. Кроме того, эти речи очень ценны для биографии Диона: большинство сведений о себе он сообщает именно в них.

Иной круг интересов раскрывается в тех речах Диона, которые принято относить к последнему периоду его жизни. Это речи, обращенные к жителям городов, довольно далеких от его родины: «Олимпийская речь» (12), речи 32—35, обращенные к жителям Александрии, Тарса и Келен во Фригии. Во всех них Дион судит о делах городов с общегосударственной и философской точек зрения. Речи имеют спокойный, повествовательный и увещательный характер; они менее ярки и оживлены, чем диалоги времени изгнания и «Вифинские речи»; в них выражены мысли уже утомленного жизнью человека, готового поделиться своим опытом.

Очень интересной речью, которую принято относить тоже к последнему периоду деятельности Диона, является «Эвбейская» (7), в которой Дион в почти беллетристической форме излагает свои мысли о преимуществах сельской жизни перед городской и предлагает проект разгрузки городов и помощи городским беднякам.

Общее число произведений Диона, дошедших до нас, — 79.

Подробное изучение произведений Диона может дать очень много для знакомства с его эпохой. С общественной и политической точек зрения особенно интересны речи-диалоги времени его изгнания: в них Дион не раз касается проблемы, острота которой в его эпоху уже сильно чувствовалась, — вопроса о рабстве. В 15 речи Дион передает якобы слышанный им разговор между свободным и рабом, в которой образованный и умеющий вести спор раб сперва доказывает, издеваясь над собеседником и снабжая, конечно, все свое рассуждение примерами из мифологии и истории, что никто не может назвать себя ни свободным, ни рабом, так как никто не знает с достоверностью, кто его отец; далее, в более серьезном тоне, собеседники переходят к беседе о доблести и делается вывод: «не тот является подлинным рабом, за чье тело кто-либо заплатил деньги, и не тот, кто родился от людей, считающихся рабами, как полагает толпа, но тот, кто несвободен [т. е. имеет несвободный образ мысли] и рабски настроен. Из тех, кого называют рабами, мы согласимся многих назвать поистине свободными, а из свободных — назвать очень многих подобными рабам»⁴. В 9 речи Дион рассказывает, как Диоген на Истме встретил одного знакомого, который искал убежавшего от него раба, и доказал ему, что он должен радоваться его бегству: он избавился от множества неприятностей и неудобств, а ту работу, которую делал за него раб, он сделает без труда и сам с помощью членов своей семьи.

В настоящее время мы едва ли можем полностью понять ту огромную славу, какая выпала на долю Диона и доставила ему прозвище Хрисостома. Он интересен, главным образом, с бытовой и исторической точки зрения, однако его литературные достоинства все же значительны. Даже темы, касающиеся мелких вопросов городского управления или столкновений между городскими партиями, Дион умеет излагать необыкновенно ярко и живо; его маленькие диалоги полны намеков на злободневные, к сожалению, не всегда для нас ясные, современные события.

⁴ Дион Хрисостом цитируется в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

Литературные познания Диона были обширны; это видно даже по одной из его ранних речей — «О чтении» (18). К Диону, по-видимому, обратился за советом не ученик, а человек, уже занимающий известное общественное положение, и Дион подбирает ему наиболее подходящих авторов; он советует ему хорошо изучить Гомера, не увлекаться лирикой, для которой у занятого человека нет времени, прочесть историков (Геродота, Фукидида и Феопомпа, которого он ставит ниже Фукидида) и всех известных ораторов; особенной любовью Диона пользуется Ксенофонт, у которого, по его мнению, государственный деятель может научиться всему, что ему нужно: он сумеет говорить и в собраниях, и с царями, и с солдатами. Сохранил ли Дион на всю жизнь такое высокое мнение о Ксенофонте, мы не знаем, но во всяком случае он сам многому научился у него в отношении формы изложения.

Язык Диона богат и разнообразен, литературно-изобразительный талант его также значителен; может быть, лучшим его произведением является «Приднепровская речь» («Борисфенитская», № 36), в которой необыкновенно наглядно описывается его приезд в устье Днепра, воинственное и любознательное население этой окраины, гостеприимство и добрые нравы жителей. Прекрасной идиллической новеллой является и упомянутая уже «Эвбейская речь».

Во многих речах Дион охотно говорит о себе; иногда он любит похвастать благосклонностью императоров или своим героизмом во времена изгнания; он часто упоминает также о своих хозяйственных и семейных делах. И, надо сказать, именно все эти личные подробности Дион умеет подать особенно живо и интересно.

В эту позднюю эпоху греческой литературы речь, по-видимому, до некоторой степени заменяет лирику. Индивидуализм становится все сильнее и ищет выхода, а лирическая поэзия настолько застыла в традиционных формах, что в ней можно говорить не «свое», а только «по-своему». Основположением такой «личной» речи и следует считать Диона. Может быть, именно оттого с таким преувеличенным, на наш взгляд, восхищением относились ораторы и писатели IV и V вв. к Диону Хрисостому.

3. ГЕРОД АТТИК

Среди ораторов, относимых к новой софистике, если не самым крупным, то наиболее влиятельным был Герод Аттик; именно в этой форме обычно упоминается его имя, которое в официальных документах звучит несравненно торжественнее и сложнее: Вибуллий Гиппарх Тиберий Клавдий Аттик Герод. В силу ряда причин его биография известна довольно хорошо и должна быть изложена несколько подробнее, поскольку она содержит много деталей, интересных для истории софистики и выяснения условий, в которых проходила работа софистов.

Герод Аттик происходил из старинного и богатого аттического рода. Его дед, обвиненный в государственном преступлении, был казнен, причем имущество его было конфисковано, но сын казненного, Тиберий Клавдий Герод, сумевший сохранить часть богатства, нашел в одном из своих владений большой клад (а кроме того, выгодно женился). Герод Аттик родился в очень состоятельной семье в 101 г. н. э.

В имении своего отца в Марафоне Герод Аттик получает превосходное образование, причем к нему приставляются самые лучшие учителя — грамматики, философы и риторы. Еще мальчиком он побывал в Риме, а

в 117 г. получил первую возможность выдвинуться в качестве оратора. Он должен был произнести приветственную речь перед Адрианом, отправлявшимся в поход против сарматов; однако это первое выступление Герода было неудачным, и ему пришлось еще долго брать уроки у Скопелиана. В дальнейшем Герод Аттик занимает сперва сравнительно скромные посты, а затем достигает высочайших званий, доступных римскому гражданину. Так, в 127/8 или 128/9 г. его выбирают первым архонтом, что дает ему возможность лично встречаться с императором Адрианом, когда тот посещает Грецию. Вскоре после смерти отца (138 или 139 г.) Герод Аттик, располагающий огромным состоянием, берет на себя оплату великолепного убранства города Афин и сложного устройства церемонии для праздника Панафиной; в 143 г. он делается консулом. Герод обучает риторике приемных сыновей императора — будущих императоров Луция Вера и Марка Аврелия. Одновременно продолжают его публичные выступления с софистическими речами.

Затем Герод Аттик возвращается в Грецию. Наступает новая полоса его жизни, отмеченная все возрастающим общественным влиянием и ознаменованная рядом великолепных построек, возводившихся по его почину и на его средства.

Смерть любимого младшего сына и дочери, а затем и жены повергают Герода Аттика в отчаяние. В честь умершей дочери он строит знаменитый афинский Одеон (концертный зал), рассчитанный на 5000—6000 человек.

В Афинах Герод развивает широкую ораторскую деятельность, соединяя с ней работу преподавателя риторики. В то же время он становится в своем городе своеобразным меценатом. Вокруг него складывается большое содружество учеников, внутри которого Герод создает более тесный круг из десяти наиболее одаренных. Эти избранники выступают под его личным наблюдением с краткими докладами, время которых отмеривалось водяными часами — клепсидрой, отчего сам этот кружок стал называться «Клепсидрией». Среди учеников Герода Аттика были Элий Аристид и Авл Геллий. В 177 или 178 г. Герод Аттик умер в своем родном Марафоне, где он и хотел быть похороненным, но по настоянию афинян он был с большой торжественностью похоронен в Афинах.

Помимо того, что Герод Аттик привлекает к себе внимание как влиятельная и оригинальная историческая личность, он занимает центральное положение в новой софистике в силу своей педагогической деятельности. Почти все видные софисты эпохи Антонинов были учениками Герода, который своими философскими и филологическими познаниями значительно превосходил современных ему учителей риторики; понятно, что авторитет его был огромен. Гораздо труднее уловить и ощутить индивидуальные особенности его стиля, потому что почти все, им написанное, утрачено. Из множества его речей сохранилась лишь одна декламация, известная под названием «О государстве». В ней все характерно для архаиста и поклонника классических образцов. Речь исходит из совершенно определенной политической ситуации, сложившейся в Ларисе, одном из городов Фессалии, около 400 г. до н. э., т. е. почти за шестьсот лет до времени жизни Герода Аттика. Один из жителей Ларисы высказывается в пользу предложения спартанцев заключить с ними союз для совместной борьбы с македонским царем Архелаем. Интересно, что самая возможность выступления с подобной речью предполагает точное знание исторических событий и политических отношений очень отдаленной эпохи. Автор мастерски воспроизводит язык и манеру ранних аттических ораторов; лишь изредка проскальзывают

слова и обороты, свойственные языку Греции римской эпохи и обличающие подделку.

Весьма вероятно, что ближайшим образцом Герода Аттика была речь современника Сократа, софиста Фрасимаха из Халкедона. Для стиля Герода характерно было, по-видимому, стремление в поисках образцов чистого аттического слова опираться на сравнительно мало известных представителей аттического красноречия (Фрасимах, Критий); даже среди сторонников аттицизма он был крайним архаистом.

К последовательному аттицизму, к максимально точному воспроизведению всех особенностей и оттенков аттической речи он стремился неуклонно и постоянно: его обвиняли даже в «чрезмерном аттицизме». Тем самым он противопоставлял себя большинству своих предшественников, склонявшихся к азианской манере и не боявшихся прибегать к словам и оборотам, не засвидетельствованным у старых писателей. Весьма правдоподобно, что именно влиянию Герода Аттика надлежит приписывать широкое распространение в конце II в. лексиконов чистой аттической речи.

В Героде одинаково ценили и дар импровизации и умение произносить тщательно подготовленные речи. Идеалом словесного мастерства были для Герода не знаменитые ораторы IV в., а начинатели аттического красноречия, жившие в V в. и еще не владевшие изощренным искусством. Филострат особенно подчеркивает его тяготение к древнейшим ораторам, особенно к Критию, до тех пор забытому⁵.

4. ЭЛИЙ АРИСТИД

Знаменитейшим из учеников Герода Аттика и продолжателем его направления был Элий Аристид. И Герод Аттик, и Элий Аристид принадлежат к социальным верхам, происходят от знатных родителей, располагают богатством и получают блестящее образование. От широких народных масс они, разумеется, чрезвычайно далеки, и их творчество свидетельствует об оторванности от жизни. По сравнению с такими софистами-риторами, каким был, например, Дион Хрисостом, искавший новых путей для счастья человечества, риторы типа Элия Аристида отличаются узостью духовных интересов и бессодержательностью мысли. Интересует их почти исключительно внешняя форма речи, причем в форме они подражают образцам славного, но давно изжитого прошлого древней Греции.

Элий Аристид родился в 117 или, может быть, в 129 г.; он был родом из Малоазийской Мисии. Аристид получил хорошее образование. Среди его учителей, кроме Герода, числятся грамматик Александр из Котиея, бывший также воспитателем Марка Аврелия, и пергамский ритор Аристокл.

Еще молодым человеком Аристид совершает длительное путешествие: ему удается побывать даже в Египте, у самых нильских порогов. Он выступает публично с риторическими декламациями в Афинах, затем на истмийских играх и, наконец, в 156 г. в самом Риме. Об его успехах и большой славе свидетельствуют статуи, поставленные ему при жизни в нескольких городах Египта, Греции и Малой Азии. Однако большую часть своей жизни он провел в Смирне, где занимал видное положение. Около 156 г. Элий Аристид заболел какой-то мучительной болезнью, тянувшейся с перерывами 17 лет. Религиозный и мнительный, Элий Аристид был постоянным посетителем святилищ Асклепия, бога-целителя, памятником чему остались его «Священные речи».

⁵ Philostrati. Vitae soph., II, p. 564.

Умер Аристид в 189 г., окруженный славой.

Под именем Аристида сохранилось 55 речей и два небольших риторических руководства, а кроме того, скудные остатки поэтического творчества.

В подавляющем большинстве произведения Элия Аристида представляют собою речи, заранее приготовленные им для публичного произнесения и поэтому тщательно отделанные; импровизация никогда не была его сильной стороной. Зато его заблаговременно и основательно продуманные декламации отличаются гибкостью и блеском ораторского стиля и превосходной имитацией аттической речи. Наряду с произведениями, далекими от политической злободневности, есть и речи, произнесенные на современные Аристиду политические темы, например речь «О единомыслии», обращенная к Пергаму, Смирне и Эфесу (XVII). Следует отметить, что подобно Исократу, подражать языку которого он вообще стремился, Аристид часто писал свои речи для оглашения их другими, т. е. для чтения. Иначе говоря, ораторская проза переходит у него зачастую в публицистическую.

Единственный в своем роде литературный памятник — шесть речей Элия Аристида (XXIII—XXVIII), называемых «Священными речами»; они представляют собой нечто вроде дневника или истории многолетней болезни, главным и успешным врачевателем которой оказался, как уверяет Элий Аристид, сам Асклепий, вступавший в теснейшее личное общение со своим пациентом. Между прочим, являясь больному во сне, Асклепий велит ему записывать свои сны, и об этих снах Аристид рассказывает. Для Аристида — убежденного поклонника старины — характерно, что в этих снах появляются Софокл, Лисий, Платон.

Элий Аристид сознательно и убежденно стремился с возможной точностью воспроизводить язык и стиль величайших из мастеров и аттического красноречия.

Но любопытно, что этот последовательный сторонник классицизма в иных случаях обнаруживает изумительное умение пускать в ход весь ослепительный словесный аппарат азианизма, например в монодии на разрушение Смирны (XX) или в «Элевсинской речи» (XIX).

Виртуозность, с которой он владеет языком классической литературной прозы, сыграла, конечно, немалую роль в славе Аристида. Уже ближайшие к нему поколения расценивают его как классика красноречия. В IV в. н. э. Аристиду усиленно подражают и считают его, наравне с Гомером, гордостью Смирны.

5. ГЕРМОГЕН ИЗ ТАРСА

Теоретиком второй софистики был Гермоген из Тарса (род. ок. 161 г., умер в глубокой старости).

Довольно обширное собрание отдельных теоретических трудов Гермогена было, по-видимому, им самим объединено в «Руководство», очень сильно повлиявшее на последующую школьную традицию; особенную популярность оно пользовалось в IV в. и впоследствии в Византии, начиная с IX столетия.

Риторический материал Гермоген делит на две большие группы: речи «политические», куда включены и судебные (стилистические законы их он устанавливает, пользуясь десятью аттическими ораторами и Критием), и «панегирические», образцы которых ему дают сочинения Ксенофонта, Геродота, Фукидида и в особенности Платона.

Вершиною политического красноречия он считает Демосфена. Гермоген окончательно устанавливает порядок школьных ораторских упражнений, получивший в дальнейшем каноническое значение. Он развил и разработал учение ритора II в. до н. э. Гермагора об основных вопросах, которые каждый оратор должен обдумать и поставить применительно к конкретному юридическому казусу: установление самого факта, его правовая характеристика, его качественная оценка в смысле наличия оправдывающих обстоятельств, правомерность избранной обвинителем процессуальной формы. Эти простые категории Гермагора усложнены и дополнены Гермогеном.

В своем трактате «О типах речи» он заменяет, как это делали уже некоторые его предшественники, старое учение о типах речи учением о ее качествах, или, как он в этих случаях говорит, «об идеях»⁶. Гермоген оперирует здесь такими категориями, как «ясность», «величавость», «красота», понимаемыми как стилистические характеристики ораторской речи. Умение свободно ими распоряжаться и сочетать их надлежащим образом обуславливает собою мастерство оратора.

Свои основные положения Гермоген строит на стилистическом анализе речей Демосфена. Принцип подражания классическим образцам пронизывает собою все его учение. Интерес к Критию, как и у Герода, свидетельствует о тенденции к архаизированию.

⁶ См. С. Меликова-Толстая. Античные теории художественной речи. Сб. «Античные теории языка и стиля». М.—Л., 1936, стр. 167.



Глава XI

ЛУКИАН

1. Биография Лукиана.— 2. Общая характеристика произведений Лукиана.—
3. Литературная деятельность Лукиана.— 4. Псевдо-Лукиан.— 5. Лукиан в новое время.

1. БИОГРАФИЯ ЛУКИАНА

Совершенно особое место занимает в литературе II в. творчество Лукиана из Самосаты, названного Энгельсом «Вольтером классической древности»¹. Время Лукиана — это период обострения противоречий, разъедавших римский мир, период глубокого кризиса экономического и социального уклада, основанного на рабском труде, упадка старой религии и прихода на смену ей христианства. В произведениях Лукиана преломились эти особенности современной ему исторической обстановки. Но непосредственнее и ярче, чем все другое, отразился в его произведениях идеологический кризис эпохи, когда «философы были или просто зарабатывающими деньги школьными учителями, или же шутами на жаловании у богатых кутил»², и старая олимпийско-капитолийская религия отживала свой век.

Упадок старой философии, крах старой религии — вот главная тема Лукиана. В римской литературе эта тема стояла на втором плане. Современник Лукиана великий сатирик Ювенал в первую очередь обличал материальное и правовое неравенство свободных граждан и лишь в связи с этим касался таких тем, как жалкая роль современных философов и пошатнувшееся положение олимпийских богов. Лукиан не отличался ювеналовской четкостью социальных симпатий. Воспитанный на образцах аттической прозы и поэзии и сам писавший по-гречески, сначала странствующий ритор, а затем крупный чиновник, Лукиан был продолжателем эллинских литературных традиций. Сатира Лукиана на первый взгляд лишена глубокого общественного содержания. Но объективно критика эта бьет и по официальной, получающей государственную поддержку религии, и по официальной, призванной укреплять рабовладельческое государство философии, в частности стоической. Энгельс отметил также, что Лукиан является «одним из лучших наших источников о первых христианах»³.

¹ Ф. Энгельс. К истории раннего христианства. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 411.

² Ф. Энгельс. Бруно Бауэр и раннее христианство. Там же, т. XV, стр. 607.

³ Ф. Энгельс. К истории раннего христианства. Там же, т. XVI, ч. II, стр. 411.

Если не считать кратких упоминаний о Лукиане у Свиды и некоторых других христианских авторов, всеми нашими сведениями о жизни и деятельности Лукиана мы обязаны его собственным произведениям. Из них особенно богаты автобиографическими материалами такие, как «Сновидение, или Жизнь Лукиана» и «Дважды обвиненный, или Судебное разбирательство». В «Сновидении» писатель ведет рассказ от первого лица, в «Дважды обвиненном» выводит себя в образе Сирийца. Что же касается датировки жизни Лукиана и хронологии его творчества, то они устанавливаются на основании отдельных, разбросанных по разным произведениям косвенных указаний.

Так устанавливается, в частности, год рождения Лукиана. В «Дважды обвиненном» (гл. 32) Лукиан сообщает, что в сорок лет он получил образование в риторике и перестал ею заниматься. Так как в нериторических произведениях Лукиана можно усмотреть указание на то, что они были написаны не раньше середины шестидесятых годов II в., то Лукиан, который должен был достичь к этому времени сорокалетнего возраста, родился около 125 г. Впрочем, в «Лексиконе» Свиды говорится, что Лукиан родился в царствование Траяна, а оно, как известно, закончилось в 117 г. Относительно даты смерти Лукиана со всей определенностью можно сказать только то, что умер он после императора Марка Аврелия, т. е. после 180 г.: в «Александр, или Ажепророке»⁴ Лукиан говорит о «божественном Марке Аврелии» (гл. 48), и эпитет «божественный» — несомненное указание на то, что речь идет об умершем, а не о здравствующем императоре. Так как в некоторых других произведениях («Про Геракла», «Дионис») Лукиан называет себя человеком почтенных лет и стариком, то можно предполагать, что умер он в глубокой старости, дожив, возможно, до конца II в.

Способ датировки рождения и смерти Лукиана показывает, каким путем приходится определять те или иные даты, являющиеся вехами его жизни и деятельности. Теперь, наметив главные хронологические рамки, целесообразнее подробно не останавливаться на датировке отдельных событий в жизни Лукиана, а изложить биографию его так, как она вырисовывается из его сочинений.

Лукиан родился в Сирии, в городе Самосате. Самосата прежде была столицей небольшого государства Коммагены, но еще до рождения Лукиана, при Веспасиане, в конце I в. н. э., Коммагена утратила самостоятельность и стала частью римской провинции Сирии. Таким образом, с римской точки зрения Лукиан — провинциал-азиат. Отец его был, по-видимому, бедным ремесленником. Во всяком случае, когда Лукиан перестал ходить в школу, дела семьи шли плохо, и на семейном совете было решено обучать мальчика ремеслу. Дядя Лукиана, считавшийся прекрасным ваятелем, взялся обучать племянника своему искусству, но вскоре ученик по неопытности расколол каменную плиту. Дядя избил Лукиана, и на этом занятии ваянием прекратились. Лукиан решил продолжать образование. В «Дважды обвиненном»⁵ фигура, олицетворяющая риторику, говорит, обращаясь к судьям (она обвиняет Лукиана в измене ей): «Этого человека я нашла во время его скитаний по городам Ионии, когда он был еще подростком, говорил только по-варварски, едва ли не одевался в длиннополую одежду по ассирийскому обычаю и еще не знал, что делать с собою. Я взяла его к себе и дала ему воспитание... Когда он захотел отправиться в Италию, я переправилась

⁴ Перевод Д. В. Сергеевского.

⁵ Перевод Э. В. Диль.

вместе с ним через Ионийское море и в конце концов проводила его до самой Галлии и там помогла ему разбогатеть» (гл. 27 и 28). Нетрудно перевести эти образы на простой язык биографии: Лукиан прожил какое-то время в Ионии, изучил там греческий язык и риторику, сделался странствующим ритором и отправился в другие страны. Кроме Италии и Галлии, он посетил Македонию, где нашел богатых покровителей, участвовал в олимпийских состязаниях ораторов, неоднократно останавливался в Афинах. Время от времени Лукиан возвращался на родину, в Сирию, и выступал здесь, как и в других странах, с речами, построенными во вкусе второй софистики. В сорокалетнем возрасте Лукиан, по собственному его свидетельству (на что было указано выше), почувствовал отвращение к риторике. Ему надоели обычные темы риторических упражнений — обвинения тиранов и панегирики героям. Лукиана привлекает философия. «Бежав от обвинения тиранов и восхваления героев, я хотел бы пойти в Академию или в Ликей прогуливаться и разговаривать в тиши вот с этим Диалогом, не нуждаясь ни в похвалах, ни в рукоплесканиях» («Дважды обвиненный», 32). Нельзя не предположить, что отход от риторики и внешне изменил образ жизни писателя, которому теперь средства к существованию доставляли не публичные декламации, а сочинение диалогов философского и бытового содержания. Выступая в роли разоблачителя всяческих суеверий, Лукиан и на деле показал себя врагом всякого рода шарлатанов-лжепророков, спекулировавших на невежестве народа. Со всей решительностью он выступил против пафлагонского «чудотворца» Александра, выдававшего себя за сына бога Асклепия и пользовавшегося покровительством влиятельного римского сановника. «Придя к Александру,— рассказывает Лукиан,— я застал около него толпу... Александр протянул мне для поцелуя свою правую руку, как он обыкновенно делал, я же, наклонившись, как будто для поцелуя, сильным укусом почти лишил его руки» («Александр, или Лжепророк», 55). После долгих лет странствий и неверного литературного заработка Лукиан получает пост императорского судейского чиновника в Египте. Писатель, прежде прославлявший честную бедность и неоднократно выступавший против состоящих на жаловании философов, сам чувствовал непоследовательность такого поведения и призвал для его оправдания всю свою риторскую технику. «Если бы мною был раньше установлен закон: «пусть никто ничего не делает», я, конечно, подлежал бы обвинению в нарушении подобного закона»,— говорит Лукиан, приравнивая хорошо оплачиваемую работу императорского судейского ко всякой другой полезной деятельности. «Плату я получаю не от частного лица, а от императора, и плату не малую, а весьма значительную. Да и на будущее, если только дела мои пойдут как следует, у меня неплохие виды: получить управление областью или иное какое-нибудь императорское поручение» («Оправдательное письмо», 12)⁶.

Трудно сказать, как «пошли дела» Лукиана в дальнейшем. Никакого материала на этот счет в его произведениях мы не находим. Нужно, однако, заметить, что упомянутые нами произведения, которые, по свидетельству самого Лукиана, были написаны им в старости, и по форме, и по содержанию являются чисто риторическими. Лукиан говорит, что он «отважился спустить на воду давно уже стоявшее на суше суденышко, оснастив его, насколько позволяли средства, и снова выйти в открытое море» («Про Геракла», 8). Мы не знаем, зачем было спущено на воду старое суденышко риторики — было ли это развлечением высокооплачиваемого импера-

⁶ Перевод Н. П. Баранова.

торского служащего или возвращением Лукиана к старым занятиям как к профессии⁷.

Свида сообщает, что Лукиан погиб, растерзанный собаками. Эта версия христианского писателя, очень напоминающая легенду о смерти Эврипида, легко объясняется ненавистью к «нечестивцу», который (цитируем того же Свида) «хулит самого Христа» и «будет гореть на вечном огне Сатаны».

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛУКИАНА

Под именем Лукиана до нас дошло 84 отдельных произведения. Некоторые из них считают подложными. В частности, полагают, что такие произведения, как «Трагоподагра» и «Быстроног», написанные стихами и пародирующие греческую трагедию, а также написанные элегическим дистихом эпиграммы Лукиану не принадлежат. Что касается прозаических произведений, то подлинность около десяти из них подвергают сомнению. Таким образом, Лукиану несомненно принадлежит более 70 произведений. Небольшие по размеру, они различаются и по содержанию и по жанру. Точная хронологическая последовательность их создания нам неизвестна, но, как это видно из биографии Лукиана, творчество его претерпело известную эволюцию.

3. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛУКИАНА

Лукиан начал свою литературную деятельность как ученик риторской школы и странствующий декламатор. Первыми его произведениями были риторические упражнения, декламации. Политическое красноречие, игравшее некогда важную роль в римской республике, во времена Лукиана давно утратило свое значение. Политическим центром Римской империи был не форум, а императорский дворец. Нечего и говорить, что в провинциях империи, особенно при той строгой централизации власти, которую установил Траян, да и при других цезарях, ни о каком политическом красноречии нельзя было и думать. Старые риторские школы продолжали существовать, но жизненное значение их как института свелось к минимуму, если не было утрачено целиком. В азиатских провинциях риторские школы были греческими, но преподавание в них мало чем отличалось от латинских школ, представление о которых дают упоминания Петрония, Тацита, Ювенала и образцы декламаций Квинтилиана.

Типичным риторским упражнением, составленным с учетом всех школьных рецептов, является речь Лукиана, озаглавленная «Лишенный наследства».

Точно так же, на обычной для риторических упражнений заранее заданной ситуации, построена речь «Тираноубийца». Некто намеревался убить тирана, но убил его сына и оставил кинжал в теле убитого. Увидев сына мертвым, тиран закалывает себя этим же кинжалом. Убийца сына доказывает свое право называться тираноубийцей, и вся речь представляет собой цепь его рассуждений и доказательств. Как и «Лишенный наследства», «Тираноубийца» — образец так называемого парадокса — риторического доказательства правоты оратора в трудной, запутанной ситуации. По этому

⁷ Ср.: «Будьте же и вы благосклонны, о боги, и наполните парус, ибо сейчас всего больше нуждаемся мы в крепком попутном и дружеском ветре» («Про Геракла», 8). Перевод Н. П. Баранова.

же принципу построены Лукианом две речи в защиту сицилийского тирана Фаларида: первая от имени Фаларида, вторая от имени другого лица.

Если такого рода речи можно еще рассматривать как подготовительные упражнения для выступлений в суде, хотя содержание их слишком надуманно и далеко от реальной жизни, то так называемые пролалии (вступления в разговор) — совершенно самодовлеющий вид красноречия. Эти вступления лишены всякой связи с предстоящей речью оратора. Странствующий ритор рассказывает какую-нибудь занимательную историю (у Лукиана это чаще всего история из далекого прошлого Греции) только для того, чтобы в ходе рассказа продемонстрировать слушателям свое искусство и сделать изящный переход к просьбе о внимании и снисходительности аудитории.

К числу пролалий относятся такие произведения, как «Скиф, или Друг на чужбине», «Геродот, или Аэтий», «Гермонид», «О янтаре, или О лебедях». В «Скифе», часто прибегая к форме диалога, Лукиан рассказывает о том, как во времена Солона в Афины прибыл скиф Анахарсис. Здесь он встретил своего соотечественника Токсариды, который не только предложил ему дружбу, но и снискал ему расположение Солона. Изложив историю Анахарсиса, Лукиан обращается к своим слушателям (речь эта, как видно из приводимой ниже цитаты, была произнесена в Македонии): «Пора, наконец, вам узнать, чего ради Анахарсис из Скифии вместе с Токсаридом и старцем Солоном из Афин прибыли сейчас в моем повествовании в Македонию. Итак, я заявляю, что со мной случилось почти то же, что и с Анахарсисом»⁸ («Скиф, или Друг на чужбине», 9). Выслушав назидательную историю о друге на чужбине, публика получает представление о таланте оратора и оказывается подготовленной к сообщению о том, что он сам успел уже заручиться дружбой местных влиятельных лиц.

Речь «Гармонид» была произнесена Лукианом на олимпийских играх. В ней рассказывается о том, как учитель музыки Тимофей в ответ на просьбу своего ученика флейтиста Гармонида указать ему путь к славе советует прежде всего добиться признания самых уважаемых людей, так как толпа «во всяком случае пойдет за умеющими судить лучше». Весь рассказ о Тимофее и Гармониде, с одной стороны, подготавливает обращение Лукиана к своему покровителю и олимпийской аудитории, а с другой — знакомит слушателей с оратором.

Но уже в ранних, еще находящихся во власти риторики произведениях Лукиана можно различить задатки будущего сатирика. Лукиан еще не испытывает того отвращения к риторике, о котором он заявит позднее. Но он уже пародирует риторику, доводит до абсурда ее приемы. Смех Лукиана еще не направлен против лжепророков и лжефилософов, против старой и новой религии, в его произведениях еще не вошел бытовой материал. Но разрыв с риторикой во имя сатиры уже намечается. Чрезвычайно показательны такие произведения, как «Похвала мухе» и «Суд гласных». «Похвала мухе» пародирует риторический жанр энкомия (хвалебной речи). Правда, подобные пародии сами были особым жанром. Такие пародии писал, например, и убежденный ритор Фронтон, называвший их пустяками, вздором⁹. Но для Лукиана пародии эти имели особое значение. Приемы их органически вошли в его творчество, стали неотъемлемой частью его техники построения комических сцен. Так, впоследствии, в «Прометее, или Кавказе», Луки-

⁸ Перевод Н. П. Баранова.

⁹ Ср. его «Похвальное слово пыли и дыму».

ан заставляет Прометея построить речь против Зевса по всем правилам ораторского искусства. Риторические рассуждения в устах богов были у Лукиана рассчитаны на то, чтобы вызвать смех читателя.

Вернемся, однако, к «Похвале мухе» и «Суду гласных». «Похвала мухе» составлена по всем правилам хвалебной речи. Одно за другим описаны свойства этого насекомого, перечислены упоминания мух у Гомера, приведены соответствующие цитаты из комической и трагической поэзии. Серьезный тон ничем не нарушается, и эта серьезность, даже возвышенность, похвал маленькому вредному насекомому не только демонстрирует блестящую декламаторскую выучку Лукиана, но и дискредитирует весь риторический арсенал. Если «Похвала мухе» пародирует хвалебную речь, то «Суд гласных» — пародия на судебное красноречие.

Бытовой элемент в этих пародиях отсутствует. Они носят целиком книжный характер. Как видно, они появились в разгар риторской работы Лукиана, когда неудовлетворенность риторикой еще не была им осознана и когда, смеясь над ее однообразными формулами, он сам еще не выходил из их рамок. Не следует преувеличивать значения этих пародий. Очень вероятно, что одновременно с «Похвалой мухе», «Судом гласных» появилось и такое, например, сочинение, как «О доме» — своеобразное сочетание хвалебного красноречия с судебным. Содержание этого произведения — похвалы некоему роскошному дому, произносимые от имени двух лиц, которые только внешне напоминают тяжущиеся стороны, так как речи обоих направлены к одному и тому же — прославлению дома. Это скорее соревнующиеся, чем спорящие стороны. Речь второго — не опровержение, а как бы дополнение похвал первого. Похвалы, как обычно в сочинениях такого рода, подкрепляются ссылками на Гомера. Впрочем, и в этом, построенном по общим правилам произведении, есть одна чисто лукиановская особенность — описание стенной росписи дома. Лукиан вообще охотно описывает картины и изваяния. Описания эти отличаются большой выразительностью, в них скажутся юношеские занятия автора изобразительным искусством. «Трудность того, на что я дерзаю, — говорит один из восхваляющих дом, — вы видите сами: без красок и очертаний, вне пространства создать такие картины — для этой задачи у словесной живописи мало средств»¹⁰ («О доме», 21). В другом произведении, написанном в жанре пролалии, — «Зевксиде» — центральное место занимает описание картины художника Зевксиды.

Таким образом, уже в риторических произведениях Лукиана намечаются отдельные стилистические особенности (юмористический тон, картинность описаний, пристрастие к диалогу), которые получат развитие в дальнейшем, в ходе идейного обогащения его творчества.

Риторические формулы, словесные узоры, внешне блестящие и лишённые глубокого содержания, все меньше и меньше удовлетворяют Лукиана. Писатель хотел говорить «по-человечески» («Дважды обвиненный», 34). «Я увидел, как риторика украшает себя, причесывается наподобие гетер, натирается румянами и подводит глаза... Я начал относиться к ней подозрительно» (там же, 31). Сам Лукиан, рассказывая о начале нового этапа своего творчества, говорит, что он изменил риторике и обратился к диалогу. Для античной литературы вообще характерно закрепление за определенным содержанием определенных формальных особенностей литературного жанра. Поэтому, если бы до нас дошло только это свидетельство Лукиана об его переходе к диалогу, а сами диалоги не дошли, мы должны были бы предположить, что в творчество писателя влилось новое содержание.

¹⁰ Перевод Н. П. Баранова.

Перелом, формальным, внешним выражением которого был переход от пролалий и «парадоксов» к диалогическим сценкам, знаменует обращение Лукиана к вопросам идеологическим; здесь, собственно, и начинается оригинальное и значительное его творчество.

Со времени Сократа диалог стал формой философских рассуждений. В «Дважды обвиненном», осуждая Сирийца (то есть Лукиана), олицетворенный Диалог усматривает главную вину его в трансформации жанра: «До сих пор мое внимание было обращено на возвышенное: я размышлял о богах, о природе, о круговращении вселенной и витал где-то высоко под облаками, где великий Зевс, правя крылатой колесницей, несется в небесах. А Сириец стащил меня оттуда, когда я уже направлял полет к своду мироздания и всходил на поверхность неба, он сломал мои крылья и заставил меня жить так же, как живет толпа. Он отнял трагическую, грустную маску и надел на меня вместо нее другую, комическую и сатирическую, почти смешную. Затем он... ввел в меня насмешку, ямб, речи киников, слова Эвполида и Аристофана... Наконец, он выкопал и натравил на меня какого-то Мениппа, из числа древних киников...» (33). Это место содержит ценное указание самого Лукиана не только на характер изменений, внесенных им в диалог, но и на известный порядок внесения этих изменений, что помогает нам установить последовательность его диалогических произведений.

Как видно из этой цитаты, к доктрине киников Лукиан пришел позднее, а сразу после разрыва с риторикой обратился к сатире. Именно в этот период им были написаны такие произведения, как «Прометей, или Кавказ», «Разговоры богов», «Морские разговоры», «Разговоры гетер» — сочинения, герои которых, независимо от того, люди они или боги-олимпийцы, живут так, «как живет толпа».

В «Разговорах богов» изображение олимпийцев достигло предельного антропоморфизма. Лукиан берет здесь мифологические сюжеты и, описывая все так, как происходит в действительности, дискредитирует вымысел мифологии. Гораций советовал трагикам избегать показа в лицах некоторых мифологических событий, которые, будучи представлены со всеми подробностями, обнаружили бы свою несообразность с земной действительностью и лишились трагической окраски¹¹. Например, Медея не должна на глазах публики убивать детей, Атрей — варить человеческое мясо, Прокна — превращаться в птицу и т. д. Подобные вещи, учит Гораций, не нужно выносить на сцену. Лукиан поступает как раз наоборот. Во все действия богов он вносит максимум обыденности и «выносит на сцену», например, рождение Афины из головы Зевса («Зевс и Гефест»).

Такое нарочитое «снижение» мифологических образов встречалось в греческой литературе и до Лукиана. Эврипид подчеркивал в своих трагедиях наиболее нелепые и грубые места мифов. Основоположник так называемой дорической комедии Эпихарм (V в. до н. э.) подверг сатирической перелицовке, травестии, гомеровский эпос. Завистливый и мелочный Зевс Лукиана очень похож на эпихармова Зевса, который на свадебном пиру не постеснялся потребовать лучших кусков для себя¹². Немало насмешек над мифологией было в комедиях Аристофана.

Но в эпоху разложения греческого полиса все эти подчеркивания наиболее невыгодных для богов мифологических преданий выражали лишь сомнение в нравственной правоте богов и не приняли еще формы открытого издевательства над старой религией. Лукиан выступил в роли продолжате-

¹¹ Г о р а ц и й. «Поэтическое искусство», 182 слл.

¹² Эпихарм, фр. 71 (см. Comicorum Graecorum Fragmenta, ed. Kaibel, T. 1).

ля этих традиций греческой литературы в иных исторических условиях. Именно в произведениях Лукиана ее антирелигиозная струя забила мощным ключом.

Может быть, непосредственным толчком, вызвавшим это издевательское снижение образов богов и героев, было отвращение к риторике с ее «высокими» сюжетами и мифологическими аксессуарами. Но что бы ни было непосредственным толчком, сама возможность такого издевательства над богами могла возникнуть в эпоху, когда в глазах широких масс старая религия утратила прежний авторитет. Вот почему, издеваясь над богами, смело вводя в литературу это новое отношение к старой религии, Лукиан в сущности откликался на одну из важных общественных проблем своего времени.

Вскорости после отхода Лукиана от риторики был написан «Прометей, или Кавказ» — разговор Гермеса, Гефеста и Прометея. Гермес и Гефест приковывают Прометея к скале. Прометей произносит речь против Зевса, и речь эта кажется убедительной даже Гермесу и Гефесту, исполняющим роль зевсовых палачей. «Мне стыдно за Зевса, — говорит Прометей, — он так мелочен и злопамятен»¹³. В числе провинностей Прометея, за которые он был осужден Зевсом на вечные муки, было то, что при разделе жертвенного мяса он взял себе лучшие куски. Прометей ставит в пример Зевсу людей: «Между тем насколько добродушнее относятся к подобным вещам люди, а ведь, казалось бы, они должны быть гораздо грубее в гневе, чем боги! Однако среди них не найдется никого, кто приговорил бы кусочек жаркого. Нет, люди прощают это» (гл. 10). Таким же мелочным и трусливым предстает Зевс и в первом из «Разговоров богов», представляющем диалог Прометея и Зевса, и в других «Разговорах». Он не только мелочен, труслив и жесток, но и похотлив («Эрот и Зевс», «Зевс и Гермес», «Зевс и Ганимед»), с презрением относится к людям («Зевс, Асклепий и Геракл»), ревнив («Гера и Зевс»). Подстать Зевсу и другие боги. Они ведут себя, как люди, но люди ничтожные, мстительные и завистливые. Прометей, как мы только что видели, противопоставил Зевсу людей. «Богам Греции, — писал Маркс, — которые были уже раз — в трагической форме — смертельно ранены в «Прикованном Прометее» Эсхила, пришлось еще раз — в комической форме — умереть в «Беседах Лукиана»¹⁴.

В свете разбросанных по разным местам «Разговоров богов» противопоставлений людей богам особый смысл приобретает другой цикл диалогических сценок — «Разговоры гетер». Буржуазная критика Запада усматривала в «Разговорах гетер» простое подражание комедии и мимам. Действительно, бытовым содержанием, чисто эллинистическим колоритом эти диалоги напоминают новую комедию Менандра, похожи на комедии Теренция. Но в диалогах Лукиана нет запутанной сюжетной интриги, игравшей немалую роль в комедии, а образы гетер лишены характерного для комедии штампа, раскрыты психологически. Комедия всегда завершалась благополучной развязкой, намеченные в начале сюжетные линии переплетались и получали разрешение в конце. Для Лукиана гораздо важнее наметить и психологически раскрыть конфликт, чем разрешить его. В центре внимания Лукиана — человеческие характеры. Если боги в «Разговорах богов» прятали свои неблагоприятные поступки за олимпийским величием и риторическими

¹³ Перевод Б. В. Казанского.

¹⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I. Изд. 2, стр. 418.

рассуждениями, то герои «Разговоров гетер» ничем не прикрашивают своих поступков и в отличие от богов часто оказываются добрыми и справедливыми. Гетера Филинна не хочет примириться с оскорблениями со стороны своего покровителя («Филинна и ее мать»). В отличие от Зевса, не испытывающего ни малейшего стыда при упоминании о его любовных делах, гетера Лезна стыдится разговора о своих отношениях с богатой лесбиянкой («Клонария и Лезна»). Гетера Мусария предпочитает бедного, но любимого ею юношу богатому покровителю («Мать и Мусария»). Вообще главный пункт «Разговоров гетер» — бедность и человеческое достоинство. Во времена все возрастающего обнищания широких масс свободного населения это было важной современной проблемой. Вот почему «Разговоры гетер» нельзя толковать как простое подражание старым образцам. В противопоставлении богам людей, в постановке проблемы: «бедность и человеческое достоинство» заключается связь «Разговоров гетер» и с антирелигиозными произведениями Лукиана, и с сочинениями, которые явились следствием его философских исканий.

К «Разговорам богов», еще сохраняющим следы риторической выучки, по содержанию примыкают «Морские разговоры», написанные, однако, гораздо живее: здесь нет таких длинных монологических партий, как в «Разговорах богов», диалог живее, риторические вопросы отсутствуют. «Морские разговоры» — дальнейшее развенчание мифологических персонажей. Если в «Прометее, или Кавказе» Лукиан как бы посыпал солью рану, нанесенную греческим богам Эсхилом, то в одном из «Морских разговоров» — диалоге «Киклоп и Посейдон» — он выбирает для обработки то место из Гомера, где мифологические персонажи по сравнению с людьми предстают грубыми и глупыми существами. Лукиан издевается над тупостью киклопа Полифема, воспроизводя его жалобы Посейдону на Одиссея.

В другом диалоге — «Менелай и Протей» — Лукиан высмеивает миф о превращении морского бога Протея на египетском острове Фаросе. Недоверие к мифу и насмешливое отношение к нему олицетворяет Менелай, хотя и мифологический персонаж, но, как и Одиссей, смертный, а не бог. Менелай говорит относительно превращения Протея в огонь: «Не спорю, я и сам это видел, но, говоря между нами, мне кажется, что в этом деле замешано какое-то колдовство, то есть, что ты, оставаясь все тем же, лишь обманом зрения действуешь на зрителя»¹⁵ (гл. 1).

Проблему бедности, богатства и человеческого достоинства Лукиан ставит в «Тимоне, или Мизантропе». Большие размеры монологов (особенно самый первый монолог Тимона), длинные периоды речи указывают на то, что произведение это принадлежит к тому периоду творчества Лукиана, который последовал за его риторской деятельностью. Проблема, намеченная в «Разговорах гетер», поставлена здесь более четко и для ее разрешения привлекается вполне реальный, взятый непосредственно из современной действительности, материал. Обедневший Тимон покинут друзьями. Одетый в овчину, он за жалкую плату обрабатывает мотыгой чужую землю. Тимон жалуется Зевсу. Заметим кстати, что в эту жалобу Лукиан вставляет прямую издевку над Зевсом: «...никто теперь не приносит тебе жертв и не украшает твоих изображений венками, — разве только в Олимпии случайно кто-нибудь сделает это; да и тот не считает это очень нужным, а только выполняет какой-то старинный обычай»¹⁶ (гл. 4). «Тимон, или Мизантроп» во многом перекликается с «Плутосом» Аристофана. Но для Аристофана от-

¹⁵ Перевод С. С. Лукьянова.

¹⁶ Перевод Б. В. Казанского.

сутствие у людей страха перед Зевсом и другими богами было такой же утопией, как прозрение слепого бога Плутона. Лукиан, наоборот, говорит о неуважении людей к Зевсу как о вполне естественном и реальном явлении.

Оказывается, Плутос покинул Тимона из-за его чрезмерной доброты и расточительности. По просьбе Гермеса Плутос кладет сокровище Тимону под мотыгу. К Тимону снова возвращаются отвернувшиеся от него друзья, но теперь он гонит их прочь. Вся сценка представляет собой не апологию мизантропии (она написана в самом веселом тоне), а сатиру на льстецов-приживальщиков, в том числе и «философов» (гл. 54), на разбогатевших вольноотпущенников (гл. 22 и 23), то есть как раз на распространенные общественные типы того времени. Кроме того, мы находим здесь естественное для выходца из трудовой среды, каким был Лукиан, противопоставление богатству честной бедности. «Как только кто-нибудь, встретив меня,— говорит Плутос,— распахивает передо мной двери, чтобы принять меня, то вместе со мной незаметно прокрадываются Слепленние, Невежество, Чванство, Распущенность, Дерзость, Обман и тысяча подобных недостатков» (гл. 28). Наоборот, спутники бедности — Благоразумие и Труд (гл. 32). Интересно это произведение и выпадом против риторики. На предложение Плутона произнести защитительную речь перед Тимоном последний отвечает, что согласен выслушать речь, «только не длинную и без предисловий, как у мошенников-риторов» (гл. 37).

Ярким свидетельством окончательного разрыва Лукиана с риторикой, с пустой словесной игрой были такие произведения, как «Учитель красно-речия» и «Лексифан, или Краснобай».

В «Подготовительных работах по истории эпикурейской, стоической и скептической философии» Маркс, говоря о непопулярности первых греческих мудрецов, философов-досократиков, указал на непрочность авторитета олимпийской религии, на связь его с определенным периодом греческой истории. «Прорицания дельфийского Аполлона,— писал Маркс,— являлись для народа божественною истиною, скрытою в полумраке, свойственною неведомой силе, лишь до тех пор, пока с пифийского треножника возвещалась явная мощь самого греческого духа...»¹⁷. Во II в. н. э. времена, когда эта религия пользовалась авторитетом в широких народных массах, отошли в область далекого прошлого. Лукиан, затронувший в своем творчестве такие вопросы, как богатство, бедность, недоверие к старой религии, должен был и как человек своего времени и как писатель искать философской основы для своего мироощущения. В глазах Лукиана, отличавшегося рационалистическим складом ума не желавшего принимать на веру мифы о богах и героях, христианах, как мы увидим ниже, были всего лишь носителями одной из разновидностей суеверия. Стоическая школа и школа Эпикура были скомпрометированы образом жизни их приверженцев. Философия Платона¹⁸ с ее идущим от Сократа отвлеченным идеалом «калокагатии» — добродетели во всех отношениях, не давала этического осмысления насущных для Лукиана проблем. Эта идеалистическая, выросшая в чуждой Лукиану аристократической среде философия не могла питать творчество критика-рационалиста. Гораздо созвучнее запросам Лукиана было учение киников.

Основоположником школы киников считается Антисфен, живший во второй половине IV в. до н. э. Киническая философия возникла в период

¹⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 461.

¹⁸ Следует заметить, что в свое время Лукиан относился к ней с несомненным уважением (в «Нигрине» он с восторгом приводит критику римского образа жизни философ-платоником).



Сарапис. Мрамор. Римское воспроизведение статуи Сараписа в Александрии.
Конец IV в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

упадка греческого полиса, после Пелопоннесской войны. Эта философия в известной мере отвечала настроениям бедных свободных граждан и рабов, положение которых после Пелопоннесской войны было крайне тяжелым. Этика киников отражает недовольство обездоленных народных масс богатством и роскошью правящей верхушки. Киники этого периода отвергали богатство, искусство, науку, религию, видя во всем этом одинаковую помеху для нравственной автономии личности. Тяжелое положение бедняков во времена Лукиана, банкротство старой религии, упадок искусства, погоня «философов» за деньгами и удовольствиями — все это создавало благоприятную почву для обращения к доктрине киников. В период поисков философского *credo* Лукианом был написан диалог «Гермотим, или О выборе философии». Действующий персонаж диалога — Гермотим, занявшийся изучением стоической философии, и Ликин. Ликин — явно положительный герой всех диалогов, в которых он участвует, и, следовательно, он выражает взгляды автора. Ликин доказывает Гермотиму, что философия стоиков ничуть не лучше всякой другой философии. Ликин отнюдь не отдает предпочтение кинической философии, школу Антисфена и Диогена он просто называет в числе прочих философских школ. Правда, о киниках мы не встретим в диалоге таких неслучайных упоминаний, как об эпикурейцах («падки до удовольствий»), перипатетиках («корыстолюбивы и большие спорщики»), платониках («надменны и честолюбивы»), стоиках (учитель Гермотима — жадный и злой старик), но в «Гермотиме» нет еще признаков увлечения кинической философией, которые мы увидим в других, очевидно, более поздних произведениях.

В диалоге «Менипп» мы тоже найдем насмешки по адресу философов. Насмешки эти вложены в уста Мениппа, писателя-киника III в. до н. э., и отражают отношение киников к различным философским школам.

От Диогена Лаэртского¹⁹ мы знаем, что в центре внимания философских киников находились вопросы этики; логику и физику они отрицали. Менипп, мнение которого, очевидно, разделяет и Лукиан (так как главная роль в диалоге принадлежит именно Мениппу, а не его собеседнику Филониду), говорит о философях: «...Каждый день до тошноты я слышал от них мнения об идеях и бестелесных сущностях, об атомах и о пустоте и о целом множестве подобных вещей. И несноснее всего было то, что каждый в защиту своего исключительного мнения приводил решающие и убедительнейшие доводы, так что нечего было возразить ни тому, кто доказывал, что данный предмет — горячий, ни тому, кто утверждал противоположное, а между тем ведь очевидно, что не может же одна и та же вещь быть одновременно и горячей и холодной»²⁰ (гл. 4). Кроме того, Менипп обвиняет философов в том, что они «восхваляют пренебрежение богатством, а сами оказываются крепко привязанными к нему» (гл. 5). Менипп рассказывает Филониду, что в поисках истины он отправился в подземное царство, так как философия не смогла указать ему верный путь поведения. Затем следует ряд веселых издевательств над мифологическими персонажами. В подземном царстве Менипп оказался свидетелем «народного собрания» мертвецов, но в постановлении этого собрания не оказалось ничего утешительного для искателя правды. Постановление гласило: «В виду того, что богатые, совершая грабежи, насилия и всячески раздражая бедных, поступают во многом противно законам, совет и народ постановили: пусть после смерти тела их будут мучимы, подобно другим преступникам, а души их да будут отправлены назад, на землю...» (гл. 20). И только тень Тиресия выручила Мениппа, шепнув ему на ухо,

¹⁹ VI, 103.

²⁰ Перевод С. С. Лукьянова.

что «лучшая жизнь — жизнь простых людей» (гл. 21), что нужно заботиться только об удобствах в настоящем и ни к чему не привязываться прочно.

Таким образом, последовав за киником Мениппом, Лукиан не решает проблемы нравственного поведения в условиях существования богатых и бедных, а снимает ее, создавая этим видимость разрешения проблемы. В сущности, философия киника Мениппа, как она предстает перед нами в словах Тиресия, мало чем отличается от философии стоиков²¹, против которой с таким жаром Лукиан выступал в «Гермотиме».

Очень большое сходство с разобранным только что диалогом обнаруживает диалог — «Икароменипп, или Заоблачный полет». В нем Менипп рассказывает о том, как он в поисках истины отправился на небо, к Зевсу. Здесь мы опять встречаем знакомые уже нам насмешки над философами, особенно резкие — над натурфилософами. Последние, по мнению Мениппа, занимаются совершенно бесполезным делом, в то время как насущные вопросы человеческого поведения ждут своего разрешения. Даже Селена (луна) негодует на натурфилософию: «Я возмущена нескончаемой и вздорной болтовней философов, у которых нет иной заботы, как вмешиваться в мои дела, рассуждать о том, что я такое, каковы мои размеры, почему иногда я бываю полумесяцем, а иногда имею вид серпа»²² («Икароменипп», 20). Зевс обещает погубить всех философов и делает исключение для Мениппа, но отнимает у него крылья, чтобы лишить его возможности являться на небо. Через все произведение проходит мысль о ничтожестве и непрочности земных благ. Мысль Тиресия о том, что нужно заботиться только об удобстве в настоящем и ни к чему не привязываться прочно, как бы иллюстрируется рядом примеров. Менипп смотрит на землю с высоты и поражается ничтожеству всего, что на земле находится: «И я задумался над тем, на каких пустыках зиждется гордость наших богачей: действительно, самый крупный землевладелец, казалось мне, обрабатывает всего лишь один эпикуровский атом» (там же, 18). В «Икаромениппе» Менипп издевается над вздорностью человеческого молитв, и если в предыдущем диалоге киник сочувственно повторял мысль Тиресия, очень похожую на мысль стоика Марка Аврелия, то здесь рассуждения киника о вздорности человеческих желаний и молитв опять-таки напоминают мысли стоиков. Таким образом, учение, противопоставлявшее богатству честную и независимую бедность и этим привлекавшее Лукиана, по существу ограничивалось отвлеченной моральной проповедью, в общем смыкавшейся с такой же проповедью других философских школ. Философия киников, несомненно отражавшая протест неимущих против материального неравенства граждан, помещала источник освобождения внутри человека, а не вне его. Киническое презрение к материальным благам, к искусству вызывает сомнение у Лукиана, и хотя в разговоре между Киником и Ликином последнее слово остается за Киником, Ликин на какую-то минуту вселяет в Киника неуверенность в его собственной правоте («Киник»²³, 5 и 6):

Ли к и н. ... Жизнь, лишенная всех этих благ, — жалкая жизнь, даже если человек лишен их кем-нибудь другим, как те, что сидят в темницах. Но еще того более жалок, кто сам себя лишит всего, что прекрасно: это уже явное безумие.

К и н и к. Что ж? Может быть, ты и прав...

К этому же периоду увлечения Мениппом относятся и «Разговоры в царстве мертвых». Темы этого цикла диалогов встречались у Лукиана и

²¹ Ср. «К самому себе» Марка Аврелия, I, 1.

²² Перевод С. С. Лукьянова.

²³ Перевод Н. П. Баранова.

раньше. Это опять богатство и бедность, лицемерие философов, нелепость мифов о загробной жизни. В роли положительных героев в этих диалогах выступают философы-киники — Диоген, Менипп и Кратет. Диоген обращается к богачам, находящимся в царстве мертвых. Крез, Мидас и Сарда-напал оплакивают свои сокровища, а Менипп злорадствует: «Вы заставляли падать перед собой ниц, обижали свободных людей, а о смерти совсем не помнили; так вот же вам: ревите, лишившись всего»²⁴ («Плутон или против Мениппа», 2). Лукиан, повидавший на своем веку немало льстецов и лицемеров, выдающих себя за философов, настолько не доверяет репутации мудреца, что заставляет тень Александра Македонского жаловаться Диогену на Аристотеля. Александр называет Аристотеля шутом, комедиантом и льстецом, мечтавшим только о подарках. Достается и Сократу: Кербер рассказывает Мениппу, что презрение Сократа к смерти оказалось ложным, что в Аиде он заплакал, как ребенок, стал горевать по своим детям и окончательно потерял самообладание. И только Диоген, Менипп и Кратет ведут себя как истинные философы, сохраняя бесстрастно-презрительное отношение к окружающему и среди мертвецов подземного царства.

В «Переправе, или Тиране», произведении, не входящем в «Разговоры в царстве мертвых», но примыкающем к ним, полное презрение к смерти обнаруживают бедняк-сапожник Микилл и философ Киниск (вне всякого сомнения — киник). В другом диалоге («Зевс уличаемый») Киниск высказывает мысль, что боги находятся в худшем положении, чем люди, так как людям приносят освобождение смерть, а боги бессмертны. Зевс возражает Киниску: «Эта вечность и беспредельность полна для нас блаженства, и наша жизнь окружена всевозможными радостями». «Не для всех, Зевс,— отвечает Киниск,— нет в этом деле и среди вас равенства и порядка. Ты, например, блаженствуешь, потому что ты царь... А вот Гефест — хромой и к тому же обыкновенный ремесленник, кузнец...»²⁵ («Зевс уличаемый», 8).

Не проповедью презрения к жизни, кинической «нравственной автономии» и отказа от желаний, а сатирой на обветшалый мифологический реkvизит и на лжемудрость лицемеров-философов, резким противопоставлением бедных богатым сильны все эти произведения. Лукиан предстает в них не как ритор, а как писатель-сатирик, по-своему откликающийся на современные общественные проблемы.

Расставшись с риторикой и соединив, как он сам выражается, философский диалог и комедию, Лукиан подводит итог всему своему творчеству. Таким итоговым, самокритическим произведением явился ответ «Человеку, назвавшему автора Прометеем красноречия». «Ты называешь меня Прометеем. Если за то, что мои произведения — тоже из глины, то я признаю это сравнение и согласен, что действительно схож с образцом»²⁶ (гл. I). Такое начало — не просто выражение авторской скромности. Лукиана беспокоит диковинная форма его сочинений. «То, что мое произведение слагается из двух частей — философского диалога и комедии, которые сами по себе прекрасны,— этого еще недостаточно для красоты целого» (5). Но гораздо больше беспокоит Лукиана содержание его произведений. Он боится, что своим успехом они обязаны только формальным новшествам. Самое главное, однако, то, что философское значение собственных произведений кажется Лукиану сомнительным; он спасается, что Мениппова и Диогенова доктрина —

²⁴ Перевод С. С. Сребрного.

²⁵ Перевод С. П. Маркиша.

²⁶ Перевод Н. П. Баранова.

не органическая часть его сочинений, а прикрытие веселой сатиры. «А еще больше другого боюсь: что могу показаться, быть может, Прометеем, ибо обманул моих слушателей и кости подсунул им, прикрытые тучом, то есть преподнес комический смех, скрытый под философической важностью» (гл. 7). Это высказывание самого Лукиана относительно философского содержания его сочинений свидетельствует о глубоком сомнении писателя в справедливости тех положений киников, которые он приводил в качестве высшей мудрости. В условиях острых социальных противоречий «нравственная автономия» быстро обнаружила перед Лукианом свою несостоятельность, и Диоген, выступавший в «Разговорах в царстве мертвых» как полный достоинства и самообладания мудрец, оказывается теперь таким же объектом сатирического смеха, как и представители других философских учений. Если до сих пор смех Лукиана, направленный против богов-олимпийцев, лжефилософов и богачей, был, пользуясь выражением Лукиана, прикрыт философической важностью, которую сообщала ему киническая философия, то теперь Лукиан перестает заботиться о философском прикрытии своей сатиры.

В «Продаже жизней» Зевс и Гермес устраивают аукцион жизней философов всевозможных толков. После продажи жизни Пифагора наступает очередь Диогена. Лукиан заставляет Диогена выступить с разоблачением своей философии: «То, чего больше всего должно быть у тебя, заключается вот в чем: надо быть грубым и дерзким и ругать одинаковым образом и царей, и честных людей, потому что тогда они будут смотреть на тебя с уважением и считать тебя мужественным. Твой голос пусть будет грубым, как у варвара, а речь незвучной и безыскусственной, как у собаки. Надо иметь сосредоточенное выражение лица и соответствующую этому походку, и вообще следует быть диким и во всем похожим на зверя. Стыд же, чувство приличия и умеренности должны отсутствовать: способность краснеть навсегда сотри со своего лица»²⁷ (гл. 10).

В «Рыбаке, или Восставших из гробов» Лукиан, обращаясь к Диогену, говорит, что сначала пришел в восхищение от его философии и учений других философов и в соответствии с этими учениями построил свою жизнь. «Но затем,— продолжает Лукиан,— я увидел, что многие одержимы любовью не к философии, а лишь к известности, ею доставляемой... Тогда я вознегодовал...»²⁸ (гл. 31). Иными словами, как бы ни были прекрасны намерения Диогена и Мениппа, следование их учению на практике себя не оправдывает. Именно в этот период переоценки кинической философии Лукиан написал письмо «О кончине Перегринна» — произведение, особо отмеченное Энгельсом как ценное свидетельство о первых христианах. Перегрин — распутник и отцеубийца, спекулировавший на невежестве и суеверии простого народа, окруживший себя ради достижения славы ореолом святости и избранныости. О христианах, у которых шарлатан Перегрин добился поддержки и популярности, Лукиан рассказывает без всякой злости. В глазах Лукиана христиане — забитые, суеверные люди, находящиеся целиком во власти странных предрассудков и неспособные потребовать от своих законоучителей разумных доказательств их правоты. Относясь к христианам как к легковерным простакам, Лукиан изливает свое негодование на киников, с корыстной целью превозносящих шарлатанов и надеющихся с их помощью снизить популярность (ср. образ киника Феагена, глашатая «подвигов» Перегринна). Что касается самого Перегринна, то это не христианин и не киник,

²⁷ Перевод Н. П. Баранова.

²⁸ Перевод Н. П. Баранова.

а искатель приключений и славы, не имеющий никаких убеждений. Обличая Перегрину, Лукиан направлял свою сатиру не просто против религиозного обскурантизма и суеверий как таковых, а против определенного, очень распространенного в те времена типа странствующего проповедника-шарлатана. Рассказ о кончине Перегрину — в высшей степени злободневное произведение. Христианская буржуазная критика нового времени объясняла непочтительный тон Лукиана по отношению к христианам его недостаточной осведомленностью в учении Христа. Но, как показывает весь творческий путь Лукиана, всякое учение, требующее принятия его на веру, осуждается писателем наперед.

Именно это нетерпимое отношение ко всякого рода суевериям было причиной нескольких восторженных высказываний Лукиана об Эпикуре, великом античном материалисте, отрицавшем вмешательство богов в жизнь людей. Просветительной по своему характеру сатире Лукиана было созвучно этическое учение Эпикура, этого «величайшего греческого просветителя»²⁹. В одном из антиолимпийских произведений Лукиана — «Зевс-трагик» бог насмешки Мом заявляет, что «нечего сердиться ни на Эпикура, ни на его учеников и последователей»³⁰ (гл. 19) за их мысли о небожителях, и приводит ряд примеров, иллюстрирующих Эпикурово положение о невмешательстве богов в жизнь людей.

Выше говорилось уже о выступлении Лукиана против пафлагонского лжепророка Александра. Лукиан написал разоблачительное жизнеописание этого проходимца «Александр, или Лжепророк», несколько напоминающее рассказ о проделках Перегрину³¹. Поняв, что «человеческая жизнь находится во власти двух величайших владык — надежды и страха — и что тот, кто сумеет по мере надобности пользоваться обоими, очень скоро разбогатеет»³² (гл. 8), Александр стал спекулировать на невежестве простого народа, выдавая себя за прорицателя и исцелителя. Лукиан подробнейшим образом описывает и разоблачает одну за другой хитрости лжепророка, отмечая, что главного врага Александр видел в дискредитировавших его эпикурейцах. «Писал я..., — говорит Лукиан, — чтобы отомстить за Эпикура, мужа поистине святого и с божественным естеством, который один только без ошибки познал прекрасное, преподал его и стал освободителем всех, имевших с ним общение» (гл. 61).

Следы учения Эпикура об атараксии и различении человеческих потребностей с точки зрения их естественности и обязательности удовлетворения можно усмотреть в диалоге «Сновидение, или Петух». Попутно высмеивая как нелепые суеверия веру в переселение душ и пифагорейское запрещение употреблять в пищу бобы, посмеявшись над рассказом о говорящем киле корабля «Арго» и над другими мифами, Лукиан решает проблему отношения к бедности в духе учения о том, что человеческое блаженство заключается в безмятежности духа и удовлетворении естественных и необходимых потребностей. В этом диалоге мы опять встречаем образ бедняка-сапожника Микилла, знакомый нам по «Переправе, или Тиранну». Но если в «Переправе» превосходство Микилла над богачом состояло только в том, что бедному легче расстаться с жизнью, так как у него не было в ней ничего хорошего, если через все произведение проходила мысль киников о бренности жизни и необходимости избавления от земных привязанностей,

²⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, Госполитиздат, М., 1956, стр. 64.

³⁰ Перевод С. П. Маркиша.

³¹ «Александр, или Лжепророк», как мы заметили выше, был написан не раньше 180 г., много позднее «Кончины Перегрину».

³² Перевод Д. В. Сергеевского.

то в «Сновидении, или Петухе» жизнь бедняка Микилла предстает в другом освещении: «Ты не знаешь никаких хлопот, не подводишь счета, требуя уплаты долгов, споря, чуть не до драки, с негодяем-управляющим, раздираемый на части тысячами забот. Нет: окончив башмак и получив семь оболмов платы, ты выходишь вечерком из дому и, помывшись, если захочется, покупаешь себе черноморскую селедочку или другую рыбешку, или несколько головок луку и закусываешь в свое удовольствие, распевая песни и ведя с кем-нибудь философские беседы о милой бедности»³³ (гл. 22). Это гораздо более оптимистическое, жизнеутверждающее суждение показывает, что при решении конкретных социальных проблем Лукиан не был так же радикален и непримирим, как в борьбе против религиозных предрассудков.

В трактате «Как следует писать историю», явившемся, как показывает текст (гл. 2, 15, 30), откликом на многочисленные исторические сочинения, посвященные восточным войнам Марка Аврелия (шестидесятые годы II в.), Лукиан выступает как литературный критик. Выступление в этом качестве писателя, проявившего максимальный интерес именно к духовной жизни современного общества, совершенно закономерно. Современную литературу Лукиан подвергает критике с той же точки зрения, что и современные религиозные суеверия. Лукиан выступил против подражательного, эпигонского характера исторических сочинений. Описывая события реальной войны, историки-эпигоны до такой степени не могли отрешиться от своих древнегреческих образцов, главным образом Фукидида, что вставляли в повествование речи участников событий и даже вымышленные эпизоды, взятые из этих образцов. Лукиан выступил также против риторического балласта, ложной красоты этих произведений. Но Лукиан не ограничивается критикой чисто литературных качеств этих сочинений, указанием на отсутствие литературного вкуса у их авторов. Главное для него не эти отдельные недостатки, а ложность самого принципа, которого придерживаются историки: они не заботятся о точном описании событий, а занимаются восхвалениями начальников и полководцев своего государства и неумеренными поношениями врага. Это уже явно враждебное отношение к официальной римской версии событий, происходивших в Армении, Месопотамии, Сирии. Очень вероятно, что за критикой историков скрывалось глубокое недовольство Лукиана захватнической политикой римлян.

Особым видом литературной критики явилось и такое известное сочинение Лукиана, как «Правдивая история», использованное многочисленными авторами фантастических «путешествий», начиная с эпохи Возрождения и кончая новым временем. Некоторые ученые неверно считают «Правдивую историю» одним из важнейших после «Одиссеи» образцов фантастических путешествий. «Правдивая история» — не образец этого жанра, а сатира на этот жанр, подобно тому, как «Дон Кихот» — не рыцарский роман, а сатира на рыцарские романы. Лукиан высмеивает распространенный в древности жанр авантюрно-фантастического повествования. Он называет таких представителей этого жанра, как «книдиец Ктесий, сын Ктесноха, писавший о стране индов и их жизни, хотя он сам никогда там не бывал»³⁴ и Ямбул³⁵, который «также написал много удивительного о жи-

³³ Перевод Н. П. Баранова.

³⁴ Ктесий — современник Ксенофонта, автор сочинений «Персия» и «Индия»; от обоих трудов дошли только отрывки.

³⁵ Неизвестно, имеет ли в виду Лукиан Ямбула, отрывок из фантастического романа которого приводит Диодор Сицилийский, или это намек на современника Лукиана Ямвлиха, автора романа о любви Родана и Синониды, о котором говорит Фотий.

вущих в Великом море»³⁶ (I, 3). «Руководителем, научившим описывать подобного рода несообразности,— говорит Лукиан,— был Одиссей Гомера, который рассказывал у Алкиноя про рабскую службу у ветров, про одноглазых, про людоедов и про других подобных диких людей... про превращение спутников, вызванное волшебными чарами; подобными рассказами Одиссей морочил легковверных феаков» (I, 3). Невероятные приключения и превращения героев этих «путешествий» так же нелепы, так же противны рационализму Лукиана, как все виды языческих и христианских суеверий. Свой рассказ о путешествии на луну, на Остров Блаженных и другие острова Лукиан строит как пародию. Пародируя фантастические нагромождения древних авторов, Лукиан в то же время повторяет к стати некоторые собственные, уже знакомые нам приемы. Там мы узнаем, что на Острове Блаженных наибольшим почетом пользуются Аристипп и Эпикур, «люди милые и веселые и наилучшие сотрапезники» (II, 18), что философ Диоген «изменил свой образ жизни», «женится на гетере Лаиде» (там же) и ведет себя очень нескромно.

«Правдивая история» помогает понять место в творчестве Лукиана такого фантастического и рассчитанного на внешнюю занимательность произведения, как «Лукий, или Осел»³⁷, сюжет которого в основном совпадает с сюжетом «Метаморфоз» Апулея. «Лукий, или Осел» — рассказ о необычайных приключениях молодого человека, превращенного в осла и затем снова принявшего человеческий облик. Самодовлеющая фантастичность всегда была чужда произведениям Лукиана. Менипповы путешествия на небеса и в подземное царство оправдывались не занимательностью сюжета, а философским смыслом соответствующих произведений. В «Лукии, или Осле» никаких философских рассуждений нет. Лукиан начал свой литературный путь бессодержательной риторикой, а затем сам выступил против нее. Очень возможно, что на каком-то отрезке этого пути, скорее всего, в начале его, Лукиана привлекала обработка распространенных фантастических сюжетов.

Таким образом, и в сатирическом трактате «Как следует писать историю», и в пародии на фантастические «путешествия» Лукиан подвергает критике оторванную от реальной действительности литературу. Вообще мысль о воспитательном действии произведений искусства, будь то образцы литературы или других видов искусства — скульптуры, архитектуры, живописи, хореографии,— часто повторяется у Лукиана³⁸. Мысль эта не получает дальнейшего развития — Лукиан был не теоретиком искусства, а писателем-сатириком,— но она свидетельствует о глубоком протесте Лукиана против той бессодержательной литературы, которую представляли собою риторические упражнения и нелепые фантастические истории. Обнажив убожество и лицемерие современной философии, высмеяв суеверия, Лукиан так же строго критиковал современную литературу.

Заостряя свое внимание на различных проявлениях идейного и нравственного кризиса современности, Лукиан, как мы видели, не обходил вопроса о социальном неравенстве. Однако этого вопроса он касался в более абстрактной форме: часто затрагиваемая Лукианом насущная проблема богатства и бедности решается им не путем показа таких взятых прямо из жизни образов, какие он создает в борьбе против суеверий (Перегрин, Александр), а на не связанном с конкретной действительностью II в. мате-

³⁶ Перевод К. В. Тревер.

³⁷ Многими учеными сочинение «Лукий, или Осел» признается принадлежащим не Лукиану, а некоему Лукию Патрскому.

³⁸ Ср. «Анахарсис», 20—21; «О доме», 10; «О пляске», 4, 6.

риале. Богачи и бедняки Лукиана либо живут в эллинистическую эпоху или в эпоху расцвета Афин, либо это такие персонажи, как Крез и Мидас, Диоген и Менипп, чьи имена служат готовыми символами богатства или презрения к нему. Но сама постановка вопроса о богатстве и бедности и частые возвращения к этому вопросу свидетельствуют о важности его для Лукиана. Особое внимание уделяет писатель положению философов, состоящих на жаловании у богачей, и паразитов-прихлебателей вообще³⁹.

Психология прихлебательства была высмеяна Лукианом, в частности, в диалоге «Паразит» Паразит доказывает, что ему живется лучше, чем философам и что жить на чужой счет — такое же ремесло, как всякое другое («Паразит», 2)⁴⁰.

Т и х и а д. А все-таки как подумаешь да представишь себе одну вещь, — то-то будет смеха!

П а р а с и т. Какую это?

Т и х и а д. Если и в письмах сверху, как обыкновенно, мы написали бы: Симону, прихлебателю.

Но если в диалоге «Паразит» наглецу и любителю легкой жизни Симону противопоставлялся Эпикур как олицетворение философии, то в рассуждении «О философах, состоящих на жаловании», написанном в эпистолярной форме и относящемся к поздним произведениям Лукиана, философию представляет не благородный, непрактичный Эпикур, а шуты, состоящие на жаловании у богачей. «Когда человек, — пишет Лукиан, — оставаясь всю жизнь бедняком, нищим, живя подачками, воображает, будто тем самым он избегает бедности, я не знаю, можно ли отрицать, что такой человек сам себя обманывает»⁴¹ (гл. 5). Положение философа, живущего на содержании у богача, Лукиан приравнивает к положению раба. Любопытна одна реальная, бытовая подробность, которую вносит Лукиан в это в общем абстрактное рассуждение. Она сразу показывает, что избегающее имен и носящее умозрительный характер сочинение вызвано самыми конкретными, самыми подлинными обстоятельствами. Кроме того, деталь эта дополняет то представление об отношении Лукиана к важным римлянам, которое дает трактат «Как следует писать историю».

«И тебе не стыдно, — обращается Лукиан к философу-наемнику, — в толпе римлян одному выделяться своим чуждым плащом философа-грека и жалким образом коверкать латинский язык, а потом обедать на шумных и многолюдных обедах вместе с какими-то человеческими отбросами, по большей части — с негодьями разных мастей?» (гл. 24). Таким образом, если положение человека, живущего подачками, вообще унижительно, то совсем невыносимо положение чужестранца среди привилегированных римлян. Бедность в этом произведении олицетворяется не в тени Диогена, а в наиболее знакомом и близком Лукиану образе, более близком, чем образ бедного ремесленника Микилла, — образе человека интеллигентной профессии, вынужденного продавать свой труд.

«Оправдательное письмо», написанное, как видно, вскоре после этого произведения, имеет своей задачей не только отвести от писателя, занявшего официальную высокооплачиваемую должность в Египте, обвинение в том, что сам он состоит на жаловании, но и оправдать отход Лукиана от не-

³⁹ По поводу этого Лукиан, будучи должностным лицом в Египте, пишет «Оправдательное письмо». Как видно, оправдания потребовались именно потому, что нападки Лукиана на философов, состоящих на жаловании, были еще свежи в памяти читателей

⁴⁰ Перевод Н. П. Баранова.

⁴¹ Перевод Н. П. Баранова.

которых других собственных убеждений. В прошлом Лукиан не раз сравнивал высокие общественные посты с актерскими масками, которые создают внешний эффект, тогда как актер, надевающий их, остается тем же актером. Теперь самого Лукиана можно сравнить с таким актером. Что ответить на это? Прежде чем перейти к риторическим оправданиям, Лукиан дает своим возможным обвинителям честный ответ: «Не будет ли для меня всего вернее поступить умышленно неправильно, обратиться нападающим тыл и, не отрицая своей неправоты, прибегнуть к общему известному оправданию — я разумею Судьбу, Рок, Предопределение — и умолять моих обличителей, пусть проявят они ко мне снисхождение, зная, что ни в чем мы над собой не властны...»⁴² (гл. 8).

Но отступление от собственных принципов распространилось и на литературную деятельность Лукиана. Писатель, почувствовавший в сорок лет отвращение к риторике, написавший на нее такую убийственную сатиру, как «Учитель красноречия», пародировавший риторические формулы в своих антирелигиозных диалогах — Лукиан в старости снова принимается за декламацию.

К этому периоду лукиановской «второй риторики» относятся речи «Про Диониса» и «Про Геракла», построенные по типу пролалий «Жажда» и риторическое сочинение «В оправдание ошибки, допущенной в приветствии». Во всех этих произведениях есть указания на почтенный возраст автора. Особенно любопытно оправдательное слово. Здесь дана как бы анатомия риторических произведений подобного рода. Автор, приветствуя утром некое высокопоставленное лицо, по ошибке сказал «гигиайне» (здравствуй) вместо общепринятого «хайре» (радуйся). Теперь он пишет целое сочинение, которое должно оправдать эту оплошность. «Приступая к этому сочинению, я думал, что столкнусь с задачей весьма затруднительной, — в дальнейшем, однако, оказалось, что есть много такого, о чем следует поговорить»⁴³ (гл. 2). Ссылаясь на Гомера, Платона, Пифагора, на случаи из жизни Александра Македонского, царя Пирра и других правителей и демонстрируя при этом недюжинную начитанность, Лукиан доказывает правомерность употребления слова «гигиайне» в данном случае. По пустяковому поводу написан целый трактат, привлечена целая цепь доказательств. В этом и состоит существо риторики. Как бы бравируя своей декламаторской техникой, Лукиан заявляет: «Мне кажется, что я договорился уже до того, что естественно возникает новое опасение: как бы не подумал кто-нибудь, будто я ошибся намеренно, чтобы написать это оправдательное слово. Так пусть же, любезный Асклепий, речь моя покажется не оправданием, но лишь выступлением оратора, желающего показать свое искусство» (гл. 19).

Как видно, в старости Лукианом были написаны и веселые пародии на греческую трагедию — «Трагоподагра» и «Быстроног». Надо, однако, повторить, что подлинность приписываемых Лукиану поэтических произведений точно не установлена. Но сравнение этих «трагедий» с пародиями на философский диалог, с «Правдивой историей», а также с «Зевсом-трагиком», где есть партии, написанные ямбическим триметром — главным стихотворным размером трагедии, — говорит в пользу предположения, что «Трагоподагра» и «Быстроног» — произведения Лукиана. В обеих «трагедиях» участвует хор подагриков. «Трагический» конфликт и в одной, и в другой — беспомощность человека перед подагрой. Кроме ямбического три-

⁴² Перевод Н. П. Баранова.

⁴³ Перевод Н. П. Баранова.

метра, мы встречаем в этих пародиях и другие стихотворные размеры, принятые в трагедии. Оба произведения — юмористические, а не сатирические. Смех читателя вызывают не обличения каких-либо современных явлений, а самый факт перелицовки трагедии. Но едва ли это может служить доказательством подложности этих произведений. Они вполне подходят к последнему периоду творчества Лукиана, для которого характерно увлечение голой литературной техникой. Что касается эпиграмм, также входящих в собрания сочинений Лукиана, то вопрос о подложности или подлинности каждой из них потребовал бы слишком много места для изложения (всего эпиграмм 53), а решение его в каждом отдельном случае не изменило бы нашего представления о творческом пути Лукиана. Заметим только, что некоторые эпиграммы (например 45,— о том, что носить бороду еще не значит быть мудрецом) по своей мысли напоминают прозаические произведения Лукиана, в то время как другие (например 9,— о том, что от богов не скроешься) содержат неожиданные в устах Лукиана утверждения.

Путь Лукиана был неровным и трудным. Начав свою деятельность как ритор-декламатор, Лукиан затем отошел от риторики, чтобы обратиться к действительности, откликнуться на насущные вопросы современности. Внимание Лукиана было сосредоточено на идеологическом кризисе, царившем на всем находившемся под римским владычеством Средиземноморье. Лукиановская критика религиозных, художественных и философских взглядов прошлого была ранней предвестницей гибели рабовладельческого строя. Но, высмеивая богов, издеваясь над современными лжефилософами, олицетворявшими кризис античной философии, находя нелепым художественный вымысел древних писателей, Лукиан, представитель II в. н. э. и к тому же свободный, а не раб, не видел глубоких причин этого идеологического кризиса. В творчестве его заключены элементы социальной сатиры, направленной против класса богачей. Самым ярким представителем такой сатиры был Ювенал — старший римский современник Лукиана. Однако большое прогрессивное значение творчества Лукиана определяется не этими настроениями, — они не стали главной темой писателя, не получили должного развития, — а критикой религиозных суеверий и философского обмана, тормозивших пробуждение широких народных масс. Историческая бесперспективность (в условиях рабовладельческого строя) класса, к которому принадлежал Лукиан, — вот что было в конечном счете причиной превращения свободолюбивого человека и писателя-сатирика снова в ритора. Но в историю античной литературы Лукиан вошел не как ритор, а как сатирик, его произведения служат одним из лучших источников для изучения раннего христианства.

4. ПСЕВДО-ЛУКИАН

Среди сочинений, сохранившихся под именем Лукиана, имеется много таких, которые наверно или почти наверно ему не принадлежат.

В эту группу входит диалог «Две любви». Написанный на ионийском диалекте, трактат «Об астрологии» содержит защиту ее с позиций стоиков, сопровождаемую аллегорическими толкованиями мифов и гомеровских поэм. Диалог «Харидем, или О красоте» является подражанием Платону и Ксенофону. В «Кинике» в диалогической форме совершенно серьезно обосновывается кинический образ жизни. Не свойственные подлинному Лукиану особенности языка заставляют отрицать его авторство в отношении чрезвычайно искусно построенной «Похвалы Демосфену». В подражание сократическим диалогам составлен маленький диалог «Гальциона, или О

превращении»; в нем делается попытка защищать чудесные явления, вроде превращения Гальционы в птицу. Голое и сухое собрание фактов долголетия представляет собою небольшой трактат «Долговечные», написанный, по некоторым признакам, в эпоху Тиберия. Диалог «О паразите, или о том, что паразитизм — искусство» пародирует философские диалоги.

Наибольший интерес из приписываемых Лукиану сочинений представляет трактат «О сирийской богине», содержащий описание культовых мест и обрядов в честь почитавшегося в Сирии женского божества плодородия. В первую очередь имеется в виду культ в Гиераполе. Ионийский диалект произведения, его нарочито бесхитростный и несложный стиль искусно имитируют манеру Геродота. Против авторства Лукиана говорит главным образом полное отсутствие специфически-лукиановского отношения к религии и обрядности. Большое количество фактов и многочисленные мифологические и новеллистические мотивы делают этот трактат чрезвычайно важным для истории как античной религии, так и греческого повествовательного мастерства. Очень любопытный диалог «Патриот, или слушающий поучения», направленный одновременно против языческих богов и христианского монашества, задуман как подражание Лукиану и создан, по-видимому, в Византии в X в.

5. ЛУКИАН В НОВОЕ ВРЕМЯ

Большой успех произведений Лукиана выражается в появлении у него подражателей уже среди ближайших поколений писателей. Многие места Алкифрона, а позднее Аристенета (ок. 500 г.) обнаруживают несомненную зависимость от него. Начиная с IX в. сочинения Лукиана делаются очень популярными в Византии. Фотий прилежно его читает, Арефа его комментирует. До самого конца существования византийского государства интерес к нему не ослабевает, хотя он иногда и получает резко отрицательную оценку.

На Западе следы знакомства с Лукианом появляются, начиная с XV в. В Италии им увлекается Поджо. Ему подражают Рейхлин, Эразм («Похвала глупости»), Гуттен. У англичан из него черпает Томас Мор, у испанцев — Сервантес и Кеведо.

Произведения Лукиана, резко критиковавшие суеверия и высмеивавшие схоластическую науку, вызвали в России неизменный интерес. Первым переводчиком Лукиана на русский язык был Ломоносов, который перевел один из «Разговоров в царстве мертвых». Перевод Ломоносова озаглавлен «Разговор Лукианов между Александром Великим и Ганнибалом, где говорят Сципион, генерал Римский, и Миной, которого Еллинские идолослужители почитали адским судьей». Переводы отдельных «Разговоров в царстве мертвых» появились в сатирических журналах второй половины XVIII в., а в 1773 г. «Разговоры между мертвыми, выбранные из Лукиана Самосатского и с латинского языка переведенные» были напечатаны типографией Московского университета. Это издание было повторено в 1787 г. Если «Барона Брамбеуса» (О. И. Сенковского) привлекает чисто развлекательная фантастическая повесть «Лукий, или Осел», вольный перевод которой он напечатал в 1842 г. в «Библиотеке для чтения», то Некрасовский «Современник» в 1851—1852 гг. публикует статьи о Лукиане Б. Ордынского, который не только привел в них дословное изложение ряда диалогов Лукиана, критикующих философские школы, но и особенно подчеркнул тот факт, что Лукиан выступает против оторванной от жизни науки и

освещает темные стороны античной древности. «Глубоко значительны (по крайней мере, мне так кажется),— писал Ордынский,— глубоко значительны слова Лукиана: нет никакой пользы знать науки, если жизни своей не уладишь получше. Почем знать, может быть, правду говорят простые люди, что ученые слишком уж погружаются в книги (только в одни книги!) и в книжные мысли». Таким образом, «Современник» пользуется наследию Лукиана в борьбе за связь литературы и науки с общественной жизнью. В 1889—1891 гг. выходят три выпуска (18 произведений) Лукиана в переводе В. А. Алексева. В 1909 г. в Петербурге появляются «Избранные сочинения Лукиана» в переводе Чечулина. В 1915 г. вышел первый том избранных произведений Лукиана в переводах членов студенческого общества классической филологии при Петроградском университете, а после революции, в 1920 г.,— второй том. Следующие издания переводов Лукиана вышли в 1935 и 1955 гг.



Глава XII

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЗА I—III ВВ. Н. Э.

1. Значение термина «роман» в применении к античным повествовательным произведениям.— 2. Любовные романы.— 3. Истоки греческого романа.— 4. Эллинистические корни греческого романа.— 5. Греческая новелла и «Милетские рассказы» Аристида Милетского.— 6. Возможность восточного влияния на греческий роман.— 7. «Роман о Нине».— 8. Харитон.— 9. Папирусные отрывки.— 10. Ксенофонт Эфесский.— 11. «История Аполлония, царя Тирского».— 12. Ямвлих.— 13. Ахилл Татий.— 14. Лонг.— 15. Гелнодор.— 16. Антоний Диоген.— 17. Филостраты.— 18. Алкифрон.— 19. Афиней.— 20. Элиан.

1. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «РОМАН» В ПРИМЕНЕНИИ К АНТИЧНЫМ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ

Изучение греческого романа начинается с трудностей терминологического порядка. В то время как для эпоса, драмы, лирики с их весьма многочисленными разновидностями, для всякого рода мелких поэтических жанров и всевозможных видов греческой прозы мы до сего дня пользуемся наименованиями, сложившимися уже в древности, опираясь, таким образом, на многовековой опыт античной практики и теории, по отношению к так называемому роману мы лишены этого немаловажного преимущества и вынуждены до известной степени произвольно объединять под одним неантичным термином «роман» произведения, каждое из которых для современного ему читателя входило в какой-то особый литературный ряд. Неудивительно, что раздаются иногда весьма авторитетные голоса, требующие отказа от наименований, затемняющих и без того сложную проблематику поздней античной повествовательной прозы.

Однако едва ли это было бы правильным. Не говоря о том, что термин «роман» уже веками употребляется в европейском литературоведении применительно к определенным произведениям античной литературы и, следовательно, давно получил права гражданства, он оказывается очень полезным для обозначения сходных явлений античной и позднейших литератур, генетически между собой связанных. Следует только решительно подчеркнуть, что «греческий роман» — явление весьма сложное и обнимает произведения, имевшие совершенно разные корни и возникшие в рамках очень не похожих друг на друга античных жанров.

Обычно, говоря о греческом романе, имеют в виду прежде всего группу прозаических повествовательных произведений с немифологическими

сюжетами, в большинстве своем возникших в I—III вв. н. э. и в новое время, часто объединяемых под общим заглавием — «греческие авторы любовных произведений» или, иначе, софистические любовные романы. Сюда входят сохранившиеся полностью романы Харитона, Ксенофонта Эфесского, Ахилла Татия, Гелиодора, Лонга; известные только по извлечениям византийского времени и по небольшим отрывкам произведения Антония Диогена и Ямвлиха; наконец, довольно значительное количество папирусных, а иногда и пергаментных отрывков, найденных за последние десятилетия в Египте. Именно эти романы в первую очередь рассматриваются в настоящей главе.

Наряду с этим термин «роман» прилагается, однако, довольно часто и к многим другим произведениям, в том числе, к таким, которые до нас не дошли и известны лишь по пересказам и отрывкам. Так, говорят об историческом романе, имея в виду «Воспитание Кира» Ксенофонта Афинского или «Роман об Александре»; о географическом романе, разумея при этом полуфантастические описания путешествий эллинистического времени; о мифологическом романе, представителем которого может считаться использованный Диодором Дионисий Скитобрахион (II в. до н. э.); наконец, к термину «роман» прибегают и говоря о сочинении Филострата «Жизнь Аполлония Тианского», стоящем на грани между ареталогией и биографией.

2. ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ

То, что выше было названо греческим романом в узком смысле этого слова или софистическим любовным романом, представляет собою группу произведений, обнаруживающих несомненные черты жанрового сходства. Хотя ни один античный источник не объединяет их в одно целое, все же черты сходства велики и так бросаются в глаза, что их рассмотрение в связи друг с другом представляется вполне обоснованным.

Любовные романы занимают в греческой литературе очень своеобразное место. Поражает прежде всего полное отсутствие упоминаний о них у писателей того времени. Все, что мы знаем об авторах романов, построено на нескольких коротеньких заметках византийских ученых. Это делает крайне затруднительной сколько-нибудь точную датировку сохранившихся романов. Однако, сопоставляя отдельные хронологические намеки, содержащиеся в самих романах, с данными папирологии и привлекая на помощь стилистический анализ, можно добиться хотя бы относительной ясности.

Сохраненные нам греческие романы содержат всегда историю влюбленных; сложные и запутанные их приключения начинаются уже после того, как герои охвачены любовью друг к другу, в некоторых случаях даже после их вступления в брак. После длинного ряда сложных переживаний они, наконец, соединяются на всю жизнь; счастливый конец — свадьба или восстановление брачного союза — в этих произведениях совершенно обязателен.

Оба центральные персонажа изображаются людьми ослепительной красоты, заставляющей едва ли не всех встречных немедленно в них влюбляться; во многих случаях приключения их превращаются в ряд испытаний верности; верность иногда нарушается, но это не мешает счастливой развязке.

Движущей силой, обрекающей героев на скитания и беды, часто оказывается гнев божества (Афродиты, Эроса), оскорбленного пренебрежением к нему, проявленным одним из героев; помимо этого их судьбой само-

властно распоряжается Тюхэ — обожествленная судьба. Многие характерные мотивы встречаются в нескольких романах: бегство на корабле, кораблекрушение, нападения разбойников, разлука влюбленных, продажа в рабство; любовные домогательства со стороны хозяев, во власти которых герои оказываются; заключение в темницу; казни, которых удается избежать; убийства и самоубийства, оказывающиеся мнимыми; сложные судебные процессы, сопровождающиеся большими ораторскими выступлениями. Невероятные совпадения, счастливые и несчастные случайности сменяются в иных случаях событиями сверхъестественного порядка, совершающимися при прямом вмешательстве божественных сил. Прорицания оракулов и вещие сны, предваряющие наступающие затем события, упоминаются очень часто. Самые события мыслятся происходящими иной раз в эпоху, современную авторам, иногда же они приурочены к более или менее отдаленному прошлому: в этих случаях в романах появляются и исторические лица.

Действие романов разыгрывается обычно в восточной части Средиземноморского бассейна, причем захватываются и страны Востока, вплоть до Вавилона; большую роль играет Египет, а в одном случае и Эфиопия (Абиссиния). Однако конкретные исторические и географические данные в любовных романах подчеркнуты очень слабо.

При известном разнообразии характеров герои всегда отмечены чрезвычайной пассивностью: они покорно переносят выпавшие им по воле авторов испытания, обычно никак не связанные с их индивидуальными чертами. Несколько особняком стоит в этом отношении роман Лонга.

Поток приключений в романах подается фантастично и прихотливо, в самом разнообразном оформлении, причем очень широко используются многочисленные средства поэтического изображения, сложившиеся в прежних жанрах и связанные с представлением о разных литературных стилях. Анализ обнаруживает в сохранившихся романах и эпические мотивы, и элементы трагической или комической драматургии, и черты, восходящие к сократическим диалогам, и приемы, свойственные миму. В большом количестве представлены излюбленные литературные формы новой софистики: письма разного стиля, описания, патетические монологи, судебные речи. В одних случаях бывают пущены в ход все средства азиатского красноречия, в других повествование ведется в нарочито упрощенной манере «народной книги».

На читателя, приученного к литературе классического периода, романы с их сменой эротики и авантюр, с причудливой поэтикой и кажущейся отрешенностью от конкретной исторической почвы часто производят впечатление чего-то неожиданного, чужеродного; требуется тщательная, далеко еще не законченная работа, чтобы пролить свет на всю совокупность связанных с греческим романом проблем, в частности, чтобы показать, как органически связан роман со всей предшествующей литературой греков.

3. ИСТОКИ ГРЕЧЕСКОГО РОМАНА

Мы очень плохо знаем устное творчество греческого народа, вернее, совсем его не знаем: мифы, сказки и местные предания, несомненно существовавшие с самых первых веков истории греческой культуры, известны нам лишь в отобранном, переработанном и, следовательно, уже оформившемся виде, в каком они вошли в художественную литературу Греции. Уже гомеровские поэмы содержат многочисленные примеры тщательного отбора

фольклорных материалов, устранения примитивных мотивов и нового осмысления старых; это продиктовано стремлением привести традиционные сюжеты в какое-то соответствие с мировоззрением авторов эпоса и с художественными задачами, которые они перед собою ставили. Этот процесс отбора фольклорных материалов продолжается и усиливается в последующие века. При этом наряду с сюжетами, канонизованными эпосом, все время привлекаются новые, обновляющие и обогащающие собою старые мифологические фонды. Процесс этот, в IV в. пришедший к некоторой стабилизации, вновь оживляется в эллинистическое время, когда люди ищут неиспользованных, нешаблонных образов, которые должны стать выразителями новых чувств и нового взгляда на мир. Поэты и прозаики эллинистического времени используют многое из того, что раньше не допускалось в большие жанры, завоевавшие себе панэллинское значение, но что, несомненно, продолжало жить и развиваться за пределами «высокой» литературы. Малоизвестные мифы, сказки, местные предания на все лады перерабатываются авторами эпохи эллинизма.

В сюжетном построении многих мифов можно было распознать три основных момента: уход, исчезновение мифологического персонажа, затем его скитания и, наконец, возвращение. Следы такого построения обнаруживаются и на почве Греции, и на территории, занятой культурами Древнего Востока. Имена мифологических героев могут меняться; схема их приключений остается.

По-видимому, наиболее ранним примером этого сюжета в сохранившейся литературе классической эпохи является «Елена» Эврипида, содержание которой обнаруживает весьма разительное сходство с типическим сюжетом позднейшего времени¹. И тут герои «скитаются», их преследует гнев божества, решающую роль играет мотив мнимой смерти. Близки к технике романа также и случайная встреча супругов и такая фигура, как влюбленный в Елену Феоклаимен². Если справедливо предположение, что источником Эврипида при построении фабулы «Елены» послужил прозаический сказ³, передававшийся устно или путем народной книги, то это позволило бы говорить о том, что типичный сюжет будущих романов существовал в греческом фольклорном творчестве задолго до самых ранних из известных нам романов.

Есть еще одно произведение, относящееся уже к IV в. до н. э. и связанное многими нитями с позднейшими греческими любовными повестями. Эпизод из любовных романов напоминает вставленная в «Воспитание Кира» Ксенофонта история Абрадата и Панфеи⁴. Идеальная супружеская чета — героический воитель Абрадат и красавица Панфея — разлучены войной. Красота Панфеи, попавшей в плен к персам, грозит ей всяческими бедами, но благородство и благоразумие Кира вовремя ее спасает. Абрадат делается другом Кира и погибает в бою, а Панфея, оплакав его, лишает себя жизни⁵.

В этом новеллистически обработанном эпизоде отдельные черты совпадают с повествовательной техникой романа: драматические сцены, описание выезжающего на бой Абрадата, спор о могуществе любви — могли бы встретиться в любом из типических образцов жанра романа. Однако в отличие от романов упор сделан не на любовные переживания основных

¹ И. И. Толстой. Трагедия Эврипида «Елена» и начала греческого романа. «Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та», 20, серия филолог., 1, 1939, стр. 199—211.

² Там же, стр. 202, 203—206.

³ Там же, стр. 208.

⁴ См. гл. IV, т. II настоящего издания.

⁵ «Воспитание Кира», VI, 1, 31—51; VI, 4, 1—11, VII, 3, 2—17.

персонажей, а на их героическую доблесть. Абрадат выказывает себя героем, Панфея и жизнью и смертью являет пример высокой нравственности и доблести. Для этого был совершенно необходим трагический конец героев, венчающий их славную жизнь,— конец, непригодный для фабулы любовного романа. Эта морализирующая и поучительная тенденция, вообще свойственная Ксенофону, резко отличает историю Абрадата и Панфея от любовных романов.

4. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ ГРЕЧЕСКОГО РОМАНА

Все сказанное еще не дает возможности установить время появления любовного романа как оформленного литературного жанра; следует снова напомнить, что известные нам романы, сохранившиеся полностью или в виде фрагментов, относятся к римской эпохе. На основании ряда соображений можно думать, что фиксация формы романа была только частным случаем возникновения новых форм, происходившего в эпоху эллинизма.

Именно для эллинизма характерно создание множества новых разновидностей литературы, причем для этой цели широко используются и те формы творчества, которые находились за порогом канонических жанров классического времени. Пастушеский песенный фольклор как составной элемент входит в идиллию; к старой народной форме прозаического сказа, перемежающегося стихотворными вставками, восходит Мениппова сатира; очень древние народные мимические жанры вливаются в высокую литературу, подвергаясь при этом большей или меньшей обработке. С другой стороны, традиционный эпос сменяется эпиллием, отличающимся от него по размеру и по стилю; комедия совершенно меняет свою структуру. В то же время громадные изменения — количественный рост и качественная трансформация — наблюдаются в прозаических повествовательных жанрах. К тому же нельзя забывать, что от всего изобилия литературы эллинизма уцелели лишь ничтожные остатки.

Новеллистические элементы были искони очень сильны в греческой историографии; достаточно вспомнить, какие жемчужины повествовательного мастерства вкраплены в «Историю» Геродота. Риторически разработанная историография эллинизма часто драматизирует исторические события, временами создавая из скудных материалов первоисточников сцены, исполненные трагического пафоса. Вместе с тем историки эллинистического времени, рассказывая о недавних событиях, связанных с Александром и диадохами, неизбежно отводили в своих трудах немало места изображению тех неведомых раньше и полусказочных стран, которые внезапно открылись перед греками. Историческая быль при этом сливалась с вымыслом, и реальные фигуры греко-македонских завоевателей одевались блеском легенды. В особенности историки походов Александра давали все оттенки изображения исторических событий — от деловитой и строгой документальной истории до исторического романа с элементами чудесного и фантастики. Может считаться установленным, что так называемый «Роман об Александре» Псевдо-Каллисфена, сохранившийся в поздних редакциях времени империи, восходит к эпохе первых Птолемеев. Исторический образ македонского завоевателя в нем сильно изменен под влиянием греческих и восточных преданий, сыгравших, по-видимому, решающую роль в распространении этого романа, переводившегося на множество языков и читавшегося в течение ряда столетий.

Рука об руку с историческим романом шел роман *географический*. Эпоха великих завоеваний была одновременно временем великих географи-

ческих открытий. При армиях Александра и его преемников состояли и ученые, великолепно использовавшие открывшиеся им небывалые возможности. Но и независимо от военных походов устраивались исследовательские экспедиции, значительно раздвинувшие пределы известного до тех пор мира. И опять-таки твердые факты зачастую обрастают плотным слоем измышлений, повторяющих древние мифологические и сказочные мотивы.

Если риторическая историография во многих случаях вплетала в рассказ об исторических событиях мифологические черты и тем самым мифологизировала историю, то одновременно происходил и обратный процесс. Старые мифы окончательно переводились в исторический план, их герои становились обыкновенными людьми, поступки которых получали новые, рациональные обоснования. Широко применялся метод аллегорического объяснения; чудесные эпизоды превращались в якобы реальные, во всяком случае вполне возможные события. Целые большие мифологические циклы, например сказания об аргонавтах, превращаются, таким образом, в связный рассказ, который можно рассматривать как *мифологический роман*; наиболее славное имя в этой области — Дионисий Скитобрахион («Кожаная рука»), живший во II в. до н. э. и известный по пересказам Диодора Сицилийского.

Наконец, эллинизм был эпохой нового и блестящего расцвета новеллы.

5. ГРЕЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА И «МИЛЕТСКИЕ РАССКАЗЫ» АРИСТИДА МИЛЕТСКОГО

Новелла восходит к ранним стадиям истории греческой прозы; так, она исключительно богато представлена у Геродота, в дальнейшем применение вставных новелл становится своего рода традицией в греческой историографии. Но лишь в руках эллинистических писателей новелла перестает быть только вставкою в произведение иного жанра и получает самостоятельное значение. Отличительным признаком ее остается стремление к большой занимательности, тяга к ясно выраженному сюжету. Тематика ее бесконечно разнообразна. В эпоху эллинизма первенствующую роль начинают играть сюжеты любовного характера.

Для последующих поколений греков классическим представителем новеллы любовного содержания был Аристид Милетский, живший, по-видимому, во II в. до н. э. Не сохранилось ни одной строчки из шести книг его «Милетских рассказов», но путем внимательного изучения упоминаний об этой книге и о созданном им жанре, содержащихся у Овидия, Петрония, Апулея, можно с известным приближением к истине составить себе представление о том, что это было за сочинение.

«Милетские рассказы» были обширным прозаическим произведением повествовательного содержания. Они состояли из обрамляющего диалога и большого количества вставных новелл. Оформление выдержано было в виде литературного симпозиума с большим числом участников, в том числе гетер; весьма вероятно, что сам Аристид выступал в качестве передаточной инстанции, пересказывая кому-то происходившие некогда беседы, участником которых он был. Темой бесед была, как в «Симпозиуме» Платона, любовь, но в отличие от Платона в рассказах о любви не было ни тени философии. О стиле новелл Аристида лучше всего можно составить представление по рассказу об Эфесской матроне у Петрония и по нескромным вставным рассказам у Апулея. Основным законом соединения новелл в одно

целое был контраст и разнообразие: сменялись любовные эпизоды разного рода, характеры рассказчиков и мотивировки. По-видимому, действие всегда происходило в Милете или в Ионии; конец всюду был благополучным. В общем же «Милетские рассказы» могут быть характеризованы как венки новелл. По-видимому, творчество Аристида представляло собою нечто качественно новое; по крайней мере культивировавшийся Аристидом жанр получает название «милетского рассказа».

Книга Аристида имела очень большой успех не только в странах, где говорили по-гречески, но и за пределами их. Корнелий Сисенна, живший в I в. до н. э., перевел ее на латинский язык. Книгу много читали, но за нею прочно установилась репутация произведения не совсем пристойного: новеллы Аристида, найденные среди захваченных вещей молодых и знатных римлян, служивших в армии Красса, вызвали негодование у парфян-победителей⁶.

6. ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСТОЧНОГО ВЛИЯНИЯ НА ГРЕЧЕСКИЙ РОМАН

Опустошения в эллинистической прозе, произведенные временем, исключительно велики даже по сравнению с тем, к чему мы привыкли в других областях и жанрах греческой литературы. Лишь комбинируя разрозненные замечания позднейших авторов со случайно уцелевшими фрагментами самих произведений, мы получаем возможность в какой-то степени представить себе смутные очертания того, что некогда было массой разнообразных и содержательных произведений.

Не подлежит никакому сомнению, что уже в первые века эллинизма перед греками раскрывается удивительный мир повествовательной литературы Востока. Знакомство с этой литературой происходит различными путями; многие сюжеты, сказочные и новеллистические, проникли в это время в Грецию и устным путем; но при этом немалую роль играет и перевод восточных памятников на греческий язык, делавший их доступными для широких кругов греческих колонизаторов вновь открывшихся стран.

Даже греческие папирусы, сохраненные на египетской почве, обогащают наше знакомство с совершавшимися в эллинистическую эпоху сложными литературными процессами. Очень поучителен в этом отношении так называемый «Сон Нектанеба» — отрывок, сохранившийся на папирусе II в. до н. э., найденном в Мемфисе и впервые напечатанном в 1830 г. В нем рассказывается о том, как царь Нектанеб, побуждаемый вещим сном, приказал спешно довести до конца сооружение храма бога Осириса, где еще не были вырезаны на камне священные надписи. Работа эта поручается искусному резчику по камню Петесису; тот прибывает в Себеннит, где расположен храм, и «будучи по природе любителем вина, решает дать себе волю, прежде чем приняться за дело. И вот случилось, что, пока он прогуливался в южной части храма, он увидел дочь изготовителя благовонных масел, красивейшую из всех, кого он знал...»⁷ На этом текст обрывается.

Представляется весьма правдоподобным, что в заключительных строках этого отрывка содержится начало сюжетной линии, использованной Гелиодором в «Эфиопике», где пророк Исиды подпадает под власть чар посещающей храм красавицы, и таким образом эпизод любовного романа соприкасается здесь с египетским мотивом.

⁶ Плутарх. «Красс», 32.

⁷ Перевод А. М. Болдырева. В дальнейшем, на протяжении главы XII, переводы А. М. Болдырева особо не оговариваются.

О проникновении египетских литературных мотивов свидетельствует и другой памятник, опять-таки обнаруженный на папирусе и ставший известным, правда, в поздней редакции сравнительно недавно, — легенда о богине Тефнут; Тефнут, дочь солнечного бога Фре, поссорившись со своим отцом, в гневе удаляется из Египта, своей родины, в эфиопскую пустыню, где и пребывает в образе кошки. По приказу ее отца искусный в речах бог Тот отправляется за ней в виде обезьяны, чтобы побудить ее вернуться. Сперва он добивается лишь того, что она обещает сохранить ему жизнь; но, даже согласившись вернуться, она впадает однажды в такую ярость, что спутнику еле удается успокоить ее льстивыми речами. Наконец, после многих опасностей они достигают Египта.

Старый миф о возвращении солнечного божества трактуется здесь просто как занимательный рассказ, пересыпанный баснями и морализующими речами, между прочим о любви к родине и о божественном возмездии. Все вместе производит впечатление произведения развлекательного типа для широких кругов, чего-то вроде народной книги. Найденный отрывок написан во II или III в. н. э., но едва ли будет ошибочным предположение, что такого рода литература распространяется среди греков значительно раньше. Во всяком случае тем самым проливается некоторый свет на тот интерес к Египту, который так отчетливо проступает почти во всех греческих любовных романах.

Все изложенные соображения, весь этот краткий обзор прозаических повествовательных жанров эллинистического времени, заставляют думать, что форма любовного романа могла сложиться именно тогда. О том же, что это действительно произошло, можно судить лишь по ряду косвенных признаков, которые, однако, в своей совокупности создают впечатление полной уверенности.

Нельзя не заметить, что все романы за редким исключением (как, например, «Повесть о Дафнисе и Хлое», обращенная к высокообразованным читательским кругам) имеют в виду массового читателя. Этот новый тип читателя в значительной мере и определяет смысловое, идеологическое содержание романов, а также и выбор средств, характеризующих их поэтику.

7. «РОМАН О НИНЕ»

Одним из самых замечательных открытий в области изучения греческого романа была находка папирусных отрывков произведения, известного теперь под названием «Романа о Нине»⁸. Можно смело сказать, что со времени этой публикации начинается новая эпоха в исследовании этого жанра.

Центральное место в найденных отрывках занимают фигуры ассирийского полководца Нина, которому идет семнадцатый год, и его не названной по имени четырнадцатилетней возлюбленной. Легендарный повелитель Ассирии и строитель Ниневии, о котором нет сведений в ассиро-вавилонских источниках, занимает довольно видное место в греческих сказаниях о Востоке. Впервые упоминаемый у Геродота⁹ Нин является героем предания, находившегося у Ктесия и сохраненного Диодором¹⁰. У этих историков Нин выступает в образе непобедимого воина, завоевывающего всю

⁸ Два отрывка папируса, написанные не позднее половины I в. н. э., были впервые опубликованы Вилькеном в 1893 г. и ныне хранятся в Берлине (P. Berol. 6926—A, B). Позднее был найден еще фрагмент, опубликованный в Publ. della soc. Ital.

⁹ Геродот, I, 7.

¹⁰ Диодор Сицилийский, II, 1 сл.

Азию между Танаисом и Нилом. Во время войны с царем Бактрии он встречается в лагере с Семирамидой, женой одного из вражеских полководцев, дочерью богини Деркетю. Ее красота, ум и смелость очаровывают Нина, ее первый муж лишает себя жизни, и Нин женится на ней; после смерти Нина Семирамида сооружает ему пышную гробницу. По другому варианту сказания¹¹ Семирамида, бывшая гетера, выпрашивает себе у Нина власть на пять дней и использует свое правление, чтобы заключить Нина в тюрьму, а затем умертвить его. Первоначально Нин был, по-видимому, эпонимом Ниневии; относительно поздняя этнологическая легенда связывает его с Семирамидой (Шаммурагат), личность вполне исторической; она правила в Ассирии в 809—806 гг. до н. э.

Если исходить из этого образа воителя, то Нин папирусных отрывков предстает наделенным очень неожиданными чертами. Он изображен юношей; ему идет семнадцатый год, и он нежно влюблен в свою четырнадцатилетнюю двоюродную сестру, отвечающую ему взаимностью. Имя девушки не сохранено; но существенно, что имя ее матери — Деркея — напоминает имя матери царицы Семирамиды, богини Деркетю. Поэтому большинство исследователей романа склоняется к тому, чтобы любимую Нином девушку отождествить с Семирамидой.

Влюбленные решаются открыться, но только не своим родителям, а теткам: Нин — Деркее, матери девушки, а та — Тамбе; эти женщины — родные сестры. Речь Нина, превосходно построенная, сохранилась очень хорошо. Он упоминает о своем целомудрии, сохраненном им во время долгих походов, о том, что он пленен дочерью Деркеи, и просит ускорить свадьбу, ссылаясь на закон природы, на переменчивость судьбы, особенно опасную для него, занятого походами и плаваниями, и на интересы царства, требующие потомства. Дело в том, что обычай не позволяет вступать в брак до пятнадцати лет. Его возлюбленная, воспитанная в гинееке, не умеет слагать таких речей и, несмотря на все усилия, не может произнести ни слова, а только льет слезы (А IV, 34); ласка Тамбы и ее готовность помочь не могут заставить девушку заговорить. Фрагмент А обрывается на сцене встречи обеих сестер как раз в тот момент, когда Деркея собирается сказать что-то важное.

Первая колонка фрагмента В дает существенно иную ситуацию. Возможно, что в частях романа, находившихся между А и В, говорилось о состоявшейся свадьбе; тут же речь идет о довольно бурной размолвке, вызванной ревностью возлюбленной Нина и горечью предстоящей разлуки. Фрагмент В содержит рассказ о походах Нина: указывается численность и состав его войск, причем и то и другое примерно соответствует имеющимся сведениям об эллинистических армиях, говорится об условиях зимнего похода, о настроении воинов, о боевом порядке войска и, наконец, передается речь Нина, где он говорит о наступлении решающего для него дня. Папирус обрывается на полуслове.

Относительно того, какое именно место в композиции романа занимал каждый из этих эпизодов, мнения расходятся.

В «Романе о Нине» прежде всего бросаются в глаза некоторые черты романа исторического. Главный персонаж, упоминание о котором мы до тех пор имели в исторических преданиях, оставаясь великим завоевателем, выступает здесь в бытовом плане. За «Романом о Нине» вырисовывается, таким образом, с одной стороны, эллинистический мифологический роман, трактовавший героев мифа как исторических деятелей, а с другой — сочи-

¹¹ Диодор Сицилийский, II, 20.

нение предшественника эллинизма Ксенофонта, «Воспитание Кира»; кроме того, произведение, где идет речь о юном завоевателе, покоряющем страны Востока, должно было в эллинистическую эпоху, — ведь роман едва ли написан позднее I в. до н. э., а, может быть, и раньше, — вплывать в себя какие-то мотивы из истории Александра Македонского; литературная связь «Романа о Нине» с так называемым «Романом об Александре» представляется очень правдоподобной: этим влиянием мог быть обусловлен самый выбор героя-воителя.

Но, с другой стороны, сам Нин имеет уже больше сходства с вымышленными героями позднейших любовных романов, чем с ассирийским царем и с историческим или псевдоисторическим Александром. Преобладание любовных мотивов резко отличает роман о Нине от романа об Александре, переполненного военными подвигами и боевыми приключениями. Очень возможно, что две разнородные темы — история любви и боевые подвиги — в «Романе о Нине» строго разделены, причем первая, излагавшаяся в начале и в конце романа, служила обрамлением для второй.

Отождествление автора «Романа о Нине» с упомянутым у Овидия Ксенофонтом Антиохийским, автором «Вавилонских рассказов», делавшееся некоторыми исследователями романа, осталось недоказанным.

8. ХАРИТОН

Из романов, сохранившихся полностью, наибольшее сходство с отрывками «Романа о Нине» обнаруживает «Повесть о любви Херея и Каллирой» Харитона из Афродисии, где рассказ о любовных переживаниях и удивительных приключениях героев оформлен в виде исторического романа.

Харитон исходит из совершенно определенной исторической обстановки: действие романа начинается в Сиракузах вскоре после катастрофической неудачи сицилийской экспедиции афинян (413 г. до н. э.), и в первых же строках появляется спаситель Сиракуз, стратег Гермократ. Кроме него в романе действуют персидский царь Артаксеркс II, его жена Статира, сатрапы Митридат и Фарнак; сиракузский политик Афинагор — личность историческая: он упоминается и у Фукидида¹².

Самый тон вступительных слов романа: «Я, Харитон из Афродисии, пища ритор Афинагора, расскажу о любовной истории, приключившейся в Сиракузах...», — напоминает знаменитые вступления Геродота и Фукидида, свидетельствует о стилистических установках автора и сознательном подражании историческим трудам.

Наблюдения над языком также позволяют во многих случаях говорить о намеренном подражании Фукидиду и Ксенофону. Вместе с тем, с хронологией Харитон обращается весьма вольно: Гермократ умер в 408 г.; упоминаемое в романе египетское восстание может быть только восстанием 389—387 гг.; а между тем эти события переставлены в романе. Самое имя Харитона, пища Афинагора, возможно, имеет целью усилить впечатление документальности. Между прочим, это дает иногда повод и к другого рода толкованиям: сочетание Харитона (от *χαρις* — прелесть) и Афродисии (город Афродиты) позволяет думать об аллегорическом псевдониме автора.

Роман разделен на восемь книг. События разворачиваются следующим образом.

Дочь Гермократа Каллироя отличается красотой «не человеческой, а божественной, и не красотой nereиды или одной из горных нимф, но

¹² VI, 35.

самой Афродиты — девы». Эрот решает сочетать ее с красавцем Хереем — «таким ваятели и живописцы изображают Ахилла и Нирея, Ипполита и Алкивиада». Они встречаются на празднике Афродиты и мгновенно влюбляются друг в друга; между их семьями политическая вражда, но по решению народного собрания Гермократ отдает дочь в жены Херею; справляется торжественная свадьба. Вскоре, однако, в дело вмешивается злобный демон.

Отвергнутым женихам удается клеветой возбудить в Херее ревность, и он ночью наносит жене удар в живот с такой силой, что она падает замертво: «и вот Каллироя, безгласная и бездыханная, лежала, являя всем образ мертвой». Ей устраивают великолепные похороны. Пират Ферон со своей шайкой взламывает склеп, находит там очнувшуюся от мнимой смерти Каллирою и уводит ее на свой корабль. В Ионии ее продают в рабство богатому и знатному жителю Милета Дионисию; он изображен благородным человеком, недавно потерявшим жену и прельстившимся красотой Каллирои. Он предлагает ей брак, и Каллироя соглашается, чтобы спасти ожидаемого ребенка.

Херей, обнаружив исчезновение жены, отправляется на поиски; ему удается встретить корабль Ферона, весь экипаж которого, кроме самого Ферона, погиб; под пыткой он рассказывает о судьбе своей пленницы, и тогда Херей тоже отплывает в Ионию. Персы захватывают прибывший корабль, причем сам Херей и его друг Полихарм попадают в рабство к сатрапу Митридату. Случайно встретив Каллирою, Митридат воспылав страстью к ней; вскоре обнаруживается, что его раб Херей — муж Каллирои и что слухи о его смерти оказались ложными.

Далее разыгрывается борьба между Дионисием, Митридатом и Хереем за обладание Каллироей; Митридат до поры до времени действует в союзе с Хереем, а Дионисия поддерживает сатрап Фарнак. Сочтя случайно перехваченное письмо Херея за подделку, изготовленную Митридатом, Дионисий подает на сатрапа жалобу самому великому царю. На суде в Вавилоне Каллироя и Херей узнают друг друга, и происходит резкое столкновение Херея с Дионисием. Сложность положения Каллирои, вынужденной выбирать между двумя законными мужьями, усугубляется тем, что и сам царь Персии поддается ее очарованию. Воспылав страстью к ней, он берет ее в свой дворец, где она и находится в обществе царицы Статирь, в то время, как Артаксеркс, терзаемый душевными муками, все откладывает вынесение приговора.

В Египте поднимается восстание, царь отправляется в поход, Дионисий следует за ним. Херей перебегает к египтянам, совершает подвиг за подвигом, берет город Тир, разбивает персидский флот и захватывает остров Арад, где находится царский двор вместе с царицей Статирь и Каллироей. Херей и Каллироя встречаются вновь, чтобы уже больше не расставаться.

Когда приходит весть о победе царя на суше, Херей с флотом удаляется на Кипр и оттуда отправляет Статирь к Артаксерксу. Каллироя в письме просит Дионисия простить ее, воспитать ее сына, а потом отпустить его в Сиракузы к деду Гермократу. Торжественным и счастливым возвращением в Сиракузы заканчивается роман.

Харитон стремится не только внешне воспроизвести повествовательную манеру историографов. Он делает героя любовного произведения участником больших исторических событий и победоносным полководцем, повторяя то же сочетание типических черт, которое характерно для «Романа о Нине». Любопытно, что подвиги Херея, например взятие Тира, в иных

случаях дублируют деяния Александра Македонского; имена Статирь и Родогуны встречаются и в «Романе об Александре».

Однако роман Харитона вызывает и другие литературные ассоциации. Любящие супруги, оставшись наедине после множества бедствий, рассказывают друг другу о своих переживаниях (VIII, 1), повторяя гомеровских Одиссея и Пенелопу. В стиле высокого эпоса выдержано описание «Молвы, вестницы несчастья», разносящейся по Сиракузам (I, 5)¹³.

С тонким расчетом Харитон сплетает сюжетные нити, обнаруживая богатую фантазию, когда нужно свести оторванных друг от друга героев или найти переход от одной ситуации к другой. Ведение запутанной интриги у Харитона продолжает традицию новой комедии. Вместо свойственной историческому стилю манеры рассказа, когда одно «деяние» помещается за другим в соответствии с их хронологической последовательностью, здесь господствует принцип «сплетения», осложняемого побочными перипетиями и увенчиваемого конечным узнаванием. Театральный характер наиболее эффектных эпизодов иной раз подчеркивается самим автором.

Действующие лица романа Харитона — в подавляющем большинстве люди, в социальном отношении стоящие очень высоко: сиракузский стратег Гермократ и его дочь, Херей, богатый и знатный милетец Дионисий, сатрапы, царь и царица Персии. Это пристрастие к знатности и блеску сочетается с утонченностью чувств и выражений; эротика у Харитона подана в возвышенном тоне.

Почти все персонажи романа отличаются достойною удивления высотой моральных качеств; даже в борьбе за Каллирою, когда было очень соблазнительно придать некоторым соперникам злодейские черты, Харитон остается верен себе: достаточно вспомнить, например, деликатную нерешительность Артаксеркса (VI, 1). Лишь разбойник Ферон изображен как скопление всяческих пороков, вплоть до того, что он гнусно обманывает своих собственных соратников. Чета центральных героев обрисована в идеальных тонах: только вспыльчивость и ревность Херея несколько оживляют и индивидуализируют его фигуру. Сложнее построен образ Каллирои. В то время, как в «Романе о Нине» приключения связываются, по-видимому, с фигурой Нина, и нет никаких указаний на сколько-нибудь активную роль девушки, у Харитона героиня проходит через длинный ряд приключений и становится важнейшим действующим лицом произведения. Тема верности обогащена мотивом любви к ребенку, позволившим ввести в роман фигуру второго мужа, полную благородства и героизма, морально равноценную образу Херея и создающую сильную драматическую коллизию.

Стройность и симметрия, свойственные риторическим произведениям, сказываются как в композиции романа, так и в создании целой галереи второстепенных действующих лиц. Каждый из основных героев (Херей, Каллироя, Дионисий, Артаксеркс) имеет наперсника, пускаемого в ход, когда не может действовать основной персонаж: друг Херея Полихарм; Плангона и царица Статира; домоправитель Фока; евнух Артаксат. В центральном эпизоде царского суда в Вавилоне оба соперника — Дионисий и Херей — имеют секундантов в лице сатрапов Фарнака и Митридата. Фигуре персидского царя в конце романа противопоставит образ его египетского неприятеля.

Смена приключений и странствований в какой-то мере зависит у Харитона от характеров самих действующих лиц, и во всяком случае объяс-

¹³ Ср. «Энеиду» Вергилия, IV, 173 слл.

няется фактами естественного порядка. Ревность Херея и материнские чувства Каллирой оказываются столь же действенным фактором в интриге романа, как и происки злой Судьбы. Наряду с этим более слабо проведен мотив гнева Афродиты.

Для повествовательной манеры Харитона характерна склонность перебивать спокойный рассказ патетическими, сильно ритмизированными декламациями (например, II, 9; III, 7—8; IV, 1, 3, 4, 52; VI, 6, 4); они резко выделяются на фоне нарочито бесхитростного языка Харитона. Язык этот беден периодами. В нем отсутствуют также черты, отличающие типичных аттикистов.

Следует отметить обыкновение Харитона перемежать прозаическое изложение стихотворными вставками; за редчайшими исключениями — это цитаты из Гомера, причем они органически входят в рассказ и служат для изображения эмоционально насыщенных сцен (I, 1, 4; II, 3, 9; III, 5, 6; IV, 1). Такое смешение стихов и прозы — одна из особенностей греческого народного сказа, и применялось в жанрах, рассчитанных на распространение среди широких кругов населения.

Этот формальный признак проливает некоторый свет на вопрос о месте Харитона в литературе его времени.

Этот роман рассматривали одно время как один из самых поздних образцов жанра, относя его к V в. н. э. Однако папирусные находки с непрекращаемой ясностью доказали, что «Повесть о Херее и Каллирое» читалась в Египте уже во II в. н. э. и была, следовательно, написана не позднее начала этого столетия. Другие обнаруженные в Египте фрагменты Харитона относятся ко II—III и VI—VII вв. и служат ясным доказательством длительности литературной славы этого автора.

Тем поразительнее полное отсутствие упоминаний о нем в литературе, в том числе у Свида, уделяющего авторам романов довольно много внимания и места.

Наиболее простым объяснением такого положения вещей является предположение, что роман Харитона был произведением, предназначенным для широкого круга читателя и в качестве такового стоял вне официально признанной литературы. Становятся также понятными некоторые черты романа: несколько наивное благородство почти всех его персонажей, идеальная простота характеров, ставка на внешнюю увлекательность, сентиментальность.

Эти черты, сделавшиеся затем характерными для всего жанра, выступают у Харитона в обнаженном виде, еще не прикрытые блеском риторической отделки. Любопытно, что некоторые вновь открытые фрагменты этого романа показывают значительные разночтения в тексте, в том числе вставки; это явление считается характерным для «народных книг».

9. ПАПИРУСНЫЕ ОТРЫВКИ

В этом разделе будут рассмотрены некоторые сохранившиеся на случайно найденных листах пергамента и папируса отрывки романов, допускающие лишь весьма приблизительную датировку.

В ряде случаев ранняя датировка подкрепляется палеографическими соображениями.

Особенно близок к роману Харитона так называемый «Роман о царице Хионе». Отрывок его был обнаружен Вилькеном в небольшом кодексе, состоявшем из шести листов пергамента, который ему удалось приобре-

сти в египетских Фивах; он сохранялся, по-видимому, в одном из монастырей верхнего Египта. Кодекс этот был палимпсестом: под коптским письмом X—XII вв. находился греческий текст прекрасного унциального письма VI или VII вв. н. э. Первые четыре листа содержали главы из последней книги романа Харитона; дальше следовало начало романа о Хионе. К сожалению, драгоценная находка *codex Thebanus deperditus* (потерянный Фиванский кодекс) в 1899 г. погибла во время пожара, вспыхнувшего на пароходе, когда тот находился уже в гамбургском порту. Сохранились лишь копии, изготовленные Вилькеном, но снятые лишь с тех мест греческого текста, которые читались легче всего.

В первом из фрагментов говорится о каком-то совете, относящемся к судьбе царства, которое должно перейти к будущему супругу царевны. По-видимому, совещаются женихи Хионы, устанавливающие срок для ответа; возможно, что эта ситуация навеяна картинами сватовства в гомеровской «Одиссее». По другому толкованию совещаются царь и его вельможи. Во втором столбце речь идет о молве. Молва играла роль и в романе Харитона¹⁴. Хиона обо всем узнает от матери. Далее беседуют Хиона и ее возлюбленный.

Тот факт, что роман о Хионе в рукописи непосредственно примыкал к роману Харитона, позволил высказать предположение о тождестве их авторов. Это предположение, не доказанное и едва ли доказуемое, становится, однако, довольно правдоподобным, если привлечь на помощь стилистические сопоставления. Язык отрывка близок к языку Харитона и лишен рафинированной риторичности позднейших романов. Повторяется ряд мотивов, в том числе мотивы «Одиссеи».

Давно уже было отмечено, что в нескольких романах имена героинь совпадают с именами нимф, о культе которых мы знаем по другим источникам: это относится как в Хионе, так и к Каллирое (Харитон) и Левкиппе (Ахилл Татий). Вместе с тем прозрачное имя Хионы (*χιών* — снег) и ее царское звание придает всему отрывку колорит сказочности.

Если роман этот и не принадлежит Харитону, то во всяком случае он может быть отнесен к тому же типу литературных произведений, и, вероятно, к той же эпохе.

Черты исторического романа проступают в одном известном по отрывкам романе, где основным действующим лицом оказывается сын царя Сесонхосиса¹⁵. Действие происходит в Египте. Царь Сесонхосис, вероятно, тождествен с фараоном Шешонком I (945—924 гг.), о котором известно, что он по династическим соображениям женил своего сына, будущего Осоркона I, на царевне Макаре, происходившей, по-видимому, из ранее царствовавшей Танитской династии. В сохранившемся фрагменте он требует, чтобы сын, не названный по имени, вступил в брак; друг советует юноше покориться; происходит разговор отца с сыном. Приключения исторических или псевдо-исторических героев сочетаются с любовной темой, как в «Романе о Нине» и у Харитона.

Сходство некоторых мотивов и общий стиль повествования позволяют говорить о близости к Харитону, когда мы рассматриваем отрывки еще одного романа, героями которого являются Каллигона и Эрасин¹⁶.

¹⁴ «Повесть о любви Херея и Каллирои», I, 5.

¹⁵ Сильно поврежденный кусок папируса III—IV в. н. э., опубликованный в 1922 г. (Oxyrhynch. pap., XV, 18).

¹⁶ Папирус найден в Оксирихе и находится в Каирском собрании папирусов (P. Cair. 47992); красивое и правильное книжное письмо позволяет датировать его II в. н. э.

Находящаяся в остром припадке отчаяния Каллигона приходит в шатер Эвбиота, изображенного в виде благородного и преданного поклонника. Эвбиот удаляет всех из помещения, давая понять Каллигоне, что получены дурные вести о войне с савроматами. Каллигона рыдает, проклинает тот день, когда она увидела Эрасина на охоте, бранит свои глаза и упрекает Артемиду. Она протягивает руку за кинжалом, желая покончить с собою, но Эвбиот уже при ее появлении вынул этот кинжал из ножен, и Каллигона, неправильно истолковав его действия как страх за собственную жизнь, говорит о себе, что она не амазонка, но лишь эллинская женщина, правда, не уступающая амазонкам в отваге, и требует свой кинжал обратно.

Трудно вполне ясно представить себе ситуацию, изображенную автором. Эрасин, — по-видимому, возлюбленный Каллигоны, с нею разлученный; слова об охоте сопоставляют с тем местом романа Харитона¹⁷, где Артаксеркс именно на охоте хочет покрасоваться перед Каллироей. Обстановка экзотична. Упоминание о савроматах переносит читателя на периферию греческого мира, в такой же мере пригодную для фантастических войн и приключений, как и Эфиопия у Гелиодора. Имя Эвбиота встречается и у Лукиана¹⁸.

Еще труднее судить о фабуле произведения, отрывок которого был найден в Оксирихе и опубликован в 1913 г.¹⁹ В нем речь идет о Дионисии, получающем в награду за доблесть пленную царицу. Действие разворачивается при каком-то восточном дворе, где находятся и некий царь, и Дионисий, и сама прекрасная пленница; мотив пленения царицы встречался и в романе Харитона.

Приключения на море встречаются и в «Романе о Нине»²⁰ и у Харитона. Рассказ о морском приключении содержится и в довольно значительном отрывке романа, где в качестве героини выступала, вероятно, Герпиллида²¹.

Там, где текст становится связным, рассказывается о приключениях Герпиллиды и ее возлюбленного: рассказ вложен в его уста и ведется в первом лице. Влюбленная чета пользовалась гостеприимством каких-то людей, живущих на берегу моря, а затем оба пускаются в плавание, но почему-то на разных кораблях. Рассказчик отплывает раньше, более крупный корабль Герпиллиды задерживается в гавани. Разражается буря, и на реях корабля вспыхивают так называемые огни Св. Эльма, в греческом морском фольклоре считавшиеся признаком появления Диоскуров. Описания бури встречаются у Ахилла Татия²² и у Гелиодора²³.

Иного рода ситуации, тоже достаточно типичные для фабулы любовных романов, дают фрагменты романа о Метиохе и Партенопе, которые были найдены в Египте в разное время. Здесь надо прежде всего отметить рассуждение об Эроте, вложенное в уста Метиоха и задуманное как возражение на чью-то предшествующую речь: Метиох отвергает обычный мифологический и поэтический образ этого божества и объясняет любовь ра-

¹⁷ «Повесть о любви Херея и Каллирои», VI. 4.

¹⁸ «Токсарид», 51, 54.

¹⁹ Фрагмент опубликован в Publ. della zoc. Ital. Время написания, папируса —

III в. н. э.

²⁰ А III, 20.

²¹ Место находки неизвестно; папирус был приобретен в Мединет-эль-Фаюме и в 1897 г. опубликован Магаффи; ныне находится в Дублине. Палеографические данные позволяют отнести найденный папирус к началу II в. н. э.

²² III, 1—5.

²³ V, 27.

ционалистически, как простое «движение души». Тут же присутствует Партенопа. Позиция Метиоха напоминает высокомерное отношение к Эроту Габрокома в начале романа Ксенофонта Эфесского²⁴, и весьма вероятно, что Метиох должен был в дальнейшем испытать на себе самом все могущество Эрота, как случилось и с Габрокомом.

В дальнейших отрывках Метиох уже просит руки Партенопы, отец которой не дает еще своего согласия; два оратора выступают в пользу юноши. В последнем отрывке, связь которого с предыдущими не вполне доказана, жители Керкиры одобряют действия некоего Демокара, выкупившего девушку у кого-то, кто ею владел; все они живо заинтересованы в чьей-то готовящейся свадьбе. Участие всего города в любовных переживаниях героев — мотив, часто встречающийся у Харитона. Если имеется в виду предстоящая свадьба Метиоха и Партенопы, то отрывок мог бы относиться к концу романа.

С папирусными отрывками интересно сопоставить замечание Лукиана²⁵ о Партенопе, наряду с Федрой и Родопой принадлежавшей к числу «влюбленных женщин древности, сильнее всего одержимых страстями», история которой постоянно изображалась в пантомимах.

Приведенные отрывки, число которых могло бы быть еще увеличено, с непрекращаемой ясностью устанавливают, что во II в. н. э. в обращении находилось огромное количество любовно-приключенческих романов.

10. КСЕНОФОНТ ЭФЕССКИЙ

Насколько можно предположить, хронологически близок к Харитону автор «Эфесской повести о Габрокоме и Антии» Ксенофонт Эфесский; Свида приписывает ему еще сочинение «О городе Эфесе» и другие произведения, названия которых не приведены.

По словам Свида, этот роман состоит из десяти книг; в нынешней редакции их насчитывается лишь пять. В связи с целым рядом композиционных шероховатостей в сохранившемся тексте, возникает весьма правдоподобное предположение, что до нас дошло лишь извлечение из первоначального произведения, обладающее всеми недостатками, свойственными такого рода трудам²⁶. Это еще больше затрудняет установление времени жизни автора, поскольку приходится различать время создания первичного текста и время написания извлечения.

Ксенофонт не пытается связать свой роман с какими-либо действительными историческими событиями, и вообще указания на исторические факты у него чрезвычайно скудны. *Terminus post quem* (II, 13) дают упоминания должности ириарха (блюстителя мира), встречающейся лишь со времен Траяна (98—117 гг.), и некоторых должностей в администрации Египта, учрежденных лишь при Августе (III, 12; IV, 2). Обычно роман в нынешней его редакции относят ко II в.

С прямолинейной последовательностью Ксенофонт излагает судьбы своих героев, жителей Эфеса — ослепительного красавца Габрокома, осмелившегося не почитать Эрота, и красавицы Антии. Увидев друг друга на празднике, они заболевают от любви. Оракул Аполлона объясняет влюбленным родителям причину этой болезни, указывает на брак как на сред-

²⁴ I, 1.

²⁵ «О пляске», 2.

²⁶ А. И. К и р п и ч и к о в. Греческие романы в новой литературе. Харьков, 1876, стр. 67.

ство исцеления, но тут же сулит влюбленным беды и скитания, правда, с благополучным исходом. Во исполнение пророчания родители сочетают влюбленных браком, а затем отправляют путешествовать — начинается цепь приключений.

Благополучно героям удастся доплыть только до Родоса, где они оставляют в дар в храме бога Солнца золотое оружие. Уже на обратном пути корабль их подвергается нападению финикийских пиратов, Габроком и Антию взяты в плен и сразу же делаются объектами любовных вожделений двоих из разбойников. Их доставляют в окрестности Тира, где в своем имении живет Апсирт, хозяин разбойничьей шайки, захватившей нашу чету. Дочь его Манто, влюбившись в Габрокома и не добившись взаимности, клеветнически обвиняет его в попытке обольстить ее — мотив Иосифа Прекрасного и Ипполита. Габрокома после истязаний бросают в темницу, Антию Манто отдает в жены пастуху Лампону. Так начинается разлука супругов; воссоединение наступит лишь в конце романа.

Следует длинная вереница раздельных приключений Антии и Габрокома, причем обоим, в особенности Антии, приходится все время спасать свое целомудрие от людей разного состояния, встречающихся на их пути, и непрерывно подвергаться смертельной опасности.

В Антию влюбляются: благородный Перилай, индеец Псаммид, разбойник Анхиал, стерегущий ее сторож, военачальник Полиид, благородный разбойник Гиппотой. Пребывая в рабском звании, она, наконец, попадает в дом разврата, но благополучно спасается и оттуда. Разбойники пытаются принести ее в жертву Арею; она хочет покончить с собой, но врач дает ей снотворное средство, а разбойники находят ее в склепе пробудившейся и уводят в рабство; ее ввергают в ров с двумя огромными псами. Габроком становится объектом вожделений отвратительной злодейки Кюно; по ее клеветническому доносу его осуждают на казнь, причем он дважды спасается чудесным образом.

Встреча Габрокома и Антии происходит на острове Родосе, в том самом святилище бога Солнца, где некогда начались их скитания. Им помогает разбойник Гиппотой, в изображении которого с поступками злодея автор совмещает черты «благородного разбойника»: последние под конец начинают преобладать. Для перехода от одного эпизода к другому часто применяются мотивы вешего сна, кораблекрушения, нападения разбойников, продажи в рабство. В двух случаях в роман вставлены самостоятельные эпизоды, весьма слабо связанные с основным сюжетом: история Гиппотоя и юноши Гиперанта (III, 2); история Эгиалея и Телксиной (V, 1).

Объясняется ли это плохим качеством извлечения или это изначальный недостаток романа, но связь отдельных эпизодов чрезвычайно слаба; они примыкают один к другому и могли бы быть бесконечно продолжены в той же манере. Слабо обоснован мотив божественного вмешательства: оскорбленный Эрот карает Габрокома. Темп рассказа неравномерен. Неторопливое повествование первых глав сопровождается психологическими деталями, которые должны пояснить превращение робкой девочки в стойкую героиню, в дальнейшем, начиная с главы 13 книги I, преобладает конспективный рассказ, лишь время от времени перебиваемый патетическими декламациями (например III, 8). Как и у Харитона, наблюдаются стихотворные вставки (I, 6, 12; III, 2; V, 4).

Упор сделан на смену замысловатых событий, причем иногда фантазия Ксенофонта создает гротески: такова история старого Эгиалея, сохраняющего набальзамированное тело своей возлюбленной Телксиной и обрастающего с нею, как с живой (V, 1). Персонажи Ксенофонта — чисто

условные фигуры. Обращает на себя внимание своей противоречивостью фигура разбойника Гиппотоя, то выступающего в роли кровожадного злодея (IV, 1), то проявляющего себя верным и нежным другом (V, 9). Социальная сфера, в которой совершается действие романа Ксенофонта, не та, что у Харитона: отдельные эпизоды разыгрываются среди разбойников, среди рабов, в темных притонах.

Быть может, это зависит от последующей переработки текста, но в «Эфесской повести» Ксенофонта резко выступают черты литературного примитива, которые позволяют говорить о народной книге, сохранившей в обнаженном виде традиционную сюжетную схему и позволяющей распознать в ней исконные и древние ареталогические элементы.

11. «ИСТОРИЯ АПОЛЛОНИЯ, ЦАРЯ ТИРСКОГО»

Если романы Харитона и Ксенофонта, сохраняя основной характер народной книги, вместе с тем тяготели первый — к историографии, второй — к ареталогии, то так называемую «Историю Аполлония, царя Тирского», известную лишь в латинском переложении V—VI вв. н. э., можно считать близкой к сказке. Обычно считают, что предполагаемый ее греческий оригинал возник в начале II в. н. э.

«История Аполлония» отличается от типичных греческих романов прежде всего тем, что канонический список приключений распределяется в ней между двумя женскими персонажами — матерью и дочерью; роль главного мужского героя сведена до минимума. Помимо этого композиция произведения осложнена помещением в начальной части повествования рассказа о царе Антиохе и его дочери.

Свирепый Антиох живет в кровосмесительном браке со своей дочерью; мотив этот неоднократно засвидетельствован и в греческой мифологии (например Эномай и Гипподамия), и в сказочном фольклоре. Всем, ищущим руки его дочери, Антиох задает загадки и затем рубит головы тем, кто не в силах их разрешить, а подчас и тем, кто нашел удачное решение.

Аполлоний разрешает загадку, но Антиох не только не отдает ему своей дочери, а грозит смертью, так что тот вынужден спасаться бегством. Он благодетельствует жителей Тарса в Киликии, предоставив им по дешевой цене большое количество хлеба; затем отправляется в Кирену, терпит кораблекрушение, но достигает Кирены и получает в жены дочь царя Архистрата Архистратиду. Приходит весть о смерти Антиоха; его царство должно перейти к Аполлонию. Аполлоний отправляется туда на корабле, по дороге его жена производит на свет дочь, а сама впадает в летаргический сон; сочтя ее за мертвую, ее бросают в море в ящике, который волны выбрасывают на сушу возле Эфеса, где молодой ученик одного врача оживляет мнимо умершую. Она находит приют у жриц Артемиды.

В дальнейшем на первое место выступает дочь Аполлония Тарсия, а сам он, прибыв в Тарс и отдав девочку на воспитание некоему Странгвиллиону, отплывает в Египет, где и остается в течение четырнадцати лет. Тарсию преследует жена Странгвиллиона Дионисиада, поручающая рабу убить ее. Следует похищение Тарсии разбойниками, продажа ее в рабство и пребывание в публичном доме в Митилене, где ей удается, однако, сохранить свое целомудрие. При помощи Афинагора, «первого человека в городе», происходит встреча прибывшего в Митилену Аполлония с дочерью, которая является к отцу, чтобы утешить его. Когда ее помощь отвергнута Аполлонию, Тарсия разражается жалобами и перечисляет вслух собствен-

ные беды, облегчая тем самым обязательное для романа узнавание. Под влиянием вещего сна Аполлоний отправляется с дочерью в Эфес, и там его узнает жена. Он принимает бывшее царство Антиоха; происходит награждение добрых и казнь порочных. Аполлоний благополучно царствует над Антиохией, Тиром и Киреной и описывает свои приключения.

Как видно, все три главных действующих лица — Аполлоний, Архистратид и Тарсия — разлучаются друг с другом и в конце рассказа воссоединяются путем двойного узнавания. Что же касается обычных мотивов любовного романа, то Архистратид, охваченная любовной страстью, переживает ее как болезнь, затем ее постигает мнимая смерть; наибольшее количество скитаний и мук достается на долю ее дочери.

Сказочные черты проступают уже в самом начале, в истории Антиоха и его дочери. Решение загадок как условие получения красавицы часто встречается в сказках, так же как фигура злой мачехи, изобилие царей и царевен, внезапное и легкое овладение царствами.

В «Истории Аполлония» обнаруживаются различные черты, одни из которых восходят к предполагаемому греческому подлиннику, другие же внесены, вероятно, латинским переводчиком и близки к христианству. Нападение пиратов, кораблекрушение, мнимая смерть, вещие сны встречались, конечно, уже в изначальном греческом тексте. Особенно много мотивов, которые роднят «Историю Аполлония» с книгой Ксенофонта Эфесского: заключение брака в начале повествования, покушение со стороны ревнивой госпожи на убийство героини, смягчившийся убийца, спасение невинной и продажа ее своднику, сохранение ею чистоты и в этой обстановке, сцена узнавания в храме, пребывание героя у старого рыбака.

Язык латинского текста пронизан вульгаризмами, внесенными, надо думать, при переводе. Как у Ксенофонта и Харитона, в «Истории Аполлония» проза расцвечена многочисленными стихотворными вставками. В главе 42 и других появляются стихотворные загадки из сборника Симфония (IV—V вв.).

Часто говорят об искусственном присоединении истории Антиоха к основной части произведения, причем это «неорганическое сочетание» разнородных сюжетов ставили в вину то латинскому переводчику, то самому автору греческого подлинника. Между тем, можно предположить, что эпизод с Антиохом входил непременно частью в первоначальный композиционный замысел и вовсе не был чем-то посторонним. Роман, который заканчивается награждением девического целомудрия, супружеской и дочерней верности, риторически эффектно начинался с контрастного эпизода, насыщенного страстями, диаметрально противоположными этим добродетелям. Кровосмесительная встреча Антиоха и его дочери (гл. 1—2) уравновешивается встречей Тарсии с Аполлонием (гл. 40 слл.), в результате которой Тарсия, обитательница притона, оказывается царской дочерью. Разгадывание загадок появляется как некий вспомогательный прием именно в этих разделах романа; любопытно, что и в том и в другом случае разрешение загадок само по себе ни к чему не приводит. Если вспомнить симметричность композиции, свойственную всему жанру, то предложенное выше объяснение взаимной связи частей «Истории Аполлония» представится вполне вероятным; так и в романах Ахилла Татия, Лонга и Гелиодора основная любовная ситуация дублируется параллельно построенными эпизодами, имеющими противоположную направленность.

Общий тон «Истории Аполлония» отмечен нарочитой простотой, порою переходящей в наивность; но местами даже сквозь латинское переложение угадывается риторическая приподнятость подлинника.

Не подлежит сомнению, что латинская версия романа, относящаяся к V—VI вв., была широко распространенной книгой, обращавшейся к широкому слою понимавших по-латыни читателей. Самый текст сохранился в очень различных редакциях, что свидетельствует о вольном с ним обращении, характерном для народной литературы.

12. ЯМВЛИХ

Все романы, о которых говорилось выше, могут быть отнесены к группе образцов этого жанра, почти совсем не затронутых риторическим мастерством новой софистики. В первую очередь это явствует из словесного их оформления, но наряду с этим можно было бы указать, имея в виду Ксенофонта и Харитона, на прямолинейную простоту композиции: создается впечатление, что авторы не хотят или не могут отрешиться от какого-то композиционного канона.

Другая группа романов, несколько более поздняя, предстает во всем блеске риторики. Традиционный сюжет обогащается вводными эпизодами, подается в новом освещении; действие переносится или в полусказочную древность (Ямвлих), или в экзотические и далекие страны (Гелиодор), или в искусственный пастушеский мир (Лонг). Иной раз тот же традиционный комплекс мотивов подается полуиронически (Ахилл Татий). Именно эти любовные романы, испытавшие на себе сильное влияние новой софистики, пользовались огромным успехом в Византии и затем завоевали себе широкие круги читателей в Европе нового времени.

С известной достоверностью, благодаря данным, сообщаемым самим автором, может быть датирован роман «Вавилонская повесть» сирийца Ямвлиха.

Ямвлих называет себя современником Аршакида и Ахеменида Соэма, которого римляне в 164 г. н. э. поставили царем Армении. Ямвлих был якобы воспитанником некоего ученого вавилонянина, преподававшего ему восточную магию; он утверждает, будто сумел предсказать войну Вера с парфянами (165 г.) и исход ее — бегство парфянского царя Вологеса за Евфрат и Тигр. Сириец Ямвлих овладел греческим языком настолько, что был в состоянии удовлетворять самым утонченным вкусом своего времени. Название «Вавилонская повесть» должно было характеризовать не только географическую обстановку излагаемых событий, но и подчеркнуть связь произведения с преданиями древнего Вавилона. Не исключена возможность того, что вавилонский воспитатель вымышлен Ямвлихом, чтобы как-то подкрепить фикцию вавилонской литературной традиции.

Роман известен нам лишь по пересказу Фотия и незначительному числу фрагментов, сохранных разными авторами.

Главными действующими лицами «Вавилонской повести» были муж и жена — прекрасная Синонида и Родан, которых вавилонский царь Гарм подвергал жестоким преследованиям, домогаясь любви Синониды: по его приказу Синонида была скована золотой цепью, а Родан распят на кресте. Синониде удается спасти мужа, и тогда Гарм приказывает отрезать уши и носы евнухам Дамасу и Сакасу, которым была поручена казнь, и отправляет их в погоню за бежавшими.

Родан и Синонида бегут от преследователей, причем, спасаясь от смерти, они, непрерывно вовлекаются в удивительнейшие происшествия. В романе несколько раз оживают люди, считавшиеся умершими, живых принимают за мертвых. Поразительное сходство Родана с другим юношей и бешеная ревность Синониды создают новые осложнения,

После долгих приключений Синонида становится женой царя Сирии. Родан должен быть снова казнен на кресте на глазах у самого Гарма. Но получив внезапно письмо от Сакаса с вестью о предстоящей свадьбе Синониды, Гарм приказывает освободить Родана и посылает его полководцем против сирийского соперника. Родан одерживает победу, вновь обретает Синониду и становится царем Вавилона.

Согласно Свиде, роман состоял из 39 книг; пересказ Фотия заканчивается шестнадцатой, но при этом действие романа пришло к завершению.

Ни один из известных нам любовных романов не дает такого ошеломляющего изобилия сложных и изысканных выдумок, как книга Ямвлиха, представляющая собою подлинный kaleidoscope фантазий и ужасов. Например, в Синониду влюбляется «призрак козла». Рой ядовитых пчел задерживает преследователей, и сами герои, наевшись меда этих пчел, оказываются отравленными. Они попадают в дом разбойника, убивающего и съедающего прохожих; преследующие их воины поджигают дом со всех сторон, а Родан и Синонида спасаются, выдав себя за призраки ранее убитых. Раб убивает любимую им девушку и затем кончает с собою; при этом кровь попадает на тайно следящую за этой сценой дочь земледельца, у которого скрываются беглецы; при прощании Родан целует ее, к нему пристает кровь, что вызывает неукротимую ревность Синониды, подозревающей измену. Впоследствии собака Родана съедает тело раба-самоубийцы и часть трупа убитой им девушки; пришедший в это время отец Синониды, убежденный, что это останки его дочери, убивает собаку, хоронит тело девушки и вешается сам. Затем является Родан и в свою очередь хочет покончить с собою. Таковы некоторые из эпизодов, типичных для манеры Ямвлиха; с другой стороны, Фотий подчеркивает эротический характер его повествования.

Пестрота событий еще усугубляется экскурсами, весьма слабо связанными с ходом действия. Автор излагал разные виды магии, в том числе самые редкостные и малоизвестные, рассуждал о каких-то манипуляциях, связанных с саранчой, со львами и с мышами, а попутно говорил о быте палачей и о великолепии царей Вавилона. Самый способ введения экскурсов в основной рассказ представляет собою, по-видимому, некоторое новшество: они не были вложены в уста действующих лиц и вторгались в повествование как бы извне; появление их является признаком нового способа использования обрамляющего рассказа. Что же касается развертывания самой фабулы, то вавилонский царь играет у Ямвлиха приблизительно ту же роль, какую у других авторов исполнял гнев богов, — он является основной движущей силой действия, а добавочную мотивировку для сцепления событий создает ревность Синониды.

Есть еще одна любопытная особенность в построении «Вавилонской повести». В первой половине ее развертывается единая цепь эпизодов, сменяющих друг друга, причем любящая чета переживает все эти эпизоды, довольно долго не разлучаясь; во второй половине ревнивица Синонида покидает своего супруга и действие романа разветвляется, течет по нескольким руслам, которые переплетаются друг с другом, составляя сложную сеть.

Тяга к преувеличенной яркости, переходившей иногда в настоящий гротеск, отражалась и на изображении характеров действующих лиц: тиран Гарм до того свиреп, что своих слуг, упустивших Синониду, велит закопать в землю с женами и детьми. Добродетельный Сорех готов пожертвовать жизнью для беглецов и получает за свои достоинства царский трон. Синонида под влиянием первого подозрения стремится умертвить предполагаемую разлучницу.

Интересно, что Ямвлих старается передать в своем произведении восточный колорит и часто достигает цели. Он дает своим героям имена восточного характера, — для многих из них можно подобрать параллели из подлинных источников по истории Востока. В иных случаях Ямвлих, быть может, частично использовал собственные наблюдения, например, при изображении парадного царского выезда, но много восточных мотивов почерпнуто из Геродота.

Ямвлих переносит действие в древние времена, но анахронизмов много: так, в романе выступает племя аланов, которые стали известны лишь со времен Нерона. Современницей вавилонских царей оказывается египетская царица Береника, имя которой переносит нас в эпоху эллинизма.

По-видимому, стиль изложения менялся в зависимости от характера рассказа. В сохранившихся отрывках, где есть речи и описания, проявляется в полной мере языковая изощренность второй софистики.

13. АХИЛЛ ТАТИЙ

Атмосфера новой софистики ощущается особенно отчетливо в романе Ахилла Татия Александрийского «Повесть о Левкиппе и Клитофонте» в восьми книгах. С большим мастерством автор использует традиционную схему приключений влюбленной четы прежде всего как материал для риторических декламаций. Самый сюжет очень традиционен.

Во вступительной части автор повествует о своей встрече в Сидоне около картины, изображающей похищение Европы, с неизвестным юношей, который рассказывает ему историю своей любви. Все дальнейшее повествование вложено в уста этого юноши и ведется в первом лице.

Прекрасная Левкиппа и красавец Клитофонт, — это и есть рассказчик, — пленившись друг другом, бегут из дома отца Клитофонта. Корабль, который везет их в Александрию, терпит крушение, но чета влюбленных выброшена волнами на египетский берег. Плывая дальше по Нилу в Александрию, они попадают в руки разбойников. На следующий день Клитофонт имеет возможность наблюдать сцену жертвенного заклания Левкиппы. Ночью он спешит к могиле своей возлюбленной, чтобы там покончить с собой, но вовремя появившиеся верные спутники удерживают его: заклание Левкиппы оказывается театральным трюком. Влюбленные прибывают в Александрию, причем по пути в Левкиппу влюбляются еще несколько человек; один из них похищает ее с помощью разбойников. Во время погони Клитофонт вновь видит, как разбойники рубят девушке голову и сбрасывают ее тело в море; лишь впоследствии выясняется, что это совсем не Левкиппа.

Красавица Мелита, муж которой погиб в море, охвачена любовью к Клитофонту и уговаривает его вступить с нею в брак, остающийся, однако, фиктивным. В Эфесе, в имении Мелиты, Клитофонт встречается с Левкиппой, проданной в рабство; они узнают друг друга. Внезапно вернувшийся мнимый утопленник Ферсандр, муж Мелиты, избивает Клитофонта и ввергает его в темницу. Сюда приходит к нему Мелита, узнавшая, наконец, в своей рабыне Левкиппу и, осыпая Клитофонта упреками и мольбами, добивается, наконец, его любви.

Мелита помогает Клитофонту бежать, но по дороге он наталкивается на Ферсандра и снова попадает в тюрьму. Ферсандр, влюбившийся в Левкиппу, похищает ее и распускает слух, что она якобы убита по приказу Мелиты.

Происходит сложный судебный процесс, где Ферсандр обвиняет Клитофонта и Мелиту в прелюбодеянии, а отчаявшийся Клитофонт — Мелитву и себя самого в мнимом убийстве Левкиппы. Появление священного посылства во главе с Состратом, отцом Левкиппы, на время спасает Клитофонта. Новый процесс, где Ферсандр выступает обвинителем против своей жены и Левкиппы, должен быть разрешен судом богов. Левкиппа входит в пещеру Пана, и мелодические звуки свирели доказывают, что она сохранила чистоту. Мелита, поклявшаяся, что она «не приобщалась Афродите с этим чужеземцем» во время отсутствия мужа, спокойно входит в чудесный источник: связь ее с Клитофонтом произошла после возвращения Ферсандра. Ферсандр спасается бегством, Левкиппа и Сострат рассказывают о событиях, оставшихся неизвестными читателю. Все кончается свадьбой Левкиппы и Клитофонта.

Ахилл Татий строит свой роман, следуя в основном традиции Харитона, Ксенофонта, Ямвлиха, т. е. передавая события в их хронологической последовательности. Вместе с тем, как это отмечалось выше применительно к Ямвлиху, в первой половине романа рассказ ведется по иному принципу, чем во второй. До появления Мелиты (V, 11) развивается одна основная тема — любовь Клитофонта и Левкиппы. Начиная же с этого эпизода действие разветвляется по нескольким направлениям, все время переплетающимся (любовь Клитофонта и Левкиппы, любовь Мелиты к Клитофонту, месть Ферсандра, любовь Ферсандра к Левкиппе). В первой половине изложение разнообразится многочисленными вставными эпизодами и описаниями; во второй половине с ее запутанной интригой эти отступления встречаются несравненно реже.

Стилистическая близость к рассказу Ямвлиха сказывается между прочим и в этих вводных описаниях, постоянно вторгающихся в ход повествования и имеющих двоякую функцию. Они представляют собой законченные риторические миниатюры разного типа: диспут о разных видах любви (II, 36—38) совпадает по своей тематике с диалогом «О любви» Плуларха и с диалогом «Две любви» Псевдо-Лукиана; часто встречающиеся описания картин (I, 1; III, 6—8; V, 3), чудес природы, вроде влюбленных металлов, деревьев, вод, животных (I, 17—18), сицилийского источника, где вода смешана с огнем (II, 14), птицы Феникса (III, 25), реки Нила (IV, 12), нильского крокодила (IV, 19) могут служить прекрасными образцами использования естественно-исторических материалов для риторических декламаций.

Стиль «Повести о Левкиппе и Клитофонте» своею пышностью и богатством очень напоминает язык известных нам фрагментов «Вавилонской повести» Ямвлиха. И тут и там широко применяются все излюбленные средства азиатского красноречия: параллельное построение звеньев периода, одинаковые окончания, риторические фигуры. Больше чем кто-либо из авторов романов, Ахилл Татий пользуется очень смелыми образами: глаза тянутся к красавице, «канатом красоты притянутые» (I, 4), описывая зубы крокодила, он прибавляет: «такой посев несет равнина челюстей» (IV, 19), сад осенен «хороводом колонн» (I, 15). Очень частые в романах трагические монологи (монодии, по терминологии новой софистики) обычно демонстрируют в сжатой форме весь арсенал этих выразительных средств (I, 13; III, 16; V, 25). Постоянно применяются такие очень распространенные в эпоху второй софистики формы изложения как письма, фиктивные судебные речи, пересказы мифов, басни.

Любопытная особенность романа Ахилла Татия — ведение рассказа в первом лице, как это было, видимо, принято в романах приключений. От

комически-бытовых романов идет соприкасающаяся также с мимом пародийность изображения Клитонфа, подвергающегося избиениям и переносящего свои беды без традиционной героической самоотверженности (V, 23; VII, 14; VIII, 1).

Довольно частые в романе эротические сцены обычно даются в бытовом плане, а в речи жреца Артемиды встречаются аристофановские двусмысленности. Сама Левкиппа иногда напоминает героинь легкомысленных новелл Апулея. Традиционный мотив жертвоприношения героини подан в совершенно пародийных тонах. Сам сюжет для автора представляет интерес лишь как сплошная рамка для целой галереи картин. Отсюда та ирония, которая так часто чувствуется в «Повести о Левкиппе и Клитонфе» и неизбежно приводит к вторжению в героическую мелодраму комически-бытовых деталей.

Большие трудности возникают в связи с попытками датировать роман Ахилла Татия. Об авторе его Свиды говорит (называя его Статием), что он был александрийцем, в конце жизни принял христианство и стал епископом; далее Свиды сообщает, что им же написаны сочинения «О сфере», «Об этиологии» и произведение под названием «Смешанная история».

Автора романа некоторые ученые долго относили к V и даже VI в., основываясь на предполагаемых заимствованиях из Мусея. Однако другие исследователи датируют его жизнь III в. Эти последние предположения получили неожиданное подтверждение, когда в 1914 г. в томе X Оксиринхских папирусов был опубликован вновь найденный отрывок (№ 1250) второй книги романа, причем характер письма позволил с большой уверенностью считать временем написания этого отрывка начало IV в. н. э. Новую сенсацию принесла находка еще одного папирусного фрагмента из романа Ахилла Татия, который был опубликован итальянским папирологом Вольяно.

С первого же взгляда, еще до отождествления найденного фрагмента с романом Ахилла Татия (VI, 14—15; 16—17), Вольяно установил, что почерк папируса должен быть отнесен ко II в. н. э. Прямым выводом из этого должно было явиться признание Ахилла Татия автором II в. или еще более раннего времени. Сам издатель нового фрагмента не решается сделать такой вывод, неприемлемый для него потому, что стиль автора найденного отрывка кажется ему противоречащим этой гипотезе; сам он готов предположить, что найденный отрывок — кусок той «новеллы», которая якобы лежала в основе романа Ахилла Татия и затем была обработана этим автором.

Между тем находка этого фрагмента доказывает, что следует пересмотреть решение вопроса о взаимоотношениях между сохранившимися романами, которое до сего времени было общепринятым. До сих пор признавалось, что Ахилл Татий — подражатель Лонга и Гелиодора, искаживший величественную манеру последнего. Однако все эти заключения опираются на крайне спорные сопоставления отдельных мест и повторяющихся мотивов, большинство которых имеет традиционный характер и могло быть использовано каждым романистом совершенно независимо от других. В частности, величавый стиль Гелиодора мог бы с таким же правом рассматриваться как попытка вложить в авантюрно-эротический жанр, разработанный Ямвлихом и Ахиллом Татием, новую теологически окрашенную идеологию и новую героику.

14. ЛОНГ

Неотделима от расцвета новой софистики и прославленная «Пастушеская повесть о Дафнисе и Хлое» в четырех книгах, автор которой в рукописях назван Лонгом. Никаких сведений о времени жизни или о каких-либо фактах его биографии не сохранилось. Латинский характер его имени не представляет собой какого-либо необычного явления, так как в эпоху империи многие греки получают имена и прозвания, заимствованные из латинского языка: имя Лонг встречается и на одной надписи, найденной на острове Лесбосе и относящейся к лицу, носившему титул верховного жреца²⁷. Нет ничего невероятного в предположении, что автор романа мог быть и лично связан с островом, для литературной славы которого он сделал так много; при этом совсем не обязательно отождествлять его с Лонгом, которому посвящена надпись.

Как и в романе Ахилла Татия, у Лонга во вступительной части описывается произведение живописи; но в этом случае картина обнаружена автором в пещере нимф во время охоты на острове Лесбосе. Восхищенный изображенным на картине, он задумывает повесть, которая должна раскрыть содержание этой картины и стать священным приношением Эроту, нимфам и Пану; четыре книги этой повести будут «всем людям на радость: болящему они на исцеление, печальному на утешенье, тому, кто любил, напомнят о любви, а кто не любил, того любить научат»²⁸.

Действие происходит на Лесбосе, в окрестностях Митилены. В начале симметрично помещены две истории о находке брошенных младенцев: козопас Ламон обнаруживает в кустарнике мальчика, вскармливаемого козю, а два года спустя овечий пастух Дриас в гроте нимф — девочку, кормилицей которой была овца. Оба пастуха берут детей на воспитание. Когда мальчику, Дафнису, исполняется пятнадцать лет, а девочке, Хлое, — тринадцать, Ламон и Дриас под влиянием одновременно приснившегося обоим сна посылают их пасти стада совместно.

И Хлоей, и Дафнисом овладевают неведомые им чувства; в то же время в Хлою влюбляется пастух Доркон. Тирские пираты нападают на прибрежные луга, ранят насмерть Доркона и пытаются увести Дафниса. Хлоя играет на свирели, подаренной ей умирающим Дорконом, и при этом звуке стадо Доркона, загнанное разбойниками на корабль, бросается к берегу, корабль опрокидывается, разбойники тонут, а Дафнис спасается и вместе с Хлоей хоронит тело Доркона.

Наступает осень, любовь Дафниса и Хлои растет, но не находит себе исхода, хотя старый пастух Филет по внушению Эрота помогает им своими наставлениями. По случайному поводу вспыхивает война между Метимной и Митиленой; жители Метимны похищают сначала Дафниса, затем Хлою, но обоим удается спастись, причем девушке — при прямом содействии Пана.

Зимой Дафнис занимается ловлей птиц близ дома Хлои. Дриас приглашает Дафниса к себе, и он опять признается Хлое в любви.

Снова приходит весна, и молодая соседка Дафниса, смелая и решительная Ликенион, наставляет неопытного Дафниса в делах Эрота.

У Хлои появляется много женихов. Дафнису, который по своей бедности не рассчитывает получить руку Хлои, помогают нимфы: он находит на морском побережье кошелек с тремя тысячами драхм, выброшенный с

²⁷ Надпись найдена в селении Ферми. *Inscriptiones Graecae*, 12, 2, 249.

²⁸ Лонг цитируется в переводе С. Кондратьева под редакцией М. Е. Грабарь-Пассек. Лонг. Дафнис и Хлоя. М., Гослитиздат, 1957, стр. 17—18.

корабля метимнян. Дриас согласен теперь выдать за него Хлою, но нужно еще разрешение господина.

В конце лета в свое поместье приезжает хозяин Ламона — богатый митиленец Дионисофан с женой; несколько раньше появляется его сын Астил. Дафнису грозит большая опасность, так как его выпрашивает для себя паразит Астила Гнатон. Астил хочет взять юношу с собой в город. Опасаясь разлуки с Дафнисом, Ламон рассказывает о том, как он его некогда нашел и какие отличительные знаки при нем обнаружены. Дафнис оказывается сыном Дионисофана и его жены Клеаристы, некогда подкинутым своими родителями по соображениям экономического характера.

Хлою похищает отвергнутый ею Лампид; ее освобождает паразит Астила Гнатон, желающий подслужиться к Дафнису. Дриас рассказывает, как он нашел Хлою; Дионисофан соглашается на ее брак с Дафнисом. Вмешательством нимф осуществляется новое узнавание: Хлоя оказывается дочерью богача Мегакла. Свадебное торжество справляется в семейной обстановке, как «пастушеский брак», перед гротом, посвященным нимфам, но и после свадьбы Дафнис и Хлоя не оставляют своего пастушьего образа жизни и продолжают чтить нимф, Пана и Эрота.

Быть может, ни один другой роман не дает в таком чистом виде воплощения некоторых риторических правил. Лонг стремится к «сладостному» стилю, и в соответствии с этим им пущены в ход все приемы софистического красноречия.

Как и у Ахилла Татия, в результате создаются законченные маленькие декламации; таково, например, знаменитое описание сада (IV, 2, 3) или гимн Эроту (II, 7). Все эти средства достижения эстетического наслаждения (*ἡδονή*), являющегося главной целью «сладостного» стиля, рекомендуются риторической теорией, и применены Лонгом в полном соответствии с нею.

В отличие от других романов в «Дафнисе и Хлое» ведущую роль играют не приключения, введенные в малом числе и для целей чисто служебных, а самые переживания четы влюбленных.

Роман Лонга несколько ближе других подходит к типу позднейшего психологического романа. Правда, психология героев до крайней степени условна и ни в какой мере не притязает на жизненную правдивость. Литературные персонажи вековой давности, восходящие к буколке, воскресают в романе Лонга — впервые в античной прозе, — чтобы еще раз разыграть историю верной любви. Юный возраст героев традиционен в греческом романе: Нину семнадцать лет, Габрокому — шестнадцать, Клитонту — девятнадцать, возлюбленной Нина и Антии — по четырнадцати; но даже на этом фоне Дафнис и Хлоя выделяются своей молодостью: ему пятнадцать, а она тринадцатилетняя девочка.

Существенно то обстоятельство, что полудетские годы главных персонажей последовательно используются автором для мотивировки наивности их переживаний и поступков; эта несколько преувеличенная наивность важна для всего художественного замысла Лонга.

Любовь Дафниса и Хлои развертывается не просто на фоне идиллического пейзажа, создающего удобную рамку для переживаний героев. Природа в разные времена года, сельские работы и праздники, зимняя охота — все эти описания и по объему, и по большой теплоте и лиричности, и по тщательности риторической отделки, и по неразрывной своей связи с основным сюжетом играют столь значительную роль в романе Лонга, что его справедливо назвали «пейзажным романом». Такое перенесение в прозаический роман буколических мотивов и настроений, заново осмысленных, придает повести Лонга своеобразные черты. Вместе с другими стилистическими

признаками это дает возможность хотя бы приблизительно датировать ее. Риторичность языка «Дафниса и Хлои», имитирующая самые изысканные приемы Горгия, позволяет сближать этот роман с новой софистикой. Тема прославления жизни на лоне природы, противопоставляемой существованию горожанина, становится довольно обычной в греческой литературе с конца I в. Едва ли есть основание выносить роман Лонга за пределы начала III в. Время около 200 г. представляется наиболее правдоподобной датой создания «Дафниса и Хлои».

Насколько слабы следы влияния Лонга в античности, настолько же велик был его успех в новое время. Как и в других случаях (Плутарх, Гелиодор), немалую роль сыграл при этом французский перевод Амио. Восемнадцатый век и начало девятнадцатого были временем наибольшей славы Лонга. Мнение целой эпохи о «Дафнисе и Хлое» звучит в знаменитом отзыве Гете: «Это произведение так прекрасно... что всякий раз удивляешься вновь, когда его перечитываешь... Пришлось бы написать целую книгу, чтобы по заслугам оценить все великие достоинства этого произведения. Было бы правильно извлекать из него уроки и заново ощущать впечатление его великой красоты»²⁹.

15. ГЕЛИОДОР

Наиболее крупным по объему среди сохранившихся греческих любовных романов является роман Гелиодора «Эфиопика» в 10 книгах. В заключительных словах последней главы автор называет себя финикийцем, сыном Феодосия из рода Гелиоса. Эмеса в Сирии была центром культа обожествленного Солнца. С началом III в. этот культ и эмесское жречество начинают играть заметную роль в политической жизни Рима. Юлия Домна, дочь жреца Солнца из Эмесы, была женою императора Септимия Севера, а в лице Элагабала (218—222 гг.) римским императором стал сам верховный жрец Солнца. Поклонение Солнцу как верховному божеству, о котором не раз идет речь в этом романе, несомненно, связано с Эмесским культом.

Автор V в. Сократ, написавший историю христианской церкви, отождествляет создателя романа с епископом фессалийской Трикки; по мнению Сократа, «Эфиопику» он написал в молодости³⁰. Фотию тоже известен рассказ о том, что Гелиодор впоследствии стал епископом. Церковный историк XIV в. Никифор Каллист рассказывает, что Гелиодор, когда ему было предложено или сжечь роман, сочтенный опасным для нравов юношества, или сложить с себя сан, выбрал последнее. И у Сократа, и у Фотия сообщение об епископстве Гелиодора дается очень осторожно («говорят», «уверяют»). Весь рассказ производит впечатление литературной легенды, которая должна была связать с христианством автора самого знаменитого из романов.

Главные действующие лица «Эфиопики» — Феаген и Хариклия — наделены, кроме ослепительной красоты, еще и высочайшими физическими и моральными достоинствами: силой, ловкостью, твердостью духа, умом. Героизм свойствен им обоим. Хариклия — воспитанница дельфийского жреца Харикла, некогда вывезенная им девочкой из Египта, где она была передана ему эфиопским послом вместе с опознавательными знаками. Она упорно отказывалась от брака, но на празднике в Дельфах влюбляется в прибывшего туда с отрядом всадников Феагена; он отвечает ей тем же.

²⁹ Гете. Разговоры с Эккерманом, 20 марта 1831 г.

³⁰ *Historia ecclesiastica*. Migne. *Patrol. curs. complet*, t. 67.

Темное прорицание Пифии сулит им бегство, морское плавание и прибытие в «черную землю, удел жаркого солнца», где они обретут великую награду за свою доблесть. Гостищий в Дельфах египетский жрец Каласирид прочитывает эфиопские письма на повязке Хариклии, содержащие ее историю. Она оказывается дочерью эфиопского царя Гидаспа и его жены Персины, рожденной белой, потому что мать ее в момент зачатия загляделась на картину, изображающую белотелую Андромеду; Персина подкинула ребенка, боясь обвинения в прелюбодеянии и не желая, чтобы дочь ее считали незаконнорожденной. Каласирид открывает Хариклии истину и уговаривает ее бежать с Феагеном в Эфиопию (в Дельфах ей предстоит брак с нежеланным мужем), а затем вместе с молодой четой садится на финикийский корабль. Так начинается длинный ряд приключений.

Влюбленные несколько раз попадают в руки разбойников, под конец в руки благородного разбойника Фиамида, и у него встречаются с греком Кнемоном, который становится их спутником; с Каласиридом они разлучены. В дальнейшем любящие захвачены персидскими войсками: Хариклию получает участвовавший в походе Навсикл, Феагена отправляют в Мемфис к сатрапу Ороондату, но по дороге его отбивает Фиамид. Кнемон женится на дочери Навсикла; Хариклия и Каласирид, которые вновь встретились, идут искать Феагена и прибывают в Мемфис в тот момент, когда Фиамид, оказавшийся сыном Каласирида, одолевает в поединке своего бесчестного брата, который некогда его оклеветал. Происходит свидание Каласирида с сыновьями, их примирение и встреча Феагена с Хариклией. Вскоре Каласирид умирает.

Жена сатрапа, распутная и жестокая Арсака, охваченная страстью к Феагену, пытается оболстить его, а потерпев неудачу, сажает его в тюрьму и мучит голодом и пытками. Она хочет отравить Хариклию, но яд выпивает служанка Арсаки Кибела.

Хариклию обвиняют в убийстве и собираются сжечь, но благодаря чудесному камню огонь не берет ее. Сатрап Ороондат, находящийся в походе, присылает за Феагеном и Хариклией евнуха Багоаса, и по дороге они узнают о самоубийстве Арсаки.

Эфиопский отряд захватывает Багоаса с его пленниками; влюбленные оказываются в руках царя Гидаспа и предназначены в жертву богам. Устраивается грандиозное празднество. Золотой жертвенник, обладающий волшебной силой, подтверждает целомудрие обоих любящих.

Перед самым заклятием при посредстве главы гимнософистов Сисимифра, который некогда спас маленькую Хариклию, происходит узнавание девушки. Феаген еще раз доказывает свою несравненную силу и ловкость, укрощая взбесившегося быка, и побеждает в борьбе исполнителя эфиопа. В конце концов даруется жизнь и Феагену. С письмом от Ороондата появляется старый Харикл, разыскивающий свою приемную дочь. По совету Сисимифра человеческие жертвоприношения отменяются. Гидасп дает разрешение на брак Феагена с Хариклией.

Наиболее своеобразная особенность композиции «Эфиопики» — решительный отказ от традиционного типа повествования, при котором порядок эпизодов романа более или менее точно соответствует естественной хронологии излагаемых событий. Как «Одиссея» в отличие от хронологической прямолинейности «Илиады» начинается с момента, недалеко отстоящего от окончательной развязки, а о предшествующих судьбах героя сообщается в середине произведения, так и у Гелиодора читатель сразу вводится в самую гущу событий показом драматической сцены «неудачно окончившегося пира» (I, 1), благодаря чему достигается большой литературный эффект.

Византийская критика оценила всю действенность этого приема; для характеристики его Фотий находит изысканное сравнение: по его мнению, «начало этого произведения похоже на свернувшуюся змею, которая, спрятав голову внутрь клубка, выставляет наружу все тело».

О событиях, бывших ранее, о судьбах и характерах главных персонажей романа, впервые показанных таким способом, автор во всех подробностях сообщает потом устами Каласирида, причем он начинает очень изда-лека и излагает свою повесть в несколько приемов (II, 24; V, I; V, 17—33).

Весь роман в целом довольно отчетливо делится на пять больших частей, причем в каждой из них сначала на первый план выдвигаются фигуры посредников и помощников четы славных героев (Фиамид и Кнемон, Каласирид, Фиамид и Кибела, Багоас, Сисимифр).

Весь роман Гелиодора выдержан в героико-трагическом стиле. И характеры главных действующих лиц, и ситуации, и язык романа образуют гармоническое целое. Запутанная фабула и драматические эффекты ясно говорят о влиянии театральной техники; это подчеркивается частым употреблением театральных терминов для характеристики создающихся положений и действий персонажей. В свете сказанного особое значение приобретает одно место романа, предваряющее близкую развязку, где Гелиодор устами Хариклии высказывает свои теоретические принципы (IX, 24): «Для великих начинаний нужны великие приготовления: если божество положило какому-нибудь делу запутанное начало, то и конец по необходимости затянулся надолго, в особенности же вредно внезапно раскрыть то, что в течение долгого времени скрывалось».

Уже византийские ученые, в общем примыкавшие, по-видимому, к эстетическим оценкам поздней античности, ценили в романе Гелиодора его высокую моральную тенденцию.

Поклонение Солнцу как верховному божеству является основной чертой гелиодоровского мировоззрения.

В «Эфиопике» утверждается также реальность магии и притом двойкой: связанной с высшими богами и другой, низменной, оперирующей при помощи мелких демонических сил. Все эти взгляды лежат в русле неопифагорейской философии, величайшим представителем которой в век Гелиодора считался Аполлоний Тианский. Знакомство Гелиодора с Филостратовой «Жизнью Аполлония Тианского», появившейся около 217 г., весьма правдоподобно.

У Гелиодора очень заметно стремление вставлять в повествование разнообразные сведения, заимствованные из антикварной, сказочной и естественно-научной литературы эпохи новой софистики и предшествующих веков.

Таковы сведения об эфиопских и египетских письменах (IV, 8), о «всестрашном» камне (VIII, 11), о египетском происхождении Гомера (III, 14), о нравах египетских разбойников (I, 5).

По всей совокупности данных временем создания романа Гелиодора можно считать первую половину III в. — между 220 и 250 гг.

Вторжение мистических культов и примитивных форм магии и волшебства, распространение демонологии в философских системах, попытки возродить древние культы греков, — все это явления одного порядка. В литературе этот процесс проявляется в оформлении истории Аполлония из Тианы у Филострата, в «Священных речах» Элия Аристида и во многом другом.

Роман Гелиодора входит в эту же группу произведений. Поклонение Солнцу как верховному божеству, составляющее фон всего романа, неотде-

лимо, конечно, от проникновения солнечных культов в государственную религию Рима из сирийской Эмесы, родины Гелиодора, близко связанной с домом Северов.

Роман Гелиодора пользовался большой любовью в Византии; восхищение византийцев выражается не только в хвалебных отзывах, но и в целом ряде литературных подражаний.

Исключительный успех роман Гелиодора имел в Западной Европе, в чем немалую роль сыграл французский перевод Амио (1547 г.).

Интерес к Гелиодору в Западной Европе уменьшается только в конце XVIII в.; в конце XIX в. начинается детальное изучение Гелиодора, но уже с иных позиций, в свете исторической поэтики.

В России Гелиодор известен с XVIII в., но по переводам не с подлинника, а с латинского языка.

16. АНТОНИЙ ДИОГЕН

Совершенно особое место среди греческих романов занимает произведение Антония Диогена под названием «Невероятные приключения по ту сторону Фулы» в 24 книгах. Оно известно лишь по пересказу византийца Фотия, очень начитанного человека, игравшего видную роль в церковной политике своего времени (он был два раза патриархом), а в часы досуга занимавшегося чтением и эксцерпированием античных авторов. Давая конспекты прочитанных им книг, он обычно тут же записывал собственную оценку данного произведения и прибавлял иногда биографические и историко-литературные заметки, относившиеся к автору. Таким образом, он обработал около 280 «томов» древних писателей; так создалась обширная «Библиотека», как Фотий назвал свое собрание конспектов, в ряде случаев оказывающая нам неоценимые услуги при восстановлении утраченных сочинений.

Помимо того, довольно значительные отрывки этого романа в свою «Жизнь Пифагора» вставил знаменитый противник христианства греческий писатель III в. н. э. Порфирий (232—304 гг.). Упоминанием у Порфирия создается надежный *terminus ante quem*. Далее, когда Лукиан писал свои «Правдивые истории» (вторая половина II в.), пародируя безбрежную фантазию современных ему и живших ранее романистов, географов и историков, он, вероятно, имел в виду и роман Антония Диогена. В 1931 г. был найден новый папирусный отрывок, как можно думать, из романа Антония Диогена; судя по почерку, он относится ко II или III в.

Содержащееся в начале романа обращение к некоему Фаустину указывает на римский период истории греческой литературы. Приведенные у Порфирия отрывки пифагорейского содержания могут быть сопоставлены с учением старейших приверженцев неопифагореизма, группировавшихся вокруг Аполлония Тианского (I в. н. э.). Раньше этого времени такого рода роман едва ли мог возникнуть. Так мы приходим ко II в., как к наиболее вероятному времени жизни Антония Диогена. В пользу II в. говорит и самая идея сделать одной из основных линий произведения приключения героев, являющиеся следствием чар злого колдуна Пааписа. Произведения Апулея и Лукиана показывают, как значителен именно в это время был интерес к магии и волшебству.

В начале книги Антоний Диоген, обращаясь к Фаустину, говорит о своем авторстве и в трактовке самых невероятных вымыслов ссылается на своих предшественников; другое посвятельное письмо обращено к сестре Фаустина Исидоре. Обрамлением для дальнейшего изложения слу-

жило письмо Балагра, приближенного Александра Македонского, к его жене Филе, содержащее рассказ о странной находке, сделанной в городе Тире вскоре после взятия его македонскими войсками: недалеко от города найдены были шесть саркофагов с загадочными надписями; поблизости был обнаружен кипарисовый ларец, а в нем хранились кипарисовые таблицы, на которых были начертаны надписи о невероятных приключениях по ту сторону Фулы — полулегендарного острова на севере, открытого знаменитым мореплавателем Пифеем. Содержание этих записок представлено как запись повествования старика Диния, обращенного к его земляку Кимбе и посвященного удивительным его странствованиям и приключениям. Диний рассказывает о своем путешествии, предпринятом «в поисках знаний» и приведшем его на остров Фулу, где он встретил Деркиллиду и вступил с ней в любовную связь. Деркиллида вместе со своим братом Мантинием бежала из города Тира, со своей родины, преследуемая злым египетским жрецом Пааписом; он проник к ним в дом и обманом побудил Деркиллиду и ее брата при помощи волшебных средств повергнуть своих родителей в летаргический сон. Удивительные приключения самой Деркиллиды, ее брата и ее спутника Астрея пересказываются Динием вплоть до момента смерти Пааписа, также оказавшегося на Фуле, после чего Деркиллида с братом возвращается на родину. В заключение Диний рассказывает о продолжении собственных странствований, завершившихся посещением луны, откуда он чудесным образом перенесен был в город Тир, где, видимо, и обосновался. В Тире он опять встречается с Деркиллидой.

В книге Антония Диогена отсутствует такой существенный элемент фабулы любовных романов, как совместные приключения влюбленной четы, насильственная разлука и страстная тяга обоих к воссоединению. Встреча Диния и Деркиллиды на Фуле происходит случайно, и расстаются они без всяких огорчений; большинство своих походов Деркиллида пережила до встречи с Динием. Совершенно различны мотивировки путешествий той и другой стороны. Сам Диний, уже, видимо, немолодой человек, отправляющийся исследовать неведомые страны вместе со своим сыном, очень мало похож на нежных и героических любовников других романов. По-видимому, произведение Антония Диогена представляло собою нечто вроде сборника новелл, заполненных невероятными приключениями, причем любовная тематика играла служебную роль. По замыслу автора, Деркиллида на Фуле была жива лишь по ночам, днем же пребывала в летаргическом сне.

Хотя по жанровой природе «Невероятные приключения» и отличаются от любовных романов, в них все же представлен почти весь набор излюбленных мотивов этого рода произведений: бегство из родного дома, разлука и встречи, мнимая смерть, прорицание оракула, пленение героини, влюбляющийся в нее и кончающий с собою юноша, благополучный конец.

Неизмеримо богаче, чем в любовных романах, представлен элемент чудесного, приближающий роман Антония Диогена к повествованиям о всяких чудесах и к ареталогической литературе: злой колдун Паапис; чудеса, связанные с Пифагором; служанка Мирто, обучающая госпожу даже после своей смерти; путешествие на луну; рассказ о том, «чего никто не видывал и не слыхивал и даже в воображении не создавал», — все это накладывает на этот роман совершенно особый отпечаток. Тщательная документация — рассказ о найденной рукописи, ссылки на свидетельства авторов более древних — только обычный прием фантастической литературы. Любопытно, однако, что именно роман Антония Диогена Фотий считает «источником и корнем» других любовных романов.

Недавно найденный отрывок — единственный образец подлинного стиля Антония Диогена; Порфирий дает лишь пересказ. Очень своеобразна вся ситуация: девушка Мирто, по-видимому, служанка Деркиллиды, волею чародея лишена дара речи и все же пытается спасти свою госпожу. Весь отрывок свидетельствует о наблюдательности и живом изобразительном искусстве автора: немая Мирто взяла таблички для письма, «такие, как мы носим в школу», затем «подойдя к свету, торопливо нацарапала грифелем то, что хотела сказать, и притом очень мелкими буквами, чтобы написать побольше, и передала их мне [т. е. Деркиллиде], рукою делая мне знак уйти».

Что произведение Антония Диогена было далеко не единственным образцом фантастического романа кроме романа Ямвлиха, показывает еще и небольшой папирусный отрывок из Оксирина, где говорится о некоем Главкете³¹. Проезжающему по дороге Главкету является призрак юноши, убитого и лежащего под платаном вместе с красавицей-девушкой. Испуганный Главкет пускает коня вскачь и останавливается на ночь в какой-то деревне. Принадлежность этого отрывка к любовным романам не доказана.

17. ФИЛОСТРАТЫ

Любопытный пример преемственности в литературной деятельности внутри одной семьи в эпоху новой софистики дают произведения Филостратов. Лишь с большим трудом удастся распределить довольно значительное литературное наследие, приписываемое Филостратам, между четырьмя известными нам носителями этого имени, причем такое распределение оказывается далеко не бесспорным.

Древнейшим известным представителем этой семьи считают Филострата, сына Вера (Филострат I).

В его диалоге «Нерон» выступают философы Мусоний и Манекрат; место действия — остров Гиара, куда был сослан Мусоний. О Нероне говорят с большой враждебностью. Его попытка прорыть канал через Истм объясняется тщеславием, его музыкальная слава объявляется ничтожной, вспоминается совершенное им матереубийство. Диалог эффектно замыкается описанием прибытия украшенного корабля с вестью о смерти Нерона. Это известие дает основание датировать этот диалог концом II в., что подтверждается также и соображениями языкового характера.

Филострата I совершенно затмевает своею литературной славой его сын — Флавий Филострат (Филострат II), в конце своей жизни находившийся в Риме и умерший в правление Филиппа Аравитянина (244—249 гг.). Он родом с Лемноса, но желает, видно, считаться афинянином; по крайней мере, он противопоставляет себя лемноцу Филострату (Филострату III).

Среди его учителей называют Антипатра из Гиераполя, воспитателя императоров Геты и Каракаллы. В качестве софиста Филострат объездил немало городов; известны его публичные выступления в Афинах; возможно, что он был записан в один из аттических демонов. Переломным моментом его биографии оказался переезд в Рим; там он, может быть, благодаря Антипатру получил доступ к императорскому двору; жена императора Септимия Севера Юлия Домна была большою ценительницей софистического красноречия и интересовалась всевозможными религиозными учениями; самые удивительные культы Востока с их сложной и пышной обрядностью

³¹ Этот отрывок был опубликован в 1915 г. (Oxygunch. pap., XI, 1368).

насаждались в это время в Риме с небывалым до тех пор размахом. Сама Юлия была из сирийской Эмесы, крупнейшего центра религии Солнца, и принадлежала к жреческому роду. Необходимо считаться с такого рода интересами и настроениями, чтобы должным образом воспринять литературные произведения Флавия Филострата. Однако он сумел, по-видимому, и после смерти Юлии сохранить видное и влиятельное положение и близость к императорам Рима.

Крупнейшим по объему трудом Филострата II является «Жизнь Аполлония Тианского» в 8 книгах, написанная по предложению императрицы Юлии Домны. Аполлоний из Тиан, живший в I в. н. э., был знаменитым проповедником неопифагореизма; вокруг его личности возникло множество легенд и фантастических рассказов, где он выступает не только в роли учителя жизни, но и в качестве провидца и волшебника. По всему, что мы о нем знаем, можно думать, что он примыкает к ряду полуполюгендарных пророков, основателей культов и проповедников-моралистов. В начале III в. Аполлоний Тианский пользовался авторитетом едва ли не сверхчеловеческим: в домашнем святилище Александра Севера находилось изображение Аполлония наряду с изображениями Христа, Авраама и Орфея. Таким образом, самый выбор темы характерен для вкусов Юлии Домны и ее окружения. Труд Филострата был, по-видимому, закончен лишь после смерти Юлии.

На основании текста романа можно составить себе некоторое представление об источниках, использованных Филостратом. Главное место среди них занимают записки об Аполлонии, составленные Дамидом; о нем рассказывает сам Филострат: «Был некто Дамид, человек, не лишенный мудрости и некогда живший в древней Ниневии. Он примкнул к Аполлонию и его философии и описал его путешествие, в котором, по его словам, он и сам принимал участие, а также его суждения, речи и предвещания. Некий родственник Дамида познакомил императрицу Юлию с этими записками, доголе неизвестными. Так как я принадлежал ко двору императрицы — она одобряла и любила всевозможные риторические занятия, — то она повелела мне списать эти повествования и позаботиться об их внешней форме, так как стиль ниневийца, хотя и отличается ясностью, но не изящен» (I, 3)³².

Наряду с Дамидом, Филострат знает книгу Максима Эгийского о юных годах Аполлония и сочинения некоего Мирагена; помимо того он располагал, по-видимому, довольно значительной литературой за и против Аполлония и письмами самого Аполлония, часть которых, может быть, подлинна.

Из всего этого материала Филострат создает своего рода «философский роман» или «роман странствований», который частично строится в манере биографии, пронизанной ареталогическими элементами, частично же приемами философского диалога.

Аполлоний происходит из Тиан, греческого городка в Каппадокии. Самое его рождение окружено атмосферой чудесного. Его матери, когда она была беременна Аполлонием, является египетский бог Протей и на вопрос, кого она родит, отвечает — «меня»; это истолковывается как указание на дар предвидения у Аполлония и способность его побеждать неодолимые трудности. Под влиянием сна мать его перед самыми родами выходит на луг собирать цветы, ложится на траву и засыпает; между тем стая лебедей поет и плещет крыльями над нею, а Зефир веет над лугом. От этого пения мать Аполлония просыпается и разрешается от бремени. В то

³² Самое существование книги Дамида поставлено теперь под сомнение.

же время молния, собиравшаяся, казалось, упасть на землю, взвивается в эфир и исчезает в нем (I, 4, 5).

В детстве Аполлоний отличается исключительной памятью, прилежанием, красотой и чистотой аттической речи.

Четырнадцать лет он в Тарсе изучает риторику у Эвфидема из Финикии, а потом переселяется в Эги, где представлены всевозможные философские школы. Неудовлетворенный своим учителем пифагорейцем Эвксеном, Аполлоний обращается к подлинному пифагорейскому образу жизни: ест только растительную пищу, носит льняную одежду, отпускает волосы и живет в храме. В течение пяти лет он подвергает себя искусству молчания. По окончании периода молчания он перебирается в Антиохию, а затем отправляется странствовать с целью посетить Индию и ее мудрецов. В Ниневии его спутником становится Дамид.

В Индии он встречает мудрецов, с которыми длительно беседует; они выступают как люди, «знающие все», причем это их знание оказывается весьма близким к учению Пифагора. На обратном пути Аполлоний избавляется от чумы жителей Эфеса, посещает Илион и его окрестности, где встречается с Ахиллом, проводит некоторое время в Афинах, Додоне, Коринфе, Олимпии, Спарте, выступая всюду с поучениями и увещаниями и обнаруживая способность предвидеть будущее. В Риме его личность и учение пленяют консула Телесина; Аполлоний предвещает удар молнии, от которого едва не гибнет Нерон, и смело держит себя на допросе у всемогущего любимца Нерона Тигеллина.

Потом Аполлоний едет в Испанию, где в одной из своих бесед крайне резко отзывается о Нероне; затем снова направляется в Грецию, посвящаясь в Элевсинские мистерии и через Родос едет в Египет. В Александрии он ведет беседы о государственном управлении с Веспасианом, который готовится стать императором. К этому времени относится его распря со стойким Евфратом. Из Египта Аполлоний направляется к Эфиопию и знакомится там с гимнософистами³³, которые, как выясняется, сильно уступают мудрецам Индии. Вернувшись в Грецию, он беседует с сыном Веспасиана Титом. Наконец, происходит встреча Аполлония с императором Домицианом, своевольным и жестоким тираном. Зная, что в Риме ему грозит смертельная опасность, Аполлоний тем не менее едет туда с верным Дамидом. Аполлоний схвачен. Во время пребывания в тюрьме он сохраняет полное спокойствие и ободряет других заключенных. Против Аполлония выдвинуто несколько обвинений. Ему ставится в вину и его одежда, и весь его образ жизни, и культ, которым он окружен, его предсказание чумы в Эфесе, его высказывания, направленные против императора, наконец, — это самое тяжелое обвинение, — близость к Нерве, будущему императору, и человеческое жертвоприношение, им якобы устроенное, чтобы доставить Нерве власть. Аполлоний получает личную аудиенцию у Домициана, и император велит освободить его до суда. На суде Аполлоний отвечает на основные пункты обвинения и чудесным образом исчезает из зала; все же Филострат приводит в полном виде подготовленную Аполлонием защитительную речь. Аполлоний возвращается в Грецию и учит там, окруженный толпой последователей. О смерти Аполлония существовало много рассказов: Филострат передает несколько версий, не отдавая предпочтения ни одной из них.

«Жизнь Аполлония Тианского» обнаруживает немало черт, роднящих ее с современными или более ранними греческими романами.

³³ Гимнософистами греки называли философов, проводивших жизнь в созерцании, строгих аскетов, отвергавших даже одежду.

Совершенно своеобразный характер придают жизнеописанию Аполлония те многочисленные разделы, где излагается его учение, а также образ жизни и поведение, воплощающие это учение: ударение делается именно на необходимости пронизать всю жизнь пифагореизмом (I, 7—8). Большое внимание уделяется переселению душ (III, 19 слл.) и полемике против общепринятого культа, в частности против кровавых жертвоприношений (например, V, 20, 25).

Чтобы показать в полном блеске величие Аполлония, Филострат вводит в повествование немало ареталогических мотивов, содержащихся, вероятно, в большом изобилии в использованных им более древних материалах. Сюда относятся такие эпизоды, как избивание камнями в Эфесе старика-нищего, в каком-то образе там пребывал демон чумы (IV, 10), обличение эмпусы, женщины-вампира, в Коринфе (V, 25), поимка сатира в Египте (VI, 27), вещи прозрения Аполлония и многое другое.

«Жизнь Аполлония Тианского» впоследствии была использована Гиероклом (ок. 300 г.) в его полемике против христиан. Книга Гиерокла «Правдолюбивое слово» до нас не дошла.

Предположительно автору «Жизни Аполлония Тианского» принадлежит и диалог «О героях», в котором мифологические познания и литературная эрудиция ученого софиста использованы для достижения совершенно определенной цели — обновления и оживления древней веры в героев, искони распространенной во всех частях греческого мира и преемственно сохранявшейся до самого конца античной истории.

В диалоге участвуют два собеседника, по имени не названные: финикийский купец, путешествующий по торговым делам, и виноградарь. На берегу Геллеспонта, против древнего Илиона, финикиец, ожидающий попутного ветра, знакомится с виноградарем, который трудится в своем винограднике и постоянно беседует с одним из знаменитых ахейских героев, павших под Троей, — Протесилаем. Погибший в бою Протесилай затем «вновь ожил во Фтии, любя Лаодамию», снова умер и ожил во второй раз, но как — неизвестно, это «неизреченная тайна Мойр». Этот-то герой и почитается виноградарем. Своему почитателю Протесилай якобы сообщает множество сведений о Трое, о борьбе за нее и об участниках этой борьбы, сведений, которые должны исправить гомеровские версии и иногда совершенно от них отличны. Попутно рассказывается немало чудесных историй, не связанных прямо с гомеровским миром. Все эти данные, подтверждаемые авторитетом Протесилая, преподносятся автором как самая достоверная истина.

Вера в героев обосновывается ссылками на творимые ими чудеса и их явления людям, постоянно наблюдаемые в Троаде, Элеунте и на Левке.

Уже человеком преклонного возраста Филострат II пишет «Жизнеописания софистов»; они были изданы между 229 и 238 гг., как явствует из их посвящения проконсулу Антонию Гордиану, будущему императору, покончившему с собой в 238 г. после правления, продолжавшегося лишь несколько дней. В нынешнем своем виде они разделены на две книги; Свидетельствует о четырех. Даны биографии писателей и ораторов, причем намечаются три последовательно расположенные группы: философы-эрудиты, красноречиво излагавшие свои мысли и достойные звания софистов, например Евдокс, Карнеад, Дион, Фаворин; далее идут софисты старого времени — от Горгия и Протагора до Исократы и Эсхина; в третьей части, подробнее всего разработанной, помещены сведения о знаменитых софистах новой эпохи, список которых открывается Никитой из Смирны,

современником Нервы (96—98 гг.), и заканчивается Аспасием, жившим при Александре Севере (222—235 гг.).

Книга Флавия Филострата исключительно интересна как основной источник по истории новой софистики. Вместе с тем автор ставит перед собою определенные художественные задачи. Он избегает излишней учености, не вводит, как правило, хронологических указаний, не дает подробных списков произведений знаменитых софистов. Можно думать, что он намеренно стремится создать впечатление непринужденного, свободно импровизируемого рассказа. Однако в ряде случаев и в его изложении можно распознать обычную схему ученой биографии; это позволяет говорить о том, что Филострат II дает риторическую переработку каких-то биографических трудов, написанных учеными грамматиками.

Изобилующая фактическими материалами, заключающая в себе много ценных стилистических наблюдений, выдержанная в то же время в форме занимательной беседы, пересыпанная анекдотическими подробностями, книга эта позволяет в какой-то мере восстановить целую эпоху античного красноречия, от которой сохранилось так мало самих произведений. Размеры отдельных глав в иных случаях определяются личными вкусами автора. Особенно подробно рассказывается о Полемоне и Героде Аттике; Плутарх и Лукиан не упоминаются вообще, потому, вероятно, что первый пренебрегает аттицизмом, а второй — оказался ренегатом новой софистики.

Филострату II принадлежит, по-видимому, и трактат «О гимнастике». Интерес и положительное отношение к гимнастике, понимаемой как традиционное достояние эллинизма, наблюдается у софистов³⁴ в противоположность взглядам киников, стоиков, платоников, которые со своих рационалистических и космополитических позиций относились к гимнастике несочувственно. Флавий Филострат блестящим софистическим стилем излагает специальное руководство, строившееся, видимо, по обычной схеме подобных трудов. После вводных замечаний следуют рассуждения о гимнастике (гл. 3—16), а затем часть, посвященная гимнасту (гл. 17—58). При этом к занимающимся гимнастикой предъявляются высокие требования: гимнаст должен быть сведущим не только в технике самих упражнений, но и в вопросах гигиены.

Под именем Флавия Филострата сохранилось довольно большое собрание писем; с другой стороны, Свидя приписывает именно Филострату II собрание любовных писем; любовными в большинстве своем являются и письма дошедшего до нас сборника. Все же иногда отрицают принадлежность всех сохранившихся писем Филострату II, ссылаясь при этом на значительные стилистические расхождения между некоторыми письмами и произведениями, бесспорно ему принадлежащими. Едва ли эти сомнения можно считать очень основательными, особенно если предположить возможность намеренной игры разными стилями, столь понятной у искусного софиста. Вместе с тем даже скептики считают Филострата II автором писем, начиная от 65 и до конца сборника, прежде всего письма 73, обращенного к императрице и содержащего полемику с противниками софистического красноречия.

Письма Флавия Филострата содержат превосходные образцы наиболее лирической разновидности литературного письма — письма любовного. Мотивы, распространенные в эллинистических эпиграммах, в римских элегиях и романах, возникают у Филострата II в маленьких любовных письмах, обращенных к неведомым юношам и красавицам. Ему принадлежит и так

³⁴ Ср. «Анахарсис» Лукиана и филостратовские «Картины».

называемая «Диалекса» — небольшое рассуждение о древней проблеме соотношения закона и природы, решаемой здесь в том смысле, что закон выводится из природы.

Филострат III, так называемый Лемносец, сын Нервиана, племянник Филострата I, был учеником Гипподрома и своего родственника — Флавия Филострата. Он родился около 191/2 г.; на Олимпийском празднике 213 г. он выступает с импровизированной речью, в возрасте двадцати четырех лет освобождается императором Каракаллой (211—217 гг.) от налогов; после смерти Элагабала (218 г.) он встречается в Риме с Элианом; таковы немногочисленные факты его биографии. Известно, что он учил в Афинах и погребен на Лемносе. Свидетельствует довольно значительное число его произведений, среди которых — «Троянский диалог».

По-видимому, Филострату III принадлежат так называемые «Картины», точнее «Картины Филострата Старшего», о другой книге этого названия — «Картины Филострата Младшего» — будет сказано ниже.

«Картинам Филострата Старшего», разделенным на две книги, предпослано небольшое рассуждение о сущности живописи. В изысканном стиле описывается галерея из 65 картин, находящихся в доме некоего неаполитанского друга автора. Все описания задуманы как связная лекция, обращенная к десятилетнему сыну хозяина дома.

В эллинистических эпитафиях и в эпической поэзии того времени описания произведений живописи и скульптуры появляются довольно часто; авторы романов тоже охотно разнообразят изложение, вводя описания произведений искусства.

Много споров вызвал интересный для историков изобразительного искусства вопрос о том, в какой мере Филострат имеет в виду при своих описаниях действительно существовавшие произведения. Ответы давались и положительные и отрицательные; во всяком случае не подлежит сомнению, что Филострат III описывает характерные мотивы подлинных памятников живописи. При этом он не обнаруживает склонности к памятникам классического периода и вдохновляется главным образом живописными стилями эллинизма и еще более поздней эпохи.

Далее, интересно отметить те особого рода художественные задачи, которые он перед собою ставит. Различные искусства — поэзия и живопись — намеренно и сознательно сближаются; его цель — средствами слова вызвать зрительные образы. При этом, однако, он не удерживается в рамках действительно изображенного на картине, и фантазия его, возбуждаемая красками и линиями, усматривает в картинах больше, чем они в силах дать. Громкое значение придается световым эффектам и перспективе.

Существовал, наконец, еще один Филострат — Филострат IV, внук Филострата, написавшего первую серию «Картин», как он сам говорит во вступлении к собственной книге, также называвшейся «Картины». Эта вторая серия («Картины Филострата Младшего») создана, как видно из того же вступления, под непосредственным влиянием первой. Судя по всему, Филострат IV жил во второй половине III в. В его описаниях можно проследить иные требования к картине, чем у его деда. Очень важное значение придается выражению лица, которое должно передавать всю сложность внутренних переживаний.

В печатных изданиях Филостратов к их сочинениям прибавляют обычно 14 риторических описаний мраморных и бронзовых статуй, написанных автором IV в. Каллистратом.

18. АЛКИФРОН

Уже в VI—IV вв. до н. э. появляется особый литературный жанр — письма. Он достигает высокого расцвета в эллинистическую эпоху, очень рано переходит в Рим и получает широкое распространение в обеих литературах во времена империи. Наиболее характерной особенностью этого жанра долгое время остаются многообразные и сложные связи с личностью автора и адресата, дающие возможность создавать очень своеобразное соединенные литературных мотивов с другими, главным образом бытовыми. Письма Цицерона, например, одинаково замечательны и как исторические документы и как произведения литературы.

В эпоху империи письмо, предназначенное для опубликования, отличается все большим преобладанием чисто литературных мотивов.

Практические и реальные стороны во многих случаях утрачивают всякое значение. Возникает потребность в искусственной мотивировке, без которой неосуществима эпистолярная форма. Развивается фиктивное письмо, у которого мнимым оказывается и повод, и адресат, и сам отправитель. Форма письма теперь используется лишь как гарантия подлинности предлагаемых сюжетов и верности изображения психологических переживаний. Вместе с тем письма становятся распространенной разновидностью школьных стилистических упражнений. Риторика создает целую теорию письма.

Эпоха второй софистики широко культивирует эпистолографию. Знаменитые софисты пробуют силу красноречия и в этом жанре. Темы писем чрезвычайно разнообразны, но все чаще и чаще в них появляются бытовые сценки любовного характера.

Нам неизвестно, что представляли собою любовные письма софиста Лесбонакта, до нас не дошедшие; зато сохранилось довольно крупное собрание писем Алкифрона, жившего в конце II и начале III в. н. э.

Следуя за лучшими рукописями, новейшие издатели разбивают эти письма на четыре книги: первая содержит письма рыбаков, вторая — земледельцев, третья — параситов и четвертая — гетер.

Таким образом, действующие в этих письмах лица относятся к различным общественным группировкам, однако это — не современные Алкифрону представители данных групп общества, а фигуры из далекого прошлого.

Судя по бытовой обстановке, в которой живут и действуют отправители и адресаты этих писем, они принадлежат в основном к IV и III вв. до н. э.

Действие у Алкифрона почти всегда происходит в Афинах и их окрестностях. Это, следовательно, мир героев и героинь новой аттической комедии; как и в этой комедии, на первом плане стоят такие фигуры, как земледельцы, параситы, гетеры, и в их письмах выражаются те же переживания и чувства, что и в пьесах Менандра, Филемона или Дифила. Характерно, что среди героев писем появляется и сам Менандр, выведенный в переписке со своей возлюбленной, Гликерой. Однако литературные предшественники Алкифрона обнаруживаются и вне новой комедии: отмечено, что имена его параситов частично взяты из греческого быта, частично же из знаменитой «Батрахомиомахии»³⁵. Многочисленные точки соприкосновения могут быть установлены между письмами Алкифрона и эпиграмматической поэзией или диалогами Лукиана; не обошлось, вероятно, и без влияния мима (например описание симпозиума и состязания гетер). Письма

³⁵ См. гл. XI, т. I настоящего издания.

Алкифрона часто становятся небольшими новеллами, иногда объединяемыми в группы и построенными на основе традиционных мотивов, заново осмысленных. Забавные сцены из жизни паразитов похожи на осколки аттических комедий; например, мучимый аппетитом паразит не знает, что придумать, чтобы заставить солнечные часы скорее показать час, назначенный для обеда (III, 1). Иногда письмо или группа писем напоминают сюжет романа: девушка, обещанная отцом в жены богатому сыну кормчего, влюбляется на празднике в другого юношу и в письме к матери восторженно описывает красоту любимого, причем делает это в манере описаний, обычных для романов. Но особенной известностью пользуется письмо Менандра к его возлюбленной, гетере Гликере, и ее ответное письмо к нему (IV, 18, 19). Чрезвычайно важные для установления многих фактов биографии Менандра, эти письма прекрасно имитируют тон изящного и сдержанного благородства, каким отмечены речи менандровских влюбленных. Преклонение перед Менандром как драматургом соединяется здесь с умением точно и убедительно передать разнообразные и тонкие оттенки любовных переживаний. Очень любопытны также письма, содержащие проникнутые легким юмором характеристики Эпикура и Деметрия Полиоркета (IV, 17, 16).

19. АФИНЕЙ

Замечательным памятником софистической эрудиции является труд Афиней из Навкратиды. Афиней — автор огромного диалога под названием «Пирующие софисты»³⁶. Время создания этого сочинения может быть установлено лишь приблизительно; по-видимому, книга была написана около 200 г. н. э. «Пирующие софисты» Афиней, относящиеся к литературному жанру симпозиа, в нынешнем своем виде разделяются на 15 книг. Есть, однако, веские основания утверждать, что это лишь извлечение из подлинника, разделявшегося на 30 книг. В основной рукописи Афиней на полях помещены довольно многочисленные пояснения, несомненно перенесенные из какого-то более древнего экземпляра; в них неоднократно говорится о тексте из тридцати частей. При сокращении особенно пострадали диалогические части произведения, в результате чего совершенно деформировалась его композиция. Так, например, в двенадцатой книге от диалога не осталось и следа.

Но даже издание в 15 книгах дошло не полностью. Первые две и начало третьей книги в основной рукописи утрачены; потерян конец IV книги. Их восполняют обычно при помощи сохранившегося извлечения, сделанного в византийское время из рукописи более древней и более полной, чем наша основная рукопись.

«Пирующие софисты» Афиней примыкают по форме к платоновскому «Пиру», причем многие мотивы и обороты речи как бы подражают диалогу Платона «Федон», в котором Федон рассказывает Эхекрату о последних часах жизни Сократа. У Афиней автор сообщает своему другу Тимократу весь порядок многолюдного пира, продолжавшегося несколько дней, передавая во всех подробностях происходившие тогда беседы. Наряду с платоновскими реминисценциями в стиле Афиней иногда усматривают киническую струю, имея в виду смешение стихов и прозы в начале некоторых книг, характерное для манеры Мениппа, классика кинического

³⁶ Он написал также книгу о царях Сирии и рассуждение по поводу одного места комедии «Рыбы» комедиографа V в. до н. э. Архиппа, но эти сочинения не сохранились.

диалога; с Мениппом сближает Афиней и грубоватый юмор, пронизывающий все произведение.

Устроителем пира является богатый римлянин Ларенсий, а его сотрапезники — люди, «наиболее сведущие во всех видах образованности»: врачи, юристы, грамматика, философы, музыканты. Всего присутствует двадцать девять человек гостей.

В начале книги (1, 2) перечисляются некоторые участники пиршества, но не все; несколько человек вступает в разговор позднее — прежде они названы не были; один из названных в начале, врач Руфин, в дальнейшем нигде не упоминается. Многие из присутствующих почти все время безмолвствуют. Все эти странности становятся понятными после того, что было сказано выше о многократных сокращениях, которым подвергался оригинал.

Видную роль в беседе играют: юрист Масурий, особенно в V книге, где он говорит один; киник Кинульк, забавляющий своими речами все общество; ритор Ульпиан из Тира. В число пирующих софистов Афиней вводит и носителей блестящих имен: Плутарха, Галена, Демокрита, но при характеристике их указывает некоторые фиктивные черты, затрудняющие или делающие невозможным отождествление его персонажей с этими писателями и мыслителями. Так, Плутарх назван не Херонейским, а Александрийским, не философом, а грамматиком, но вместе с тем очевидно, что имеется в виду именно знаменитый моралист, автор «Жизнеописаний» и «Застольных проблем».

Беседа между учеными участниками непомерно затянувшейся трапезы, излагаемая далее, служит лишь обрамлением для ошеломляющего количества литературных цитат, образующих самую сердцевину «Пирующих софистов»: сотрапезники приводят их для подтверждения рассказываемых фактов и доказательства своих мнений. В дошедшей до нас редакции произведения это обрамление строится крайне непоследовательно и временами как бы совсем выпадает из поля зрения читателя. Вместо живого обмена речами иногда появляется просто пересказ их содержания.

В настоящее время трудно сказать, какие из этих недостатков следует относить на счет стилистической невыдержанности оригинала, а что объясняется неловкостью авторов извлечений.

Предметы, о которых идет речь, чрезвычайно разнообразны; преобладают, однако, темы, допускающие ту или иную связь с данным пиршеством, с подаваемыми блюдами и напитками, и с увеселениями, сопровождающими трапезу. Все излагается в целях демонстрации эрудиции, причем на первом месте стоит момент лексический, т. е. объяснение различных терминов и оборотов, иногда даются сведения историко-антикварного характера.

О тематической пестроте произведения некоторое представление может дать краткий обзор содержания одной или двух книг.

Так, например, IV книга начинается подробным изображением пира, устроенного македонцем Караном и описанного Гипполохом; к этому присоединяются цитаты из комических поэтов на тему о роскоши варварского быта и раздел об аттических симпозиях, в середину которого вставлен большой отрывок (около 120 стихов) поэта-пародиста Матрона (IV в.). Затем сопоставляются спартанские сисситии с совместными трапезами критян, греческие симпозиы с персидскими, и все это замыкается обширными данными о роскоши персидского двора и о времяпрепровождении Антония и Клеопатры. Вновь начинаются описания трапез различных народов, рассказы об устройстве единоборств для развлечения

пирующих, каталоги поварской утвари, рассуждения о разных видах печення, о поварском искусстве у делосцев. Кончается книга разговором о разных музыкальных инструментах и об игре на флейтах у греков.

Книга V интересна тем, что главную роль в ней играют не мелкие цитаты, а большие связные отрывки из различных авторов, часто представляющие немалый исторический интерес: рассказ Полибия о пирях Антиоха Эпифана, Калликсена — о праздничной процессии при Птолемеи Филадельфе, его же — о флоте Птолемея Филопатора. Там же содержится большой отрывок из Мосхиона, где подробно описывается знаменитый корабль Гиерона Сиракузского.

Около восьмисот авторов процитировано Афинеем. Однако, было бы ошибочно думать, что цитаты целиком взяты им из первых рук и что он основательно знает всех авторов, им упомянутых. Несомненно, во многих случаях он пользовался готовыми сборниками цитат и иного рода компилятивными трудами. Некоторые разделы сочинения, например, рассуждения о рыбах (VIII), о кубках и чашах (XI), о пирогах (конец книги XIV) уже самим размещением материала по алфавитному принципу доказывают использование в этих частях каких-то словарей.

И все же не подлежит сомнению, что Афиней был чрезвычайно начитанным человеком и наряду со справочниками и словарями весьма основательно использовал греческую классическую литературу и произведения писателей эллинизма. Он хорошо знает аттических комедиографов, как древней, так и средней и новой комедии. Он читал Платона, Ксенофонта, Геродота, Феопомпа, Полибия, вероятно, Посидония и множество эллинистических авторов. Помимо того, в его распоряжении было собрание аттических схолиастов. Из числа использованных им сборников литературы, языковых и антикварных материалов следует назвать состоявший из 95 книг лексикон Памфила (I в. н. э.), лексиконы Дидима и Трифона (конец I в. до н. э.), зоологические труды Александра Полигистора (I в. до н. э.), сохранившие аристотелевскую традицию, большой труд о музыке неизвестного автора, симпозию Аристоксена, Дидима, Геродиана.

Свои источники Афиней лишь редко выписывает сплошь; обычно он использует их именно как подсобный материал и размещает отдельные почерпнутые оттуда данные по соответствующим разделам своей книги.

Афиней может привлечь к себе внимание читателей. Уже первое непосредственное знакомство с ним чрезвычайно поучительно и интересно. Прихотливой чередой проходят перед читателем бесчисленные поэтические и прозаические отрывки, содержащие любопытные фактические сведения, замечательные словечки, редкостные термины, характерные мысли. Афинею свойственна известная ограниченность кругозора: он намеренно исключает темы, касающиеся, например, математики, логики и т. п. Колоссальные размеры «застольной беседы», делающие труд Афинея самым значительным образцом этого жанра, согласуются с характерным для эпохи стремлением к грандиозным масштабам.

Значение, которое «Пирующие софисты» Афинея имеют для знакомства с предшествующей античной литературой и для понимания греческого и римского быта, огромно. Это исполненное собрание цитат в какой-то мере воскрешает множество произведений, авторов и жанров, которые иначе были бы безнадежно утрачены. Из тех сотен имен поэтов и прозаиков, фрагменты из которых приводит Афиней, большинство относится к авторам, сочинения которых полностью не сохранились. Прежде всего это касается писателей IV в. до н. э. и эпохи эллинизма. Особенно

любима Афинеем средняя и новая аттическая комедия; именно благодаря ему мы располагаем кое-какими отрывками знаменитейших авторов средней комедии (Алексида, Антифана, Анаксилая и других). До находок менаандровских папирусов в таком же положении была новая комедия, да и сейчас Афиней сохраняет все свое значение для знакомства с Дифилом, Филемоном и другими. Помимо цитат, громадный интерес представляют рассыпанные у Афиней фактические данные по истории литературы и театра, например сведения о греческом народном театре и малых драматических формах (XIV, 620 d сл.).

Столь же интересны многочисленные сведения об обрядах, обычаях, поверьях, драгоценные для нашего знания античного фольклора. Наконец, в громадном изобилии Афиней сообщает факты, интересные для изучения античного быта. Особенно занимательны заметки о музыке, песнях, плясках, играх, о быте гетер и паразитов и связанные с ними анекдоты. Наряду с этим попадают сведения, весьма далекие от специфической застольной тематики, например, описание корабля Гиерона (V, 206 d сл.).

Книга Афиней была широко использована Элианом (III в.) и Макробием (ок. 400 г.); последний, по некоторым предположениям, знает издание Афиней в 30 книгах. Об Афинее именно в нашей редакции (15 книг) упоминают Стефан Византийский и Константин Багрянородный.

20. ЭЛИАН

Биографические сведения о Клавдии Элиане, которые дает Филострат в «Жизнеописаниях софистов» и Свида в словаре, довольно скудны. Он жил в конце II и начале III в. н. э. (между 170 и 230 гг.) при Антонинах и Северах.

Сам он называет себя римлянином; он был родом из Пренесты и занимал высокую жреческую должность. Для коренного римлянина, по-видимому, не выезжавшего из Италии, чрезвычайно оригинальным является то, что он написал пять книг по-гречески и, вероятно, ни одной на латинском языке.

Из пяти произведений Элиана, перечисляемых его биографами, три до нас не дошли; два из них, касавшиеся религиозно-философских тем, — «О предвидении» и «О божественных силах», утонули в том огромном потоке литературы такого характера, который наводнял греко-римский мир в первые века нашей эры; судя по дошедшим до нас произведениям Элиана, они едва ли были оригинальными и излагали его собственные мысли; вернее, это были компиляции из чужих книг, скорее всего — из книг философов стоического направления. Третьей пропавшей книгой Элиана является его памфлет против императора Элагабала. Филострат не без остроумия рассказывает о том, как Элиан уже после смерти императора читал ему этот памфлет, на что Филострат заметил, что памфлет был бы значительно ценнее, если бы читался при жизни Элагабала.

До нас дошли два довольно крупных произведения Элиана — «О животных» в 17 книгах и «Пестрые рассказы» в 14 книгах. Однако из последнего произведения сохранились полностью только первые три книги. остальные дошли в сокращении, что удалось установить по цитатам из них, приведенным у Стобея в более полном виде. Элиану приписывается также небольшое произведение юмористического характера — «Деревенские письма».

Едва ли когда-нибудь окажется возможным установить то неисчислимое множество писателей, из которых черпает свои сведения Элиан. В книге «О животных» он ссылается на многих исследователей природы, от которых до нас дошли только имена и названия произведений. Некоторые из них писали на ту же тему, что Элиан, т. е. о различных видах животных и их особенностях: Паммен («О животных»), Метродор и его сын Леонид Византийский («О рыбах»), Сострат, знаменитый александрийский врач августовской эпохи, известный нам по упоминаниям в схолиях к Феокриту и к Аполлонию Родосскому («О животных» и «О пресмыкающихся и жалящих»), Александр Миндский, последователь и эксцерптор Сострата и многие другие. Основным источником сведений по зоологии и в эту позднюю эпоху остается труд Аристотеля о жизни животных, который Элиан цитирует чаще всех других. Помимо этой научной, а в большей части псевдонаучной зоологической литературы, Элиан использует записки о сухопутных и морских путешествиях и описания отдельных стран, например, сочинения Юбы о Ливии, Апиона и Манефона о Египте, Мнасея о Европе, географа Александра и Пифагора Самосского о Красном море, Орфагора об Индии и других. Элиан неоднократно цитирует также многих философов и историков — Эмпедокла и Демокрита, Геродота и Ксенофонта, — и почти всех крупных поэтов, причем чаще всего драматургов, комиков и трагиков.

Несколько менее разнообразен круг авторов, упоминаемых Элианом в «Пестрых рассказах»: здесь он преимущественно ссылается на историков и философов, а чаще, вообще не делает никаких ссылок.

Очень мало исследован вопрос о соотношении Элиана с Павсанием, Оппианом и Афинеем; они являются почти его современниками, при этом в их литературных приемах очень много общего; целый ряд анекдотов и рассказов в их произведениях совпадает, некоторые встречаются в несколько измененной форме и в более или, напротив, менее пространным изложении; именно эти авторы очень ясно раскрывают перед читателем интересы и настроения этой странной эпохи, когда в одно и то же время люди углублялись в важнейшие философские проблемы и увлекались чтением бессистемных компиляций, нагромождающих друг на друга подлинно научные наблюдения, повседневные мелкие анекдоты и бессмысленные небылицы.

17 книг «О животных» охватывают почти весь животный мир. Однако, не следует думать, что книга Элиана придерживается зоологической классификации хотя бы в самых общих чертах; в совершенно фантастическом беспорядке проходят перед нами самые разнообразные представители животного мира; иногда кажется, что начинаешь улавливать какую-то систему в этом хаосе, но через два-три параграфа, не говоря уже о целых книгах, наталкиваешься на совсем неожиданный переход. По-видимому, это объясняется тем, что Элиан, соединяя свои отрывочные, иногда очень короткие рассказы, исходит одновременно из различных ассоциаций: подчас он руководится классификацией пород животных, давая подряд несколько рассказов об одном и том же виде, например, о рыбах (I, 2—5), о пчелах (I, 9—11), о конях (IV, 6—8) и т. п. Однако достаточно заглянуть в указатель книги Элиана, чтобы увидеть, что этот признак деления играет очень незначительную роль; о многих животных говорится почти во всех книгах (например, о коне нет рассказов только в VIII, IX, XV, о льве — во II, X и XV и т. д.); но и внутри каждой книги параграфы разбросаны произвольно. Более важно для Элиана географическое расселение животных, которого он иногда придерживается в течение нескольких параграфов (например, в параграфах 52—56 книги V говорится о животных, которые водятся в далеких жарких странах — Египте, Сирии, Индии). Наибольшее

же значение Элиан придает, так сказать, психологически-моральным ассоциациям: так, он повествует о дурных качествах и безнравственных поступках животных (V, 19—21), о верности друзьям и уважении к старшим (VI, 61—63); очень часто группируются сходные моменты в жизни животных — борьба в период спаривания, отношение к детенышам и т. п.

Впрочем, и этот признак нельзя считать господствующим. Все линии, по которым Элиан располагает свои рассказы, переплетаются между собой. Можно предположить еще одну линию группировки — по тем авторам, из которых извлечены данные отрывки; мы никогда не будем иметь возможности проверить ее, но весьма вероятно, что именно таким извлечением понравившихся Элиану отрывков из одного автора объясняется построение того алогичного целого, каким является его книга.

Несмотря на отсутствие композиционной цельности, в книге «О животных» можно найти много интересного. В ней не следует искать подлинных научных наблюдений, которых чрезвычайно мало; они тонут в бездне анекдотического материала, а где эти наблюдения имеются, почти всегда стоит пометка: «Так говорит Аристотель» (например II, 52). Элиана интересуют не научные проблемы, а нравы и особенности животных, под которые он может подвести психологическое объяснение. С особым вниманием он останавливается на примерах дружбы, верности, самопожертвования, любви к детенышам, уважения к старшим. Так, он рассказывает, как различные рыбы выручают попавшую в сеть рыбу из их стаи: «они бросаются вперед и стараются перегрызть сеть, чтобы спасти попавшуюся рыбу, часто они спасают ее, прорезав сеть, уводят за собой и не просят вознаграждения; часто это им не удается, они терпят неудачу и все же делают свое дело храбро. Говорят также, что если скар [порода морских рыб] попадает в сеть, то высовывает часть хвоста, а непойманные рыбы подплывают, вцепляются в его хвост и вытаскивают его наружу; если же он высовывает свой рот, то одна из рыб подставляет ему хвост, и он, схватившись за него, следует за ней». Элиан прибавляет поучение: «Вот, люди, что они делают, они, которые не научились быть друзьями, а родились ими» (I, 4). Нередко такого рода примеры переходят в фабульный рассказ о верных и благородных животных: в качестве таковых чаще всего выступают слон и дельфин; Элиан рассказывает о слоне, который, будучи воспитан индусом, защищал своего хозяина от отряда царских воинов и, охватив раненого хоботом, унес домой (III, 46); даже змея, которая много лет тому назад была воспитана вместе с аркадским мальчиком, спасла его от разбойников, услышав его крик в лесу, где она жила (VI, 63).

Характер сказки для детей, вероятно древнего происхождения, имеет следующий рассказ: «Во Фракии в глухом лесу медведица напала на львиное логово [в исторические времена львы во Фракии не водились.— М. Г.] и задушила двух львят; когда отец и мать вернулись с охоты и увидели мертвых детенышей, они были убиты горем и бросились на медведицу; она, испугавшись, быстро, как только могла, полезла на дерево и уселась там, пытаясь спастись от их гнева... Львица села под деревом на страже и смотрела вверх, а лев, обезумев от горя, побежал по горам и встретил дровосека; дровосек испугался и уронил топор, но лев подошел к нему, вытянулся, обнял его и облил его лицо своим языком. Дровосек ободрился, а лев, обвив его хвостом, повел за собой и не позволил ему бросить топор, а показал ладью, что топор надо поднять с земли; дровосек не понял его; тогда лев взял топор в пасть и подал дровосеку, который и последовал за львом. Лев привел его к логову. Когда львица увидела дровосека, то она подошла, тоже завильяла хвостом и посмотрела вверх на медведицу. Человек понял теперь, что мед-

ведица причинила львам какое-то зло, и, сколько у него было сил, стал рубить дерево. Оно упало, медведица свалилась, и звери растерзали ее; а человека лев проводил обратно невредимым на то место, где он его встретил, и вернул его к работе дровосека» (III, 21). Такого рода рассказов в книге Элиана немало.

Элиан — большой охотник и до небылиц; в том, что он верил в них сам, можно сомневаться, но во всяком случае передаются они обычно совершенно серьезным тоном. Например, он сообщает такие сведения: «Павшая лошадь является местом рождения шершней: она разлагается, а из ее костного мозга вылетают эти насекомые, от быстрейшего животного — крылатое порождение, из коня — шершни» (I, 28). Корова тоже оказывается полезной с этой точки зрения: «Порода быков и коров в высшей степени полезна и для земледелия и для перевозки грузов; корова наполняет подойники молоком, и украшает алтари, и дает пищу [т. е. идет на мясо.— *М. Г.*]; а околешая корова — тоже прекрасна и достойна похвалы; ибо из ее останков родится пчела, трудолюбивое насекомое, изготавливающее самый лучший и сладкий из всех продуктов — мед» (II, 57). По-видимому, какая-то ассоциация между быстротой коня и шершня в одном случае и полезностью коровы и пчелы в другом для Элиана (или для его образцов) существовала. Еще ярче эта ассоциация выступает в рассказе о том, что спинной мозг умершего человека обрастает в змею: «так выползает самое жестокое из самого нежного; но останки хороших людей лежат покойно... а спинной хребет злодеев после их смерти рождает таких животных»; и Элиан прибавляет: «Или это все сказка, или, если это правда, то, по моему мнению, труп злодея получает заслуженное возмездие, становясь отцом змеи» (I, 51). Одну из небылиц Элиан передает в юмористическом тоне: «Коза имеет избыток притока воздуха, как говорят пастухи, ибо она дышит и ушами, и ноздрями; ...почему это так, я не знаю, что я знаю, то я и сказал; если коза — тоже дело рук Прометея, то я предоставляю ему знать, чего он хотел, когда сделал это» (I, 53).

«Пестрые рассказы» Элиана по композиции ничем не отличаются от книги «О животных»; это тот же непрерывный поток анекдотов и примеров, но уже из жизни людей, а не животных; правда, по непонятной причине первые 15 параграфов I книги «Пестрых рассказов» опять касаются разных зверей, причем повторяют некоторые рассказы из книги «О животных». Местами заметна попытка провести какой-то план, расположив рассказы сообразно с тем, какие моральные качества людей они иллюстрируют; но этот план нигде не выдержан. Среди бесчисленного множества анекдотов, рассказанных Элианом, большинство касается прославленных исторических лиц: философов, ученых, полководцев. Многие из этих анекдотов стали общеизвестными (о процессе и смерти Сократа — I, 16, II, 13; о том, как Платон, познакомившись с Сократом, сжег свои трагедии — II, 30; о преклонении Александра Македонского перед Ахиллом — XII, 7; о благородстве и бедности Аристиды — XI, 9; IV, 16); однако и многие другие, совсем неизвестные, могли бы представить интерес с исторической и бытовой точки зрения. У Элиана немало рассказов о персах, индусах, вавилонянах, лидийцах, карийцах, скифах. Весьма возможно, что они дают нам не столько сведения о действительном быте этих народов, сколько представления греков о их быте, например: «Ассирийцы собирают девушек, которым пора вступить в брак, в один город, объявляют о продаже их на рынке, и каждый уводит с собой ту девушку, которую купит» (IV, 1). «Житель Библа не поднимает ничего, что найдет лежащим на дороге, если он сам не положил там эту вещь, ибо он считает это не находкой, а несправедливым приобретением» (там же).

«Дербики [племя на юго-восточном побережье Каспийского моря.— М. Г.] убивают тех, кто живет дольше 70 лет; мужчин они приносят в жертву, а женщин душат» (IV, 1). Однако ему известен и действительно существовавший обычай даже такого далеко живущего народа, как индусы,— сжигать одну из жен вместе с телом умершего мужа (VII, 18).

Наиболее интересны анекдоты юмористического характера или небольшие фабульные рассказы, которые могли бы послужить темой новеллы или романа. Примером шуточного рассказа может служить следующий: «В Лакедемон однажды приехал человек с Хиоса; он был уже стариком, но большим хвастуном, стыдился своей старости и постарался скрыть свои седые волосы, выкрасив их; по прибытии он сообщил то, ради чего он приехал; тогда Архидам, вставши, сказал: „Что может путного сказать тот, кто носит обман не только в душе, но даже на голове“» (VII, 20).

Примером трагической новеллы является рассказ о митиленском жреце Диониса Макарии. Вот содержание этого рассказа. Один чужеземец дал Макарию на сохранение много золота; когда он, вернувшись из путешествия, хотел получить свое золото обратно, Макарий убил его и зарыл там, где ранее было зарыто золото. Кара богов была ужасна: когда однажды Макарий приносил жертву, двое его детей стали дома играть в жертвоприношение, и старший сын убил младшего. Соседи, увидев это, подняли крик, и вбежавшая в комнату мать, обезумев, схватила головню с жертвенника и убила старшего сына. Макарий узнал об этом еще во время праздника, побежал домой и, размахнувшись тирсом, убил жену. Схваченный и отданный под суд, он рассказал о своем преступлении и тут же умер, а тело убитого чужестранца было с почетом погребено. В конце автор делает вывод о справедливости возмездия, постигшего Макария (XIII, 2).

Совершенно самостоятельную повесть сентиментально-любовного характера представляет собой длинный рассказ о Кире Младшем и прекрасной фокеечке Аспасии, которым начинается XII книга. В детстве Аспасия была обезображена опухолью на лице, но вылечилась, приложив к ней розы из венка на статуе Афродиты, после чего стала первой красавицей в стране; будучи вместе с другими греческими девушками отдана в гарем Кира, она пленила его своей скромностью, потом полюбила его и сопровождала до битвы при Кунаксе; там она стала пленницей Артаксеркса, но долго горько оплакивала Кира и не хотела видеть Артаксеркса; однако, пожалев его в горе по поводу смерти любимого внука, сама пришла к нему и сумела его утешить. В этом рассказе есть общие черты с библейским рассказом об Эсфири.

Очень забавным произведением Элиана являются «Деревенские письма». Некоторые из них имеют шутивно-эротический характер, другие — чисто бытовой. Эпилогом этого сборника является письмо, восхваляющее сельскую жизнь; по стилю оно сильно напоминает «Дафниса и Хлою», тоже написано ритмической прозой, с параллелизмом частей и сходными концовками. «Растут в полях всякие прекрасные растения, а земля украшена ими и всех их питает. Одни из них много лет приносят плоды, а другие мало времени живут и дают питание на недолгое время. Творцы всего этого — боги, а земля — и мать, и кормилица. Произрастают там же и справедливость и благоразумие, и они-то и являются из деревьев прекраснейшими, из плодов полезнейшими. Потому земледельцев ты не презирай, ибо и у них есть мудрость, речью не расцветенная и не разубранная мощью слов, но молчаливая и в самой жизни являющаяся доблесть. А если тебе покажется все это мудрей того, чего можно ожидать от полевых хороводов, не удивляйся. Мы ведь не ливийцы и не лидийцы, а афинские земледельцы».

Обе книги Элиана преследуют моральные цели, причем в книге «О животных» эта целевая установка подчеркнута значительно сильнее, чем в «Пестрых рассказах». Она не только снабжена интересным введением и эпилогом, но и целый ряд анекдотов (как мы видели в рассказе о взаимной помощи рыб) заканчивается поучением. Во введении Элиан говорит, что нет ничего удивительного в наличии справедливости и мудрости у человека, «ибо человеку выпал на долю разум, наиболее достойный уважения, и умение рассуждать... он умеет почитать богов. Но то, что неразумные существа обладают доблестью от природы,— это великое дело» (введение). По такому вступлению можно ожидать, что Элиан считает животных достойными сравнения с человеком, которого он ставит выше их; но это не так — он ценит то, что дано от природы, выше, чем приобретения человеческой культуры. Много раз, рассказав о какой-нибудь черте из жизни животных, он сравнивает их с людьми, и всегда к невыгоде последних. Однако Элиан не изображает животных слащаво-добродетельными; он видит, что в их мире есть и вражда, и злоба, и страсть; но так как они руководятся законами природы, а не искусственными выдумками человеческого ума, то все у них протекает благороднее и лучше. Так, например, повторяя анекдот о верблюде, который, будучи обманом случен со своей матерью, убил своего погонщика и, бросившись с высоты, разбился насмерть, Элиан говорит, что этот верблюд умнее Эдипа, который ослепил себя и тем самым «хотел исцелить злом уже происшедшее зло» (II, 47). Престарелого льва кормят «рожденные им львы, находящиеся в расцвете молодости и силы», а «между тем Солон не повелевал львам делать это, но их учит природа, которой нет дела до людских законов; и этот закон непоколебим» (IX, 1). Почти в тех же словах он хвалит и аистов и пеликанов за взаимную любовь между родителями и детьми: «им не повелевает ничего человеческий закон. Первопричина этого — природа» (III, 23). Еще более ясно подчеркивает он превосходство животных над людьми в следующем не лишенном иронии рассказе: «Кир второй [т. е. Младший.— М. Г.] сам насадил в Лидии сад своими царственными руками, в своей мягкой одежде, украшенной блестящими драгоценными камнями, и красовался перед всеми эллинами, между прочим и перед Лисандром Лакедемонянином, когда Лисандр приехал к Киру в Лидию. И об этом поют поэты, а между тем постройки пчел гораздо мудрее задуманы и искуснее выполнены, но им никто не уделяет никакого внимания» (I, 59).

Во введении и эпилоге книги «О животных» Элиан подчеркивает оригинальность своих интересов и их непонятность для многих людей: «Я собрал для себя сколько мог [таких сведений], облек их подобающими словами и думаю, что это дело стоящее; если и кому другому они покажутся полезными, пусть принимает их, а кому не покажутся, пусть оставит их в покое... не всем представляется одно и то же прекрасным, и не все считают нужным трудиться над одним и тем же» (введение). Элиан указывает, что он, вероятно, мог бы стяжать больше почета и богатства, если бы выступал с речами и стремился к славе: «А я занимаюсь лисицами да ящерицами, жуками, змеями и львами, и тем, что делает леопард и ...какой философ слон...», но далее с гордостью прибавляет: «У меня есть свой собственный вкус, и я не являюсь рабом чужих суждений и советов» (заключение). Все подобные высказывания чрезвычайно характерны для того течения стоицизма, к которому, по-видимому, принадлежал Элиан: это восхваление великого разума, заложенного в природе, в противоположность мелким мыслям и беспокойной суете жизни человека. Эта идея проскальзывает даже в «Пестрых рассказах», цель которых как будто совсем обратная — восхвалять известных людей. Невольно возникает мысль, не выразил ли Элиан собственное настро-

ние словами сердитого Кнемона из «Деревенских писем», который пишет веселому соседу, что приехал в эту деревенскую тишину прежде всего для того, чтобы не видеть людей («Письмо Кнемона Каллипиду»).

Элиан, видимо, высоко ценил свою форму изложения и язык. И во введении, и в эпилоге книги «О животных» он подчеркивает его достоинства: он называет его «подобающим», восхваляет «благородство» своего языка и изложения, а также «красоту» оборотов и слов. Однако эта самооценка несколько преувеличена; главное достоинство языка Элиана — ясность и простота, но манера изложения очень примитивна, словно он все время пишет для детской хрестоматии: фраза распадается на мелкие отрезки, связанные огромным количеством указательных местоимений, что и придает рассказу несколько ребяческий характер; однако для избранной Элианом темы такой стиль действительно является «подобающим».

Читать произведения Элиана подряд невозможно: они слишком «пестры»; он сам сравнивает их с «лужайкой» или с «венком из цветов»; и если воспринимать их именно так, то они могут доставить читателю много удовольствия.



Глава XIII

ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА IV—V ВВ. Н. Э.

1. Общая характеристика поздней ораторской прозы.— 2. Либаний.— 3. Фемистий.— 4. Гимерий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗДНЕЙ ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЫ

После вынужденной остановки в развитии искусства речи в течение III в., когда постоянная смена императоров, борьба с внешними врагами и внутренние смуты препятствовали его движению вперед, оно вступило в IV в. в последний блестящий период своего существования; все, чего достигло красноречие античного мира в риторических школах, оно успело передать новой мощной организации — христианской церкви, которая в это время из тайной, едва терпимой и нередко гонимой стала сперва государственно признанной и даже поощряемой, потом была вовлечена в последнюю острую схватку с уходящим язычеством и, наконец, терзаемая распрями и отбивающая последние атаки противников, стала строить свою сложную догматическую систему, не терпящую рядом с собой других мнений, — явление, совершенно чуждое античному миру. Во всех этих многообразных процессах ораторское искусство находило для себя широкое поле деятельности. Хотя изучение христианского красноречия — апологетов, полемистов и догматиков — не входит в задачи данного труда, однако необходимо все же упомянуть и о деятелях христианской церкви, выступавших против язычества, но многому научившихся у него. В IV в. и с языческой, и с христианской стороны выступает много крупных ораторов, одаренных, образованных и даже — что в предыдущую эпоху было вовсе не обязательно — в огромном большинстве имеющих определенные убеждения.

С языческой стороны выступают Либаний, Фемистий, император Юлиан и более мелкий и пустой, но безусловно, широко образованный Гимерий; с христианской — Афанасий Александрийский, Василий Неокесарийский, Григорий Назианзин и Иоанн Хрисостом (Златоуст). Все эти ораторы принадлежат к двум смежным поколениям, которые тесно примыкают одно к другому и одно время действуют вместе. Те же, кто принадлежат к одному и тому же поколению, являются почти ровесниками.

Либаний	314—393 гг.	Василий	331—379 гг.
Фемистий	320—390 »	Григорий	330—390 »
Афанасий	292—368 »	Иоанн Хрисостом	343—407 »
Юлиан	331—368 »		

Но эти ораторы не только живут в одну и ту же эпоху,— все они тем или иным образом связаны между собой личными отношениями. Юлиан, Василий и Григорий, а в более поздние годы и Иоанн были учениками Либания. Юлиан переписывался с Фемистием и боролся с Афанасием; Василий и Григорий были близкими друзьями и сподвижниками, а их непосредственным преемником как по характеру красноречия, так и по общественной роли был Иоанн; с речами Гимерия были хорошо знакомы и языческие и христианские ораторы, и Григорий, далекий от него по духу, тем не менее нередко поддавался его влиянию. Несмотря на то, что одни из них — убежденные язычники, как Либаний и Гимерий, и даже фанатики, как Юлиан, другие — пламенные христиане, несмотря на то, что одни принимают горячее участие в общественной жизни, другие бегут от нее,— все они имеют между собою много общего по культуре и чрезвычайно типичны для своего времени. Их роднит между собой безмерная любовь к слову, бережное и любовное отношение к его красоте и непоколебимая вера в его силу.

2. ЛИБАНИЙ

Либаний, уроженец Антиохии Сирийской, происходил из семьи среднего достатка; его отец был либо средней руки купцом, либо служащим городского управления; он умер, когда Либаний был ребенком; воспитывать троих сыновей матери пришлось с помощью своих братьев. В автобиографии Либаний вспоминает о том, как мать и ее братья баловали детей, не приучая их к систематической работе: «она не умела быть строгой к своему ленивому сыну», «думая, что любящей матери никогда и ничем не следует огорчать свое родное дитя, так что большую часть времени мы проводили скорее в полях, чем за учебем» («Автобиография», 4)¹. Дядя и двоюродные братья старались приохотить Либания к конным состязаниям, которыми в то время увлекалось большинство молодежи. Однако вместо того, чтобы стать навсегда цирка, Либаний внезапно занялся чтением и изучением ораторского искусства. С этого момента жизненный путь Либания определился навсегда; его свободное воспитание не испортило его, а пошло ему на пользу, ибо, по словам Либания, при жизни отца ему не удалось бы учиться и стать оратором и педагогом, а пришлось бы заняться торговлей или поступить на государственную службу.

Хотя в эпоху Либания изучение ораторского искусства проникло уже в самые отдаленные уголки огромной империи, что видно, например, из биографии Фемистия², но наибольшей славой все же по-прежнему пользовались Афины. Туда и направился молодой Либаний, взяв свою долю отцовского наследства и запасшись рекомендациями к «лучшему софисту», имени которого он, к сожалению, не называет (возможно, это был Проэресий); но неопытный провинциал не знал афинских нравов: как только он сошел на берег, его окружила толпа софистов, его схватили, заперли, «держали, как в бочке» («Автобиография», 16) и выпустили только тогда, когда он обещал учиться у них.

Софист, к которому он имел рекомендации, очевидно, извещенный о его прибытии, тщетно пытался прорваться к нему. «Мы оба кричали,— вспоминает Либаний,— отделенные друг от друга: софист, у которого отнимали меня, я, у которого отнимали его» (там же). Только через год удалось Либанию добиться перехода к желанному учителю.

¹ Цитаты из Либания даны в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

² См. ниже.

Благодаря прекрасной памяти, свидетельством которой служат все его сочинения и письма, исключительно богатому языку и умению владеть им с необыкновенной легкостью, а также, вероятно, благодаря очень мелодичному голосу, Либаний стал быстро выдвигаться. О своих хороших голосовых данных и умении использовать их Либаний рассказывает забавную историю: он должен был выступать в состязании с каким-то известным софистом (имен Либаний не называет нигде); во время подготовки Либаний упражнялся, «повышая и понижая голос и испытывая его» («Автобиография», 62); услышав только эти предварительные упражнения, противник так испугался, что на состязании не мог вымолвить ни слова.

Закончив образование, Либаний вернулся в Малую Азию и довольно долго время переезжал из города в город, обучая юношей, выступая повсюду с неизменным успехом и наслаждаясь все возрастающей славой. Он рассказывает о своих блестящих успехах в Никее, упоминает о пяти годах, проведенных в Вифинии, которые он называет «своей весной и расцветом» («Автобиография», 51). Уже в среднем возрасте, в 50-х годах IV в., он с огромным успехом выступал в Константинополе, но по приказанию императора Констанция, фанатичного христианина-арианина, был вынужден покинуть столицу. Некоторое время Либаний вел жизнь странствующего софиста, разъезжая по малоазийским городам, поперебой приглашавшим его, потом он вернулся в родной город Антиохию, где и прожил до смерти. В Антиохии прославленный оратор занял довольно видное положение: он был членом городской курии, а несколько раз даже главным выборным управителем города, имевшим право сношения непосредственно с императорским префектом. Принимая горячее участие в городских и общественных делах и используя свою широкую известность, Либаний не раз решался обращаться непосредственно к императорам, что было для него особенно легко при его ученике и любимце Юлиане; но и к христианскому императору Феodosию он обращался с личными письмами и прошениями. Профессиональные интересы тоже были ему чрезвычайно дороги; он сам руководил школой ораторского искусства, принимал живейшее участие в жизни своих товарищей по профессии, вникая даже в их мелкие столкновения, помогая нуждающимся, разбирая ссоры, порицая виновных и поощряя новичков. Либаний дожил до 79 лет, до конца жизни оставаясь преданным интересам родного города и своему ораторскому искусству.

Относительно произведений Либания очень метко выразился Свида в своем лексиконе, говоря, что тот «написал бесчисленно много». Благодаря тому, что Либаний в течение многих последующих веков считался образцом красноречия и его произведения усердно изучались и переписывались (до нас дошло около 500 рукописей), о его творчестве можно составить вполне ясное представление. Его сочинения распадаются на три основных раздела.

1. Речи, являющиеся отголоском современных Либанию событий или касающиеся его профессиональных интересов (около 70).

2. Так называемые декламации, т. е. речи, касающиеся вымышленных ситуаций. Действующими лицами в них являются либо мифологические или исторические личности, либо отвлеченные типические фигуры — престарелый отец, непочтительный сын, скупец, паразит и т. п. (около 50).

3. Письма, которые сохранились в числе свыше тысячи и все же составляют не очень большую часть всей корреспонденции Либания, так как охватывают только два периода его жизни (355—363 гг. и 388—393 гг.). Конечно, трудно предположить, что Либаний вел такую широкую переписку только в эти годы.

Особняком стоит очень интересное произведение Либания — его авто-

биография из 283 глав, с которой наиболее удобно начинать знакомство с творчеством Либания. Это, по существу, первая подлинная обширная автобиография из античной литературы, дошедшая до нас, и чрезвычайно странно, что она очень мало привлекала к себе внимания исследователей. «Автобиография» носит название «Жизнь, или о своей судьбе». Этот подзаголовок имеет большое значение для всей ее композиции. Либаний, по видимому, для многих был предметом зависти; его блестящие успехи и дружба с императором Юлианом составили ему репутацию удачника; и вот он пишет подробную историю своей жизни, «чтобы все увидели, что боги смешали жребии моей судьбы и что я не являюсь ни счастливейшим, ни несчастнейшим» («Автобиография», 1). Эту мысль Либаний проводит через всю автобиографию, не раз указывая, какой факт его жизни можно считать удачей, какой нет и что пошло ему на пользу, а что повредило. Такое освещение потребовало от Либания внимательного пересмотра всей жизни; разумеется, дело не обошлось без риторических прикрас, как это большей частью бывает в автобиографиях; но в общем Либанию удалось очень ясно и живо изобразить самого себя. Эта автобиография является ярким свидетельством полного переворота в психологии и интересах человека в последний период античного мира. Судя по тому, что Либаний написал такое огромное произведение, конечно, не для собственного удовольствия, жизнь частного лица интересовала читателей. Либаний кое-где делает такие же оговорки, как в свое время Ксенофонт, — о том, что он, может быть, слишком много пишет о частностях; но между тем, как Ксенофонт действительно считает, что всему личному в серьезной книге не место и как бы извиняется за свою любовь к индивидуальным характеристикам даже крупных исторических деятелей, Либаний сразу становится в позицию нападающего: рассказав очень живо о том, как у него украли любимый экземпляр Фукидида, он прибавляет: «Никогда я не получал такого удовольствия, если читал [его] по другой книге [подразумевается, по другому экземпляру, — М. Г.]; пусть смеется, кто хочет, полагая, что я слишком серьезно говорю о пустяках, — смех невоспитанных людей не страшен» («Автобиография», 150).

В европейской литературе наиболее напоминает автобиографию Либания произведение Гете «Из моей жизни» («Поэзия и правда»). Их сближает желание изобразить свою жизнь как путь, предназначенный судьбой, в котором почти каждое событие имеет особое значение; но так же как в автобиографии Гете главную прелесть составляют не рассуждения о воле судьбы, а прекрасное изображение психологии ребенка и подростка, автобиография Либания очень ценна как первая попытка дать цельный портрет живого человека.

Речи Либания чрезвычайно разнообразны. Многие из них затрагивают государственные и общественные темы, большей частью не в свете философских или юридических теорий (как речи Фемистия), а в связи с отдельными историческими событиями или с вопросами городского управления Антиохии, например, речи о курии и налогах (№ 48—50), о мятеже солдат в антиохийской гавани (№ 19), речь против градоправителя Тисамена (№ 33) и др. С несколько более широкой, государственной точки зрения написаны все речи, касающиеся императора Юлиана (например № 12 — «О Юлиане самодержце», № 13 — «Приветствие Юлиану» и две большие речи, написанные после смерти Юлиана, — № 16 и № 18, в которых он дает обзор деятельности своего царственного ученика); однако и в них гораздо больше выступает любовь Либания к Юлиану как к своему воспитаннику и выдающемуся человеку и сочувствие его религиозной реформе, чем интерес к той всеобъемлющей перестройке государства

и преобразованию морали, которые задумал Юлиан; более того, когда Юлиан разгневался на легкомысленное и даже враждебное отношение антиохийцев к его религиозному рвению, Либаний выступил ходатаем за свой родной город перед императором, защищая тех, кого по существу должен был бы осуждать.

Большой интерес представляют речи Либания, посвященные вопросам изучения и преподавания ораторского искусства и быту риторов-педагогов.

Ораторскому искусству Либаний ставит очень высокую задачу: оно должно делать граждан хорошими людьми и приучать их к добру и полезной деятельности. В большой речи «О тех, кто не желает говорить» Либаний так изображает цель ораторского искусства: тот, кто выучился говорить, становится членом общества, гражданином (непереводимое буквально слово *πολιτευόμενος*); такой человек призван «речами побуждать к совершению должного, препятствовать вредному, с одними соглашаться, другим возражать, помогать разумным правителям, бороться с теми, кто полезного не видит, противопоставлять голосу с престола голос разумного совета, своим красноречием повергать в страх других, но сам не страшиться» (№ 35, 3—4). «Вот что такое гражданин; это — его дело, а не дрова, дороги, кони, атлеты, медведи и егеря» (там же), — иронически замечает Либаний о тех членах городского управления, которые особенно заботятся об устройстве пышных зрелищ для увеселения сограждан. Нельзя не заметить, что порицаемая Либанием забота о «дровах и дорогах» нередко может оказаться полезнее, чем увещания по адресу «неразумных правителей», в чем Либанию не раз пришлось убедиться самому. Однако при помощи своего красноречия Либанию не раз удавалось добиваться и некоторых результатов: он спас антиохийских хлеботорговцев от бичевания («Автобиография», 206—210), он боролся со взяточниками (№ 51 и 52) и часто ходатайствовал перед префектами за несправедливо осужденных и притесняемых, нередко обращался к вышестоящим должностным лицам и даже к императорам с жалобами на префектов (речи № 26—29 — против Цезаря и Кандида).

Многие речи Либания касаются чисто профессиональных и бытовых вопросов («О риторах» — № 31, «О пирах» — № 53, «О ковре» — № 58, «Защита от обвинений в дурном воспитании юношей» — № 62). Речь «К Анаксигу» (№ 55), убеждающая его не бросать риторскую школу, имеет характер личного письма.

Среднее место между речами на темы реальной жизни и декламациями занимают хвалебные речи Либания; они немногочисленны: довольно официальная, сухая речь № 59 («Похвала Констанцию и Константу») и две эпитафии Юлиану, уже упоминавшиеся выше; от обычного энкомия речи Либания о Юлиане выгодно отличаются тем, что даже в этот официальный жанр Либаний умеет внести черты, рисующие подлинного живого Юлиана; он изображает его не только как героя, победителя и реформатора, а как пылкого человека, способного и к великодушным, и к суровым поступкам (правда, еще живее он изобразил Юлиана в «Автобиографии», 118—134). Особое место занимает хвалебная речь Либания, посвященная его родной Антиохии; эта длинная речь представляет собой большую литературную ценность: она полна прекрасных пейзажей и описаний архитектурных произведений; Либаний хвалит обилие воды, бегущей ручейками и каналами по всем улицам города, портики, навесы и галереи между домами, дающие летом желанную тень и прохладу, а зимой позволяющие беспрепятственно гулять и встречаться с друзьями, не пачкая обуви и платья и не попадая под дождь; он хвалит обилие оживленных рынков и разнообразие товаров. Полная картина богатого южного города встает перед глазами при чтении этой речи.

Либаний хвалит и положение Антиохии: то, что она лежит не у самого моря, охраняет ее от наводнений и от порчи нравов, свойственной портовым городам (последнее не вполне верно; гавань была не так уж далека, а Антиохия и без этого искони пользовалась славой очень распущенного города). Несмотря на обилие риторических украшений, эта речь местами звучит вполне искренно: Либаний выразил свое личное отношение к Антиохии в заключительных словах. «Оставив ее и придя в другой город, ты будешь вспоминать о ней; придя же сюда из другого места, забудешь где был раньше».

Большими поэтическими достоинствами отличаются две трагические декламации (монодии) Либания: по поводу страшного землетрясения в Никее, уничтожившего почти весь город, и по поводу пожара в роше Дафне близ Антиохии, погубившего в одну ночь знаменитый храм Аполлона; этот пожар произошел во время пребывания в Антиохии Юлиана и, по общему мнению, был делом рук антиохийских христиан, раздраженных возрождением языческого культа. Либаний горько оплакивает оба эти бедствия:

«Гелиос всевидящий,— пишет он в монодии «О Никомедии»,— что же стало с тобою, когда ты зрел это? Как не спас ты столь большого города, ныне исчезнувшего с земли? Из-за быков, на которых покусились моряки, ты грозилшь небожителям, а украшение земли, создание многих царей, ты не пожалел. О красивейший из городов, сколь ненадежному холму ты был доверен! Где теперь улицы? Где портики? Где дороги? Где источники? Где площади? Богатый населением город днем необитаем, а ночью населен толпою призраков!» (№ 16—18).

Последняя фраза дает особенно ясную картину разрушенного города.

В монодии «На храм Аполлона» трагические возгласы чередуются с прекрасными описаниями храма и пожара:

«Мужи, душу мою влечет к образу бога и перед глазами моими изображение воскрешает образ его, кротость лика, пояс, стягивающий золотой хитон. Он пел песнь, и некоторые, говорят, иногда слышали его игру на кифаре в полдень... А балки падали, охваченные огнем, и губили все, на что падали: первым — Аполлона, так как он был ближе к крыше, потом статуи Муз и основателей города и сверкающую красу колонн; а толпа людей стояла кругом, рыдая, не зная, чем помочь, как случается с теми, кто видит с суши кораблекрушение. Предмет почитания похищен у нас, как жених, умерший в тот миг, когда сплетали венки» (№ 60, 11—14).

Надо прибавить, что перевод может только очень слабо отразить красоту ритмической прозы, которой написаны монодии Либания.

Кроме перечисленных декламаций на реальные темы, Либаний написал еще огромное число декламаций о минувших исторических событиях, например «Спор Неокла и Фемистокла о Саламине» (9—10), «Речь Кимона» (11), «Апология Сократа» (1), или на мифологические темы — «В защиту Ореста» (5—6), «Речи Менелая и Одиссея о выдаче Елены» (3—4). Для тщательного изучения Либания они могут представить известный интерес. Это риторические произведения, служащие для развития ловкости речи и умения изобретать доказательства. Многие части этих речей производят на нас только комическое впечатление; например, восхваляя Артемиду за то, что она убивает диких зверей, Либаний восклицает:

«Что было бы с нами, если бы она не убивала зверей и все полчища львов набросились бы на наши поселения! Сколь велик был бы тогда испуг, когда теперь, даже если вырвется один лев, отоцщавший и ослабевший от пребывания в цирке, ужас охватывает всех жителей?» (5).

Рядом с живой картиной вырвавшегося из цирка льва образ «полчищ львов, идущих на город», совершенно неестествен не только для IV в. н. э., а вообще невозможен, так как львы не охотятся стаями.

Значительно интереснее бытовые декламации Либания. Они являются вымышленными судебными речами и иногда разрабатывают серьезные темы: «Об отце-детоубийце» (42), «О слепом сыне» (49), «О женщине, убившей тиранна» (43); несмотря на то, что некоторые ситуации мало естественны или очень преувеличены, характеры говорящих, их образ мысли, способ доказательства и манера речи изображены блестяще.

Особенно занимательное чтение представляют собой юмористические декламации Либания «О болтливой жене» (26) и от лица парасита (28 и 29).

Декламация «О болтливой жене» является речью человека, который заранее сообщает судьям, что он хочет покончить с собой, и просит не считать его за это дурным гражданином. Он вел тихую и скромную жизнь, но его уговорили жениться, причем сказали, что девушка тиха и молчалива; оказалось — совсем наоборот. Когда бы он ни пришел домой, она засыпает его вопросами: «Куда ходил? Откуда пришел? С кем разговаривал? Что нового? Было ли голосование? Принят ли какой-нибудь закон? Много ли народа в суде? Кто-нибудь приговорен? Поймали кого-нибудь?» Когда он один раз упомянул о стратеге, то она схватилась за этого стратега и не прекращала вопросов с полудня до вечера: «Со сколькими воинами он отправился? Скольких не взял с собой? Сколькими он командует и как командует? Сколько у него моряков, сколько триэрахов, сколько рулевых, сколько матросов?» Когда же я заметил, что это не женского ума дело, то она сказала: «Ну, скажи тогда, как дела на полях и как растут различные посадки?» Отчаявшись где-либо найти покой, муж решает уйти в Аид и восклицает: «О, все боги, дайте моей жене дожить до глубочайшей старости, чтобы я дольше мог наслаждаться моей свободой в Аиде!..»

Более остры и с социальной точки зрения интересны декламации парасита. В 28 декламации парасит, приглашенный в загородную виллу богача на обед, нанял верховую лошадь, чтобы скорее добраться; лошадь оказалась скаковым конем, принимавшим участие в конских бегах; она промчала своего очень плохого всадника через все улицы города, где он подвергся насмешкам всех встречных, особенно знакомых, но что самое ужасное, доскакав до виллы, она обогнула жертвенник, стоявший перед домом, приняв его за мету, и прискакала обратно в город. Парасит, во-первых, лишился обеда, а во-вторых, боится, что богач, приглашавший его, примет это происшествие за издевательство над собой и больше не пригласит к себе. Поэтому он подает в суд на владельца конюшни, давшего ему такого неподходящего коня и трагически восклицает: «Перед домом того, кто меня пригласил, был жертвенник. О, что я говорю, — жертвенник? Могилой был он мне и надгробным камнем».

Острой сатирой можно считать декламацию 29. Парасит описывает в ней, как прекрасно он жил прежде, пристроившись на хлеба к кутящему богатому юноше: «Я был богат, ничего не покупая, жил в роскоши, ничего не приобретая, пил, бывал пьян, наслаждался благовониями, бывал на пирушках и на плясках... не бывал я в народном собрании, не был земледельцем, жизнь которого проходит в трудах, не был и купцом, плавающим по морям. Гавани я знал только по рыбам [т. е. потому, что ел рыбу. — М. Г.]; не был я и воином — это дело полно опасностей и мечей, нет, я был счастливым человеком, легкомысленным, ленивым параситом». И вдруг его постигло несчастье — его благодетель перестал кутить, занялся философией, ест хлеб,

пьет воду и спит на плаще. И парасит жалуется судьям на него, в то же время рисуя свою полную непригодность хотя бы к самому простому делу: «Нет у меня родных, не осталось ни одного друга; тот, кого я выше всех ценил, занимается философией, то есть все равно, что умер для меня. Как я удовлетворю свои потребности, я, обученный жить в роскоши, есть до-сыта, пить допьяна? Желудок требует привычного, но нет никого, кто бы меня снабдил тем, что мне нужно, ремесла у меня нет, потому что с самого начала я ничему не учился; работать я не могу, так как жизнь в роскоши изнежила мое тело; трудно мне обходиться даже без того, что не слишком необходимо, но и необходимое достать нелегко; все виды смерти ужасны, печальнее же всего умереть с голода» (29).

Всю жизнь Либаний был убежденным язычником, преклонявшимся перед красотой античной литературы и языческого культа в его классической форме; он часто приводит имена олимпийских богов, особенно Аполлона и Артемиды; напротив, экстатические культы Кибелы и Аттиса, Сабасия и даже Диониса, по-видимому, не влекли его к себе; даже говоря о Юлиане, он хвалит его лишь за то, что он сам приносил жертвы и уважал богов, но ни словом не упоминает о фанатическом мистицизме Юлиана, о его участии в таинствах Митры-Диониса, о его близости с Максимом Эфесским³; эта сторона натуры Юлиана не могла быть близка Либанию. Христианство было Либанию чуждо и непонятно, но он никогда не вступал в серьезную философскую полемику с христианами и не высказывался в пользу каких бы то ни было гонений на них; будучи сам учителем трех крупнейших деятелей христианства — Василия, Григория и Иоанна Хрисостома, он продолжал переписку с ними, когда они уже стали епископами, охотно вспоминал о тех мирных годах в Афинах, когда эти непримиримые борцы за христианство были его слушателями и изучали языческое красноречие; прекращение переписки с Василием, по всей видимости, произошло по инициативе ученика, а не учителя. О резких мероприятиях Юлиана против христиан Либаний не высказывается, хотя возрождение язычества его горячо радует. Только один раз Либаний явно намекает на преступление, совершенное христианами, а именно — в речах после смерти Юлиана; дело в том, что смертельная рана, полученная Юлианом во время битвы с парфянами, была расположена так, что врачи высказали подозрение, что она была нанесена не врагом, а кем-то из его собственного войска. В трех речах (17, 18 и в особенности 24) Либаний говорит о необходимости раскрыть обстоятельства гибели Юлиана и строго покарать ее виновников. Призывы Либания к мести за Юлиана не только не имели успеха, но даже навлекли на него гнев кратковременного преемника Юлиана, христианского военачальника Иовиана.

В «Автобиографии» Либаний упоминает о какой-то каре, грозившей ему (может быть, даже о смертной казни), от которой его спасли приближенные к Иовиану лица, испугав императора тем, что Либаний может в своих речах навсегда запечатлеть его образ в невыгодном свете. «Защитник мой сказал: „Как ты будешь себя чувствовать, если он будет лежать мертвым, а всю землю обойдут его живые слова, которыми он изобразит твой характер?“» («Автобиография», 138).

Либаний до конца жизни остался верным поклонником язычества. Когда языческий культ был уже строго запрещен Феодосием и группа язычников обвинялась в принесении жертв, в связи с чем христиане разрушили ряд языческих храмов и разбили «идолов», Либаний, уже старик, об-

³ См. гл. XV, раздел III, § 3 (Сирийский неоплатонизм).

ратился к императору с очень смелой речью «В защиту храмов» (№ 30, 22), называя обвинение против язычников клеветой. Но больше всего для Либания была гибель произведений античного искусства. «В городе Берое, — пишет он Феодосию, — была бронзовая статуя, Асклепий в образе прекрасного сына Клиния (Алкивиада)... В нем было столько красоты, что даже те, кто имели возможность видеть его ежедневно, не могли насытиться его созерцанием. И вот такое произведение, о царь, созданное с таким трудом и таким блестящим талантом, разбито и погребено, и то, что сотворили руки Фидия, изломано руками толпы» (там же). В этой речи, одной из последних, Либаний находит сердечные и трогательные слова в защиту прекрасного искусства, которое безнадежно уходило в прошлое, что Либаний хорошо понимал. Весьма вероятно, что он понимал также, насколько фанатизм Юлиана обострил отношения между христианами и язычниками. Сам Либаний едва ли мог быть приверженцем крайних мер, он скорее должен был желать мирного сожительства обоих культов, такого же, какое было в его риторической школе между учениками — язычниками и христианами.

Для изучения моральных и общественных взглядов того интеллигентного зажиточного слоя, к которому принадлежал Либаний, чрезвычайно важны речи, касающиеся этических и социальных тем. Таковы его речи «О рабстве» (№ 25), «О жадности» (№ 6), «О несправедливом богатстве» (№ 7), «О бедности» (№ 8) и некоторые декламации на такие же темы «О скупости» (31—34), «О столкновениях между бедными и богатыми» (35—38).

Как можно заранее предположить по характеру Либания, он является приверженцем «золотой середины»; он осуждает жадность и скупость; по его мнению, ненасытное желание приобретения — корень многих бед: «Того, кто возделывает одно поле, презирают за то, что у него не два, того, у кого два, за то, что у него не три... И никакое число не может преградить ни жадности, ни требований большего» (№ 6). «Одно и то же кажется им (жадным людям. — М. Г.) и малым, и большим: большим, пока они его не получили, малым, когда оно уже у них в руках» (№ 6). «А между тем, какая польза от богатства? Оно не приносит счастья и не делает справедливым, а смерть уравнивает всех, за бедность же в загробном мире судить не будут, а за несправедливость будут карать. Минос сразу увидит несправедливую и справедливую душу, и дурной душе не будет помощи ни от искусства в речах, ни от множества богатств, ни от родных и друзей» (№ 7). Мысли, что единственное истинное богатство — друзья, посвящена речь № 8. Осуждая таким образом жажду наживы, Либаний ограничивается, однако, всегда только скромными моральными сентенциями. Богач, наживший состояние несправедливым путем, должен чувствовать себя несчастным, так как лишен подлинного счастья — друзей и душевного спокойствия. Этот тезис, выраженный Либанием в словах: «Много ужаснее спать на серебряной постели, приобретенной нечестно, чем спать вместе с собаками в конуре» (№ 7), носит исключительно абстрактно-этический характер, и Либаний, конечно, знает это, но защищает фактическое богатство мнимыми моральными страданиями его обладателя. Такую же чисто моральную цель преследует его речь «О рабстве» (№ 25), начинающаяся характерным для эпохи Либания утверждением: «Эти два слова [свободный и раб. — М. Г.] повсюду у всех на устах: в домах и на рынках, в полях, на равнинах и в горах, даже на кораблях и шлюпках. И кажется, что одно слово — свободный — означает счастье, другое — раб — несчастье». И Либаний далее начинает доказывать, пользуясь многозначностью слова «раб», что все люди в какой-то мере рабы — судьбы, страсти к деньгам, к женщинам, рабы гнева, зависти;

софист — раб публики, гражданин — раб курии, свободный ремесленник — раб заказчиков и конкуренции. «Чем твой раб больше раб, чем ты — раб судьбы?» — восклицает Либаний и заключает: «Я считаю, что одно из этих слов (а именно свободный) должно быть возможно скорее уничтожено, так как предмета, обозначаемого им, не существует; речь моя старается доказать не то, что рабы свободны, а то что свободные — рабы». Однако Либаний не ограничивается только такими общими рассуждениями на тему о разных видах рабства, но защищает рабство в буквальном смысле, говоря, что в действительности рабам живется не так плохо: они ведут более здоровый образ жизни и у них меньше забот, чем у их хозяина.

Такие теории, изложенные ясным и музыкальным языком, со множеством легко запоминающихся сентенций, должны были иметь большой успех в эпоху Либания, конечно, среди тех, кто имел рабов, а не среди самих рабов. Все эти речи отражают близорукое благодушие, характерное для людей того слоя, к которому принадлежал Либаний. Сам Либаний не только не был жесток, но очень осуждал всякое проявление жестокости, вступался за обиженных и не раз проявлял гражданское мужество; низкопоклонство тоже было ему несвойственно, он спорил даже с Юлианом, отношение к которому он выразил в словах: «Человека я любил, но властителю не льстил» («Автобиография», 121); самого же Юлиана он особенно хвалил за то, что он умел уваживать порицания и «был настолько доблестным, что стремился победить, но, побежденный, не испытывал ненависти к победителю» (там же).

В совершенно иную атмосферу переносят читателя те речи Либания, в которых он выступает как специалист в своей области. Шумная беспорядочная жизнь школ красноречия с лекциями и пробными выступлениями, привлекавшими учителей и учеников разных школ, с состязаниями учителей и учеников, с ночными пирушками и кутежами, с встречами, проводами и переманиванием учеников, — вся эта жизнь обрисована в речах Либания так живо и красочно, что читателю кажется, будто он участвует в описываемых сценах. Читая эти речи, ясно видишь, что для Либания дороже всего; не его гражданская деятельность, не близость к императорам, не моральные проповеди, а именно эта пестрая, разнообразная жизнь ратора-педагога. Либаний принимает в ней самое горячее участие; он как старший товарищ порицает зазнавшихся, сварливых, жадных педагогов (№ 43 — «О договорах с учениками»), но и защищает их от нападков и притеснений городских властей, ходатайствует о назначении им твердого оклада из городской казны (№ 31); он защищает и себя, и других педагогов от обвинений в безнравственном воспитании юношей (№ 62), а самих юношей предостерегает от нравственного разложения, которое грозит им, если они получат разрешение участвовать в пирушках взрослых людей (№ 53); с негодованием обрушивается он на дерзких учеников, позволявших себе грубые шутки с негодным им учителем, которого подбрасывают в воздух на ковре, причем учитель нередко падает на землю и может сильно разбиться (№ 58); чрезвычайно остроумно вышучивает Либаний ленивых учеников (в уже упоминавшейся речи № 35 «О нежелающих говорить»), за которыми надо посылать, чтобы они пришли на лекцию, и которые во время лекции читают, болтают между собой или думают о конских бегах. «Вы скорее возьмете в руки змею, чем книгу», — говорит он. В этих речах Либания немало упоминаний и о безнравственных поступках, но он говорит о них только как воспитатель, борющийся с нарушением школьной дисциплины.

Из всего сказанного легко составить себе мнение о Либании как о человеке. И в «Автобиографии», и в речах Либаний встает перед читате-

лем, как живой. Конечно, он нередко рисуется и склонен оценивать себя слишком благоприятно.

Он не раз подчеркивает свою привязанность к семье; он не был женат и не имел детей, но остался добрым сыном и братом. В «Автобиографии» он упоминает о своих близких довольно часто и всегда в теплом тоне; ранняя слепота и последовавшая вскоре за этим смерть одного из братьев его глубоко огорчила, хотя, конечно, Либаний несколько преувеличивает свою скорбь, говоря, что он «плакал и в купальне — купался же я по предписанию врачей, — плакал и за столом» («Автобиография», 200). У него было очень много друзей, с которыми он вел огромную переписку, но едва ли Либаний мог быть очень близок с кем-нибудь из своих ровесников; для этого он был слишком увлечен самим собой. К ученикам он, напротив, относился с большой привязанностью и вниманием. О себе как об авторе Либаний чрезвычайно высокого мнения. Бесчисленное множество раз и в «Автобиографии», и в речах он упоминает о своих головокружительных успехах, о победах над другими софистами, например, блестящей победе в Никее, когда софист, побежденный им, ушел в бешенстве, «выкрикивая всякие слова», и все боялись, как бы он, «кипя, не напал на Либания и не растерзал его» («Автобиография», 51). С таким высоким мнением о себе, естественно, связано и большое самолюбие и обидчивость. При своем общем благодушии Либаний никогда не упускает случая сказать, как много у него завистников и как мало ценят его заслуги и благодеяния. Способный к добрым порывам и смелым поступкам, Либаний проявлял иногда унижительное мелочное самолюбие, особенно под старость. Печальным памятником этой черты его характера остались две речи (№ 2 и 4) «О том, что он не болтает» и «Против тех, кто называет его невыносимым». Они производят впечатление и жалкое, и смешное. Серьезно применяя подлинное искусство аргументации, Либаний пункт за пунктом опровергает такие ничтожные нападки, которые не должны были заслуживать ни малейшего внимания с его стороны; и в результате создается впечатление, что те, кто «называл его невыносимым», были иногда, может быть, не так уж неправы.

Если в кратком обзоре невозможно охватить содержание всех произведений Либания, то еще труднее охарактеризовать их художественные особенности. Его произведения ценны и как исторический памятник, и как литературные шедевры. О его мастерском изображении характеров и бытовых сцен уже было сказано. Легкость и богатство его языка трудно передать в переводе; особенно препятствует этому неисчерпаемое разнообразие лексики с огромным количеством синонимов; ритмическое расположение слов и предложений, которые несмотря на значительную длину всегда построены очень легко и прозрачно, делает чтение произведений Либания подлинным наслаждением. Риторические приемы Либаний, конечно, использует очень обильно, но очень редко они нагромождаются один на другой и становятся утомительны. Либаний порой бывает многословен, но в противоположность, например, Гимерию никогда не бывает совсем бессодержателен — для этого у него слишком велико чувство реальности и любовь к ней. Убеденный атиксист, он пишет на чистом, классическом аттическом диалекте, но этот диалект не производит у него впечатления чего-то архаического и вымученного, а, напротив, кажется естественной разговорной речью. Он писал так же, как жил и мыслил — разнообразно, легко, красиво, оживленно и не слишком глубоко. Насколько горячо он любил и знал греческий язык, настолько же враждебно относился к латинскому красноречию, которое казалось ему грубым и тяжеловесным и господство которого его глубоко огорчало («Автобиография», 234). Изучив с юных лет всех классических ораторов

и поэтов, он сумел создать свой собственный стиль и благодаря музыкальной одаренности достиг такой мелодичности речи, что легко понять его успех у народа, который от более серьезного современника Либания — Фемистия — получил насмешливое название «любителей послушать».

3. ФЕМИСТИЙ

Биографические сведения о Фемистии довольно скудны. По неизвестной причине (возможно — в силу личной неприязни) Евнапий в своих «Жизнеописаниях софистов» (V в. н. э.) не упоминает о Фемистии. Его симпатии принадлежали, по-видимому, представителям направлений, противоположных Фемистию, — философам-мистикам (Максиму и Ямвлиху) и борникам поэтического красноречия (Эдесию, Проэресию и другим).

Некоторые сведения о себе сообщает сам Фемистий, многое можно вывести из его речей. Жизненный путь Фемистия является ясным свидетельством того, насколько широко была распространена в IV в. греческая культура и какую дорогу она открывала для тех, кто ею овладевал.

Фемистий был родом с далекой окраины империи — Колхиды, по его словам, «с крайних пределов Понта, возле Фасиса» (речь № 27)⁴. Кем был его отец, Фемистий точно не указывает, но в своей речи «На смерть отца» (№ 20) характеризует отца так, что можно представить его себе как человека среднего достатка, вероятно, мелкого землевладельца, не чуждого философских интересов. Он дал сыну хорошее образование; о своем учителе риторики и философии, имени которого Фемистий, к сожалению, не называет, Фемистий с благодарностью вспоминает в речи № 27 как о человеке, который впервые направил его ум на изучение возвышенных и серьезных предметов. Такие сведения о себе Фемистий дает по тому поводу, что в этой речи он отговаривает какого-то молодого провинциала ехать учиться в Константинополь или в Афины; Фемистий предостерегает его от распространенного предрассудка, будто учиться можно только в крупных центрах, утверждает, что надо учиться не у города, а у людей (именно это заглавие носит и сама эта речь), и в качестве примера приводит самого себя.

Когда и каким образом Фемистий попал в столицу, точно не известно; по-видимому, он выступал в качестве преподавателя философии и риторики в различных городах Малой Азии, приобрел известность и еще молодым, около 30 лет от роду, был допущен для произнесения приветственной речи императору Констанцию, в которой он — что очень характерно для Фемистия — изображает императора не столько правителем и полководцем, сколько философом-мыслителем. Вскоре (в 335 г.), во время пребывания Констанция в Италии, к нему опять направляют Фемистия, который, видимо, понравился императору. Далее в течение своей довольно долгой жизни Фемистий поднимался по лестнице государственных должностей и при Феодосии, которого он особенно уважал и у которого тоже был в милости, достиг должности городского префекта и был почтен постановкой статуи.

Для грека из дальней провинции это была блестящая карьера. О близости к императорскому двору свидетельствуют и его речи, из которых две обращены к Констанцию, одна — к Иовиану, одна, — к Валентиниану, три — к Валенту и три — к Феодосию.

При вступлении на престол Юлиана он написал ему послание, содержание которого ясно из сохранившегося ответа Юлиана, — на тему о задачах

⁴ Цитаты из Фемистия даны в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

истинного правителя-философа; однако с приветственной речью Юлиану он не выступал, а имеются только косвенные указания на то, что он произнес речь о нем после смерти императора; приветственная же речь Иовиану, царствовавшему только год, в собрании речей Фемистия имеется. Возможно, что фанатизм Юлиана не заслуживал одобрения рассудительного Фемистия, и он не увидел в нем того философа на престоле, которого ожидал найти.

Кроме комментария ко «Второй аналитике» Аристотеля⁵ от Фемистия дошли 34 речи, из которых 19 либо непосредственно обращены к императорам, либо рассматривают искони интересовавшие греков вопросы о природе власти, о способах правления, о войне и мире, о качествах идеального правителя. Остальные речи имеют или личный характер (№ 20 — «На смерть отца», № 33 — «О любви к детям»), или литературно-политический (№ 23 — «О софисте», № 25 — «О тех, кто говорит экспромтом», № 26 — «О том, как следует говорить философу», № 28 — «Рассуждение о речи»). Этот последний раздел с точки зрения литературной наиболее интересен.

Во всех речах Фемистий постоянно и упорно говорит о своей любви к философии и восхваляет ее при каждом удобном случае. Особенной любовью его пользуются Сократ и Платон, о которых он упоминает чаще, чем об Аристотеле, хотя последним он занимался специально. Упомянув имена Сократа и Платона, он прилагает к ним восторженные эпитеты.

Он нередко пользуется образами Платона. Так, например, в речи № 20 — «На смерть отца» — он говорит, что те кони, которых Платон изображает в «Федре» и под которыми Фемистий понимает не телесные и духовные стремления, как Платон, а практические и умственные интересы, в жизни его отца не рвались в разные стороны, а оба несли его ввысь, т. е. между практической и умственной жизнью не было разлада.

Нередко Фемистий использует и излюбленный сократовский и платоновский прием доказательства — наглядную аналогию. Например, в речи № 26 он упрекает людей за легкомысленные суждения о философии и начинает свою речь так: «Не обратимся ли мы к столяру, если захотим научиться столярному ремеслу, или же к кожевнику, когда захотим овладеть кожевным?» Перечислив еще несколько специальностей, Фемистий делает вывод: следовательно, и философии следует учиться не у первого встречного и не следует повторять необоснованные суждения, а надо обращаться к тому, кто сделал занятия философией своей основной задачей. Почти такой же фигурой начинается уже упомянутая речь № 27.

Нечего и говорить о том, что, заимствуя приемы доказательства и средства убеждения у Сократа и Платона, Фемистий ни в какой мере не может сравниться с ними по глубине мысли; он преимущественно повторяет общие места идеалистической философии, разработанные уже не раз. Но он говорит обо всем серьезно и продуманно, без ложного пафоса и с хорошим знанием политической философии. Некоторые места его речей могли бы представить интерес для историка политических учений и права.

Очень красноречиво говорит Фемистий и о тех нравственных свойствах хорошего правителя — справедливости, милосердии, благожелательности к людям, — которые он считает особенно необходимыми; он часто употребляет слова «дружба», «человеколюбие», «братство», последнее — в смысле любви к людям вообще.

В речи «О дружбе» он резко критикует традиционную систему греческого воспитания, упрекая своих соотечественников в том, что они воспитывают детей на чтении поэтов, особенно же на поэмах Гомера, из которых од-

⁵ См. гл. X настоящего тома, раздел I, § 4 (Перипатетики).

на посвящена исключительно воспеванию гнева и вражды. Философией же, которая учит благожелательности, они пренебрегают, «как будто полезнее учиться вражде, чем думать о дружбе»... «а между тем без дружелюбия ни один человек не захочет жить, даже если бы он владел всеми прочими благами» (№ 52).

Фемистий был язычником; однако живого интереса к чисто религиозным вопросам у него нет, религия у него растворена в идеалистической философии. Его равнодушие к вероисповеданию отражается и в том, что, по-видимому, ему было совершенно безразлично, какую религию исповедовал император: при арианине Констанции, язычнике Юлиане и православном Феодосии Фемистий продолжает занимать государственные должности, приветствовать императоров и давать им советы, наставляющие их «в благожелательности» (№ 12). Речь — «К Валенту о почитании богов» (№ 12) тоже содержит призыв к веротерпимости и совет преклоняться перед высшими силами. Реформа Юлиана, как было сказано, по-видимому, восторга у него не вызвала.

Более того, у Фемистия (как и у поэта Квинта Смирнского⁶) встречаются выражения, свидетельствующие о таком крайнем идеализме, что они могли бы быть приняты за цитаты из христианской проповеди. В своем восхвалении философии Фемистий избегает пользоваться какими бы то ни было образами и выражениями явно языческого характера. Он постоянно называет философию «небесной» и восхваляет ее, например, в таких словах: «Если ты посмотришь сам на себя и на то, как тебе стать более совершенным [буквально — «как тебе стать лучше самого себя» — М. Г.], то тебе следует искать иного растения, не земного, а небесного, которого никто не может купить, которым никто не восторгается, но которое само по себе, сокрытое в душе, будет для тебя весьма ценно. Оно встречается редко и у немногих, ибо не слишком-то восхищаются им люди. Причина же в том, что от него не только не получишь ни золота, ни серебра, но оно даже приносит бесчестие и горе. За это люди и не ценят его» (№ 27).

Еще более тесно сочетаются языческая и христианская философия в следующем отрывке из речи «На смерть отца» (№ 20): «Ныне твое поле блаженно и счастливо, и ты ушел от нас к блаженным. Нас же ты покинул в темнице и в долине вражды, и мы не имеем никого, кто бы протянул руку нам, пытающимся выплыть и вынырнуть из тины и грязи... Приди же сам свыше на помощь сыну и внуши, блаженный, ему, преклоняющемуся перед тобой, мужество и храбрость для борьбы».

Это представление о земной жизни как о темнице, а о смерти — как о «блаженном пути» и о загробном существовании — как о «счастливом поле» чуждо язычеству классического периода.

Несмотря на эти возвышенные мысли и интерес к научным исследованиям, Фемистий был достаточно «лукавым царедворцем», переполнявшим свои речи к императорам, помимо мудрых советов, самой откровенной лестью. Такова, например, его речь № 1, носящая пышное название в духе Платона «О любви», но имевшая подзаголовок «О красе императора». Она представляет собой многоречивое и преувеличенное восхваление императора Валента, в пламенной любви к которому, пользуясь платоновскими выражениями, изъясняется Фемистий; при чтении ее становится совестно за образованного и умного автора. Таковы же речи № 8 и 11 — по поводу празднования дней рождения императоров Валента и Валентиниана; эти дни приравниваются в речах к дням великих исторических годовщин. По-видимому,

⁶ См. гл. XIV настоящего тома

идеализм Фемистия прекрасно уживался с его стремлением сохранить свое высокое положение.

К вопросу о значении ораторского искусства Фемистий, как и ко всем своим темам, подходит очень серьезно, и, может быть, только к этой теме он относится с подлинной любовью. Его оценка силы слова очень высока. В полемической речи «Против тех, кто не понял его речи о софисте», он, используя свой любимый прием — сравнение, говорит: «На войне пользуются различными видами оружия, одним для нападения, другим для защиты. Слово же — самый полезный вид оружия, более крепкий материал, чем железо, и им надо пользоваться и вместо панциря, и вместо меча» (№ 29). Он ставит перед ораторским искусством высокие задачи, считая, что оно должно создавать произведения, имеющие непреходящую ценность. «Не в том заключается красота речей, чтобы только что рожденные процвели, а более старые увядали, но в том, чтобы они в таком виде, в каком были созданы, сохранились на вечные времена» (№ 25).

Сравнивая свое искусство с искусством Фидия, который «тоже создал свою Афины не в один день», Фемистий резко выступает против ораторов, похваляющихся тем, что они могут в любой момент произнести речь на любую тему. Он, напротив, требует долгого вынашивания и обдумывания речей и с гордостью говорит: «Я в самом себе ношу прекрасные произведения моего искусства» (№ 5).

Его главный интерес сосредоточен на технике построения панегирика, о котором он делает следующее важное замечание по поводу характеристики восхваляемого лица: считая характеристику главным элементом панегирической речи, он указывает, что тот, кто говорит без подготовки, не может дать верной обрисовки характера данного лица, так как он не имел времени вдуматься в него и вынужден пользоваться готовыми формулами. Характеристика же должна быть построена так, чтобы каждый слушатель понял, о ком идет речь, даже если имя восхваляемого нигде не названо (№ 25).

Однако, примыкая в теории к учению Аристотеля о «психологической» риторике, основанной на глубоком понимании характера лиц, о которых идет речь, сам Фемистий не обладает даром этой живой характеристики; оттого ли, что его панегирики направлены к «власть имущим», или оттого, что сами эти власть имущие недостаточно ярки по характеру, но у Фемистия нет живых портретов, какие умеет иногда даже мимоходом набрасывать Либаний.

Единственные лица, которых Фемистий обрисовывает живо и остроумно, это его враги, ненавистные ему бродячие софисты и болтуны.

Несколько раз встречается в его речах язвительное выражение: «правда, я не так мудр и ловок, как эти божественные софисты». Именно софисты виноваты, по его мнению, в порче вкуса слушателей, о которых Фемистий тоже отзывался с некоторой насмешкой: «Вы ведь любители послушать и слушаете, что попало, кто бы вам что ни сказал. А говорящие перед вами говорят по-разному: одни восхваляют вас самих, собрав вас всех вместе, другие заботятся только о впечатлении от силы своей речи, третьи же поют и распевают, вливая в ваш слух сладостную и изнеженную гармонию; а о тех речах, с помощью которых люди научились бы лучше жить, вы, мне кажется, не слишком-то беспокоитесь. Но это происходит не по вашей вине, а по вине тех, которые будто бы философствуют, но которым следовало бы в детской шептаться с малышами» (№ 22).

Противопоставляя простую и серьезную речь оратора-философа речам модных краснобаев, Фемистий говорит: «Их речи мягки, преисполнены лю-

безностью и благожелательностью, славят, превозносят и ласкают слушателей, вливают в их уши всевозможные распевы и поют сладостные песенки словно сирены» (№ 28). С горечью прибавляет Фемистий: «Поэтому-то их любят и восхваляют... Потому-то переполнена земля этими людьми, переполнено и море» (там же).

Держась такого мнения об искусстве речи, Фемистий, разумеется, сам является строгим архаистом, преклоняющимся перед классическими формами аттического красноречия. Строй речи Фемистия более всего напоминает Демосфена, а не любимого и восхваляемого им Платона, так как Фемистий совершенно лишен поэтического пафоса. Периоды построены искусно и очень последовательно развивают мысль, но длинные и сложны, с многими группами и причастными оборотами; особенно это заметно в приветственных и политических речах; в полемических речах Фемистий выражается более сжато и резко. Фемистий охотно пользуется абстрактными существительными, образованными из прилагательных и глаголов (привычка философа), архаическими формами, вплоть до двойственного числа, которое он старается употреблять согласно старинным правилам. Архаизмы его заимствованы, конечно, только из прозы, поэтических оборотов он избегает и цитатами из поэтов пользуется очень ограниченно. Однако цитаты из Гомера он все же приводит, встречаются также кое-где цитаты из Гесиода, Пиндара, т. е. из поэтов-моралистов. Приведя два стиха из Феогнида, Фемистий иронически обращается к слушателям: «Что вы думаете об этих стихах? Или вы ничего о них не думаете?» (№ 2).

Иногда Фемистий пользуется и мифологическими образами, но преимущественно такими, которые связаны с историей культуры и морали; так, он несколько раз упоминает о Триптоleme и Прометее.

Наиболее теплые ноты и поэтические слова можно найти в двух речах Фемистия: «На смерть отца» (№ 20) и «О пользе земледелия» (№ 30).

Но и здесь Фемистий восхваляет земледелие не только в идиллических тонах, а с точки зрения его государственной и общечеловеческой пользы, как единственную деятельность, которая нужна всем людям — и скульптору, и ученому, и моряку. «Когда земледелие имеется налицо, когда оно ведет за собою тихую и незлобную жизнь, то процветают у всех домашние дела и трудолюбие счастливо достигает своей цели. Если же нет того, что производится земледелием, то и жить нечем» (№ 30). Так же горячо восхваляет Фемистий и садоводство, говоря о любви своего умершего отца к этой деятельности: «Он считал, что это отдых от трудов, подобающий философу; тем более, что старику оно дает упражнение для тела, начинающего слабеть от возраста, и преисполнено благоразумных наслаждений» (там же). Но и здесь Фемистий не может удержаться от того, чтобы не кольнуть ненавистных софистов: «Отец считал бездельниками тех, кто разводит только кипарисы и платаны, презирая пшеницу и виноград... Так же и тех, кто гоняется в речах только за услугой и думает, как бы пощекотать слушателей, он считал не философами, а льстецами, изготовителями лакомств, а не врачами, фиглярами, а не гимнастами» (№ 20).

Произведения Фемистия изучены слабо. Между тем он заслуживает серьезного внимания. Не являясь крупной фигурой, менее одаренный, чем Либаний, он все же очень интересен как представитель поздней греческой культуры и поклонник серьезного рационалистического красноречия.

4. ГИМЕРИЙ

Краткую, но точную биографию Гимерия дает Евнапий в своих «Жизнеописаниях философов и софистов». Он пишет: «Гимерия породила Вифиния; пишущему эти строки он был незнаком, хотя жил с ним в одно время. Он направился к императору Юлиану, чтобы показать ему себя [по-видимому, свое искусство.— *М. Г.*], надеясь, что он будет принят благосклонно, так как у императора была размолвка с Проэресием⁷. После смерти Юлиана, он некоторое время переезжал с места на место, а когда умер Проэресий, отправился в Афины. Он говорил легко и благозвучно; его речь напевная и гладкая; иногда, но не часто, он приближается к божественному Аристиду⁸. Он умер в глубокой старости от священной болезни⁹, оставив после себя одну дочь»¹⁰.

По-видимому, наиболее тесно Гимерий был связан с Афинами. В его речах чаще всего приводятся примеры из истории Афин, упоминаются имена афинских деятелей, а его фиктивные диатрибы, написанные от лица давно умерших знаменитых людей, тоже касаются тем, когда-то волновавших афинское народное собрание. Памятниками путешествий Гимерия остались его приветственные речи в городах Фессалониках, Филиппах и Константинополе. Единственным отголоском его личной жизни является речь на смерть его взрослого сына Руфина, в которой сквозь все риторические ухищрения можно почувствовать искреннее горе.

От Гимерия до нас дошли 24 речи, полностью сохранившиеся, и 10 речей, текст которых настолько испорчен, что цельного впечатления они не оставляют, хотя отдельные мысли в них очень характерны для Гимерия; кроме того, Фотий сохранил большое количество выборок, которые он по той или другой причине, по-видимому, преимущественно по стилистическим признакам, считал интересными. Фотий имел в своем распоряжении не 34, а 70 речей Гимерия. Гимерий пользовался успехом при жизни, и долгое время после его смерти произведения его были образцовыми для определенного типа красноречия и изучались в риторических школах.

Из речей Гимерия наименее интересны для нас фиктивные исторические речи о Демосфене и Гипериде и о Фемистокле. Значительно больше материала дают приветственные речи, произнесенные в разных городах по поводу приезда государственных деятелей. Наиболее же интересны речи, в которых отражены черты быта, например речь о состязании софистов, устроенном префектом Гермогеном, речь, приветствующая новых учеников, прибывших из Ионии, и другие подобные им.

Речи Гимерия как по содержанию, так и по форме и стилю резко отличаются от речей Фемистия. Если речи Фемистия тесно связаны с государственной жизнью того времени, откликаются на многие выдающиеся события и ставят вопросы, имеющие политическое значение, то речи Гимерия написаны, так сказать, в безвоздушном пространстве. Вполне верна ироническая оценка его в книге Э. Нордена: «Он сумел задушить в корне какие бы то ни было конкретные исторические данные своей звонкой фразой»¹¹.

Единственное, что волнует Гимерия,— это смена префектов Афин и то или иное отношение их к Академии, ораторскому искусству и выступлению софистов, т. е. то, от чего зависит карьера преподавателей, риторики.

⁷ E u n a p i i. Vitae philosophorum ac sophistarum, Vita Prohaeresii.

⁸ Элию Аристиду — см. гл. X настоящего тома.

⁹ В древности «священной болезнью» называлась эпилепсия.

¹⁰ Vitae philos. ac soph., Vita Himerii.

¹¹ E. Norden. Antike Kunstprosa, 1909, S. 429.

Гимерию не чужда гордость эллина, знающего, что именно греческая культура объединяет великую империю, но силу ее он видит только в риторике. В речи, произнесенной в Фессалониках, он говорит: «Аттическая Муза охраняет этот город, ибо престол софистов дал здесь свои украшения престолу правителей, и слово дало здесь больше благ, чем само получило взамен от судьбы» (№ 9).

Занимая должность префекта, Фемистий льстит императорам: Гимерий выполняет более скромную обязанность — он вынужден льстить префектам. Трудно удержаться от улыбки, читая, например, такое патетическое восхваление префекта в Фессалониках: «Взгляните, ради богов, вокруг себя и посмотрите, как эллины прежде побеждали всех оружием, а теперь — доблестью своих правителей...» (№ 9). Далее, этот префект сравнивается с рядом исторических деятелей; сперва с Кимоном — конечно, в пользу префекта: «Он [Кимон], стремясь к тирании, не достиг цели своих стремлений, ты же, всего себя отдав императору, победил, не взяв оружия в руки» (там же). Далее сыплются сравнения с Периклом, Фемистоклом и Алкивиадом, причем все эти лица, конечно, оказываются ниже по доблести, чем префект.

Философские интересы Гимерию чужды, даже поверхностная морализация его не интересует. Единственное, к чему он относится с искренней любовью, — это красота слова. Он, как и Фемистий, ценит слово выше всего; но что очень типично для обоих, Фемистий характеризовал слово как «оружие, которым можно пользоваться и для нападения, и для защиты», Гимерий же подчеркивает значение слова в первую очередь как средства художественного изображения: «То, что может сделать картина, то же может и речь. Но всякое другое изображение [точнее «подражание» — Гимерий употребляет здесь термин Аристотеля. — М. Г.] много слабее сравнительно с речью» (№ 25). Доставлять людям наслаждение словом и учить этому других — вот в чем состоит задача учителя риторики, которую Гимерий считает очень важной; а самого учителя он называет не раз лучшим другом и наставником юношей. В речи к открытию своего курса он говорит, что «учитель красноречия подобен птице, которая учит летать птенцов, или учителю плавания, поддерживающему на своих руках начинающего пловца»; он, «снямая тяжесть с души молодых людей, учит их смело пользоваться словами» (№ 12).

Но роль слова еще более высока: только оно может дать бессмертие. Высказывая это положение, Гимерий примыкает к «общему месту» многих поэтов, убеждавших властителей поощрять певцов своей славы. Гимерий совершенно неожиданно заканчивает следующей тирадой печальную речь на смерть своего сына: «Ты будешь, если возможно, бессмертен благодаря твоему отцу. Я восхваляю тебя в надгробных словах и в состязаниях, передам векам твое имя и окажусь сильнее этого божества [смерти. — М. Г.] тем, что оно получит только твое тело, душу твою — небо, а славу твою — люди» (№ 23).

Такое высокое мнение о слове и о себе как его носителе естественным образом связано с большим самолюбием и обидчивостью. Поэтому в речах Гимерия, как и у Либания, часто проскальзывает то похвальба, то слышится обида на недостаточное признание. Например, длинная речь № 13 излагает, как на одном состязании его противники предоставили ему слишком позднее время для выступления, когда слушатели были уже утомлены, но блеск его речи был таков, что все соперники были посрамлены, а он вышел из спора победителем. Однако серьезного недовольства своим положением у Гимерия вовсе не чувствуется. Напротив, если бы

мировоззрение человека проявлялось в таком искусственном жанре, как торжественные и поздравительные речи, то можно было бы сказать, что Гимерий — большой оптимист. В его речах всегда радостное настроение, всегда светит солнце, поют птицы, благоухают цветы и т. п. По-видимому, он первый разработал жанр поздравительной речи к свадьбам — прозаическую соперницу исконного эпиталямия. Он не любит даже печальных мифов. «Я отвергаю по отношению к ласточкам аттическим, а также и к соловьям, миф тот фракийский¹²; думаю, что не горестную песню, а напев весенний распевают они» (№ 3).

Подробную и в основных чертах одобрительную оценку литературных особенностей Гимерия дает Фотий¹³. Сперва он характеризует стиль его в фиктивных исторических речах, указывая, что эти речи собенно ярко выявляют характерные черты Гимерия, а именно, что он широко пользуется плеоназмом, расцвечивает свою речь фигурами и, будучи склонен к высокому стилю, тем не менее искусно чередует различные формы речи. Фотий отмечает и такие детали, как пользование перифразом вместо составных слов, что «поражает слух приятной новизной, однако для рядового слушателя несколько затрудняет понимание». Длину своих периодов, которая могла бы также осложнить восприятие, Гимерий искупает «живыми образами».

К этой характеристике почти нечего прибавить. Речи Гимерия являются наилучшим образцом того типа красноречия, на которое с таким негодованием обрушивается Фемистий. Хотя Фемистий нигде не называет ни одного имени, но весьма возможно, что большое число его стрел направлено именно в этого его современника и почти ровесника (Гимерий старше Фемистия на 5 лет), который, никогда не приняв участия ни в одном серьезном деле, тем не менее привлекал в Афины многих поклонников своей пленительной болтовней; пленительность этого типа речей признает и сам Фемистий, называя таких ораторов «сиренами». Гимерий действительно чрезвычайно благозвучен и читается очень легко; одной из причин этого является отмеченная Фотием черта — отсутствие длинных составных слов. Его язык гораздо легче языка Фемистия, но, конечно, не достигает живости и красоты языка Либания. Главное отличие его от последнего состоит в том, что Либаний выработал свой собственный слог и стиль, не ограничиваясь исключительно каким-либо одним кругом понятий и слов (политическим, философским или бытовым), а умело используя все виды слов и оборотов, Гимерий же придает своим речам благозвучность, в значительной степени пользуясь чужими приемами и используя образы, слова и выражения древнегреческих лириков. Именно лирика — притом мелическая, а не вся греческая классическая поэзия — вдохновляла Гимерия на подражание: более строгий торжественный стиль эпоса и тем более трагедии ему чужды. Сам он нередко называет свои речи «гимнами» и как бы жалуется на то, что он вынужден говорить прозой: «Ввиду того, что речи, непокорные, безудержные и необузданные, развертываются без размера, то я, обратившись к поэзии с просьбой дать мне какой-нибудь теосский напев (ибо эту Музу я люблю), прихожу к тебе, неся эту песнь из оставленных нам Анакреонтом» (№ 3). Мы должны быть очень благодарны Гимерию за его любовь к лирикам; он сохранил много ценных фрагментов из ионийских поэтов, а также из Симонида и Пиндара. Гимерий примыкает к ионийским лирикам и по строю своей речи, стремясь не столько к сложности ее построения,

¹² Как известно, в ласточку и в соловья по древнему этимологическому мифу превращены несчастные женщины, плачущие о своем горе.

¹³ Photii. Bibliothecae cod. CLXV, pag. 1—8 W.

сколько к украшению ее образами, которые, правда, нам кажутся уже довольно шаблонными, но в эпоху Гимерия, может быть, были и оригинальными, особенно в прозе.

Речи Гимерия переполнены мифологическими именами; в противоположность Фемистию он несколько не заинтересован историческим или моральным содержанием мифа, а пользуется им только как словесным украшением, ради красивого звучания древних имен, которые иногда появляются у него группами, без глубокой смысловой связи. Он охотно начинает речь историческим анекдотом, чтобы потом по какой-нибудь ассоциации перейти к своей теме, но таким же отправным пунктом может явиться для него и чисто поэтический образ. Так, например, речь в Фессалониках он начинает с анекдота о Симониде, которого элейцы остановили по пути в Олимпию и попросили спеть гимн Зевсу; Гимерий продолжает: «Что же вы теперь заставляете меня сделать? Вы хотите, чтобы, прервав ненадолго наш путь, мы дали вам вкусить свирели аттической; об этом просят некоторые, будучи близкими соседями Пиэрии» [страны Муз.— М. Г.] (№ 5). Речь же в Филиппах он начинает так: «Лебедь поет над океаном и побеждает песней своей громко шумящее море... иногда же, встретив малый источник чистой и прозрачной влаги, радуется роднику и, омывая крылья, чтит этот родник, воспевая его в своей песне. Неужели же софист меньше владеет голосом, чем лебедь, и в молчании пройдет мимо этого города?» (№ 8). Иногда Гимерий умеет даже сам подшутить над своими поэтическими украшениями: в приветственной речи по поводу приезда в Афины префекта Василия после красивого описания весеннего расцвета он говорит: «Лебеде, если они когда-либо пели песни при дуновении зефира на берегах Илисса, как на Кавстре или Гебре, сейчас более, чем прежде, наполнят пением эти берега. Хотя никто и никогда не видел этих птиц на этой реке, но можно предсказать, что именно они будут петь на лугах Аттики» (№ 3).

Самое яркое представление о манере Гимерия можно получить из речи на свадьбе его родственника Севера, где Гимерий дает полную волю своим антитезам, метафорам и гиперболам; но возможно, что в некоторых комплиментах и сравнениях имеется и юмористический намек. Жених и невеста, конечно, изображаются в самых восторженных тонах: «Оба они находятся в расцвете, как весенние лепестки, распутившиеся на одном лугу. Сходство же душевное их изумительно. Оба они благоразумны, изящны в обхождении и только в занятиях различны, согласно своей природе. Ибо она прилежанием постигла искусство Афины, он же своими трудами достиг благосклонности Гермеса. Ее забота — ткацкий челнок, его — речи; она держит лиру, он услаждается книгою; ее любит Афродита, его же Аполлон возлюбил. Он — из южной первый, она всех девушек превосходит; его щеки покрыты первым пухом юности, она же для брака созрела» (№ 1). Далее восхваляется и сваха, которая оказывается мудрее Аспазии и сильнее Борея, ибо он принес из Афин во Фракию одну Орифию, а благодаря свахе прибыли в Афины и жених, и невеста; в конце же призываются все олимпийские боги, которые должны сопровождать молодых до их свадебного покая.

Сам Гимерий дает себе прекрасную характеристику в конце речи в Фессалониках (№ 9): «Я хотел бы остаться здесь у вас целый год и все время говорить речи. Поэтому-то я прощаю Одиссею то, что он слишком долго говорил у Алкиной и за своей длинной речью даже забыл о желании вернуться домой».



Глава XIV

ГРЕЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ I—V ВВ. Н. Э.

1. Общая характеристика поэзии I—V вв.— 2. Бабрий.— 3. Оппиан.— 4. Квинт Смирнский.— 5. Нонн.— 6. Мусей.— 7. Коллуф.— 8. Трифиодор.— 9. Орфическая поэзия.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЭЗИИ I—V вв.

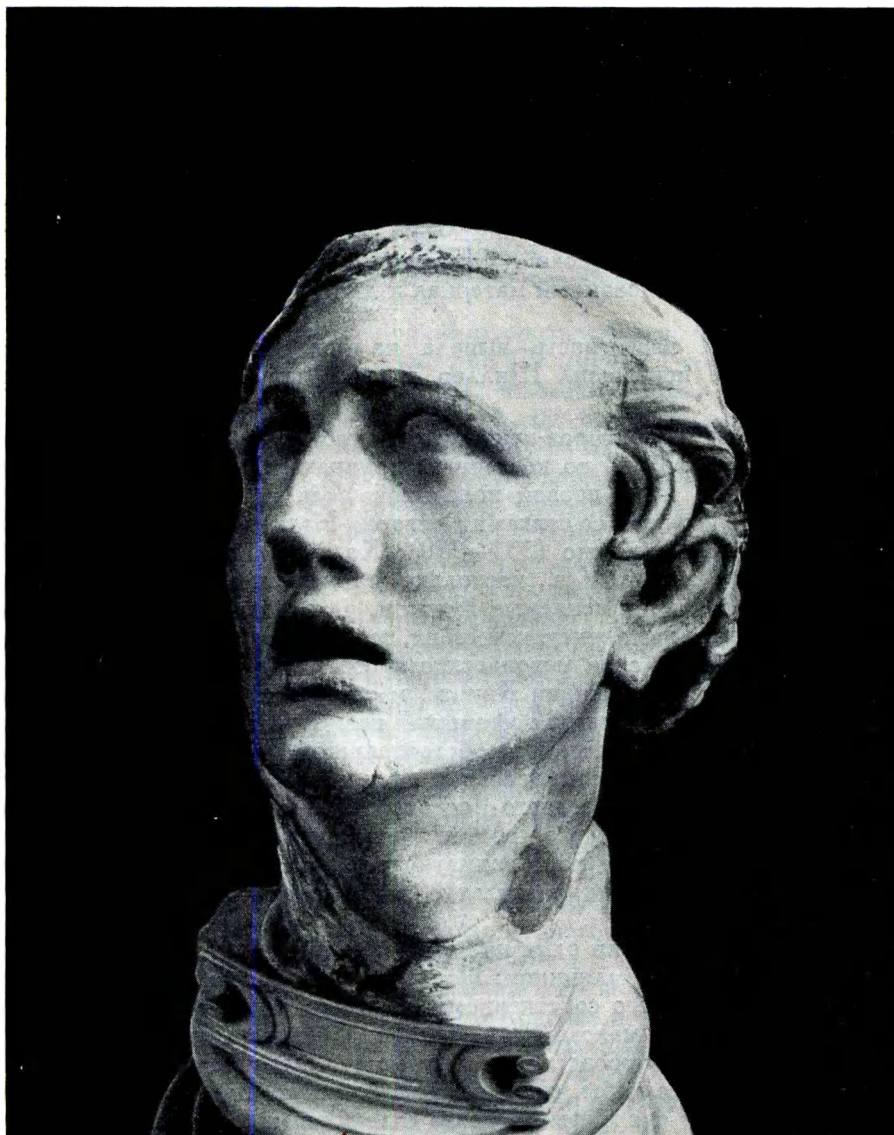
Поэтические произведения последней эпохи существования греко-римского мира и возникновения Византийской империи недостаточно изучены даже специалистами, а широкой читающей публике вовсе неизвестны.

Конечно, в большинстве случаев имеются критические издания, но переводов чрезвычайно мало; нет не только полных переводов, но даже и хорошо подобранного сборника отрывков, который мог бы дать общее представление о характере творчества этого периода.

Поэзию этого периода можно разделить на несколько групп: первую, наибольшую, группу составляют произведения эпические — крупные повествовательные поэмы по большей части мифологического содержания; вторым типом поэтических произведений этого времени являются гимны, которые из чисто культовой формы поэзии становятся литературным жанром; в-третьих, продолжает существовать древняя, но особенно расцветшая в эпоху эллинизма эпиграмма, затрагивающая по-прежнему самые разнообразные темы¹; наконец, в-четвертых, один из древнейших жанров — басня — оживает в новой форме: из короткого прозаического рассказа, мораль которого остается нередко несформулированной, она превращается в стихотворение морализующего характера, заканчивающееся поучительной сентенцией. Именно эта форма закрепилась за басней в новой европейской литературе.

Самым крупным эпическим произведением является обширная поэма Нонна «О Дионисе» в 48 песнях (около 25 000 стихов), излагающая весь цикл мифов о Дионисе. Несколько меньше поэма Квинта Смирнского «Послегомеровские события» в 14 песнях (около 8800 стихов), продолжающая рассказ о Троянской войне от смерти Гектора до отплытия греков на родину и разрушения деревянных стен, построенных греками во время осады Трои. Небольшие по объему поэмы Трифиодора «Взятие Илиона» (690 стихов) и Коллуфа «Похищение Елены» (390 стихов) разрабатывают последний и первый эпизоды мифа о Троянской войне. Маленькая поэма Мусея «Геро и Леандр» (около 350 стихов), примыкая к эллинистическим образцам, излагает местный миф (действие разыгрывается между Сестом

¹ См. гл. VI настоящего тома.



Голова спутника Одиссея, убиваемого Скиллой. Мрамор.
Римская копия с греческого оригинала. II в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

и Абидосом на берегах Геллеспонта); вернее, это даже не миф, а любовная повесть. Последним чисто эпическим произведением, дошедшим полностью, является анонимная поэма «Поход аргонавтов», вышедшая из орфических кругов и излагающая миф об аргонавтах в необычной для эпоса форме — от первого лица; это рассказ певца Орфея о походе, в котором он принимал участие.

Содержание перечисленных поэм, как видно из их названий, мифографическое: поэмы Квинта, Трифиодора и Коллуфа и орфическая «Аргонавтика» вновь возвращаются к древним, многократно разработанным циклам Троянской войны и похода Ясона, но в манере разработки их можно заметить очень много нового сравнительно не только с классической, но и с эллинистической эпохой. Огромная поэма Нонна дает неисчерпаемый, почти не исследованный материал и для мифографов, и для литературоведов.

Наибольшая известность выпала на долю поэмы Мусея благодаря тому, что ее переложил Шиллер в своей известной балладе «Геро и Леандр».

О времени жизни авторов этих поэм ничего достоверного не известно. Его устанавливают только по косвенным признакам: время жизни Нонна определяют концом IV — первой половиной V в. по явному совпадению некоторых стихов его поэм со стихами Григория Назианзского, время жизни которого достоверно известно (331—390); Коллуф, Трифиодор и Мусей, по-видимому, относятся к V в., поскольку в их поэмах строго проводятся метрические правила, применяемые Нонном, а так как эти поэты значительно менее крупны по таланту, чем Нонн, то едва ли можно предположить, что Нонн заимствовал свои метрические нововведения у них, а не наоборот. Очень неясно время жизни Квинта, и совсем не поддается определению время создания анонимной орфической поэмы. Относить все эти поэмы к IV—V вв. дает возможность и то обстоятельство, что в них ярко отражаются различные и часто противоречивые идеологические течения той эпохи, когда древняя культура Переднего Востока, эллинизированная после походов Александра Македонского, романизовавшаяся в правление Августа, Флавиев и Адриана и уже христианизирующаяся после Константина, дошла до высшей степени синкретизма культур, языков, религиозных и философских течений.

По происхождению ни один из авторов этих поэм не является ни греком из метрополии, ни римлянином: Нонн, Трифиодор и Коллуф — уроженцы Египта, Квинт, по его собственному свидетельству, — несмотря на свое чисто латинское имя, — малоазиатский грек из Смирны; Мусея, судя по избранному им для поэмы троадскому мифу, можно было бы тоже считать жителем Малой Азии, если бы уже в эллинистическую эпоху поэты не избирали своей темой как раз мифы наиболее далеких и малозначительных местностей. Важно одно: все эти поэты — уроженцы разных областей единого греко-римского мира, и произведения их объединены не тем, что они созданы в одной и той же географической зоне, и не тем, что они вышли из недр одного и того же литературного кружка, а только тем, что все они носят на себе яркий отпечаток своего времени. А к этому времени вполне можно приложить эпитет, которым Нонн характеризует собственную поэму; пестрая, многоцветная картина. Такими же многоцветными являются и другие произведения, созданные этой эпохой; неисчислимы и нередко неопределимы их источники, многообразны и иногда очень оригинальны их мысли, настроения и изобразительные приемы, но все это многообразие красок развертывается на прочной основе единой литературной традиции античности.

И с этих именно двух точек зрения поэтические произведения I—V вв. заслуживают самого тщательного изучения; во-первых, как последние итоги многовековой литературной традиции, во-вторых, как памятники идеологии переходного, исключительно интересного времени.

2. БАБРИЙ

Как уже сказано в I томе настоящего издания, басня была излюбленным типом народного творчества² и продолжала передаваться в историческую эпоху устно, долгое время не подвергаясь литературной обработке. Правда, Платон рассказывает, что Сократ, находясь в темнице, перелагал в стихи басни Эзопа, какие знал³, и Диоген Лаэртский сообщает даже два стиха басни, сочиненной Сократом⁴.

Первый, кто составил сборник эзоповых басен, как сообщает Диоген Лаэртский⁵, был известный Деметрий Фалерский (около 300 г. до н. э.). Что случилось с этим сборником, нам неизвестно; может быть, какая-нибудь часть басен попала и в дошедшие до нас рукописи эзоповых басен; но, если бы это было так, то язык дошедших до нас басен был бы лучше. Однако можно думать, что некоторые басни первого класса имеющихся у нас рукописей восходят к самому собранию Деметрия Фалерского.

В начале I в. н. э., при императоре Тиберии, Федр в Риме изложил ясным и простым латинским языком в стихах (ямбических сенариях) несколько Эзоповых басен. Хотя Федр был высокого мнения о своем труде, но надежды его на известность не оправдались: во всяком случае в Греции басни Федра не были известны; даже ученый Плутарх не знал их.

Честь ввести басню как жанр в греческую литературу досталась Бабрию. От него дошел до нас сборник басен, написанных холиямбами («хромыми ямбами»). В этом сборнике есть два пролога. Во втором из них Бабрий, указав, что мудрый Эзоп был первым сочинителем басен, продолжает: «а я даю новый Музе мифиямб» (*μυθίαμβος* — басня, написанная ямбами).

Бабрий был (или по крайней мере считал себя) создателем нового литературного жанра; видно также, что он не знал Федра.

Кто был Бабрий, неизвестно, равно как и то, когда и где он жил. Ответ на эти вопросы приходится извлекать путем филологических догадок из его произведений и отчасти из очень немногочисленных свидетельств.

Так, некоторые басни его цитируются в III в. н. э. Из этого видно, что они написаны или в III в., или раньше, но во всяком случае если раньше, то не намного. К сожалению, в самих баснях нет хронологических указаний, но язык их в общем есть греческий язык римской эпохи. Кроме того, до III в. нет никаких упоминаний о Бабрии: Федр (живший в начале I в.) не упоминает его, и Плутарх (живший приблизительно в 46—127 гг. н. э.), часто цитирующий Эзопа, тоже не говорит о нем и, по-видимому, даже не знает греческих басен, написанных холиямбами.

На основании этих фактов временем творчества Бабрия надо считать самое начало III или конец II в. н. э.

Какой национальности был Бабрий, тоже неизвестно. Он писал по-гречески, но как раз в то время (во II в.) образованные римляне охотно и вполне легко писали по-гречески.

² Стр. 64—66.

³ Платон. Федон, 61 В.

⁴ Диоген Лаэртский, II, 5, 42.

⁵ Там же. V, 5, 80.

Таким образом, греческий язык Бабрия еще не служит доказательством, что он был грек по национальности.

Вполне возможно, что Бабрий был римлянин. На такое его происхождение указывают некоторые особенности строения стиха, свойственные более латинскому, чем греческому стихосложению.

В словаре Свида сказано, что мифиямбы Бабрия разделялись на 10 книг.

Авиан, римский баснописец (IV — V вв.), говорит, что Бабрий уместил басни свои в две книги.

Популярность басен Бабрия, особенно в школе, была причиной многочисленных искажений текста. Текст окружали комментариями и парафразами, частицы которых вытесняли первоначальный текст; между прочим, позднейшими вставками считаются правоучения при баснях, написанные отчасти прозой, отчасти стихами (иногда с нарушением тонких метрических правил Бабрия).

Кончилось дело тем, что стали писать этот текст в виде прозы, примешивая к нему и старые эзоповы басни; такой состав имеет, например, Ватиканская рукопись второй половины XV в. Так сочинение Бабрия в его первоначальном виде прекратило свое существование. Ученые нового времени до 1844 г. знали о Бабрии только понаслышке, главным образом по статье о нем и цитатам у Свида.

В 1840 г. А. Вильмэн, филолог и министр народного просвещения Франции, поручил греку Миноидису Минасу, жившему в Париже, поискать в Греции новые рукописи. В одном из монастырей на Афоне Минас открыл пергаментную рукопись X в., содержащую 122 басни Бабрия. Не имея возможности приобрести эту рукопись, он списал ее и привез список во Францию. С этого списка и сделано было первое печатное издание Ж. Ф. Буассонадом в 1844 г. Во время второй поездки в Грецию Минас приобрел эту рукопись и, так как Королевская библиотека в Париже отказалась купить ее на предложенных условиях, он продал рукопись в 1857 г. в Британский музей, где она теперь и находится.

В литературном отношении басни Бабрия неодинаковы: наряду с живыми, полными драматизма рассказами есть и мало удачные; в общем они довольно прозаичны; иногда это почти проза, облеченная в стихотворный размер; с баснями Крылова они не могут ни в какой мере идти в сравнение. Но зато стих — прекрасный, обработанный по строгим правилам, как уже было сказано; холиямб, особенно близко подходящий к разговорной речи, как нельзя более пригоден для таких рассказов. Подражатели Бабрия, писавшие басни дактилическим гексаметром, сделали неудачный выбор, так как этот размер пригоден для героического эпоса, а никак не для басни.

Как образец прозаичности рассказа Бабрия приведем басню «Стрекоза [Цикада] и муравей» (№ 140). «В зимнюю пору муравей, вытаскивая из своей норы хлеб, который он накопил, сушил его. Голодная цикада умоляла его дать и ей сколько-нибудь пищи, чтобы ей прожить. „Так что же ты сделала, — говорит он, — в это лето?“ „Я не была в праздности, а все время пела“. Муравей, засмеявшись и убирая пшеницу, говорит: „Пляши зимой, если летом пела“»⁶.

Но вот большая басня, очень драматическая: «Лев, лисица и лань» (№ 95); ее нет ни у Крылова, ни у Лафонтена, ни у Федра.

«Лев, заболевши, лежал в горной пещере, раскинув по земле свои слабые члены. Другом его была лисица, с которой он вел беседы. Однажды

⁶ Бабрий цитируется в переводе С. И. Соболевского.

он сказал ей: „Если ты хочешь, чтоб я остался жив, то для утоления голода мне нужна лань, которая живет в той густой роще, под дикими соснами; теперь я уже не в силах гнаться за ней; но, если ты хочешь, она придет ко мне в руки; она попадет на твои медовые речи“. Ушла лиса; она застала лань в дремучих лесах прыгающей по мягкой траве. Прежде всего поклонилась ей, потом пожелала ей здоровья и сказала, что пришла с добрыми вестями. „Лев,— говорила она,— ты знаешь, мне сосед, дела его плохи: он близок к смерти. Так вот он раздумывает, кто после него будет царствовать над зверями: свинья глупа, медведь ленив, пантера — злобная, тигр — хвастун и любитель полного одиночества. Лань, думаю, всех более достойна царствовать: осанка горделивая, живет много лет, рог у нее страшен всем пресмыкающимся, похож на деревья, не такой, как у волов. Что же тебе много говорить? Одним словом, твое избрание решено, ты будешь царствовать над зверями гор. Тогда, госпожа, может быть, помянешь ты лису, которая тебе это первая сказала. За этим я и пришла. Ну, прощай, дорогая. Тороплюсь ко льву, как бы он не стал опять искать меня; ведь он во всем пользуется моими советами; думаю, и ты, дитя, поспешишь к нему, если послушаешь седой головы. Тебе бы пойти, сидеть при нем и ободрять его в страданиях. Мелочи действуют на тех, кто при последнем часе: у умирающих душа — в глазах“. Так сказала лиса. От таких лживых речей у лани гордость обуяла ум. Она пришла в глубокую пещеру зверя и не знала, что будет. А лев, внезапно бросившись с своего ложа, только оцарапал ей уши кончиками когтей: слишком уж поторопился. Она — прямо к двери, несчастная, и убежала в глубь лесов. Лиса всплеснула руками, видя, что потратила труд понапрасну. Лев застонал и заскрежетал зубами, и голод томил его, и печаль. Опять обратился он к лисе и стал молить ее придумать во второй раз другую какую-нибудь хитрость для поимки лани. Лиса сказала: „Трудно то, что ты приказываешь, но все-таки я услужу тебе“.

И вот она пошла по следу, как умная собака, плетя всевозможные хитрости и уловки. Каждого пастуха спрашивала она, не пробежала ли где окровавленная лань. Кто видел ее, показывал ей дорогу, и, наконец, она нашла ее отдыхающей от бега в тенистом месте. Лиса остановилась с бесстыдным взглядом и наглым видом. У лани дрожь пробежала по спине и ногам, гнев закипел в сердце, и она так сказала: „Ты теперь гоняешься за мной повсюду, куда я ни бегу. Но, тварь ненавистная, теперь не поздоровится тебе, если подойдешь ко мне и посмеешь вякнуть что-нибудь. Других надувай, неопытных, другим кружи голову и делай их царями“. Однако у лисы сердце не дрогнуло; перебив ее, она говорит: „Неужели ты так малодушна и труслива? Ты так подозрительна к друзьям? Лев хотел тебе добра и, чтобы пробудить тебя от прежней лености, дотронулся до уха, как умирающий отец; он хотел дать тебе все наставления о том, как тебе, получив такую великую власть, сохранить ее; а ты не выдержала прикосновения немощной руки, вырвалась и предпочла получить рану. Теперь он рассержен больше, чем ты, почувствовав твое чрезмерное недоверие и легкомыслие; говорит, что поставит волка царем. Ох, какой это скверный властитель! Что мне делать! Ты для всех нас будешь виновницей бед. Нет, пойди и на будущее время будь отважной, не пугайся, как овца из стада. Клянусь тебе всеми листьями и источниками: как верно то, что я желаю служить одной тебе, верно и то, что лев несколько не враг тебе; напротив, из любви к тебе он ставит тебя госпожою всех зверей“. Такими льстивыми речами она уговорила лань пойти вторично в тот же ад. Когда она очутилась в глубине логовища, лев сам получил роскошный пир: пожирал кишки, пил мозг из костей, рвал внутренности; а поставщица стояла, горя нетерпением получить часть добычи, не-

заметно схватила выпавшее сердце лани и сожрала его; это и было ей наградой за труды. Лев, сосчитав все внутренности, стал искать сердце; перешарил все ложе, весь дом. А лиса, обманывая его и скрывая истину, сказала: „У нее совсем его не было; не ищи понапрасну. Какое могло быть у нее сердце⁷, когда она во второй раз пришла ко льву в дом?“».

По этой басне видно, как далеко отстоит здесь Бабрий от народного творчества, используя басенный сюжет для настоящей литературной новеллы.

Язык Бабрия — искусственный. Это смесь современного ему языка со словами, формами, оборотами из древней литературы — из Гомера, Гесиода, ямбографов и других.

Главным источником Бабрия были Эзоповы басни, которым он придавал стихотворную форму. Но, кроме этого, некоторые басни взяты из других источников или сочинены им самим.

3. ОППИАН

Биографические сведения об Оппиане дает Свидя. Оппиан жил во второй половине II в. н. э. и был сыном крупного чиновника в Корике (Киликии), попавшего в опалу и удалившегося в изгнание. Оппиан, бывший в то время подростком, последовал за отцом. Ставши взрослым, он написал поэму «О рыбной ловле», посвятил и поднес ее императору Марку Аврелию, которому она настолько понравилась, что он разрешил вернуться на родину и молодому поэту, и его отцу и щедро оплатил ему его литературный труд (якобы по золотой монете за стих). Оппиан вернулся в Корик, где, так же как отец, поступил на государственную службу; умер он совсем молодым, около 30 лет от роду.

Свидя приписывает Оппиану три произведения, разрабатывающие по существу одну и ту же тему: поэмы «О псовой охоте», «О рыбной ловле» и «О ловле птиц». Первые две поэмы дошли до нас («О псовой охоте», как предполагают, не полностью), третью мы имеем в прозаическом парафразе византийского писателя Евтекния. Принадлежат ли все эти произведения действительно Оппиану или они объединены его именем по сходству конструкции и содержания — этот вопрос ставился исследователями не раз; наиболее вероятно, что поэмы «О псовой охоте» и «О рыбной ловле» написаны разными авторами, так как в них замечается как некоторое подражание друг другу, так и известные полемические тона, а так как поэма «О рыбной ловле» безусловно принадлежит Оппиану, то, по-видимому, поэма «О псовой охоте» написана не им; однако она едва ли отделена от первой большим промежутком времени, так как связь между ними очень ясна, причем более вероятно, что поэма «О псовой охоте» написана раньше, и Оппиан, так сказать, отталкиваясь от нее, написал свое произведение. Сухой прозаический парафраз поэмы «О ловле птиц» не дает возможности судить о соотношении оригинала с другими двумя поэмами, он интересен только с точки зрения содержания.

Источники Оппиана, на которые он, правда, нигде не ссылается, по всей вероятности, весьма разнообразны и многочисленны: в эпоху, когда жил Оппиан, число произведений, описывавших жизнь животных, было очень велико; помимо естественно-научных трактатов Аристотеля и Феофраста, от многих географов и путешественников (Паммен, Полемон, Мнасей)

⁷ «Сердце» здесь является синонимом ума.

остались рассказы о различных породах животных, об их нравах и о борьбе человека с ними. В этих рассказах нередко смешивались, а иногда безраздельно сливались в одно целое научные наблюдения с самыми нелепыми фантазиями. Кроме того, имелся огромный материал этиологических мифов о происхождении различных животных и растений. Все эти пестрые, разнохарактерные сведения были к услугам поэта, который пожелал бы их использовать. Имелись также с давних времен практические руководства в прозе для охотников, образцом которых является прозаическое сочинение «О псовой охоте», приписываемое Ксенофону. Интерес к этому сочинению не угасал в течение многих веков, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что, по видимому, именно во II в. н. э. (т. е. в эпоху Оппиана) оно было снабжено пышным предисловием в духе второй софистики. Но самое ценное — зарисовки, несомненно, сделанные с натуры, те наблюдения, которые поэт черпал из своего собственного опыта.

Все эти элементы: данные специальных сочинений по зоологии и физиологии, практических руководств для охотников, рассказы географов и путешественников, то правдивые, то фантастические, ходячие мифы, сказки и басни о животных и свои собственные наблюдения — все это нашло место в поэмах, приписываемых Оппиану, и отразилось даже в сухом пересказе поэмы «О ловле птиц».

Содержание поэм значительно шире их названий. Обе они отнюдь не касаются только вопросов охоты, главное внимание обращено на жизнь животных и их особенности.

Поэма «О псовой охоте» имеет характер более систематический и несколько суховатый. Она состоит из четырех книг. После традиционного пышного обращения к императору, который назван Антонином, но сыном Севера и Домны (предполагают, что текст здесь испорчен интерполяцией или ошибкой переписчика), поэма начинается диалогом поэта с Артемидой, которая приказывает ему отказаться от воспевания Вакха, Сабасия, древних героев и новых побед над парфянами (по-видимому, походов Траяна), а также от таких тем, как гибельная или чистая любовь, и воспеть жизнь животных, их ум и хитрость, беспечальную любовь и рождение их детенышей, не нуждающиеся в помощи повивальных бабок. После этого поэт устанавливает три вида охоты — сухопутную, морскую и воздушную, отдает предпочтение первой, как самой опасной, требующей от охотника большей смелости, чем ловля рыб и птиц, и излагает, каким должен быть охотник (сухощавым, быстроногим, решительным, наблюдательным); далее точно указывается, в какое время дня надо охотиться в разные времена года, перечисляются орудия охоты и подробно описываются породы коней и собак; эта часть поэмы близко примыкает к трактату Ксенофонта; в конце I песни (или, вернее, книги) очень живо описывается, как надо воспитывать щенка, заставляя его разыскивать спрятанного убитого зайца. II песнь рассказывает о диких нехищных животных — диких быках, оленях, ланях, козах и баранах, о слонах, носорогах и обезьянах; живо описан внешний вид животных, их драки в брачный период, картина борьбы оленя с нападающими на него змеями; наиболее мудрым животным, конечно, признается слон. III песнь посвящена хищникам: описаны различные породы львов, пантер, медведей, рысей, волков, гиен и тигров, с указанием их расцветки, образа жизни и питания. В эту песнь введен занимательный элемент: рассказ о храбром маленьком хищнике ихневмоне, который проникает через широкую пасть спящего крокодила в его внутренности, пожирает их и вылезает обратно, когда крокодил, бросившись в воду от нестерпимой боли, околевает. В этом месте строгая систематичность поэмы несколько нарушается тем, что совершенно не-

ожиданно заходит речь о верблюде, страусе и зайцах. Поэт считает нужным оправдаться в том, что вводит в поэму страуса — птицу, а не зверя; но он указывает на то, что страус не летает, а очень быстро бегаёт и поэтому охота на него производится всадниками и лучниками, как на дикого зверя. В IV песни после указания, что охотник должен уметь следить за направлением ветра и улавливать запахи, даются живые картины охоты на льва разными способами (в Ливии — приманкой и засадой, в Ассирии — облавой с факелами, в Эфиопии — непрерывной погоней копейщиков и лучников); менее подробно, но столь же живо изображена охота на пантер, медведей, зайцев и лисиц. Поэма обрывается несколько внезапно, эпилога нет, почему и считают, что она сохранилась не полностью. Однако едва ли утеряна значительная её часть; главные виды охоты в ней перечислены, а эпилог и в поэме «О рыбной ловле» тоже появляется довольно неожиданно и занимает всего 6 стихов.

Поэма «О псовой охоте» написана по строго обдуманному плану и вполне отчетливо распадается на отдельные части, вследствие чего она напоминает учебник; однако в каждую песню введены занимательные, живо написанные эпизоды, что делает чтение её нескучным. Интерес поддерживается также введением некоторых мифологических рассказов, художественных сравнений и забавных небылиц.

Поэма «О рыбной ловле» менее систематична, но более разнообразна и местами даже подлинно поэтична. Чтение её, однако, значительно труднее как вследствие малого знакомства обычного читателя с нравами и жизнью рыб, так и вследствие неясных названий пород рыб и несоответствия их современным названиям; например, под термином «*κῆτος*» подразумевается, по-видимому, акула, так как описано, как эта рыба с двумя рядами зубов пожирает человека.

Поэма распадается на пять песен. Она начинается с краткого обращения к Марку Аврелию, тоже названному Антонином, и его сыну Коммоду и немедленно переходит к описанию трудностей жизни рыбака сравнительно с жизнью охотника. Далее описаны различные породы рыб, полипы и медузы. Значительное место уделено излюбленному греками дельфину, считавшемуся другом людей. Устройство «государства» рыб, вражда между отдельными видами, брачный период, отношение матерей к детенышам в довольно пестром беспорядке заполняют I песнь. II песнь посвящена в основном той же теме вражды, военных хитростей (в числе которых упоминается мимикрия) и способов самозащиты и заканчивается моральным выводом о вреде междоусобиц и преимуществах мира. III песнь говорит о том, каким должен быть рыбак, и описывает различные виды рыбной ловли: на приманку, на музыкальные звуки, на излюбленные рыбами запахи. IV песнь продолжает эту тему, повествуя об использовании в качестве приманки пойманных самок, о заманивании рыб в подводные пещеры, ловле их в зимние бури и холода и, наконец, странном способе ловли мертвых рыб, убитых растворённым в воде ядом; по-видимому, и такая рыба могла употребляться в пищу. Наконец, в V песни описана охота на «морских чудовищ» — акул разных пород; с большим негодованием рассказывается об охоте «нечестивых фракийцев» на дельфина, который даже в момент гибели проявляет кротость и благородство; поэма заканчивается очень живым описанием трудностей работы водолазов, добывающих пурпурные раковины и губки.

Так же как и поэма «О псовой охоте», поэма «О рыбной ловле» широко использует драматические картины из жизни животных и сцены охоты. Борьба полипа и мурены во II песни производит впечатление более силь-

ное и мрачное, чем борьба оленя со змеями, может быть, по причине большего знакомства автора с подводным миром, а также благодаря описанию страшных, причудливых форм сражающихся врагов. Картины массовой гибели рыб, которых давят в подводных пещерах окованным бревном, или огромных рыбьих косяков, разрезаемых во время миграции киями лодок, несомненно, написаны с натуры и представляют большой интерес с точки зрения развития натуралистических приемов описания.

В прозаическом парафразе поэмы «О ловле птиц», разделенном на три главы, первая описывает некоторые породы птиц, живущих на суше, вторая — приморских птиц, третья же начинается таким же перечислением качеств, необходимых для птицеловов, какое имеется и в обеих разобранных поэмах применительно к охотнику и рыбаку; указано, что опасности грозят только тем птицеловам, которые охотятся на горных хищных птиц, однако, ловкость, наблюдательность и хорошее зрение нужны птицелову не меньше, чем охотнику; кроме того, он должен уметь подражать голосам птиц. Далее перечисляются способы ловли птиц (силками, сетями, клеем и на разные виды приманок).

Из изложения содержания всех трех произведений видно, что схема их построения одна и та же.

Связь между этими тремя поэмами, несомненно, имеется. Наиболее вероятно, что основной и самой ранней по времени создания является поэма «О псовой охоте». Во-первых, по характеру она наиболее тесно примыкает к своим прозаическим источникам — зоологическим трудам, с одной стороны, и практическим руководствам для охотников — с другой. Во-вторых, в поэме «О рыбной ловле» встречаются несколько раз ссылки и сравнения, указывающие на знакомство с картинами, описанными в поэме «О псовой охоте», например, битва полипа и мурены сравнивается с битвой оленя и змеей, охота на акулу — с охотой на льва. Имеются, правда, и двусторонние сравнения: полип, пожирающий в голодное время, зимой, свои собственные отростки, сравнивается с медведем, сосущим зимой свою лапу, и, наоборот, в поэме «О псовой охоте» — медведь с полипом. Наиболее же ясно отражается отношение поэмы «О рыбной ловле» к поэме «О псовой охоте» в полемически заостренных стихах о трудностях жизни рыбака; в начале поэмы об охоте жизнь рыбака изображена как мирное сидение с удочкой и сетями, как ловля беззащитных рыб, неспособных оказывать сопротивление; откликом на это является начало поэмы «О рыбной ловле», изображающее, напротив, в розовых красках жизнь охотника, бродящего с верным товарищем, собакой, в тенистых лесах среди журчащих ручьев, между тем как рыбак ввергает жизнь ненадежному морю, преследует неуловимых рыб и сражается с морскими чудовищами. Хотя и та, и другая тирада являются только разработкой известного «общего места» о преимуществах ремесел, которое бесконечно перепевали и греческие, и римские поэты, но все же скорее поэма «О рыбной ловле» откликается на поэму «О псовой охоте», а не наоборот.

В поэмах «О псовой охоте» и «О рыбной ловле» научные цели, конечно, не ставятся; однако они все-таки дают представление о состоянии естественнонаучных наблюдений и классификаций в ту эпоху. Общие законы, существующие в мире животных, отражены в основном верно и даже точно сформулированы: например, инстинкт самосохранения и использование имеющихся средств защиты (рогов, клыков, пахучих выделений желез и т. д.).

Кроме того, в обеих поэмах разбросано огромное число мелких частных наблюдений над различными животными. Правда, наиболее известные

звери имеют те же черты, которые, начиная с басен Эзопа, прочно закрепились за ними в литературе: хитрая лиса, обманывающая любого охотника и боящаяся только собак, недремлющий быстроногий заяц, лев, не боящийся ничего, кроме блеска огня, ленивый сластена медведь и мать-тигрица; но у Оппиана к этому прибавлены и наблюдения над менее известными животными, например, онагром и гиеной, над тюленями и особенно над рыбами (например, амии, преследующие дельфина, безобидная травоядная рыба кестрий и др.).

Наряду с наблюдениями, верность которых не вызывает сомнений, в обеих поэмах встречаются очень забавные сообщения, либо являющиеся результатом недостаточных знаний, либо основанные на сказке или мифе.

Автор поэмы «О псовой охоте», правда, иногда выражает сомнения о некоторых приводимых им же самим сведениях, как, например, в том, что тигры встречаются только женского пола, и объясняет это храбростью тигрицы, остающейся защищать детенышей, между тем как самец, всегда убегающий от охотников, не попадает им в руки; сомнительным кажется ему и то мнение, что гиены каждый год меняют свой пол; но относительно носорогов он сам категорически утверждает, что существуют только носорогисамцы, а их детеныши зарождаются прямо в нильском иле.

На первый взгляд трудно представить себе, как можно говорить об идеологии таких эклектических поэм, разрабатывающих полунаучный, полусказочный материал. Тем не менее она не только существует, но и довольно ясно обнаруживается. Поэмы и книги о животных — не случайное явление во II в. н. э. Закономерно и их посвящение Марку Аврелию, стоящему на императорском престоле. Эти поэмы пропитывают стоический дух. Обращение к Зевсу в I песни поэмы «О рыбной ловле» чрезвычайно близко к гимну стоящему Клеанфа; почти в тех же словах оно восхваляет мощь Зевса, управляющего всем миропорядком. Восхваление добродетелей — дружбы, самоотверженности, любви к детям, взаимопомощи и в качестве политического варианта этих общих мест восхваление мирной императорской политики — все это указывает на основную тенденцию поэм; чувства, которые ведут к вражде, — страстная любовь и ревность — беспощадно осуждаются в обеих поэмах в чрезвычайно сходных выражениях; в сотый раз формулируются выработанные еще в классической литературе «общие места» о губительности страсти и ревности. В обеих поэмах постоянно проскальзывают ноты жалости к убиваемым животным и рыбам, какой-то сентиментальный гуманизм, не согласующийся с основной темой поэм, которые требуют от охотника и рыбака смелости и ловкости, восхваляют величие храбрых людей, но в то же время постоянно упрекают их в жестокости сердца.

Личность автора ясно не выступает нигде, и его мировоззрение отражается только в этих общих формулах. Единственное место, которое, пожалуй, можно поставить в связь с биографией Оппиана, это искренне звучащие стихи о радостном возвращении изгнанника на родину, которые иллюстрируют возвращение рыб к привычным берегам после зимней миграции.

Относительно художественной формы обеих поэм многого сказать нельзя: они написаны правильным, местами даже благозвучным, но однообразным гексаметром (особенно поэма «О рыбной ловле»). Особой прелестью отличаются реалистические описания поведения животных и охотничьи сцены, между тем как разработка «общих мест» не представляет собой в художественном отношении ничего оригинального сравнительно с эллинистическими образцами; типично для эпохи и оригинально только использование этих общих мест с моралистическими целями. Господство риторичности



Вакхическая пляска. Мрамор.
Гос. Эрмитаж

тоже наложило свою печать на обе поэмы: не раз влагаются в уста животных трогательные речи, обвиняющие их врагов в жестокости, но если обращение гонимой лани или умирающего дельфина к убийце-человеку еще до некоторой степени уместно, то длинная речь, которую будто бы произносит самка онагры к онагру, уничтожающему свое мужское потомство, может произвести на нас только комическое впечатление.

Обе поэмы богаты сравнениями, которые заслуживают более тщательного разбора, так как они взяты преимущественно из повседневной жизни и дают богатый бытовой материал: здесь и дети, бегущие за учителем, и кутящие молодые люди, возвращающиеся с пирушки, и сын, бережно ведущий слепого отца, и кулачный боец, падающий от ран и ослепленный льющейся со лба кровью.

Сравнений из области природы очень мало; в своей поэтике Оппиан в основном следует Гомеру, что обусловлено самим эпическим жанром поэмы; но заслуживает внимания то, что поэт этой поздней эпохи поясняет явления природы сравнениями из быта людей, а не наоборот.

Остается сказать несколько слов об использовании мифологического материала. Мифы приводятся в очень большом количестве и преимущественно тоже с морализирующей целью. Таков миф о происхождении цветка мяты, в который была превращена девушка, спасавшаяся от преследо-

ваний отца. Наиболее интересен длинный этиологически-религиозный миф о происхождении пантер, в которых были якобы превращены Дионисом менады по их собственной просьбе, так как они хотели отомстить Пенфею, не желавшему признать их бога; автор подчеркивает, что уже нельзя верить в рассказы поэтов об убийцах-матерях (IV, 316—319). Очевидно, в гуманную эпоху II в. рассказ о матери, убившей родного сына, о растерзании Пенфея Агавой и ее сестрами был заменен в культе Вакха более приемлемым рассказом о растерзавших его пантерах. Культ Вакха, в это время очень мощный и все усиливавшийся, по-видимому, стремился принять более гуманные формы и очищал свои мифы от древних ужасов. Если сопоставить конец этого нового мифа с запрещением Артемиды петь о Дионисе и Сабазии, то это вносит интересную черту в религиозную историю II в., уставшего от жестокостей и стремившегося к несколько сентиментальной добродетели и морали. Таким образом, и в поэмах, как будто по своей теме далеких от всякой конкретной исторической обстановки, она с необходимостью все же отражается в совершенно ясных чертах.

4. КВИНТ СМИРНСКИЙ

Относительно Квинта Смирнского не только не имеется надежных биографических данных (кроме нескольких стихов в поэме, о которых речь будет ниже), но даже эпоха, в которую он жил, точно неизвестна. Те доводы, на основании которых его обычно относят к середине IV в., нельзя признать абсолютно убедительными: а именно, считают, что он безусловно жил раньше Нонна, так как в его поэме нет тех метрических нововведений, которые характерны для поэмы Нонна. Однако Квинт мог сознательно избегать этих нововведений и намеренно строить свой стих по гомеровскому образцу; кроме того, он мог быть даже и вовсе незнаком с поэмой Нонна; литературные течения IV—V вв. настолько мало известны, что мы не в состоянии судить о распространенности того или другого произведения, тем более что Нонн — житель Египта, а Квинт называет себя уроженцем Смирны и обнаруживает во всей поэме близкое знакомство с географией Малой Азии.

О происхождении и общественном положении Квинта он сам сообщает следующее:

Музы, ведь вы в мои мысли вложили мне всю эту песню
 В дни, когда щеки мои даже пухом еще не покрылись,
 Пас я в ту пору овец на лугах недалеко от Смирны;
 Если же взять расстоянье, в каком человеческий голос
 Слышен, то будет до Герма их три; там же храм Артемиды,
 Сад есть рядом привольный и холм, не высокий, не низкий.

(XII, 308—313)⁸

Если бы Квинт назвал своей профессией любую другую, то не было бы основания сомневаться в его свидетельстве; но маскировка поэта под пастуха, которого Музы научили песням, имела в это время уже более чем тысячелетнюю давность, если считать с Гесиода⁹ и семисотлетнюю даже с тех пор, когда Феокритом и его последователями был установлен канон буколического произведения¹⁰.

⁸ Все стихи в гл. XIV цитируются в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

⁹ «Теогония», 22—25.

¹⁰ Феокрит, VII и IX. Мнение Сент-Бёва, который верит тому, что Квинт был пастухом (Etude sur Virgile suivie d'une étude sur Quinte. P., 1856), как и мнение

Вопрос об источниках поэмы «Послегомеровские события» сложен. По содержанию она примыкает и к киклическим поэмам и к трагедиям. Песни I—V излагают содержание «Эфиопики» (вступление в бой и смерть предводительницы амазонок Пентесилеи и царя эфиопов Мемнона, пришедших на помощь к троянцам, смерть Ахилла и спор об оружии); песни VI—VIII примыкают к «Малой Илиаде»; центральной фигурой в них является Эврипил; песни IX—X излагают историю Филоктета близко к трагедии Софокла; в V песни эпизод безумия и самоубийства Аякса тоже не отступает от трактовки его у Софокла. Последние песни, XI—XIV, соприкасаются, хотя и не очень тесно, со II песнью «Энеиды», повествующей о гибели Трои.

Как и в вопросе о биографии Квинта, мнения исследователей по вопросу о греческих источниках поэмы сильно расходятся. Нет также единого мнения относительно знакомства Квинта с латинскими источниками, особенно с «Энеидой».

Достоверных данных, подтверждающих тот или другой взгляд, конечно, нет, однако в доказательство того, что Квинт имел в руках значительные по объему и притом именно *стихотворные* источники, все же можно привести некоторые доводы. Поэма Квинта является произведением, очень большим по объему и сложным по содержанию. Если предположить, что Квинт имел перед собой только такие прозаические компиляции с голым перечислением имен и фактов, как, например, «Библиотека» Аполлодора, то можно лишь изумиться его таланту, создавшему из таких скудных данных крупное поэтическое произведение со стихом, хотя не оригинальным, но правильным и благозвучным, с целым рядом интересных эпизодов и даже с выдержанными характерами, хотя и немного монотонными и слишком нравоучительными. Если у Квинта был такой большой поэтический талант, то несколько странны очень крупные недостатки его поэмы, выражающиеся главным образом в композиции: бесплановость поэмы, неравномерное построение эпизодов и слабая их связь между собою, повторение сходных ситуаций. Между тем, если Квинт сам был не творцом всей поэмы, а только умелым компилятором чужих поэтических произведений, то становится понятной как раз эта разница в разработке эпизодов и невозможность создать единый цельный композиционный план. Некоторые моменты его поэмы — и притом лучшие — настолько близко примыкают к кикликам, что едва ли можно предположить, что он совершенно самостоятельно развернул их в поэтической форме на основе такого сухого пересказа, какой имеем перед собой мы.

Трудно также голословно отрицать и знакомство Квинта с «Энеидой». Вергилий в римской империи уже давно стал «классиком», и едва ли возможно, чтобы эпический поэт, поставивший перед собой такую широкую задачу, как завершение Гомера, знал только одного Гомера и несколько не интересовался поздним эпосом. Тем более странно, что все исследователи не упоминают о единственно неоспоримой черте биографии Квинта — о его латинском имени. Конечно, тот факт, что он был уроженцем Малой Азии и написал поэму на греческом языке, свидетельствует о его принадлежности к кругу эллинистической культуры, но в эту эпоху во всех странах романизованного Востока двух- и даже трехязычие не только не было редким явлением, но было почти необходимостью для образованного человека.

Н. Кёхли, из дидактического тона поэмы Квинта делавшего вывод, что автор был школьным учителем (Quinti Smyrnaei Posthomericonum libri XIV. Leipzig, 1850), продолжавшим Гомера для своих учеников, а также предположение, что Квинт был государственным деятелем, занимавшимся поэзией на досуге, лишены веских оснований и не дают ничего для понимания и характеристики поэмы Квинта.

Квинт несомненно был таковым, и поэтому едва ли следует предполагать, что латинская литература и в особенности ее эпический корифей могли быть Квинту совершенно незнакомы.

Все исследователи, работавшие над поэмой Квинта, упрекают его в неудачной композиции поэмы. Действительно, в его поэме нет единого фабульного стержня с завязкой и развязкой; она имеет хроникально-повествовательный характер и излагает события на первый взгляд без всякой внутренней связи, как они следовали одно за другим. Однако не совсем верно отрицать ее известное внутреннее единство, которое лежит не в чисто художественных, а в идеологических особенностях.

Поэма начинается с дня, следующего за сожжением тела Гектора. В первой же песни развивается один из удачнейших эпизодов поэмы. Пентесилея, предводительница отряда амазонок, очень смелая и самоуверенная, вступает в бой, одерживает победу за победой, пока на поле битвы не появляется Ахилл, который насмешливо предупреждает ее об опасности поединка с ним; когда она тем не менее вступает с ним в бой, он убивает ее первым же ударом, но затем, пораженный ее красотой, горько оплакивает ее; за такое мягкосердечие он подвергается насмешкам Ферсита и, вспыхнув, убивает его ударом кулака; Диомед, родственник Ферсита, завязывает с Ахиллом ссору, которую с трудом удается прекратить подоспевшим вовремя товарищам.

Весь этот эпизод написан очень живо и драматично. По свидетельству Прокла, в таком порядке эти события были изложены у Арктина Милетского. Именно относительно этого эпизода особенно уместно выразить сомнение в том, что Квинт совершенно самостоятельно создал этот сложный и прекрасно написанный эпизод, не имея перед собой хотя бы отрывков поэмы Арктина.

Второй эпизод — появление Мемнона с эфиопским войском, его битва с Антилохом, сыном Нестора, беседа с Нестором, смерть и перенесение его тела на родину, к его матери Эос — написан значительно слабее сражения с амазонками и более растянут. По-видимому, оба эти эпизода были связаны между собой и в источниках, которыми пользовался Квинт; указанием на это служит упоминание Вергилием фигур Мемнона и Пентесилеи у входа во дворец Дидоны¹¹.

В дальнейшем изложении событий Квинт то очень близко соприкасается с Гомером (особенно в описании боевых эпизодов и погребальных игр), то проявляет значительную самостоятельность. Наименее удачны песни о подвигах Эврипила, сильно напоминающие описания доблести Диомеда, Агамемнона, Патрокла и Ахилла. Наиболее же интересным является эпизод трагической смерти Париса. Тяжело раненный Парис с трудом добирается до жилища своей первой возлюбленной, нимфы Эноны, которая может его исцелить; она не впускает его к себе, желая отомстить ему за измену, но продолжает страстно любить его. Парис умирает на обратном пути, а Энона, узнав об этом, бежит ночью одна через дикий лес, бросается в пламя его погребального костра и погибает вместе с ним. В описании бега Эноны и в плаче нимф о Парисе есть отголоски как обычных «плачей», так и стилизованных «плачей» эллинистических поэтов¹².

Гибель Трои описана Квинтом очень подробно и оставляет более трагическое впечатление, чем рассказ Энея у Вергилия, именно вследствие того,

¹¹ Вергилий, «Энеида», I, 489 слл.

¹² Ср. «Плач об Адонисе» Биона в гл. V настоящего тома, а также см. Феокрит, Мосх, Бион, М. Изд-во АН СССР, 1958, стр. 171. Перевод М. Е. Грабарь-Пассек.

что повествование ведется в холодном тоне хроники и представляет собой перечень отвратительных жестокостей, насилий и убийств. Более живым эпизодом является только встреча Менелая с Еленой; Менелай врывается в дом Елены, убивает ее третьего мужа, Деифоба, и хочет убить Елену, хотя чувствует, как Афродита ослепляет его красотой жены; но его руку, уже поднятую для убийства, останавливает Агамемнон. Утром Елена, боясь и стыдясь греков, под покрывалом идет за Менелаем к кораблям; но греки, полные радостью победы, уже забыли о перенесенных бедах и о своем гневе против Елены и даже приветствуют ее.

Характеры персонажей в поэме Квинта несколько однообразны. Они более «книжны», чем герои поэм Гомера. Отдельные поступки героев не так ясно вытекают из их основного душевного качества: они рациональнее, слабее и сентиментальнее. Но характеры их обрисованы не слабее, а, напротив, яснее, чем, например, характеры в «Аргонавтике» Аполлония Родосского. Если в поэме Квинта нет вполне законченных фигур, как Ахилл или Одиссей, то отдельные психологические моменты даны очень тонко. Такова, например, молчаливая обида Андромахи на похвальбу Пентесилеи, готовящейся без труда победить того, кто победил самого Гектора; таков полный оскорбленной любви ответ Эноны Парису или, например, такая деталь, как то, что о смерти Париса плачет только его мать, Гекуба, отец же его, Приам, остается совершенно равнодушен к гибели своего негероического сына, но не отходит от могилы Гектора. Вообще многочисленные речи и «плачи», разнообразные и выразительные, являются одним из лучших украшений поэмы.

Как и поэты эпохи эллинизма, Квинт кое-где вводит в поэму элементы александрийской учености, то в форме астрономических или метеорологических сведений, то в форме географических или мифографических разъяснений, однако, он менее злоупотребляет этим, чем Аполлоний Родосский; а некоторые описания Квинта, например, описание плачущей скалы на Сипиле, в которую превратилась Ниобея, несмотря на всю неуместность помещения его в середину рассказа о битве, сами по себе очень удачны (I, 293—306).

Гомеровские боги играют в поэме Квинта сравнительно незначительную роль. Правда, Арес, разгневанный и огорченный гибелью своей дочери Пентесилеи, хочет вмешаться в битву; Ахилла убивает не Парис, а сам Аполлон, Афродита заступает за Елену и т. п.; но того живого участия в перипетиях боя и в судьбах греков и троянцев, как у Гомера, эти боги и богини все же не принимают. Вместе с тем богини не являются в образе любезных александрийских красавиц, как в поэме Аполлония; герои не приносят жертв богам при каждом удобном случае, как Ясон и аргонавты. Они питают серьезную и глубокую веру в существование строгого миропорядка, в судьбу мира и людей, и притом судьбу трагическую, грустную, но несущую нравственный характер и не безразличную к духовному облику человека.

Конечно, герои Квинта философствуют слишком много для воинов архаической эпохи, но именно те мысли, которые они высказывают, особенно интересны для нас, так как свидетельствуют о мистических и философских исканиях и языческо-христианском синкретизме. Многие мысли в поэме Квинта звучат то по-неоплатонически, то даже почти по-христиански, но на них лежит отпечаток сдержанного скептического пессимизма. Отдельные выражения такого настроения встречались уже в эпиграммах и даже в любовных стихотворениях эпохи эллинизма, здесь же эти мысли сомкнулись уже в цельное мирозерцание, спокойное, но нерадостное; оно покоится на двух основных положениях, по существу противоречащих друг другу: на идее

непреложности и трагичности человеческой судьбы и на идее ответственности человека за свои поступки не перед самим собой, а перед какой-то высшей силой. Наиболее цельно изложена эта система мыслей в словах Нестора, обращенных к Подалирию, который безумно горюет на кургане своего брата Махаона (кстати, и скорбь Подалирия тоже описана в более индивидуальных и утонченных тонах, чем плач Ахилла над Патроком),

Нестор говорит Подалирию:

Ты воскресить его к жизни и к свету дневному не можешь;
 В воздух незримо душа унеслась, а тела останки
 Сжег беспощадный огонь и кости земля восприняла.
 Как он расцвел, так увял. А ты бесконечное горе
 Должен с терпением нести. Ведь и мне печальную гибель
 Сына увидеть пришлось; не хуже он был Махаона,
 Разумом светлым он был одарен; из воинов юных
 Был ли другой, кто с отцом был связан такою любовью?
 Ради меня он погиб; он отца от гибели черной
 Телом своим защитил; но в день его смерти заставил
 Я себя пищу вкусить и живым зари я дождался,
 Зная, что смертны мы все, что сойдем этой общей дорогой
 Все мы в жилище Аида, что всем нам поставлены грани
 Мрачные горькой судьбой; потому подобает нам, смертным,
 Все претерпеть, что нам бог ниспошлет,— и радость, и горе.

(VII, 41—55)

Агамемнон и Филоктет тоже обмениваются философскими рассуждениями об изменчивости судьбы и человеческих сердец. По убеждению героев Квинта, существенной частью смертного человека является не тело, а душа. В одном сравнении, упоминая о смерти Геракла, Квинт говорит:

...Вся Эта стонала
 В час, как горел он живым; его дух с эфиром смешался,
 Славного мужа покинув, и сам он к богам приобщился,
 Тело ж страдавшего много земля в это время сокрыла.

(V, 646—649)

Поэма Квинта заканчивается описанием страшной бури, которую Афина посылает на греков как кару за нечестие Аякса Оилида и в которой гибнет, уже достигнув берега родины, сам Аякс; Посейдон же в ночь после отплытия греков разрушает деревянные стены. Этот конец поэмы отнюдь не случаен и не является только хронологическим окончанием войны, как может показаться на первый взгляд; он совершенно логически подводит морализующий итог всему повествованию. Троянцы погибли за нарушение закона гостеприимства, но греки тоже несут кару за свои преступления, а быстрое разрушение их стен — доказательство хрупкости дел рук человеческих.

В этих общих мыслях о судьбе людей и заключается то внутреннее единство поэмы Квинта, которого нельзя найти в ее слабо скрепленной фабуле; именно идейный стержень придает известную цельность этой поэме, которая рассказывает о древних героях, но рассказывает по-новому.

Язык Квинта близко примыкает к языку поэм Гомера; но Квинт не является рабским последователем Гомера и нередко вводит новые, современные формы и обороты речи. Детального исследования словаря, грамматических и метрических особенностей поэмы не имеется. Из общепринятых

во всех эпических поэмах литературных приемов наибольшей любовью Квинта пользуются сравнения, которые щедро рассыпаны по всему произведению, местами даже излишне нагромождены; среди них встречаются очень красивые. Они охватывают приблизительно тот же круг представлений, что у Гомера (явления природы, сельский быт, охота, жизнь диких зверей, мореплавание) и на первый взгляд очень похожи на сравнения в гомеровских поэмах, хотя ни одно не перенесено буквально. Однако при более внимательном чтении можно заметить, что они значительно менее конкретны и наглядны; можно видеть, что Квинт был не так хорошо знаком с устройством корабля и тем более колесницы, с упряжкой лошади и т. п. Он предпочитает при описании трудовых процессов общее, а не частное выражение, не специальный термин, вследствие чего картина получается более расплывчатая. То же относится к описанию одежды и оружия.

Совершенно оригинальным является сравнение Приама со слепцом, прозревшим после операции: его зрение еще неполное, так же неполна и радость Приама, потерявшего Гектора; но все-таки слепец видит вновь, а Приам способен радоваться неожиданной помощи.

Квинт строго соблюдает и другие «общие» места эпических поэм: у него есть длинное описание кубка Приама и оружия Ахилла, подробный рассказ о состязаниях в разных видах физических упражнений: введено даже состязание в речах.

Что касается отношения Квинта к историческим событиям, то он является сознательным и намеренным архаизатором, но все же у него имеются три анахронизма — состязание в верховой езде, применение пыток и предложение атаковать Троию знаменитым римским приемом «черепахи».

Из всего, что сказано о поэме Квинта, видно, что ее автор был культурным человеком с широким образованием и не был лишен философских интересов. Поэтому почти с достоверностью можно сказать, что его «пастушеская» профессия была обычной литературной маскировкой писателя-интеллигента.

5. НОНН

Биографические сведения о Нонне, как и о других поэтах его времени, чрезвычайно скудны. Известно лишь, что он уроженец Египта и в конце жизни был христианским епископом в Панополе (в среднем Египте).

От Нонна до нас дошли два произведения, на первый взгляд не только не имеющие между собою ничего общего, но даже как будто совершенно несовместимые друг с другом: огромная поэма «О Дионисе», воспевающая подвиги Вакха-Диониса, и переложение в гексаметрах «Евангелия от Иоанна», являющееся первым дошедшим до нас произведением литературного жанра метафразы, который впоследствии пользовался настолько большим успехом в византийской литературе, что переложению подвергалась не только проза, но даже стихотворные произведения перелажались из одного размера в другой.

Поэма «О Дионисе» начинается с рассказа о похищении Зевсом Европы. В то время как Зевс находится с Европой на Крите, гигант Тифон крадет его оружие; брат Европы Кадм, последовавший за ней, помогает Зевсу вернуть оружие, усыпив Тифона прекрасной пастушеской песней (песнь I). Зевс, получив обратно оружие, побеждает Тифона и устраивает брак Кадма и Гармонии (песни III—VI). В V и VI песни введен очень темный миф о рождении Загрея от Персефоны и Зевса, проникшего к Персефоне в виде змеи, о гибели этого ребенка от руки титанов и о засухе и потопах, кото-

рые Зевс, мстя за смерть Загрея, посылал в наказание на землю. О любви Зевса к Семеле, ревности Геры, гибели Семелы, рождения Диониса и судьбе других дочерей Кадма и их детей (Автонои и Актеона, Ино и Меликерта) рассказано в песнях VII—X.

Таким образом, Дионис, как взрослый юноша, выступает в качестве героя поэмы только в XI песни. XI и XII песни посвящены истории дружбы Диониса с прелестным юношей Ампелом (*ἄμπελος* — виноградная лоза), который сперва побеждает Диониса в единоборстве, потом становится его другом, но проiscaми Геры погибает на охоте, подобно Адонису; из его могилы в утешение Дионису, который его горько оплакивает, вырастает виноградная лоза; из сока винограда Дионис впервые делает вино на радость людям.

С XIII песни Дионис готовится к походу против Индии. Однако походу предшествуют многие вводные эпизоды; Дионис опьяняет и соблазняет охотницу Никею, избегавшую любви и убившую влюбленного в нее пастуха Гимна; Никея рождает ему дочь Телету; против Диониса выступает некий Ликург, убегая от которого Дионис бросается в море, где его спасает Фетида. Повествование о самом походе тоже прерывается побочными эпизодами, например повестью, имевшей впоследствии долгую историю в европейской литературе, о самоотверженной дочери, спасшей в темнице старика-отца от голодной смерти тем, что кормила его грудью (XXVI песнь). Или: после победы певец поет у костра песню о том, как Афродита, позавидовав искусству Афины, взялась за прялку и подверглась осмеянию со стороны всех богов за свою неловкость (XXIV песнь).

После победоносного конца похода Дионис сватается к красавице Берое, дочери Афродиты, другим претендентом на руку которой является старик Посейдон; на состязаниях, назначенных по требованию Афродиты, побеждает Посейдон, и Бероя достается ему, несмотря на то, что она предпочла бы выйти за молодого Диониса. Дионис возвращается из Азии в Грецию, на острове Накосе женится на Ариадне, покинутой Тесеем; на своей родине, в Фивах, он мстит сестрам своей матери и внуку Кадма Пенфею, царю Фив, за непризнание его сыном Зевса; он ввергает сестер матери в вакхическое безумие, в котором одна из них убивает своего родного сына Пенфея. Далее Дионис проходит через Аттику, где обучает виноделию Икария, гостеприимно принявшего его к себе в дом; но после ухода Диониса опьяневшие крестьяне убивают самого Икария, а его дочь Эригона кончает жизнь самоубийством. Дионис же переезжает на остров Сериф, где сталкивается с Персеем и где погибает Ариадна, обратившаяся в камень при виде головы Горгоны. Страшный бой между Дионисом и Персеем прекращает Гермес (XLVI песнь). В последней (XLVIII) песни рассказывается, как лесная нимфа Аура, соблазненная Дионисом таким же способом, как Никея, рождает ему близнецов, из которых одного она тут же убивает своими руками. Другого, получившего имя Иакха, Дионис спасает, поручает Никее и ее дочери Телете и вместе с ними восходит на Олимп к богам.

Едва ли будет когда-либо возможно с точностью определить если не все источники поэмы Нонна, то хотя бы значительную их часть. Уже по суммарному изложению содержания видно, какое необозримое количество сюжетов впитала в себя эта объемистая поэма.

Нонн не был первым, кто написал большую эпическую поэму о Дионисе. Даже по имеющимся у нас сведениям таких поэм до Нонна было написано три: Эвфорионом, Сотерихом и Дионисом. Относительно поэмы Диониса имеются некоторые сведения у Стефана Византийского, который

перечисляет упоминаемые там индийские города и трех полководцев царя Дериада, из которых у Нонна упомянуты два. Насколько Нонн использовал эти поэмы, от которых не сохранилось значительных фрагментов, мы не знаем.

Далее, как все эпические поэты, Нонн черпает щедрой рукой из всеобщего эпического источника — поэм Гомера. Описание боев в войне с Дериадом иногда до мелочей заимствовано им из «Илиады», имеются даже дословно перенесенные стихи и несколько измененные. Поединки, речи, игры, битва богов, участие реки Гидаспа в боях — все это копия с Гомера. Сам поэт указывает на это: говоря о Гидаспе, он вспоминает о Симоисе и Скамандре. В силу абсолютно подражательного характера эта часть поэмы Нонна не особенно интересна.

Не меньше заимствует Нонн из эллинистической поэзии. Весьма вероятно, что заимствований из нее даже значительно больше, чем можем заметить мы, так как эллинистический эпос в большей своей части нам не известен. Из явно подражательных эпизодов надо отметить, например, похищение Европы Зевсом (особенно описание бега быка по морским волнам); оно тесно примыкает к «Европе» Мосха. Широко используется Феокрит: жесткая охотница Никая и влюбленный пастух Гимн в своих беседах повторяют почти буквально обороты из идиллий, а плач природы после смерти Гимна является одним из звеньев той цепи «плачей» с рефреном¹³, начало которой положено первой идиллией Феокрита; от народной поэзии этот тип плача отстоит несравненно дальше, чем гомеровский плач Андромахи по Гектору. В описании потопа появляются излюбленные персонажи буколической поэзии — Киклоп и Галатей, Пан, влюбленный в Эхо и заботящийся о ней во время потопа, Алфей, ныряющий все глубже, чтобы достигнуть Аретусы, и, конечно, Эрот. Все излюбленные сентиментально-эротические мотивы эллинизма используются Нонном.

Источником, совершенно не поддающимся учету, являются устные предания о Дионисе. Мифы об отношениях между Деметрой и Дионисом, Кибелой и Дионисом, между Загреем, Дионисом и Иакхом, более поздние фантастические повести о походах Александра Македонского, насланивавшиеся на древние мифы о Дионисе, — все это создавало чрезвычайно сложную сеть рассказов, легенд и символов, которая становилась еще сложнее от того, что значительная часть связанных с ними образов была доступна только посвященным в мистерии и сохранялась по возможности в тайне. В поэме Нонна действительно имеются некоторые намеки чисто культового характера¹⁴.

Мистические культы всегда окутаны густым туманом символов и мифов. Культ Диониса существовал в эпоху Нонна уже более тысячи лет и в IV в. сохранил еще настолько большую силу, что пытался выступить как главный соперник уже почти победившего христианства. Главные поборники его — Максим и император Юлиан — старались связать древний культ с определенной системой религиозной философии и создать свою догматику греха и очищения в противовес христианской. Эти идеологические течения не могли оставаться вне поля зрения того, кто писал поэму о Дионисе.

Темой поэмы, сюжетным стержнем, вокруг которого группируются все бесчисленные перипетии поэмы, является вся земная жизнь Диониса, сына Зевса и смертной женщины, ставшего равным олимпийским богам, в число

¹³ Ср. Бион «Плач об Адонисе» и Мосх «Плач о Бионе» в гл. V настоящего тома.

¹⁴ Например, см. ниже рассказ о Загрее.

которых он включен по воле Зевса, как Аполлон и Гермес, между тем как другие сыновья Зевса — Геракл, Кастор, Персей — остаются героями или полубогами. Воплощение божественной силы в ребенке, рожденном земной женщиной, есть основной вопрос восточных религий — вопрос теофании. Если рассматривать поэму Нонна как историю теофании Диониса, то поэма приобретает большую внутреннюю цельность. Восемь песен, предшествующие рождению Диониса, показывают, как Зевс подготавливает появление своего божественного сына: он похищает Европу, чтобы привлечь к себе Кадма, он устраивает брак Кадма, от которого должна родиться Семела, будущая мать Диониса. Последние восемь песен, после окончания похода, подводят итог земной жизни Диониса, когда он в свою очередь принимает сына, рожденного земной женщиной, и берет его с собой на Олимп, покидая землю. С такой точки зрения и миф о Загрее является первой, неудавшейся теофанией Зевсова сына; понятен и страшный гнев Зевса, едва не погубившего всю землю огнем и водой из-за гибели этого младенца. Сквозь кажущееся нагромождение побочных эпизодов и отступлений Нонн твердой рукой проводит эту историю теофании. Три рождения — Загрея, Диониса и Иакха — смыкаются в одну цепь, и в конце поэмы автор подводит итог рассказа. Рождение всех троих окружено символами и чудесами, причем некоторые намеки на магические обряды едва ли могут быть раскрыты полностью; рогатые животные, приносимые в жертву, и змеи (вероятно, образ глубоко скрытой мудрости, взятый из хтонических культов) постоянно выступают в качестве символов Диониса.

Первый Дионис, Загрей, погибает в образе быка, второй Дионис, Вакх, побеждает своих врагов и восходит к богам, но только третий Дионис, Иакх, завершает полный круг теофании, и перед ним преклоняются даже дикие звери. В следующих трех эпизодах заключается основной идейный замысел поэмы. Рождение Загрея описано в VI песни.

В чреве своем Персефона носила растущее чадо
И породила Загрея, рогатого сына, который
Только один лишь поднялся на Зевсов престол поднебесный.
Молнию в руки схватил он; и в нежных ладонях ребенка,
Чуть лишь узревшего свет, смягчились громовые стрелы.
Зевсов престол занимал он недолго лишь. Скоро титанам
Гневная Гера богиня, пощады не зная, велела,
Скрыв свои страшные лица, за тайное взяться убийство.
Тартара острым мечом был ребенок убит; в это время
Он на свое отраженье в двойных зеркалах любовался.
Были рассечены члены его секирой титанов,
Жизни конец был положен. Но стал Дионис возрождаться
В образе новом опять, меняя свой вид и природу.

(VI, 163—175)

Когда Дионис-Загрей принимает вид быка, его убивают в последний раз, и он не возрождается до рождения нового Диониса.

Бык дерзновенный упал; а убийцы двуострой секирой
Тело его рассекли — Диониса в обличье бычачьем.

(VI, 206—207)

Изображение быка и двойной секиры, по-видимому, символизирующих жертвоприношение, обнаруживают уже раскопки крито-микенской эпохи (литая голова быка с двойной секирой между рогами).

При описании рождения Диониса, сына Семелы, которого Зевс доносил, скрыв в своем бедре, поэт тоже прибегает к символам, не вполне понятным для нас.

Оры, которым известно грядущее, взяли младенца.
 Чадо, рожденное богом, плющом разукрасили пышным,
 Но на головку его, в венке из цветов, возложили
 Змеек рогатых они, согнутых в кольцо, и венчали
 Этим венцом Диониса, родного быку по природе.

(IX, 11—15)

Наконец, рождается третий Дионис — Иакх; его брата-близнеца убивает их мать Аура; она хочет убить обоих детей, но Иакха спасает Дионис. По-видимому, Аура играет здесь роль Геры, желающей прекратить жизнь божественного отпрыска, перед которым склоняются даже звери:

Но Дионисовых чад, прекрасных, недавно рожденных,
 Пастью своей сыродной тигрица не тронула. Нежно
 Их облизала она и своим молоком напитала.
 Множество змей, в изумленьи, кольцом из жал ядовитых
 Ложе детей окружили. Свое храня порождение,
 Ауры супруг умирал даже дикого зверя, лесного.

(XLVIII, 911—916)

Рождение Иакха сопровождается всеобщим ликованием, и во время празднества Дионис восходит с сыном на Олимп.

Нимфы полей марафонских в венках из плюща хороводы
 Стали водить и кружиться вокруг младенца Иакха,
 Факел ночных хороводов зажгли из аттических сосен.
 Бога воспели; сперва того, что рожден Персефоной,
 Сына Семелы потом. Первородному жертвы Лиэю
 Раньше они принесли, Дионису, рожденному позже,
 Жертву вторую; Иакха ж прославили песнею новой.
 Граждан афинских толпа в хороводах, и песнях, и плясках
 Славила громко Загрея и Бромия вместе с Иакхом.

(XLVIII, 959—967)

Бог винограда прошел сквозь эфир, отцово жилище;
 Севши с отцом благосклонным, он трапезой с ним наслаждался.
 Он после пищи земной и струи молодой виноградной
 Нектар небесный испил из прекраснейших чаш, Аполлону
 Стал сопрестольником он, сотрапезником стал он Гермесу.

(XLVIII, 974—978)

Так раскрывается в поэме Нонна троекратная теофания главного божества Зевса в его потомках — в погибшем, принесенном в жертву Загрею, в Дионисе, давшем людям радость вина, и в новорожденном Иакхе,

усмиряющем диких зверей. Эта языческая мистерия, а не мифологическая мишура, покрывающая ее, и является основной идейной нитью поэмы Нонна.

Итак, в том факте, что поэма Нонна имеет непосредственное отношение к культу Диониса, едва ли можно сомневаться. Но каков именно характер этой связи, трудно решить окончательно. Наиболее естественным представляется понимание этой поэмы как «языческого евангелия»; тогда все, что рассказано о Дионисе, следует принимать в положительном смысле, так сказать, за чистую монету.

В пользу этого предположения говорит прежде всего тот колоссальный труд, который взял на себя автор, создавший такое огромное произведение (более 20 000 стихов); оно, несомненно, потребовало многих лет для подготовки материала и написания.

Надо учесть, что, помимо обширности сюжета, поэма Нонна обладает еще чрезвычайно сложной метрикой, принципы которой были созданы Нонном и систематически проведены им через все 48 песен. Кроме того, автор в самых высокопарных выражениях постоянно восхваляет своего героя; например, в XV песни он посвящает много стихов сравнению его с Гераклом: подвиги Диониса оказываются выше прославленных подвигов Геракла.

И тем не менее даже в этих хвалебных тирадах, а может быть, именно в них сквозит какая-то ирония. Если же подвести итоги земного пути Диониса, трудно удержаться от заключения, что этот прославленный, божественный герой — по существу большой неудачник, что, обещая радость, он всюду приносит бедствия. В любви ему всю жизнь не везет, лучший друг его юности Ампел погибает, и только с его смертью Дионис обретает то, чем ему суждено прославиться, — виноград. В походе погибает другой любимый им юноша — Гименей. Красавица Бероя достается не ему, а старику Посейдону; Ариадна, охотно ставшая его женой, любимая им и вознесенная впоследствии на небо, погибает от вида Горгоны; Дионис не в силах ни защитить, ни оживить ее. Никейю и Ауру он вынужден опьянить и усыпить, нимфа Палэна сопротивляется ему изо всех сил; о гибели одного своего сына-близнеца от руки Ауры он знает заранее, но бессилен ее предотвратить. Во всех состязаниях он терпит поражения: в юности — от мальчика Ампела, в молодости — от Посейдона и Ликурга, спасаясь бегством от которого он едва не тонет в море. Его победы в Индии сводятся больше к песням и размахиванию тирсами, чем к настоящим битвам. Его дар — вино и виноделие — вносит несчастье и смерть в его родной дом и в дом первого винодела Икария.

Под поверхностным блеском пестрых мифов и любовных приключений развертывается трагическая, страшная и нередко отвратительная повесть. Это отрицательное отношение к основному герою проскальзывает и в такой мелочи, как слова Европы, обращенные к похищающему ее Зевсу-быку. В эпиллии Мосха Европа с детским любопытством и даже с некоторым благоговением расспрашивает быка, как он может бегать по воде; в поэме Нонна, полная ужаса и отвращения перед тем, что ее ожидает, Европа умоляет Борейя унести ее на своих крыльях (I, 134—135).

Невольно возникает мысль: нельзя ли видеть в поэме Нонна не апологию язычества в противовес христианству, а очень искусно замаскированную, но чрезвычайно жестокую сатиру на культ Диониса, созданную человеком, близко стоявшим к этому культу, хорошо его знавшим, но разочаровавшимся в нем. Во время написания этой поэмы Нонн мог еще не принадлежать к господствующему «правоверному» течению христианской церкви, но мог уже использовать свои огромные знания для литературной борьбы с язычеством. В то время промежуточных форм между язычеством и христианством в виде сект и ересей, в первую очередь в виде гностических уче-

ний разных оттенков, было немало. Тем самым переход Нонна от поэмы «О Дионисе» к метафразе «Евангелия от Иоанна», т. е. именно того евангелия, которое наиболее близко стоит к языческой философии и к гностицизму, перестает быть непонятным и становится совершенно естественным шагом в движении общества от язычества к христианству. Сама же поэма Нонна перестает быть порождением пламенной фантазии молодого поэта¹⁵ и оказывается сознательно построенной сложной литературной композицией, выполняющей определенное боевое задание. По всей вероятности, она написана вовсе не юным поэтом, а человеком довольно зрелого возраста; за это говорит ее чрезвычайная «ученость», сложная метрика, огромный размер и даже — как это ни странно — характер изображения любовных сцен: они написаны с таким сухим, анатомическим натурализмом, что их никак нельзя приписать молодым горячим чувствам; скорее именно такими подробностями Нонн хотел вызвать у читателя отвращение.

Нонн привлекал внимание исследователей в первую очередь своими метрическими нововведениями: он ограничил число спондеев в стихе и установил строжайшие правила соотношения между концом стопы и концом слова. Благодаря этому его стих стал очень благозвучным, но однообразным; очень однообразно прерывающийся спондеями поток дактилей при больших размерах песен его поэмы производит впечатление монотонного прибой волн. Кроме того, излишние строгости в подборе слов по расположению долгот и ударений сильно связали свободу действий Нонна при пользовании лексическим материалом и привели его к злоупотреблению одними и теми же излюбленными словами и группами слов, особенно в конце стиха. Поэтому чтение поэмы Нонна, сперва чрезвычайно трудное ввиду запутанности сюжета и вычурности метрики и лексики, постепенно, ввиду обилия стабильных формул, становится все легче.

Язык Нонна чрезвычайно интересен и заслуживает специального исследования. Автор хорошо владеет богатым словарем, изобилующим малоупотребительными синонимами и архаизмами. В особенности интересна с этой точки зрения метафраза евангелия, где Нонн полностью проявляет свое умение выражать одно понятие многими словами; вероятно, именно эта стилистическая задача, а вовсе не благочестие, побудила Нонна написать метафразу; простые, ясные, выраженные в разговорных оборотах евангельские изречения и описания Нонн украшает эпитетами и повторяет в разных формах. Например, краткое выражение «Евангелия от Иоанна»: «что делаешь, делай скорее»¹⁶ («Ὁ ποιεῖς ποῦρον τάχιον») Нонн перефразирует сложнее: «ἔρξον, ὅπερ τσλέσιγ, ταχινώτερον» (XIII, 117). Обычную формулу: «это все было, да сбудется писание»¹⁷ он переделывает так: «Это все свершилось, дабы оправдалось слово, которое изрек сладкогласный муж на святой форминге, провозвестник непорочного младенца» (XIX, 185—187).

Относительно композиции и фабулы его главного произведения было сказано достаточно. Можно только прибавить, что больше всего талант Нонна проявляется в отдельных небольших эпизодах, иногда юмористического, иногда сентиментального характера. Из поэмы Нонна, произведения в целом довольно скучного и тяжелого, можно выбрать ряд удачных отрывков, которые могли бы украсить любую хрестоматию античной литературы.

Способностью создавать характеры Нонн не обладает ни в малейшей

¹⁵ Так поэма обычно трактуется в тех немногих исследованиях, которые ей посвящены.

¹⁶ Евангелие от Иоанна, XIII, 27.

¹⁷ Там же, XIX, 36.

степени; все его герои похожи друг на друга, все говорят совершенно одинаковым языком. Лучше всего удаются Нонну юмористические замечания, которые он иногда влагает в уста действующих лиц (Геры, Гермеса, Пана, Киклопа, даже Зевса и Афродиты), иногда высказывает от собственного имени (например, о Деметре, которая очень обеспокоена тем, за кого выйдет замуж ее дочь, между тем как в покои Персефоны уже проник Зевс, о чем Деметра не знает). Нонн замечает:

..Ведь известно, что жены
Те, что родили лишь раз, за детей своих поздних трепещут.

Литературные украшения Нонн применяет очень охотно и риторикой пользуется без всякого чувства меры.

Речи героев Нонна чрезвычайно длинны, многословны и переполнены риторическими ухищрениями; например, Аура обращается к Дионису с двадцатью риторическими вопросами только для того, чтобы отвергнуть его любовь. Наиболее искренним чувством полны несколько раз включенные в поэму «плачи»: уже упомянутый плач о пастухе Гимне, плач Диониса о погибшем любимце Ампеле и плач старого Кадма о гибели Пенфея и о несчастной судьбе всей его семьи; в этом он обвиняет Зевса, обещавшего ему на его свадьбе с Гармонией процветание и счастье. Нечего и говорить, что метафорами, аллегориями, символикой имен поэма переполнена: этого требует ее основная тема.

6. МУСЕЙ

О Мусее, авторе небольшой поэмы «Геро и Леандр», никаких биографических данных нет; о времени создания его поэмы высказывались самые различные предположения. Исходя из характера фабулы и некоторых художественных приемов, ее обычно относили к эпохе эллинизма. Однако в настоящее время она датируется, правда, тоже в весьма широких хронологических рамках, эпохой между концом IV и началом VI в.; основным доводом в пользу этого предположения является явная зависимость ее метрических приемов от метрической системы Нонна и наличие нескольких выражений, характерных для христианской литературы; однако помимо этих внешних признаков некоторые идеологические черты поэмы, правда, несколько замаскированные основной любовной фабулой, достаточно ясно указывают на ее позднее происхождение.

Место действия поэмы о Геро и Леандре — совершенно определенный географический район между приморскими городами на берегах Геллеспонта, Сестом во Фракии и Абидосом в Малой Азии. Около Сеста на пустынном морском берегу в высокой башне живет красивая молодая девушка Геро, жрица близлежащего храма Афродиты. На праздник Афродиты стекаются толпы окрестных жителей; все юноши восхищены красотой Геро; один из них — уроженец Абидоса Леандр, — дождавшись вечера, следует за девушкой в храм, объясняется ей в любви и требует свидания; Геро сопротивляется, ссылаясь на страх перед родителями, на свое жреческое служение и невозможность видаться незамеченными, однако тут же описывает Леандру свое жилище и обещает зажечь светильник на башне, чтобы указать ему путь. В ту же ночь Леандр переплывает Геллеспонт и вступает с Геро в тайный брак. В течение лета Леандр каждую ночь приплывает к Геро, но в первую осеннюю бурю юноша погибает и волны выбрасывают его тело к подножию башни, а Геро в отчаянии бросается с башни и разбивается насмерть.

Легенда о Геро и Леандре является местной, включающей в себя реальные черты того географического фона, на котором она разворачивается. Едва ли можно сомневаться в том, что башня Геро около Сеста, на которой она по ночам зажигает светильник, является поэтическим отображением маяка; маяк был необходим в Сестской гавани, где около берега имеются рифы, и в тесном проливе сильное течение относит корабли к противоположному берегу. Легенда о Геро и Леандре, возникшая в этой местности, навсегда осталась связанной с ней. Поэтому едва ли целесообразны попытки некоторых историков литературы видеть в ней только вариант общей темы о несчастной влюбленной паре, браку которой препятствуют те или иные условия, или сказку о царевне, заключенной в башню, куда проникает переодетый влюбленный. В какое время создавалась легенда о Геро и Леандре, неизвестно. Судя по тому, что в ней, как мы увидим, отразилась вражда между Сестом и Абидосом, она возникла едва ли ранее VII—VI вв. до н. э., когда портовые города Сест и Абидос стали конкурентами и когда начали проявляться различия в их быте, а с V в. — в политической ориентации.

Сест был небольшой фракийской крепостью, бедной, с неудобною гаванью, лежавшей вдали от города, Абидос — богатой колонией Милета, пользовавшейся недоброй славой за распущенность нравов; Сест состоял в афинском морском союзе, Абидос держался спартанской ориентации.

Первое упоминание мифа встречается у Вергилия¹⁸, затем у Стация¹⁹ и в поэме «Мозелла» Авзония²⁰; все эти авторы ограничиваются несколькими стихами. Более подробную разработку дают письма Леандра к Геро и Геро к Леандру в «Героидах» Овидия (эти письма, как и другие парные письма — Елены и Париса, Аконтия и Кидиппы — часто считаются принадлежащими не самому Овидию, но датируются тоже I в. н. э.).

В поэме Мусея и письмах «Героид» имеются весьма сходные места; буквальное совпадение встречается, правда, только одно²¹. Но в обращениях Леандра к морю и к Афродите, в описании того, как Геро встречает пловца, сушит его кудри и греет у себя на груди, имеется много общих образов и оборотов.

Примыкает ли поэма Мусея непосредственно к «Героидам» или оба эти произведения восходят к одному общему источнику эллинистической эпохи, нельзя сказать наверняка, пока не будет найден хотя бы малейший намек на существование такого источника. Пока это вероятная, но недоказуемая гипотеза. В пользу ее имеются следующие доводы: в «Героидах» письма Геро и Леандра помещены непосредственно перед письмами Аконтия и Кидиппы, оригиналом для которых послужила, как со времени открытия Оксиринхских папирусов достоверно известно, повесть об Аконтии и Кидиппе, входившая в состав поэмы Каллимаха «Айтии»²². Поэма Каллимаха излагала местные мифы многих греческих городов, так что включение в нее мифа о Геро и Леандре вполне возможно. Эллинистические поэты весьма охотно разрабатывали небольшие малоизвестные мифы отдаленных местностей, в особенности такие, в которых можно было найти и развить сентиментально-эротические элементы. Трагическая история Геро и Леандра, конечно, дает очень подходящий материал для этого. На ту же мысль наводят и упоминания об

¹⁸ «Георгики», III, 258—263.

¹⁹ Thebais, VI, 542—547.

²⁰ Mosella, I, 287—288.

²¹ У Овидия — «Героиды», XVIII, 148 и «Геро и Леандр», ст. 255.

²² См. гл. III настоящего тома.

этом мифе у поэтов императорского Рима, охотно использовавших эллинистические любовные элегии²³. Несмотря на все это, уверенности в существовании какой-то особой эллинистической поэмы на данную тему быть не может.

В поэме о Геро и Леандре ясно выступает мотив «незаконной» любви, окрашенный скорбным осуждением, чуждым идеологии классической и даже эллинистической эпох, и близкий эпохе позднего синкретизма языческой и христианской религии. Геро уступает просьбам Леандра, но Мусей, по-видимому, считает, что она поступила неправильно, нарушив свой обет; он описывает их брак следующим образом:

И подчинились они Киприде, к ним благосклонной,
Брак заключен, но без плясок; и брачное ложе без песен.
Геру, вершащую браки, певец не призвал в восхваленьях.
Факелы блеском своим в их брачный покой не светили.
В пляске, в веселых прыжках не ходили вокруг них хороводы,
Песнь Гименею не пели ни милая мать, ни родитель,
Но постелило им ложе в часы, когда браки вершатся,
Только молчанье одно и мрак проводил новобрачных;
Ночь увенчала союз их; на небо взошедшая Эос
Утром Леандра уже не застала на ложе любимой.

(273—282)

Если вспомнить, каким торжественным моментом был утренний эпигаламий, то становятся понятными два последние стиха, которые подчеркивают, так сказать, неполноценность тайного брака Геро и Леандра. Характерно также, что Киприда, на помощь которой ссылается Леандр и которая названа «благосклонной», явно противопоставлена Гере, «вершащей браки», очевидно, законные. Тот светильник, который зажигала Геро, назван «ненадежным» (ст. 329). Во всем этом видно некоторое осуждение поступка Геро со стороны поэта.

Тема законного и незаконного брака не играет роли ни в классической, ни в эллинистической литературе: слишком многочисленны были мифологические любовные истории богов и героев, сложившиеся еще в эпоху родового быта и ставшие впоследствии священными, чтобы законность брака и охрана девства могла стать темой литературной разработки; тогда пришлось бы либо совершенно отказаться от большинства мифологических сюжетов, либо изменить их до полной неузнаваемости. Сохранение «девичьей чести», насколько известно, не является темой ни одной античной трагедии, между тем как в европейской литературе бесчисленное количество драм построено только на этом мотиве. Общество Мусея, общество позднейшей структуры, защищает свою собственную мораль, чуждую морали, рожденной требованиями общественной жизни минувших веков.

Первый след нового воззрения на брачные отношения определенно обозначается в эпоху Августа, когда проблемы охраны нравственности становятся одним из ходячих лозунгов римской государственной программы. Позже эта же тема развивается и христианской литературой.

На русский язык поэма Мусея переведена В. В. Латышевым.

²³ Да и сама поэма Мусея очень многими художественными приемами напоминает эллинистические любовные эпиграммы и идиллии буколических поэтов; в особенности много точек соприкосновения в ней можно заметить с идиллией Псевдо-Феокрита (Феокрит, XXVII).

Поэма Мусея стяжала немало похвал в историях литературы. Действительно, по сравнению с другими поздними эпическими поэмами она обладает одним большим достоинством — прекрасной композицией: поэма распадается на четкие, закругленные эпизоды, речи героев ясны и немногословны и хорошо обрисовывают их характеры. Леандр представлен довольно искусным и красноречивым соблазнителем. Интересно отметить, что на двукратный вопрос Геро о том, кто он такой, он сперва не отвечает ей, а потом называет только свое имя, причем дерзко прибавляет: «зовут меня Леандр, супруг увенчанной Геро», хотя этот разговор происходит еще в храме до их брака. Сопротивление Геро длится недолго, и по этому поводу Мусей вставляет несколько юмористическое замечание о том, что «когда женщины начинают грозить юношам, то их угрозы — вестники любви» (ст. 131—134). Он включает и другие поговорки и сентенции, например: «Хитроумный Эрот ранит мужчину стрелами, и он же лечит раны» (198—199); «Согласие девушки — молчание» (165).

В поэме искусно разбросаны мелкие реальные черточки, делающие повествование живым и наглядным. Когда Геро зажигает светильник на башне во время бури, она старается защитить его от ветра своим плащом; Леандр, выйдя на берег, настолько тяжело дышит, что не сразу может заговорить с Геро; она натирает его благовонным маслом, чтобы уничтожить запах морской воды.

Вероятно, чертой поздней эпохи, стремящейся к соблюдению внешних приличий, является довольно нелепая подробность, что Леандр переплывает Геллеспонт, привязав к голове всю свою одежду. Сжато, но наглядно и поэтично описание бури.

Через всю поэму проходит образ светильника, горящего, пока горит любовь Леандра и Геро, и гаснущего в момент гибели героя. Это очень удачный художественный прием; является ли он созданием Мусея или заимствован из его предполагаемого источника, неизвестно; однако у Стация в кратком описании сцены гибели Леандра, изображенной на золотом кубке, тоже сказано о том, что гаснет светильник, который зажигала Геро.

7. КОЛЛУФ

Краткие биографические сведения о Коллуфе дает Свида; он говорит, что Коллуф жил в Египте в конце V и начале VI в. Кроме дошедшей до нас поэмы «Похищение Елены», Свида называет еще две другие поэмы Коллуфа: одну мифологическую — «О Калидонской охоте», другую, по-видимому, историческую — о персидских войнах, а также сборник хвалебных стихотворений — энкомиев. От всех этих произведений не уцелело ни одного фрагмента, а рукопись «Похищение Елены» очень плохо сохранилась. Литературы, посвященной анализу поэмы Коллуфа, не имеется.

Поэма Коллуфа начинается с очень сжатого рассказа о свадебном пире Пелея и о возникновении спора между богинями из-за брошенного Эридой яблока. Подготовка богинь к суду и самый суд описаны живо и не без юмора.

Афродита боится оказаться побежденной и зовет к себе на помощь Эротов.

Битва близка, мои дети. Придите ж родимой на помощь.
Завтра сама красота судить о красе моей будет.
Страшно — кому-то пастух отдаст это яблоко завтра?
Той, что вскормила Харит, считается издавна Гера;

Высшая власть у нее, и жезлом она царским владеет,
 В битвах царицею все Афины всегда почитают,
 Только Киприда — богиня без мощи; ни власти нет царской,
 Нет у меня и оружия войны, и стрел не имею.
 Впрочем — чего мне бояться? Взамен наконечников острых
 Лучшим владею копьем — любовною сладостной цепью.
 Пояс на мне; и бич мой в руке; и лук мой натянут.
 Пояс на мне, от него приняв в себя горькие стрелы,
 Женщины часто страдают — но все же в живых остаются.

(85—97)

Эроты летят за матерью, и все богини направляются к Парису.

Скоро достигли они крутых перевалов Идейских.
 Там, под высокой скалой, где кругом громоздились камни,
 Юный Парис сторожил стада, достоянье отцово.
 Там, разделивши стада, он на двух побережьях потока
 Порознь считал их: на том берегу коровы паслися,
 Здесь, пересчитаны им, паслись отары овечьи.
 Шкурою горной козы был одет он в ту пору; спускалась
 С плеч его низко она, покрывая и спину и бедра.
 А под рукой, чтоб быков погонять, держал он стрекало.
 Часто случалось, что он, на отдых забравшись в пещеру,
 Песню звенящую петь заставлял тростники луговые.
 Часто, бывало, напев заведя близ овечьих загонов,
 Он забывал о быках и об овцах заботы не ведал.
 Иль, соблюдая прекрасный обычай пастуший, нередко
 Пана он чтит иль Гермеса свирели прелестным напевом.
 Псы замолкали тогда, мычанье быков затихало.
 Только в дыхании ветра, своей лишенная речи,
 С высей Идейских ему в ответ откликалася Эхо.
 И отдыхало вокруг, на пастбище пышно зеленом,
 Сытое стадо быков, подогнув тяжелые ноги.

(101—120)

Богини обещают Парису свои дары. После обещания Афины: «Верь мне, тебя научу походам и доблести в битвах» (143), — Гера пытается соблазнить Париса царской властью, причем указывает, что царю личная храбрость вовсе не нужна. Это маленькая, но характерная черточка той поздней эпохи, когда жил Коллуф и когда царь уже не был полководцем, а за него воевали другие. Гера говорит:

Я властелином тебя над Азией всею поставлю.
 Презри же воинский труд. На что владыке сраженья?
 Царь повеленья свои дает и храбрым, и робким.
 Славу стяжают не все, кто верно служит Афине.
 Часто любимцев Эной без времени смерть настигает.

(148—152)

Афродита, же, сбросив с себя одежду, восклицает:

Глянь на меня и забудь о походах. Меня призовешь ты —
 И позабудешь о царском жезле и о странах азийских.

Дел я военных не знаю. На что Афродите оружие?
Женщины много скорее красую стяжают победу.
Дам вместо доблести я прелестную женщину в жены,
И не на царский престол ты взойдешь, а на ложе Елены.

(159—164)

Афродита побеждает соперниц и зло издевается над ними, особенно над Афиной.

Что величаешься тщетно пустою ты славой, Афина?
Брачные узы тебя не родили, и мать не питала;
Нет — лишь железа удар, бесчувственный корень железный
К жизни возваал, не рождая, тебя из отцовского мозга.
Ты, что одеждою медной от глаз свое тело скрываешь,
Ты, что любви избегаешь, гоняясь за делом Ареса,
Ты примиренью чужда и с согласием ты не знакома.

(179—185)

Этим заканчивается первый раздел поэмы. Далее сухо рассказывается, как Парис построил корабль, мимо каких берегов он плыл (дается только перечисление поселений Фракийского и греческого побережья Эгейского моря), как в Спарте его приняла Елена и, пораженная его красотой, сочла его сперва за Эрота, потом за Диониса. Объяснение Париса с Еленой настолько кратко и неясно, что вызвало предположение Абея об утрате или перестановке ряда стихов. Парис сухо и кратко сообщает Елене о том, что она предназначена ему в жены Афродитой. При этом он, по-видимому, либо намекает на то, что и Елена об этом знает, либо просто льстит ей, восхваляя ее ум и сравнивая спартанок по уму с мужчинами.

Что говорить мне? Тебя ль мне учить? Ты знаешь так много.
Если такими, как ты, рождаются в Аргосе жены,
Только лишь членами тела они нас немного слабее,
Всем остальным же подобны мужам и на жен непохожи.

(298—301)

В своем ответе Елена ни в какой мере не оправдывает такого высокого мнения об ее уме. Она проявляет странное любопытство, а не любовь к Парису, говоря:

Ты мне ответь, чужестранец, правдива ль молва, что твой город
Встарь Посейдоном заложен, основан самим Аполлоном.
Да, я б хотела узреть богами воздвигнутый город,
Пастбища те увидеть, где стада Аполлона паслися.
.....
Встань же скорее и в Трою меня увези ты из Спарты.
Я за тобою пойду, если брак наш вершит Киферея.
Я не боюсь Менелая. Пускай меня Троя увидит.
Знаешь ведь ты — Менелая природа не сделала храбрым.

(305—314)

Бегство Елены обосновано очень слабо. Правда, в этом месте включены стихи, сходные со стихами из «Одиссеи»²⁴ о двух воротах, из которых вылетают правдивые и ложные сны, так что можно понять, что Елена действует

²⁴ Гомер. «Одиссея», XIX, 562—567.

бессознательно, как бы во власти наваждения. На это же, по-видимому, намекают в дальнейшем и слова Елены, которая является своей дочери Гермione во сне и говорит:

Муж, к нам прибывший вчера, меня обманул и похитил.
Горько ты плачешь, страдая, дитя; но меня не суди ты.

(377—378)

Бегство описано в нескольких стихах, и к нему непосредственно примыкает последний эпизод поэмы — плач дочери Елены, Гермione, ищущей свою мать. Она обращается с жалобами к подругам, те пытаются ее успокоить, но Гермione безутешна.

Мать моя, где же ты скрылась? Иль, в диких трущобах блуждая,
Стала добычей ты диких зверей? Но даже и звери
Все пред тобою трепещут, пред кровною дочерью Зевса.
Может быть, ты с колесницы упала? В пыли придорожной
В чаще дубравы дремучей лежит твоё тело, быть может?
Но ведь кустарника чащи и дебри тенистого леса
Все я, ища, обошла и даже все листья разрыла.
Тела там нет твоего. Нет, лес обвинять не могу я.
Или в текучих струях Еврота, реки плодоносной,
Водная скрыла тебя глубина во время купанья?
Нет, и в потоках речных, и в пучинах глубокого моря
Только наяды живут, а женам они не опасны.

(351—362)

Проснувшись, Гермione взывает к отцу, умоляя его вернуться с Крита. Парис с Еленой прибывают в Трою, и поэма кончается стихами:

Троя открыла засовы высоких ворот и впустила
Сына к себе своего. Он вернулся, привезший злосчастье.

(391—392)

Поэма Коллуфа по содержанию примыкает к киклической поэме «Киприи». Однако можно усомниться в том, что Коллуф, даже если он имел в своем распоряжении хотя бы части «Киприй», значительно их использовал. Ничего типичного для древних эпических поэм у Коллуфа нет. Вся трактовка мифа, образы Афродиты и Париса гораздо ближе к эллинистической поэзии, чем к эпосу: Афродиту сопровождают Эроты (большое число Эротов характерно для эллинистических произведений, как поэтических так и изобразительных, между тем как в эпосе Эрот вообще не играет роли). Как сцена, в которой Парис является типичным пастухом поздней буколки, так и речи Афродиты о прелестях любви и ее преимуществах перед доблестью характерны для эллинизма и его римских подражателей. Бегство Елены истолковано как «обман» со стороны Париса, сама же Елена названа в обращении Париса к ней «мудрой» (πρωτή). Не исключена возможность связи с идиллией XXVII Феокрита (считающейся неподлинной), которая начинается стихом:

Был пастухом и Парис, что разумную выкрал Елену.

Эпитеты «мудрая», «разумная», по нашим представлениям, очень мало подходят Елене, однако они употреблены в обеих поэмах.

Кроме того, XXVII идилия сводится по существу к рассказу о том, как упорную и самоуверенную девушку, которая считала себя умной и стойкой, сманивает ловкий соблазнитель. По-видимому, и миф о похищении Елены в эллинистической поэзии трактовался в обычном для этой эпохи чисто любовном плане. Эту трактовку и передает Коллуф.

Второй частью поэмы, составляющей особое поэтическое целое, является плач Гермियोны, примыкающий к обычному типу «плачей»; в нем тоже есть намек, который может быть сопоставлен с мифом о похищении наядами красавца-юноши Гиласа (миф этот рассказан и у Феокрита, и в поэме Аполлония Родосского).

Со стороны стихосложения обе основные части поэмы — спор богинь и плач Гермियोны — построены тоже в эллинистической манере, сравнительно небольшими законченными по смыслу отрезками по 3—4 стиха.

Сравнительно небольшой размер всей поэмы без деления на песни сближает ее с такими эпиллиями, как «Диоскуры» Феокрита или «Европа» Мосха.

Наконец, последним указанием на близость Коллуфа к эллинистическим, и в частности буколическим, образцам являются некоторые доризмы, встречающиеся в его поэме и совершенно неестественные для V в. н. э.

Переходы между основными частями поэмы очень сухи и только перечисляют факты и названия, что тоже несколько напоминает сухие дидактические и географические экскурсы эллинистических поэм.

Мы видим, что Коллуф использует не столько материал эпоса в подлинном смысле слова, сколько материал эллинистических эпиллиев. Может быть, его поэма даже просто литературная компиляция, автор которой соединил вместе две различные поэмы. Подтверждением этому может служить то обстоятельство, что основные части поэмы «Похищение Елены» отличаются своей законченностью, а связующие их части — крайним несовершенством.

8. ТРИФИОДОР

Трифидор, как и Коллуф, был уроженцем Египта. Время его жизни относится также к V в. Более точных сведений о нем не имеется. Из произведений Трифидора до нас дошла только небольшая эпическая поэма «Взятие Илиона». По характеру она близка к поэме Квинта Смирнского: это чисто мифологическая поэма с несколько морализующим оттенком, без тех родственных эллинизму легкомыслия и сентиментальности, которыми отличается «Похищение Елены» Коллуфа.

По содержанию поэма охватывает меньший период, чем поэма Квинта; в начале ее Трифидор кратко в повествовательном и печальном тоне перечисляет всех, кто погиб после Гектора, и немедленно переходит к построению деревянного коня. Эпизод с Ласкооном он опускает совсем, о Синоне говорит очень кратко. Центральной и наиболее интересной частью поэмы являются пророчество Кассандры, которая пытается остановить троянцев, везущих в город деревянного коня, и ответ Приама. В обеих речах намеренно подчеркивается контраст между ужасом Кассандры и легкомысленным ликованием Приама.

Кассандра, впавшая в безумие при виде коня, носится по городу, как «вакханка», и выкрикивает страшные предсказания:

Вижу — меж башен троянских бушует, разлившись повсюду,
Алая крови пучина, вздымаются волны убийства.
Цепи ужасного брака плетутся для женщин злосчастных.

В этих древесных стенах²⁵ пылает сокрытое пламя.
 Горю! О горе и мне, и тебе, мой город родимый!
 Прах меня скоро покроет. И рухнет великое зданье,
 Лаомедонтова рухнет стена, строение бога.
 Мать и отец мой! Рыдаю о вас! Я в ужасе вижу,
 Что вы претерпите оба. Отец мой, несчастный, во прахе
 Будет, простертый, лежать, где жертвенник высится Зевса.
 Ты ж, благородная мать, по воле богов потеряешь
 Женский свой облик; собакой ты выть над чадами будешь.
 О Поликсена! И ты сокрощься в землю родную.
 Если б нам вместе погибнуть! Но плакать придется недолго
 Мне над тобой. О, зачем я живу? Ведь меня ожидает
 Более страшная смерть, и чужая земля меня примет.
 Вижу: дарица и мне, и мужу готовит подарки;
 После военных трудов супругу сплетает погибель.
 Слушайте, други, меня! Узнайте, что вас ожидает,
 Страшную тучу судьбы отгоните, нависшей над нами.
 Мощное тело коня скорей топорами рубите
 Или сожгите огнем! Тот конь, что врагов укрывает,
 Пусть он погибнет! И с ним погибнут надежды данайцев!
 Радуйтесь вместе со мной! Начинайте водить хороводы!
 Кубки поднимем все вместе мы в час свободы желанной!

(391—415)

Но Приам прогоняет Кассандру, не желая слушать ее предсказаний:

Прислана злобным каким божеством ты, провидица злая?
 Дерзостным лаем своим ты смутить нас хочешь напрасно.
 Все еще дух твой не сломлен своею болезнью зловецей,
 Все еще он не насыщен безумным призраком бедствий.
 Радости наших пиров, как будто завидуя, снова
 К нам ворвалась ты в тот день, как Зевс, наш Кронид-повелитель
 Дал нам свободу узреть, суда рассеяв ахейцев.
 Нынче копьё не летит и покоится лук, не натянут.
 Стихло бряцанье мечей; не свистят замолчавшие стрелы.
 Пляски и сладкие песни повсюду, и стоны затихли.
 Мать не рыдает над сыном; и, мужа на бой проводивши,
 Нынче жена не заплачет над трупом, оставшись вдовою.
 В дар принимает коня защитница наша Афина,
 Смелая дева. А ты, вопя пред воротами дома,
 Ложно пророчишь беду; беснуясь в безумии диком,
 Терпишь напрасную муку и город святой оскверняешь.
 Пусть пропадешь ты! А нас хороводы, пиры ожидают.
 Нет под троянской стеной так долго стоявшей угрозы —
 Голос пророческий твой отныне нам больше не нужен.

(420—438)

Второй крупной частью поэмы является несколько загадочный, недостаточ­но мотивированный эпизод с Еленой. Елена, как и у Коллуфа, делается жертвой обмана Афродиты, которая пытается с помощью Елены погубить греческих вождей, запертых внутри коня.

²⁵ Т. е. в коне.

Дивной красою блестя, вошла к аргивянке Елене,
 Хитрость глубоко тая, Афродита, искусная в кознях.
 Ласково к ней обратясь, ее убеждать она стала:
 «Знай, дорогая, зовет тебя Менелай-повелитель,
 Муж твой. В коне деревянном с ним вместе сокрыты другие
 Славных ахейцев вожди. Не колеблясь, не медля, скорее,
 Тотчас к нему ты иди. Позабудь и о старце Приаме,
 И о троянцах других, позабудь о самом Деифобе²⁶.
 Я отдаю тебя вновь Менелаю, страдавшему много».
 Так говоря, удалилась богиня. Поверило козням
 Сердце Елены. Покинув свой спальный покой ароматный,
 К зданию высокому храма направила шаг свой Елена.

(454—465)

Очи свои устремив на коня, она долго стояла,
 Трижды потом обошла вокруг него. Аргивян завлекая,
 Жен их кудрявых она по имени всех называла
 Голосом нежным своим. Они же, сокрытые, тяжелой
 Болью терзались в душе и в молчании слезы глотали.

(468—472)

Многих могла б соблазнить из ахейцев лукавством Елена,
 Если бы, страшная ликом, покинув эфир, не явилась
 Дева Паллада сама. Елене лишь зрима, из храма
 Вывела тотчас ее и к ней обратилась сурово:
 «Жалкая! Вот до чего довела тебя злые деянья,
 К ложу чужому стремленье и козни лукавой Киприды.
 Первого мужа ничуть не жалеешь ты? Дочери видеть
 Ты, Гермियोны, не хочешь? Опять помогаешь троянцам?
 Прочь уходи; и над спальней своею, поднявшись на башню,
 Пламя привета зажги кораблям плывущим ахейским».

(487—496)

Елена покоряется Афине, и всю ночь пылает факел на ее башне, указывая ахейцам путь. Некоторый интерес представляет привлеченный здесь Трифиодором вариант мифа о Лаодамии. По распространенному мифу мужем Лаодамии является Протесилай, который, выпрыгнув на берег Малой Азии добровольно, гибнет первым из всех греков, чтобы исполнилось предсказание оракула, что если первым погибнет грек, то победят греки, если же троянец — то троянцы. В поэме Трифиодора мужем Лаодамии является Антикл, находящийся в деревянном коне; когда Елена называет имя его молодой жены, он хочет ответить ей, но Одиссеей с Неоптолемом душат его своими руками и кладут труп в задней части коня, прикрыв плащом.

Последнюю часть поэмы составляет описание взятия Трои; гораздо более сжатое, чем у Квинта, оно написано в крайне натуралистических тонах. Менелай убивает Деифоба и ведет за собой Елену, душевное состояние которой Трифиодор описывает так:

Шла за ним следом жена, трепеща, оружия добыча;
 То она чуяла радость — окончилось время страданья,
 То изнывала в стыде; то казалось ей вдруг, в сновиденьи
 Видела вновь, хоть и поздно, любимую землю отчизны.

(630—633)

²⁶ Деифоб — третий муж Елены, брат Париса, который взял ее в жены после смерти Париса.

Поэма оканчивается кратким и сухим описанием отъезда греков на родину.

Вопрос об источниках поэмы Трифиодора столь же сложен, как и об источниках, которые привлекал Квинт. Поэма Трифиодора особыми литературными достоинствами не обладает. Но если предположить, что он пользовался только прозаическими компендиями, то ему нельзя отказать в таланте хотя бы в построении двух указанных эпизодов. Более вероятно, что он располагал какими-то стихотворными источниками, которые компилировал по правилам обновленной Нонном метрики. Наиболее важно было бы путем детального анализа установить, имеют ли поэмы Квинта и Трифиодора связь с «Энеидой». Косвенным указанием на такую связь можно было бы считать то, что и у Квинта, и у Трифиодора сцены взятия и разрушения Трои написаны не столько с чувством радости победы над врагами, сколько с чувством жалости к побежденным; в «Энеиде», где рассказ ведется от лица сторонника троянцев, это вполне естественно, в поэмах же, которые по замыслу являются завершением «Илиады», авторы должны были бы больше стоять на точке зрения победивших греков. Однако возможно, что этот гуманный тон объясняется более поздней эпохой и отвращением к ненужным жестокостям древних мифов, как, например, к убийству Неоптолемом беспомощного Приама, умолявшего о пощаде.

Еще более настойчиво, чем в поэме Квинта, у Трифиодора проводится идея возмездия за дурные дела, придавая всему произведению морализирующую окраску; эта тенденция раскрывается в первых же стихах поэмы:

Вплоть до последнего дня, под охраной стены богозданной,
Крепко стоял Иллон на своей нерушимой основе.
В тяжких сраженьях томясь, страдали ахейцев дружины.
Силы свои напрягая в последних жестоких усилиях,
Тщетно лила бы Афина свой пот, трудясь неотступно,
Если б к данайцам из Трои, как гость, не пришел прорицатель.
Браком он был возмущен Деифоба, бесчестным и дераким.
Жалостью, мнилось, дышал к Менелаю, страдавшему много.
Близкую он предсказал погибель своей же отчизне.

(40—48)

Это морально-чувствительное истолкование событий совершенно расходится с обычным вариантом мифа, по которому прорицатель Гелен и Деифоб, братья Париса, поссорились после его смерти из-за обладания его вдовой; к грекам же Гелен пришел не добровольно, не из сочувствия к Менелаю, а был пойман Одиссеем по указанию Калхаса и вынужден раскрыть врагам тайну падения родного города.

В дальнейшем ходе поэмы Трифиодор тоже никогда не упускает случая подчеркнуть, что за всякое злое дело человека постигает кара. Описывая, как Неоптолем убил Приама, он немедленно прибавляет:

О злополучный! Такая ж судьба и его ожидала
Там, где воздвиг свой престол Аполлон, соблюдающий правду.

(640—641)

По обычной версии мифа, которой следовал и Эврипид, Неоптолем был убит в Дельфах, около жертвенника Аполлона. Идея возмездия проведена в поэме Трифиодора (как и в поэме Квинта Смирнского) и в отношении Аякса Оилида, осквернившего храм Афины насилием над Кассан-

дрой: Афина губит Аякса, мстя грекам «всем за одного», как подчеркивает Трифиодор (ст. 650).

Со стороны литературных приемов поэма Трифиодооа не особенно оригинальна. Пользуясь обычным твердо установленным языком гомеровского эпоса, Трифиодор, однако, вводит иногда в свою лексику слова современного ему языка, например, для обозначения военных трудов он всегда употребляет вместо слова *λόχοι* слово *μῆδοι*. Многие сравнения он тоже строит самостоятельно, избегая явного подражания; наиболее удачно сравнение греков, запертых в деревянном коне, с дикими зверями, которых разлившийся горный поток загнал на маленький остров, и они озлобленные, окруженные враждебной стихией, готовятся к последней схватке.

В свою небольшую по объему поэму Трифиодор вводит один из распространенных эпических приемов — длинное описание предмета художественного ремесла. Он рассказывает, как мастер Эпей под руководством Афины построил чудо красоты — коня, и рисует при этом интересную картину техники обработки драгоценных камней. Вообще все это описание носит вполне реальный характер:

Шею коня он поднял над выпуклой грудью и бросил
Золота яркий отлив на пышную рыжую гриву.
Хлынули волны густые с крутой изогнутой шеи,
Вздыбилась чолка над лбом, скрепленная тонкою цепью.
После он вставил глаза — два круга камней драгоценных.
Взял он берилл голубой, аметиста кристалл красноватый,
Все это вместе смешал, и блеском двойным, разноцветным
Ярко сверкнули глаза — отливом и синим, и алым.
Вставил в оскал челюстей блестящие белые зубы,
Будто готовые грызть сплетенную крепко уздечку.

(65—74)

Не был тот конь неподкован: легко поднимал он копыта;
Были покрыты они черепаховым панцирем ярким,
Чуть лишь касаясь земли могучею медной подковой.

(87—74)

Все эти три мифографические поэмы поэтов-эпигонов — Квинта, Коллуфа и Трифиодора — могут представить значительный интерес для исследований как мифологических, так и литературных.

9. ОРФИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Последней ветвью мощного дерева греческой эпической поэзии является анонимная поэма о походе аргонавтов, состоящая почти из 1400 стихов. Время создания и автор этой поэмы неизвестны; ясно только ее происхождение из кругов, придерживавшихся орфического культа. Как известно, подробных сведений об орфиках не имеется, так как формы культа хранились в строгой тайне. В течение первых веков нашей эры мистические секты широко распространились по всему греко-римскому миру. Большим успехом, особенно в материковой Греции, пользовались так называемые иобакхи, являвшиеся поздними наследниками элевсинских мистерий Деметры и Диониса. В IV в., при нашествии готов, Элевсинский храм был сожжен, но орфические мистерии продолжались еще и в V в. Найден устав, в котором упоминается имя Клавдия Герода, возможно, того афинского землевла-

дельца, который нашел колоссальный клад на своей земле и положил начало богатству семьи ритора Герода Аттика; если это так, то к орфикам принадлежали, очевидно, лица из местной афинской аристократии. О самом культе в уставе почти ничего не говорится, в нем излагаются правила вступления в секту, обязанности иобакхов, порядок уплаты взносов в случае отъезда из страны и т. п., одним словом, только практическая сторона деятельности общества, свидетельствующая о прочной и широко разветвленной организации.

Имена божеств не называются, они заменены эпитетами; одно из почитаемых божественных лиц, вероятно Орфей, своеобразно именуется «первично-благо-ритмический» (*πρωτὸς ῥυθμικός*). Именно ввиду скудости наших сведений об этом тайном культе, являвшемся одним из самых серьезных соперников христианства, поэма, носящая на себе явную печать орфизма, приобретает значительный интерес.

Почему безымянный поэт избрал для облечения в орфическую оболочку один из древнейших мифов Греции, о походе в страну Солнца на корабле Арго, который уже у Гомера называется «всеми воспеваемый», об этом сама поэма не говорит ничего, но можно сделать некоторые предположения. Поэма начинается с обращения к Аполлону, богу Солнца; солнечный характер Аэта, царя Колхиды, сына Гелиоса, и сестры его Кирки (Цирцеи) особо подчеркивается в поэме. Когда Аэт едет навстречу аргонавтам, он ослепляет их блеском своего вооружения, сверкающего, как солнце. Сияет ослепительными лучами Кирка, которая не соглашается, как полстить к себе на остров Медею, убившую брата, так как она недостаточно чиста, чтобы приблизиться к дочери Солнца. В самом начале поэт предупреждает, что он будет петь о том, о чем раньше не пел, когда, гонимый бичом Вакха и Аполлона, он возвещал о священных жертвах смертным людям и о немеркнущих празднествах посвященным. Хотя поэт говорит о биче Вакха и Аполлона, эту песнь о поездке в страну Солнца он, по-видимому, посвящает одному Аполлону. Если вспомнить, какую огромную роль играл в IV в. именно этот культ, которому покровительствовал Юлиан²⁷, то можно предположить, что в этой поэме орфизм, имевший характер ночного культа (что в дальнейшем отражается на мистическом характере всей поэмы), до некоторой степени перестраивается, приобретая черты солнцепоклонения. Однако поход аргонавтов был уже с давних времен истолкован как неудачный и в известной степени греховный, так как он навлек несчастья на всех участников; чтобы освятить этот поход и очистить его участников, и привлекается Орфей. Об участии Орфея в походе упоминается уже у Пиндара²⁸, а в поэме Аполлония Родосского он своим пением успокаивает поссорившихся аргонавтов. Однако Орфей не играет там сколько-нибудь важной роли. Совершенно иное мы видим в рассматриваемой поэме.

В отличие от всех известных нам эпических поэм орфическая «Аргонавтика» написана в первом лице, в виде воспоминаний Орфея о походе, которые он пишет для Мусея — другого мифического певца. Участие Орфея в походе предназначено ему судьбой. Ясон является к нему в его пещеру во Фракии и говорит, что аргонавты не хотят ехать к варварским племенам без него; Орфею ехать не хочется, но он все же немедленно соглашается, видя в этом веление судьбы.

Что ты меня, Эсонид, завлекаешь, чтоб путь свой направил
Я, как спутник желанный минийцев, к Колхидским пределам,

²⁷ См. гл. XV настоящего тома, раздел III, § 4 — о речи Юлиана «О царь-солнце».

²⁸ IV пиф., 177.

Крепкой ладьей оснащенной проплыв по широкому морю?
Много на море я бед потерпел и много печалей.

(98—101)

И от пучины спасла, и от острой стрелы охраняла
Матери милой рука и в мой дом возвратила обратно,
Здесь чтоб встретил я смерть по пришествии старости мрачной.
Но не избегнешь того, что судьба нам в удел положила.
Я повинюсь велению Мойр. Ведь почтенья достойны
Девы Моальбы, посланницы к нам милосердного Зевса.

(104—109)

Таким образом, от участия Орфея с самого начала зависит успех похода. В дальнейшем его роль становится все важнее. В решительный момент похищения золотого руна вождем всех оказывается не Ясон и даже не Медея, а Орфей: он приказывает идти с собой Ясону, Диоскурам и Мопсу, искусному в гадании. Он же заклинает змея, усыпляет и его и всю окружающую природу, призвав Сон, который успокаивает все под своими крыльями; Медея является пассивной наблюдательницей: «и изумилась Медея злощастная, это увидев» (ст. 1019).

Перед концом похода Орфей опять играет решающую роль, так как только он может очистить минийцев от совершенного ими преступления — убийства Апсирта; после отъезда из Колхиды говорящий дуб, вправленный в корму «Арго», предсказывает им всем смерть; Кирка требует их очищения, и, таким образом, только Орфей, имеющий власть очистить их, может открыть им путь на родину; он же заглушает пение Сирен, которые, услышав его голос, роняют лиры и бросаются в море.

Религиозный характер поэмы довольно ясно проступает сквозь традиционное повествование. Темой введения является космогония, перечисляются разнообразные мифы, причем первым божеством и началом всего, согласно учению орфиков, является Эрот, величаемый «двуприродным, огненным, грозным» (ст. 14). Отражен и религиозный синкретизм эпохи: в мифе о рождении Зевса упоминаются и Кибела и Осирис. При состязании Орфея с Хироном Хирон поет о битве кентавров с лапифами, а Орфей опять поет космогоническую песнь, которую слушают птицы, звери и деревья. Аргонавты, как и в поэме Аполлония, неоднократно приносят жертвы; новым является то, что в Кизике жертву приносят Рее, т. е. Матери богов, иначе — Кибеле. Само путешествие аргонавтов рассказано неоригинально и сухо. Все происшествия в Колхиде до похищения руна сжаты в 40 стихах, что вполне понятно, так как не Медея является главным действующим лицом — не она помогает похитить руно. Образы Ясона и Медеи лишены каких бы то ни было характерных психологических черт; обе оригинальные разработки мифа об аргонавтах — у Аполлония Родосского и Валерия Флакка — не оставили никакого следа на орфической поэме. Брак Ясона и Медеи совершается, как и в поэме Аполлония, в стране феаков, спешно, по желанию Ареты, так как Медея, если она еще не вышла замуж, должна быть возвращена отцу, но брак происходит не в пещере, а на корабле, в палатке из шкур, натянутых на копыя. Перечисление стран, которые аргонавты посещают на обратном пути, иное, чем у Аполлония: они заезжают далеко на север, к Гиперборейям и Каспиям, видят врата Аида, страшный остров Иерниду (может быть, Британию?), доезжают до Тартеса и столпов Геркулеса и возвращаются мимо Сицилии в Грецию, не попадая в Африку и Сирты (как в поэме Аполлония). Таким образом, эта поздняя поэма сохраняет древнее представление о возможности проехать, поднявшись по Истру-Дунаю

(а, скорее даже, в этой поэме, по Дону или Днепру) в Средиземное море через Рону; в IV в. н. э. едва ли кто-нибудь мог верить в эту возможность. Это было уже волшебной сказкой, которой описание северных местностей должно было придать мистический и мрачный колорит.

Именно этот особый колорит является характерной чертой орфической «Аргонавтики». Участники похода, начатого по велению роковой судьбы, постоянно чувствуют гнет этой судьбы и ее угрозы. Наиболее сосредоточено это настроение в описании роши змея; подробно и в то же время сказочно-туманно описан этот заколдованный сад; поэту удалось передать здесь впечатление, какое остается от страшного сна; даже растения, упоминающиеся здесь, не только обычные греческие лавры и кипарисы; здесь растет мандрагора — сонное дерево Индии — и ароматный кардамон; даже в этой мелочи сказывается желание поэта сгустить фантастическую окраску поэмы. В таких же трагических тонах изображена с самого начала судьба Медеи: перед приходом аргонатов Аэт видит вещий сон, что на грудь Медеи упала пылающая звезда и увлекла ее в Фасис; не раз на протяжении поэмы Медея названа «злосчастной», ее брак — «злополучным».

В разработку древнего мифа об аргонавтах каждая эпоха вносила свои особенности: между светлым героем Ясоном и священной пророчицей Медеей в оде Пиндара, равнодушным, робким и сухим Ясоном и сентиментально-влюбленной Медеей в поэме Аполлония, предприимчивым завоевателем Ясоном и гордой, вспыльчивой Медеей у Валерия Флакка и обреченной, покорной судьбе влюбленной четой в поэме орфиков такое же глубокое различие, как между эпохами, породившими их. На этих, столь различных разработках одной и той же традиционной темы ясно видно, насколько мировоззрение эпохи отражается на вековых мифологических образах.

Еще сильнее, чем в эпической поэме орфиков, синкретизм религиозных учений в первые века нашей эры отразился в том сборнике культовых стихотворений, который носит название орфических гимнов. Художественная ценность этих гимнов не очень велика, в них нет самостоятельного сюжета, почти отсутствует пересказ мифов, которые упоминаются в нескольких словах и предполагаются известными. Гимны почти сплошь состоят из призывания и перечисления богов с нагромождением самых разнообразных эпитетов. Какой-либо строго выдержанной религиозной системы в них тоже нет; олимпийские, египетские и азиатские боги призываются вперемежку. Однако неинтересные с точки зрения мастерства, эти гимны имеют большую ценность для истории литературных форм сакрального языка. Призывание божества, — а если его нельзя было назвать, то перечисление атрибутов божества, — является очень древней формой моления, встречающейся у всех народов. Некоторые из гомеровских гимнов — к Афине, к Аресу — представляют собой то же самое нанизывание имен и эпитетов. Орфические гимны являются дальнейшим этапом на этом пути; они широко используют традиционные эпитеты греческого эпоса, но прибавляют к ним и некоторые новые. Интересно отметить, что христианский гимн Климента Александрийского, возможно, созданный почти одновременно с орфическими гимнами, использует ту же форму нагромождения эпитетов. Размер орфических гимнов — традиционный гексаметр, довольно искусно построенный. В дальнейшем же византийская церковная поэзия, пользуясь в основном той же канвой, но рисуя на ней сложный ритмический и риторический узор, создает новую, своеобразную форму — христианский акафист, уже не в стихах, а в ритмической прозе. Однако основной прием — призывание божества и перечисление его качеств и признаков — сближает акафисты и орфические гимны, имеющие чисто культовый характер.



Глава XV

ФИЛОСОФСКАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ И РИМСКОЙ ЭПОХ

1. ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ И РИМСКОЙ ЭПОХ ДО ЗАРОЖДЕНИЯ НЕОПЛАТОНИЗМА

1. Греческая философия после Аристотеля и ее культурно-исторические основы.—
2. Историко-философская литература эллинистического периода.—
3. Академия.—
4. Перипатетики.—
5. Школа Эпикура.—
6. Стоики.—
7. Кирики и киренаики эпохи эллинизма.—
8. Скептики.

1. ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОСЛЕ АРИСТОТЕЛЯ И ЕЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

После Аристотеля начинается третий и последний период развития греческой философии, который заканчивается в начале VI в. н. э., когда император Юстинианом был издан эдикт (529 г. н. э.), запрещающий преподавание философии в Афинах, и когда прекратила свое существование основанная Платоном в Афинах Академия. Начало этого периода характеризуется упадком древнегреческих полисов последующей потерей греческими государствами политической независимости и образованием на месте старых греческих полисов и наряду с ними монархий, разрушивших национальные границы древних полисов, а в культурном отношении — распространением греческой образованности далеко за пределами Греции, эллинизацией окружающих Грецию стран и усвоением греческой культурой элементов восточных культур. Греческая философия становится одной из страстей эллинистической культуры, отражая в своих доктринах общие черты этой культуры и испытывая ее общую судьбу.

Греческая философия, зародившаяся на ионийском побережье Малой Азии в начале VI в. до н. э. и достигшая в Афинах со второй половины V в. до н. э. наивысшего расцвета, в этот последний период, с конца IV в. до н. э., расширяет свое влияние, проникая в окружающие Грецию страны и испытывая культурное влияние стран, вошедших в тесное общение с Грецией вследствие завоеваний Александра Македонского и затем Рима. Если завоевания Александра Македонского поставили Грецию в тесную политическую и культурную связь со странами Востока и Юга, то завоевания Рима, подчинившего во II в. до н. э. и Грецию, создали тесное взаимодействие греческой и римской культур и содействовали усилению греческого культурного влияния на Западе. В этот период, наряду со старыми цент-

рами греческой культуры, создаются новые: Александрия, Пергам, Антиохия, Тарс, Родос, Сиракузы, из которых важнейшим научным и литературным центром становится Александрия с ее музеем и знаменитой библиотекой.

Утрата независимости греческими государствами и исчезновение резких национальных границ создают почву для идей космополитизма — всемирного гражданства, характерных как для культуры эллинизма вообще, так и, в особенности, для философских школ киников и стоиков. Рост имущественного неравенства и новых социальных противоречий, выражающихся в часто вспыхивающих восстаниях и в войнах и подготавливающих почву для феодального общества, идущего на смену рабовладельческой формации, утрата веры в прочность религиозных, моральных и политических принципов, организовывавших жизнь древнегреческих полисов, неуверенность в будущем заставляют искать новую опору в жизни; но эту опору философы ищут не в социально-политических преобразованиях общества, а в мировоззрении, обеспечивающем человеку безмятежность духа, духовную независимость от окружающей среды. Философия претендует на руководство лишь частной жизнью человека и становится житейской мудростью. Так возникают философские воззрения эллинизма. Если в эллинистическую эпоху эти взгляды складываются преимущественно в виде этических учений, опирающихся на онтологию и космологию учений классического периода (стоики, эпикурейцы), или в виде скептических учений, то в римский период наряду с указанными учениями появляются религиозно-философские системы, возрождающие в преобразованном виде платонизм или пифагорейство, а также сочетающие принципы греческого идеализма с восточной мистикой (платонизм I в. до н. э. — II в. н. э., неопифагорейство, иудейско-эллинистическая философия Филона, неоплатонизм). Если поиски мировоззрения в эллинистический период возбуждают философские споры и вызывают к жизни многочисленные школы и острую борьбу между ними (стоики, киники, эпикурейцы, академики, перипатетики, скептики), то после завоевания Греции Римом обнаруживаются попытки примирить враждующие доктрины, выработать универсальное мировоззрение — создаются эклектические учения, в конце концов поглощаемые неоплатонизмом.

Перемещение интересов философов из сферы решения общих теоретических проблем космологии и онтологии в область поисков критериев правильной жизни существенно сказалось как на содержании философских учений, так и на литературной форме философских произведений.

В эллинистическую эпоху значительно слабеет тот дух философского творчества, благодаря которому в предшествующие эпохи философская мысль Греции достигла большой высоты. Вместо творческого решения теоретических проблем философы эллинистической эпохи главным образом стремятся найти готовые доктрины и занимаются их дальнейшей разработкой, комментированием, приспособлением к новым потребностям жизни. Эпикурейцы продолжают линию материализма Демокрита и усваивают, правда, с отступлениями, этические принципы школы киренаиков. Стоики возрождают учение Гераклита и в вопросах этики примыкают к кинической школе. В созданной Аристотелем и его учеником Теофрастом перипатетической школе развивается и комментируется учение Аристотеля. Созданная Платоном Академия после его смерти сближается с пифагорейством. Затем в ней господствующим становится умеренный скептицизм, который сменяется эклектизмом. В мистико-философских учениях римского периода, как уже было сказано, возрождаются учения пифагорейцев и Пла-

тона. В связи с интересом к историческому прошлому начинают изучать философские теории и систематизировать философские учения. Создается обширная историко-философская литература. Исследовательская мысль уходит из сферы философии и обнаруживается с большой силой в сфере частных наук (математика, механика, астрономия, физика, биология, география, филология, история), обособление и развитие которых, хотя и началось в аттический период, стало характерной чертой эллинистической эпохи. Исследованием в области частных наук особенно прославились представители перипатетической школы и ученые Александрии: математик Эвклид, математик и механик Архимед, поэт и грамматик Каллимах, грамматик Аристарх из Самофракии, астроном Конон, астроном Аристарх Самосский — автор гелиоцентрической теории, астроном Гиппарх, географ и математик Эратосфен, астроном и географ Клавдий Птолемей и другие. В соответствии с указанными чертами эллинистической философии складываются и литературные формы философских и научных трудов. Наряду с формой ученого трактата, излагающего результаты исследования, — формой, сложившейся еще в аттический период философии (классические образцы находим у Аристотеля) и безраздельно господствующей в области частных наук, появляется обширная популярная философско-моральная литература в форме прозаических и стихотворных поучений, сатир (силлы¹ Тимона), пародий, бесед (диатрибы киников и стоиков), писем и т. д. Обширную отрасль философской литературы эллинизма составляют историко-философские исследования в виде биографий философов, истории школ, изложения мнений (доксография), истории философских направлений. Ввиду большого значения этой литературы как источника изучения греческой философии целесообразно выделить ее и с нее начать обзор философской литературы.

2. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Историко-философскую литературу эллинистического периода можно разделить на следующие группы:

1. Обширную группу составляют *биографии и хронографии*. Начало биографической литературе было положено учеником Аристотеля *Аристоксеном* (акме² — 318 г. до н. э.), автором биографий знаменитейших философов, в частности Пифагора и Платона, и сочинений «Пифагорейские мнения», «Пифагорейский образ жизни». Сочинения Аристоксена являлись одним из важнейших источников для ознакомления с пифагорейскими учениями древнего периода, а написанные им биографии с этическими характеристиками и подробностями частной жизни философов, порой рассчитанными на сенсацию, стали стилистическими образцами для биографий, составлявшихся перипатетиками. Другой перипатетик, *Неант* из Кизика, в сочинении «О знаменитых мужах» дал биографические сведения о Пифагоре, Гераклите, Эмпедокле, Платоне и Антисфене. Иной характер имели биографические сведения, сообщавшиеся знаменитым александрийским поэтом и грамматиком Каллимахом, который составил сто двадцать книг-каталогов или списков выдающихся ученых всех об-

¹ «Силлами» называются краткие морально-философские или сатирические изречения, написанные размером элегического дистиха.

² *Акме* (ἀκμή) — время расцвета, апогей; таким моментом считался возраст около 40 лет.

ластей знания и их сочинений, причем в особый отдел были выделены философы. Сведения, сообщаемые Каллимахом, были обоснованы литературными источниками и носили более строгий характер. Перипатетик Гермипп из Смирны (ок. 200 г. до н. э.) в своих биографиях сочетал традиции александрийской школы Каллимаха с особенностями перипатетических биографий. Такого же характера были биографии, составленные перипатетиком Сатиром (конец III в. до н. э.). Значительный материал для биографий давал труд Деметрия из Магнезии (I в. до н. э.) «О поэтах и прозаиках, носящих одинаковые имена». К биографической литературе следует отнести жизнеописания философов, составленные Антигоном из Кариста на Эвбее (ок. 225 г. до н. э.), цитируемые Диогеном Лаэртским.

Большое значение для истории философии имели хронографии александрийского математика и биографа Эратосфена (276—194 гг. до н. э.), бывшего библиотекарем в Александрии, и особенно четыре книги «Хроник» Аполлодора Афинского (II в. до н. э.), опиравшиеся отчасти на хронографии Эратосфена и написанные стихами, в форме дидактической поэмы. «Хроники» Аполлодора обнимали период от взятия Трои (1184 г. до н. э.) до 144 г. до н. э. (до 129 г. до н. э. во втором издании) и содержали хронологические данные по истории философии и науки. Особенностью «Хроник» Аполлодора является определение дат акме жизни ученых, на основе которых устанавливаются даты рождения.

Упомянутые работы биографов и хронографов почти не сохранились, но послужили основой для более поздней литературы по истории философии, в частности для истории философских школ Диогена Лаэртского.

2. Особенностью литературы по истории философских школ было то, что биографии и учения философов излагались не изолированно, а в той связи, в какой школы стояли друг к другу. Начало этой литературы было положено перипатетиком Сотилоном из Александрии, автором написанного между 200 и 170 гг. до н. э. сочинения «Преимущество философов», в котором была осуществлена попытка изложить историю греческой философии по «преимствам школ и философов».

Важнейшим дошедшим до нас трудом по истории философских школ являются десять книг Диогена Лаэртского³ «Жизнеописания и мнения прославившихся в философии, и о положениях отдельных школ». В этом сочинении, ставшем одним из главных источников по истории греческой философии, излагаются по школам биографии и учения философов, начиная с Фалеса и кончая философами III в. до н. э., причем в основу деления по школам положена система Сотилона.

3. Третьим видом историко-философских сочинений являются доксографические сочинения — изложения истории философии по мнениям (δόξαι), высказанным относительно той или иной проблемы. Начало этому виду историко-философской литературы было положено Аристотелем, который исследованию отдельных проблем обычно предпосылал изложение истории исследуемого вопроса (этот прием особенно ярко выражен в «Метафизике» и «Физике» Аристотеля). Наиболее видным доксографом, положившим начало этой литературе как особому виду изложения истории философии, был ученик Аристотеля Феофраст, руководивший школой перипатетиков с 322 г. до своей смерти, последовавшей около 287 г. до н. э. Феофраст написал 18 книг «Мнений физиков», в которых излагались философские и физические учения по следующим проблемам: начала, божество, космос, метеорологические явления, психологические и физиологиче-

³ См. гл. IX настоящего тома.

ские проблемы. Это сочинение до нас не дошло и известно лишь по извлечениям, которые делались последующими доксографами. Извлечения из «Мнений физиков» содержались, по-видимому, в так называемых «Древних мнениях», принадлежавших неизвестному последователю (I в. до н. э.) Посидония и не дошедших до нас. На эти «Древние мнения», по предположению Х. Дильса, опирался Аэтий (ок. 100 г. н. э.) в своем «Своде положений». «Свод» Аэтия послужил, как доказывает Х. Дильс, основным источником Псевдо-Плутарховых «Мнений философов», относящихся ко II в. н. э., и «Эклог» Иоанна Стобея (ок. 400 г. н. э.). На извлечения из Феофраста опираются также Псевдо-Плутарховы «Строматы». Историко-философское значение имеет также дошедший до нас фрагмент Феофраста «Об ощущениях», содержащий критику психологических учений Парменида, Эмпедокла и Анаксагора.

4. Наконец, четвертый вид историко-философских работ представляет собой изложение истории философии не по проблемам и не по отдельным школам, а по философским учениям или направлениям, взятым в целом. Таковы сочинения «Об учениях философов» академика Клитомаха (II в. до н. э.), эпикурейца Аполлодора (II в. до н. э.), стоика Ария Дидима из Александрии (I в. до н. э.), автора «Эпитомы». К этому же виду исследований относятся десять книг сочинения перипатетика Аристокла (II в. н. э.) «О философии».

3. АКАДЕМИЯ

Созданная Платоном около 387 г. до н. э. в Афинах, в гимнасии Академа, и переведенная затем в соседний сад философская школа, получившая по месту своего учреждения название Академии, по форме представляла собою религиозное общество, посвященное почитанию Муз, а по существу своей деятельности — ученое общество, члены которого — учителя и ученики — занимались изучением философии, математики, астрономии и естественных наук. После смерти Платона Академия управлялась схоластами, избравшимися участниками школы.

В истории Академии выделяют три периода: Древняя Академия, период от Платона до схоларха Аркесилая (270 г. до н. э.), Средняя Академия — от Аркесилая до Карнеада (II в. до н. э.) и Новая Академия — после Карнеада и Клитомаха (от II — I до н. э. до VI в. н. э.). В 529 г. н. э. Академия была закрыта и сад ее конфискован в силу эдикта Юстиниана.

Древняя Академия, состоявшая из ближайших последователей Платона, занималась догматической разработкой учения Платона последнего периода, сближая его с учением пифагорейцев.

Из сочинений древних академиков сохранились лишь фрагменты.

Первый после Платона схоларх Академии — племянник Платона Спевсипп (395—334 гг. до н. э.) — был автором многочисленных работ по разнообразным отраслям знания, большая часть которых, по-видимому, представляла собою записки, связанные с преподаванием в Академии. В частности, им были написаны биография Платона, сочинение о пифагорейских числах, энциклопедия естественнонаучного содержания в десяти книгах, диалог «Аристипп». Из представителей Древней Академии особого упоминания ввиду его литературной деятельности заслуживает Гераклид Понтийский (акмэ — 340 г. до н. э.), автор многочисленных сочинений не только по вопросам философии и естествознания, но также филологии и искусства. Ему принадлежали сочинения: «О времени Гомера и Гесиода», «Об Архилохе и Гомере», «О некоторых особенностях Эврипида и Софокла»,

«Гомеровские вопросы», «О поэзии и поэтах», «О грамматике» и сочинение по истории музыки.

Он также писал о Зеноне, Гераклите, Демокрите и пифагорейцах. В истории философии Гераклид известен учением о строении мира из раздельных частиц, по-видимому, делимых и имеющих качественные различия. Он заимствовал у пифагорейца Экфанта учение о вращении земли вокруг своей оси.

К числу представителей Древней Академии относятся: ученик Платона Филипп Опунтский, бывший, по-видимому, редактором «Законов» Платона и автором послесловия к ним — «Эпиномиды»⁴, которое приписывалось также самому Платону; астроном и математик Евдокс из Книды (406—353 гг. до н. э.), открывший вместе с Платоном золотое сечение; Крантор (прибыл в Афины около 320 г. до н. э.) — первый комментатор «Тимея» Платона и автор сочинения «О печали», где в противоположность киникам и стоикам он рекомендует не искоренение, а лишь разумное ограничение страстей. Это сочинение стало образцом для составителей «утешений».

Период Средней Академии начинается с 270 г. до н. э., когда схолархом стал Аркесилай из Питаны в Эолии (315/4—241/40 гг.) — остроумный оратор и приверженец скептиков, благодаря которому в Академии стало господствовать скептическое направление. Аркесилай сам ничего не писал, и учение его было записано учеником и преемником его Лакидом, который был схолархом с 241 до 215 г. Согласно Аркесилаю, в практической деятельности мы руководствуемся вероятностью, которая делится на два вида: вероятность, покоящаяся на разумных основаниях (εὐλογον), и вероятность, покоящаяся на субъективной уверенности (πιθανόν).

Основателем Новой Академии считают Карнеада из Кирены (214/12—129/28 гг. до н. э.), блестящего оратора, ставшего главою школы, видимо, ранее 155 г. В 155 г. он вместе с перипатетиком Критолаем и стоиком Диогеном находился в Риме в составе афинского посольства. От Карнеада не осталось никаких сочинений. Так же как и Аркесилай, он вел философскую борьбу со стоическим догматизмом и особенно с Хрисиппом. Он говорил, что если бы не было Хрисиппа, то не было бы его самого. В частности, он боролся против стоической теологии, считая несостоятельными доказательства существования бога, а само представление личного бога — внутренне противоречивым. Со скептицизмом Карнеада было связано и его ораторское, скорее даже софистическое мастерство. По сообщению Лактанция, будучи в составе посольства в Риме, он произнес две речи: одну в похвалу справедливости и другую, на следующий день, против справедливости. Учеником Карнеада был карфагенянин Клитомах (187/6—110/9 гг. до н. э.), ставший схолархом в 129 г. и давший письменное изложение учения Карнеада.

Начиная с Филона из Лариссы, ставшего схолархом в 110/9 г., и в 88 г. бежавшего в Рим, где он был учителем Цицерона, Новая Академия отступает от скептицизма, на смену которому приходят попытки построить учение о достоверном знании. Уже ближайшие ученики Карнеада не придерживались положения учителя о непознаваемости вещей, а Филон учил, что Аркесилай и Карнеад не имели намерения отрицать познание. Совершенно порвал со скептицизмом Антиох из Аскалона, учитель Цицерона, ставший главою Академии, вероятно, около 88 г. до н. э. и умерший около 68 г. По учению Антиоха, не может быть вероятности и очевидности, если

⁴ Diog. Laërt. III, 37.

нет истины: утверждение, что ничего нельзя утверждать,— внутренне противоречиво. Истинное знание Антиох пытался добыть путем открытия общих идей в учениях академиков, перипатетиков и стоиков. Так возникло в Академии эклектическое направление.

4. ПЕРИПАТЕТИКИ

Перипатетическая школа была основана Аристотелем совместно с его учеником и другом Феофрастом в 335/4 г. до н. э. в Ликее—гимнасии, посвященном Аполлону Ликейскому, где Аристотель вел преподавание, прогуливаясь со своими учениками (*перипатобутес*), откуда школа и получила название перипатетической. Первым после Аристотеля главой школы в течение 35 лет, начиная с 322 г. до н. э., был Феофраст (327—287 гг. до н. э.). Он уже упоминался выше как первый доксограф, автор 18 книг «Мнений физиков». Феофраст был выдающимся оратором и плодовитым писателем (ему приписывают 227 сочинений), работавшим во всех областях знания. Из его произведений сохранились «Нравственные характеры», в которых даются логически обработанные определения моральных недостатков и смешных сторон людей и в качестве иллюстрации — конкретные образцы поведения людей: скрытный, льстец, болтун, неотесанный, угодливый, скупой, сплетник, бесстыдник, недоверчивый и т. д. Например, лезть определяется как постыдное поведение, полезное лишь для самого льстеца (гл. 2 — «О лести»); если льстец идет по площади, он говорит: «Не замечаешь ли, как все смотрят на тебя? Это случается только с тобою. Вчера много говорили о тебе и не удержались от похвал...»; снимая пушинку или соломинку с волос или с бороды другого, льстец скажет: «Удивительно, как ты побелел за те два дня, в которые я тебя не видал», — и добавит: «Для человека твоего возраста у тебя достаточно черных волос...». Льстец покупает фрукты для детей, дарит их в присутствии отца и, целуя детей, говорит: «Вот прекрасные дети, достойные такого отца...» и т. д.

Помимо «Характеров» сохранились сочинения «Об истории растений», «О происхождении растений» и ряд фрагментов других сочинений, в частности упоминавшийся фрагмент «Об ощущениях». Трактаты о растениях создали Феофрасту славу «отца ботаники»; средневековые ботаники считали его своим учителем. «Нравственные характеры» Феофраста являются одним из источников для изучения античного театра, а в XVII в. они вдохновили французского переводчика Ла Брюйэра на подражание, в котором он дал блестящие, иногда портретные характеристики людей своего века.

Работая во всех областях знания, Феофраст внес ряд дополнений и исправлений в логические, метафизические и естественнонаучные учения Аристотеля.

Вопросом поэтики и риторики было посвящено не дошедшее до нас сочинение «О стиле», оказавшее сильное влияние на античные теории речи (Деметрий Фалерский, Дионисий Галикарнасский, Цицерон). Феофраст различал два рода речи: речь, имеющую в виду слушателей и делящуюся на поэтическую и ораторскую, и речь, направленную на исследование предмета и ставящую задачу опровергнуть ложь и доказать истину. В теории стилей Феофраст создает учение о выборе слов, словосочетаниях, исследует различные риторические фигуры, в частности антитезу, тропы.

Вместе с Феофрастом над дополнением логики Аристотеля работал Евдем из Родоса, вернейший ученик Аристотеля (по выражению Симпликия, известного комментатора сочинений Аристотеля).

Учеником Аристотеля также был Аристоксен из Тарента (акмэ — 318 г. до н. э.), вышедший из пифагорейской школы и упоминавшийся выше как биограф философов. В соответствии с пифагорейским учением Аристоксен считал душу гармонией — гармоническим сочетанием частей, подобно тому, как музыкальная гармония является сочетанием различных тонов. Ему принадлежит сочинение в трех книгах по теории музыки «Об элементах гармонии», в котором в основу учения кладется не теория чисел, как это делал Пифагор, а слуховое восприятие.

Дикеарх из Мессены (347—287 гг. до н. э.), от сочинений которого дошли только фрагменты, тоже ученик Аристотеля, был автором известного труда по истории культуры Греции «Жизнь Эллады», в котором давалось описание Греции и излагалась ее история, включая историю политической, литературную, историю музыки, нравов и религии. Кроме того, им были написаны биографии «семи мудрецов», Пифагора, Ксенофонта и Платона, а также сочинения: «О поэте Алкее» — реальный комментарий; «О Гомере»; «О мифах, лежащих в основе трагедий Софокла и Эврипида»; «Полития» в которой упоминались политии Пелленская, Коринфская, Афинская и Спартанская; «Триполитик» — диалог о лучшем государственном строе, которым он считал строй смешанный, состоящий из элементов демократии, аристократии и монархии; «О душе» — сочинение, распадавшееся на Коринфские и Лесбосские диалоги, в которых доказывалось, что душа является силой, разлитой по всему телу и неотделимой от него, и отрицалось самостоятельное существование души и бессмертие; биографические сочинения.

Праксифан Родосский (акмэ — 300 г. до н. э.), ученик Теофраста, известен своей критикой текста поэмы Гесиода «Труды и дни», начало которой он считал не подлинным, и критикой текста «Тимея» Платона.

Другой ученик Теофраста — Деметрий Фалерский (354—283 гг. до н. э.) был политическим деятелем (стоял во главе управления Афин с 318 до 307 г.) и оратором. Деметрий писал об «Илиаде» и «Одиссее», собирал басни Эзопа, составил список архонтов в Афинах, написал трактат «О стиле», в котором развивалась перипатетическая теория речи, в частности, подробно разрабатывалось учение о типах речи и о периоде, и был автором пяти книг «О сновидениях». Сочинения его утрачены. Особенную известность Деметрий приобрел как инициатор создания библиотеки в Александрии.

Выдающимся и наиболее самостоятельным в области философии учеником Теофраста был Стратон из Лампсака, руководивший школой с 288/7 до 270 г. до н. э., прозванный «Физиком» за его склонность к естествознанию. Стратон внес значительные изменения в философскую систему Аристотеля, истолковав ее в эмпирически-натуралистическом смысле и приблизив к материализму Демокрита. В учении о душе Стратон не проводил принципиальной границы между разумной и чувствующей душой, душевную деятельность сводил к движению, отрицал бессмертие и полагал, что душа находится в голове. Стратон также не отделял мышления от восприятия, считая чувственное впечатление основой мысли, а мышление — необходимым условием восприятия.

После Стратона до второй половины I в. до н. э. перипатетическая школа переживает период упадка, в течение которого главным образом разрабатываются вопросы этики и составляются труды историко-философского характера.

Начиная с Андроника Родосского, ставшего около 70 г. до н. э. одиннадцатым главою перипатетической школы, школа переживает

новый подъем. Андроник известен главным образом как издатель сочинений Аристотеля, перевезенных в Рим в 86 г. до н. э. и совместно с грамматиком Тираннионом подготовленных им к изданию. С этого времени начинается оживленная работа по комментированию сочинений Аристотеля.

Н и к о л а й из Дамаска (род. ок. 64 г. до н. э.), советник иудейского царя Ирода, написал сочинение «О философии Аристотеля». Ему же принадлежит труд по всемирной истории в 144 книгах и дошедших до нас под именем Аристотеля две книги «О растениях».

Самым выдающимся комментатором Аристотеля был ученик Аристотеля Александр Афродисийский (конец II и начало III в. н. э.), которого называли «Экзегетом» (истолкователем) и «Вторым Аристотелем». Его комментарии, охватывающие основные сочинения Аристотеля, имели целью не только разъяснить учение Аристотеля, но и защитить его от возражений представителей других школ. Александр склонялся к натуралистическому истолкованию учения Аристотеля.

Перечисляя труды перипатетиков, следует еще упомянуть о метафизически-теологическом сочинении неизвестного перипатетика конца I или начала II в. н. э. «О космосе», которое приписывалось Аристотелю; по содержанию оно является попыткой примирить аристотелевское и стоическое учения о божестве.

С конца III в. н. э. перипатетическая школа сливается с неоплатонизмом. Из числа поздних писателей, причисляемых к перипатетикам, можно отметить Фемистия⁵, оратора и философа-эклетика, называвшего себя перипатетиком и пытавшегося создать нечто целое из учений Аристотеля и Платона; от него сохранились собрание речей и парафразы к аристотелевым сочинениям: «Вторая аналитика», «О душе», «Физика», «О небе» и «12-я книга метафизики». Парафразы ко «Второй аналитике» послужили образцом для средневековых комментаторов логики Аристотеля, в частности для Михаила Пселла — византийского писателя XI в.

5. ШКОЛА ЭПИКУРА

Академия и школа перипатетиков по времени их возникновения были наиболее старыми школами эпохи эллинизма, основанными еще в классический период философии. Наиболее влиятельными и ярче всего отражавшими черты эллинистической культуры были школы Эпикура и стоиков.

Если академики в эпоху эллинизма были представителями философского идеализма и умеренного скептицизма, если работы перипатетиков свидетельствовали о больших или меньших колебаниях этой школы в сторону идеализма (Аристокл) или материализма (Стратон), то школы Эпикура и стоиков, опираясь в своих теоретических положениях на материалистические учения еще доаттического периода, расходились, однако, как в своих исходных пунктах, так и в выводах, причем эпикурейская школа, примыкая к учению Демокрита, последовательно продолжала материалистическую традицию греческой философии, а стоическая школа, истолковав теологически учение Гераклита, стала идеалистической школой, поглощенной в IV в. неоплатонизмом.

Эпикур родился в 341 г. до н. э. в семье учителя Неокла, поселившегося на острове Самосе в качестве афинского клеруха. Философией Эпикур стал заниматься с 14-летнего возраста под влиянием сочинений Демокрита. Сохранились сведения, что учителями его были платоник Памфил

⁵ См. главу XIII настоящего тома.

и последователь Демокрита Навсифан. Однако Эпикур, первоначально называвший себя демокритовцем, впоследствии стал подчеркивать свою самостоятельность, а о Навсифане говорил с презрением. Эпикур, подобно отцу, тоже занимался преподаванием в школе, а с 32-летнего возраста учил философии в Колофоне, Митилене, Лампсаке, а затем (с 306/7 г.) в Афинах, где он основал школу в приобретенном для этой цели саду, причем она иногда называлась «Сад Эпикура», а эпикурейцы — «философами из сада». Школа представляла собою содружество людей, стремившихся путем философии достигнуть безмятежной и блаженной жизни; основатель школы — Эпикур — был предметом преклонения и культа. На воротах сада была надпись: «Гость, тебе будет здесь хорошо; здесь удовольствие — высшее благо». Умер Эпикур в 271/0 г. до н. э.

Эпикур излагал свое учение в многочисленных сочинениях (около 300), важнейшими из которых были 37 книг «О природе», в письмах и беседах. В противоположность Демокриту, письменная речь которого благодаря ритмичности, умелому подбору слов и обилию образных сравнений, вызывала восхищение Цицерона, сочинения Эпикура были лишены литературных достоинств. Они были написаны сухим, мало выразительным языком, без поэтических украшений. Из всех сочинений Эпикура до нас дошли: «Письмо к Геродоту», в котором излагается физика Эпикура; «Письмо к Менекею», в котором излагается этическое учение; «Письмо к Пифоклу», посвященное вопросам астрономии и метеорологии и, видимо, являющееся извлечением из физических сочинений Эпикура: собрание «Главных мыслей» и несколько фрагментов сочинений и писем⁶.

В I в. до н. э. философия Эпикура была блестяще изложена римским поэтом Лукрецием⁷ в поэме «О природе вещей».

Философия для Эпикура была деятельностью, доставляющей нам посредством исследования и размышления счастливую жизнь. Он делил ее на три части: 1) практическая философия, или этика, 2) физика и 3) каноника — учение о путях и критериях познания. «Пусты слова того философа, — говорит Эпикур, — которыми не врачуеться никакое страдание человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезни из тела, так и от философии — если она не изгоняет болезни души» («Отрывки из неизвестных источников», 54). В соответствии с этим главенствующее положение в системе Эпикура занимает этика, указывающая принципы счастливой жизни, а физике и канонике отводится подчиненное положение. Если счастье состоит в освобождении от страданий, в частности от страданий, которые внушаются верой в бессмертие, в сверхъестественные божественные силы, неправильными представлениями о смерти и верой в рок, то физика путем открытия естественных связей в мире должна разрушить веру и суеверие, а каноника — показать критерии истины, без чего невозможна разумная жизнь.

Практический характер философии Эпикура отмечался Марксом в его докторской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура»: «Эпикур сознается, что его способ объяснения имеет целью невозмутимость самосознания, а не познание природы само по себе»⁸.

Будучи рациональным мировоззрением, философия Эпикура ставила себе просветительные задачи. Просвещение, которое несла философия Эпи-

⁶ Сохранившиеся сочинения Эпикура переведены на русский язык С. И. Соболевским. См. Лукреций и др. «О природе вещей», т. II, Изд-во АН СССР, 1947, стр. 526.

⁷ Там же, т. I.

⁸ К Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, Госполитиздат, М., 1956, стр. 37.



Философ. Римская копия с греческого оригинала. III в. до н. э.
Гос. Эрмитаж

кура, состояло в борьбе с верой в сверхчувственные божественные силы, в борьбе с религией, мистикой и суевериями и в объяснении природы и человека из естественных причин. Эпикур, говорится в «Немецкой идеологии», «был подлинным радикальным просветителем древности, он открыто нападал на античную религию, и от него ведет свое начало атеизм римлян, поскольку последний у них существовал. Поэтому Лукреций и прославлял Эпикура как героя, впервые низвергнувшего богов и поправшего религию, поэтому же у всех отцов церкви, от Плутарха до Лютера, Эпикур слышит безбожным философом»⁹.

Если Эпикур и признавал существование богов, наслаждающихся блаженной жизнью («Письмо к Менекею», 123), то вместе с тем он отрицал какое бы то ни было влияние их на жизнь вселенной и человека, отводя им место в промежутках между бесчисленными мирами.

В сочинении, озаглавленном «Канон», в качестве критериев истины Эпикур указывает восприятия (*αἰσθησεις*), понятия (*προλήψεις*) и чувства (*πάθη*).

Под восприятиями в широком смысле он понимает как чувственные восприятия, так и образы фантазии. И те и другие порождаются проникновением в нас образов вещей — образов, подобных по виду плотным телам, но по тонкости далеко превосходящих их («Письмо к Геродоту», 46—48). Эти образы истекают от вещей, причем они или, истекая с определенной устойчивой последовательностью от одной и той же вещи, проникают в наши органы чувств, и в таком случае возникают чувственные восприятия в узком значении этого слова, или же носят изолированные в воздухе, подобно паутине, иногда переплетаются друг с другом, а затем проникают уже не в органы чувств, а в поры нашего тела, и тогда возникают фантастические представления вроде химеры, кентавра и т. д. В результате восприятий образуются единичные представления (*φαντασίαι*). На основе единичных представлений возникают общие представления или понятия (*προλήψεις*).

Восприятие как очевидное (*ἐνάργεια*) всегда истинно, оно всегда отражает действительность. Обманы чувств и фантастические образы не опровергают этого положения, так как и за ними стоит известная действительность, правда, иная, чем действительность восприятий органов чувств.

Ложь возникает только вследствие суждения или мнения (*ὑπόληψις, δόξα*). Источник лжи или ошибки состоит в том, что мы в суждении что-либо прибавляем к чувственному восприятию от себя, в частности относим представление не к той действительности, с которой оно на самом деле в восприятии связано.

«А ложь и ошибка,— пишет Эпикур Геродоту (50),— всегда лежит в прибавлениях, делаемых мыслью [к чувственному восприятию] относительно того, что ожидает подтверждения или неопровержения, но что потом не подтверждается [или опровергается]».

Если каноника Эпикура покоится на сенсуалистической теории познания, то основой физики Эпикура, как было указано, является атомистическое учение Демокрита, принятое с рядом изменений.

В качестве исходных недоступных чувствам положений физического учения Эпикур принимает следующие: ничто не происходит из несуществующего и не переходит в несуществующее; вселенная всегда была такой, какова она теперь, и всегда будет такой («Письмо к Геродоту», 38).

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. III, стр. 127.

Далее, следуя Демокриту, Эпикур учил, что тела или представляют собою соединения, или то, из чего образованы соединения. То, из чего образованы соединения, это неделимые плотные тела — атомы (ἄτομοι), различающиеся по форме, величине и весу. Допуская различие атомов по весу, Эпикур отступал от учения Демокрита, не указывавшего на такое различие. Наиболее существенной особенностью физики Эпикура было то, что в противоположность Демокриту, не допускавшему случайности и свободы в природе и считавшему, что все связано строгой необходимостью, Эпикур признавал свободу как в поведении людей, так и в движении атомов. Он учил о спонтанном отклонении (παρέγκλισις) атома от прямолинейного движения, как об этом свидетельствуют Аэтий¹⁰ и эпикуреец Диоген. Эту спонтанность отклонения атома Лукреций в поэме «О природе вещей» выражает так¹¹:

Легкое служит к тому первичных начал отклоненье,
Но не в положенный срок и совсем не на месте известном.
(II, 292—293)

Допущение свободного, не связанного необходимостью отклонения атомов вводится Эпикуром, с одной стороны, для объяснения образования вещей, а с другой стороны, выражает в физике один из основных принципов эпикурейского мировоззрения, опирающегося на учение о свободе воли в противоположность стоикам, учившим о связанности человека судьбою или роком.

«В самом деле,— пишет Эпикур Менекею (134),— лучше было бы следовать мифу о богах, чем быть рабом судьбы физиков: миф дает намек на надежду умилоствления богов посредством почитания их, а судьба заключает в себе неумолимую необходимость».

Как писал Маркс в вышеупомянутой диссертации: «Отклонение атома от прямой линии не есть особое, случайно встречающееся в эпикурейской физике определение. Напротив, закон, который оно выражает, проходит через всю эпикурейскую философию, но таким образом, что — как это само собой разумеется — определенность его проявления зависит от той сферы, в которой он применяется»¹².

Вселенную Эпикур считал безграничной и по числу тел и по пустоте, («Письмо к Геродоту», 41—42); безгранично и число миров, образующихся во вселенной.

Душа человека, по Эпикуру, представляет собою вещество, состоящее из тонких частиц, рассеянное по всему телу, «очень похожее на ветер» (там же, 63). «Говорящие, что душа бестелесна,— говорят вздор» (там же, 67). Вместе с разложением организма душа рассеивается.

Основным положением этики Эпикура было утверждение, что удовольствие (ἡδονή) есть начало и конец счастливой жизни, что оно — первое и прирожденное благо («Письмо к Менекею», 128—129). В этом этика Эпикура совпадала с учением Аристиппа (435—360 гг. до н. э.) — основателя школы киренаиков. В отличие от Аристиппа, считавшего удовольствие положительным состоянием души, которое вызывается ровным движением, Эпикур сводил удовольствие к отсутствию страданий. Эпикур цель жизни видел в состоянии, свободном от телесных страданий и от

¹⁰ Aetii. Placita, I, 12, ed. Diels.

¹¹ Стихотворные цитаты из поэмы Лукреция даются в переводе Ф. А. Петровского.

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, Госполитиздат, М., 1956, стр. 43.

душевных тревог, в безмятежности души (*ἀταραξία τῆς ψυχῆς*). Удовольствие, согласно Эпикуру, является критерием поведения человека. «С него начинаем мы всякий выбор и избегание; к нему возвращаемся мы, судя внутренним чувством, как мерилom, о всяком благе» («Письмо к Менекею», 129). Однако это не значит, что человек должен отдаваться всякому удовольствию, и было бы совершенно неправильно думать, что Эпикур проповедовал грубую распущенность, вульгарный гедонизм. Выбор удовольствия Эпикур, так же как и Аристипп, подчинял благоразумию. Эпикур считал благоразумие величайшим благом, которое «дороже даже философии. От благоразумия произошли все остальные добродетели: оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно» (там же, 132; ср. «Главные мысли», V). В связи с этим и желания Эпикур делил на естественные и вздорные, а естественные подразделял на необходимые и не необходимые («Письмо к Менекею», 127; «Главные мысли», XXIV). В отдельных случаях Эпикур даже рекомендовал избегать удовольствия и предпочитал страдания, а именно тогда, когда удовольствие сопровождается большими неприятностями или когда за страданием следует большее удовольствие («Письмо к Менекею», 129).

Особенностью этики Эпикура, присущей и другим этическим учениям эпохи эллинизма, был ее индивидуализм, отсутствие в ней социальных принципов. Недаром одним из правил Эпикура было «живи незаметно» («Этика», 86). В соответствии с индивидуалистическим характером своей этики Эпикур ценил и дружбу ради приносимого ею блага безмятежности души.

Этическому индивидуализму соответствовало учение Эпикура о договорном происхождении справедливости. «Справедливость не есть нечто само по себе, но в сношениях людей договор о том, чтобы не вредить и не терпеть вреда» («Главные мысли», XXXV). В учении о происхождении языка Эпикур отрицал договорный принцип при объяснении начальной стадии образования языка и вводил договорное начало для объяснения последующих этапов развития языка, когда люди стали устранять двусмысленности из языка и давать названия новым предметам («Письмо к Геродоту», 75—76)¹³.

Из представителей эпикурейской школы, излагавших это учение на греческом языке, следует упомянуть: ученика Эпикура Метродора из Лампсака, автора сочинений полемического характера: Аполлодора (II в. до н. э.), которого звали «властителем сада», — автора многочисленных работ (около 400 книг); Зенона из Сидона — ученика Аполлодора (Цицерон выделял его из среды других эпикурейцев по причине логической строгости и отделки изложения); Федре, которого слушал Цицерон в Риме; Филодема из Гадар (акмэ — 50 г. до н. э.), часть сочинений которого найдена в Геркулануме, в том числе логический трактат, списки академических и стоических философов из сочинения «Порядок философов» и др.; Диогена из Эноанд, пропагандировавшего эпикурейское учение около 200 г. н. э. (от него в качестве литературного документа осталась запись учения, сделанная на каменной стене зала в его родном городе).

Особенно широкое распространение эпикурейская философия получила в Италии в I в. до н. э., когда близ Неаполя была основана эпикурейская школа, а в Риме появилась поэма Лукреция «О природе вещей».

¹³ Ср. Лукреций. О природе вещей, V, 1020—1090.

Эпикурейская школа прекратила свое существование в IV в. н. э. В отличие от других школ эпохи эллинизма, допускавших значительные отклонения от первоначальной доктрины и кончавших эклектизмом, эпикурейское учение не претерпело существенных изменений и эклектизм остался чужд ему.

4. СТОИКИ

Философской противоположностью эпикуреизму явилось учение стоической школы, сложившееся на основе иных теоретических принципов и иначе решавшее основные проблемы практической философии. Так же как и Эпикур, стоики стремились найти мировоззрение, которое давало бы истинные критерии и твердую опору в жизни. Стоики тоже искали теоретическую базу мировоззрения в древних учениях классического периода, а принципы моральной философии — в послесократовой философии. Однако в отличие от философии Эпикура, опиравшейся на материализм Демокрита и гедонизм киренаиков, философское мировоззрение стоиков, примыкавшее в области этики к киникам, строилось на основе учения Гераклита об огне как о логосе и сущности мира; будучи усвоено стоиками не только в качестве космологического, но и теологического учения, оно привело их к религиозному идеализму.

Стоическая школа была основана в 300 г. до н. э. в Афинах Зеноном (336/5—264/3 гг. до н. э.) из Китиона на Кипре, сыном купца Мнасея. Так же как и отец Зенон занимался торговлей и на 22-м году жизни попал в Афины вследствие кораблекрушения. Сильное влияние на Зенона оказали сочинения учеников Сократа и киник Кратет. Свое название стоическая школа получила от места собрания участников ее — *Στόα ποικίλη* (разукрашенный портик — портик, украшенный картинами художника Полигнота).

Философия стоицизма получила широкое распространение в Греции и в Риме и привлекла к себе представителей различных классов общества, начиная от низших (Клеанф — кулачный боец, Хрисипп — атлет, Эпиктет — раб) и кончая римской аристократией (Арриан, Сенека, император Марк Аврелий).

Представители стоицизма были плодовитыми писателями, излагавшими свое мировоззрение и исследования по отдельным вопросам знания в теоретических трактатах, лекциях, частью оставшихся в записях, в письмах и в популярных сочинениях, среди которых выделяются как особый род философской литературы, созданный киниками, так называемые диатрибы, морально-полемические рассуждения или беседы.

Историю стоической школы делят на три периода: 1) Древняя Стоя (конец IV — середина II вв. до н. э.), когда сложилось мировоззрение стоиков; 2) Средняя Стоя (середина II в. до н. э. — начало I в. н. э.), когда стоическая школа в лице Панэтия и особенно Посидония приобрела черты эклектизма, сблизившись с платонизмом и аристотелизмом, и 3) Новая Стоя (I—II вв. н. э.), характеризующаяся новым расцветом стоицизма на почве греко-римской культуры. О сочинениях стоиков двух первых периодов мы знаем лишь по фрагментам и по свидетельствам других писателей, зато от периода Новой Стои осталось довольно богатое литературное наследие на латинском и греческом языках.

Стоики делили философию на физику, этику и логику¹⁴. Уже в этом делении философии обнаруживается отличие стоицизма от эпикурейской

¹⁴ *Aetii Placita*, I, 2, ed. Diels.

школы, так как наряду с физикой и этикой эпикурейцы указывали канонику — учение о путях и критериях познания, а не логику, в которой стоики объединяли исследования о внутренней и внешней речи. С другой стороны, если Эпикур, основным принципом философии которого являлась счастливая жизнь, во главе системы ставил этику, то многие стоики, проповедуя жизнь, созвучную природе, отдавали первенство физике. Если для Эпикура физика была мировоззрением, освобождающим душу от тревог, то для стоиков она имела значение науки, открывающей законы, созвучно которым должна протекать жизнь человека.

В ряде исходных положений учение стоиков было материалистическим. Реальными признавались лишь материальные тела, так как только они могут действовать или страдать. Действие ($\tau\acute{o}$ ποιῶν) и страдание, или претерпевание ($\tau\acute{o}$ πάσχον), являются двумя принципами, лежащими в основе всего. Претерпевающее начало является материей в узком смысле слова. Действующее начало есть разум (Νοῦς), логос (λόγος) или божество (θεός), представляющее тончайшую, всюду распространенную и все наполняющую собою материю, которую стоики, следуя Гераклиту, называли огнем (πῦρ), или творческим огнем (πῦρ τεχνικόν), или теплым дыханием (πνεῦμα ἐνθερμόν). Из этого огня возникли все вещи и снова в него обращаются. В процессе возникновения вещей часть огненного дыхания обращается в воздух, часть воздуха — в воду, в свою очередь часть воды — в землю. По истечении определенного периода времени наступает мировой пожар (ἐκπύρωσις), и все вещи снова обращаются в огонь. Затем возникает новый мир, после чего через определенный срок следует новый мировой пожар. Так следует друг за другом бесконечное число мировых циклов. Творческий огонь, или бог, является семенем космоса, семенным логосом (λόγος σπέρματικός) и источником формирующих начал отдельных вещей, которые в свою очередь носят название семенных логосов вещей.

Говоря о строении вещей, стоики различали связующее начало — огонь и воздух — и связываемое начало — воду и землю.

Душа, по учению стоиков, имеет тоже телесную природу и является частью божественного огня. Местопребыванием господствующей части души (ἡγεμονικόν) или разума стоики считали сердце.

Все в мире связано строгой закономерностью. Всем управляет судьба (εἰμαρμένη), которая не является особой силой, стоящей рядом с божеством, но силой самого божества или самим божеством. Поэтому все в мире предопределено, и свобода человека, очевидно, сводится к тому, чтобы поступать согласно предопределению из собственного побуждения, а не по принуждению. В этом учении о судьбе стоическая школа глубоко противоположна эпикурейской, согласно которой признавалась свобода как в человеческом поведении, так и в движениях атомов. Именно учение стоиков о судьбе и подвергалось наиболее ожесточенным нападкам со стороны эпикурейцев. Основным этическим принципом философии стоиков было требование жить согласно природе. Не на удовольствие, как учили эпикурейцы, а на самосохранение направлено основное влечение человека. Удовольствие может быть лишь следствием удовлетворения влечения, соответствующего природе. Из всех элементов человеческого существа высшим является разум, через который человек познает мировой порядок. На сохранение разума и должна быть направлена человеческая деятельность. Живя согласно разуму, человек тем самым не противоречит требованиям природы. Поэтому жизнь человека должна быть разумной (βίος λογικός), покоящейся на постижении природы (θεωρία). Если для Эпикура критерием поведения было разумное удовольствие, то для стоиков таким критерием

становится долг, определяемый разумом. Деятельность согласно разуму — добродетель. Добродетель — это подлинное благо, и она сама по себе достаточна для блаженства. Злом является порок и только порок. Все остальное (так называемые внешние блага): жизнь, здоровье, богатство — безразличны. Неразумное влечение, страсти (*πάθη*) следует не только умерять, но искоренять, ставя себе целью свободу от страстей, бесстрашие (*ἀπάθεια*). Подобно Сократу, стоики считали добродетель знанием, но связывали ее также и с силой воли. Однако наряду с таким бескомпромиссным, абсолютным разграничением добродетели и порока, с отрицанием этического значения за всем остальным, стоики вынуждены были уже в ранний период допускать отступления от принципов своей этики, в частности в учении о благе различать среди этически безразличных вещей вещи естественные или предпочтительные (*προηγμένα*), вещи, которых следует избегать (*ἀποπροηγμένα*), и вещи, безразличные в собственном смысле слова.

Основными добродетелями стоики считали или благоразумие (Зенон), или мудрость (хрисипп), из которой выводились благоразумие, храбрость, справедливость; при этом они различали действие, согласное с разумом (*καθήκον*), и действие, выполняемое из послушания разуму (*κατόρθωμα*). Чертой радикализма этики стоиков было отрицание степеней добродетельности. Стоики считали, что и порок, и добродетель не имеют степеней. Человек может быть или добродетельным — мудрецом, или порочным — глупцом. Признание жизни лишь внешним благом приводило к допущению добровольного ухода из жизни (*ἑξαγωγή*); многие стоики кончали жизнь самоубийством.

Хотя этика стоиков, подобно этике Эпикура, по существу была индивидуалистической, однако в отличие от эпикурейцев, считавших общение не самоцелью, а лишь средством достигнуть безмятежности души, стоики считали общество продуктом природы, а не договора и общению людей придавали значение нравственной ценности. Это вытекало из их физического учения о единстве вселенной, управляемой единым законом и связанной единым дыханием творческого огня. Хотя мудрец стремится к самодостаточности, независимости от внешних благ, в силу действия единого закона он не может отвергать связи с другими людьми. Эти связи складываются в виде концентрических кругов общения. Ближайшим кругом общения является семья, затем следуют круги гражданских и политических связей: деды, филы, государство и самый широкий круг — все человечество. В соответствии с этим стоики ценили брак, основанный на нравственных началах, дружбу, не отвергали государства, но приходили к проповеди космополитизма, к учению об универсальном мировом гражданстве, к учению о равенстве и братстве всех людей как детей единого бога.

Значительное место в учении стоиков отводилось логике, которую они понимали очень широко — как учение о мысли и речи, вводя в ее состав, помимо логики в нашем понимании, также грамматику и риторику. Включение в состав логики всех названных дисциплин связано с тем, что все они являются науками о слове, которое может быть внутренним или выраженным во внешних знаках (*λόγος ἐνδιάθετος*, *λόγος προφορικός*).

Логика делилась стоиками на диалектику (учение о рассуждениях в форме вопросов и ответов или наука об истинном и ложном и о том, что не относится ни к тому, ни к другому) и риторику (учение о рассуждениях в форме непрерывной речи). Диалектика в свою очередь подразделялась на учение о словесных выражениях и о том, что они обозначают и выражают. Логика сравнивалась с костями и сухожилиями животных и скорлупою

Писатель Средней Стои П а н э т и й (185—110/9 гг. до н. э.), трактаты которого нам известны лишь по заглавиям («О долге», «О провидении», «О политике» и др.), и знаменитый Посидоний значительно отступили от учений Древней Стои, сочетая стоическую философию с платонизмом и аристотелизмом.

Писатели Новой Стои возрождают древний стоицизм, но вместе с тем усиливают в нем религиозное начало, следуя в этом отношении общей тенденции своей эпохи (I и II вв. н. э.), когда стали возникать и распространяться мистические и религиозные доктрины. В этот период стоицизм широко распространяется в Риме. В отличие от более ранних периодов стоицизма от этого времени до нас дошло значительное количество литературных памятников.

Из числа представителей Новой Стои следует упомянуть: учителя Сенеки А т т а л а (I в. н. э.), сатирика П е р с и я Ф л а к к а (I в. н. э.), историка философских учений А р и я Д и д и м а, автора популярных книг по моральной философии, отрывки из которых сохранились в антологии Иоанна Стобея, Г и е р о к л а, а также известных своими аллегорическими толкованиями мифов философов I в. до н. э. Г е р а к л и т а, автора «Гомеровских аллегорий», и К о р н у т а, давшего физико-аллегорическое толкование греческих мифов. Корнут видел в богах греческой религии мировые силы и стихии (например, в Зевсе — разум). Такое толкование мифов послужило образцом для многих последующих писателей, в частности для Филона и Оригена в толковании Ветхого Завета.

Главными представителями стоицизма I и II вв. н. э. были Сенека и излагавшие стоическое учение на греческом языке Мусоний Руф, Эпиктет и Марк Аврелий.

Мусоний Руф (I в. н. э.) из Вольсиний в Этрурии, высланный из Рима Нероном, проповедовал моральную философию стоиков, обращаясь преимущественно к частным вопросам жизни, в чем он сближался с киниками, хотя в противоположность им и не отвергал занятий логикой и физикой. Целью философии он считал добродетель, которая приобретает не столько обучением, сколько упражнением. Лекции его дошли до нас в отрывках, переданных Иоанном Стобеем.

Учеником Мусония был раб Э п и к т е т из Гиераполя во Фригии, родившийся около 50 г. н. э., раб Эпафродита, телохранителя Нерона, впоследствии сделавшийся вольноотпущенником, одно время живший в Риме, а после изгнания из Рима философов при Домициане (ок. 93 г. н. э.) переселившийся в Никополь в Эпире, где он до самой смерти (ок. 138 г. н. э.) возглавлял философскую школу.

Лекции и беседы Эпиктета были записаны его учеником Флавием Аррианом¹⁸. Из них до нас дошли четыре книги бесед или диатриб (всего было восемь книг) и извлечения из бесед под названием «Руководство».

Эпиктет не был женат, свою жизнь он провел в крайней бедности, довольствуясь лишь самым необходимым, и пользовался известностью как человек душевной чистоты и железной воли. Рассказывают, что он велел на своей могиле сделать такую надпись: «Я, Эпиктет, был рабом, калекой, бедным, как Ир, но боги считали меня своим другом».

В основе учения Эпиктета лежали древние стоические представления о единстве природы, управляемой и поддерживаемой единым божественным началом, которое древние стоики называли огнем, и о господстве железной необходимости, называвшейся древними стоиками роком, или судьбой.

¹⁸ Подробнее об Арриане см. в гл. IX настоящего тома.

Эпиктет принимает эти принципы, не отвергает ни логику, ни физику Древней Стои, но углубляет теологическое начало в этих учениях. Учение Эпиктета приобретает характер религиозного учения, проповедующего единого бога и покорность его воле. «Блюдите клятву этому богу, как солдаты остаются верными присяге императору», — говорится в «Руководстве» Эпиктета (I, 14). И далее: «В чем же будет ваша клятва? Во всем повиноваться богу, не роптать на него, оставаться довольными всяким его деянием, охотно делать и терпеть все, что ни пошлет судьба». Преобладающее значение в учении Эпиктета получает этика, полная афоризмов и предписаний, с одной стороны, сближающих ее с кинизмом, а с другой — с христианским учением, от которого, однако, она отличается своим интеллектуализмом. Он проповедует: автаркию мудреца («Владей страстями — или они овладеют тобой», «Раб тот, кто не умеет владеть собою», «Умен тот, кто не печалится о том, чего у него нет, и доволен настоящим», «Помни, что такое человек, и будь равнодушен ко всему происходящему»); кротость, доброту к ближним («Намерен ты украсить приношениями родной свой город? Приноси прежде всего в дар самого себя — свою кротость, любовь и справедливость и доброе сердце, драгоценнейшее из даров». «Делись своим добром со странником и нищим». «Если ты не поможешь неимущему, не помогут и тебе в нужде»). Когда Эпиктета спросили, чем можно отомстить своему врагу, он отвечал: «Стараться делать ему как можно больше добра». В византийскую эпоху «Руководство» Эпиктета перерабатывалось и комментировалось в целях христианской проповеди.

Отступает от материалистических основ стоицизма и Марк Аврелий Антонин, родившийся в 121 г. н. э. в знатной римской семье, усыновленный первоначально своим дедом Аннием Вером, а затем Антонином Пием; после смерти последнего в 161 г. Марк стал римским императором. Марк в юности получил систематическое образование, изучив под руководством многочисленных учителей грамматику, математику, риторику, юриспруденцию и философию, к которой он стал чувствовать склонность с 12-летнего возраста. О своих учителях он с благодарностью вспоминает в первой книге своих размышлений, озаглавленных «К себе самому». Под влиянием стоицизма Марк в юности старался закалять себя и подражать философскому образу жизни, а в зрелом возрасте стоическое учение должно было поддерживать в нем уравновешенность и умение владеть собою в условиях, когда его личная жизнь подвергалась тяжелым испытаниям и когда Римская империя испытывала серьезные потрясения и извне и внутри. Марк Аврелий умер в 180 г. н. э. Его сочинение «К себе самому» разделено на 12 книг. Оно представляет собой запись размышлений о жизни человека, о его связи с миром и богом, о судьбе, о добре и зле, о добродетели, об искусстве жизни, о стойкости.

В сочинении Марка часто встречаются образы гераклитовой философии. Время — река возникающего, стремительный поток. Лишь появится что-нибудь, как уже пронесется мимо, но пронесется и другое, и вновь в виду первое. «Ведь единая гармония проникает все. И подобно тому как из всех тел слагается мир — совершенное тело, так и из всех причин слагается судьба — совершенная причина» (V, 8). «Сущность целого подобна стремительному потоку: она все уносит с собой» (IX, 29). «Сущность подобна непрерывно текущей реке... И нет, по-видимому, ничего устойчивого, а рядом с нами безмерная бездна прошедшего и грядущего, в которой все исчезает» (V, 23)¹⁹.

¹⁹ Перевод С. Роговина. М., 1914.

Отсюда — стоическая проповедь покорности судьбе, верности природе, безмятежности духа, который не должен тревожиться ни будущим, ни прошлым. «Что бы ни случилось с тобой — оно предопределено тебе от века» (X, 5). «Настоящее — вот все, чего можно лишиться, ибо только им и обладаешь, а никто не лишается того, чем не обладает» (II, 14).

Марк Аврелий различает в человеке тело, жизненную силу (πνευματικόν) и стоящее над ними руководящее начало (ἡγεμονικόν), или разум, истекающий из бога, который каждому человеку дает гения (δαίμων). Поэтому: «Живи в общении с богами» (V, 27). «Тот, кто отдал предпочтение своему духу, гению, и служению его добродетели... не нуждается ни в уединении, ни в многолюдстве. Он будет жить — и это самое главное, — ничего не преследуя, и ничего не избегая» (III, 7). После смерти тела изменяются и разлагаются, а души «растекаются и возгораются, возвращаясь обратно к семенообразующему разуму целого» (IV, 21). Марку Аврелию не чужда стоическая идея космополитизма, но она у него сочетается с принципом государственности. «Для меня как Антоина град и отечество — Рим, как человека — мир. И только полезное этим двум городам есть благо для меня» (VI, 44).

7. КИНИКИ И КИРЕНАИКИ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

Наряду с эпикурейцами и стоиками в эпоху эллинизма встречаются писатели и ораторы, примыкавшие к старым сократическим школам киников и киренаиков.

Ближе к старому кинизму как по времени, так и по содержанию учений стояли киники III в. до н. э., создавшие особые литературные формы моральной проповеди и популяризации морально-философских учений. Эти киники не ставили себе задач систематического развития школьного учения, но видели свое призвание в учительстве, в общедоступной проповеди кинических идеалов бесстрастия, самодостаточности, независимости от внешних благ и пренебрежения к тому, что они считали условностями культуры. Средством для этого стал не ученый трактат, а составленная на общедоступном языке устная или письменная речь или беседа, полная саркастической полемики, насмешек над нравами, сравнений, украшенная цитатами из поэтов. Так создались диатрибы — жанр, нашедший широкое приращение у писателей кинической и стоической школ. Создателем этой литературной формы был Бион из Борисфена на Днепре, в Скифии (первая половина III в. до н. э.); сын работоторговца и гетеры, первый, кто «нарядил философию в цветное платье»²⁰, как говорили о нем, намекая на профессию его матери (гетеры носили цветные платья). Бион вместе с отцом был продан в рабство, после смерти своего господина получил от него наследство и стал заниматься философией в Афинах, проповедуя умеренный гедонический кинизм.

Подражателем Биона был Телес (акмэ — ок. 240 г. до н. э.), диатрибы которого представляли собой рассуждения о различных житейских вопросах: о богатстве и бедности, об изгнании, о киническом бесстрастии, о недопустимости считать удовольствие критерием счастья и т. д.

К киникам относятся: Менипп из Гадар (середина III в. до н. э.), писавший сатиры прозой, смешанной со стихами, и оказавший сильное влияние на Варрона и Лукиана; Керкид из Мегалополя (вторая половина

²⁰ Diog. Laërt, IV, 52.

III в. до н. э.), законодатель и государственный деятель своего родного города, создатель мелиамбов — сатир, написанных лирическими размерами; Мелеагр из Гадар (I в. до н. э.), подражавший Менипповым сатирам, составитель сборника эпиграмм²¹. К числу киников относится также Менедем (вторая половина III в. до н. э.), полемизировавший с эпикурейцем Колотом и в отличие от упомянутых авторов диатриб и сатир не прибегавший к популярной форме²².

Иной характер имел кинизм, возродившийся в I и II вв. н. э. Новой литературной формой пропаганды кинизма явились так называемые кинические письма, содержавшие проповедь радикального кинизма и составленные от имени старых киников — Диогена, Кратета и Мениппа. Особым уважением у авторов этих писем пользовались Диоген и Кратет. Наряду с этой проповедью радикального кинизма в рассматриваемую эпоху появились также тенденции сочетать кинизм с другими учениями, проповедь часто принимала религиозный характер и предписания кинической морали смягчались под влиянием других школ.

К воззрениям киренской школы примыкал Эвгемер из Мессины (конец IV — начало III в. до н. э.) — автор философского утопического романа «Священная запись», дошедшего до нас в извлечениях, переданных Диодором Сицилийским. В этом романе Эвгемер рассказывает о том, как он, путешествуя, попал на острова панхейцев, недалеко от берегов Индии, описывает своеобразный коммунизм и счастливую жизнь обитателей островов, где отсутствует частная собственность на землю, и сообщает, что на одном из островов он нашел храм Зевса Трифилия и в нем надпись: «Деяния Урана, Кроноса и Зевса». Сообщая содержание надписи, Эвгемер излагает свое учение о происхождении веры в богов, согласно которому боги были людьми доисторического времени, выделявшимися по уму и силе, обожествившими себя и создавшими культы. Таким образом, Эвгемер делает попытку исторического объяснения происхождения религии; его теория получила впоследствии название эвгемеризма. Книга Эвгемера была переведена на латинский язык Квинтом Эннием (236—169 гг. до н. э.).

8. СКЕПТИКИ

Наконец, говоря о философских школах эллинистической и римской эпох, следует особо остановиться на скептических школах Пиррона и Тимона (IV и III вв. до н. э.), возродившихся в I и II вв. н. э. в виде школы Энесидема.

Скептицизм господствовал и в Платоновой Академии в III и II вв. до н. э. Однако скептицизм академиков существенно отличался от скепсиса школ Пиррона, Тимона и Энесидема как в отношении последовательности, так и в отношении значения, которое придавалось воздержанию от суждения. А именно, скептики Академии Аркесилай и Карнеад, отрицая критерии знания, тем не менее для руководства в практической жизни допускали вероятность. Пиррон же и его последователи ради безмятежности души проповедовали последовательный агностицизм, воздержание от каких-либо суждений. «Мы утверждаем, что начало и причина скепсиса лежит в надежде на невозмутимость», — писал Секст Эмпирик («Пирроновы положения», I, 12). Поэтому Секст Эмпирик (там же, 1—7) противопостав-

²¹ См. гл. VI настоящего тома.

²² Сочинения Биона Борисфенского и других перечисленных здесь авторов не сохранились.

ляет последователей Пиррона, истинных скептиков, академикам, указывая, что деятельность скептика заключается в искании, в осматривании кругом (σκέπτεσθαι), в раздумьи.

Корни как академического, так и пирроновского скептицизма лежат еще в доэллинистической философии, поставившей вопрос об отношении мысли и бытия. Так возник агностицизм Горгия, релятивизм Протагора, эристик мегарцев, пренебрежение киников к теоретической науке. Скептики эллинистической эпохи углубили принципы сомнения, а пирроновцы, особенно Секст Эмпирик, пытались «освободить агностицизм» от того противоречия, которое коренится в нем. А именно, агностики, отрицая знание, допускают знание того, что знания нет. Это противоречие ясно видел Секст Эмпирик, настаивавший на том, что подлинный скепсис состоит в отказе от всякого утверждения — в признании равносильности противоречащих друг другу положений. Поэтому он посвятил много труда для вскрытия смысла скептических выражений: «может быть», «возможно», «допустимо», «воздерживаюсь от суждения» — и т. д. Однако следует отметить, что при всех этих оговорках рассуждения скептика все-таки состоят из положений, в частности положений, доказывающих сомнение, которые сами уже не подвергаются сомнению, так как если бы они подвергались сомнению, то пришлось бы считать в равной мере правым и догматизм.

Школа пирроновцев, или скептиков, возникла до эпикурейской и стоической школ. Основателем ее был П и р р о н из Элиды (ок. 360—270 гг. до н. э.), о котором сложилось много легенд; ему, в частности, приписывается знакомство с халдейскими и индийскими магами. Известно, что он сопровождал демокритовца Анаксарха, участвовавшего в походе Александра Македонского на Восток. Пиррон ничего не писал, и с его учением еще в древности знакомились по сочинениям его ученика Тимона из Флиунта. На вопросы: «Что мы знаем о вещах?», «Как мы должны к ним относиться?» и «Что из этого вытекает?» Пиррон отвечал: «Мы ничего не знаем; мы должны относиться к вещам с полным безразличием, и из этого вытекает полная невозмутимость» (ἀταραξία). Поэтому каждому положению можно противопоставить имеющее равную силу противоречащее положение, и мы должны удерживаться от осуждения какого-бы то ни было учения.

Т и м о н из Флиунта (320—230 гг. до н. э.), излагавший учение Пиррона, известен как автор трех книг сатирических стихов — силл, написанных гекзаметром. В них Тимон издевается над греческими философами, исключая только двух: Ксенофана, которого он называет силлографом, так как он осмелял богов Гомера и Гесиода, и Пиррона. Первая книга силл имеет повествовательный характер, а две другие написаны в форме бесед философов, с которыми автор встретился в подземном царстве. До нас дошло 140 силл Тимона. Некоторые из них пародийны. Приводим фрагменты из силл, касающиеся наиболее известных философов²³.

Ну-ка, скажите вы мне, сколько вас, хапотливых софистов?
 Много теперь развелось в краю многолюдном Египта
 Книжных писак; меж собой грызутся они непрестанно
 В клетке у Муз...
 Всюду блуждает меж них, пустословя, мужам на погибель
 Распря, сестра и подруга победы, убийством живущей,
 Бродит, слепая, она; где пройдет, за нею повсюду

²³ Стихи приводятся в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

Головы чванством набиты и полны надеждою тщетной.
 Кто ж их в погибельной распре заставил сражаться друг с другом?
 Голос шумливой толпы. Это он, не влюбив молчаливых,
 Людям послал пустословья заразу и многих сгубил он.
 Ах, злополучные люди, позорные трусы, обжоры.
 Вы преисполнены вечно одних лишь раздоров и жалоб.
 Люди, вы все — бурдюки, налитые пустым предрассудком.

(1—14)

[О Сократе]

В мненьях от них отклонялся ваятель, болтун о законах:
 Эллинов он чаровал, людей обучал хитрословью,
 Острый шутник, он меж ритором терся, насмешник афинский.

(54—56)

[О Платоне]

Всех их ведет самый плоский из них; но болтун сладкогласный
 Он и в речах, и в письме; так цикады в садах Гекадема,
 Сидя в древесной листве, заливаются песнею звонкой.
 Эх ты, Платон, и тебя охватила учености жажда;
 Много в уплату отдал серебра, книжонку купивши,
 Ты от нее исходя, сумел написать про Тимея.
 Много наплел нам Платон небылиц, умело сплетенных.

.
 Нет мне заботы о тех пустомелях, и вовсе мне дела
 Нет до Федона, кто б ни был он; дела мне нет до Эвклида,
 Спорщика ярого; даже мегарцев он выучил спорить.
 Дела мне нет до туманных речей академиков плоских.
 Нет и до пышно-пустой Аристотеля мудрости нудной.

(65—87)

[О Клеанфе-стоике]

Вроде машин стенобитных ты шумом людей оглушаешь;
 Многоречивый, и весом тяжелый, но вовсе не веский.

(106—107)

[Об Эпикуре]

Пес из Самоса нахальный, последний пытатель природы,
 Годный ребят лишь учить, из всех наибольший невежда.

(115—116)

[О Пирроне]

Но увидал я того, кто, скромный, умел не сгибаться
 В прах перед всем, что владеет людьми втихомолку иль явно,
 Всем, что волнует всегда легковесное племя людское —
 К славе напрасная страсть, измышленье ненужных законов...
 Нет, не сравнится с Пирроном никто никогда из живущих.
 Старец Пиррон, как найти удалось тебе выход из рабской
 Службы богам, изо всех пустоумных суждений софистов?
 Как ты раскрыл все обманы, как цепи порвал доказательств?
 Бросил ты думать о том, от бога какого в Элладу
 Ветер подует, — о том, откуда и что происходит.

(122—131)

Кроме силл, Тимон писал философские трактаты, ямбы, эпические поэмы и комедии.

После Тимона школа Пиррона угасает и снова возрождается Энесидеом на рубеже новой эры.

Энесидем родился в Кносе и учился в Александрии. Точные даты жизни его неизвестны. Есть основание думать, что Энесидем жил в конце I в. н. э. и в начале II в. н. э. Сочинения Энесидема не сохранились. Ему, по-видимому, принадлежат 10 тропов (способов обоснования сомнений), доказывающих непознаваемость сущего и относительность чувственных восприятий.

Систематическое изложение учения скептиков мы находим в дошедших до нас трактатах Секста Эмпирика, жившего в Александрии во II в. н. э. и названного Эмпириком потому, что он принадлежал к школе врачей-эмпириков. (Сам Секст причислял себя к школе врачей-методиков, мало отличавшейся от школы эмпириков.) До нас дошли написанные Секстом Эмпириком: «Три книги Пирроновых положений»²⁴, в которых излагается учение скептиков; шесть книг против представителей грамматики, риторики, геометрии, арифметики, астрономии, музыки и пять книг против философов, излагавших физические, логические и этические учения. Два последних трактата обычно цитируются под общим заглавием «Против математиков».

Эти произведения являются не только основным источником для ознакомления со скептическим учением, но содержат также богатый материал для знакомства с греческими философскими школами и направлениями, являясь, таким образом, одним из источников изучения греческой философии.

Скептическая школа Пиррона прекратила свое существование в III в. н. э. Последним известным нам скептиком был Сатурнин (начало III в. н. э.).

II. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НЕОПЛАТОНИЗМА

1. Посидоний.— 2. Стоический платонизм.— 3. Неопифагорейство.— 4. Аммоний Саккас.

1. ПОСИДОНИЙ

Посидоний родился в Апамее (Сирия), но впоследствии был принят в число граждан Родоса¹, где и занимал должность притана² и откуда вместе с Молоном ездил посланником в Рим для переговоров с Марием. В Афинах Посидоний слушал последнего крупного представителя Стои Панэтия, но учеником его не остался, поскольку ему хотелось в корне реформировать весь древний стоицизм. Для этой цели он основал собственную философскую школу на Родосе, которую посещали многие образованные люди того времени, в том числе и римляне, и среди них Цицерон в 78 г. и Помпей в 66 и 62 гг. Известно, что Посидоний много путешествовал с научными целями, в результате чего объездил весь Запад, не исключая Испании, Галлии, а также был в Египте, производя разного рода географи-

²⁴ Перевод Н. В. Брюлловой-Шаскольской. СПб., 1913.

¹ Страбон, XIV, 2, 12.

² Там же, VII, 5, 9.

ческие, астрономические и этнографические наблюдения. Известен рассказ о том, что, страдая подагрой, Посидоний как настоящий стоик продолжал учить, что болезнь не есть зло, и с подобным шуточным наставлением обращался и к своей подагре. О политических взглядах Посидония свидетельствуют его симпатии к Помпею и сенату³.

Сочинений Посидония было очень много. Ни одно из них до нас не дошло полностью, от некоторых дошли лишь названия. Даже фрагментов Посидония сохранилось очень немного. И тем не менее, благодаря работе филологов, содержание многих сочинений Посидония удалось в значительной мере воссоздать на основании более известных нам писателей, находившихся под его влиянием или имевших его своим источником. Ввиду исключительной дробности и кропотливости всех относящихся сюда филологических аргументов нет никакой возможности касаться их в настоящем изложении. Поэтому мы ограничимся приведением названий главнейших сочинений Посидония, а его философию придется изложить лишь в общем виде.

Чисто философским и гносеологическим темам были посвящены два трактата — «Увещения» с проповедью главенства философского ума в человеке и «О критерии». К религиозной области относились трактаты «О богах», «О судьбе» и «О мантике». Философско-космологические взгляды Посидония представлены в его комментариях к «Тимею» Платона. К этико-психологической области относятся трактаты Посидония «Этическое учение», «О душе», «О добродетелях», «О страстях», «О гневе», «О долге».

Огромное внимание, как сказано, уделял Посидоний вопросам естественнонаучным, а именно, географически-астрономическим. Сюда относятся: «Физическое учение», «Об океане» (излагается у Страбона⁴ с указанием на учение Посидония о шарообразности земли и всего мира), «О метеорах». Чтобы убедиться в разнообразии географических и астрономических изысканий Посидония, стоит почитать Страбона, который polemизирует с ним по ряду вопросов, критикуя, например, учение Гомера и Посидония об окружении земли рекой Океаном⁵.

Огромным историческим и этнографическим трудом Посидония были «Истории» в 52 книгах, являвшиеся продолжением труда Полибия и охватывавшие период с 144 по 86 г. до н. э. Указанный труд был, вероятно, наполнен этнографическими, географическими и бытовыми наблюдениями и моральными рассуждениями; эти особенности мы находим у историков, бывших под влиянием Посидония, прежде всего у Саллюстия, Тацита и Плутарха. Риторике посвящен трактат «О словесном выражении» и трактат против ратора Гермагора. Весьма характерно название еще одного трактата Посидония — «Сравнение Гомера и Арата», свидетельствующее о тенденции реставрировать древние мифы с точки зрения науки, в частности астрономии.

Посидоний поражает удивительным разнообразием тематики, чисто эмпирическим и позитивным отношением к изображаемой им природе и истории, а также огромной наблюдательностью и интересом к бесконечной простоте жизни. Он писал о размерах земли, о материках, о климатических поясах, о движении Океана о землетрясениях, о глубине Сардинского моря, об италийских рудниках, об иберийских городах, о ливийских реках, о кипрской меди, о перешейке между Понтом и Каспием, об извержении Этны,

³ Страбон, XI, 1, 6.

⁴ Там же, II, 2.

⁵ Там же, II, 3, 6—9.

о разливах Нила, о минералах, о нефти, о глине, о разных народах — финикийцах, лигурийцах, галлах, римлянах, египтянах.

В своих сочинениях он частично рассказал о том, что видел во время многочисленных путешествий, частично использовал слышанные им рассказы и анекдоты. В Лигурии он видел женщину, у которой, во время тяжелой работы случились роды, что не помешало ей продолжать работу⁶. По его словам, на одной равнине в Сирии нашли «мертвую змею длиной почти в сто футов и такой ширины, что два всадника, стоя по обеим сторонам змеи, не видели друг друга; пасть у нее была так велика, что могла вместить в себя всадника с конем, а каждый листок чешуи был больше щита»⁷. При описании галльских нравов Посидоний обращает внимание на такие обычаи, как обезглавливание врагов и вывешивание их голов на стенах своих сених⁸.

Мифология, которой Посидоний следовал несмотря на свой позитивизм, еще увеличивала пестроту и живописность изображаемого им. Он совершенно серьезно относится к мифическим Геракловым Столбам⁹, гомеровскому Океану и Платоновой Атлантиде¹⁰; атомистическое учение, по его мнению, принес в Грецию сириец из Сиды Мох еще до Троянской войны¹¹.

Историческое место Посидония определяется тем, что он пытался синтезировать классические и эллинистические методы мысли. Это означало, что будучи ревностным сторонником одной из раннеэллинистических школ, а именно стоицизма, Посидоний реформировал стоицизм, пытаясь приблизить его к платонизму, т. е. он пропагандировал так называемый *стоический платонизм*, которым и отличалась возглавляемая им Средняя Стоя от Древней Стои. Это, однако, еще далеко не все. Социальная жизнь того времени неминуемо вела умы в сторону всякого рода мистики. Поэтому Посидоний использовал стоический платонизм для обоснования мистики, прежде всего демонологии и мантики.

Демонология и мантика были исконным достоянием греческой религии; эллинистическая философия особенно в свой поздний период стремилась воскрешать архаические верования; но это делалось всегда с переводом древних суеверий на язык субъективных мыслей и чувств. Демонология и мантика становятся у Посидония предметом философского рассуждения, определения и классификации, а равно и предметом технически тренированной и целесообразно направленной воли. Посидоний использовал и выдвинул на первый план одно из старых стоических учений — о всеобщем законе и судьбе. Это обстоятельство тоже весьма способствовало обоснованию теории мантики. Получилось, что все явления природы и общества подчинены одному непреложному закону, и, следовательно, пользуясь этим законом, можно предсказывать любые явления в будущем. Таким образом, старинные мифологические представления получали у Посидония как бы научный характер. Небесные явления, полет птиц, сновидения и т. д. — все это, будучи проявлениями общих законов, свободно могло рассматриваться в качестве достаточного теоретического обоснования мантики.

Весь материал античной мантики и демонологии подвергся у Посидония подробной классификации. Об этом свидетельствует I книга трактата Цицерона, «О гадании», где использованы материалы из Посидония.

⁶ Страбон, III, 4, 17.

⁷ Там же, XVI, 2, 171.

⁸ Там же, IV, 4, 5.

⁹ Там же, III, 5, 56.

¹⁰ Там же, II, 3, 6.

¹¹ Там же, XVI, 2, 24.

С учениями о мировой симпатии и роке у Посидония связана вера в астрологию, которая была чужда классической мысли Греции, но явилась одним из характерных продуктов эллинистических учений, так как наблюдение небесных светил, необходимое для составления гороскопа, возможно было только в период весьма развитой цивилизации. Здесь, как и везде у Посидония, архаическая мифология объединялась с новейшими достижениями научной мысли.

Ближайшим источником для изучения космологии Посидония является знаменитое «Сновидение Сципиона», содержащееся в конце трактата Цицерона «О государстве».

В физике и биологии Посидоний стоит на той же самой иерархической позиции, что и в теологии. Подобно тому, как между человеком и божеством при помощи демонологии он устанавливает целую систему мельчайших переходов, такие же переходы он мыслит и между камнем и человеком (через растения и животных). Последняя мысль была не чужда уже перипатетикам. Однако в обработке Посидония этот иерархизм принимал последовательную и завершенную форму.

Тот же иерархизм Посидоний проводил и в психологии. Человеческие влечения он вместе с Аристотелем и перипатетиками считает вполне естественным достоянием души человека и животного. Интеллект также трактуется как естественное достояние человеческой души. Таким образом, весь мир, и органический, и неорганический, и одушевленный, и разумный, и человеческий, и демонический, и божественный, являясь разными степенями уплотнения огня, оказывается в то же время и разными степенями интеллектуальности и сознания.

Наконец, необходимо отметить еще одну общую идею философии Посидония. У Посидония нет непроходимой пропасти между человеком и божеством, между человеком и животным, между органическим и неорганическим миром, между мужчиной и женщиной, между греками и варварами, между свободными и рабами, между философом и не философом, между мышлением и ощущением, между спекулятивной теорией и научно-эмпирическим позитивизмом. Мы встречаем у него полное проведение принципа мировой непрерывности.

Подводя итог, необходимо сказать, что Посидоний стал на путь синтеза главных достижений греческой мысли, т. е. мифологии, систем досократиков, Платона, Аристотеля, пифагореизма и стоицизма. То, что не успел сделать он на этом пути, доделали платоники последующих двух столетий, пока весь этот синтетизм и сакрализация не получили завершения в системе неоплатоников.

Эти попытки синтеза классического наследия греческой мысли с философскими идеями эпохи эллинизма определили влияние Посидония на весь поздний эллинистически-римский мир. В науке довольно точно установлено воздействие Посидония прежде всего на римских писателей I в. до н. э. и I—II вв. н. э. Это и понятно ввиду римских связей Посидония. В первую очередь здесь надо отметить Цицерона, Варрона, Тацита, Плиния Старшего и Апулея («О божестве Сократа»). Под прямым влиянием Посидония находится и географ Страбон.

Особенно же велико влияние Посидония на последующую философскую литературу, прежде всего Новую Стою, т. е. на Сенеку, Мусония, Эпиктета и Марка Аврелия, затем на весь неопифагореизм, на Плутарха, на герметическую литературу и, наконец, на неоплатонизм.

2. СТОИЧЕСКИЙ ПЛАТОНИЗМ

Кроме Посидония, к стоическому платонизму принадлежало много других философов. В буржуазной историографии на первый план всегда выдвигался Филон и вообще иудейско-александрийская философия. Это, несомненно, крайнее преувеличение. Совершенно не учитывая, с одной стороны, подлинно языческой сущности неоплатонизма и излишне сближая его с еврейско-христианским миром, а с другой — не учитывая всей огромной логической работы, проделанной в неоплатонизме и занимавшей в нем несколько не меньшее место, чем мистика, буржуазные исследователи ссылались на учение Филона о боговдохновенном экстазе и пророчествах и на этом основании сближали неоплатонизм даже с иудаистическими сектами ессеев и терапевтов. Но, не говоря уже о том, что иудейско-александрийская философия не дала, кроме Филона, ни одного большого философа и что от Филона до Платина прошло целых двести лет, это учение об экстазах и пророчествах было настолько популярно начиная с I в. до н. э., что его мы находим почти у всех философов этого периода.

Таким образом, влияние Филона и всей александрийской философии на неоплатонизм не следует преувеличивать.

Возможно, что к стоическому платонизму принадлежал также и Нумений (вторая половина II в. н. э.). Однако этот непосредственный учитель Платина настолько далеко выходит за пределы прежнего стоического платонизма, что его с полным правом можно отнести и к пифагорейцам и к чистым платоникам.

Что уже вне всякого сомнения делает Нумения непосредственным предшественником и учителем неоплатоников — это его доказательство нематериальности души, которая до сих пор толковалась в стоическом платонизме как огонь или теплота. Эти доказательства Нумения сохранены нам у Немесия¹². Они интересны еще и тем, что Нумений выступает прямо против стоиков.

3. НЕОПИФАГОРЕЙСТВО

Огромный вклад в дело подготовки неоплатонизма сделало так называемое неопифагорейство.

Слившись с Древней Академией, древнее пифагорейство в дальнейшем, в связи с переходом Академии к скептицизму, перестало существовать в качестве теоретической философии и приняло форму мало популярного мистического учения. В I в. до н. э. оно возродилось с новой и небывалой силой. Мы имеем сведения о длинном ряде неопифагорейцев; среди них нужно упомянуть автора «Золотых стихов», Нигидия Фигула (ум. в 45 г. до н. э.), его современника Псевдо-Окелла («О природе Всего»), пророка и мага Аполлония Тианского¹³ (конец I в. н. э.), Модерата из Гадеса (того же времени; отрывки у Стобея и Порфирия), Никомаха Герасского из Аравии (первая половина II в. н. э.; от него дошел до нас трактат «Введение в арифметику» и ценные отрывки у Ямвлиха из другого его трактата).

Далее, сама Академия также неуклонно стремилась к синтезированию различных философских течений. Уже представитель Новой Академии Антиох Аскалонский (ум. в 68 г. до н. э.) принципиально требовал объединения платоновской, аристотелевской и стоической философии, надеясь

¹² De natura hominum, 2.

¹³ См. гл. XII настоящего тома.

этим путем одержать победу над скепсисом, который двести лет господствовал в Академии. Платоники I—II в. н. э. продолжали эту линию Антиоха. Наибольшее значение имела здесь, по-видимому, школа Гая (первая половина II в. н. э.; известен только по позднейшим упоминаниям), к которой нужно отнести Альбина (II в., сохранилось его «Введение в чтение Платона» дидактического характера и философско-систематический трактат «Введение в философию Платона»), Апулея (род. ок. 125 г.; кроме известного романа «Метаморфозы», сохранились его трактаты «О Платоне и его учении», «О божестве Сократа», «О мире») и анонимного комментатора Платоновского «Теэтета» (время точно не установлено).

Эта школа тоже придает большое значение магии и демонологии. В теоретическом отношении ею вводится одно новшество, которым в дальнейшем в сильной степени пользуется неоплатонизм. А именно, Альбин вводит в число основных философских наук логику, понимая ее в основном по Аристотелю, но с гораздо более широким толкованием.

Даже надменные в своем консерватизме перипатетики не избежали модного в те времена сближения с другими школами. Стоицизма не избежали также и такие перипатетики II в. н. э., как астроном и географ Клавдий Птолемей и врач Гален.

4. АММОНИЙ САККАС

Аммоний Саккас (около 175—242 гг.), александриец, крещенный родителями, но впоследствии вернувшийся в язычество, первоначально носивший по профессии (откуда и его прозвание Саккас, т. е. мешочник), является непосредственным учителем Плотина.

Сам он ничего не писал, но проповедовал объединение учений Платона и Аристотеля и давал критику понимания Ума как материи и тела, подобно тому как вместе с Нумением он опровергал стоическое учение о том, что душа есть тело.

III. ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА НЕОПЛАТОНИЗМА

1. Введение.—2. Римский неоплатонизм (Плотин и Порфирий).—3. Сирийский неоплатонизм (Ямвлих).—4. Пергамский неоплатонизм (Юлиан и Саллюстий).—5. Афинский неоплатонизм (Прокл).—6. Александрийский неоплатонизм.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Неоплатонизм, важнейшее философское направление IV—VI вв. н. э., является не только последним этапом греческой философии, но, согласно замыслу его представителей, и синтезом всех достижений античной мысли вообще, начиная с архаических времен. В нем умирающая античность дает себе принципиальную оценку и подводит итоги своего тысячелетнего развития; вследствие этого никакая другая система греческой философии не представляет столько трудностей для исследования в смысле его исторической оценки и принципиальной интерпретации.

Нужно прибавить еще, что ни от одного периода античной философии и литературы до нас не дошло столько памятников и притом таких обшир-

ных, как от периода неоплатонизма. В то время как от классической эпохи греческой философии сохранились в целом виде только сочинения Платона и Аристотеля, от периода неоплатонизма до нас дошло значительно больше авторов, а их трактаты часто достигают размера многотомных сочинений.

Поэтому многие представители неоплатонизма, от которых сохранились сотни и тысячи страниц, до последнего дня еще не обследованы монографически.

Мистика и схоластика также всегда мешали пониманию неоплатонизма. Более или менее полный анализ всего этого периода греческой литературы будет возможным только после целого ряда монографических исследований и едва ли удастся в ближайшем будущем. Предлагаемый очерк неоплатонизма поэтому скорее только намечает общие вехи обзора, чем содержит самый обзор.

Неоплатонизм как идеалистическая философская система сводится к учению об иерархическом строении бытия и к конструированию нисходящих его ступеней, последовательно возникающих путем постепенного ослабления первой и высшей ступени в следующем нисходящем порядке: Единое, Число, Ум, Душа, Космос, Материя.

Не входя в сколько-нибудь подробное изложение системы неоплатонизма, что составляет задачу истории античной философии, мы укажем только на учение неоплатоников о круговороте вещества и душ и о задаче человека. В космосе, учат неоплатоники, совершается вечная жизнь в виде ниспадения вещества из высших сфер в низшие и обратного его восхождения. Эта картина круговорота вещества внешне очень напоминает учение досократиков. Подобно этому круговороту вещества, по учению неоплатоников, совершается и круговорот душ с их вечными перевоплощениями. Задача человека заключается в осознании им своего духовного заключения в темницу земной материи и в подготовке к выходу из нее путем внутреннего восхождения от телесной жизни к жизни души, от души к уму и от ума к тому высшему сосредоточению всего человеческого существа, которое ведет к общению с Единым. Концепцию этого Единого неоплатоники разрабатывали на основе главы 20 платоновского «Парменида» (р. 137 С — 142 А) и учения о «солнце бытия» в книге VI платоновского «Государства» (р. 508 А — 509 С).

Однако философская проза неоплатонизма характеризуется не только мистическими и мифологическими образами, но и изысканиями в области логики и попытками изложить свое учение в строгом логическом порядке. Неоплатоники занимались логикой, всякого рода логическими дедукциями, определениями и классификациями, а также математическими, астрономическими, натурфилософскими и физическими построениями, филологическими, историческими и комментаторскими изысканиями; эта особенность неоплатонизма развивалась в нем чем дальше, тем больше, достигая в конце концов вполне схоластической систематики всего тогдашнего философского и научного знания. Мистика и утонченнейшая логика всегда шли в неоплатонизме рука об руку.

Первая школа неоплатонизма, находившаяся в Риме, была основана Плотинем; она оформилась в III в. н. э. Этот римский неоплатонизм является спекулятивно-теоретической системой неоплатонизма, еще далекой и от систематической разработки философии мифов, и от мистической практики.

В IV в. н. э. во время кратковременной стабилизации римской империи делаются попытки реставрировать языческий политеизм; такова не-

удачная попытка императора Юлиана воскресить древние культы; с другой стороны, политеизм реставрируется и в области спекулятивно-практической. Отсюда возникает новая, малоазийская, ступень неоплатонизма, географически представленная двумя центрами: Сирией (школа Ямвлиха) и Пергамом (Юлиан и Саллюстий). Не покидая почвы спекулятивных теорий, малоазийский неоплатонизм ставит своей главной задачей практическую мистику, теургию и мантику.

Неудача попытки Юлиана была крушением и всего неоплатонизма как нового этапа философии. После смерти Юлиана, в V и VI вв. н. э., иллюзии политеистической реставрации исчезают; неоплатонизм не дает новых и творческих форм, но занимается систематизацией уже достигнутых результатов и комментированием на их основе Платона и Аристотеля. Эту ступень неоплатонизма следует назвать систематизаторско-комментаторской. Географически она тоже представлена двумя центрами: Афинами (школа Прокла) и Александрией (многочисленные комментаторы).

Таким образом, кроме предшественников неоплатонизма, мы имеем пять школ самого неоплатонизма, именно: неоплатонизм римский, сирийский, пергамский, афинский и александрийский.

2. РИМСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ (ПЛОТИН, АМЕЛИЙ И ПОРФИРИЙ)

О жизни Плотина мы знаем из специального трактата Порфирия, из «Жизнеописаний философов» Евнапия и из словаря Свиды. Плотин родился в Ликополе (Египет) в 203/4 или 204/5 г. н. э. 28 лет от роду он стал заниматься философией и слушал различных философов в Александрии. В 242 г. Плотин примкнул к походу императора Гордиана в Персию, где собирался изучать персидскую философию, но после поражения Гордиана должен был спасаться бегством в Антиохию. В 243/4 г. Плотин прибывает в Рим, где начинается его широкая преподавательская деятельность. Умер Плотин в 269/70 г.

Плотин не был писателем и начал записывать свои лекции только в 50-летнем возрасте, но, будучи больным человеком, не придавал законченной литературной формы запискам. Перед смертью он завещал Порфирию отредактировать, привести в порядок и издать его лекции, что тот и сделал.

Прежде всего Порфирий разделил все трактаты Плотина на шесть отделов в соответствии с основной тематикой философии своего учителя. Каждый отдел Порфирий в свою очередь разделил на девять частей, вследствие чего каждый отдел получил у него название «Эннеады» (девятки), и все шесть отделов тоже получили с тех пор общее название «Эннеады». Трактаты, на которые делилась у Порфирия каждая эннеада, были расположены в порядке возрастающей трудности и занимали каждый от нескольких страниц до нескольких десятков страниц. В настоящее время невозможно установить, какие изменения внес Порфирий в текст Плотина. Каждый трактат Порфирий снабдил специальным заголовком. Мы приведем список всех 54 трактатов Плотина, так как это лучше всего введет читателя в тематику Плотина (при этом названия трактатов, как сказано, принадлежат Порфирию):

I. Трактаты, касающиеся этики или жизни философа: «О том, что такое живое существо и что такое человек»; «О добродетелях»; «О диалектике»; «О счастье»; «О том, увеличивается ли счастье со временем»; «О прекрасном»; «О первичном благе и о других благах»; «О том, что такое зло и откуда оно»; «Об уходе души из тела (о самоубийстве)».

II. *Натурфилософия*: «О небе»; «О небесном движении»; «О том, производят ли светила какое-либо действие»; «О материи»; «О том, что существует в потенции и в акте»; «О сущности и качестве»; «О всецелом смещении»; «О зрении, или Каким образом удаленные предметы кажутся малыми»; «Против гностиков».

III. *Космология*: «О судьбе»; «О промысле»; «О демоне в нас, получившем нас в удел»; «Об Эроте»; «Об отсутствии чувственных ощущений у бестелесных предметов»; «О вечности и времени»; «О природе, созерцании и Едином»; «Различные вопросы».

IV. *Психология*: «О сущности Души»; «Апории о Душе»; «Апории о Душе, или о зрении»; «О чувственном восприятии и памяти»; «О бессмертии Души»; «О схождении Души в тело»; «Являются ли все души одной Душой?».

V. *Ноология*, или учение об Уме: «О трех начальных ипостасях (или субстанциях)»; «О возникновении и порядке того, что следует за первичным»; «О познавательных ипостасях и о том, что запредельно»; «Как от первичного происходит то, что после первичного, и об Едином»; «О том, что умственные предметы не вне Ума, и о Благости»; «О том, что находящееся за пределами бытия не мыслит, и о том, что такое первично мыслящее и что вторичное»; «О том, имеются ли идеи также и для единичного»; «Об умопостигаемой красоте»; «Об Уме, об идеях и о сущем».

VI. *Генология*, или учение об Едином: «О родах [категориях] сущего»; «О том, что Единое везде самогождественно и присутствует в то же время везде целиком»; «О числах»; «О том, как существует множество идей, и о Благости»; «О свободе и воле Единого»; «О благости или об Едином».

Нетрудно заметить, что философские проблемы расположены в «Эннеадах» в восходящем порядке: сначала говорится о том, что человеку ближе всего, т. е. о нем самом, а потом изложение поднимается от вопросов чувственной материи и космоса к вопросам о Душе, Уме и Едином. При этом интерес философа к своим проблемам увеличивается с восхождением, потому что первые три «Эннеады» по размерам равняются IV и V, взятым вместе, а IV и V, взятые вместе, равняются одной VI.

Одной из самых существенных особенностей философии Платина является ее исключительно спекулятивно-теоретический характер; это резко отличает Платина от большинства других неоплатоников. Платин направляет внимание главным образом на три высших проблемы, а именно: на Единое, Ум и Душу, причем эти три основные субстанции (*ὑποστάσεις*) являются у него диалектической триадой. Определение диалектики у Платина мы находим в трактате I (3—5); она есть смысловое расчленение общности и объединение расчлененного на фоне этой общности. Гораздо слабее разработана натурфилософия и космология, где хотя и чувствуется влияние платоновского «Тимея», но мысль философа очень далека от платоновского музыкально-математического исчисления космоса. Еще меньше места отведено демонологии и мифологии, хотя спекулятивно-теоретически они в совершенно ясной форме вытекают из всех рассуждений философа (III, 4). В систематической форме мифологии касается только трактат III (5); здесь дано дальнейшее развитие философско-символического учения Платона об Эроте как о сыне Богатства и Бедности. Платин не включает в свою философию ни астрологии, ни магии и даже, в отличие от большинства неоплатоников, критикует ту и другую.

Учение о Едином является наиболее оригинальной частью системы Платина. Единое выше всяких категорий и всякого познания. Со времени Платина эта концепция утверждается в неоплатонизме на четыре века.

В учении об Уме и Душе обращают на себя внимание рассуждения о тождестве субъекта и объекта в Уме и о синтезе индивидуального и общего в Уме (V, 7 и 9) и Душе (IV, 9). В учении о природе наибольшей разработке подверглась проблема материи (II, 4), где Плотин определяет материю как чистое не-сущее.

Наконец, в качестве основной темы философии Плотина нужно отметить теорию о восхождении души от чувственного состояния к сверхумственному экстазу.

Стиль произведений Плотина отличается следующими чертами. С внешней стороны перед нами прежде всего типичная эллинистическая философская проза, которая тяготеет к Аристотелю с его ровным течением рассудительной мысли и речи.

Во-вторых, Платон не только по существу влиял на Плотина (так что последний считал себя в основном истолкователем Платона), но и в смысле стиля; платоновские приемы занимают у Плотина отнюдь не последнее место. Плотин часто оживляет свою речь вопросами и свои утверждения приводит как ответ на них. В этом отношении особенно интересен трактат V (5), представляющий собою диалог почти платоновского типа.

В-третьих, у Плотина можно заметить и черты стоическо-кинической диатрибы.

В-четвертых, обращает на себя внимание особый стиль Плотина, который трудно обозначить каким-нибудь греческим термином; он пользуется этим стилем в высказываниях, касающихся внутренней душевной жизни, в многочисленных местах своих трактатов, где говорится о мистических восхождениях. Эти тексты отличаются очень скромной, почти эпической формой повествования. Плотин использует образы и мифы, но весьма сдержанно (I, 6, 8; II, 9, 9, 16; III, 2, 14, 17; V, 8, 3, 10; VI, 9, 9).

Наконец, в-пятых, черты особой литературной формы заметны в тех местах, где он комментирует мифы, т. е. главным образом в трактате III (5). Плотин везде старается остаться в рамках платоновского текста и платоновского понимания, имея в виду развить Платона дальше, но не исказить его исходных точек зрения. Лучшими местами в сочинениях Плотина являются те, где звучит благородный сдержанный пафос и где он пользуется образной речью. Ритмичность и стройные длинные периоды иной раз вызывают в памяти читателя знаменитые страницы «Федра» и «Пира».

Из всех этих методов оформления речи у Плотина коснемся подробнее системы образов, своеобразие которой у Плотина заключается в том, что она не преследует чисто литературных целей, а приближается скорее к мифотворчеству. Сюда относятся прежде всего мифологические образы. Плотин, правда, как сказано, не занимается философией мифа специально. Однако мифы для него есть самое подлинное бытие, а не произвольная поэтическая фантазия; и он говорит о них там, где речь идет о самых коренных принципах бытия и жизни. Афродита толкуется как мировая душа (V, 8, 13), как душа Зевса (III, 5, 8.), как просто душа (III, 4, 4; VI, 9, 9), как красота (V, 8 2). Различаются две Афродиты: одна от Урана без матери, другая — от Зевса и Дионы (II, 5, 2). Единое символизируется как Аполлон (V, 5, 6), причем самое имя «Аполлон» понимается как отрицание (α) множественности (πολλόν). Деметра и Гестия у Плотина есть душа земли (IV, 4, 27), Дионис — переходит во множественность (IV, 3, 12).

Постоянно встречаются у Плотина световые образы. Все бытие, по учению Плотина, с начала до конца пронизано светом; Единое у него — солнце. Ум — тоже всегда свет, Душа — световидна или темна, смотря по

степени своего приближения к Уму. В мифологии и религии эта световая мифология создавала своеобразный языческий монотеизм, который находил в солнце наиболее яркий образ единого управителя мира.

Культ Солнца растет уже в позднем эллинизме. Даже у Плиния Старшего встречалось определение солнца как души мира¹. Аполлоний Тианский приносит солнцу, своему главному божеству, жертвы и утром, и среди дня, и вечером. Элагабал и Аврелиан вообще не знают другого основного божества. По преимуществу как бог Солнца почитается в позднем Риме бог Митра, а также Зевс и Аполлон, Серапис и Сабазий, Дионис и Гермес, Геракл и Эскулап, Аттис и Озирис. Повсюду строились храмы и молельни, посвященные солнцу. Юлиан посвящает «царю Гелиосу» целую речь, похожую скорее на гимн. У Макробия Гелиос тоже на первом плане. Плотин же учение о свете и зрительные образы основывал еще на Платоне, который тоже учил о солнце как высшем принципе² и о блеске идей³. Связующим звеном между ними был Посидоний.

Мифические образы Плотина обладают большой художественной силой.

Возьмем образы из чисто физической области. Плотин приравнивает свой «Эйдос» (идею) к огню и считает, что огонь есть самое прекрасное в мире. У Плотина мы читаем о мировом древе (III, 3, 7, 8, 10). Сюда же относятся такие образы, как приравнивание Единого, взятого со всеми его свойствами, к яблоку со множеством принадлежащих ему свойств — цветом, запахом и пр. (VI, 4, 11), как приравнивание души в теле к неочищенному куску золота или непостоянства жизни — к изменчивой зыби на воде. Таково же сравнение мирового единства с точкой в круге, из которой исходят все радиусы; точка эта — и световая, и силовая, а радиусов бесконечное количество (например III, 8, 8; VI, 9, 8; VI, 4, 7). Человек стремится к высшему, т. е. к Уму, как влюбленный стремится на долгожданное свидание (VI, 5, 10), влюбленный стоит у дверей Ума и трепещет перед входом. Мы связаны с землей, как птицы, которые то приближаются к земле, то удаляются от нее. Жизнь есть сон, и погруженная в материя душа спит и грезит во сне об Уме.

Целый цикл образов взят Платином из художественной практики. Человек должен совершенствовать свое внутреннее я, как скульптор ваяет свою статую (I, 6, 9). По поводу своего излюбленного понятия единства Плотин говорит, что прикосновение разными пальцами к одному и тому же предмету или к одной и той же струне на лире не мешает тому, чтобы был один предмет или одна струна (VI, 5, 10). Отношение ноуменального (высшего умственного) мира к чувственному есть отношение замысла живописца к картине (VI, 7, 7). Единство мира есть единство хора, который подчинен одному дирижеру и в котором участники исполняют музыкальное произведение, не отвлекаясь ничем посторонним (там же). Жизнь, — это театральная сцена, каждый человек — актер, а вся жизнь целиком есть драма, которую исполняют все люди, то выходя на сцену, то покидая ее (III, 2, 11; 15 — 18); это богатейший образ, взятый Платином из стоически-кинической диатрибы, но глубоко разработанный им в эстетическом, этическом и метафизическом направлении.

Много образов, для нас весьма показательных, взято Платином из социальной области. Ум есть царь, а Единое — «царь царя и царей» (V, 5, 3).

¹ Plinius Senior. *Historia naturalis*, II, 6, 13.

² Платон. «О государстве», VI, 508A — 509C.

³ Платон. «Федр», 250B сл.

Единое держит весь мир, как рука держит вещь (VI, 4, 7). Мир есть государство, порядки которого не дают проявиться злу (III, 2, 17), а божественное управление миром есть командование полководца над войском (III, 3, 2). Чувственное ощущение есть вестник, Душа — переводчик, а Ум есть царь. Плотин сравнивает чистый дух, возмущаемый телесными страстями, с народным собранием, в котором бушует толпа (VI, 4, 15). Мудрость и красота тоже уподобляются собранию, в котором спокойно и разумно принимается единое решение (VI, 5, 10). Путь Души во внутрь себя самой есть восхождение в храм (V, 1, 6; VI, 9, 11). Материя — это нищий, который стоит перед дверями Души и умоляет впустить его. Не нужно даже особенно вдаваться в анализ этих образов, чтобы понять их реакционно-аристократический характер. Из социальной области взяты также обозначения Единого как отца, людей — как детей, ушедших от родителей и забывших их, Единого и Ума — как родины (I, 6, 8).

Подводя итог всему сказанному относительно стиля Плотина, необходимо отметить, что основа этого стиля чисто платоновская. Плотин воссоздает оживленность философской речи Платона, но он заменяет ее многословный диалог более скромной и деловой диатрибой, а ее чрезмерный пафос умеряет аристотелевским способом изложения.

Нужно помнить, что Плотин писал в эпоху второй софистики; его архаизирующий стиль отражал вкусы времени. Но у него нет ни строгого архаизма Элия Аристиды, ни риторических изломов Филострата; и все же именно вторая софистика создала этот своеобразный стиль, производящий впечатление и суровой величавости, и мягкой интимности. С этой точки зрения как частые отступления Плотина от классического языка, так и трудности его речи имеют вполне определенный стилистический смысл.

Среди учеников Плотина известны Амелий и Порфирий.

Амелий из Этрурии записывал лекции Плотина, а также комментировал Платона. Учение Плотина Амелий излагал и комментировал в ста книгах. Но, по-видимому, он не ограничивался только передачей буквального содержания философии учителя, а развивал ее дальше.

Порфирий из Тира родился в 232/3 г., с. 262/3 г. ученик Плотина, умер в начале IV в. (между 301 и 304 гг.). Это был чрезвычайно плодовитый автор, писавший на разные темы: о философии, религии, математике, гармонике, астрологии, риторике, грамматике, истории. Есть сведения о 77 трактатах, написанных им. Из них дошли только следующие:

1. Трактаты философско-теоретического содержания: «Исходные положения для восхождения к умопостигаемому» — состоят из отдельных небольших тезисов, четко формулирующих основные положения неоплатонизма; «Введение в «Категории» Аристотеля», или под другим названием «О пяти звучаниях» — знаменитый трактат, имевший огромное значение как для всего последующего неоплатонизма, так и для средневековья, когда он много раз переводился и комментировался и на Востоке, в Византии, и на Западе. Пять «звучаний», о которых здесь идет речь, есть не что иное, как то, что в логике называется предикабиями или признаками понятия, т. е. род, вид, видовое различие, собственный признак и несобственный (случайный) признак. (Это учение о признаках понятия просуществовало полторы тысячи лет и еще в настоящее время входит целиком в учебники логики.) «Комментарий к «Категориям» Аристотеля» — другое сочинение на ту же тему, написанное в форме диалога.

2. Трактат философско-практического содержания «О воздержании от употребления одушевленных существ в пищу», содержащий традиционные орфико-пифагорейские аскетические наставления.

3. Далее у Порфирия имеются трактаты религиозно-мифологического содержания; некоторые из них сохранились лишь во фрагментах.

4. К историко-философским сочинениям Порфирия относятся: «Жизнеописание Плотина» и «Жизнеописание Пифагора» (часть не дошедшей до нас и доведенной до Платона «Истории философов» в четырех книгах).

5. Филологический и философский характер имеют «Гомеровские вопросы» (комментарии к «Илиаде») и еще одно сочинение с тем же названием — комментарии к «Одиссее»; оба последние трактата написаны в молодости и не носят на себе следов неоплатонизма.

6. Из естественнонаучных трудов сохранились «Введение в гармонику Птолемея» и «О том, как одушевляются зародыши» (последнее сочинение прежде считалось принадлежащим Галену, но в последние десятилетия с большей вероятностью приписывается Порфирию).

7. И, наконец, «Письмо к Марцелле» нравоучительного содержания (Марцелла — жена Порфирия).

Из не дошедших до нас сочинений Порфирия необходимо упомянуть о его комментариях к лекциям Плотина, платоновским диалогам, в том числе к «Тимею», «Кратилу», «Софисту», «Пармениду», а также о нескольких трактатах о Платоне и Аристотеле.

Уже беглый просмотр названий сочинений Порфирия указывает на необычайную широту интересов этого философа. Не говоря о том, что Порфирий занимался многими науками, кроме философии, самое философию он понимает значительно шире Плотина. Он гораздо больше, чем Плотин, комментировал Платона и прибавил к этому еще многочисленные комментарии к Аристотелю; гораздо больше, чем Плотин, он интересуется практической философией, в которую он включает астрологию, мантику и теургию. Однако Порфирий, по-видимому, расценивал практическую философию только как необходимую ступень в человеческом развитии и потому оставлял ее либо для малоразвитых масс, либо как предварительный этап философского умозрения. По крайней мере, Августин⁴ говорит о трактате Порфирия «Восхождение души», где проповедовался этот двойной путь, что чистое умозрение необходимо для философов, а теургия — для толпы.

Евнаний хвалит язык Порфирия за его простоту и понятность в противоположность сложности и трудности языка Плотина. Действительно, язык Порфирия гораздо чище языка Плотина и близок языку аттикистов его времени. В его сочинениях весьма заметна перипатетическая выучка, сказавшаяся в естественнонаучном, грамматически-филологическом и формально-логическом направлении его мышления.

Из дошедших до нас сочинений Порфирия большой интерес для истории литературы имеют его трактат «О пещере нимф» и фрагменты сочинения «Против христиан».

Трактат «О пещере нимф» хронологически является первым в ряду толкований неоплатониками древнегреческой мифологии. Порфирий берет у Гомера описание пещеры на Итаке, куда прибыл Одиссей после двадцатилетнего отсутствия⁵. Эта пещера, говорит он, не просто географический факт, поскольку географы и путешественники о ней ничего не знают, и не вымысел Гомера, не имеющий за собой никакой реальности. Это «таинственный символ», который требует философского раскрытия (1—4).

Порфирий пытается дать это раскрытие, приводя множество ссылок на разных писателей и на различные факты из истории религии как греко-римской, так и восточной.

⁴ Августин, О граде божьем X, 9—10 и др.

⁵ Гомер, «Одиссея», III, 102—112.

Прежде всего, говорит он, сама пещера есть символ космоса, поэтому Гомер и изображает ее как прекрасную извне и темную внутри (5—6). Источники воды, находящиеся в этой пещере, указывают, по Порфирию, на существование душ, которым предназначено воплотиться в материи, ибо вода есть исконный символ оплодотворения и одушевления (10—12). В гомеровской пещере находятся нимфы-наяды, которые ткют пурпуровую ткань: это кровь и тело, которые принимает душа после своего перехода в чувственный мир. В этой пещере Гомер поместил каменные сосуды с роящимися в них пчелами и медом. Пчелы и мед — это, по Порфирию, тоже древние символы души и жизни, символы удовлетворения жизни и бытия (14—19). Два входа в эту пещеру означают: северный — нисхождение душ в чувственный мир, южный — восхождение в мир небесный (19—30). Наконец, маслина, которую Гомер ставит вблизи изображаемой пещеры, означает, как дерево Афины-Паллады, мудрость, которая управляет всем космосом и, в частности, круговоротом душ, идущих от одного перевоплощения к другому (31—33).

Сочинение Порфирия «Против христиан» в 15 книгах, сожженное в 448 г. по приказанию императоров Валентиниана III и Феодосия II, несомненно, было распространено среди противников христианства в IV в. Этот труд вызывал самую энергичную критику у христианских писателей (Мефодий, Евсевий Кесарийский, Аполлинарий Лаодикийский, Филосторгий), по произведениям которых мы только и можем составить о нем некоторое представление. Большое значение имеет библейская критика Порфирия, в результате которой он, например, относил книгу пророка Даниила к середине III в. до н. э. и толковал ее как отражение определенных, вполне реальных исторических событий.

В 1876 г. французский ученый Фукар впервые опубликовал сохранившийся не полностью труд некоего Макария Магнета под названием «Апокритик». Как предполагают, этот Макарий — епископ Макарий из Магнезии, живший во второй половине IV в. Названное сочинение изображает пятидневный диспут язычника с христианином по поводу основ христианского вероучения. Весьма возможно, что Макарий для аргументов язычника использовал сочинение Порфирия. Однако излагаемая у Макария критика христианства состоит исключительно из нахождения мелких противоречий в отдельных текстах Нового завета на основании рассудочной и житейски трезвой логики. Между тем от Порфирия можно было бы ожидать критики более принципиального характера.

Преуменьшать значение такой критики все же не следует. Если она действительно принадлежит Порфирию, то, несомненно, огромное значение имел уже самый факт выступления такого крупного философа против христианства.

3. СИРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ (ЯМВЛИХ)

Основателем сирийской школы неоплатоников является ученик Порфирия Ямвлих из Халкиды в Нижней Сирии (род. ок. 280—300 г. н. э.). По Свиде, в период расцвета империи при Константине он слушал Порфирия в Риме, а потом преподавал в сирийской Апамее. Он продолжает ту линию развития неоплатонизма, которая вводила еще дальше от Плотина в область практической мистики и теургии. Писал он много. Ему принадлежит большой «Свод пифагорейских учений», от которого дошло до нас пять трактатов: «О пифагорейской жизни», «Увещание к философии», «Об общей математической науке», «О математическом введении Никомаха» (эти трактаты

таты являются I, II, III, IV книгами «Свода»), «Теологументы арифметики» (VII книга «Свода»). Остальные книги «Свода» до нас не дошли, но мы знаем их тематику: V книга трактовала физическое учение о числах, VI — этическое учение о числах, VIII — музыку, IX — геометрию и X — сферу, или астрономию. Этот «Свод» является бесценным документом для истории античной философии, поскольку Ямвлих дает здесь единственное во всей античной литературе систематически развернутое учение о всех числах декады на основании обширных старых и новых пифагорейских материалов. Остальные трактаты Ямвлиха погибли. Интересные материалы о Ямвлихе, главным образом этического содержания, имеются у Стобея.

Несмотря на то, что Ямвлих сосредоточивал свое внимание на практической мистике, теоретическая философия оказывается у него далеко не на последнем месте. В ней он также продолжает и углубляет основную тенденцию неоплатонизма, именно тенденцию к умножению и к терминологическому расчленению различных моментов в трех Платиновых сущностях.

Высшей ступенью Ума являются, по Ямвлиху, боги надмирные. За ними следуют боги небесные, или так называемые «водительные», которых Ямвлих насчитывает 12, в связи с тем, что они владычествуют над 12 мировыми сферами, т. е. сферами земли, воды, воздуха, огня, семи планет и эфира.

За небесными богами следуют у Ямвлиха боги поднебесные. Наконец, он присоединяет еще и «охраняющих» богов и демонов отдельных людей и народов. Кроме того, Ямвлих иногда сопоставляет свои мифологические категории с конкретными именами античных божеств, но делает это не систематически.

Признавая множество мировых сфер, Ямвлих произвел разделение и среди управляющих этими сферами богов и демонов. То, что все боги и демоны выводятся из Ума или Души, для языческого сознания несомненно, ибо все язычники считали богов и демонов разумными и одушевленными существами.

С точки зрения реставрации политеизма теория Ямвлиха сама по себе вполне естественна; в ней выражаются облеченные в якобы философскую форму последние усилия умирающего язычества отстаивать свое право на жизнь.

Оценка стиля Ямвлиха как болтливого, раздутого и бедного мыслью, распространенная среди буржуазных историков философии, едва ли соответствует действительности. Евнапий (в «Жизнеописаниях философов и софистов») более прав, утверждая, что стиль Ямвлиха, правда, уступает стилю Порфирия и не лишен риторических украшений, но сам по себе ясен, точен и конкретен⁶.

Практическая философия Ямвлиха отличается теми же чертами, что и теоретическая. Именно, он и здесь восстанавливает древнюю религию со всеми ее обрядами, чудесами, пророчествами, предзнаменованиями, молитвами — со всем ее культом. Самым главным в человеке он считает веру в богов и общение с ними, а всякие моральные добродетели только низшими ступенями абсолютного единения с богами. В этом отношении наиболее характерным для школы Ямвлиха произведением является трактат «Об египетских мистериях». Относительно авторства самого Ямвлиха были высказаны сомнения, но все согласны с тем, что трактат вышел из школы Ямвлиха и принадлежит если не ему, то какому-нибудь ближайшему ученику. Сочинение написано от имени некоего египетского жреца и учителя Абаммона.

⁶ См. Müller. *Fragmenta Historicorum Graecorum*, IV, 7—56.

Этот трактат чрезвычайно интересен для характеристики всей эпохи. Темы, затрагиваемые им, охватывают всю область теургии, мантики и языческого культа, например: природа и действия высших существ, которые делятся на богов, демонов, героев и души (I, 1—21; II, 1—2); умозрительная философия и практическая теургия (II, 3—11); сущность и виды мантики — средства и методы доставления людям со стороны высших существ знания о будущем и о высших предметах (III, 1—31); природа, действия и виды жертвоприношений — опровержение взглядов Порфирия на принесение в жертву животных и на связанный с этим вид ведовства (V, 1—25; VI, 1—4).

Наконец, необходимо упомянуть еще об одной стороне деятельности Ямвлиха, имевшей большое историко-литературное значение. Ямвлих является основоположником типичного неоплатонического комментария к Платону: неоплатоники, чем дальше, тем больше, занимались комментированием Платона. Все они в своем методе комментирования восходят именно к Ямвлиху, написавшему комментарии к труднейшим диалогам Платона. Метод этот заключается в истолковании Платона с точки зрения развитого неоплатонизма. А так как неоплатонизм представляет собою учение об иерархии бытия, где каждая низшая ступень есть излучение и отражение высшей ступени и где всякая отдельная область специфически отражает в себе все другие области и все бытие в целом, то и каждая философская наука должна была здесь отражать все прочие философские науки. А так как поэзия тоже входила в этот синтез, в комментариях Гомер обычно также интерпретировался и метафизически, и мистически, и космологически, и натурфилософски, и логически, и физически, и этически.

Разумеется, поскольку философия Платона (хотя и не она одна) все же лежит в основе учения неоплатонизма, отдельные суждения неоплатоников о ней помогают пониманию некоторых темных мест у самого Платона. Хотя этот метод ведет к явной модернизации философии Платона и вносит в нее многое, чего сам философ никогда не высказывал, тем не менее этот метод надолго пережил античность, дойдя до флорентийской «Платоновской Академии» и найдя себе поклонника в лице Пико делла Мирандола. Последующие неоплатоники относились к Ямвлиху с величайшим благоговением, называя его имя не иначе как с эпитетами «великий», «удивительный», «блаженный», «божественный», причем это благоговение определялось не только собственной философией Ямвлиха, но и его оригинальными и основополагающими для всего последующего неоплатонизма комментариями к Платону.

Из учеников Ямвлиха нам более известны следующие. Феодор из Азины, был сначала учеником Порфирия, потом перешел к Ямвлиху, написал комментарии к платоновским «Тимею» и «Федону» (а может быть, и к «Категориям» Аристотеля), а также трактат «Об именах». Все это погибло. Лучшее других его произведений нам известен комментарий к «Тимею» — по многочисленным ссылкам на него у Прокла. В теоретической области Феодор Азинский продолжает развивать философию Ямвлиха.

О другом ученике, Сопатре, известно только, что он погиб при дворе Константина I в результате дворцовых интриг, вероятно, из-за желания воздействовать на императора в направлении языческой реставрации. Сохранился диалогический комментарий к «Категориям» Аристотеля, принадлежащий еще одному ученику Ямвлиха, Дексиппу, которого надо отличать от историка Дексиппа (III в. н. э.). Комментарий Дексиппа отличается ясностью, автор отчасти использует Плотина. Другие многочисленные ученики Ямвлиха известны только по именам.

4. ПЕРГАМСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ (ЮЛИАН И САЛЛЮСТИЙ)

Пергамский неоплатонизм отличается от сирийского только географически. Здесь мы находим тот же примат культовой практики над теоретической философией.

Основателем пергамской школы неоплатонизма является Эдесий Каппадокийский, ученик Ямвлиха, а главными ее представителями — Максим Эфесский, Евсевий из Минды, Приск, Хрисанфий, Евфразий, Евстафий из Каппадокии, о литературной деятельности которых нам почти ничего не известно; далее, некий Саллюстий (или Салутий), с именем которого до нас дошел трактат «О богах и о мире»; Евнапий, более известный нам по его дошедшему до нас историческому и риторическому сочинению «Жизнеописание философов и софистов», и знаменитый оратор IV в. Либаний, от которого дошло много речей и других произведений; но оба последних автора имеют только косвенное отношение к философии. И, наконец, к этой же школе относится император Юлиан, снискавший себе мировое имя своим отступлением от христианства и попыткой восстановить язычество в качестве государственной религии.

Флавий Клавдий Юлиан, сын Юлия Констанция, племянник Константина I и двоюродный брат императора Констанция, родился в 332 г., с 355 г. был цезарем в Галлии, вступил на престол в 361 г. и погиб в 363 г. в походе против парфян. Воспитанный в христианском духе, он слушал многих христианских проповедников, но после ознакомления с языческим неоплатонизмом он ревностно принимается за восстановление язычества, а вступив на престол, прямо восстанавливает его административным путем. В Малой Азии он встречается с Эдесием, который направляет его к Максиму Эфесскому и Евсевию. Но больше всего Юлиан преклоняется перед Ямвлихом, сочинения которого, особенно комментарии к платоновскому «Алквиаду I», оказали решающее влияние на все его литературное творчество. Юлиан, как все неоплатоники, мечтал о восстановлении politeизма и проводил его в жизнь с большим романтическим воодушевлением, ненавистью к христианству и пламенным энтузиазмом. Языческие мистерии и оракулы по его приказу были восстановлены, вновь полились потоки жертвенной крови, что вызывало улыбку даже у язычников; и вопреки собственной философии Юлиан был гораздо более погружен во всякие гаданья, жертвоприношения, магию и пророчества, чем в чисто духовное общение со своими богами. Путем административных приказов он хотел поднять моральный авторитет жречества, сделать языческую религию морально-благотворительным учреждением и превзойти христианство духовно и в философском обосновании своего учения. Но полная неудача и быстрое крушение всех этих мер были наилучшим свидетельством того, что времена язычества прошли безвозвратно и неоплатоническая мечта о восстановлении politeизма была бесплодным, беспочвенным и реакционным романтизмом.

Произведения Юлиана можно разделить на несколько групп.

К произведениям философского характера нужно отнести следующие: «Против невежественных киников», где Юлиан критикует современных ему киников за распущенность и роскошь, резко противоречащую учению основателей кинизма Диогена и Антисфена, причем жизнь Диогена изображается в возвышенных тонах, он превозносится за свободу духа и аскетизм; «Против киника Гераклия» — по поводу публичного выступления в Константинополе киника Гераклия, высмеивавшего античные мифы и уничтожавшего древних богов; Юлиан защищает мифологию как некое таинственное символическое учение, указывающее на истину древних мистерий; мифо-

логии, по Юлиану, свойственно и морализирование, но только для тех, кто неспособен подняться до чисто духовного знания; «Утешение к самому себе по поводу отъезда Саллюстия» — восхваление дружбы в духе известного трактата Цицерона «Лелий, или о дружбе»; «К философу Фемистию» — письмо, в котором Юлиан, отбросивши всякую риторику, рассказывает о своей высокой ответственности и тяжелой участи как императора.

К религиозно-философским произведениям Юлиана надо отнести следующие: «К царю Солнцу» — речь, вернее гимн, где автор, начиная с личных признаний в своей давнишней любви к этому светилу и в благоговении перед его освещающей и животворящей силой, переходит затем к философскому учению о солнце как посредствующем звене между чувственным и умопостигаемым миром. Обрисовывается деятельность солнца в надмирной области и в мире. Написана эта речь под сильным влиянием Ямвлиха. В речи «К Матери богов» после исторического очерка о почитании Матери богов у греков и римлян Юлиан истолковывает миф об Аттисе и Кибеле. Отрывок из «Письма к жрецу Понтифику» содержит распоряжение императора о нравственности жрецов.

Особое место занимает сочинение Юлиана «Против христиан» в трех книгах, не дошедшее до нас, но отчасти восстановленное на основании сочинения Кирилла Александрийского, полемизирующего с ним в трактате «Против Юлиана» (почти целиком восстанавливается I книга и остаются совсем неизвестными II и III книги). Критика христианства у Юлиана выгодно отличается от нападок других критиков, в частности от критики Порфирия, большей глубиной, меньшим рационализмом, меньшим количеством передержек и неточностей, искренностью, пафосом и ораторским талантом. К сожалению, восстановленная I книга его трактата посвящена главным образом критике Ветхого завета, т. е. не столько христианства, сколько иудаизма, но она все же интересна.

Так, сопоставляя рассказ Моисея и Платона о начале мира, он указывает на то, что творение мира у Моисея является весьма несовершенной работой, при которой к тому же оказывается несотворенным материал, так что творец оказывается не столько творцом, сколько организатором уже существующей материи. Ветхозаветный Иегова, по Юлиану, очень вспыльчив, гневен и завистлив. Запрещая Адаму и Еве вкушать от древа познания добра и зла, он сам свидетельствует о своей ограниченности, так как это познание есть самое высокое и благородное свойство человека; и, создавая людей, он, по мнению Юлиана, сам не знал, что их придется изгонять из рая.

Своему народу Иегова не дал никаких особенных благ, так как они везде были пришельцами, в то время как римляне уже давно имеют свободное государство и властвуют над миром.

Основным возражением Юлиана против христианства является то, что оно, по его мнению, есть просто атеизм, так как никакой бог не может быть человеком и никакой человек не может быть богом. Отвергнувши всех богов и обожествивши одного смертного человека, христиане, с его точки зрения, превратились в атеистов. Он доказывает, что ни в Ветхом, ни в Новом завете нет ни одного слова об обожествлении человека.

Чтобы понять все эти аргументы Юлиана, надо иметь в виду, что он был язычником, искренне веровавшим не только во всякие чудеса, пророчества языческих религий, но признававшим реальность евангельских чудес, даже реальность Иеговы Ветхого завета, которого он считал типичным национальным божеством, низшим по сравнению с божествами других народов, но действительно существующим. Критика Юлиана не имела ничего общего с рационализмом и эвгемеризмом. Он критиковал христианство,

исходя из того же самого мистического учения о познании божества, как и само христианство.

Религиозно-философские взгляды Юлиана не отличаются ни оригинальностью, ни подробностью разработки, ни даже достаточной логической ясностью. Юлиан был по существу гораздо более ритор, софист и публицист, чем теоретик-философ. Несмотря на свое глубочайшее уважение к античным философам, он не имел ни времени, ни охоты входить особенно глубоко в какие-нибудь отвлеченные рассуждения. Оба главных его религиозно-философских произведения — «К царю Солнцу» и «К Матери богов» в теоретическом отношении страдают слишком общим характером и отличаются неясностью основной концепции.

Интересы Юлиана не ограничивались неоплатонической философией и религиозно-мистической практикой. Получив широкое риторическое образование, он испытывал свои силы и на чисто литературном поприще. Чтобы ознакомиться с его деятельностью в целом, мы перейдем к разбору и этих его произведений, хотя они более соответствуют по содержанию произведениям ораторов IV в., особенно Либания.

Юлиан написал два сатирических произведения — «Пир, или Сатурналии» (другое название «Цезари») и «Ненавистник бороды, или Антиохиец». В первом произведении, написанном в стиле «Совета богов» Лукиана, изображается пир, на который обожествленный Ромул-Квирин приглашает всех богов и императоров. Боги располагаются в верхней части неба, занимая роскошные престолы, императоров же приглашают на луну в верхней части атмосферы. При появлении каждого императора Силен, играющий роль придворного шута, высказывает по его адресу разного рода остроумные и сатирические замечания. Юлиан в самом смешном виде и в саркастических тонах изображает Юлия Цезаря, Октавиана Августа, Тиберия, Калигулу, Клавдия, Нерона и других императоров, рассказывая об их порочности, распутстве, властолюбии и жестокости. Наиболее прославившиеся императоры произносят речи в свою защиту, чтобы быть удостоенными поехать на пир, и среди них — Юлий Цезарь, Октавиан Август, Траян, Марк Аврелий и Константин I. Победа остается за Марком Аврелием, перед которым Юлиан благоговел, а в самом жалком и смешном виде изображается Константин I. В конце пира боги повелевают всем императорам избрать себе покровителей из богов, и Константин выбирает Роскошь и Сладострастие. В дальнейшем он со своими сыновьями попадает в руки Фурий, от которых его спасает Зевс ради доблести его предков. В лице Константина Юлиан высмеивает церковную политику последних императоров и христианство.

«Ненавистник бороды» представляет собою сатиру на антиохийцев (в Антиохии Юлиан был в 362 г. в связи с военными делами), написанную в виде критики автором самого себя и мнимого восхваления антиохийцев. Себя самого Юлиан «критикует» здесь за аскетизм, скромность, небритую бороду и т. п., антиохийцев же «восхваляет» за изнеженность нравов, беззаботный образ жизни, распутство. Косвенно это тоже есть критика христианства, потому что антиохийское население в массе было христианское. Встречаются и прямые выпады против текстов Нового завета.

Хотя почти каждое произведение Юлиана является в известной степени риторическим, у него есть и такие, которые можно назвать специально риторическими. Это два панегирика императору Констанцию и один панегирик императрице Евсевии. Эти три произведения, наиболее ранние сочинения Юлиана, были попыткой автора упрочить свое положение при дворе, поскольку ему все время грозила опасность погибнуть от руки Констанция.

Сюда же можно отнести и «Послание к сенату и народу афинскому», где он избирает афинский сенат и народ как бы третейским судьей в своем расхождении с Констанцием и рассказывает всю свою жизнь, чтобы оправдать свое воцарение в глазах общества. Это сочинение содержит много интересных биографических сведений и написано очень живо.

Юлиан писал и стихи. Однако несколько эпиграмм, сохранившихся под его именем, сомнительны, а его эпические произведения, о которых говорится в речах Либания⁷, до нас не дошли. От Юлиана осталось 87 писем. Из этих писем одни — к частным лицам (к Либанию, Максиму, Орибазию, Приску), другие — к целым общинам и народам (к александрийцам, фракийцам). Письма Юлиана являются ценнейшим источником для его биографии, истории его политических мероприятий и законодательства, а также религиозных и этических воззрений. Среди этих писем есть и не подлинны. Наконец, Юлиану принадлежало еще немало произведений, известных нам только по названиям, — об его войне с галлами и с германцами, о происхождении зла, о геометрических фигурах, о военном искусстве, речи, письма и т. д.

В стиле сочинений Юлиана бросается в глаза большое разнообразие и даже пестрота. С одной стороны, будучи широко начитанным в классической литературе и без ума влюбленным в нее, он старается писать архаизирующим и чистым греческим языком; и это ему часто удается как лексически, так и фразеологически. Он равнодушен к Гомеру и постоянно его цитирует, любит также и Гесиода, часто цитирует Эврипида (что весьма характерно, поскольку Софокла он приводит только однажды, а Эсхила не цитирует ни разу). Классическая лирика у него представлена меньше, но древняя комедия в большом почете. Сочинения Платона вместе с произведениями, ходившими тогда под именем Орфея и Пифагора, он официально приказывал использовать для толкования мифов, совершенно серьезно принимая все эти сочинения за изложение непререкаемого догматического божественного слова. Цитирует он также и Демосфена. Но все эти авторы, классические или принимаемые за классических, были далеко не единственными образцами его стиля.

Не меньше, чем Гомера, Эврипида и Платона, Юлиан любит и всю эллинистическую литературу, кроме эпикурейцев и скептиков. Даже мало совместимые с неоплатонизмом стоики встречают у него восторженное отношение благодаря многим своим жизненным идеалам. Платон, Порфирий и особенно Ямвлих тоже повлияли на стиль Юлиана, вследствие чего в его произведениях заметно крайнее смешение стилей.

Кроме того, Юлиан весьма привержен к риторическим ухищрениям и стиль его всегда приподнят и неровен. В своих панегириках опасному для него Констанцию он холоден, употребляет вычурные и деланные выражения. Напротив, его автобиографические рассказы и признания в «Послании к народу афинскому» производят впечатление простоты и неподдельной искренности. Он часто брался за изложение философских мыслей, но нигде не проводил их до конца, постоянно прерывая свои рассуждения то пересказом разного рода мифов, то молитвами и гимнами богам. Эти частые молитвенные настроения перемешиваются у него с злобным сарказмом по адресу врагов; а их у него было очень много, ибо это были и христиане, и иудеи, и современные ему киники.

Образцом смешения жанров и стилей являются «Цезари»: в них мы находим и мениппову сатиру, и традиционный жанр симпозиа, и стоически-киническую диатрибу, и острый политический памфлет, и приемы вульгарной и бытовой комедии; это и трагедия, и фарс, и сатира.

⁷ Либаний, XVIII, 74; XXIV, 37; XII, 56, 92.

При оценке творчества Юлиана надо учитывать невероятную спешку, в которой он писал. Почти все сочинения написаны за два года его царствования. А эти годы были полны широкой политической деятельностью, большими войнами, отчаянной борьбой с христианами и иудеями и упражнениями в аскетизме, отнимавшими у него значительную часть времени. Не нужно забывать того, что Юлиан погиб 32 лет от роду, не успевши развить свои литературные способности. В результате всего этого стиль Юлиана очень неровный, а часто даже истерический, пестрый, запутанный и вычурный.

Из сочинений упомянутых выше представителей пергамской школы неоплатонизма до нас дошел еще только трактат С а л л ю с т и я или Саллустия. О том, кто такой Саллустий, не имеется никаких сведений. Может быть, это тот самый Саллустий, друг Юлиана, которому Юлиан посвятил указанный у нас выше трактат о дружбе. Его трактат «О богах и о мире», интересен тем, что он дает краткое систематическое изложение всей системы неоплатонизма.

Глава 1 этого трактата содержит общие соображения о том, что такое слушатель и наука; в главе 2 говорится в общей форме о неизменности и бестелесности богов; в главе 3 — о необходимости отыскания внутреннего смысла мифов; глава 4 устанавливает наличие в мифах различных видов и, следовательно, различных возможностей истолкования их.

В главе 6 впервые в сиро-пергамском неоплатонизме дается чисто неоплатоническая классификация богов. По Саллустию, боги делятся на домировых и мировых. Домировые — те, которые создают сущности — Ум и Души. Мировые боги делятся у Саллустия на создающих мир (Зевс, Посейдон, Гефест), одушевляющих его (Деметра, Гера, Артемида), упорядочивающих (Аполлон, Афродита, Гермес) и охраняющих (Гестия, Афина, Арес). Другие боги подчинены этим 12 основным, например, Дионис — Зевсу, Асклепий — Аполлону, Хариты — Афродите. Точно так же, по Саллустию, существует и 12 космических сфер: сфера Гестии — земля, Посейдона — вода, Геры — воздух, Гефеста — огонь, Артемиды — луна, Аполлона — солнце и т. д. Уран же, или небо, объединяет всех богов.

В 7 главе мы находим учение о космосе, об его вечности, сферах и движениях, в 8 — о душе, в 9 — о судьбе, которую автор понимает как силу, имманентную богам. После главы 10, посвященной этике и учению о добродетелях, в главе 11 рассматриваются «правильные» формы правления — монархия, аристократия, тимократия и «неправильные» — тирания, олигархия, демократия.

Для тех читателей, которые хотели бы ознакомиться с неоплатонизмом в кратчайшей и притом популярнейшей форме, можно рекомендовать именно трактат Саллустия, который компактно и ясно без всяких уклонений в сторону, несколько суховато, но очень отчетливо излагает все основные проблемы неоплатонизма.

5. АФИНСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ (ПРОКЛ)

С гибелью реставрационной попытки Юлиана окончательно выяснилось, что неоплатонизм не имеет широких исторических перспектив. В дальнейшем уже ни у кого не было иллюзий относительно будущего языческой мифологии и философии. Хотя языческие мифологи и философы просуществовали еще два столетия, неоплатонизм уже не дал новых идей; последующие неоплатоники ставили своей целью только детализировать Плотина и Ямвлиха и на этой основе комментировать Платона и Аристотеля. Две но-

вые школы неоплатонизма, возникшие и существовавшие в V—VI вв., — афинская и александрийская — отличаются очень большой ученостью и невероятным трудолюбием своих представителей в разыскании и комментировании бесконечных мелочей в платоновских и аристотелевских текстах. Афинская школа отчасти еще занималась и теоретическим построением, александрийская же почти целиком ушла в комментаторство.

Самым крупным и самым плодовитым представителем афинской школы неоплатонизма, если иметь в виду дошедшие до нас памятники, является Прокл; основателем же этой школы был Плутарх Афинский (ум. в 431/2 г.). От его произведений ничего не дошло, а сведения о нем весьма скудны: он комментировал Платона и Аристотеля.

Его ученик и преемник по главенству в Платоновской Академии, Сириан из Александрии (ум. не позже 438 г.), тоже комментировал Платона и Аристотеля, считая аристотелевскую философию преддверием к философски-мистическому учению Платона. До нас дошел его комментарий к «Метафизике» Аристотеля (к книгам III, IV, XIII и XIV), где Сириан указывает на недостаточное понимание Аристотелем Платона. Как и все неоплатоники, он ставит философию в ближайшую связь с мистериями и оракулами и с деятельностью обожествленных Орфея и Пифагора, учит о вечности мира, о душе звезд, о разделении нематериальных существ на богов, демонов, героев и души (причем вместе со многими неоплатониками между богами и демонами он помещает ангелов) и т. д.

Самым крупным представителем афинской школы является, как сказано, Прокл (410—485 гг.), сын богатого ликийского адвоката, родившийся в Константинополе, слушатель Олимпиодора Старшего в Александрии, Плутарха и Сириана в Афинах, ближайший ученик Сириана и его преемник по руководству платоновской Академией. После Плотина это самая крупная фигура во всем неоплатонизме. Да и Плотину он уступает только в новизне и оригинальности идей, поскольку Плотин созидал новую систему философии, Прокл же только углублял и детализировал ее. Во всех прочих отношениях он безусловно превосходит Плотина. Его характерными чертами является аналитический ум, большое разнообразие интересов, умелое и тонкое исследование отвлеченных логических вопросов, а также глубокий философско-филологический анализ текста Платона. Философский язык Прокла ясен и четок; местами он излагает предмет в виде геометрических теорем и доказательств и с юридической точностью формулирует доказываемые им положения.

Размеры дошедшего до нас наследия Прокла — нечто единственное в своем роде на протяжении всей истории античной литературы. При сравнительно небольшом количестве названий трактаты Прокла обнимают в общей сложности много тысяч страниц, что превосходит по размерам сочинения Платона и Аристотеля.

Философско-теоретические сочинения Прокла следующие: «Богословское элементарное учение», состоящее из 211 четко сформулированных тезисов, содержащих в кратком своде всю систему неоплатонизма. Метод, примененный в этом случае Проклом, заключается в расчленении темы на более или менее краткие тезисы с пояснением, сформулированными без всяких уклонений в сторону и литературных украшений, подчеркнуто точно, сжато и сухо, на манер учебников геометрии или свода законов⁸; «О богословии Платона» — огромное исследование, заключающее в себе учение о методах использования сочинений Платона для философии. Остальные три фило-

⁸ Таким же стилем по образцу «Исходных положений» Порфирия написан указанный ниже трактат Прокла «Физическое элементарное учение».

софско-теоретических трактата Прокла сохранились только в латинском переводе.

Особый отдел составляют комментарии Прокла к отдельным платоновским диалогам — к «Тимею», «Пармениду», «Государству», «Алкивиаду I» и «Кратилу». Эти комментарии только чисто формально можно назвать комментариями к Платону. На самом деле в них много самостоятельных философских рассуждений, из которых каждое могло бы составить отдельный трактат. К этой же группе сочинений относятся и схолии на «Труды и дни» Геснода, состоящие из кратких пояснений к тексту.

Следует выделить сочинение философско-научного характера «Физическое элементарное учение» (на основе аристотелевского учения о движении, изложенного в трактатах «Физика» и «О небе»).

Из трактатов на мистические темы сохранились только «Эклоги из халдейской философии» (извлечение из большого специального труда в 10 книгах) и «О жертвоприношении и магии». Наконец, дошло до нас семь небольших гимнов к богам в традиционных эпических гекзаметрах — к Гелиосу, Афродите, Музам, Ликийской Афродите, Гекате, Янусу и «велемудрой Афине». Эти гимны обращают на себя внимание своим орфическим содержанием, астрологическими элементами, учением о мистических восхождениях к аскетической чистоте духа (хотя тут не отсутствуют и характерные для древних гимнов прошения о здоровье, счастье, богатстве и др.).

Мы вкратце коснемся лишь философско-теоретических взглядов Прокла.

Даже при беглом чтении Прокла бросается в глаза упорное единообразие его метода, сводящегося к триадическому расчленению предмета. Эта триада господствует у Прокла решительно везде, включая все самое высокое и все самое низкое, включая отвлеченные понятия: богов, живые существа, весь мир, все отделы философии, мифологии, мантики и т. д. Мир Души у Прокла также триадичен; сюда входят божественные, демонические и человеческие души.

Философия Прокла не оригинальна; однако систематичность, аналитическая проницательность и доходящая до пафоса рассудочность делают ее весьма своеобразным явлением в античной литературе и философии.

Коснемся кратко других представителей афинской школы неоплатонизма. Марин из Самарии был преемником Прокла в руководстве Платоновской Академией и отличался от своего предшественника и учителя гораздо большим позитивизмом, находя, например, в платоновском «Пармениде» не учение о богах, но учение об идеях. С другой стороны, в мистицизме он шел еще дальше, ставя, например, выше «теоретических» (т. е. созерцательных) добродетелей те, которые он называет теургическими. Сохранившееся от него «Жизнеописание Прокла» является интересным документом, изображающим Прокла как чудотворца и волшебника. Преемником Марина в Академии был Исидор, не отличавшийся позитивизмом Марина и шедший путями Яввлиха. Имеется его жизнеописание, принадлежащее Дамаскию, тоже одному из руководителей Академии, самому блестящему представителю афинской школы после Прокла. В дошедшем до нас труде «Апории и их разрешение в учении о первых принципах» Дамаский соперничает с Проклом в тонкости логических построений и местами даже превосходит его. Учеником Дамаския и последним представителем афинского неоплатонизма был Симпликий, знаменующий собою уже переход от афинской школы к александрийской. Это один из самых интересных комментаторов Аристотеля среди неоплатоников. Ему принадлежат дошедшие до нас огромные комментарии к следующим сочинениям

Аристотеля: «Категории», «Физика», «О небе», «О душе», а также к сочинениям Антифонта и Гиппократов о квадратурах и, наконец, комментарии к «Энхиридиону» Эпиктета. Его аристотелевские комментарии ценны не только разъяснением множества непонятных мест, но и приведением многочисленных отрывков из досократиков.

В 529 г. император Юстиниан издал указ, запрещающий всякое преподавание философии в Афинах, что означало также и закрытие существовавшей много веков Платоновой Академии. Последние афинские неоплатоники во главе с Дамаскием и Симпликием в 531 г. эмигрировали в Персию ко двору Хозроя I, относительно философских интересов которого они питали заманчивые иллюзии. Однако уже в 533 г., после мирного договора Персии с Восточной римской империей, неоплатоники должны были вернуться в Афины, где они кое-как продолжали свое существование, по-видимому, не подвергаясь открытому преследованию. Памятником пребывания афинских неоплатоников в Персии является дошедший до нас только в латинском переводе трактат Прискиана «Решение вопросов, по поводу которых высказывал сомнения персидский царь Хозрой» (Прискиану принадлежит и сочинение «Метафразы из Феофраста о чувственном восприятии»). После смерти вернувшихся философов-эмигрантов Платоновская Академия уже не возродилась.

6. АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ

Симпликий представляет собой переходное звено от афинского неоплатонизма к Александрийскому. Представители обеих неоплатонических школ находились в живом общении, так что границы между этими школами почти стираются; комментаторская деятельность философов, занимавшая центральное место в афинской школе, становится подавляющей у Александрийцев.

Главным занятием Александрийских неоплатоников было комментирование древних философов, причем — что чрезвычайно характерно — внимание обращалось преимущественно на Аристотеля, особенно на его логические трактаты. Эти неоплатоники, резко отличаясь от представителей всех предыдущих школ неоплатонизма, характеризуются большой трезвостью мысли и склонностью к специальным наукам, в области чистой философии они работают мало, и их высказывания являются в значительной мере эклектичными. О глубокой привязанности к язычеству, о реставрации политеизма здесь уже не может быть и речи. Логические и математические размышления Александрийских неоплатоников и комментирование ими древних философов направлены на отыскание объективной и нейтральной точки зрения.

За весьма малыми исключениями тексты Аристотеля комментируются уже без той интерпретации, после которой и Платон, и Аристотель превращались в чистейших неоплатоников; такая объективная тенденция противоположна тенденции Ямвлиха и Прокла; она заметна уже у Симпликия.

Этот объективизм комментаторского метода вместе с отказом от реставрации политеизма открывал широкий доступ для христианских влияний, чему способствовало также и давнишнее существование в Александрии мощной школы христианских проповедников. Это и привело к тому, что многие из Александрийских неоплатоников были христианами.

Из этой школы большой известностью пользуется Гипатия; она комментировала Платона и Аристотеля, но все ее сочинения погибли; Гипатия погибла в 415 г. от руки христианских фанатиков в Александрии.

Тоже комментатором, но более свободного типа является Гиерокл Александрийский (V в.), известный своим комментарием к неопифагорейскому сочинению «Золотые стихи». Комментарий Гиерокла эклектичен и представляет собою возвращение к среднему, доплатиновскому платонизму. Учение о творении мира демиургом из ничего по своей собственной воле и о подчинении судьбы промыслу свидетельствует у Гиерокла о несомненных христианских влияниях. Об его сочинении «О промысле, судьбе и о согласовании с ними божественного руководства» имеются сведения у Фотия. Сходен с Гиероклом по своему эклектизму Немесий, епископ Эмесский (V в.), сочинение которого «О природе человека» своими методами эклектического платонизма восходит к Посидонию.

IV. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ НАУКА И МИФОГРАФИЯ

Немедленно после смерти Александра один из его полководцев, Птолемей, сын Лага, захватил управление Египтом, где еще в 332—31 г. на западном берегу нильской дельты, против небольшого островка Фароса, по плану знаменитого греческого архитектора Дейнократа был построен новый город, которому суждено было стать крупнейшим центром эллинистической культуры. Название Александрия, присвоенное целому ряду городов, основанных Александром, сохранилось именно за ним. Птолемей, власть которого над Египтом окончательно укрепилась после битвы диадохов при Ипсе (301 г. до н. э.), не жалел средств для процветания города, и Александрия росла с удивительной быстротой, становясь средоточием не только экономической, но и духовной жизни греческого мира. Уже в середине III в. его называют «городом мира»¹.

Птолемей Сотер (322—285 гг.), желая возвеличить свой город, обращался ко многим греческим писателям и философам с предложением переселиться в Александрию. В числе переселившихся были поэт Филет Косский, философы Гекатей Абдерский, Стратон, Феодор Киренский, геометр Эвклид, естествоиспытатель и врач Герофил. Филету и Стратону Птолемей поручил воспитание своего сына. Но наибольшую роль сыграл один из культурнейших людей своего времени, перипатетик Деметрий Фалерский², после крушения политической карьеры в Афинах ставший ближайшим советником Птолемея и подавший ему мысль об основании музея и библиотеки при нем. В этой библиотеке, по мысли Деметрия, должна была быть собрана вся греческая литература с древнейших времен.

Начиная со времени царствования Птолемея II Филадельфа (285—247 гг.) Александрия, бесспорно, являлась крупным центром культурной деятельности: поэзии, филологии и точных наук. Что же касается философии, то Афины сохраняют свою гегемонию до конца существования античного мира. К середине III в. в Александрийской библиотеке насчитывалось более полумиллиона книг.

Первым библиотекарем был уроженец Эфеса, поэт Зенодот. В сотрудничестве с двумя другими поэтами — Александром Этолийским и Ликофроном — он привел в порядок все собранные в Александрии произведения греческой поэзии. Поручение этой работы поэтам было вполне обосновано: филологов-профессионалов еще не было, и поэты, изучавшие разные диалекты и обращавшие особое внимание на архаизмы и провинциализмы,

¹ См. папирус, изданный в «Berliner Klassikertexte», вып. VII, стр. 17.

² См. гл. X, т. II настоящего издания.

лучше других были к ней подготовлены. Дело первой триады александрийских ученых было продолжено Аполлонием Родосским, Эратосфеном и, наконец, Каллимахом, который подвел итог всей этой грандиозной работе составлением своих «Таблиц»³.

Второй культурный центр возник в Пергаме. Пергамское царство, основанное Филетером (ум. в 263 г.), достигло наибольшего расцвета при царе Эвмене II (197—159 гг.), которого поддерживали римляне. Пергамская библиотека была основана еще Эвменом I (263—241 гг.), но мировое значение Пергам получил только во II в., когда в Александрии начался некоторый упадок. При дворе Эвмена II и его преемника Аттала II Филадельфа (159—138 гг.) философ Кратет Милосский (ум. в 145 г.) основал свою грамматическую школу, отличавшуюся по методам исследования от александрийской.

Основные различия названных школ сводились к различию во взглядах на природу языка и пути его развития. Различия эти в конечном счете восходят к различию в точках зрения на происхождение языка у стоиков, с одной стороны, и у скептиков — с другой. Стоики, главным образом в лице Хрисиппа из Сол (ок. 280—200 гг. до н. э.), считали, что язык развился естественно (*φύσει*) как любое явление природы. Отсюда вытекало, что звуковая форма слова соответствовала его значению, но это положение не могло объяснить множественности реально существовавших языков. Этим и воспользовались философы скептической школы, выдвинув тезис о добровольном соглашении между людьми определенного народа для обозначения вещей тем или иным именем (язык произошел не *φύσει*, а *θέσει* — т. е. по соглашению). Стоики возражали, что в этом случае исчезает критерий истинности значения слова: слову может быть придано любое произвольное значение, а между тем значения слов должны быть истинными (*ἔτιμα*). Поэтому одной из задач философии становилась «этимология» — исследование первоначального, истинного значения слова. Работы ранних стоических грамматиков нам очень плохо известны, но мы знаем, что именно стоиками было развито учение об основных грамматических категориях, в частности учение о падеже (*πτῶσις*) и некоторых глагольных категориях; учение о частях речи у них оставалось, по-видимому, в том же виде, в каком оно было у Аристотеля и перипатетиков.

Рядом с «грамматическими» занятиями александрийские ученые усердно изучали Гомера, проверяя текст его поэм, и подготавливали их издание, исправляя вкрапившиеся в текст ошибки. Корректурa текста получила название «диортозы». Начал эти работы первый библиотекарь Александрийской библиотеки Зенодот в III в. до н. э.

Преемником Зенодота был Аристофан Византийский (ок. 257—180 гг.), подлинный кодификатор греческой национальной поэзии. Он трудился над установлением текста многих греческих авторов, снабжая их учеными комментариями. Много работал он над Гомером, и хотя позднейшие схолии придерживаются преимущественно толкований Аристарха, можно считать бесспорным, что издание Аристофана Византийского было значительным шагом вперед по сравнению с изданием Зенодота. Работая над текстами Гесиода, он установил, что ни «Наставления Хиропа», ни «Щит Геракла» Гесиоду не принадлежат. Издав Алкмана, Алкея, Анакреонта, Симонида и Пиндара, он снабдил их замечательным предисловием, посвященным мелической метрике. Установленные им принципы метрики (так называемая «колометрия») держались до эпохи Варрона.

³ См. главы III и IV настоящего тома.

Для трагедий Аристофан Византийский составил так называемые «argumenta» (ὑποθέσεις), содержавшие: 1) краткое изложение мифа, 2) дидактику, 3) эстетическую оценку. Его argumenta к комедиям Аристофана частью были написаны в стихах. Сочинение Аристофана Византийского о Менандре, которого он ставил наравне с Гомером, было озаглавлено «Сопоставления Менандра с теми, у кого он крал» и посвящено анализу заимствований этого поэта у других авторов. Трактат Аристофана «О лицах» послужил главным источником для «Ономастикона» Полидевка, в руках которого была обработка трактата «О лицах», сделанная ученым нумидийским царем Юбою. На основе трудов Аристофана Византийского был составлен список лучших писателей древности, так называемый «александрийский канон».

Аристарх Самофракийский (ок. 217—143 гг.), пятый библиотекарь Александрийской библиотеки, был самым выдающимся из учеников Аристофана Византийского. Его имя сделалось нарицательным для обозначения строгого, но справедливого критика. Аристарх занимался Гесиодом, Архилохом, Алкеем, Анакреонтом, Пиндаром, Аристофаном и Геродотом, а также тремя великими трагическими поэтами — Эсхилом, Софоклом и Эврипидом.

В лице Аристарха александрийская грамматическая школа (аналогисты) пришла в резкое столкновение с пергамской школой Кратера Милосского (аномалистами).

Исходя из единообразия окончаний слов при их флектировании и словообразовании, аналогисты доказывали стройность и единообразие языка; аномалисты же, указывая на множество отклонений от устойчивых норм, выдвигали принцип «аномалий», т. е. доказывали отсутствие в языке морфологического единообразия и невозможность нормализации грамматических правил.

Однако представители обоих направлений не могли понять истинной природы языка, так как и у тех и у других отсутствовал исторический подход к языку.

Тем не менее историческая роль аналогистов очень велика: достаточно сказать, что первая нормативная грамматика греческого языка была создана к концу II в. до н. э. учеником Аристарха аналогистом Дионисием Фракийским.

Дионисий Фракийский (ок. 170—ок. 90 г. до н. э.), к сочинениям которого были написаны обширные дошедшие до нас схолии, окончательно оформил то учение о частях речи, которое перешло к римским грамматикам, а от них в средневековую Европу и ныне еще продолжает существовать в наших грамматиках.

Это учение не имеет в основе единого логического критерия и смешивает формальные классы слов с классами семантическими. Однако оно дает много практических и дидактических удобств, чем и объясняется его живучесть.

Из других учеников Аристарха следует отметить Аммония, последнего из известных нам библиотекарей Александрии, популяризатора сочинений Аристарха, автора многих не дошедших до нас трактатов и, возможно, учителя Дидима, бывшего уже современником римского завоевания Египта.

Дидим (ок. 65 г. до н. э.—ок. 10 г. н. э.) — один из самых ученых и плодотворных античных грамматиков — занимался всеми авторами, которых изучал Аристарх, и, сверх того, Фукидидом, Менандром, почти всеми аттическими ораторами, лексикографией, мифографией, историей поэтических

жанров, пословицами. Он знал и латинский язык и написал трактат о Цицероне («О политике Цицерона»).

Последним крупным александрийским грамматиком был младший современник Дидима, Феон. После него, в I в. н. э., филологическая наука в Александрии, по-видимому, приходит в упадок. Можно отметить лишь огромный лексикографический труд Памфила «Луг» в 95 книгах, использованный позднейшими лексикографами.

Создателем пергамской филологической школы был Кратет Милосский, страстный противник научного метода Аристарха. Дело Кратета продолжал Филоксен, уроженец Александрии, изменивший ее ученым традициям. Филоксен может считаться родоначальником «гипотезы греко-италийской общности», он выводил латинский язык из эолийского наречия, и в этом ему следовал Варрон. Продолжателями Филоксена в I в. до н. э. были Трифон и Деметрий, писавшие о тропах, о значении имен, об омонимах, синонимах и антонимах, о диалектах и о других вопросах, и, наконец, знаменитый Дионисий Галикарнасский⁴.

Расцвет новой софистики и риторики⁵ направил в сторону последней и античную филологическую науку. Об этом говорит нам характер сочинений Дионисия Галикарнасского и Плутарха, анонимного трактата «О возвышенном», приписывавшегося раньше Лонгину, и, наконец, трактатов Лонгина (конец III в. н. э.), где от филологии осталось только общее заглавие всей серии — «Филологические беседы». Однако некоторые факты из истории филологии этого времени можно отметить как значительные. Это прежде всего труды лексикографов. Во II в. Валерий Гарпократион из Александрии, используя Дидима и других авторов, составил большой «Словарь к десяти ораторам», сохранивший много материала для понимания ораторской прозы и ее реального комментирования. Юлий Полидевк, или Поллукс из Навкратиды, в конце того же столетия составил «Ономастикон» в 10 книгах, нечто вроде реальной энциклопедии, каждая книга которой посвящена особой области античной жизни.

В ту же эпоху жил и Гефестион, написавший энциклопедический трактат «О метрах» в 48 книгах, посвященный не только метрике в собственном смысле, но и вообще поэтическим формам.

Взгляды и схемы Гефестиона господствовали в классической филологии вплоть до начала XIX в.

Большой шаг вперед сделало во II в. и языковедение, когда в сферу внимания грамматиков в лице Аполлония Дискола впервые попал синтаксис. Его «Синтаксис» в 4 книгах и небольшие трактаты «О наречии» и «О союзах» дошли до нас в подлиннике. Грамматические труды других авторов известны нам по изложению «Institutiones Linguae Latinae» Присциана (VI в. н. э.).

Общетеоретические сочинения, касающиеся языка и филологии как науки и ее отношения к философии, писал также знаменитый врач и естествоиспытатель Гален. Его суждения очень важны для нас тем, что они иногда раскрывают нам характер метода античной критики и герменевтики (толкования текстов).

Наряду с филологией развивались точные науки и медицина. Интерес к ним в Александрию был принесен перипатетиками. Достижениями александрийских физиков, астрономов, географов и медиков новая Европа жила почти до XVI столетия.

⁴ См. гл. VII настоящего тома.

⁵ См. введение ко второму разделу настоящего тома.

Вдохновителем этого исключительно плодотворного научного движения был Эратосфен (ок. 275—196 гг. до н. э.) из Кирены, учившийся в Афинах у Аркесилая и у стоика Аристона Хиосского. Приглашенный около 246 г. Птолемеем III Эвергетом в Александрию, он сменил Аполлония Родосского на посту библиотекаря и стал воспитателем будущего царя Птолемея IV Филопатора. Он был выдающимся филологом в нашем понимании этого слова, написав в 12 книгах сочинение «О древней комедии», остатки которого сохранились в схолиях к комедиям Аристофана. Он участвовал также в составлении «Таблиц» Каллимаха и Ликофроновского словаря комических поэтов. Эратосфен занимался и вопросами хронологии, а также математикой и теорией музыки. Архимед в юности учился по сочинениям Эратосфена и посвятил ему свое первое произведение. Исключительную важность имело введение Эратосфеном элементов математики и астрономии в географию. Следуя Дикеарху и Стратону, Эратосфен выдвинул на первый план идею измерения земного пространства, математически обосновал ее и заложил основы картографии. Он блестяще использовал географические данные Гомера и сведения о Востоке, полученные греками начиная с конца IV в. до н. э. Он не был твердо убежден в шарообразности земли и рассматривал всю сушу, населенную людьми (*ἡ βιοῦμένη* как остров, окруженный со всех сторон тем же океаном, который лежал за Геркулесовыми столпами и назывался Атлантическим. Его «География» в трех книгах, о которой мы знаем только по Страбону, давала обзор развития географических знаний от Гомера до Александра (книга I), затем изложение взглядов автора на форму и величину земли и климатические пояса (книга II) и, наконец, обзор народов, населяющих землю от Гадеса (Кадикса) до Центральной Азии (книга III). Страбон сохранил нам из этой части описание Аравии.

В связи с теориями Эратосфена поднялась сильная полемика: его обвиняли в чисто математических спекуляциях и пренебрежении к данным опыта. В результате греческая география в дальнейшем развитии приобрела описательный характер.

Другим крупным александрийским математиком был Эвклид. Он дал свод геометрических знаний древности в своих «Элементах» в 13 книгах, которые стали учебником для всего античного мира, а переведенные в V в. н. э. Боэцием на латинский язык перешли и в средние века. В VIII в. они сделались известны арабам. Второе сочинение Эвклида — «Данные» — содержит введение в геометрический анализ. Кроме того, он написал «Оптику», затем неоднократно подвергавшуюся переработкам и дополнениям.

Архимед (287—212 гг.), сын астронома Фидия из Сиракуз, учился в Александрии, где подружился с математиком Кононом и с Эратосфеном. Он изобрел водяной винт, примененный для ирригационных целей. В конце жизни Архимед вернулся в Сиракузы и погиб при осаде города римлянами.

Из его многочисленных сочинений наибольшей популярностью в древности пользовались три: «О шарах и цилиндре», «Основания статики» и «Об измерении окружности». Нам известны еще пять трактатов, среди них «Об исчислении песчинок» и «Гидростатика», сохранившаяся только в латинском переводе⁶. Только в арабском переводе известны его «Леммы». Писал Архимед на дорийском диалекте, частью на койнэ.

Из астрономов крупнейшим был Аристарх Самосский (III в. до н. э.), ученик перипатетика Стратона, утверждавший, что земля вращается вокруг солнца и одновременно вокруг собственной оси. За это стоик Клеанф обви-

⁶ Сравнительно недавно найдены отрывки из греческого подлинника в одном папирусе. См. Heiberg («Hermes», т. 42, 1907, стр. 235 сл.).

нял его в безбожии. Он изобрел гномон (усовершенствованные солнечные часы). Придворный астроном Птолемея III, Конон Самосский (ум. между 240 и 230 гг.), составил «Астрономию» в 7 книгах и писал также о солнечных затмениях. Его ученик Досифей занимался календарем. Механикой занимались Папп, Ктесибий, ученик последнего Филон Византийский, Герон Александрийский. Сочинения естествоиспытателей — Сотака, Судина и Зенофемида — были главными источниками и пособиями Плиния Старшего. О сельском хозяйстве писали очень многие. Из этих агрономических сочинений в X в. по поручению византийского императора Константина Багрянородного был сделан свод в 20 книгах. Медицинская литература этой эпохи нам не известна, но, как можно судить по Галену, она была очень богатой. Мы знаем имена знаменитых врачей Герофила и Эрасистрата. Наконец, различные авторы писали о метрологии, фармакологии и даже о косметике и кулинарии.

Знаменитый александрийский математик, астроном и географ Клавдий Птолемей (I в. н. э.), будучи перипатетиком, находился также под сильным влиянием пифагореизма, платонизма и стоицизма. Важнейшим его сочинением, оказавшим исключительное влияние на средневековую науку, были 13 книг «Математического собрания», известные также под названием «Алмагест», в которых он, оставаясь верным аристотелизму, наряду с математическими проблемами излагает свою геоцентрическую систему мироздания. Кроме того, ему принадлежат 8 книг «Географии», сочинение «О критерии и руководящем начале» эклектического характера, сочинение «Гармония», написанное под влиянием пифагорейского учения о числах, «Оптика» в пяти книгах и «Четверокнижие», являющееся источником для изучения Посидония.

Знаменитый врач Гален (129—199 гг. н. э.), автор многочисленных сочинений медицинского и философского содержания, из которых некоторые до нас дошли, является представителем перипатетического эклектизма. По сообщению арабского философа Аверроэса (Ибн-Рошда), он ввел в логику Аристотеля четвертую фигуру силлогизма, получившую название «галеновой».

Изучение и изложение мифов началось еще в конце классического периода трудами софистов (Гиппий Геродор Гераклейский), историков (Анаксимен Лампсакский, Асклепиад Трагильский), философов-перипатетиков (Гераклид Понтийский, Дикеарх) и поэтов конца эпохи эллинизма, среди которых в этом отношении первое место занимает Антимак Колофонский. Косский кружок поэтов, возглавляемый Филетом, продолжал эту традицию. По его стопам шли Ликофрон и Каллимах. Однако до II в. до н. э. прозаическое изложение мифов было редким явлением: после Геродота мы можем отметить только двух мифографов в собственном смысле: Гегесианакта Александрийского⁷ и Дионисия Скитобрахиона⁸. Последний составлял уже генеалогические таблицы. Мы имеем сведения, что изучением мифологических основ трагедий занимались Главк и Филохор.

Первые крупные мифографические трактаты, сохранившиеся до наших дней, принадлежали Палефату, философу-рационалисту, ученику Аристотеля, и Аполлодору Афинскому. О жизни Палефата ничего не известно; вероятно, он был современником Эвгемера, т. е. жил в IV—III вв. до н. э. От него до нас дошло небольшое сочинение, носящее заглавие «О невероятных вещах».

⁷ Фрагменты его сочинения см. *Fragmenta Historicorum Graecorum*, II, 268—272.

⁸ Фрагмент его рассказа об аргонавтах см. *Fragmenta Historicorum Graecorum*, II, 228—257.

Это сочинение состоит из ряда статей (53), содержащих рационалистическое объяснение мифов в духе Эвгемера. В предисловии автор говорит, что все, что рассказывается в мифах, происходило на самом деле; но поэты и баснописцы исказили эти события для удивления людей, так что они обратились в невероятные сказания.

Автор якобы обошел очень много стран и расспрашивал старых людей, что они слышали об этих событиях.

Задачей Палефата было сделать мифы «правдоподобными», очистив их от фантастического элемента. Так, например, Линкея, который видел сквозь землю, он считал рудокопом, изобретателем светильника, при помощи которого он открыл в пещерах серебро; Дедал, по его предположению, «оживлял» статуи тем, что шарнирами соединял их члены, и т. п.

Вот еще образчик объяснения мифа. Кентавры, по сказаниям, были существами с телом лошади и головою человека. В действительности же их история такова. Когда Иксион царствовал в Фессалии, на горе Пелионе одичало стадо быков. Быки сходили в обитаемые места, портили деревья и посеvy, губя при этом вьючный скот. Иксион объявил, что тому, кто уничтожит быков, он даст очень много денег. Некоторые молодые люди из деревни, лежавшей у подножия горы и называвшейся «Туча», стали тренировать лошадей для верховой езды (прежде не умели ездить верхом и пользовались колесницами). Они сели на лошадей и поехали туда, где были быки, напали на стадо и стали бросать в него копыя. Когда быки гнались за ними, юноши благополучно ускользали, потому что лошади двигались быстрее быков, а когда быки останавливались, они оборачивались и бросали в них копыя. Таким способом они перебили быков. Отсюда они и получили название кентавров⁹. И действительно, в кентаврах нет ничего бычьего; на самом деле у них вид лошади и человека. Получив от Иксиона деньги и гордясь своим подвигом и богатством, кентавры стали наглы и надменны, делали много зла, даже самому Иксиону, который жил в городе, называемом теперь Лариссою; лапифы, жители тех мест, пригласили кентавров на пир. Напившись допьяна, кентавры схватили их жен, посадили на лошадей и увезли к себе. Они стали воевать с лапифами. Спускаясь ночью с гор в равнины, кентавры устраивали засады, а днем с награбленной добычей возвращались в горы. Когда они таким образом уходили, виднелись только крупы лошадей и головы людей. При виде такого необыкновенного зрелища говорили: «Кентавры, сбегая из «Тучи», делают много зла». Так был выдуман невероятный миф, будто из тучи на горе родилась лошадь-человек.

Язык сочинения Палефата очень прост, но сух и однообразен.

Сочинение Палефата дошло до нас в неполном и искаженном виде. Это видно по тому, что некоторых цитат, приводимых позднейшими авторами, в нашем тексте не имеется; кроме того, во многих рукописях есть подзаголовки «Из сочинения Палефата», а это показывает, что текст представляет собой извлечение. О наличии в нем искажений можно судить на основании того, что одни рукописи передают текст более полный, другие менее полный, а также на основании различий в порядке глав, слов и т. д.

Большое количество рукописей, содержащих сочинение Палефата, и частое использование их позднейшими писателями показывают, что оно было любимым чтением во времена поздней античности.

Мифографией занимался также ученик Аристарха и одновременно стоического философа Диогена Селевкийского Аполлодор Афинский. Помимо своих исторических и лексикографических сочинений и комментариев

⁹ Автор производит слово кентаυρος от глагола κεντέω (колю) и ταύρος (бык).

к каталогу кораблей в «Илиаде», он написал не дошедший до нас трактат «О богах» в 24 книгах. Дошедшая же до нас под именем Аполлодора мифологическая «Библиотека» не принадлежит ему и является произведением значительно более позднего времени, может быть, относится даже к византийской эпохе.

В дальнейшем составлялись сборники главным образом двух типов: о звездных мифах («Катастеризмы» Псевдо-Эратосфена, «Феномены» Арата), о превращениях (Никандр Колофонский и Антонин Киберал). Теогоническими вопросами в духе орфического учения занимался во II в. н. э. Афинагор. Наконец, к последним векам античности относятся Иоанн Педасим («Двенадцать подвигов Геракла») и Гераклит (сборник 39 мифологических рассказов).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышедшая из устного народного творчества греческая литература на всем протяжении своего развития была отражением общественной жизни — сначала только народа, говорившего по-гречески (населения собственно Греции и Малой Азии), а затем и других народов Средиземноморья.

Литература на древнегреческом языке существовала не одно столетие. За это время на территории Греции произошел переход от первобытно-общинного строя к рабовладельческому и на смену античному рабству успели прийти новые общественные отношения. Естественно, что все эти общественно-исторические сдвиги нашли отражение в древнегреческой литературе, вызывая к жизни не только новое содержание литературных произведений, но и новые художественные формы. Так, на заре греческой литературы (VII—VI вв. до н. э.) хоровая лирика служила идеологической пропаганде аристократии, цеплявшейся за обломки старого уклада. Ярчайшим отражением разных этапов истории афинской рабовладельческой демократии было творчество великих греческих драматургов. Мифологические сюжеты не мешали им откликаться в своих трагедиях на современную действительность. Да и самый жанр драмы, действия, рассчитанный на широкую аудиторию и предполагающий тесный контакт с ней автора, мог получить полное развитие именно в условиях демократических Афин. В эпоху Александра Македонского, когда замерла общественная жизнь Афин, оказавшихся под македонской гегемонией, на смену политически острой, публицистической древней комедии приходит комедия бытовая, построенная в основном на любовной интриге.

Таким образом, рассматривая историю греческой литературы в свете ленинской теории отражения, мы можем на ряде фактов проследить связь идейного содержания произведений и их литературной формы с социальной историей античности.

Греческая литература всегда была в значительной мере связана со своими истоками — народным творчеством. Однако древнегреческая литература, как всякая литература классового общества, не была литературой «единого потока». Подобно тому, как в греческой философии существовало два направления: передовое, материалистическое, и реакционное, идеалистическое, — в греческой литературе во все периоды ее развития были писатели различных общественных направлений. Были писатели передовые, выступавшие против пережитков старины, против религиозных предрассудков, отстаивавшие в своем творчестве человеческое достоинство. Но были и такие авторы, которые выражали настроения враждебной народу аристократии, или подчеркивали ничтожество людей в сравнении с богами, или преследовали чисто развлекательные цели.

Представление о различных идейных установках писателей одной и той же эпохи дает сопоставление творчества таких, например, древних поэтов,

как воинствующий враг «черни» аристократ Феогнид и Солон, который «открыл ряд так называемых политических революций... с вторжением в отношения собственности»¹.

Греческая литература — древнейшая литература Европы. На образцах ее мы можем проследить процесс зарождения всех более поздних литературных форм. Поэтому изучение греческой литературы особенно плодотворно для историка любой литературы. Оно дает возможность на конкретном материале уяснить такие общетеоретические вопросы, как связь возникновения литературы с устным творчеством народа, отражение в литературе борьбы классов, обусловленность появления жанров новыми историческими условиями.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 93.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ*

(к I—III томам)

- Абер Г. I 189
Август I 24, 366; II 289; III 8, 99, 153, 156, 167, 169, 184, 195—197, 199, 200, 203, 257, 312, 336, 392
Августин II 153; III 386
— «О граде божьем» III 386
Аверкиев Д. В. I 357
Аверроэс III 403
Авиан I 66; III 314
Авиен III 95
Авреллан III 384
Аврелий Марк II 217; III 138, 140, 141, 165, 190, 194, 198, 201, 202, 215, 216, 220, 231, 235, 316, 318, 320, 363, 368, 369, 370, 377, 392
— «К самому себе» III 369
Аврелий Опилий II 36
— «Музы» II 36
Авсоний I 43; III 335
— «Мозелла» III 335
Автодор I 44
Автолид Эгинский I 269
Автомедонт III 131
Агафарх I 346, 347
Агафархид II 138
Агафемеор II 14
Агафий III, 132, 133
— «На изображение архангела Михаила» III 132
— «Посвящение Афродите» III 132
Агафока II 135, 137, 138
Агафон I 49, 179, 252, 260, 423, 424, 457, 467; II 113, 193, 196, 229
— «Цветок» I 424
Агесилай I 301; II 9, 101, 103, 109, 114, 122, 132
Адриан III 78, 167, 174, 194, 203, 209, 215, 312
Айзенштадт И. М. I 9
Аксонию I 45, 419
— «Эврипидолоб» I 419
Акусилаи I 177; II 7, 13, 14, 16—18, 27, 301
— «Генеалогии» II 17
Акций I 74, 340, 366, 375; III 100
Александр Афродисийский III 357
Александр Македонский I 23, 24, 47; 111, 143, 266, 301, 344, 399, 475; II 67, 135, 141, 199, 277, 278, 280—282, 285, 286, 292—295; III 7—11, 13, 20, 69, 126, 156, 158, 175, 193, 203, 232, 238, 246, 247, 251, 253, 272, 286, 312, 329, 349, 372, 398, 402
— «Дневник» («Эфемериды Александра») III 193
Александр Миндский III 284
Александр (географ) III 284
Александр (из Котмея) III 216
Александр Полигистор III 176, 282
Александр Север III 199, 201, 274, 277
Александр Этолийский I 378; III 398
Алексеев В. А. III 241
Алексид I 45, 66, 475; III 19, 283
Алкамен I 345, 433
Алкей I 38, 48, 169, 189, 204, 214, 217, 223, 230—233, 235, 238, 239, 244; II 30; III 22, 399, 400
— «Песни борьбы» I 231, 232
Алкей Мессенский III 127
Алкивиад I 378, 407, 437—439; II 83, 86, 92, 97, 130, 137, 176, 181, 182, 193, 241; III 307
Алкидам II 172, 174
Алкидамант II 232, 263
— «О софистах» II 263
Алкиноя III 76
Алкифрон I 299, 305; III 20, 240, 242, 279, 280
Алкман I 38, 49, 189, 223, 228—330, 234; II 10; III 399
«Алкмеонида» I 177
Аллеман Г. I 267
Аллен Т. В. I 74
Алфей III 130
Альберти Л.-Б. I 349
Альбин III 379

* В указатель помещены имена древних авторов и крупнейших общественных деятелей античности, а также фамилии исследователей нового времени и тех писателей, композиторов, художников, в творчестве которых использованы античные сюжеты. Названия произведений следуют под именем автора и располагаются в алфавитном порядке. Названия анонимных произведений включены в общий алфавитный список. Полужирным шрифтом отмечены страницы, специально посвященные указанному писателю или произведению. Составили Т. И. Кузнецова, Т. А. Миллер, Т. В. Попова.

- «Введение в философию Платона» III 379
 — «Введение в чтение Платона» III 379
 Альд Мануций I 52, 134, 267
 Альфьери В. I 376
 «Амазония» I 75
 Амелий III 381, 385
 Аминий II 161
 Аминта второй II 199
 Амио Ж. III 268, 271
 Аммей III 157, 160
 Аммиан Марцеллин III 138
 Аммоний I 50, 112; III 173, 178, 400
 — «О том, что не было нескольких изданий диалогосы Аристаха» I 112
 Аммоний Саккас III 374, 379
 Аморгская надпись I 302
 Амфид I 45
 Анакреонт I 38, 48, 189, 214, 223, 244—248, 250; III 120, 308, 399, 400
 Анаксагор I 44, 59, 181, 344, 347, 348, 350, 377, 378, 403, 404; II 165, 166, 171, 172, 227; III 353
 — «О природе» II 165
 Александрид I 475
 Анаксарх III 372
 Анаксилай III 283
 Анаксимандр I 209; II 12, 14, 16, 151—153
 — «О природе» II 151
 Анаксимен I 209; II 12, 16, 151, 152, 153
 Анаксимен Лампсакский II 209, 285; III 403
 — «Риторика» II, 209
 Ананий I 222
 Анахарсис II 58
 Андокид II 221, 234, 239, 240—241, 247
 — «О мире» II 241
 — «О мистериях» II 240, 241
 — «О своем возвращении» II 241
 — «Против Алкивиада» II 241
 Андреев П. I 247
 Андромах II 135
 Андроник Родосский II 200; III 356, 357
 Андротюн I 284; II 70, 144, 268, 283
 Анита III 128
 Анненков П. В. I 149
 Анненский И. Ф. I 390, 400
 Антигон Гонат II 144; III 76, 93
 Антигон Каристийский I 49; III 352
 Антил II 70, 74
 Антиммах Колофонский I 45, 59, 111, 130, 179; II 131; III 56, 75—78, 124, 403
 — «Дельта» III 78
 — «Лида» I 179; III 56, 76—78, 124
 — «О вооруженной Афродите» III 78
 — «Фиваида» I 179; III 77
 Антиох Аскалонский III 354, 355, 378, 379
 Антиох Сиракузский II 59, 84, 135; III 171
 — «Сицилийская история» II 84, 135
 Антиох I Сирийский III, 93, 98
 Антиох Эпифан III 282
 Антипатр II 282, 296; III 273
 Антипатр Сидонский III 128
 Антипатр Фессалоникский III 130, 131
 Антипатр Целий III 171
 — «Анналы» III 171
 Антисфен II 179; III 228, 230, 351, 390
 Антифан I 45, 49, 290, 475; III 131, 283
 Антифонт I 349; II 74, 75, 89, 106, 173, 174, 221, 229, 234—240, 248, 254, 255, 286; III 397
 — «Об истине» II 174
 — «О единомыслии» II 174
 — «О толковании сновидений» II 174
 — «О перевороте» II 234
 Антоний III 281
 Антонин (либерал) III 405
 Антонин Пий III 190, 203, 369
 Анциат Валерий III 156, 167
 Апеллес III 127, 163
 Аполлинарий Лаодиксийский III 387
 Аполлодор Афинский I 50, 192, 228, 259; II 20, 28, 71, 160, 162, 163; III 352, 403, 404
 — «Комментарий к каталогу кораблей в Илиаде» III 405
 — «О богах» III 405
 — «Хроника» II 20, 28; III 352
 Аполлодор (псевдо) I 153, 154, 311, 315
 — «Библиотека» I 153, 311; III 323, 405
 Аполлодор Каристийский III 19
 Аполлодор (эпикурец) III 353, 362
 Аполлоний Дискал III 401
 — «О наречии» III 401
 — «О союзах» III 401
 — «Синтаксис» III 401
 Аполлоний Родосский I 36, 50, 59, 67, 133, 177, 244, 380, 401, 420; II 22, 138; III 14, 44, 46, 48, 49, 71, 75—77, 78—90, 101, 108, 112, 284, 325, 341, 346, 347, 399, 402
 — «Аргонавтика» I 401; III 14, 47, 49, 80, 87, 90, 325
 — «Каноб» III 80
 — «Об Архилохе» III 80
 — «Против Зенодота» III 80
 Аполлоний Софист I 66
 Аполлоний Тианский III 210, 211, 270, 271, 274—276, 378, 384
 Аппиан I 52; III 137, 145, 187, 194—198, 200
 — «Гражданские войны» III 194, 196, 197
 — «Римская история» III 194, 195
 Аппион III 284
 Апулей III 137, 236, 247, 265, 271, 377, 379
 — «Метаморфозы» III 236, 379
 — «О божестве Сократа» III 379
 — «О мире» III 379
 — «О Платоне и его ученике» III 379
 Арар I 440
 Арат I 47, 49, 50, 168; III 75, 93—95, 176, 405
 — «Астрология» («Звездные явления») III 94
 — «Канон» III 93
 — «Предзнаменования» III 94
 — «Феномены» III 93, 405
 «Арахномахия» («Война пауков») I 75
 Аргиропуло I 133
 «Аргонавтика» (поздняя греч. поэма) III 76, 346, 348

- Аренс Г. А. I 33, 37
 Арефа III 240
 Арий Дидим III 353, 368
 — «Эпитама» III, 353
 Арион I 38, 249, 250—251, 279, 287, 288
 Ариосто А. I 114, 141, 229
 Арист III 192
 Аристарх Самосский III 351, 402
 Аристарх Самофракийский I 43, 47, 50, 90, 111, 112, 117, 233, 266, 426; II 108; III 351, 400, 401, 404
 — «К Коману» I 112
 — «К Филету» I 112
 — «Об „Иллиаде“ и „Одиссее“» I 112
 — «О корабельном каталоге» I 112
 — «Против неправдоподобного положения Кеснона» I 112
 Аристей I 177
 Аристенет III 61, 240
 Аристид I 200, 202; II 66, 224, 227; III 286
 Аристид Милетский III 242, 247, 248
 — «Милетские рассказы» III 242, 247, 248
 Аристид Элий II, 83; III 209, 215, 216, 217, 270, 306, 385
 — «О единомыслии» III 217
 — «О четырех» II, 83
 — «Священные речи» III 270
 Аристипп II 32, 106, 179; III 236, 361, 362
 Аристобул I 54; III 192, 193
 Аристодама III 76
 Аристомем III 169
 Аристокл III 216, 353, 357
 — «О философии» III 353
 Аристоксен Тарентский I 224, 225, 238, 242; II 158; III 176, 282, 351, 356
 — «Об элементах гармонии» I 224; III 356
 — «Пифагорейские мнения» III 351
 — «Пифагорейский образ жизни» III 351
 — «Элементы ритмики» I 224
 Аристон Хиосский III 95, 366, 402
 Аристоник I 112; II 276, 282
 — «О критических значках Аристарха» I 112
 Аристоним I 439
 Аристотель I 42, 44, 45—47, 51, 53, 54, 73, 86, 110, 111, 140, 143, 144, 153, 164, 181, 185, 193, 198—200, 202, 207, 210, 212, 217, 222, 224, 239, 243, 255, 256, 274, 283, 286—288, 290, 294, 295, 297, 299—301, 305, 306, 318, 319, 323, 342, 343, 346, 347, 350, 351, 357, 360, 368, 369, 371, 373, 378, 380, 382, 397, 399, 404, 406, 411, 414—416, 423—428, 431, 436, 463, 467; II 32, 34, 47, 57, 60, 66, 71, 97, 137, 143, 150, 151, 154, 157, 158, 163, 164, 166—168, 172, 174, 176, 179, 180, 184, 188, 199—218, 228—230, 247, 249, 256, 296; III 14, 18, 162, 163, 204, 208, 232, 284, 285, 302, 304, 307, 316, 349—352, 355—357, 373, 377, 379—381, 383, 385, 386, 389, 394—397, 399, 403
 — «Аналитика II» III 302, 357
 — «Афинская политика» I 351; II 71, 97, 199, 202—205, 249
 — «Городские и линейские дионисийские победы» I 425
 — «Дидакалии» I 425; II 129, 202, 203
 — «Категории» II 204; III 385, 389, 397
 — «Метафизика» I 255; II 167, 203, 204, 211; III 352, 395
 — «Никомахова этика» I 181; II 211
 — «О возникновении животных» II 66
 — «О душе» II 151; III 357, 397
 — «О космосе» III 357
 — «О небе» II 156; III 357, 396, 397
 — «О поэтах» II 200, 202
 — «О происхождении и уничтожении» II 167
 — «О риторике» («Гриал») II 200, 202
 — «Политика» I 164, 193, 305; II 97, 174, 199, 204—207, 212
 — «Поэтика» I 47, 53, 73, 86, 140, 153, 185, 212, 286, 294, 380, 414, 424, 425, 428, 431, 436, 463, 467; II 60, 66, 163, 164, 199, 202, 208—217
 — «Риторика» I 47; II 34, 47, 174, 199, 208—210, 217, 226, 229, 230, 247; III 162, 169
 — «Спорные поэтические вопросы» I 47
 — «Физика» II 163, 166; III 352, 357, 396, 397
 — «Этика» II 204, 206, 208
 Аристофан I 26, 31, 38, 39, 43, 45, 46, 51, 54, 63—66, 161, 207, 214, 233—239, 242, 246, 256, 266, 274, 278, 279, 284, 285, 290, 291, 293, 295—297, 299, 301, 304—306, 309, 312, 313, 319, 322—324, 328, 338—340, 350, 354, 382, 395, 397, 401—404, 406, 413, 414, 418, 419, 423—427, 433, 434, 436, 437, 439, 440—476; II 20, 65, 66, 72, 86, 89, 152, 176, 182, 193, 198, 226, 253, 264; III 17, 18, 35, 37, 48, 83, 124, 176, 225, 227, 400, 402
 — «Амфиарай» I 285
 — «Ахарняне» I 39, 246, 284, 285, 295, 427, 440—442, 445, 454, 471, 472, 474, 475; II 226
 — «Богатство» («Плутос») I 293, 440, 464, 467, 469, 471, 472, 474, 475; II 36, 253; III 18, 227
 — «Вавилоняне» I 440—442, 448
 — «Всадники» I 285, 299, 304, 433, 437, 438, 440, 442, 444, 445, 451, 472; II 226
 — «Геритад» — I 424
 — «Женщины в народном собрании» («Экклезиазусы») I 305, 440, 464, 466, 467, 469, 473, 475; II 253, III 18
 — «Лисистрата» I 38, 440, 454—456, 464, 473; II 86; III 124
 — «Лягушки» I 45, 285, 309, 312, 354, 402, 403, 418, 423, 433, 440, 452, 457, 460, 463, 464, 471, 474; II 20, 89
 — «Мир» I 63, 285, 440, 447, 449, 456, 471, 472, 473; III 83
 — «Облака» I 45, 63, 285, 438, 440, 442, 445—447, 457, 470—472, 474; II, 152, 176

- «Осы» I 66, 233, 285, 295, 440, 447, 451, 474; II 65; III 35
 — «Пирующие» I 440, 441, 445, 470
 — «Птицы» I 233, 285, 296, 440, 451, 452, 471, 472; II 65; III 124
 — «Фесмофориазусы» («Женщины на празднике Фесмофорий») I 297, 403, 404, 418, 423, 440, 457
 — «Фникийянки» I 395
 Аристофан Византийский I 47, 50, 111, 112, 233, 253, 266, 389, 395, 414, 426; II 182; III 19, 95, 399, 400
 — «Сопоставления Менандра с теми, у кого он крал» III 400
 — «О лицах» III 400
 Аркесилай I 47; III 95, 353, 354, 371, 402
 Арктин Милетский I 153, 156, 157; III 324
 — «Гибель Илона» I 157
 — «Эфиопида» I 156, 157
 Арриан I 51; III 145, 187, 189—193, 198, 200, 363, 368
 — «История после Александра» III 194
 — «Об охоте» III 190
 — «Описание Индии» III 190, 191, 193
 — «Главание вокруг Понта Эвксинского» III 190, 191
 — «План наступления (римского войска) против аланов» III 190
 — «Поход Александра» («Анабасис») III 190—192
 — «Рассуждения Эпиктета» III 190
 — «Руководство Эпиктета» III 190, 368
 — «Тактика» III 190
 Артаксеркс I II 18, 94
 Артаксеркс II II 101, 303; III 251
 Артаксеркс III II 268
 Артаксеркс Мнемон II 127, 128
 Артаферн II 14, 40
 Артемидор (географ) III 171
 Артемидор (грамматик) III 105
 Артемисия I 181; II 30, 46, 64, 269
 Архелай III 12, 215
 Архилох I 37, 45, 47, 48, 64—66, 75, 166, 181, 212, 213—218, 219—222, 225—227, 234, 242, 244, 250, 254, 279, 288, 354, 434; II 10, 30; III 400
 — «Лисица и орел» I 216
 — «Обезьяна» I 216
 Архимед III 351, 402
 — «Гидростатика» III 402
 — «Леммы» III 402
 — «Об измерении окружности» III 402
 — «Об исчислении песчинок» III 402
 — «Основания статики» III 402
 — «О шарах и цилиндрах» III 402
 Архипп I 475; III 280
 — «Рыбы» III 280
 Архит III 76
 Аршакид III 261
 Асий Самосский I 75, 176, 211
 Асиний Полаион III 160, 171, 196
 Асинская надпись I 19, 21
 Асклепиад Арейский I 49
 Асклепиад Самосский III 44, 56, 78, 124, 126
 Асклепиад Трагильский III 403
 Аспасий III 277
 Астей I 296
 Атанид II 134
 Атилий I 375
 Аттал III 368
 Аттал II Филадельф III 399
 Аттиды II 143, 144
 Ауриспа I 51
 Афанасий Александрийский III 290, 291
 Афенид I 221
 Афинагор I 220; II 97; III 251, 405
 Афиней I 42—46, 48, 49, 53, 65, 156, 176, 196, 207, 210, 212, 216, 220, 222, 223, 226, 229, 233, 234, 239, 242, 245, 255, 256, 259, 273, 278, 283, 287, 305, 310, 323, 339, 354, 368, 378, 415, 422—424, 430, 437, 439; II 22, 102, 104, 130, 137, 138, 164, 202, 301—303, 305; III 80, 96, 104, 168, 208, 242, 280—283, 284
 — «Пир мудрецов» («Дейнософисты») II 130; III 280, 282
 Ахеменид III 261
 Ахилл Татий III 93, 242, 243, 255, 256, 260, 261, 263—265, 266, 267
 — «О сфере» III 265
 — «Об этимологии» III 265
 — «Повесть о Левкиппе и Клитофонте» III 264, 265
 — «Смешанная история» III 265
 Аэтий II 151, 152, 157, 167, 168; III 186, 353, 361
 — «Свод положений» III 353
 Бабрий I 66, 168; III 310, 313—316
 — «Лев, лисица и лань» III 314
 — «Стрекоза и муравей» III 314
 Бальбин III 201
 Баженов А. I 247, 248
 Байрон Д. Г. I 340
 Бакхилид I 38, 188, 189, 252, 263, 269—272, 274, 287, 363, 413
 — «Антенориды» I 269
 — «Минос и Тезей» I 77
 — «Юноши или Тезей» I 269, 272, 274, 287, 413
 «Батрахомомахия» («Война мышей и лягушек») I 50, 73, 144, 145, 182; III 279
 Баратынский Е. А. III 121, 122
 Батюшков К. Н. I 146, 247; II 33; III 126
 Бауэр А. II 43
 Бек А. I 266, 386, 407
 Бек К. I 33
 Беккер И. I 97
 Белинский В. Г. I 150, 325
 Белох Ю. I 16, 203
 Беляев Д. Ф. I 54, 405, 409, 410
 Бентаи Р. I 53, 54
 Берар В. I 124, 125
 Берг Н. I 247
 Бергк Т. I 101, 195, 211, 219, 228, 272
 Береника III 263
 Беренс Э. I 123, 124
 Бернайк Як. I 208; II 215, 216
 Бернгарди Г. I 54, 219
 Бете Э. I 54, 70, 77, 89, 101, 126, 127, 130, 279, 280, 287, 295, 299, 373

- Бехтель Ф. I 33, 124
 Бибер М. I 302, 303
 Бион I 38, III 102, 104, 105, 112, 115, 116
 — «На смерть Адониса» III 116
 — «Плач об Адонисе» III 116
 Бион (ритор) II 36
 — «Музы» II 36
 Бион Борисфенский (киник) III 185, 370, 371
 Битобе П.-И. I 147
 Блаватский В. Д. I 19
 Бласс Ф. I 156, 269
 Блок А. А. I 240
 Блоссий III 137
 Блауменау Л. В. III 134
 Бовра М. I 234
 Богданович И. Ф. I 146, 247
 Бодэн Л. I 417
 Бокаччо Д. I 133
 Болтунова А. И. III 172
 «Большой Этимологик» I 246, 287
 Бониц Г. I 119
 Бонций II 157
 Бронтин I 179
 Броун Э. I 360
 Брунк Р. Ф. I 218
 Брут II 98, 225; III 160
 Брюсов В. Я. I 240
 Буало Д. Н. I 114, 135, 136, 267; II 214; III 169
 Буассонад Ж. Ф. III 314
 Бупал I 221
 Бурман Старший I 54
 Буркхардт Я. I 289, 360, 373, 387, 415
 Буслаев П. I 145
 Бухгольц Г. I 330
 Бюде Г. I 53
 Бюхер К. I 62

 Вагнер Р. I 340
 Валент III 301, 303
 Валентиниан I III 301, 303
 Валентиниан III III 387
 Валерий Герпократион III 401
 — «Словарь к десяти ораторам» III 401
 Валерий Максим I 300, 302, 378
 Валерий Флакк III 76, 90, 348
 — «Аргонавтика» III 90
 Валла Л. I 52
 Валькенар К. I 54, 140
 Ван Льевен К. I 36
 Варрон I 48, 379; III 370, 377, 399, 401
 Варрон Атацинский I 133; III 90, 95
 Василий Неокесарийский III 146, 290, 291, 297
 Вебстер Т. I 363, 364
 Вейль А. I 54, 192, 193, 392
 Велькер Ф. I 54, 119, 153, 218, 234, 261, 401
 Вeneвитинов Д. В. I 340
 Венкстерн А. А. I 341
 Вер А. III 369
 Вер Л. III 194, 202, 215, 261
 Вересаев В. В. I 152, 163, 248
 Вергилий I 67, 97, 101, 114, 127, 132, 133, 136—140, 145, 146, 148, 157, 168, 229, 239, 287, 375, 421; III 89, 93, 95, 99, 105, 157, 323, 324, 335
 — «Георгики» III 93
 — «Энеида» I 101, 133, 136, 148, 157, 357, 421; III 89, 157, 323, 344
 Верроль А. I 54, 192
 Веселовский А. Н. I 280, 305
 Веспасиан III 188, 210, 211, 220
 Вестерман А. I 74
 Вестфаль Р. I 261
 Веттори П. I 53
 «Ветхий завет» III 368, 391
 «Взятие Сицилии» I 75
 Визелер Ф. I 293
 Вико Д. I 115, 116, 134, 148
 Виланд К. М. I 54
 Вилламовиц-Меллендорф У. I 16, 20, 43, 54, 69, 70, 89, 91, 102, 122—125, 273, 288, 294, 319, 328, 329, 339, 355, 382, 417
 Виллауазон Ж. Б. I 112, 113
 Вилькен У. III 249, 254, 255
 Вильмен А. Ф. III 314
 Винкельман И. И. I 15, 54, 118, 136, 140
 Виноградов И. I 247
 Винтер Ф. I 92
 Вителли Д. III 57
 Витрувий I 291, 292, 295, 297, 299, 300, 346, 347, 366
 — «Об архитектуре» I 291
 Витторино Ф. I 52
 Владимирцев Б. Я. I 129
 Вовилье Ж. I 268
 Водовозов В. И. I 247, 268
 Вологес III 261
 Вольтер Ф. М. I 7, 135, 267, 340, 375, 376; III 219
 Вольф Ф. I 43, 54, 76, 96, 110, 115—118, 136, 141, 148, 149
 Вольяно А. III 265
 Вуд В. I 94, 116, 117, 148, 288
 Выспянский С. I 420

 Гагий Трезенский I 156, 157
 Газа Ф. I 52
 Гален III 159, 281, 379, 386, 401, 403
 Галлер А. I 140
 Гарнак А. I 208
 Гарпал II 281, 293, 296
 Гарпократион I 75; II 57
 Гаупт М. I 118; II 215
 Гварино А. I 51, 52
 Гегель Г.-В.-Ф. I 15, 16, 328, 361; II 160, 162, 203, 204
 Гегемон Фасосский I 222
 Гегесианакт III 403
 Гегесий III 143
 Гегесипп I 177; II 274; III 123
 — «Атфида» I 177
 Гедике Ф. I 261
 Гедил III 124, 126
 — «Приношение Киприде» III 126
 — «Эпитафия флейтист Феон» III 126
 Геннэий Д. I 54
 Геннэий Н. I 54
 Гейне Х.-Г. I 54, 115, 261
 Гекатей I 31, 46; II 7, 13—16, 23—25, 30, 37, 52, 57, 62, 140, 301; III 154, 398

- «Генеалогии» II 14
 — «Египетская история» III 154
 — «Землеописание» II, 14
 Гелиогабал (Элагабал) III 199, 268, 278, 283, 384
 Гелиодор III 242, 248, 256, 260, 261, 265, 268—271
 — «Эфиопика» III 248, 268—270, 323
 Гелланик I 44, 46, 74, 177, 226; II 7, 11, 12, 13, 16, 19, 20—22, 58, 75, 144, 202, 303; III 62, 163, 171
 — «Атлантида» II 20
 — «Аттида» II, 12, 20, 22
 — «Жрицы Геры» («Жрицы в Аргосе») II 22
 — «История Девкалиона» II 20
 — «История Персии» II 20
 — «История Фородея» II 20
 — «История Эолии» II 20
 — «Карнейские победы» II 22
 — «Троянские события» II 20
 Геллий Ава II 44, 52, 74, 246, 291, 363, 378, 379, 397, 414; II 20, 28, 36, 57, 129, 289; III 210, 215
 — «Аттические ночи» I 52; II 36
 Гельбиг В. I 18
 Гельдерлин Ф. I 328
 Гемстергузий Т. I 54
 Гениох I 293
 «Гераклея» I 176, 177
 Гераклид Критский III 204
 — «О городах Элады» III 204
 Гераклид Понтийский I 47, 48, 74, 201, 223—225, 228; III 78, 178, 181, 353, 354, 403
 — «Гомеровские вопросы» III 354
 — «Об Архилохе и Гомере» I 48; III 353
 — «О времени Гомера и Гесиода» III 353
 — «О грамматике» III 354
 — «О некоторых особенностях Эврипида и Софокла» III 353
 — «О поэзии и поэтах» III 354
 Гераклид (из Теоса) I 274
 Гераклит (стоик I в. до н. э.) III 368, 405
 — «Гомеровские аллегории» III 368
 Гераклит Эфесский I 44, 48, 209, 217, 331, 332; II 12, 147—148, 154—157, 160, 162—164, 173, 184; III 14, 208, 350, 351, 354, 357, 363, 364, 366
 — «Логос» II 154
 — «Музы» II 154
 — «О природе» II 148, 154
 «Гераномакия» («Война журавлей») I 75
 Гердер И. Г. I 54, 94, 96, 115, 117, 118, 141, 268, 340
 Гермагор III 218, 375
 Германик III 95
 Германи Г. I 54, 119, 261, 319, 400
 Гермесианакт I 196; III 77
 — «Леонтион» III 77
 Гермий II 199
 Гермипп Смирнский I 50, 222, 437; II 70, 86, 256, 257; III 352
 Гермоген I 242, 251; II 16, 26, 109, 110, 238; III 141, 209, 217, 218, 219, 306
 — «О типах речи» III 218
 — «Руководство» III 217
 Гермократ III 251
 Герод (Геронд) I 432; II 237—239; III 42—44, 48, 49, 63, 143
 — «Башмачник» III 43
 — «Жертвоприношение Асклепию» III 42
 — «Подруги» III 43
 — «Порнобоск» («Сводник») III 42
 — «Ревнивица» III 42
 — «Сваха или сводня» III 42
 — «Сон» III 43
 — «Учитель» III 42
 Герод Аттик III 209, 214—216, 218, 219, 277, 346
 Геродиан I 112; III 187, 200—202, 282
 — «История царствования после Марка» III 201, 202
 Геродор Гераклеяский III 403
 Геродот I 26, 31, 34, 39, 44, 52, 66, 73—75, 78, 109—111, 113, 155, 156, 161, 177—179, 193, 250, 252, 256, 266, 279, 281, 285, 308, 335, 348, 351, 356, 360, 363, 387, 391, 395; II 9, 11—16, 18—20, 23, 27, 28—68, 69, 71, 73—75, 83, 84, 86, 89, 90, 98, 127—129, 135, 138, 139, 142, 148, 150, 151, 171, 211, 256; III 62, 118, 149, 160, 162, 163, 171, 176, 193, 214, 217, 223, 247, 249, 251, 263, 282, 284, 360, 400, 403
 — «Жизнь Гомера» II 35, 67
 — «История» II 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41—44, 46, 54, 56, 57, 59—62, 64—69, 73, 74, 89, 142
 Герон Александрийский III 402, 403
 Герофил III 398, 403
 Герцберг Г. Ф. I 16
 Герье С. В. II 216
 «Гесериада» I 105, 129, 130
 Гесиод I 13, 23, 32, 33, 36, 37, 43—45, 47—52, 64, 66, 67, 74, 84, 89, 127, 144, 147, 164—175, 176—180, 190—209, 216, 219, 220, 222, 242, 246, 264, 283, 314, 325, 394; II 10, 11, 16—18, 26, 27, 30, 47, 75, 150, 160, 222, 223; III 62, 67, 75, 80, 82, 93—95, 100, 171, 176, 179, 186, 305, 316, 322, 356, 372, 393, 396, 399, 400
 — «Труды и дни» I 13, 37, 64, 67, 165—171, 174, 175, 219, 222; II 150, 222; III 93, 356, 396
 — «Феогония» I 13, 170, 171—174, 178, 179, 219; II 17, 18, 150, 222; III 62, 67, 82
 Приписываемые сочинения:
 — «Великие труды» I 175
 — «Героогония» I 174
 — «Каталог женщин» I 175; II 18
 — «На гадателя Мелампа» I 170
 — «Наставления Хирона Ахиллесу» I 171; III 399
 — «О женщинах, или Великие Эои» I 170, 174, 177; II 18
 — «О схождении в Аид Тесея с Перифоем» I 171
 — «Щит Геракла» I 174, 175; III 80, 399
 Гесихий I 50, 192, 196, 228, 237, 239, 240, 244, 246

- Гессий Флор см. Флор Гессий
 Гета III 273
 Гете И. В. I 118, 141, 142, 173, 229, 268, 340, 353, 360, 365, 368, 402, 403, 421; III 268, 293
 Гефестион I 195; III 401
 — «О метрах» III 401
 Гиббон Э. I 7; III 169
 Гигин I 285
 Гиерокл III 276, 368
 — «Правдолюбивое слово» III 276
 Гиерокл Александрийский III 398
 — «О промысле, судьбе и о согласовании с ними божественного руководства» III 398
 Гиерон Младший III 104
 Гиерон Сиракузский I 312; III 282, 283
 Гиерон Этнейский I 262, 263, 269—271; II 105, 121, 123, 136, 228
 Гимерей II 282
 Гимерий I 23, 65, 255; III 290, 291, 300, 306—309
 «Гимн к Аполлону Делосскому» I 161
 «Гимн к Афродите» I 163
 «Гимн к Деметре» I 160
 «Гимн к Дионису» I 163
 «Гимн к Гермесу» I 162, 222
 Гипатия III 397
 Гиперид II 223, 234, 248, 250, 261, 272, 276, 277, 279, 281, 282, 285, 293, 294, 296, 297; III 12, 158—160, 165, 306
 — «Делосская речь» II 293
 — «За Ликофрона» II 294
 — «За Эвксениппа» II 294
 — «Против Афиногена» II 294
 — «Против Демосфена» II 294
 — «Против Филиппида» II 294
 — «Эпитафий» II 294
 Гиппарх I 43, 96, 178, 244, 251, 252, 256; II 47, 86, 181; III 95, 351
 Гипсий I 45, 46, 244, 351; II 40, 45, 46, 59, 86, 173, 174, 182, 192, 194, 198, 227, 228; III 403
 Гипподам I 344, 351, 447
 Гипподром III 278
 Гиппократ I 39, 348, 349; II 196; III 397
 Гиппон II 152
 Гиппонакт I 38, 197, 212, 220—222; III 43, 63
 Главк III 403
 Главк Регийский I 224, 225
 Главкон I 46; II 106, 195
 Гнедич Н. И. I 146—148, 150—152, 247; III 108
 Гоббс Т. II 99
 Говальд Е. I 328
 Гоголь Н. В. I 148—150
 Голенищев-Кутузов П. I 268
 Головин О. I 248
 Голосовкер М. Э. I 9
 Гольберг А. III 40
 Гольдони К. III 40
 Гомер I 14, 18, 31, 37, 42—48, 50, 52, 55, 62—64, 67—70, 73—107, 109—120, 122—133, 156, 158, 159, 168, 170, 173, 178—182, 186, 190, 195, 209, 210, 216, 220, 222, 241, 246, 264, 267, 271, 286, 305, 310, 336, 348, 354, 356, 363, 368, 370, 375, 394, 400, 412, 416, 421; II 8, 10, 11, 30, 35, 37, 42, 47, 51, 60, 67, 75, 106, 131, 137, 138, 150, 160, 163, 164, 195, 198, 212, 213, 217, 221—223, 227, 295; III 15, 50, 56, 75, 78, 80, 84, 87, 89, 91, 100, 117, 118, 122, 171, 176, 186, 212, 214, 217, 224, 227, 236, 238, 254, 270, 302, 305, 316, 321, 323—327, 329, 339, 344, 346—356, 372, 375, 386, 389, 399, 400, 402
 — «Илиада» I 14, 19, 20, 23, 34, 37, 42, 44, 45, 48—50, 55, 57, 62, 63, 66, 67, 73, 75—79, 81—84, 85, 88—90, 92—95, 98, 99, 101—103, 105—108, 111—116, 118—128, 130, 132—134, 136, 138, 143—157, 166, 172, 174, 178, 181, 182, 186, 239, 281, 282, 289, 305, 310, 319, 331, 363, 395, 397, 400; II 8, 11, 150, 212, 221, 222; III 87, 91, 118, 130, 269, 329, 344, 356, 386, 405
 — «Одиссея» I 14, 23, 37, 42, 45, 49, 55, 60, 62, 66, 67, 73, 75, 77—79, 84—89, 92, 93, 95, 97, 99, 102, 106—108, 111, 112, 116—120, 124—126, 128, 130, 132, 133, 136, 140, 142, 144—154, 156—159, 166, 172—174, 178, 180, 181, 192, 313, 316, 326, 356, 362, 365; II 8, 11, 51, 194, 221, 301
 III 88, 91, 118, 255, 269, 339, 356, 386
 «Гомеровские гимны» I 73, 77
 «Гомеровские эпиграммы» I 73
 — «Дар Аполлону» III 118
 — «На гробницу Мидаса» III 118
 Гомперц Т. I 349; III 57
 Гонгори А. I 268
 Горам О. I 208
 Гораций I 127, 132, 137, 168, 195, 197, 202, 207, 214, 217, 218, 232, 233, 239, 242, 247, 256, 263, 264, 267, 271, 280, 285, 287, 300, 301, 303, 373, 375, 408; III 18, 76, 77, 137, 157, 225
 — «Памятник» I 207
 «Послания» III, 76
 — «Повтика» I 195, 373; III 77, 157
 — «Эподы» I 242
 Горгий I 45, 244, 305, 340, 349, 399; II 75, 172—174, 179, 184, 229, 230, 232, 234, 240, 249, 254, 255, 263; III 181, 185, 268, 276, 372
 — «Апология Паламеда» («Паламед») II 173, 229
 — «Елена» («Похвала Елене») II 173, 229
 — «Олимпийская речь» II 230
 — «О природе или о не-сущем» I 349
 Гордиан III III 201, 276, 381
 Горнунг Б. В. I 8, 9
 Гортенсий III 160
 Горький А. М. I 20, 58—60, 152, 325, 340; II 215
 Гостий I 133
 Готтшед И. X. I 140
 Гофман М. I 240
 Гофманн О. I 33

- Грабарь-Пассек М. Е. I 268
 Гракх Гай III 137, 177
 Гракх Тиберий III 177
 Гракхи III 151, 177, 185, 195, 196
 Грановский Т. Н. II 99
 Грасгоф К. I 151
 Гренди Г. Б. 71
 Гренфелль Б. III 41
 Грибоедов (Назианзский) III 40
 Григорий Назианзин (Назианзский) III 146, 290, 291, 297, 312
 Грильпарцер Ф. I 369, 407, 420
 Гринберг Э. Г. I 9
 Гроновий И. Ф. I 54
 Грот Дж. I 16, 118, 120, 152
 Гроций Г. I 54; III 133
 Группе О. I 58, 128
 Грушка А. А. II 215
 Гуттен У. I 139; III 240
 Гюго В. I 150, 268
 «Давид Сасунский» I 105, 129
 Дамаский III 396, 397
 — «Апории и их разрешение в учении о первых принципах» III 396
 Дамаскин Николай II 19
 Дамаст Сигейский I 46; II 13
 Дамид III 274, 275
 «Данаиды» I 159
 Даниил III 387
 Дарет I 143
 Дашков Д. В. III 130, 133
 «Девгениево деяние» I 105
 Денюх Прокопесский II 13
 Дейбнер А. I 287
 Дейнократ III 398
 Дексилп III 389
 Де Лапорт М. I 29
 Делаль Ж. I 136
 Деллий III 171
 Дельвиг А. А. I 145, 148
 Дельфийская надпись I 302
 Демаре Ж. I 135
 Деметрий из Магнесии III 352
 — «О поэтах и прозаиках, носящих одинаковые имена» III 352
 Деметрий Полиоркет II 296; III 280
 Деметрий из Скепсиса I 50, 113
 — «Размещение троянцев» I 113
 Деметрий Фалерский I 47—49, 209, 366; II 72, 261, 266, 267, 282, 296, 297; III 20, 142, 313, 355, 356, 398, 401
 — «Архонты» II 72
 — «О сновидениях» III 356
 — «О стиле» III 356
 — «Ритмика» I 49
 Демокл Фигелейский II 13
 Демокрит I 44, 45, 48, 58, 347; II 147, 148, 166—171, 173, 177, 186; III 281, 284, 350, 354, 356—358, 360, 361, 363, 365
 — «Каноны» II 168
 — «О красоте слов» I 44
 Демомел II 279
 Демон II 267
 Демосфон I 52, 202, 284, 291, 300—302, 306, 443, 471; II 76, 97, 98, 144, 223, 231, 232, 234, 239, 247—249, 252, 255, 257—260, 261—289, 290, 292—297; III 9, 12, 15, 20, 142, 143, 158, 159, 161, 165, 169, 171, 218, 305, 306, 393
 — «В ответ на письмо Филиппа» II 270, 285
 — «За мегалополитян» II 268, 271, 286
 — «За родосцев» II 286
 — «К Гераклеодору» II 286
 — «К Совету и народу афинскому» II 286
 — «К фиванцам» II 286
 — «О венке» I 301; II 272, 279—281, 285—287, 292; III 169
 — «О венке за триерархию» II 268
 — «О Галоннесе» II 270, 274, 285
 — «О договоре с Александром» II 285
 — «О единомыслии» II 286
 — «Олифские речи» II 270, 272
 — «Олифская речь первая» II 272, 286
 — «Олифская речь вторая» II 272
 — «Олифская речь третья» II 272
 — «О мире» II 268, 270, 273
 — «О недобросовестном посольстве» II 274
 — «О положении дел на Херсонессе» II 270, 275
 — «О поношении со стороны Ферамена» II 286
 — «О посольстве» II 290
 — «О распорядке» II 285
 — «О свободе родосцев» II 268, 271
 — «О своем возвращении» II 286
 — «О симмориях» II 267, 268, 286
 — «О сыновьях Ликурга, взятых под стражу» II 286
 — «Письмо Филиппу» II 270, 285
 — «Против Андроциона» II 268, 283
 — «Против Апатурия» II 285
 — «Против Аристогитона» II 285
 — «Против Аристократа» II 268
 — «Против Беота относительно присвоения имени» II 274
 — «Против Дионисодора» II 267, 285
 — «Против Зенофемиды» II 267, 285
 — «Против Калликла о поместье» II 268
 — «Против Каллиппа о деньгах» II 285
 — «Против Конона» II 261, 274
 — «Против Лакрита» II 285
 — «Против Леохара» II 285
 — «Против Лептина» II 268, 271
 — «Против лжесвидательства Эверга и Мнесибула» II 285
 — «Против Макартата» II 285
 — «Против Мантифея о материнском приданом» II 285
 — «Против Мидия» II 272
 — «Против Навсимаха и Ксенопифа» II 274
 — «Против Неэры» II 285
 — «Против Никострата» II 285
 — «Против Олимпиодора» II 285
 — «Против Пантенета» II 274
 — «Против Поликла» II 268, 285
 — «Против Сосикла» II 286 «Против Пифона» II 286
 — «Против Спудия о приданом» II 268
 — «Против Стефана» II 285

- «Против Тимофея» II 285
 — «Против Фениппа» II 285
 — «Против Феокрина» II 285
 — «Против Формиона» II 285
 — «Против Эмбулида» II 274
 — «Сборник вступлений к речам» II 285
 — «Филиппики» («Против Филиппа») II 269, 270
 — — «Филиппика первая» II 270—272, 286
 — — «Филиппика вторая» II 270, 274
 — — «Филиппика третья» II 270, 275
 — — «Филиппика четвертая» II 270, 285
 — «Херсонесская речь» III 20
 — «Эротик» II 285
 — «Эпитафий» II 285
 Демосфен из Вифинии III 76
 Демофил II 139
 Дени Ж.-Ф. I 426
 Деревницкий А. Н. I 43, 54
 Державин Г. Р. I 146, 247, 268
 Деркилид II 182
 Дерпфельд В. I 294
 Джамбул Д. I 104
 Жебб Р. К. I 54, 301
 Диакон Иоанн I 251, 287
 Дидим I 112, 266, 267, 340, 426; II 70, 72, 144, 285; III 282, 400, 401
 — «О диортозе Аристарха» I 112
 Дидим Арий см. Арий Дидим
 Дидро Д. I 136, 300
 Динла II 33, 139
 Дикеарх II 47, 48, 424; II 158, 164; III 204, 356, 402, 403
 — «Жизнеописания философов» I 48
 — «Жизнь Греции» I 48; III 356
 — «О Гомере» I 48; III 356
 — «О душе» III 356
 — «О мусических состязаниях» I 47
 — «О поэте Аакее» III 356
 — «Объяснения сюжетов у Софокла и Эврипида» I 48; III 356
 — «Полития» III 356
 — «Триполитик» III 356
 Дикоген I 424
 Диктис I 143
 Диаль Э. I 211
 Диальс Х. III 186, 353
 Диальтей К. I 381
 Димитрий Ростовский I 144
 Динарх II 101, 137, 234, 261, 296; III 162
 — «Против Аристогитона» II 296
 — «Против Демосфена» II 296
 — «Против Филокла» II 296
 Диоген из Аполлонии II 152
 — «О природе» II 152
 Диоген Вавилонский III 367
 Диоген Лаэртский I 43, 48, 49, 51, 109, 178, 180, 198, 202, 209, 210, 300, 356; II 10, 16, 36, 82, 89, 104, 151, 152, 154, 157, 160—162, 165, 167, 168, 180, 181, 199, 200, 202; III 64, 187, 208, 230, 313, 352, 366, 367
 — «Жизнеописания философов» II 101; III 208, 352
 Диоген Синопский II 179; III 211, 212, 232, 233, 237, 354, 371, 390
 Диоген Селевкийский III 403
 Диоген из Эноанд III 361, 362
 Диодор I 52, 195, 202, 210, 256, 285, 318, 355, 424; II 12, 24, 36, 66, 67, 72, 78, 79, 102, 103, 127, 128, 132, 135, 137—139, 283; III 147, 153—156, 193, 235, 243, 247, 249, 373
 — «Историческая библиотека» II 139; III 153, 155, 156
 Дион Кассий II 134, 180, 181; III 137, 145, 187, 189, 198—200, 201, 202
 — «Биография Арриана» III 199
 — «История Коммода» III 199
 — «О снах и предзнаменованиях» III 198
 — «Римская история» III 199
 Дион Христом I 44, 63, 65, 181, 195, 246, 340; II 32, 120; III 198, 209, 210—214, 216, 276
 — «Вифинские речи» III 213
 — «О законе и обычае» III 212
 — «О судьбе» III 212
 — «О царской власти» I 63; III 213
 — «О чтении» III 214
 — «Олимпийская речь» III 213
 — «Похвала кудрям» III 212
 — «Похвала попугаю» III 212
 — «Против Мусония Руфа» III 212
 — «Приднепровская (Борисфенская) речь» III 214
 — «Против философов» III 212
 — «Троянская речь» III 212
 — «Эвбейская речь» III 213, 214
 Дионис (писатель) III 328
 Дионисий Галикарнасский I 46, 51, 127, 233, 235, 237, 239, 241, 256, 266, 404, 416; II 12, 13, 19, 20, 22, 26, 29, 42, 60, 61, 63, 67, 70, 74, 75, 77, 78, 84, 87, 93, 97—99, 101, 102, 129, 130, 134, 135, 137, 138, 246—249, 254, 256—258, 260, 263, 268, 272, 275, 285—289, 294; III 62, 143, 145, 147, 156—167, 168, 184, 200, 355, 367, 401
 — «Древняя история Рима» II 19, 20, 22; III 156, 157, 166, 167
 — «О выборе слов» III 165
 — «О Динархе» III 158, 162
 — «О древних ораторах» III 157, 158, 160, 161, 165
 — «О Лисии» II 241, 247
 — «О подражании» I 416; III 158, 160, 162
 — «О политической философии» III 165
 — «О расположении слов» III 157, 158, 162, 164, 165
 — «О фигурах» III 157, 165
 — «О Фикудиде» II 12, 13, 26, 29, 62, 63, 67, 77, 84, 97, 98, 129; III 157, 158, 162, 164, 165
 — «Об удивительной силе красноречия Демосфена» II 286—289; III 157—159, 161, 162
 — «Письмо к Аммею» (первое) III 158, 162
 — «Письмо к Аммею» (второе) III 158, 162, 164
 — «Письмо к Помпею» II 60, 75; III 158, 160—162, 168

- «Против Педизя» III 162
 — «Риторика» III 157, 165, 166
 — «Суждение об Исее» II 257, 289; III 159
 Дионисий Милетский III 209
 Дионисий Младший II 134, 181
 Дионисий Скитобрахмон III 243, 247, 403
 — «Кожаная рука» III 247
 Дионисий Старший II 180, 181
 Дионисий Фракийский I 50, 281, 287, 428; III 400
 Диопиф I 433
 Диоскорид I 237, 285, 287
 Диссен Г. А. I 261
 Дитерих Ф. Э. X. I 54, 288
 Дифил I 177, 222, 234, 417; III 17, 19, 39, 279, 283
 — «Санфо» III 19
 — «Тезеида» I 177
 Диэвхид I 110
 Дмитриев И. Н. I 247, 268
 Домициан III 140, 175, 188, 190, 211, 368
 Досиад III 100, 102
 — «Алтарь» III 100, 102
 Досифей III 403
 Достоевский Ф. М. I 150
 Драйден Дж. I 137, 138, 268, 375
 Драконт II 8, 9
 Драконт Лампсакский I 287
 «Древние мнения» III 353
 Дреруп Э. I 103, 126, 129—131
 Дриопа I 163
 Дурид II 138
 Дюба I 135
 Дюбнер Ф. III 133
 Дюканж Ш. I 53
 Дюма А. I 375
- Евгеон Самосский II 13
 Евдокс см. Эвдокс
 Эвдем см. Эвдем
 Евнапий III 301, 306, 381, 386, 388, 390
 — «Жизнеописания софистов» («О жизни софистов») III 301, 306, 381, 388, 390
 Еврипид см. Эврипид
 Евсевий Кесарийский I 154, 156, 157, 176, 192, 202, 207, 228, 231, 233, 250; II 23, 32, 67, 74; III 387
 — «Хроника» II 32, 74
 Евсевий из Минда III 390
 Евсевия III 392
 Евстафий I 43, 46, 47, 50, 74, 141, 192, 239; III 390
 — «Извлечения, касающиеся „Илиады“» I 113
 Евстратий I 181
 Евтекний III 316
 Евфрасий III 390
 Ернштедт В. К. III 25, 34
 Ефрат Тирский III 211
- «Жалоба девушки» III 41
 Жебелев С. А. II 99, 207
 Жен Я. I 136
 «Жизнеописание Фукидида» II 70
 «Жизнеописание Эзопа» I 66
 Жиральд Ж. (Гиральдус) I 53
- Жирар П. Ф. I 399
 Жуковский В. А. I 137, 149—152, 244; II 68
- Забелин И. Е. II 58
 Залевк II 9
 Зевксид III 163
 Зеек О. I 97
 Зелинский Ф. Ф. I 25, 120
 Зенгебуш М. I 74, 109, 119
 Зенодот I 50, 111, 112, 266; III 398, 399
 Зенон I 47; II 160, 162, 179; III 163, 354, 362, 363, 365, 366
 — «Изъяснение учений Эмпедокла» II 162
 — «О государстве» III 366
 — «О должном» III 366
 — «О желании, или О природе человека» III 366
 — «О жизни согласно природе» III 366
 — «О анаках» III 366
 — «О природе» II 162
 — «О способах выражения» III 366
 — «О страстях» III 366
 — «Против философов» II 162
 — «Споры» II 162
 Зенофемид III 403
 Зильбург Ф. I 208
 Зитцлер И. I 203
 Зоил I 110
 Зольмсен Ф. I 36
 Зоммер Н. И. I 29
 Зонара Иоанн III 199
 Зопир Гераклеийский I 110, 179; II 66, 72
- Иванов Вяч. В. I 120, 268, 341
 Ивик I 38, 189, 223, 243, 244, 250
 Идей II 152
 Иенсен X. III 40
 «Изгнание Амфиарая» I 75
 Измайлов А. Е. I 66
 Иктин I 344, 345
 «Илионские таблицы» I 154
 Иоанн Диакон см. Диакон Иоанн
 Иоанн Зонара см. Зонара Иоанн
 Иоанн Ксифилин III 199
 Иоанн Ласкарис III 133
 Иоанн Малала I 143
 Иоанн Педиасим см. Педиасим Иоанн
 Иоанн Филопон см. Филопон Иоанн
 Иоанн Христом III 290, 291, 297
 Иовианн III 301, 302
 Ион Хиосский I 158, 354, 422, 423; II 127, 130, 305
 — «Агамемнон» I 422
 — «Алкмена» I 422
 — «Воспоминания» II 130
 — «Омфала» I 422
 — «Эврипиды» I 158
 Иофонт I 354, 377, 423
 — «Ахиллес» I 423
 — «Вакханки» I 423
 — «Взятие Илиона» I 423
 — «Пенфей» I 423
 — «Телеф» I 423
 Исей II 221, 234, 248, 256—260, 261, 263, 297; III 161, 209

- «О наследстве Аполлодора» II 256
 — «О наследстве Дикеогена» II 256
 Исидор III 396
 Исократ I 39, 49, 75, 210, 290, 406; II 23, 97, 135, 138—140, 142, 143, 173, 182, 205, 221, 228, 229, 234, 247, 249—256, 257—259, 261, 263, 266, 286, 287, 293—297; III 9, 12, 15, 143, 159, 161, 217, 276
 — «Ареопагитик» II 253
 — «Архидам» II 253
 — «В защиту Эвфина» II 249
 — «О мире» II 253
 — «Об обмене состоянием» II 250, 254
 — «Олинфская речь» II 254
 — «Панафинейская речь» II 254
 — «Панегирик» II 252—254
 — «Против софистов» II 254
 — «Симмахик» II 252
 — «Филипп» II 252, 253
 Истомин К. К. I 240
 «История Аполлония, царя Тирского» III 259, 260
 «Исход» I 208
 Ифит II 9
- Кадм из Милета II 7, 13, 23
 — «Об основании Милета и всей Ионии» II 13
 Казобон И. I 53; III 169
 Кайбель Г. I 360, 392, 431
 Кайкал III 96
 «Калевала» I 106, 130
 Калигула III 392
 Калидий III 160
 Каллик I 172, 174, 268
 Каллимах I 47, 49, 50, 59, 66, 159, 163, 179, 197, 217, 226; III 42, 44, 46, 47, 49, 50, 53—74, 77, 78, 82, 89, 95, 106, 128, 335, 351, 352, 399, 402, 403
 — «Айтии» («Причины») III 53, 60—64, 66, 74, 82, 335
 — «Аконтий и Кидиппа» III 64
 — «Аркадия» III 66
 — «Гекала» III 50, 53, 57—60, 64, 65
 — «Гимн к Аполлону» III 53, 65, 67, 70, 72
 — «Гимн к Артемиде» III 53, 65, 71, 72
 — «Гимн к Деметре» III 47, 53, 65, 72, 74
 — «Гимн к Зевсу» III 53, 54, 64, 65, 67
 — «Гимн на купанье Паллады» III 53, 65, 74
 — «Гимн на остров Делос» III 53, 65, 67, 69
 — «Диегезы» III 57, 58
 — «Кубок Бафикла» III 53, 63
 — «Спор Лавра с Маслиной» III 53, 63
 — «Таблицы» III 54, 399, 402
 — «Ямбы» III 63, 64
 Каллимах Младший III 76
 — «Об островах» III 76
 Каллин I 37, 73, 154, 190, 191, 192, 195, 196
 — «Наксосская история» I 192
 Каллистрат I 301, 419, 447, 451, 454; II 263; III 278
- Каллисфен (псевдо) III 246
 — «Роман об Александре» III 192, 243, 246, 251, 253
 Каллиэрг Э. I 51
 Кальв III 160
 Кальдерон П. I 340, 375; III 39
 Кальпурний Писон III 130
 Камбиз I 255; II 38, 42, 63, 64, 114
 Камерарий И. I 53, 139
 Кандид III 294
 Канон александрийских ученых I 189
 Кант И. I 350
 Кантемир А. Д. I 145, 247
 Капела Марциан I 50
 Капнист В. В. I 146
 Каракалла III 199, 201, 273, 278
 Карамзин Н. М. I 146
 Каркин Младший I 177, 356, 424
 — «Алопа» I 424
 — «Аякс» I 424
 — «Медя» I 424
 — «Семела» I 424
 — «Тиро» I 424
 — «Фиест» I 424
 — «Эдип» I 424
 Карнеад III 276, 353, 354, 367, 371
 Кассандр II 296
 Кастельветро Л. I 53
 Катон Младший I 218
 Катон Порций III 156, 167, 367
 Катон Старший I 50; II 98; III 156
 Катоны III 185
 Катулл I 59, 64, 133, 217, 235, 239, 253; III 54, 89
 — «Свадьба Пелея и Фетиды» III 89
 Кауэр П. I 43, 126, 130
 Квеведо Ф. III 240
 Квинт Смиронский I 23, 36; III 98, 303, 310, 312, 322—327, 341, 343—345
 — «Послегомеровские события» III 310, 323
 Квинтилиан I, 45, 218, 241, 253, 260, 265, 267, 300, 345, 413, 416; II 60, 135, 200, 225, 267, 287; III 78, 95, 96, 160, 165, 222
 — «Об образовании оратора» I 413; II 60, 200
 Квинтилиан Аристид I 224, 225
 — «О музыке» I 225
 Кекилий Калактинский II 234, 237
 Кенион Г. I 268
 «Керамид» I 75
 Керкид III 370
 «Керкопия» I 182
 Керкопс Милетский I 44; 177, 179
 Керте А. I 303, 426
 Кефала Константин III 133
 Кефалион II 67
 — «Музы» II 67
 Кефисодор I 272
 Кехли Н. I 119; III 323
 Кимон I 45, 290, 346, 355; II 73, 88, 132; III 307
 Кинейтон I 356
 Кинесий I 454
 Кинесфон I 154, 176
 Киносагор II 179

- «Киприи» I 42, 73, 154, 155; III 340
 Киреевский И. В. I 151
 Кирилл Александрийский I 206, 207;
 III 391
 — «Против Юлиана» III 391
 Кирн I 203—207
 Кирхгоф А. I 33, 120, 125, 126, 170; II 43
 Кирхер А. 266
 Клавдий III 199, 200, 392
 Клеанф I 159; III 320, 363, 366, 367, 373,
 402
 Клеарх I 45; II 121
 Клеобул II 151
 Клеобулин I 211
 Клеомен II 55
 Клеопатра I 301; III 281
 Клеофонт I 439, 471
 Кландем II 144
 Климент Александрийский I 45, 49, 179,
 210; II 18, 157; III 348
 — «Стромата» II 18
 Климент Смолятич I 143
 Клитомах III 353, 354
 — «Об учениях философов» III 353
 Клон I 223, 226—228, 230
 Клопшток Ф. Г. I 140
 Клотц Р. I 141
 Кодр I 32
 Колот III 371
 Коллуф III 310, 312, 337—341, 342, 345
 — «О калидонской охоте» III 337
 — «Похищение Елены» III 310, 337, 341
 Колумна Гвидо де I 144
 Коммод III 198, 199, 201, 318
 Конон III 54, 351, 402
 Конон Самосский III 402
 — «Астрономия» III 402
 Константин I III 139, 312, 387, 389, 390,
 392
 Константин Багрянородный III 199, 283,
 403
 — «Энциклопедия» III 199
 Константин Кефала см. Кефала Константин
 Констанций III 292, 301, 303, 390, 392, 393
 Копиевич И. Ф. I 145
 Корах II 228—230, 235
 Коринна I 38, 249, 257—258, 260, 313
 — «Дочь Асопа» I 258
 Корнелий Галл III 99
 Корнелий Сисенна III 248
 Корнель П. I 374, 420; II 214
 Корнеманн Э. I 70
 Корнут I 47; III 368
 Корнфорд Ф. М. I 426, 427
 Костров Е. И. I 146, 147
 Крантор III 354
 — «О печали» III 354
 Красс III 248
 Кратет I 62, 425, 436, 437
 — «Звери» I 436
 — «Соседи» I 436
 Кратет (киник) III 232, 363, 371, 399—
 401
 Кратет Малосский I 50, 112, 400
 Кратет Фиванский III 124
 Кратил II 157, 170, 187
 Кратин I 62, 425, 433—437; II 226
 — «Архилохи» I 434
 — «Богатство» I 62, 434
 — «Бутылка» I 434, 437
 — «Дионисоалександр» I 434, 435
 — «Одиссеи» I 435
 — «Фракиянки» I 434
 — «Хироны» I 434
 Кратипп II 70, 83, 93, 97, 127, 129, 130,
 132, 134, 141
 Крейцер Ф. II 12
 Креонт I 254
 Креофил I 76, 109, 158, 179, 182; III 56
 — «Взятие Эхалии» I 76, 158, 179, 182;
 III 56
 Крестовский В. В. I 240, 247
 Кречмер П. I 15, 17, 29, 33, 43
 Кринагор III 130
 Крист В. I 120, 125, 126, 128
 Критий I 46, 351, 423; II 172—174, 229,
 247, 249; III 216, 217—219
 — «Сисиф» I 423
 Критий (поэт) I 211, 245
 Критолай III 354, 367
 Круазе М. I 54, 125, 126, 261; II 10
 Крупенина Е. К. I 9
 Крылов И. А. I 66, 149; III 314
 Крюгер К. В. II 71
 Ксантип II 132
 Ксанф Лидийский II 7, 13, 19; III 63
 — «Лидийская история» II 19
 Ксанф (поэт) I 316
 Ксенарх III 169
 Ксенодам Киферский I 227
 Ксенокла I 221, 356, 386, 397
 — «Атамант» I 397
 — «Вакханки» I 397
 — «Ликаон» I 397
 — «Эдип» I 397
 Ксенокрит Локрский I 227; III 178
 Ксеномед Хиосский II 13; III 62
 Ксенофан I 36, 39, 44, 48, 49, 74, 180, 181,
 190, 209, 210, 222, 331, 332; II 10,
 16, 160, 162, 163, 165, 171; III 372
 — «О природе» I 180, 209; II 160
 Ксенофонт I 39, 45, 294, 300, 345, 347,
 349, 350, 351, 354; II 8, 16, 32, 57, 63,
 71, 78, 82—84, 89, 93, 97, 101—126,
 127, 128, 132, 134, 135, 138, 141,
 163, 174—177, 182, 200, 226, 249,
 303; III 9, 15, 93, 156, 160, 162, 182,
 190, 192, 193, 203, 214, 217, 235, 239,
 243, 246, 251, 282, 284, 293, 317,
 356
 — «Агесилай» II 104, 108, 122
 — «Анабасис» II 63, 102—104, 119—121,
 126, 303; III 192, 203
 — «Апология Сократа» II 104, 109—111,
 176
 — «Воспитание Кира» см. «Киропедия»
 — «Воспоминания о Сократе» («Мемора-
 билии») I 45; II 32, 71, 104—112, 122,
 163, 174, 176, 226, 264
 — «Герон» II 105, 121, 122
 — «Государство лакедемонян» II 104,
 122—124
 — «Домострой» II 104, 108, 112, 113,
 115, 124

- «История Греции» II 78, 83, 97, 101, 102, 104, 108, 119—122, 249; III 156
 — «Киропедия» I 294; II 101, 103, 104, 108, 113—116, 118—124, 126; III 243, 245, 251
 — «О верховой езде» II 105, 124
 — «О доходах» II 104, 105, 124
 — «О начальнике конницы» II 105, 124
 — «О псовой охоте» II 103, 105, 125; III 317
 — «Пир» II 8, 106, 113, 118
 — «Сократические сочинения» II 104, 108
 Ксенофонт (псевдо) I 39, 351, 471
 — «Афинская политика» I 39, 351, 471; II 89, 105, 124
 Ксенофонт Антиохийский III 251
 — «Вавилонские рассказы» III 251
 Ксенофонт Младший (прозвище Арриана) III 190
 Ксенофонт Эфесский III 242, 243, 257—259, 260, 261, 264
 — «О городе Эфесе» III 257
 — «Эфесская повесть о Габрокоме и Анти» III 257, 259
 Ксеркс III 153
 Ктесибий III 403
 Ктесий (историк) I 39, 50; II 11, 57, 66, 127—129, 138, 303—305; III 171, 193, 235, 249
 — «История Персии» («Персика») II 57, 127—129, 303; III 235
 — «Описание Индии» («Индика») II 127—129, 304; III 235
 Ктесифонт I 301; II 277—280, 289, 290
 Куа А. I 54, 426
 Кульман Е. Б. I 247
 Куньи А. III 133
 Курциус Э. I 16, 292
 Куторга М. С. I 119
 Кюхельбекер В. К. I 148
- Ла-Брюйер Ж. III 18, 355
 Лаг Э. III 192, 398
 Лагарп I 136, 267, 376
 Лакид III 354
 Лактанций III 354
 Ламбин I 53
 Лампридий I 267
 Ламот I 267
 Ларонг Э. I 119
 Лас Гермюнский I 44, 48, 178, 225, 249, 251, 252, 260
 Ласисматы I 251
 Ласкарис Константин I 52
 Латышев В. В. I 248, 290; II 75; III 130, 172, 337
 Лауэр Ю. I 119
 Лафай Ш. I 420
 Лафарг П. I 340
 Лафонтен Ж. I 66; III 314
 Лахмани К. К. I 96, 106, 118, 119, 123
 Леандрый Милетский III 64
 Леб Дж. III 133
 Левкадий I 177
 Левкипп II 147, 166, 167, 171
 — «Великое устройство» II 167
 — «Об уме» II 167
- Левкон I 439
 Лейбниц I 140
 Лексифан I 229
 Лемер П. А. I 135
 Ленг Э. I 59
 Ленин В. И. I 60, 180, 209, 348, 350; II 148, 154, 160, 162, 184, 203, 204
 Ленрот Е. I 106
 Лео Фр. I 412, 413, 419
 Леон Л. П. I 268
 Леонид Александрийский III 130
 Леонид Византийский III 284
 — «О рыбах» III 284
 Леонид Тарентский III 44, 95, 121, 126—127
 Леонтьев П. М. I 120, 152
 Леопарди Дж. I 340
 Леосфен II 281, 293, 294
 Лермонтов М. Ю. I 229, 247
 Лерс К. I 43, 119, 126
 Лесбонакт III 279
 Лессинг Г. Э. I 54, 66, 140, 299, 376; II 215; III 40
 Лефевр А. I 210; III 22, 23, 33, 39
 Ли С. I 375
 Либаний I 23, 43, 110; II 262, 285; III 146, 290, 291—301, 304, 305, 307, 308, 392, 394, 395
 — «Автобиография» («Жизнь, или О своей судьбе») III 291—294, 297, 299, 300
 — «Апология Сократа» III 295
 — «В защиту Ореста» III 295
 — «В защиту храмов» III 298
 — «Защита от обвинений в дурном воспитании юношей» III 294
 — «К Анакситу» III 294
 — «На храм Аполлона» III 295
 — «О бедности» III 298
 — «О договорах с учениками» III 299
 — «О болтливой жене» III 296
 — «О жадности» III 298
 — «О женщине, убившей тиранна» III 296
 — «О ковре» III 294
 — «О несправедливом богатстве» III 298
 — «О Никомедии» III 295
 — «Об отце-детоубийце» III 296
 — «О пирах» III 294
 — «О рабстве» III 298
 — «О риториках» III 294
 — «О скупости» III 298
 — «О слепом сыне» III 296
 — «О столкновениях между бедными и богатыми» III 298
 — «О тех, кто не желает говорить» III 294, 299
 — «О том, что он не болтает» III 300
 — «О Юлиане-самодержце» III 293
 — «Похвала Констанцию и Константу» III 294
 — «Приветствие Юлиану» III 293
 — «Против тех, кто называет его невыносимым» III 300
 — «Речи Менелая и Одиссея о выдаче Елены» III 295

- «Речь Кимона» III 295
 — «Спор Неокла и Фемистокла о Саламине» III 295
 Либон III 196
 Ливий I 127; III 148, 157, 166, 167, 195, 196, 200
 — «История» III 157, 167
 Ливий Андроник I 182
 Ливий Марк I 302
 Лигдамид (тиранн) II 29, 30
 Ликид III 356
 Ликий I 439
 Ликон I 301
 Ликон Кеосский I 269
 Ликофрон I 50, 221, 356, 419, 426; II 138, 294, 302; III 44, 50, 75, 93, 96—98, 100, 398, 403
 — «Александра» II 138; III 50, 96, 98
 — «О комедии» III 96
 Ликург (спартанский законодатель) I 43, 96, 109, 114, 397; II 9, 38
 Ликург (афинский оратор) I 46, 110, 192, 194, 195, 354; II 234, 250, 261, 272, 277, 294
 — «Против Леократа» II 295
 Ликург (немейский царь) I 188, 401, 402
 Липсий Ю. I 54, 284
 Лисий I 51; II 112, 182, 221, 224, 228, 232, 234, 239, 240, 243—248, 254—261, 263, 294, 296; III 15, 159—161, 217
 — «Речь за Мантифея» II 247
 — «Речь о любви» II 246
 — «Речь об убийстве Эрастофена» II 247
 — «Речь против Панклеона» II 247
 — «Речь против Эрастофена» II 245, 246
 — «Эпитафий» II 246
 Лисий (музыкант) I 225
 Лисипп III 13, 124
 Лист Ф. I 340
 Лициний Марк III 156, 167
 Лобек Х. А. I 43
 Локк Дж. II 149
 Ломоносов М. В. I 145, 247, 268; III 240
 Лоллиан III 209
 Лонг I 234; III 242—244, 260, 261, 265, 266—268
 — «Дафнис и Хлоя» III 249, 266—268, 287
 Лонгин I 116, 236, 266, 271; II 137; III 403
 — «Филологические беседы» III 403
 Лонгин (псевдо) I 236, 239, 242; II 16, 20, 60—62, 137, 301; III 147, 168, 169, 401
 — «О возвышенном» I 266, 375, 418; II 60, 61, 294; III 168, 401
 Лопе де Вега III 39
 Лотар I 28
 Лудвиг А. I 43
 Лукиан I 54, 59, 220—246, 299, 303, 419; II 32, 36, 43, 57, 66, 67, 72, 74, 84, 97, 102, 104, 129; III 145, 189, 219—228, 230—241, 256, 257, 271, 277, 279, 370, 392
 — «Александр, или Лжепророк» III 220, 221, 234
 — «В оправдание ошибки, допущенной в приветствии» III 238
 — «Гармонид» III 223
 — «Гермотим» III 230, 231
 — «Геродот, или Аэгий» II 32, 43; III 223
 — «Дважды обвиненный» III 220, 221, 224, 225
 — «Дионис» III 220
 — «Жажда» III 238
 — «Зевксид» III 224
 — «Зевс трагический» III 234, 238
 — «Зевс уличаемый» III 232
 — «Икароменипп» III 231
 — «Как следует писать историю» II 67, 84; III 235—237
 — «Киник» III 231
 — «Кончина Перегринна» III 233, 234
 — «Лексифан, или Краснобай» III 228
 — «Лишенный наследства» III 222
 — «Лукий, или Осел» III 236, 240
 — «Менипп» III 230
 — «Морские разговоры» III 225, 227
 — «Нигрин» III 228
 — «Об астрологии» II 67
 — «О доме» III 224
 — «О пляске» I 299
 — «О сирийской богине» II 67
 — «О философах, состоящих на жаловании» III 237
 — «О янтаре, или О лебедях» III 223
 — «Оправдательное письмо» III 221, 237
 — «Остров злых» II 57
 — «Паразит» III 237
 — «Переправа, или Тиранн» III 232, 234
 — «Плутои, или Против Мениппа» III 232
 — «Похвала мухе» III 144, 223, 224
 — «Правдивая история» II 129; III 235, 236, 238, 271
 — «Про Геракла» III 220—222, 238
 — «Про Диониса» III 238
 — «Продажа жизни» III 233
 — «Прометей, или Кавказ» III 223, 225—227
 — «Против неученого» II 97
 — «Разговоры» I 59; III 226
 — «Разговоры богов» III 225—227
 — «Разговоры гетер» III 225—227
 — «Разговоры в царстве мертвых» III 232, 233, 240
 — «Рыбак, или Восставшие из гробов» III 233
 — «Скиф, или Друг на чужбине» III 223
 — «Сновидение, или Жизнь Луккиана» III 220
 — «Сновидение, или Петух» III 234, 235
 — «Совет богов» III 392
 — «Суд гласных» III 223, 224
 — «Тимон, или Мизантроп» III 227
 — «Тиранноубийца» III 222
 — «Учитель красноречия» III 228, 238

- «Человеку, назвавшему автора Прометеем красноречия» III 232
Лукиан (псевдо) II 23; III 219, 239, 240, 264
— «Быстроног» III 222, 238
— «Гальциона, или О превращении» III 239
— «Две любви» III 239, 264
— «Долговечные» III 240
— «Киниск» III 239
— «Об астрологии» III 239
— «О паразите, или О том, что паразитизм — искусство» III 240
— «О сирийской богине» III 240
— «Похвала Демосфену» III 239
— «Трагоподагра» III 222, 238
— «Харидем, или О красоте» III 239
Лукилл III 121, 131
Лукреций I 58, 133, 181, 239, 394; II 94, 164, 170; III 137, 358, 360—362
— «О природе вещей» I 58, 239; II 94, 164, 170; III 358, 361, 362
Лукулл III 200
Лурье С. Я. II 8
Луцилий I 218
Львов Н. М. I 247, 268
Людвиг О. I 361
Людерс О. I 302
Лютер М. III 360
- Магаффи Дж. I 54, 101, 372, 392; III 256
Магнет I 433
Мадвиг И. Н. I 43
Маджи А. II 215
Майков А. Н. I 341
Майков Н. А. I 268
Макарий Магнет III 387
— «Апокритик» III 387
Макарий (митрополит) I 144
Македоний III 132
Маковельский II 160
Маколей II 99
Макрин III 199, 201
Макробий I 210; II.20, 202, 301; III 283, 384
Максим III 201, 301, 329
Максим Грек I 144
Максим Эгийский III 274
Максим Эфесский III 297, 390, 393
Максимин III 201
Макферсон Дж. I 115, 117
«Малая Илиада» I 73, 157, 176, 365
Малерб Ф. I 267, 268
Манефон II 57; III 154, 284
— «История Египта» III 154
«Маргит» I 73, 181
Мариан III 90
Марий III 151, 185, 374
Марин III 396
— «Жизнеописание Прокла» III 396
Марикас I 438
Мариэтт I 228
Марк Аврелий см. Аврелий Марк
Маркеллин II 70—77, 78, 82—86, 90, 93
— «О жизни Фукидида и о свойствах его речи» II 70
Маркс К. I 6, 7, 16, 19, 56, 59, 67, 129, 325, 330, 340, 362; II 99, 167, 186, 203, 207; III 174, 196—198, 226, 228, 358, 361
- Маркс Фр. III 39
Мармонтель Ж.-Ф. I 136
Марр Н. Я. I 18
Марсупини К. А. I 133
Мартынов И. М. I 147, 247, 268; III 169
Марулл М. I 51
Масальский К. П. III 130, 133
Марциал I 240; III 121, 122, 131
Матрон III 281
Мах Э. I 350
Мегасфен III 192
Медичи М. I 268
Мей Л. А. I 248
Мейе А. I 33, 37
Мейер Г. I 33
Мейер Э. I 16, 25
Мейстер Р. I 33
Меланнипид I 49
Меланфий I 211; III 83
Меланхтон I 52, 53, 139
Мелеагр III 128, 130, 131, 133, 371
— «Венок» III 128, 131
— «Весна» III 130, 133
Мелетий Руф III 157
Мелесатор II 13
Меликова-Толстая С. В. II 208
Мелисс II 160, 162, 163
— «О природе, или О сущем» II 163
Менандр I 116, 211, 218, 235, 291, 297, 305, 391, 413, 416, 417, 442; III 12, 17—19, 20—40, 43, 48, 109, 181, 226, 279, 280, 400
— «Ворчун» III 34
— «Герой» III 17, 23, 24, 29, 33, 36, 38
— «Гнев» III 20
— «Земледелец» III 33, 34, 36
— «Кифарист» III 33
— «Лысец» (или «Парасит») III 33
— «Ненавистный» III 34
— «Отправляющиеся» III 33
— «Отрезанная коса» III 17, 23, 29, 33, 35—38
— «Перинфянки» III 34
— «Полемон» I 442
— «Привидение» III 33, 34
— «Самиянка» III 17, 23, 31, 33, 35—38
— «Третейский суд» I 297, 416; III 17, 23, 24, 29, 33—39
- Менандр Лаодикейский I 237
Мендельсон-Бартольди Ф. I 361
Мендес К. I 420
Менедем III 371
Менекрат Эфесский III 75, 93, 96
Менипп III 230—233, 237, 246, 280, 281, 370, 371
Мерзляков А. Ф. I 146, 268, 341
Мериан Б. I 116
Мериме П. III 132
Мерсье Л. С. I 136
Месомед III 144
Мессала Корвин II 294; III 184
Местрий III 173
Метродор Лампсакский I 46; II 195; III 284, 362

- «О рыбах» III 284
 Мефодий III 387
 Меценат III 200
 Мещанинов И. И. I 18
 «Милетские рассказы» II 65
 Милл I 433
 Милонас I 33
 Миальва Ш. Г. I 147
 Миальтиад I 254, 329, 438; II 41, 73
 Миальтон Дж. I 137, 229
 Мимнерм I 38, 180, 190, 195—197, 201, 204, 242; III 22
 Минас М. III 314
 «Миниада» I 158, 159
 Минский Н. Н. I 152
 Минтурно А. I 267
 Минуций Гай III 173
 Мираген III 274
 Мирон (скульптор) I 308; III 13, 163
 Мирон Приенский III 204
 Миртида I 257, 258, 260
 Миртил I 437
 Митридат III 8, 195, 196, 200
 Мищенко Ф. Г. I 54, 120; II 77, 99
 Мнасей III 284, 316
 Мнесибул II 285
 Мнесика I 344
 Мнесилох I 379, 457—460
 Модерат III 378
 Моисей Хоренский I 416
 Молон III 143, 374
 Мойли К. I 130
 Мольтер Ж.-Б. III 39
 Монтескье Ш.-Л. I 7
 Монти В. I 134
 Монфокоп Б. I 53
 Мор Т. I 137; III 240
 Моск I 38, 234; III 89, 102, 104, 105, 112, 115, 116, 329, 332, 341
 — «Европа» III 115, 329, 341
 — «Мегара» III 116
 — «Плач о Бионе» III 104, 112, 115, 116
 — «Эрос-беглец» III 116
 Мосхион III 282
 Москопул М. I 50, 267
 Мумий Луций III 130
 Мусей I 44, 45, 177, 178, 225, 252
 — «О феспротах» I 177
 Мох III 376
 Мусей (писатель) III 265, 310, 312, 334—337
 — «Геро и Леандр» III 310, 334
 Мусоний Руф III 212, 368, 377
 Мьюр Дж. I 54
 Мэррей Дж. I 234
 Мюллер Д. I 126, 127; II 127
 Мюллер К. О. I 16, 17, 43, 54, 117, 261, 330
 Мюллер-Штрибинг Г. II 85
 Мюре М. А. (Муретус) I 53
 «Навпактские песни» I 177
 Навсимах II 274
 Навсифан III 358
 «Наставления Хирона» I 181
 Неант III 351
 — «О знаменитых мужах» III 351
 Неарх III 192, 193
 Немесий III 378, 398
 — «О природе человека» III 378, 398
 Неокл III 357
 Нерза III 178, 198, 211, 277
 Нерза III 57
 Нерон I 208, 375; III 173, 175, 187, 263, 368, 392
 Нестле В. I 406
 Нестор-Искандер I 144
 Нибур Б. Г. II 99, 258
 Нигидий Фигул III 378
 — «Золотые стихи» III 378, 400
 Никандр Колофонский III 75, 80, 93, 95, 96, 100, 176, 405
 — «О действии животных ядов» III 80, 96
 — «О ядах и противоядиях» III 96
 Никанор I 112
 Никарх III 121
 Никекрат Кипрский I 45, 49
 Никий III 184
 Никита (из Смирны) III 209, 276
 Никитин П. В. I 54, 144, 284, 412
 Никифор Каллист III 268
 Николай из Дамаска III 357
 — «О растениях» III 357
 — «О философии Аристотеля» III 357
 Никомах Геразский III 378
 — «Введение в арифметику» III 378
 Никострат III 165
 Нильссон М. П. I 70, 130, 131
 Нильссон П. I 287
 Ницше Ф.-В. I 328
 Нич Г. I 97, 119, 128
 Ноак Ф. I 295
 Новосадский Н. И. I 9, 54
 «Новый завет» III 387, 391, 392
 Нонн I 23, 36, 403, 419; III 310, 312, 322, 327—334, 344
 — «О Дионисе» III 310, 327, 332
 — «Евангелие от Иоанна» 327, 332, 333
 Норвуд Г. I 399
 Норден Э. III 306
 Норса М. I 238
 Нортон К.-Е.-С. I 420
 «Ностосы» I 140
 Нумений III 96, 378, 379
 Нутцгорн Ф. (Нутцгорн) I 43, 119
 «О способе выражения» II 129
 д'Обиньяк Ф. I 114, 115, 117
 Оболенский В. III 202
 Овидий I 50, 59, 168, 197, 207, 229, 239, 240, 251, 375, 380, 400—403, 420; III 36, 61, 77, 94—96, 247, 251, 335
 — «Героини» I 380, 401; III 61, 335
 — «Метаморфозы» I 168, 380, 400; III 94, 96
 Огарев Н. П. I 340
 Озерецковский К. III 202
 Окелл (псевдо) III 378
 — «О природе Всего» III 378
 Оксиринхский историк II 132, 134
 Оксиринхские папирусы I 401; III 41, 61, 63, 255, 335
 Оленин А. Н. I 147
 Олимпиодор Старший III 397

- Опитц М. I 268
 Оппиан III 284, 310, 316—322
 — «О ловле птиц» III 316, 317, 319
 — «О псовой охоте» III 316—320
 — «О рыбной ловле» III 316, 318—320
 Ордынский Б. И. I 152; III 240, 241
 Орибасий III 393
 Ориген I 217; III 368
 Орития II 301
 Орфагор III 284
 Орфей Кротонский I 110
 Островский А. Н. III 40

Павел Силенциарий III 132
Павсаний I 43, 52, 73, 110, 154, 157, 170, 175—177, 187, 192, 193, 195, 197, 230, 233, 242, 250, 257—259, 279, 285, 286, 346, 356, 381, 386, 390, 391; II 9, 10, 58, 67, 78, 102, 103, 144, 193; III 76, 91, 92, 148, 203—207, 284
 — «Описание Эллады» III 93, 203, 204
Павсаний (историк) III 203
 — «История Антиохии» III 203
Павсаний (софист) III 203
Пакувий I 366, 403
Палатинская антология I 237, 239, 256, 257, 267, 285, 287, 403; III 62, 133
Палефат III 403, 404
 — «О невероятных вещах» III 404
Паллад III 131, 132
Паммен III 284, 316
 — «О животных» III 284
Памфил III 282, 357, 401
 — «Луг» III 401
Панетий I 209; III 363, 368, 374
Паниасид I 179; II 30; III 75, 76
 — «Гераклея» I 179; III 75
Панкрат Аркадский III 96
 «Панчатантра» I 65
Папп III 403
Парменид I 36, 180, 181; II 160—164, 166, 171, 187; III 163, 353
 — «О природе» I 180; II 161
Парменион III 131
 «Паросская хроника» I 49, 74, 213, 220, 226, 233, 272, 284, 285, 309, 377
Паррасий I 346
 — «Пастырь Гермы» III 146
Патен А. I 54, 390
 — «Патриот, или Слушающий поучения» III 240
Педнасим Иоанн III 405
 — «Двенадцать подвигов Геракла» III 405
Пелопид III 177
Пельман Р. I, 25
Перикл I 308, 311, 342—344, 348, 354, 409, 410, 434, 435; II 34, 75, 79, 88, 89, 94—96, 165, 224—227, 271; III 126, 177
 — «Ахиллес» II 161, 171
Периклет I 227
Перро Ш. I 114, 135, 138, 267
Персей (македонский царь) III 147
Перси Т. I 117
Персий Флакк I 350; III 368
Пертинакс III 198, 201

 «Песнь о Нибелунгах» I 79, 97, 104, 118
 «Песнь о Роланде» I 80, 104, 105
Петерсен Э. I 124, 294
Петрарка Ф. I 133
Петровский Ф. А. I 9, 39
Петроний III 222, 247
Пеховский И. I 120
Печерин В. С. III 130, 134
Пигрет I 181, 182
Пий Антонин см. Антонин Пий
Пиккард-Кембридж А. I 426
Пилат I 133
Пиндар I 38, 48, 50—52, 63, 75, 77, 79, 127, 217, 225, 239, 252, 257, 258, 260—268, 269, 271, 279, 309, 314, 316, 326, 375, 384, 402; II 30, 33, 138, 303; III 82, 122, 126, 177, 179, 186, 305, 308, 346, 348, 399, 400
Пирр III 177, 201, 238
Пирей II 226
Пиррон III 371—374
Писандр I 177; III 75, 81
Писистрат I 43, 44, 48, 96, 109, 110, 114—116, 119, 121, 158, 199, 200; II 52, 86, 147, 224.
 «Писистратиды» I 256; II 40, 72, 86, 147
Писон Луций III 130
Пифагор I 44, 48, 209, 224; II 16, 89, 148, 157, 158, 159, 170, 171; III 208, 233, 238, 275, 284, 351, 356, 393, 395
 — «Политические сочинения» II 89
Пифей II 258, 266
Пифон (историк) II 279, 286
Плавт I 110, 417, 442, 474; III 17, 19, 38—40, 131
 — «Близнецы» III 39
 — «Жребий» III 19
 — «Канат» III 39
 — «Клад» III 39
 — «Комедия об ослах» III 40
 — «Купец» III 19
 — «Провидение» III 19
 — «Три монеты» III 19
 — «Хвастливый воин» III 38
Плануда Максим I 50, 51; III 133
 — «Антология» I 50; III 133
Платон I 45—49, 51, 65, 140, 143, 144, 181, 202, 203, 207, 217, 218, 223, 224, 235, 239—241, 249, 254, 256, 266, 274, 279, 287, 291, 292, 297, 300, 305, 343, 344, 349, 350, 419, 423, 424, 432, 466; II 23, 59, 88, 97, 107, 108, 110, 113, 116, 147—149, 151, 157, 158, 162, 163, 166, 167, 170, 172—174, 176—178, 180—198, 199, 200, 203, 204, 206, 217, 218, 226, 246, 262, 264, 286, 293, 294; III 18, 78, 121, 123, 159, 161—163, 176, 178, 181—183, 208, 217, 228, 238, 239, 247, 280, 282, 286, 302, 303, 305, 313, 349—351, 353, 354, 356, 373, 375, 377, 380—387, 389, 391, 393—397
 — «Аксиох» II 181
 — «Алкивиад Второй» II 181
 — «Алкивиад Первый» II 182; III 390, 398

- «Алкион» II 181
 — «Апология Сократа» II 176, 181, 182
 — «Влюбленные» II 181
 — «Гиппарх» II 181
 — «Гиппий Большой» II 59, 173
 — «Гиппий Малый» II 173, 182, 192, 198
 — «Горгий» II 173, 184, 197
 — «Государство» I 46, 466; II 107, 176, 181, 184—187, 190, 192, 194—196, 198, 206; III 380, 396
 — «Демодок» II 181
 — «Законы» I 305; II 170, 181, 187, 190, 191, 193, 194; III 354
 — «Ион» I 46; II 187, 195
 — «Клитфон» II 181
 — «Кратил» II 187; III 386, 396
 — «Критий» II 187, 193, 198
 — «Критон» II 182, 197
 — «Лахет» II 182
 — «Лисис» II 182, 192, 194
 — «Менон» II 184
 — «Минос» II 181
 — «О доблести» II 181
 — «Определения» (сборник) II 181
 — «О справедливости» II 181
 — «Парменид» II 162, 187; III 380, 386, 396
 — «Пир» («Симпосий») I 423; II 113, 184, 188, 193, 194, 196, 198; III 247, 280, 383
 — «Политик» II 187, 192
 — «Протагор» I 46; II 151, 173, 174, 184, 194, 196—198, 264
 — «Сизиф» II 181
 — «Софист» II 186, 187, 192; III 386
 — «Тимей» II 187, 193; III 95, 178, 356, 375, 382, 386, 389, 396
 — «Феар» II 181
 — «Федон» II 184, 188, 192; III 280, 383, 389
 — «Федр» II 184, 188, 194, 195, 198, 226, 227, 246; III 162, 383
 — «Феатет» («Теэтет») II 163, 173, 177, 187, 192; III 379
 — «Филеб» II 187, 192
 — «Хармид» II 182, 192, 194
 — «Эвтифрон» II 182, 192
 — «Эриксий» II 181
 Платон (комик) I 179, 425, 436, 439, 476
 — «Адонис» I 439, 476
 — «Европа» I 439, 476
 — «Лай» I 439, 476
 — «Поэты» I 476
 — «Софисты» I 476
 — «Фаон» I 439, 476
 Платоний I 426, 435
 Плиний I 47, 48, 220, 345, 346, 354, 381; II 93, 151; III 171, 377, 384, 403
 — «Естественная история» II 93; III 171
 Плиний Младший III 210, 212
 Плотин III 378—380, 381—386, 394, 395
 — «Эннеады» III 381, 382
 Плутарх I 43, 47, 48, 51—53, 63, 64, 66, 74, 109, 113, 177, 181, 195, 197, 198, 200—202, 207, 210, 213, 214, 217, 220, 224—227, 233, 235, 238, 239, 246, 251, 253, 256, 257, 260, 267—269, 272, 273, 279, 285—287, 290, 300, 301, 305, 306; 323, 329, 340, 342—344, 346, 348, 355, 375, 378, 384, 394, 399, 405, 408, 419; II 9, 12, 33, 34, 46, 57, 66, 77, 82, 95, 98, 102, 128, 130, 136—138, 151, 166, 225, 232, 243, 248, 257, 262, 263, 266, 285, 303; III 36, 57, 59, 77, 137, 145, 155, 173—186, 200, 268, 277, 281, 313, 360, 367, 375, 377, 395, 401
 — «Агесилай» II 9
 — «Брачные наставления» III 181, 183, 185
 — «Гигиенические наставления» III 176
 — «Греческие проблемы» III 176, 183
 — «Гриал» III 181
 — «Дельфийские диалоги» III 176, 177
 — «Должны ли старики участвовать в государственной деятельности» III 175
 — «Застольные проблемы» III 176—178, 182, 281
 — «Катон Старший» II 98
 — «Моралии» («Нравственные сочинения») I 355; II 257, 262; III 174, 177, 180, 181, 183
 — «Никий» I 419; II 166, 226
 — «О болативости» II 248
 — «О братской привязанности» III 175
 — «О воспитании детей» II 9
 — «О демоне Сократа» III 182
 — «О доблестях женщин» III 176, 181
 — «О злокозненности Геродота» II 46, 57; III 176
 — «Об изгнании» II 77, 82; II 175
 — «Об Исиде и Осирисе» III 176, 178, 181, 183
 — «О лице на диске Луны» III 176, 182
 — «О любви» III 175, 264
 — «О любви к детям» III 175
 — «О людях, поздно наказанных божеством» III 182
 — «О монархии, демократии и олигархии» III 175
 — «О музыке» I 224, 225; II 9; III 176, 183
 — «О невозможности жить счастливо, следуя Эпикуру» III 175
 — «Об общих понятиях» III 176
 — «Об оракулах Пифии» III 182
 — «О противоречиях стоиков» III 176
 — «О рождении души в „Тимее“» III 178
 — «О славе Афинян» II 94
 — «О счастье или доблести Александра Великого» III 175, 177
 — «О счастье римлян» III 175, 177
 — «О суеверии» III 176, 180
 — «О том, были ли афиняне больше прославлены в войне или мудрости» III 175
 — «О том, что добродетели можно научиться» III 180
 — «О том, что стоики говорят вещи более парадоксальные, чем поэты» III 176
 — «Об упадке оракулов» III 178
 — «Перика» II 225

- «Пир семи мудрецов» I 63, 177; III 176, 181, 183
 — «Платоновские изыскания» III 176, 178, 183
 — «Политические наставления» III 175, 179, 180
 — «Правильно ли изречение: живи незаметно?» III 175
 — «Против Колота» III 175
 — «Римские проблемы» III 176, 183
 — «Сравнение Аристофана и Менандра» III 176
 — «Сравнительные жизнеописания» III 174, 176, 177, 179, 180, 183—185, 281
 — «Утешение, обращенное к жене» III 175
 Плутох (псевдо) I 46, 74; II 240, 242, 248, 258, 263, 267, 289; III 353
 — «Александрийские пословицы» III 186
 — «Биографии десяти ораторов» II 241, 248, 262, 263, 267, 289; III 186
 — «Демосфен» II 266
 — «Изречения спартанок» III 186
 — «Изречения царей и полководцев» III 174, 186
 — «Любовные повествования» III 186
 — «Меньшие параллели» III 186
 — «Мнения философов» III 353
 — «О Гомере» I 113; III 186
 — «Об учениях философов» III 186
 — «Спартанские изречения» III 186
 — «Спартанские установления» III 186
 — «Строматы» III 353
 — «Поликлет» I 345; 354
 Плутох Афинский III 395
 Плюсс Т. I 91, 328
 Поджо Дж. III 240
 Покровский М. М. I 8, 9; III 39
 Пол I 301, 363
 Полемон II 70; III 204, 316
 Полемон Смирнский III 143, 209, 210, 277
 Полибий I 52, 53; II 127, 135—137, 139; III 137; 143, 145, 147—153, 154, 155, 166, 170, 171, 179, 195, 200, 282, 375
 — «История» III 148
 Поливанов Л. И. I 421
 Полигност III 176, 282
 Полигност I 242, 296, 309, 346; II 103; III 363
 Полидежк Юлий Полаукс I 44, 225, 284, 293—295, 297—299, 303—305, 320; III 400, 401
 — «Ономастикон» I 294; III 400, 401
 Полиен II 302; III 187, 202, 203
 — «Военные хитрости» III 202
 Поликлет III 13, 163
 Полимнест Колофонский I 227
 Полимния II 36
 Полистрат III 130
 Полициано Анджело I 52, 133; III 202
 Поллион Асиний см. Асиний Поллион
 Полонский Я. П. I 359
 Полоцкий Симеон I 144
 Помпей III 157, 169, 177, 185, 198, 200, 374, 375
 Поп А. I 138, 268
 Попаикола III 177
 Попов Д. П. I 147
 Порсон Р. I 54
 Порфирий I 113; III 271, 273, 378, 379, 381, 385—387, 388, 393, 395
 — «Введение в гармонику Птоломея» III 386
 — «Введение в „Категории“ Аристотеля» («О пяти звучаниях») III 385
 — «Восхождение души» III 386
 — «Гомеровские вопросы» III 386
 — «Жизнеописание Пифагора» III 386
 — «Жизнеописание Плотина» III 386
 — «Комментарий к „Категориям Аристотеля“» III 385
 — «История философов» III 386
 — «Исходные положения» III 395
 — «О воздержании от употребления одушевленных существ в пищу» III 385
 — «О пещере нимф» III 386
 — «О том, как одушевляются зародыши» III 386
 — «Письмо к Марцелле» III 386
 — «Против христиан» III 386, 387
 Порфирион I 271
 Посидипп III 19, 39, 56, 78, 120, 124, 126
 — «О жизни» III 126
 Посидоний II 138; III 145, 153, 171, 282, 353, 363, 368, 374—377, 378, 384, 398, 403
 — «История после Полибия» (в 52 книгах) III 153, 375
 — «О богах» III 375
 — «Об океане» III 375
 — «О гневе» III 375
 — «О добродетели» III 375
 — «О долге» III 375
 — «О душе» III 375
 — «О критерии» III 375
 — «О мантике» III 375
 — «О метеорах» III 375
 — «О словесном выражении» III 375
 — «О страстях» III 375
 — «О судьбе» III 375
 — «Сравнение Гомера и Арата» III 375
 — «Увещания» III 375
 — «Физическое учение» III 375
 — «Этическое учение» III 375
 Посидоний Коринфский III 96
 Праксидамант I 46
 Праксила I 249, 257, 258, 259
 — «Паройнии» I 259
 Пракситель III 13, 127
 Праксифан I 44, 47, 49; II 70, 157, 848; III 93, 356
 — «О поэзии и истории» I 49
 — «О поэтах» I 49
 Приск III 390, 393
 Прискиан III 397, 401
 — «Метафразы из Теофраста о чувственном восприятии» III 397
 — «Решение вопросов, по поводу которых высказывал сомнения персидский царь Хозрой» III 397
 Пробул I 455, 456
 Продик I 45, 159, 349, 377, 453; II 75, 102; 172—174, 194, 227; 228, 249.
 — «Геракл на распутье» II 174
 Прокл I 23, 153, 154, 157, 218, 220, 226;

- II 151, 170; III 324, 379, 381, 389, 394—397
 — «Богословское элементарное учение» III 395
 — «Гимны» III 396
 — «Комментарий к „Алкивиаду I“» III 396
 — «Комментарий к „Государству“» III 396
 — «Комментарий к „Кратилу“» I 396
 — «Комментарий к „Пармениду“» III 396
 — «Комментарий к „Тимею“» III 396
 — «Комментарий к Эвклиду» II 151
 — «О богословии Платона» III 395
 — «О жертвоприношениях и магии» III 396
 — «Схολии на „Труды и дни“ Гесиода» III 396
 — «Физическое элементарное учение» III 395, 396
 — «Хрестоматия» I 153
 — «Эклоги из халдейской философии» III 396
 Проперций I 59, 197, 403; III 62, 77
 Протагор I 45, 46, 254, 256, 349, 351, 377; II 89, 151, 168, 172, 173, 177, 179, 184, 194, 196—198, 227, 228, 264; III 163, 276, 372
 — «Великий Логос» II 173
 — «Истина или ниспровергающие речи» II 173
 — «О богах» II 172, 173
 — «О государственном устройстве» II 89
 — «О правильной речи» I 45
 — «О сущем» II 173
 — «Противоречия» II 173
 Прозерций III 291, 301, 306
 Псаон II 139
 Псела Михаил III 357
 Птоломей Клавдий I 225; II 200; III 171, 172, 351, 379, 403
 — «Гармония» III 403
 — «География» III 172, 403
 — «Математическое собрание» (Алматест) III 403
 — «О критерии и руководящем начале» III 403
 — «Оптика» III 403
 — «Четверокнижие» III 403
 Птоломей I Сотер, сын Лага I 266; II 141; III 7; 19, 20, 69, 154, 192, 193, 398
 Птоломей II Филадельф III 42, 54, 65, 67—70, 81, 96, 102, 104, 282, 398
 Птоломей IV Филопатор III 282, 402
 Птоломей III Эвергет III 54, 70, 71, 95, 402
 Пушкин А. С. I 136, 145, 147, 148, 150, 152, 161, 207, 210, 245, 247; II 99, 217; III 126
 Пфуль Э. I 346
 Пьеррон П. I 54
 Рабе В. I 251
 Раблэ Ф. I 135
 Радищев А. Н. I 145, 146, 240
 Радлов В. В. I 104
 Раддиг С. И. I 8, 9
 Рамсей М. I 225
 Ранке Л. II 99
 Расин Ж. I 114, 135, 421
 «Распутница» (название мима) III 41
 Рейске И. I 54
 Рейхель В. I 18, 124
 Рейхлин И. I 52, 139; III 240
 Рейц В. I 54
 Рейш Э. I 287
 Рес I 379, 400, 423
 Риан III 75, 76, 90—92
 — «Геракланда» III 91
 «Ригведа» I 113
 Риджуей В. I 130
 Ринтон III 41
 — «Геракл» III 42
 — «Ифигения в Авлиде» III 42
 — «Ифигения в Тавриде» III 42
 Рихтер Ю. I 328
 Ричль Фр. I 43, 51
 Роберт К. I 18, 54, 124, 127, 131, 304
 Роде Э. I 54, 74, 122, 288, 419
 «Роман об Александре» III 192, 251
 «Роман о Нине» III 242, 249—251, 253, 255, 256
 «Роман о царевне Хиюне» III 254
 Ронсар П. I 135, 267
 Роте К. I 102, 128, 130
 Рошфор Г. I 136
 Рункен Д. I 53; III 169
 Руф Мусоний см. Мусоний Руф
 Рябинины I 104
 Саксон Грамматик I 62
 Салель Г. I 135
 Саллаустий II 99; III 375
 Саллаустий (Салутий) (неоплатоник) III 379, 381, 390, 394
 — «О богах и о мире» III 390, 394
 Салмазий см. Сомез
 Салустиий I 358
 Санахарит II 48
 Сандис Дж. I 54
 Сапфо I 38, 48, 64, 188, 189, 217, 223, 225, 232, 233—240, 257; II 30; III 128, 169
 — «Тот кажется мне подобным богам» III 169
 Сатир Понтийский I 377, 378, 416; III 352
 Сатурнин III 374
 Светоний I 366, 375; II 36; III 203
 Свида I 43, 46, 50, 51, 66, 74, 75, 155, 156, 178, 181, 190, 192, 196, 202, 207, 218, 229, 231, 233, 239, 240, 246, 251, 255, 272, 274, 304, 355, 428; II 16, 19, 23, 28—30, 70, 71, 74, 126, 135, 162, 262; III 53, 78, 90, 92—96, 104, 157, 167—169, 173, 189, 198, 202, 220, 222, 254, 257, 262, 265, 276—278, 283, 292, 314, 316, 337, 381, 387
 — «Лексикон» I 50; III 220
 Сейс А. II 37
 Секст Эмпирик II 168; III 208, 366, 371, 372, 374
 — «Против логиков» III 366
 — «Против математиков» II 168, 374
 — «Три книги Пирроновых положений»

- III 371, 374
 Селевк III 7
 Сем Делосский I 427
 Семонид Аморгский I 46, 208, 212, 217, 218—220, 222
 — «О женщинах» I 220
 Сен-Бев М. О. III 322
 Сенека I 53, 135, 340, 375, 390, 395, 415, 420, 421; III 363, 368, 377
 — «Медея» I 421
 — «Федра» I 421
 Сенковский О. И. III 240
 Септимий Север III 198, 199, 201, 268, 273, 283, 317
 Сервантес М. I 101; III 240
 Сервий I 375; III 99
 Серторий III 177
 «Сибаритские рассказы» II 65
 «Сикнионская таблица» II 9
 Симмий III 100
 — «Секира» III 100
 Симоид I 38, 48, 63, 75, 170, 189, 218, 249, 250, 252—256, 257, 263, 264, 269, 271, 278, 308; II 30, 38, 122, 305; III 121, 123, 126, 308, 309, 399
 — «Длинный рассказ» I 255
 Симоид из Магнесии III 76
 Симплектий II 152, 168; III 355, 396, 397
 Симфосий III 260
 Синесий II 217; III 212
 — «Похвала плещи» III 144, 212
 Сириан III 395
 Сирон III 362
 Скалигер Жозеф I 135, 208
 Скалигер Ю. I 53
 Скимн (псевдо) II 138
 Скопас III 13
 Скопелиан III 209, 215
 Скрыбин А. Н. I 340
 Складери Ж. I 135
 Смотрецкий Мелетий I 240
 Соболевский С. И. I, 9, 428; II 163
 Соколов П. И. I 146
 Соколов Ф. Ф. I, 54, 109, 119, 152
 Сократ I 45, 46, 229, 304, 345, 349—351, 354, 377, 378, 388, 404; II 174—177, 101, 102, 104, 110, 116, 152, 162, 173, 178—180, 182, 186—188, 249; III 18, 140, 190, 208, 216, 225, 228, 232, 280, 286, 302, 313, 363, 365, 373
 Сократ (писатель V в. н. э.) III 268
 Солни II 16
 Соловьев С. М. I 240
 Солон I 43, 66, 96, 109, 190, 192, 197—202, 204, 208, 219, 220, 239, 251, 285, 287, 288, 386, 438; II 9, 38, 50, 51, 56, 62, 65, 126, 151, 171, 205, 223, 224, 252; III 177, 407
 — «Наставления афинянам» I 199, 201
 — «Наставления самому себе» I 201, 202
 — «Саламин» I 198, 201
 — «Семидесять человеческой жизни» I 201
 Сомез (Самазий) К. I 53, 135; III 133
 «Сон Нектанеба» III 248
 Сопатр III 389
 Сосибий I 110, 430
 Сосий Г. Сенецион III 173
 Сострат III 284
 — «О животных» III 284
 — «О пресмыкающихся и жалящих» III 284
 — «Состязание Гомера и Гесиода» I 74, 75
 Сотад III 42
 Сотак III 403
 Сотерик III 328
 Сотион III 352
 — «Преемство философов» III 352
 Софил II 234
 Софокл I 19, 26, 31, 45, 46, 48—50, 52, 53, 76, 154, 158, 217, 241, 256, 280, 282, 285, 286, 288, 296, 299, 300, 304, 309, 310, 313, 319, 320, 321, 323, 327, 338, 340, 342, 352, 353—376, 377, 378, 380, 382, 385, 388, 390, 392, 395, 398, 400, 409—418, 421—423, 460, 463; II 34, 51, 66, 71, 76, 89, 130, 202, 214, 217, 229, 266, 289, 305; III 39, 83, 126, 212, 217, 393, 400
 — «Андромаха» I 410
 — «Антигона» I 304, 356, 359—363, 367, 368, 372—376, 411, 412, 418, 423; II 34, 66, 89, 282, 289
 — «Афамант» III 83
 — «Аякс» I 356, 365—367, 369, 371, 372, 374, 375, 411, 412, 418
 — «Землекопы» I 410
 — «Ион» I 410
 — «Колхидяне» III 83
 — «Лаокоон» I 375
 — «Скифы» I 410
 — «Следопыты» («Ищэйки») I 286, 288, 366, 367
 — «Тевкр» I 356
 — «Тиро» I 417
 — «Трахинянки» I 158, 356, 363, 364, 367, 372, 373, 375, 390, 411, 412
 — «Фамврид» I 353
 — «Федра» I 410
 — «Филоктет» I 296, 356, 364, 365, 367, 371, 374, 375, 411—413; III 212
 — «Фрикс» III 83
 — «Чародейки» III 83
 — «Эврисак» I 356, 375
 — «Эдип в Колоне» I 48, 296, 299, 301, 353—356, 358, 359, 362, 367, 368, 371, 375, 382; II 66
 — «Эдип царь» I 45, 48, 356—358, 361, 367, 372, 375, 376, 412; II 214, 217
 — «Электра» I 327, 362, 363, 367, 368, 372, 374, 375, 392, 411, 412
 Софрон I 425, 430, 432
 — «Женщины, утверждающие, что они изгоняют богиню» I 432
 Спартак III 198
 Спевсипп III 178, 353
 — «Аристипп» III 353
 Спенсерэ I 137, 141
 Среднеаттическая комедия I 475—476
 — «Беотиянка» I 476
 — «Близнецы» I 476
 — «Византиец» I 476
 — «Всин» I 476

- «Елена» I 476
 — «Клад» I 476
 — «Одиссей» I 476
 — «Орест» I 476
 — «Поселянин» I 476
 — «Починщик» I 475
 — «Семеро против Фив» I 476
 — «Флейтист» I 175
 — «Художник» I 476
 Стасин Кипрский I 156
 Статий см. Ахилл Татий
 Стаций I 240, 242, 362, 401; III 77, 335, 337
 — «Фиваида» I 362, 401; III 77
 Стесимброт Фасосский I 45, 46; II 127, 131, 132, 195
 — «Гомеровский вопрос» II 131
 — «О мистериях» I 46; II 132
 — «О Фемистокле, Фукидиде и Перикле» I 46; II 132
 Стесихор I 38, 48, 189, 223, 240—242, 243, 272, 274, 316, 387, 390, 415
 — «Возвращения» I 241
 — «Герионида» I 242
 — «Елена» I 241
 — «Орестея» I 241
 — «Разрушение Трои» I 241
 — «Скилла» I 241
 — «Состязания в память Пелня» I 241
 Стефан Г.— см. Этьенн А.
 Стефан Византийский I 192, 241; II 29; III 91, 203, 283, 328
 Стобей I 191, 194, 196, 202, 207, 218, 219, 256, 271; II 157; III 92, 104, 283, 353, 368, 378, 388
 — «Эклоги» III 353
 Страбон I 31, 52, 127, 177, 191, 220, 227, 235, 239, 241, 246, 253, 302; II 11, 12, 22, 26, 30, 57, 66, 102, 104, 137—139; III 95, 145, 147, 148, 157, 169—172, 375, 377, 402
 — «География» III 170—172
 — «Исторические записки» III 170
 «Страбоновская хрестоматия» III 172
 Стратон III 356, 357, 398, 402
 Стратгид I 396
 Стуртевант I Эд. I 29
 Судин III 403
 Сулла III 151, 177, 185
 Сумароков А. П. I 145, 146, 240, 247, 268
 Сципион Младший Эмилиан III 137, 148, 177
 Сэквиль Т. I 420
- Тамбовский А. Л. I 248
 Танеев С. И. I 341
 Тассо Т. I 134, 136, 229
 Тацит I 70; II 29, 99, 150; III 222, 375, 377
 Тейлор Эд. I 59
 Теккерей У. I 100
 Телеклид I 45, 437
 Телес III 370
 Телесилла I 259
 Теодект I 356
 Теос III 154
 — «Египетская история» III 154
- Теренций I 297; III 17, 19, 22, 39, 40, 226
 — «Братья» III 19
 — «Свекровь» III 19, 40
 — «Формион» III 19
 Терпандр I 163, 223, 226—228, 230, 261, 286
 Террасон Ж. I 144
 Тертуллиан I 44
 Тиберий III 169, 199, 240, 313, 392
 Тибулл I 197; III 77
 Тимада I 238
 Тимей (историк) II 70, 77, 134, 135—138, 142; III 143, 153, 155
 — «История» II 136, 138
 — «История войн Пирра» II 136, 138
 Тимократ I 377
 Тимокреонт I 248, 255, 256, 257
 Тимон (из Флиунта) III 351, 371—374
 Тимофей I 272—274, 286, 378
 — «Киклоп» I 273
 — «Муки рождения Семелы» I 273
 — «Ниоба» I 273
 — «Одиссей» I 273
 — «Персы» I 273, 274
 — «Скилла» I 273
 — «Эльпенор» I 273
 Тиранион III 169, 357
 Тиртей I 190, 192—195, 196, 204; II 295
 — «Эвномия» («Благозаконность») I 193, 195
 — «Советы» I 193, 194
 Тисий II 228—230, 235, 242, 249
 Тит Флавий III 188, 210, 211, 275
 «Титаномахия» I 154
 Толстой И. И. I 9, 152, 234
 Толстой А. Н. I 151, 152
 Траян III 173, 174, 178, 194, 195, 209, 210, 212, 220, 257, 317, 392
 Тредиаковский В. К. I 145, 247, 268
 Триклиний Димитрий I 51, 267
 Трифодор III 309, 310, 312, 341—345
 — «Взятие Илиона» III 309, 341
 Трифон III 282, 401
 Тумб А. I 33
 Губерон Элий III 157, 162
 Тургенев И. С. I 151, 359
 Тюрнеб А. I 53
- Уваров С. С. I 147, 151
 Узенер Г. I 54; III 165
 Уоттон Г. I 138
 Успенский П. III 34
- Фабий (историк) III 151
 Фабий Максим III 156, 167, 177
 Фабриций I 53
 Фаворин II 247; III 141, 210, 276
 Фаларид I 48
 Фалес I 204, 209; II 7, 16, 151; III 63, 64, 352
 — «Морская астрономия» II 151
 — «О началах» II 151
 — «О солнцестоянии и равноденствии» II 151
 Фалет I 223, 226, 227, 228, 230
 Фамир I 289

- Феоген Регийский I 44, 46, 49
 Федр I 66; III 313, 314
 Федр (философ) III 362
 Фейербах Л. I 350
 Фемистий II 202; III 290, 291, 293, 301—305, 306—309, 357
 — «К Валенту о почитании богов» III 303
 — «На смерть отца» III 302, 303, 305
 — «О дружбе» III 302
 — «О любви» («О красе императора») III 303
 — «О любви к детям» III 302
 — «О пользе земледелия» III 305
 — «О софисте» III 302
 — «О тех, кто говорит экспромтом» III 302
 — «О том, как следует говорить философу» III 302
 — «Против тех, кто не понял его речи о софисте» III 304
 — «Рассуждение о речи» III 302
 Фемистоген Сиракузянин II 120
 Фемистокл I 257, 285, 308, 312; II 18, 41, 48, 63, 64, 78, 83, 94, 205, 224; III 306, 307
 Фенелон I 145, 375; III 169
 Феогнид I 189, 190, 202—207, 208, 217, 219, 244, 263, 271; II 242; III 305, 407
 Феодор Азинский III 389
 — «Об именах» III 389
 Феодор Газа I 52, 133
 Феодор Киренский III 398
 Феодосий I III 292, 297, 298, 301, 303
 Феодосий II III 387
 Феокрин II 285
 Феокрит I 38, 50, 52, 53, 136, 179, 233, 234, 242, 266, 432; II 163; III 42—44, 47—49, 74, 78, 81, 89, 90, 102, 104—117, 120, 121, 284, 322, 329, 336, 340, 341
 — «Береника» III 104
 — «Вакханки» III 112
 — «Геракл-младенец» III 81
 — «Геракл — убийца льва» III 81
 — «Гераклиска» III 47
 — «Гиерон или Хариты» III 108
 — «Гилас» III 78, 108, 110
 — «Диоскуры» III 78, 108, 110, 112, 341
 — «Жатва» («Фалисия») III 107
 — «Колдуньи» («Симайта») III 43, 107
 — «Любовь Киниски» III 43, 108, 111
 — «Пастушок» III 106
 — «Праздник жатвы» III 107
 — «Рыбаки» III 108
 — «Свирель» III 100, 121
 — «Сиракузянки» III 43, 48, 104, 108
 — «Тирсис, или Песня» III 105
 — «Эпиталамий Елены» III 110
 Феон Смирнский I 256
 Феон (ритор) II 60; III 98, 105, 401
 Феопомп I 39, 50, 193, 195, 227; II 16, 57, 66, 93, 97, 127, 132, 134, 135, 137—139, 140—142, 150, 258, 270; III 155, 160, 162, 214, 282
 — «История» II 130
 — «История Греции» II 141, 142
 — «История Филиппа Македонского» II 142
 — «Сокращение „Истории“ Геродота» II 142
 Феофраст I 47—49, 52, 53, 287, 378, 426; II 137, 151, 158, 166, 168, 296; III 18—20, 93, 94, 142, 179, 180, 316, 350, 352, 353, 355, 356
 — «Мнения физиков» II 151; III 352, 353, 355
 — «Об истории растений» III 355
 — «Об ощущениях» II 168; III 353, 355
 — «О происхождении растений» III 355
 — «О стиле» III 355
 — «Поэтика» I 48
 — «Характеры» I 48; III 18, 355
 Фердоуси I 96
 Ферекид Леросский (логограф) I 44, 46, 76; II 7, 13, 14, 22—24, 303
 Ферекид Сиросский (философ) II 22, 23, 350
 Ферекрат I 62, 273, 425, 436, 437, 460
 — «Дикие» I 62
 — «Рудокопы» («Искатели золота») I 62, 437
 Феспид I 48, 251, 277, 285—286, 287, 288, 293, 299
 — «Пенфей» I 285
 «Феспротида» I 177
 Фесторид I 158
 «Фиваида» (кикл. поэма) I 73, 75, 127, 154, 155, 313, 356
 Фидий I 296, 345, 346; II 250; III 13, 163, 304
 Фидий (астроном) III 402
 Фикк Авг. I 28, 37, 43, 44, 102, 120, 170
 Филаарх III 150, 152
 Филельфо Ф. I 51, 52
 Филемон I 291; III 17, 19, 20, 22, 279, 283
 — «Купец» III 19
 — «Привидение» III 19
 — «Сокровище» III 19
 Филет I 111, 197; III 77, 100, 102, 104, 398, 403
 — «Гермес» III 104
 — «К Биттиде» III 77
 Филетер III 399
 Филин III 151
 Филипп Македонский II 139, 142, 199, 250, 252, 253, 268—280, 284, 292, 293, 295; III 12, 126, 153, 156, 203
 Филипп Фессалоникский III 131, 133
 Филипп Спунтский III 354
 — «Эпиномида» III 354
 Филиппид I 45
 Филиппид Кефалец III 19
 Филиск II 135
 Филаст II 16, 127, 134—135, 137, 138; III 162
 — «История Сицилии» II 134
 Филодем I 49; III 120, 130, 131, 362
 — «Порядок философов» III 362
 Филокл I 356; II 296
 Филоксен I 225, 286; III 401

- Филолай I 224; II 157
 Филон III 350, 368, 378
 Филон Византийский III 403
 Филон из Лариссы III 354
 Филопеман III 147, 148, 177
 Филосторгий III 387
 Филострат I (сын Вера) I 74, 239, 319;
 III 273, 278
 — «Нерон» III 273
 Филострат II (Флавий) III 141, 203, 210,
 211, 216, 243, 270, 273—278, 283,
 385
 — «Диалекса» III 277
 — «Жизнеописания софистов» III 210,
 276, 283
 — «Жизнь Аполлония Тианского» III
 243, 270, 274—276
 — «О героях» III 276
 — «Письма» III 277
 Филострат III (Лемносец) III 273, 278
 — «Первые картины Филострата старше-
 го» III 278
 — «Троянский диалог» III 278
 Филострат IV III 278
 — «Вторые картины» III 278
 Филострат Александрийский I 354, 355
 — «О воровстве Софокла» I 354
 Филостраты III 242, 273, 278
 Филотий I 88
 Филохор I 49, 74; II 70, 72, 144; III 59,
 403
 Финслер Г. I 69, 84, 90, 123
 Фишль Г. I 417
 Флавий Арриан — см. Арриан
 Флавий Иосиф I 44, 114; II 8, 18, 57, 66;
 III 187—189
 — «Против Апиона» I 44, 114; II 9, 18;
 III 188
 — «Иудейская война» III 188, 189
 — «Иудейские древности» III 188
 Флакк Валерий — см. Валерий Флакк
 Фламинин Тит Квинтий III 177
 Флак Г. I 43, 229
 Флор Гессий III 187
 Флор Местрий III 173
 Фокилад I 190, 207, 208, 209, 242
 Фольквардсен Х. III 155
 Фолькманн Р. I 43
 Фома Магистр I 50, 267
 Формий I 431
 «Форонида» I 177
 Форрер Р. I 29
 Фосколо Н. I 134
 Фосс Г. I 53
 Фосс И. I 141, 148, 151; III 141, 148,
 151
 Фотий I 50, 153, 201, 256, 293; II 74,
 128, 140, 304; III 156, 189, 194, 198,
 200, 235, 240, 262, 270—272, 306,
 308, 398
 — «Библиотека» I 50; III 271
 Фрагье I 268
 Франклин Б. I 348
 Фрасибул II 78, 130, 228, 244
 Фрасилл I 225; II 130, 167, 181, 182
 Фрасимах II 172, 174, 195, 196, 296; III
 216
 Фрезер Дж. I 59
 Френкель Г. I 91
 Фридлиндер Л. I 120
 Фриних I 45, 274, 285, 286, 299, 307,
 310, 311, 319, 354, 355, 369, 439;
 II 59, 305
 — «Алкестида» I 286
 — «Взятие Милета» I 285, 307; II 59
 — «Музы» I 45, 355
 — «Плевронянки» I 286
 — «Финикиянки» I 285, 286, 308, 311,
 319
 — «Эригона» I 286
 Фронтин III 203
 Фронтон III 194, 223
 Фукар П. III 387
 Фукидид I 15, 18, 26, 31, 34, 39, 46, 52,
 78, 113, 161, 162, 192, 211, 342, 344,
 348, 405—407, 451; II 10, 12, 13, 16,
 19, 20, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 43, 44,
 57, 60—63, 67, 69—100, 121, 127,
 129, 130, 134, 135, 138, 142, 143,
 224—226, 234, 238, 239, 247, 255,
 286; III 143, 149, 155, 159—164,
 181, 193, 200, 212, 214, 217, 235,
 251, 292, 293, 400
 — «История» II 43, 67, 69, 72, 78, 82—
 86, 88—90, 93, 95, 97—100, 121, 130,
 134, 142, 225; III 163
 Фундан Минуций III 173
 Фуртвенглер А. I 345
 Хаджидакис Г. I 28
 Халкондил Димитрий I 50, 52; III 22
 Халкондил Лаоник II 67
 Хамелеонт I 47, 48, 239, 242, 267, 323,
 340
 — «О Гесиоде» I 48
 — «О Гомере» I 48
 — «О драме сатиров» I 48
 — «О древней комедии» I 48
 — «О Сапфо» I 239
 «Харитион» (название мима) III 41
 Харитон III 242, 243, 251—254, 255—
 261, 264
 — «Повесть о Херее и Каллирое» III 251,
 254
 Харон Лампсакский II 7, 13, 18, 19, 301,
 302
 — «Летопись Лампсака» II 18
 — «Персидская история» II 18
 Хай А. I 286
 Хемнидер И. И. I 66
 Херасков М. М. I 146, 247
 Херил Афинский I 285
 — «Алопа» I 285
 Херил Самосский I 47, 179; II 12; III 74
 — «Персеида» I 179; II 12; III 74
 Херил (IV в. до н. э.) III 76
 Херсий I 177
 Хилон I 204; II 151
 Хионид I 428, 233
 Хозрой III 397
 Хрисостом Дион см. Дион Хрисостом
 Хрисостом Иоанн см. Иоанн Хрисостом
 Хрисанфий III 390

- Хрисипп I 47, 356; III 354, 363, 365—367, 399
Хрисолора М. I 50, 51, 52, 133
«Христос страдающий» III 144
Хрущев А. Ф. I 145
- Ц**
Цвингли У. I 139
Цезарь Юлий I 50, 130, 245, 375; III 130, 153, 169, 171, 184, 185, 194—197, 200, 203, 322, 392
Целлер Э. II 215
Цец Иоанн I, 50, 74, 113, 195, 221, 426; II 74, 302; III 93
Цецилий III 167, 168, 169
— «Красивый способ выражения» III 168
— «О возвышенном» III 168, 169
— «О войнах рабов» III 168
— «О Демосфене» III 168
— «Об истории» III 168
— «О том, что говорят ораторы согласно с историей и против истории» III 168
— «О фигурах» III 168
— «О характере десяти ораторов» III 168
— «Против фригийцев» III 168
— «Риторика» III 168
— «Сравнение Демосфена и Цицерона» III 168
— «Сравнение Демосфена и Эскина» III 168
— «Чем отличается аттический способ выражения от азиатского» III 168
Цецилий Стаций 167
Цицерон I 43, 45, 48, 49, 50, 52, 74, 109, 133, 210, 244, 256, 300, 349, 350, 354, 375, 382, 394, 403; II 57, 60, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 98, 135, 137, 142, 164, 167, 191, 197, 200, 225, 247, 248, 256, 262, 267, 270, 287, 294, 296—297; III 77, 78, 95, 99, 130, 137, 142, 143, 148, 157, 169, 171, 200, 256, 257, 279, 354, 355, 358, 362, 374, 376, 377, 391, 401
— «Брут» II 84, 98, 137, 225
— «Лелий» («О дружбе») III 391
— «О гадании» («О предвидении») II 167; III 100, 376
— «О государстве» III 377
— «Об ораторе» I 52; II 137, 164, 191, 200, 256
— «О природе богов» II 200
— «Оратор» II 60, 75, 76, 82, 98, 167, 247, 248
— «Письма к Аттику» II 200
— «Письма к друзьям» II 200
— «Письмо к бр. Квинту» II 135, 200
— «Сновидение Сципиона» III 377
- Ч**
Чадвик М. I 70, 78
Чапман Г. I 137
Чезаротти М. I 117, 134, 139, 148
Чернышевский Н. Г. I 151
Чечулин Н. Д. III 241
Чосер Дж. I 141
- Ш**
Шабанон М. I 268
Шамори Эм. III 313
Шаплен Ж. I 135
- Шассань А. I 54
Шварц Эд. I 123, 124, 192
Шекспир В. I 141, 416; III 39
Шелли П. I 173, 357
Шеллинг Фр. I 328
Шелль А. I 379
Шенье Андре I 136, 268
Шестаков С. П. I 8, 54, 120
Шиллер И. I 118, 141, 146, 244; II 68; III 312
Шлегель Ф. I 118
Шлейхер А. I 28, 29
Шлиман Г. I 14, 17—19, 69, 113
Шмид В. I 293
Шмидт И. I 29
Шмидт Э. I 261
Шнейдер И. I 261
Шпенглер О. I 17
Шталь И. II 71, 90
Штадтмюллер Г. III 133
Штейгер Г. I 422
Штейнгевель Г. I 66
Штейнгаль Г. I 129
Шульце Б. I 36
Шухардт К. I 70
- Щ**
Щербина Н. Ф. I 247
- Э**
Эванс А. I 17
Эвбул I 356, 475
— «Эдип» I 356
Эвгамон Киренский I 153, 158
— «Телегония» I 153
Эвгемер III 47, 371, 403, 404
— «Священная записка» III 371
Эвгеон I 75
Эвдем Паросский II 13
Эвдем Родосский II 158; III 355
Эвдокс III 93—95, 276, 354
Эвен I 211
Эвклид (математик) I 224; II 151, 178; III 351, 398, 402
— «Данные» III 402
— «Оптика» III 402
— «Элементы» III 402
Эвклид (софист) II 178, 179, 192
Эвксекид I 433
Эвмел I 176, 381; II 10
— «О Коринфе» II 10
Эвмен (историк) III 177, 193
Эвмен I III 399
Эвмен II III 399
Эвполид I 218, 241, 266, 425, 436, 437—439, 441, 444, 460, 473; II 226; III 225
— «Бапты» I 438
— «Города» I 438, 441
— «Демы» I 438, 444, 460
— «Льстецы» I 439
— «Маринас» I 438
Эврипид I 25, 26, 45—51, 53, 54, 135, 154, 157, 211, 217, 241, 246, 255, 272, 279—282, 284—286, 288, 291, 296, 297, 299, 306, 310, 313, 318, 322, 338, 340, 342, 347, 351—356, 363, 367, 369, 372—375, 377—424, 440, 457—460, 462—464, 476; II

- 20, 47, 66, 89, 165, 213, 225, 229, 266; III 22, 34—37, 39, 41, 42, 48, 83, 126, 212, 222, 245, 345, 393, 400
- «Авга» I 416, 417
- «Автолик» I 400, 407
- «Александр» I 386
- «Алексида» I 375, 379, 407, 412, 415, 416, 422
- «Акмеон» I 397, 423
- «Алопа» I 417
- «Андромаха» I 157, 281, 297, 299, 379, 384, 385, 390, 405, 408, 412
- «Андромеда» I 387, 396, 403, 404, 418, 419, 459
- «Антигона» I 410
- «Антиопа» I 378, 401, 403, 417
- «Беллерофонт» I 404, 408
- «Бусирид» I 400
- «Вакханки» I 246, 279, 379, 397—399, 400, 406, 412—414, 419, 422, 423
- «Гекуба» I 379, 385, 390, 413, 414
- «Геракл» («Безумный Геракл») I 288, 297, 363, 379, 390, 407, 415
- «Гераклиды» I 379, 382, 383, 396, 404, 405, 413, 417; II 89
- «Даная» I 415
- «Дочери Пелая» I 380; III 83
- «Елена» I 241, 299, 379, 387, 388, 391, 403, 404, 411, 413, 418, 421, 459; III 245
- «Ино» III 83
- «Ион» I 296, 379, 390—392, 406, 412—414
- «Ипполит» I 246, 377, 379, 381, 382, 410—413, 421—423, 463
- «Ипсипила» I 401, 402, 417
- «Ифигения в Авлиде» I 48, 154, 379, 396, 397, 411, 413, 415, 423
- «Ифигения в Тавриде» I 48, 296, 379, 394, 413, 421, 422
- «Киклоп» I 286, 296, 367, 379, 400, 401
- «Кресфонт» I 404, 406
- «Критянки» I 407
- «Медея» I 255, 297, 379, 380, 405, 410—413, 421, 423, 424; III 35, 83
- «Мудрая Меланнипа» I 404, 417
- «Орест» I 296—299, 379, 388—390, 406, 407, 412—414, 423; II 89
- «Паламед» I 386, 459
- «Пирифой» I 423
- «Плисфен» I 406
- «Поликсена» I 423
- «Поосительницы» I 296, 379, 385, 386, 405, 406, 407, 412, 413, 416; II 89
- «Силен» I 400
- «Сисиф» I 386, 400
- «Скирон» I 400
- «Сфенебея» I 404
- «Телеф» I 409
- «Троянки» I 282, 291, 296, 298, 378, 379, 386, 390, 411, 415
- «Фазонт» I 402
- «Филоктет» I 410
- «Финикиянки» I 356, 379, 395, 396, 401, 412, 414; II 89, 213
- «Фрикс» III 83
- «Эврисфей» I 400
- «Эдип» I 410
- «Электра» I 296, 392, 393, 408, 413
- «Эномай» I 407
- «Эол» I 406
- «Эрехтей» I 396, 405
- Эвфорнион Халкидский I 50, 59, 110, 179, 309; III 98—100, 328
- «Аполлодор» III 100
- «Демосфен» III 100
- «Гесиод» III 100
- «Гиакинт» III 100
- «Гиппомедонт» III 99
- «Дионис» III 100
- «Инах» III 100
- «Исторические воспоминания» III 100
- «Мопсопия» III 100
- «Фракиец» III 100
- «Хилиада» III 99, 100
- Эвфроний I 433
- Элесий III 301, 390
- «Эдиподия» (кикл. поэма) I 154, 155, 176, 313, 356
- Эзоп I 39, 49, 64—66; II 30, 64; III 313, 320, 356
- «Аист и Лягушка» I 65
- «Заяц и Лягушка» I 65
- «Черепаша и Заяц» I 65
- «Черепаша и Орел» I 65
- Экже (Эгже) Эм. I 54, 228
- Экфант III 354
- Экфантид I 433
- Элиан I 43, 46, 110, 228, 246, 251, 291, 304, 381, 386, 387, 424; II 67; III 138, 203, 208, 242, 278, 283—289
- «Деревенские письма» III 283, 287, 288
- «О божественных силах» III 283
- «О животных» III 283—289
- «О предвидении» III 283
- «Пестрые рассказы» I 228; III 283, 287, 288
- Элий Аристид см. Аристид Элий
- Эльмсли Питер I 54
- Эмилий Павел III 147, 177
- Эмин Н. Ф. I 247
- Эмпедокл I 36, 49, 172, 180, 181; II 12, 147, 162, 164, 165, 166, 171, 229; III 284, 351, 353
- «Гимн Аполлону» II 164
- «О природе» I 181; II 164, 165
- «Очищения» I 181; II 164, 166
- «Переправа Ксеркса» («Персидские войны») II 164
- Энгельман Р. I 422
- Энгельс Фр. I 6—8, 16, 20, 22, 23, 33, 35, 67—69, 234, 318, 319; II 99, 149, 207; III 196—198, 219, 232
- Эней Тактик II 97
- «Об искусстве полководца» II 97
- Энесидем III 371, 374
- Энний I 132, 133, 340, 366, 403, 420; III 100, 371
- «Медея» I 403
- Эпаминонд II 103, 121, 268, 269; III 147, 177

- «Эпигоны» (кикл. поэма) I 73, 75, 155, 313, 356
Эликтет I 52; III 190, 191, 363, 368, 369, 377, 397
«Руководство» («Энхиридион») III 368, 369, 397
Эпикур I 47, 181; II 166; III 12, 14, 20, 127, 130, 175, 179, 183, 208, 228, 234, 236, 237, 280, 357—362, 363—365, 373
— «Главные мысли» III 358, 362
— «Канон» III 360
— «О природе» III 358
— «Отрывки из неизвестных источников» III 358
— «Письмо к Геродоту» III 358, 360—362
— «Письмо к Менекею» III 358, 360—362
— «Письмо к Пифоку» III 358
— «Этика» III 364
Эпименид I 178
Эпихарм I 211, 425, 430, 431, 433, 435, 436, 439; II 147, 163; III 120, 123, 225
— «Бусирид» I 431
— «Надежда или богатство» I 431, 439
— «Одиссей-лазутчик» I 431
— «О природе» II 163
Эразм Роттердамский I 52, 137—139; III 185, 240
Эрасмстрат III 403
Эратосфен I 50, 224; II 245—247; III 75, 90, 93, 95, 192, 351, 352, 399, 402
— «Аристон» III 95
— «Астрономия или превращение в звезды» III 95
— «География» III 95, 402
— «Гермес» III 95, 96
— «О добре и зле» III 95
— «О древней комедии» III 402
— «О расположении круга зверей» III 95
— «О средних величинах» III 95
Эратосфен (географ) III 171
Эратосфен (псевдо) III 405
— «Катастеризмы» III 405
Эринна III 124
— «Прялка» III 124
Эрхардт А. I 129
Эсхил I 26, 38, 42, 45, 46, 48, 50—53, 59, 144, 158, 159, 173, 179, 211, 241—246, 252, 280, 282, 285, 286, 288, 293—295, 297—299, 301—304, 306, 307—341, 346, 353—356, 359, 360, 362—365, 368, 369, 373, 375, 377, 380, 382, 385, 388, 390, 393, 395, 397, 399, 400, 402, 410, 415, 418, 460, 462—464, 471; II 30, 51, 59, 89, 202, 217, 240; III 83, 126, 212, 226, 227, 393, 400
— «Агамемнон» I 295, 304, 310, 315, 316, 320—322, 326, 327, 329, 330, 332, 334, 337—339, 341, 363, 364; II 218
— «Амимона» I 310, 311
— «Арго» III 83
— «Афамант» III 83
— «Гипсинила» III 83
— «Главк Понтийский» I 311; III 83
— «Данаиды» I 310
— «Египтяне» I 310
— «Ифигения» I 316
— «Кормилицы Диониса» I 380
— «Лай» I 313, 322
— «Мирмидоняне» I 310, 319
— «Нерсиды» I 310, 319
— «Ниоба» I 319, 322
— «Орестя» I 158, 241, 295, 310, 315, 319, 321, 322, 324, 327, 368, 388
— «Персы» I 282, 288, 295, 308—312, 319—324, 329, 338, 340, 400; II 59
— «Прометей Огненосец» I 173, 314, 315
— «Прометей Освобожденный» I 173, 314, 315
— «Прометей Прикованный» I 59, 173, 295, 310, 314, 315, 321—324, 327, 328, 332, 336; 340; III 226
— «Просительницы» I 159, 292, 294, 295, 310, 319—321, 323, 324, 331, 336
— «Протей» I 322, 323
— «Семеро против Фив» I 288, 295, 310, 313, 321, 322, 324, 329, 336, 338—340, 359, 395
— «Сфинкс» I 313, 322, 356
— «Филоктет» I 340
— «Финей» II 311; III 83
— «Фракиянки» I 373
— «Фригийцы, или Выкуп тела Гектора» I 310, 319, 322
— «Хозфоры» I 297, 299, 310, 315, 317, 320—324, 327, 332—334, 336, 337, 362, 399
— «Эвмениды» I 297, 308, 309, 315, 318, 320, 322—324, 327
— «Эдип» I 313, 322
— «Этиянки» I 309
Эсхин I 290, 291, 300, 301, 351; II 234, 261, 262, 267, 271, 273—275, 277—281, 285, 288, 289—292, 293; III 161, 162, 165, 276
— «О недобросовестном посольстве» II 290
— «Против Ктесифона» II 279, 280, 289, 290
— «Против Тимарха» II 290
Эсхин Сократик II 83
Этьенн Анри (Стефан Г.) I 53, 135, 218, 245; II 99
Этьенн Роберт I 53
Эфор I 39, 50, 74, 113; II 16, 22, 33, 66, 127, 132, 138—140, 142, 150; III 150, 155, 171, 203
— «Всеобщая история» II 139
Юба III 184, 284, 400
Ювенал I 168, 414; III 137, 219, 222, 239
Юлиан (император) I 206, 207, 239, 255, 271; III 138, 290—295, 297—299, 301—303, 306, 329, 346, 379, 381, 384, 390—394
— «Апология к Сенату и народу Афинскому» III 393
— «К матери богов» III 391, 392
— «Два панегирика императору Констанцию» III 392

- «К философу Фемистию» III 391
 — «К царю Солнцу (Гелносу)» III 391, 392, 394
 — «Ненавистник бороды, или Антиохиец» III 392
 — «Панегирик императрице Евсевии» III 392
 — «Пир, или Сатурналии» («Цезари») III 392, 393
 — «Письмо к жрецу Понтифику» III 391
 — «Против киника Гераклия» III 390
 — «Против невежественных киников» III 390
 — «Против христиан» III 391
 — «Утешение к самому себе по поводу отъезда Саллюстия» III 391
 Юлиан Египетский III 132
 Юлия Домна III 268, 273, 274, 317
 Юнган Ю. I 255
 Юпатов П. II 288
 Юренка Г. I 234, 236
 Юст Тивериадский III 188, 189
 Юстин II 138
 Юстиниан I 8, 22; III 22, 132, 349, 353, 397
 Языков Н. М. I 149
 Ямбул III 235
 Ямвлих (неоплатоник) I 23; III 301, 378, 379, 381, 387—399, 390, 391, 393, 394, 396—399
 — «Об египетских мистериях» III 388
 — «О математическом введении Никомаха» III 387
 — «Об общей математической науке» III 387
 — «О пифагорейской жизни» III 387
 — «Свод пифагорейских учений» III 387—389
 — «Теологумены арифметики» III 390
 — «Увещание к философии» III 387
 Ямвлих III 235, 242, 243, 261—263, 264, 265, 273
 — «Вавилонская повесть» III 261, 262



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Менандр. Римская копия с греческого оригинала IV в. до н. э. Гос. Эрмитаж	21
Птолемей и Арсиноя. Резной камень. III в. до н. э. Гос. Эрмитаж	45
Женщина, играющая на кифаре. Глина, III в. до н. э. Гос. Эрмитаж	51
Голова поэта. Мрамор. Римская копия с греческого оригинала. II в. до н. э. Гос. Эрмитаж	55
Гилас и нимфы. Мозаика. II в. до н. э. Гос. Эрмитаж	77
Афродита, расчесывающая волосы. Глина. III в. до н. э. Гос. Эрмитаж	79
Пастух. Мрамор. Римская копия с греческого оригинала. III в. до н. э. Гос. Эрмитаж	103
Бык. Бронза. Гос. Эрмитаж	113
Баран. Фигурный сосуд. Глина. VI в. до н. э. Гос. Эрмитаж	115
Эрот на дельфине. Мрамор. Римская копия с греческого оригинала. III— II в. до н. э.	119
Девушки. Глина. III в. до н. э. Гос. Эрмитаж	125
Афродита и Эрот. Глина. III в. до н. э. Гос. Эрмитаж	129
Сарапис. Мрамор. Римское воспроизведение статуи Сараписа в Александрии. Конец IV в. до н. э. Гос. Эрмитаж	229
Голова спутника Одиссея, убиваемого Скиллой. Мрамор. Римская копия с грече- ского оригинала. II в. до н. э. Гос. Эрмитаж	311
Вакхическая пляска. Мрамор. Гос. Эрмитаж	321
Философ. Римская копия с греческого оригинала. III в. до н. э. Гос. Эрмитаж	359



СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

Введение. Редакционная статья	7
Глава I. НОВАЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЮ ЖАНРЫ. И. И. Толстой	17
1. Условия, вызвавшие появление новой аттической комедии (17).— 2. Драматурги новой комедии: Филемон, Дифил и другие (19).— 3. Менандр: а) биографические сведения (20); б) наследие Менандра (22); в) комедии Менандра, сохраненные в Каирском папирусе: «Герой», «Третейский суд», «Отрезанная коса», «Самиянка» (22); г) фрагменты комедий Менандра (33).— 4. Характеристика новой аттической комедии (34).— 5. Мимы, флажки, гиларотрагедии. Кинедология (40).	
Глава II. ПОЭЗИЯ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА (общая характеристика). И. И. Толстой	44
1. Характерные черты эллинистической поэзии (44).— 2. Отношение эллинистических поэтов к религии и мифологии (46).— 3. Черты психологизма и реализма в эллинистической поэзии (47).— 4. Стиль эллинистической поэзии (49).	
Глава III. КАЛЛИМАХ. И. И. Толстой	53
1. Биография Каллимаха (53).— 2. «Гекала» (57).— 3. «Айтии» («Причины») (60).— 4. Ямбы: «Кубок Бафикла» и «Спор лавра с маслиной» (63).— 5. Гимны: а) «Гимн к Зевсу» (64); б) «Гимн на остров Делос» (67); в) «Гимн к Аполлону» (70); г) «Гимн к Артемиде» (71); д) «Гимн к Деметру» (72); е) «Гимн на купанье Паллады» (74).	
Глава IV. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. М. Е. Грабарь-Пассек	75
1. Эпическая поэзия и появление в ней новых мотивов. Антимак Колофонский (75).— 2. Аполлоний Родосский: а) биография (78); б) «Аргонавтика» (80); в) источники поэмы (82); г) литературные приемы Аполлония (83); д) оценка Аполлония в древности (90).— 3. Риан (90). 4. Дидактическая поэзия (93).— 5. Ликофрон (96).— 6. Эвфорион (98).	
Глава V. БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. М. Е. Грабарь-Пассек	102
1. Сущность буколической поэзии и ее основоположник Филет Косский (102).— 2. Феокрит: а) биографические сведения (104); б) судьба произведений Феокрита (105); в) содержание идиллий (105); г) тематика произведений Феокрита (109); д) литературные приемы Феокрита (113).— 3. Последователи Феокрита: Мосх и Бион (115).	

<i>Глава VI. ЭПИГРАММА. Ф. А. Петровский . . .</i>	118
1. Эпиграмма как литературный жанр (118).— 2. Историческое развитие эпиграммы (122).— 3. Антология греческих эпиграмм (133).	
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РИМСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА	
<i>Введение. Редакционная статья</i>	137
<i>Глава VII. НАУЧНАЯ ПРОЗА II—I вв. до н. э.</i>	147
1. Полибий (147). М. Е. Грабарь-Пассек.— 2. Диодор Сицилийский (153). С. И. Соболевский.— 3. Дионисий Галикарнасский (156). С. И. Соболевский.— 4. Цециллий (167). С. И. Соболевский.— 5. Псевдо-Лонгин (168) С. И. Соболевский.— 6. Страбон (169). С. И. Соболевский.	
<i>Глава VIII. ПЛУТАРХ. А. В. Болдырев</i>	173
1. Биография Плутарха (173).— 2. Обзор литературной деятельности Плутарха (174).— 3. Философские воззрения и этика Плутарха (178).— 4. Стиль «Нравственных сочинений» (181).— 5. Стиль «Сравнительных жизнеописаний» (183).— 6. Язык Плутарха (185).— 7. Сочинения, приписываемые Плутарху (186).	
<i>Глава IX. НАУЧНАЯ ПРОЗА I—III вв. н. э.</i>	187
1. Иосиф Флавий. (187). М. Е. Грабарь-Пассек.— 2. Флавий Арриан (189). С. И. Соболевский.— 3. Аппиан (194). С. И. Соболевский.— 4. Дион Кассий Коккеян (198). С. И. Соболевский.— 5. Геродиан (201). С. И. Соболевский.— 6. Полиен (202). С. И. Соболевский.— 7. Павсаний (203). М. Е. Грабарь-Пассек.— 8. Диоген Лаэртский (208). С. И. Соболевский.	
<i>Глава X. ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА I—III вв. н. э.</i>	209
1. Малые ораторы I—II вв. (209). А. В. Болдырев.— 2. Дион Хрисостом (210). М. Е. Грабарь-Пассек.— 3. Герод Аттик (214). А. В. Болдырев.— 4. Элий Аристид (216). А. В. Болдырев.— 5. Гермоген из Тарса (217). А. В. Болдырев.	
<i>Глава XI. ЛУКИАН. С. К. Апт</i>	219
1. Биография Лукиана (219).— 2. Общая характеристика произведений Лукиана (222).— 3. Литературная деятельность Лукиана (222).— 4. Псевдо-Лукиан (239).— 5. Лукиан в новое время (240).	
<i>Глава XII. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЗА I—III вв. н. э. А. В. Болдырев . . .</i>	24
1. Значение термина «роман» в применении к античным повествовательным произведениям (242).— 2. Любовные романы (243).— 3. Истоки греческого романа (244).— 4. Эллинистические корни греческого романа (246).— 5. Греческая новелла и «Милетские рассказы» Аристида Милетского (247).— 6. Возможность восточного влияния на греческий роман (248).— 7. «Роман о Нине» (249).— 8. Харитон (251).— 9. Папирусные отрывки (254).— 10. Ксенофонт Эфесский (257).— 11. «История Аполлония, царя Тирского» (259).— 12. Ямвлих (261).— 13. Ахилл Татий (263).— 14. Лонг (266).— 15. Геллудор (268).— 16. Антоний Диоген (271).— 17. Филостраты (273).— 18. Алкифрон (279).— 19. Афиней (280).— 20. Элиан (283). М. Е. Грабарь-Пассек.	
<i>Глава XIII. ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА IV—V вв. н. э. М. Е. Грабарь-Пассек</i>	290
1. Общая характеристика поздней ораторской прозы (290).— 2. Либаний (291).— 3. Фемистий (301).— 4. Гимерий (306).	

<i>Глава XIV. ГРЕЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ I—V вв. н. э.</i>	310
1. Общая характеристика поэзии I—V вв. (310). <i>М. Е. Грабарь-Пассек.</i> — 2. Бабрий (313). <i>С. И. Соболевский.</i> —3. Оппиан (316). <i>М. Е. Грабарь-Пас- сек.</i> —4. Квинт Смирнский (322). <i>М. Е. Грабарь-Пассек.</i> —5. Нонн (327). <i>М. Е. Грабарь-Пассек.</i> —6. Мусей (334). <i>М. Е. Грабарь-Пассек.</i> —7. Коллуф (337). <i>М. Е. Грабарь-Пассек.</i> —8. Трифидор (341). <i>М. Е. Грабарь-Пас- сек.</i> —9. Орфическая поэзия (345). <i>М. Е. Грабарь-Пассек.</i>	
<i>Глава XV. ФИЛОСОФСКАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭЛЛИНИ- СТИЧЕСКОЙ И РИМСКОЙ ЭПОХ.</i>	349
I. Философские школы эллинистической и римской эпох до зарождения неоплато- низма <i>А. С. Ахманов</i>	349
1. Греческая философия после Аристотеля и ее культурно-исторические осно- вы (349).—2. Историко-философская литература эллинистического периода (351).—3. Академия (353).—4. Перипатетики (355).—5. Школа Эпикура (357).—6. Стоики (363).—7. Киники и киренаики эпохи эллинизма (370).— 8. Скептики (371).	
II. Предшественники неоплатонизма. <i>А. Ф. Лосев</i>	374
1. Посидоний (374).—2. Стоический платонизм (378). 3. Неопифагорейство (378).—4. Аммоний Саккас (379).	
III. Философская проза неоплатонизма. <i>А. Ф. Лосев</i>	379
1. Общая характеристика (379).—2. Римский неоплатонизм (Плотин, Амелий и Порфирий) (381).—3. Сирийский неоплатонизм (Ямвлих) (387).—4. Пергамский неоплатонизм (Юлиан и Саллюстий) (390).—5. Афинский нео- платонизм (Прокл) (394).—6. Александрийский неоплатонизм (397).	
IV. Эллинистическая наука и мифография. <i>Б. В. Горнунг</i>	398
<i>Заключение</i>	406
<i>Указатель имен и названий</i>	408
<i>Список иллюстраций</i>	436

История греческой литературы, том III

•
*Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР*

•
Редактор Издательства *С. П. Марлин*
Технический редактор *Е. Н. Симкина*

РИСО № 36-111В. Сдано в набор 8/1 1960 г.
Подписано к печати 31/III 1960 г. Формат 70×108^{1/4}.
Печ. л. 27^{1/2}. Усл.-печ. л. 37,67. Уч.-изд. л. 35,9
Тираж 10 000 экз. Т-63058. Изд. № 3463. Тип. зан. № 66.

Цена 16 р. 35 к

Издательство Академии наук СССР
Москва Б-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР
Москва Г 99, Щубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
142	2 сн.	Рrutus	Вrutus
160	20 сн.	азиатского красноречия	азианского
177	1 сн.	συυχρῖσως	συυχρῖσως
248	1—2 сн.	А. М. Болдырева	А. В. Болдырева
297	1 сн.	§ 3	§ 4
418	31 сн. (прав. столб.)	Квеведо	Кеведо